This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

+ *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.

+ *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.

+ *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.

+ *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at `http://books.google.com/`

Это цифровая коиия книги, хранящейся для иотомков на библиотечных иолках, ирежде чем ее отсканировали сотрудники комиании Google в рамках ироекта, цель которого - сделать книги со всего мира достуиными через Интернет.

Прошло достаточно много времени для того, чтобы срок действия авторских ирав на эту книгу истек, и она иерешла в свободный достуи. Книга иереходит в свободный достуи, если на нее не были иоданы авторские ирава или срок действия авторских ирав истек. Переход книги в свободный достуи в разных странах осуществляется ио-разному. Книги, иерешедшие в свободный достуи, это наш ключ к ирошлому, к богатствам истории и культуры, а также к знаниям, которые часто трудно найти.

В этом файле сохранятся все иометки, иримечания и другие заииси, существующие в оригинальном издании, как наиоминание о том долгом иути, который книга ирошла от издателя до библиотеки и в конечном итоге до Вас.

Правила использовапия

Комиания Google гордится тем, что сотрудничает с библиотеками, чтобы иеревести книги, иерешедшие в свободный достуи, в цифровой формат и сделать их широкодостуиными. Книги, иерешедшие в свободный достуи, иринадлежат обществу, а мы лишь хранители этого достояния. Тем не менее, эти книги достаточно дорого стоят, иоэтому, чтобы и в дальнейшем иредоставлять этот ресурс, мы иредириняли некоторые действия, иредотвращающие коммерческое исиользование книг, в том числе установив технические ограничения на автоматические заиросы.

Мы также иросим Вас о следующем.

- Не исиользуйте файлы в коммерческих целях.
  Мы разработали ирограмму Поиск книг Google для всех иользователей, иоэтому исиользуйте эти файлы только в личных, некоммерческих целях.

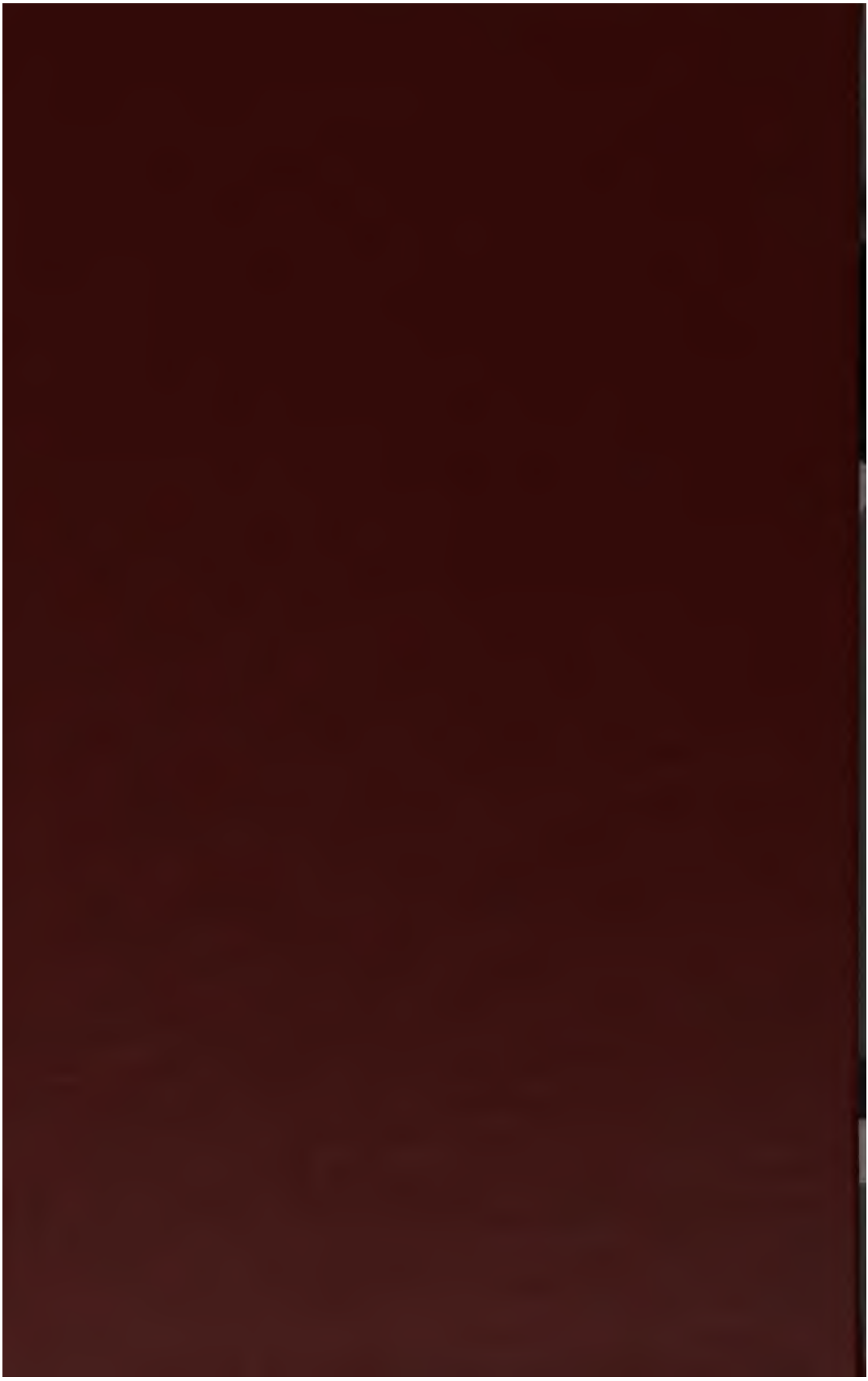
- Не отиравляйте автоматические заиросы.
  Не отиравляйте в систему Google автоматические заиросы любого вида. Если Вы занимаетесь изучением систем машинного иеревода, оитического расиознавания символов или других областей, где достуи к большому количеству текста может оказаться иолезным, свяжитесь с нами. Для этих целей мы рекомендуем исиользовать материалы, иерешедшие в свободный достуи.

- Не удаляйте атрибуты Google.
  В каждом файле есть "водяной знак" Google. Он иозволяет иользователям узнать об этом ироекте и иомогает им найти доиолнительные материалы ири иомощи ирограммы Поиск книг Google. Не удаляйте его.

- Делайте это законно.
  Независимо от того, что Вы исиользуйте, не забудьте ироверить законность своих действий, за которые Вы несете иолную ответственность. Не думайте, что если книга иерешла в свободный достуи в США, то ее на этом основании могут исиользовать читатели из других стран. Условия для иерехода книги в свободный достуи в разных странах различны, иоэтому нет единых иравил, иозволяющих оиределить, можно ли в оиределенном случае исиользовать оиределенную книгу. Не думайте, что если книга иоявилась в Поиске книг Google, то ее можно исиользовать как угодно и где угодно. Наказание за нарушение авторских ирав может быть очень серьезным.

О программе Поиск кпиг Google

Миссия Google состоит в том, чтобы организовать мировую информацию и сделать ее всесторонне достуиной и иолезной. Программа Поиск книг Google иомогает иользователям найти книги со всего мира, а авторам и издателям - новых читателей. Полнотекстовый иоиск ио этой книге можно выиолнить на странице `http://books.google.com/`



STANFORD UNIVERSITY
LIBRARIES

Р. ПА. (Рет-

Л. Мельшинъ.

ВЪ МІРѢ ОТВЕРЖЕННЫХЪ.

ЗАПИСКИ БЫВШАГО КАТОРЖНИКА.

Томъ второй.

ВТОРОЕ ИЗДАНІЕ

РЕДАКЦІИ ЖУРНАЛА

„РУССКОЕ БОГАТСТВО".

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

Типографія Н. Н. Клобукова, Пряжка, д. № 3—1.

1903.

(A. Lubovich.)

СЪ ТОВАРИЩАМИ.

I.

Въ горной кузницѣ.

Въ одинъ морозный мартовскій день, когда толпа горныхъ рабочихъ ввалилась, по обыкновенію, въ свѣтличку, нарядчика тамъ не оказалось. Мы тщетно прождали его около часу. Наконецъ, пришелъ отъ Монахова кучеръ Бурмакинъ съ приказомъ отправляться на обычныя работы.

— А что мы тамъ дѣлать станемъ?—послышались негодующіе голоса.

— Какъ что—бурить.

— Поди-кось языкомъ своимъ побури! Навостри раньше буры, а потомъ бурить посылай.

— На то кузнецъ есть, — сказалъ Бурмакинъ.—Пальчиковъ, ты чего-жъ проклажаешься? Ступай въ кузницу, дѣлай свое дѣло.

— Нѣтъ, ужъ вы сами ступайте, коли такіе хитрые!—желчно возразилъ Пальчиковъ, вынимая изо рта маленькую трубочку-носогрѣйку и, якобы равнодушно, сплевывая на полъ. Внутри его крошечной, нервной и даже въ обычное время всегда возбужденной фигурки теперь, видимо, все клокотало и кипѣло. Уже успѣвъ надѣть на себя кожаный кузнечный фартукъ и запачкать углемъ блѣдное, съ чахлой бородкой, лицо, въ началѣ сцены онъ тихо и неподвижно стоялъ у порога, но теперь вдругъ подскочилъ быстрыми шагами къ баулу, въ которомъ хранились буры и молотки, и, вѣроятно, для того, чтобы ярче подчеркнуть свое бунтовское настроеніе, самымъ удобнымъ образомъ усѣлся на немъ.

— Это что-жъ значитъ?—спросилъ Бурмакинъ въ недоумѣніи.

— Да ты за нарядчика, что-ль, поставленъ?

— Давно-ль, братцы, въ тюрьмѣ съ нами сидѣлъ, туесъ туесомъ

былъ, а какъ вышелъ въ вольную команду, смазалъ дегтемъ сапоги, надѣлъ вольную фуражку—и сталъ мыста не мыста! Въ нарядчики тоже лѣзетъ, своимъ братомъ командовать хочетъ!

Эти возмущенные голоса одобрительно подхвачены были всей толпой. Бурмакинъ сконфузился.

— Чего здря говорить, ребята? Какой тамъ нарядчикъ... Мнѣ велѣлъ баринъ идти сказать—я и пошелъ. А мнѣ что! По мнѣ, сегодня въ кучерахъ у Монахова служить, а завтра велитъ начальникъ—и въ тюрьму опять пойду. Я человѣкъ подневольный.

Всѣ замолчали.

— Ну, такъ что-жъ уставщику сказать? Пальчиковъ, говори, а? Пойдешь въ кузницу?

Пальчиковъ нѣкоторое время помолчалъ.

— А чѣмъ я наваривать буры буду?!—внезапно, точно съ цѣпи сорвался онъ, вскакивая на свои короткія ноги и угрожающе подступая къ Бурмакину,—гдѣ она у васъ, сталь-то, а? Сколько разъ говорилъ я и Петру Петровичу, и самому Монахову? Все завтра да завтра, а арестанты кого ругаютъ, съ кого спрашиваютъ? Съ меня! А я палецъ свой, что-ль,—черная васъ немочь возьми,—замѣсто стали отрѣжу, а? Нѣтъ, ты отвѣть мнѣ—а? Ты чего къ дверямъ-то пятишься? Я кузнецъ, такъ вы думаете, что я и не человѣкъ! Жилы вы изъ меня вымотали, аспиды, вотъ что! Кровь всю изъ меня выпили, варвары, черная васъ немочь побери!

— И въ самъ-дѣлѣ, ребята, чего они надъ нимъ куражатся?—загалдѣла сочувственно кобылка, въ обычное время бывшая всегда на ножахъ съ Пальчиковымъ, интересы котораго, какъ кузнеца, шли въ разрѣзъ съ ея интересами,— не люди мы, что-ль? Буры не стоятъ, потому стали на нихъ вовсе нѣтъ, а уркѝ съ насъ полнякомъ спрашиваютъ. Буроносъ-то-и-дѣло въ кузницу бѣгаетъ; Иванъ Николаичъ, вонъ, замаялся ажно вовсе, отказался, опять бурить зачалъ... Нѣтъ, говорятъ, стали, да куда жъ она дѣвается? Небось, нарядчику аль вамъ самимъ по хозяйству что понадобится, такъ живо сыщется!

— Ну, вотъ погодите, ребятушки, — вмѣшался въ разговоръ старикъ-сторожъ,—новый нарядчикъ на-дняхъ будетъ. Петру-то Петровичу совсѣмъ вѣдь отказано.

— Какъ такъ отказано? Что ты говоришь?

Старикъ прикусилъ, было, языкъ, но когда Бурмакинъ, помявшись еще немного у порога свѣтлички, вышелъ, онъ вдругъ выпалилъ:

— Изъ-за Ивана Миколаича отказано, вотъ что!..

— Изъ-за меня?!—съ изумленіемъ спросилъ я, подходя къ старику.—Это что же значитъ?

Старикъ молча пожевалъ губами, какъ бы все еще не рѣшаясь всего говорить, но кобылка окружила его тѣсной толпой и начала тормошить.

— Коли зачалъ, горный духъ, такъ до конца ужъ сказывай! Что тутъ у васъ дѣется?

— А то дѣется, что и мнѣ-то житья послѣднее время не стало. Я тоже виноватъ, вишь, выхожу, что вы въ свѣтличкѣ все околачиваетесь, чаи распиваете да волынку со мной трете, а не робите.

— Ну, а я-то причемъ же? Почему изъ-за меня Петру Петровичу Монаховъ отказалъ?

— Потому что ты и половины урка̀ николи не выраблива̀ешь, а на тебя глядя, и прочіе робята лодырничаютъ. А съ Монахова, вишь ты, спросъ тоже есть, онъ отчеты пишетъ горному начальству. Вотъ у нихъ и шелъ съ Петромъ Петровичемъ споръ. Петруха говоритъ: ты съ нимъ говори самъ, а у меня языкъ не повернется,—онъ еще плюху, поди, залѣпитъ мнѣ! А Монаховъ ему на это: ты, молъ, нарядчикъ, ты и обвязанъ выговаривать арестантамъ.

— Что же такое выговаривать? Что я десяти вершковъ не выбуриваю?

— Ну, стало быть... Тоже прилѣниваешься, сказываютъ!

— Эхъ вы, разгильдѣево сѣмя! Вы съ человѣка-то двѣ шкуры снять готовы, асмодеи! Ну, а если силовъ у него нѣтъ, у Ивана-то Николаича, такъ что-жъ ему дѣлать по вашему? Голову себѣ объ камень разбить? Ироды!..

— Да вы чего на меня-то скрыжечете? Чего руками машете? Я рази начальство? Я говорю, что слышалъ... Съ вами грѣха еще наживешь, коли языкъ-то развяжешь.

— Не бойся ничего, старикъ. Ты въ сторонѣ будешь. Я знаю, какъ поговорить съ Монаховымъ.

Я отошелъ въ сторону, искренно огорченный въ душѣ тѣмъ, что не подозрѣвалъ раньше этого закулиснаго недовольства собою, и твердо рѣшилъ откровенно поговорить съ уставщикомъ. Кобылка еще галдѣла между собой, когда дверь вдругъ распахнулась и на порогѣ появилась толстопузая, краснолицая фигура

самого Монахова. Разговоры смолкли, хотя арестанты, какъ всегда, продолжали держаться въ его присутствіи развязно, не снимая шапокъ и свободно расхаживая по свѣтличкѣ. Монаховъ питавшій неудержимую страсть ко всякаго рода „волынкамъ“, не внушалъ каторгѣ не только уваженія, но даже и страха къ себѣ и допускалъ порой самыя фамильярныя отношенія. Однако, сегодня онъ былъ надутъ и, видимо, недоволенъ мало почтительной встрѣчей; онъ даже остановился у порога съ нѣсколько властнымъ видомъ. Но черезъ минуту же сказалъ первый:

— Здравствуйте, ребята!

Немногіе отозвались ему. Тогда Монаховъ, ежась отъ холода и потирая руки, прошелъ въ уголъ свѣтлички и молча усѣлся на лѣсенкѣ, которая вела въ верхній этажъ зданія—мастерскую плотниковъ. Но и здѣсь онъ не могъ долго хранить внушительнаго молчанія и, хихикая, началъ шутить съ арестантами.

— Ты что это, Ногайцевъ, ровно будто худѣть сталъ? Плоха шелайская балàнда, что ли?

Ногайцевъ, обиженный, отошелъ прочь, ворча вслухъ:

— Ты бы, небось, пузо-то толстое тоже спустилъ!

Монаховъ закатился довольнымъ смѣхомъ.

— А ты, Пальчиковъ, стряпать ужъ собрался, фартукъ надѣлъ?

Пальчиковъ, внутренно кипѣвшій съ самаго утра, какъ водяной котелъ надъ жарко разгорѣвшейся плитой, вѣроятно, только и ждалъ этого обращенія къ себѣ. Онъ тотчасъ же подлетѣлъ къ Монахову, комично выставилъ впередъ колѣни и, волнуясь, захлебываясь и присѣдая, началъ изливать передъ нимъ всѣ свои обиды и претензіи. Монаховъ и на это попытался отвѣтить обычными шуточками и смѣшками.

— А вотъ, коли ты настоящій кузнецъ, такъ прихитрись пальцемъ буры наварить! Хе-хе-хе!

— Нѣтъ, вы все смѣетесь, Андрей Семенычъ, а я вамъ въ настоящій сурьезъ говорю: нѣту моей мочи больше! Назначайте другого кузнеца, а я больше не пойду, коли стали не выдадите.

— Буроносовъ хоть и не посылай, — загалдѣли и бурильщики,—два раза ударишь по камню—и сялъ буръ, хоть верхомъ на немъ поѣзжай! А на насъ тоже, сказываютъ, серчаете, что мало выраблèваемъ.

Монаховъ принялъ на минуту серьезный видъ.

— Потерпите, маленько, ребята. Не завтра, такъ послѣ завтра

сталь, навѣрно, привезутъ изъ Алгачѣй. И нарядчикъ новый будетъ.

— Да что намъ нарядчикъ? Безъ стали и двухъ дней не продержаться; развѣ ежели урковъ не станете спрашивать?

— Какая у васъ кузница?—продолжалъ жаловаться Пальчиковъ.—Въ другихъ рудникахъ у кузнеца завсегда молотобоецъ есть. А я точно Богомъ прóклятый, въ кои-то вѣки на день-другой помощника дадите... Я самъ и мѣходуй, и молотобоецъ, и мастеръ. Ни тебѣ наварить никто не пособитъ, ни желѣзо побить. Какая тутъ можетъ быть работа, черная ее немочь возьми! Нѣтъ, ужъ вы, Андрей Семеновичъ, бурить меня сегодня пошлите, а на мое мѣсто другого кого поставьте.

— Потерпи и ты, Пальчиковъ. Вотъ я ужо и поощреніе скоро, можетъ быть, выдамъ.

Въ свѣтличкѣ моментально все стихло: такое магическое вліяніе имѣло всегда это слово—„почтеленіе“. Помедливъ еще немного изъ приличія, арестанты стали уходить на свои обычныя работы. Ушелъ и кузнецъ. Монаховъ все продолжалъ сидѣть на своей лѣсенкѣ. Я подошелъ къ нему.

— Я слышалъ, Андрей Семеновичъ, что вы моей работой недовольны?

— Какъ это, то-есть, недоволенъ?—вспыхнулъ Монаховъ.

— Думаете, что я лѣнюсь, а если бы захотѣлъ, могъ бы больше выбуривать.

Монаховъ попробовалъ хихикнуть, но, увидавъ по выраженію моего лица, что я къ шуткамъ нерасположенъ, заговорилъ иначе:

— Это вамъ кто же насплетничалъ, ужъ не старикъ-ли?

— Нѣтъ, не старикъ.

— Ну, такъ значитъ, Петръ Петровичъ: Шельмецъ этакій! Вы не повѣрите, онъ мнѣ всѣ уши прожужжалъ, что, благодаря вашему примѣру, арестанты лѣнятся. А я ни разу ничего такого и не говорилъ... Впрочемъ, оно точно, я не знаю, какъ мнѣ быть, что писать въ отчетахъ...

— Это, конечно, ваше дѣло, что писать. Я могу сказать только, что если вы вздумаете требовать, чтобъ я выбуривалъ больше, то мнѣ останется одно—совсѣмъ отказаться отъ всякой работы, что бы тамъ изъ этого ни вышло!

— Ну, помилуйте, зачѣмъ же такъ... Да мы вотъ что сдѣлаемъ. Пальчиковъ жалуется, что у него молотобойца нѣтъ,—вы

сами слышали. Правда, молотобойца въ нашемъ маленькомъ рудникѣ совсѣмъ не полагается, но все же я могу выставить его въ отчетѣ. Въ кузницѣ мнѣ удобнѣе васъ будетъ спрятать, нежели въ шахтѣ... Хи-хи-хи!

— Можетъ быть, вамъ-то и будетъ удобнѣе, но что скажетъ Пальчиковъ, получивъ такого помощника? Для молотобойца нужна вѣдь сила.

— Какая тамъ сила! Буры-то навастривать? Чисто бабья работа. Просто мѣходуемъ будете... Да вотъ пойдемте къ Пальчикову—я ему представлю васъ. Хи-хи-хи!

Мы отправились въ кузницу,—я, не слишкомъ-то довольный новымъ своимъ назначеніемъ, Монаховъ, весело посмѣиваясь и покачивая толстымъ брюхомъ. Въ кузницѣ уже ревѣлъ мѣхъ. Пальчиковъ, однако, едва удостоилъ насъ взглядомъ, когда мы показались въ дверяхъ его владѣній, и только, захвативъ горсть углей, сердито подбросилъ ихъ въ пылающій горнъ. Лицо его все было выпачкано сажей и, озаренное пламенемъ, казалось прямо зловѣщимъ. Маленькая пичужка, въ тюрьмѣ вызывавшая со всѣхъ сторонъ однѣ насмѣшки, здѣсь, за своей работой, едва успѣвъ облачиться въ фартукъ и развести огонь, Пальчиковъ сразу какъ-то преображался и начиналъ внушать нѣкотораго рода почтеніе не только рабочимъ—арестантамъ (какъ-ни-какъ, зависѣвшимъ отъ него), но даже и нарядчику, и самому уставщику. Онъ принималъ внезапно властный, въ высшей степени самостоятельный видъ и своей вѣчной раздраженностью, воркотней и ужасными проклятіями судьбѣ, Богу, начальству и самому себѣ невольно заставлялъ съеживаться и чувствовать себя въ чемъ-то передъ нимъ виноватыми всѣхъ, кто только приходилъ съ нимъ въ соприкосновеніе.

Прежде чѣмъ „представить“ меня, Монаховъ попробовалъ, обращаясь ко мнѣ, пошутить насчетъ Пальчикова:

— Сколько вотъ ни было у меня кузнецовъ, всегда я замѣчалъ: какъ только войдутъ они утромъ въ кузницу, такъ прежде всего мазнутъ себѣ подъ носомъ сажей... Знай, молъ, крещеный людъ, кто я таковъ есть! Хи-хи-хи-хи!

Гробовое молчаніе было отвѣтомъ на этотъ смѣхъ; продолжалось только гудѣнье мѣха да трещанье угольевъ въ горнѣ. Мнѣ стало не по себѣ, и я конфузливо стоялъ возлѣ скамейки, на которой сидѣлъ обыкновенно молотобоецъ, раздувавшій огонь.

— Ну, вотъ тебѣ, Пальчиковъ, молотобоецъ,—нерѣшительно объявилъ, наконецъ, Монаховъ, переминаясь съ ноги на ногу,— онъ ужъ постоянно теперь будетъ у тебя.

Не глядя ни на Монахова, ни на меня, Пальчиковъ разразился ужасными проклятіями.

— Какой тутъ можетъ быть законъ? Издохнуть бы мнѣ поскорѣе, въ тартарары провалиться со всѣми потрохами своими! Чтобъ тебя скарежило въ три погибели, черная немочь, тварь проклятущая!

— Да ты кого жъ это такъ ругаешь, братецъ? Ты бы потише немного, возвысилъ нѣсколько голосъ Монаховъ.

— А я развѣ васъ ругаю? Не видите развѣ—уголь сырой ругаю, разгорѣться никакъ не можетъ, падло окаянное, черная немочь его возьми и меня вмѣстѣ съ нимъ! Язва тебя сразу! Какого же вы мнѣ молотобойца даете, Андрей Семеновичъ? Нешто онъ можетъ по желѣзу, какъ слѣдоваитъ, ударить, али при сваркѣ помочь оказать?

— Ну, всетаки, какъ-ни-какъ, ударитъ. Ты чего же такъ сразуто? Ты посмотри прежде. Надо же куда-нибудь человѣку дѣться...

И Монаховъ ушелъ, оставивъ меня одного съ Пальчиковымъ. Я притворился въ высшей степени равнодушнымъ къ его несмолкавшимъ проклятіямъ Монахову, назначившему ему горе-молотобойца, и началъ оглядываться кругомъ. Много разъ уже бывалъ я въ этой кузницѣ, и въ качествѣ празднаго зрителя, и въ качествѣ нетерпѣливаго буроноса, но теперь она представилась мнѣ совсѣмъ въ иномъ свѣтѣ, запечатлѣвая въ памяти всѣ свои мельчайшія подробности. Это былъ крошечный сарайчикъ, на живую руку сколоченный изъ какихъ-то старыхъ досокъ, весь въ огромныхъ щеляхъ, сквозь которыя дулъ холодный вѣтеръ и наметались кучи снѣгу. Мѣхъ тоже былъ старый, весь почернѣлый и, точно съ неохотой, скрипѣвшій и надувавшійся, когда его дергали за веревку. Горнъ („горно“) былъ сложенъ изъ кирпичей на живую руку, а желѣзная трубка („фурмантъ“), чрезъ которую выходилъ изъ мѣха воздухъ, плохо вмазанная въ печку, то и дѣло выпадала вонъ и вызывала проклятія кузнеца. Такія же проклятія вызывала и наковальня, помѣщавшаяся на столбѣ, плохо врытомъ въ мерзлую землю, и ея такъ называемый „носъ“, недостаточно длинный и удобный для разнаго рода кузнечныхъ подѣлокъ. Въ противоположномъ углу стояло корыто съ замерзшей водой, слу

для закалки стали. На землѣ валялась куча буровъ, которые слѣдовало отвастривать. Я пристальнѣе вглядѣлся и въ лицо самого кузнеца, на котораго прежде не обращалъ почти никакого вниманія. Это былъ маленькій, худенькій человѣчекъ съ задорно вздернутымъ носикомъ, желчными карими глазками, никогда не глядѣвшими вамъ прямо въ глаза, и тощей бороденкой, которою въ особо патетическихъ мѣстахъ рѣчи онъ потрясалъ съ самымъ комично-угрожающимъ видомъ. Замѣтивъ, что въ горнѣ заложенъ буръ, я началъ дергать мѣхъ за веревочку и раздувать огонь.

— Стой!..—огрызнулся тотчасъ же Пальчиковъ, не глядя на меня,—желѣзо и такъ горитъ давно, а онъ дуетъ... О, чтобъ имъ подохнуть, аспидамъ, кровопивцамъ нашимъ!

Онъ выхватилъ изъ огня буръ и, чуть не сунувъ мнѣ въ ротъ прыскающее искрами желѣзо, положилъ на наковальню.

— Бей!..

Растерянно заметавшись туда и сюда, я выхватилъ изъ его же рукъ маленькій кузнечный молотокъ и, что есть мочи, принялся колотить имъ по буру... Пальчиковъ плюнулъ, шлепнулъ буръ о землю и, чуть не плача со злости, разразился страшными ругательствами, которыя я не могъ, положимъ, отнести прямо къ себѣ и принять за формальное оскорбленіе, но которыя, тѣмъ не менѣе—я чувствовалъ это—относились не къ кому другому. Я стоялъ, растерянный, переконфуженный, совершенно недоумѣвающій, какое такое преступленіе я совершилъ.

— О, чтобъ черная немочь ихъ всѣхъ задавила! Потроха его вывались, пузо его толстое лопни! Душа изъ васъ всѣхъ вонъ!

— Чего же вы сердитесь, Пальчиковъ? Вѣдь я же не нарочно... я въ первый разъ... Потомъ, можетъ, привыкну, выучусь,—забормоталъ я виновато.

И тутъ только глаза мои упали на большой молотъ, лежавшій у самыхъ моихъ ногъ, и я вспомнилъ, что не разъ видалъ, какъ молотобойцы дѣйствовали именно этимъ молотомъ, тогда какъ маленькій молотокъ, который я вырвалъ изъ рукъ Пальчикова, составлялъ всегда неотъемленную собственность кузнеца; вспомнивъ это, я понялъ, что поступкомъ своимъ не столько испортилъ ему работу, сколько оскорбилъ цеховое его достоинство... Поднявъ молотъ, я попробовалъ было засмѣяться, но вышло еще хуже. Забористыя ругательства посыпались въ пространство новымъ, еще болѣе обильнымъ градомъ. Наконецъ, я не вытерпѣлъ и

сдѣлалъ Пальчикову довольно рѣзкое замѣчаніе, прося быть сдержаннѣе на языкъ. Тогда, присмирѣвъ немного и помолчавъ, онъ вдругъ нагнулся ко мнѣ, быстрымъ движеніемъ согнулъ колѣни, точно дѣлая реверансъ, и, въ первый разъ взглянувъ мнѣ въ глаза, заговорилъ съ дружескимъ довѣріемъ:

— А вы сами какъ полагаете, Иванъ Николаевичъ,—не стоютъ они того, челдоны желторотые, чтобъ имъ кишки вонъ выпустить? Гàлятся, изгнущаются надъ нашимъ братомъ, ровно мы и не люди!

— Чѣмъ же такимъ изгнущаются? Вѣдь мы въ каторгѣ—могло бы, пожалуй, и хуже намъ житься?

— Ну, извините, правовъ-то тѣхъ ужъ нѣтъ! Отошли разгильдѣевскія времена... А, по моему, лучше бы ужъ онъ меня поролъ и въ карецъ сажалъ, нежели смѣшочками своими донималъ да разными непорядками жилы выматывалъ. Кажинный разъ онъ все „настоящимъ кузнецомъ“ меня въ рыло тычетъ, амбицію мою задѣваетъ, а самъ никакихъ данныхъ не даетъ мнѣ эту амбицію оправдать. Спросите-ка всякаго, кто на волѣ меня зналъ: всякій вамъ скажетъ, что не послѣднимъ мастеромъ Пальчиковъ былъ! За мастерство-то свое я, можно сказать, и въ каторгу пришелъ, а здѣсь у нихъ ужъ самымъ послѣднимъ человѣкомъ сталъ. Говорятъ, что ужъ Пальчиковъ и бура отвострить не умѣетъ! Да дьяволъ ихъ заѣшь, холера ихъ возьми, найдется-ль во всей тюрьмѣ кто другой, кто въ закалѣ такой смыселъ имѣетъ, какъ я? Водянинъ? Ну, ужъ нѣтъ-съ! рыломъ Водянинъ-то вашъ супротивъ меня не вышелъ. Я захочу—до сотни сортовъ разныхъ закаловъ вамъ предоставлю!

— Какъ это, говорите вы, кузнечное мастерство въ каторгу васъ привело?

— А такъ, что я самому генералу Завьялову куражиться надъ собой не могъ дозволить и чуть брюха ему не распоролъ, вотъ что.

— Вы, значитъ, солдатомъ были?

На этотъ вопросъ Пальчиковъ не отвѣтилъ. Арестанты, служившіе до каторги солдатами („дýхами“), вообще почему-то стыдятся своего прошлаго и не любятъ о немъ заговаривать; къ тому же, въ Пальчиковѣ успѣлъ остыть порывъ дружественности ко мнѣ и готовности откровенничать. Онъ опять разогрѣвалъ буръ и сердито приказывалъ мнѣ дуть мѣхомъ. Я пос Мѣхъ опять загудѣлъ, и разговоръ по неволѣ прекра отъ разъ, когда дошла очередь до работы молотомъ

лотъ настоящій, но за то такъ усердно колотилъ имъ по буру, не смотря на всѣ сигнальныя стуки Пальчикова по наковальнѣ (сказать слово „стой!“ онъ, должно быть, считалъ для себя униженіемъ), что буръ превратился, наконецъ, въ лепешку. Пальчиковъ ограничился, впрочемъ, на этотъ разъ тѣмъ, что съ сердцемъ плюнулъ и снова положилъ испорченный буръ въ огонь; но я почувствовалъ отъ этого гораздо большій стыдъ, чѣмъ если бы онъ выразилъ свой гнѣвъ крѣпкими русскими словами. Къ концу перваго же дня работы въ кузницѣ Пальчиковъ сдѣлался для меня чистымъ страшилищемъ: отъ малѣйшаго окрика его я вздрагивалъ и терялся... И много дней понадобилось для того, чтобъ я пересталъ такъ близко принимать къ сердцу эту постоянно кипѣвшую въ моемъ властителѣ злобу!

Гудитъ и реветъ мѣхъ подъ моими отчаянными усиліями, то отрывисто стукая и тѣмъ вызывая косые, сердитые взгляды въ мою сторону Пальчикова, не устающаго подбрасывать въ горнъ сырые уголья, то глухо сопя ровными, волнообразными дыханіями, дыханіями какого-то сказочнаго чудища, которое вотъ-вотъ проснется и разинетъ голодную пасть. Руки, дергающія веревку, начинаютъ нѣмѣть отъ усталости; спина тоже страшно устала дѣлать легкіе поклоны при каждомъ взмахѣ руки; глаза утомились глядѣть въ пылающій горнъ, мозгъ одурѣлъ отъ скучныхъ, монотонныхъ мыслей, мыслей, скорѣе похожихъ на какіе-то сѣрые, безсвязные сны,—и страшно хочется уснуть, расправить окоченѣлые, усталые члены, закрыть глаза, погрузиться въ тьму и забвеніе.

— Дуй!..—раздается окликъ Пальчикова, и набѣгающій сонъ живо соскакиваетъ; глаза испуганно раскрываются, и рука начинаетъ энергично дергать веревку.

Угли уже разгорѣлись. Горнъ пылаетъ до того ярко, что нѣтъ мочи долго глядѣть въ него. Огненный столбъ искръ взвивается кверху, улетая въ отверстіе крыши, замѣняющее трубу. Какое несчетное множество этихъ свѣтящихся точекъ! Тысячи, міріады ихъ кружатся, вертятся, несутся безумно-бѣшенымъ галопомъ. Вотъ съ шумомъ и свистомъ вырвался одинъ ослѣпительно-яркій снопъ искръ, протанцовалъ съ необыкновенной быстротой какой-то фантастическій танецъ и умчался вверхъ, а снизу его догоняетъ уже другой еще болѣе яркій и веселый рой, за нимъ еще и еще, и вотъ цѣлый рядъ ихъ слился на мигъ въ одинъ большой потокъ

синерозоваго пламени и въ яростномъ весельи помчался къ огромному, морозному небу, чтобы тотчасъ же погаснуть тамъ, оставивъ послѣ себя лишь копоть и дымъ. Глаза болятъ, но не въ силахъ оторваться отъ огненнаго зрѣлища, и эти искры кажутся мнѣ уже не простыми мертвыми искрами, выскакивающими изъ горящей печки, а живыми, сознательными существами: оттого-то такъ жадно цѣпляются они другъ за друга, оттого-то такъ бѣшено ихъ веселье, такъ оживленна безумная пляска! Вѣдь все живое радуется жизни, и пусть коротка, какъ мгновеніе, эта жизнь—они возьмутъ съ нея свою долю счастья и потомъ умрутъ безъ гнѣва и жалобы! О, выходите же, выходите, новыя миріады маленькихъ свѣтлыхъ гномовъ, веселитесь, глотайте полнымъ глоткомъ ваше радостное мгновеніе! Какое вамъ дѣло до того, что нѣтъ видимой цѣли въ этомъ вѣчномъ разрушеніи и возрожденіи однѣхъ и тѣхъ же формъ — вѣдь жизнь существуетъ для жизни! Да, я уже явственно различаю своеобразныя черты у каждаго изъ этихъ милліоновъ крошечныхъ, живыхъ духовъ: одни изъ нихъ мчатся, лучезарные, жизнерадостные, какъ майскіе эльфы, сотканные изъ эфира и золота, другіе, напротивъ, грустные, скорбно поникшіе, съ безсильно опущенными крыльями, блѣдные, словно до срока жаждущіе погаснуть и погрузиться въ нирвану... Зачѣмъ горѣть? Не все ли равно—одно или два мгновенія?...

— Стой! Бей! отсѣкай!

И Пальчиковъ вынимаетъ изъ огня длинную, до-бѣла раскаленную полосу стали, изъ которой такъ и брызжутъ во всѣ стороны огненныя стрѣлы. Онѣ, того и гляди, попадутъ въ глазъ, и я инстинктивно пытаюсь закрыть лицо рукавицей; однако, страхъ передъ грознымъ Пальчиковымъ превозмогаетъ это шкурное опасеніе, и я, схвативъ поспѣшно свой молотъ, начинаю колотить имъ со всего плеча по наковальнѣ.

— Скорѣе, скорѣе бей, варъ пропустишь!.. Охъ, черная немочь, пропустилъ, остыла... Изверги они, аспиды проклятые, за что они душу изъ меня вымотать хотятъ, какого молотобойца мнѣ подрадѣли? Лопните шары мои, утроба изъ меня вывались! Черная немочь, язва сибирская похватай васъ всѣхъ!

Но опасенія кузнеца оказались на этотъ разъ напрасными: „варъ“ захваченъ во время, и мои отчаянные удары молотомъ по „зубилу“ достигаютъ своей цѣли: отъ большого куска стали

отсѣкается меньшій кусокъ, который тотчасъ же опять опускается въ горнъ, большой же отломокъ, при безпрестанныхъ подозрительныхъ оглядкахъ на дверь кузницы, проворно засовывается рукой Пальчикова въ холодную золу съ боку горна. Тутъ только я спрашиваю себя съ недоумѣніемъ: откуда же взялась эта сталь, когда еще недавно жаловались на ея отсутствіе? Между тѣмъ, разогрѣтый кусокъ опять вынимается изъ огня и, къ моему удивленію, подъ искуснымъ молоткомъ кузнеца превращается постепенно въ маленькую подковку изъ тѣхъ, какія носятъ на сапогахъ щеголи-солдаты. Я догадываюсь въ чемъ дѣло. Въ кузницѣ появляется вскорѣ и самъ будущій обладатель подковокъ, усатый урядникъ, старшій конвоя.

— Ну, что, готово? Молодецъ, паря, славно сробилъ. Ну, я тебѣ послѣ заплачу, у меня теперь нѣтъ... Вчерась послѣднія Любкѣ отдалъ.

— А сколько пропало ужъ у меня за вашимъ братомъ,— недовольно ворчитъ Пальчиковъ,—Бурцеву вонъ сколько я дѣлалъ, Корецкому опять—и чтобы шишъ какой получилъ! А тутъ еще уставщикъ, глядишь, поймаетъ, натершишься изъ-за васъ... Скажутъ, мы съ Иваномъ Николаичемъ воры!

— Ну, не безпокойся, братъ, за мной-то не пропадетъ.

И прежде чѣмъ я успѣваю опомниться, урядникъ уходитъ, опустивъ подковки въ карманъ. Но тутъ я принимаю очень свирѣпый видъ и говорю Пальчикову:

— Вы какъ же это такъ сказали: „Мы съ Иваномъ Николаичемъ воры“? Вѣдь вы-же хорошо знаете, что я здѣсь не при чемъ?

Пальчиковъ, безъ всякой видимой нужды, усиленно разгребаетъ желѣзной лопаточкой уголья въ горнѣ.

— Чего я сказалъ? Какое тутъ можетъ быть воровство? Работаешь, работаешь, какъ дохлая кляча, и не моги огрызочекъ стали взять? Чтобы ихъ черная немочь всѣхъ побрала! Велика, подумаешь, корысть. Вы видѣли — много съ нихъ возьмешь, съ духовъ проклятущихъ.

— Велика-ль, не велика-ль корысть, а только меня путать въ это дѣло не смѣйте!

— Не смѣйте... Что-жъ, доказывать, что-ль, на меня станете? Гдѣ это видано, чтобъ на своего брата-арестанта доказывали? И какіе еще люди, нашей ли шпанѣ чета!

— Доказывать я не стану, вздора вы не говорите, а

только повторяю: меня больше не смѣйте путать. Я рѣшительно ничего не вижу и не знаю, такъ и помните. Казенную-ли, другую-ль какую работу вы дѣлаете—мнѣ дѣла нѣтъ. Слышите?

— Дуй!

Я вижу заложеннымъ въ горнѣ маленькій буръ и принимаюсь опять за несомнѣнно уже казенную работу.

Положеніе дѣлъ послѣ этой маленькой ссоры не измѣнилось, впрочемъ, ни на іоту. Пальчиковъ продолжалъ на моихъ глазахъ красть и самымъ нахальнымъ образомъ врать уставщику и товарищамъ-арестантамъ. Я стоялъ въ сторонѣ и дѣлалъ видъ, что ничего не вижу и не знаю; однако, когда бывало Пальчиковъ ири мнѣ клялся и божился всѣми богами, что сталь у него вышла вся до послѣдней крошки, а уставщикъ или нарядчикъ называли его и шутя, и серьезно воромъ и обманщикомъ, мнѣ становилось каждый разъ не по себѣ, точно и самъ я былъ безмолвнымъ соучастникомъ его лжи и воровства, и именно это обстоятельство было самой непріятной для меня стороной работы въ кузницѣ. Тѣмъ болѣе, что по мягкости характера я не напоминалъ больше Пальчикову о своемъ сдѣланномъ разъ, въ порывѣ гнѣва, заявленіи, а онъ, казалось вскорѣ забылъ о немъ; по крайней мѣрѣ, развязность его доходила до того, что, стоя во время работы спиной къ двери, онъ нерѣдко говорилъ, обращаясь ко мнѣ:

— Поглядите-ка Иванъ Николаевичъ, въ щелку, какъ бы кто не вошелъ пенарокомъ.

И, точно загипнотизированный этой развязной дерзостью, я молчалъ и покорно глядѣлъ въ щелку...

Появившійся вскорѣ новый нарядчикъ былъ, впрочемъ, въ достаточной мѣрѣ неглупый человѣкъ, чтобы не подозрѣвать меня въ соучастіи въ кражахъ кузнеца. Это былъ тотъ самый надзиратель Пѣтушковъ, на котораго Безымённыхъ сочинилъ нѣкогда убійственную эпиграмму:

Какъ шкелетъ, сухой, лядащій,
Онъ поетъ, поетъ безъ словъ,
И прозванье подходящее,
Лаконично: Пѣтушковъ!

Пѣтушковъ былъ грамотный, довольно по своему начитанный и, главное, слишкомъ амбиціозный человѣкъ для того, чтобы могъ долго ужиться подъ началомъ такого деспота, какъ Лу
и едва только открылась вакансія горнаго нарядчика,

промѣнялъ на нее мѣсто надзирателя и теперь ужасно либеральничалъ по адресу тюремной администраціи.

— Ну, какъ изволите поживать, Прокопій Филипповичъ?—иронически обращался онъ къ нашему старинному знакомцу, своему недавнему сотоварищу, приводившему арестантовъ въ свѣтличку.— Много-ль новыхъ карандашей, иголокъ нашли въ тюрьмѣ? Каково васъ начальникъ прохватываетъ?

Блѣдное, бритое лицо Прокофія Филипповича взглядывало на Пѣтушкова строгими, сѣрыми глазами, и ни одинъ мускулъ не вздрагивалъ усмѣшкой.

— Мы живемъ по инструкціи,—сухо и кратко возражалъ онъ,— мы поступаемъ, какъ велитъ законъ.

— Ха-ха-ха-ха!—закатывался Петушковъ,—и это тебѣ законъ тоже велитъ, халу̀дора тебя заѣшь, подъ козырекъ дѣлать и тянуться, когда онъ ни за что, ни про что ногами на тебя топочетъ?

— А ты развѣ въ военной службѣ не служилъ?

— Такъ то̀, чудакъ ты этакій, служба отечеству, долгъ гражданина; а теперь ты вѣдь за деньги служишь?

— Ты самъ служилъ.

— Служилъ, да и ушелъ. Нѣтъ ужъ я топать на себя ногами не дозволю! Я человѣкъ, братъ, самостоятельный!

Прокофій Филиппычъ или „Проня“, какъ называли его промежъ себя арестанты, недовольный, отходилъ прочь, а глядѣвшій побѣдителемъ Пѣтушковъ лукаво кивалъ на него въ сторону сочувственно улыбавшейся ему кобылки. Видимо, онъ всѣми силами стремился установить съ послѣдней добрыя отношенія, а со мной прямо-таки заигрывалъ. Когда всѣ арестанты расходились по своимъ работамъ, онъ заглядывалъ въ кузницу и здѣсѣ цѣлыми часами болталъ со мной о всевозможныхъ, пустыхъ и важныхъ, матеріяхъ.

— О, да тутъ студено̀, халу̀дора!—наконецъ не выдерживалъ онъ.—Пальчиковъ одинъ управится, подьте-ка, Иванъ Николаичъ, въ свѣтличку, я чтой-то скажу вамъ.

— Послѣ, можетъ быть, скажете, если неважное.

— Нѣтъ, очень сурьезное.

Я шелъ за нимъ въ свѣтличку. Усѣвшись тамъ на баулѣ и усадивъ меня рядомъ, особенно если у печки не грѣлся никто изъ конвойныхъ (старика-сторожа онъ не стѣснялся), Пѣтушковъ начиналъ таинственнымъ голосомъ, переходя на дружеское „ты“:

— И охота-же тебѣ, Николаичъ, жить въ такой участи! Одинъ вѣдь этотъ Проня, живая смерть, чего стоитъ; вида его выносить не могу! Да и другіе надзиратели тоже хороши. Ну, а начальникъ опять? А арестанты? Ну, развѣ тутъ мѣсто этакой головѣ, какъ твоя? Тебѣ-бъ гдѣ-нибудь книжки сидѣть писать, аль, можетъ, въ самомъ Питербурхѣ въ большихъ чиновникахъ служить, а ты... какому-нибудь теперь Пальчикову, халудорѣ, долженъ мѣхомъ дуть!

— А что-жъ дѣлать? Взялся за гужъ...

— Нѣтъ, я бы зналъ, что сдѣлать.

— Бѣжать, что-ли? Да вѣдь вы не поможете, Ильичъ?

— Ну, зачѣмъ бѣжать!—нахмуривался Ильичъ,—нѣтъ, а вотъ—прошеніе подать! Я-бъ, на твоемъ мѣстѣ, кажный день двадцать прошеніевъ писалъ, и ужъ которое бы нибудь непремѣнно вывезло... Ужъ такъ и быть, скажу тебѣ: я отъ самого Лучезарова слышалъ—начальство того только и ждетъ, чтобъ ты прощады просить зачалъ... И часто мы, надзиратели, промежъ себя говорили: да вѣдь самому чорту можно, кажись, поклониться, лишь бы только на волю выйти! Ну, убудетъ тебя, что-ли?.. А Лучезаровъ про тебя говоритъ: это—скала, говоритъ, а не человѣкъ.

— А знаете что, Ильичъ, вѣдь скала-то ѣсть хочетъ. Не пора-ли чай варить, да рабочихъ скликать?

— Что-жъ, кличьте, пожалуй,—сухо отзывался Пѣтушковъ, недовольный тѣмъ, что я уклонился отъ разговора по душѣ.

Тайкомъ отъ арестантовъ и даже отъ старика, онъ предлагалъ мнѣ нерѣдко участвовать въ своихъ собственныхъ завтракахъ, которые приносили ему жена или дочь, и которые состояли изъ шанегъ съ творогомъ или сибирскихъ колобовъ, и очень каждый разъ огорчался, когда я наотрѣзъ, бывало, отказывался отъ этихъ роскошныхъ яствъ. Вообще, признаюсь, я никогда не могъ уразумѣть настоящаго смысла всѣхъ этихъ дружескихъ подходовъ ко мнѣ Пѣтушкова, принимавшихъ иногда прямо сантиментальный характеръ; временами я самъ чувствовалъ къ этому человѣку глубокую симпатію и полное довѣріе, временами-же, подозрительно настроенный, готовъ былъ считать его не больше, какъ хитрымъ политиканомъ, не имѣющимъ за душой ничего, кромѣ личныхъ честолюбивыхъ цѣлей и интересовъ. Такъ, при всемъ своемъ словесномъ либерализмѣ, на дѣлѣ онъ былъ изрядным т
и какъ нн просили его арестанты—съ своей стороны не

ствовать имъ покупать у свѣтличнаго старика, тайкомъ отъ надзирателя, вольную пищу, пирожки, картошку и пр., онъ очень рѣдко, и то съ большой неохотой, глядѣлъ на эти запретныя завтраки сквозь пальцы, за кулисами пугая старика отказомъ отъ мѣста.

— Ребята, да неужто-жъ бы я прекословилъ, кабы моя власть была?—душевнымъ, дружескимъ тономъ говорилъ онъ кобылкѣ,— какой можетъ быть вредъ отъ пищи? Для чего морить людей на постной баландѣ? А только подумайте сами: ну, вдругъ донесется?.. Изъ вашего же брата найдутся такіе... И мнѣ, и вамъ самимъ что хорошаго тогда будетъ?

— Да ужъ объ насъ-то ты не безпокойся, Ильичъ. Нѣтъ, просто сказать, потрухиваешь ты, и все вѣдь по-пустому, потому это дѣло надзирателя за нами слѣдить, а никакъ не твое.

— Неладно вы судите, ребята. Сами знаете, какъ ненавидятъ меня надзиратели... Одинъ этотъ Проня, живая смерть, чисто съѣсть меня готовъ, халудора его побери! Сейчасъ скажутъ, что я потакаю вамъ. Ну, смѣнятъ меня, другого нарядчика поставятъ,—вамъ развѣ лучше станетъ? Сами видите, что у меня душа есть, что я во всемъ готовъ уважить, гдѣ только можно. Надо только опаску завсегда имѣть.—Той-же политики держался онъ и въ вопросѣ о работѣ, добромъ и лаской убѣждая арестантовъ, ради его душевныхъ качествъ, работать побольше и получше...

Была суббота, холодный, ненастный день того-же марта мѣсяца. Пронизывающій вѣтеръ дулъ во всѣ щели нашей убогой кузницы, бросая въ лицо снѣжную пыль, а надъ порогомъ наметая цѣлые сугробы снѣга. Мѣхъ гудѣлъ съ какимъ-то особенно злобнымъ шумомъ, изрыгая изъ пылающаго горна столбы бѣшено пляшущихъ искръ; не хуже его изрыгалъ Пальчиковъ потоки своихъ обычныхъ проклятій, а я, съежившись подъ холодной арестантской шубой, молчаливый и ко всему на свѣтѣ безучастный, не уставалъ кланяться и дуть мѣхомъ. Ноги нестерпимо зябли, и мнѣ казалось въ такіе часы, что начинаетъ застывать и самый мозгъ, что я превращаюсь постепенно въ глыбу бездушнаго камня, вѣками лежащаго на одномъ мѣстѣ безъ цѣли, безъ думъ и желаній... Въ этотъ день я былъ почему-то особенно мрачно настроенъ и не обращалъ ни малѣйшаго вниманія на то, что Пѣтушковъ уже нѣсколько разъ подозрительно вертѣлся возлѣ меня, точно желая сообщить что-то и въ то же время колеблясь. На-

конецъ, когда Пальчиковъ, взявъ корзину, вышелъ за дверь кузницы, чтобы принести новый запасъ углей, онъ быстро нагнулся ко мнѣ и прошепталъ:

— Сегодня!

Я равнодушно посмотрѣлъ на него.

— Говорю, сегодня...

— Что такое?..

— Прибудутъ.

— Кто прибудетъ?

— Да будто не знаешь? Двое... товарищевъ тебѣ... Одинъ, сказываютъ, дохтуръ, такой-молъ дохтуръ, что у насъ въ Сибири и не видали такихъ. А самъ вовсе еще молодой. Вотъ не могу только припомнить, чьихъ онъ, халудора его возьми... Фамилія-то трудная, не руська я... Ну, вспомнилъ, вспомнилъ: Штенгоръ! А другой—Башуровъ. Не знаю, кѣмъ этотъ былъ, а только, надо быть, тоже изъ большихъ дворянъ, въ ниверситетѣ служилъ. Ну, да, словомъ сказать, не нашей кобылкѣ чета, а прямо говорю—товарищи тебѣ. И какъ только, скажи ты мнѣ, пожалуйста, этакій народъ въ каторгу попадаетъ? Ахъ, чтобъ васъ язвило!

— Да вы правду говорите, Ильичъ?

— Ну, вотъ еще врать стану!

У меня перехватило дыханіе и потемнѣло въ глазахъ... Я опустился поспѣшно на скамейку. Пальчиковъ вернулся съ полной корзиной углей. Пѣтушковъ безпокойно метался по кузницѣ, видя, какое сильное впечатлѣніе произвелъ на меня своимъ сообщеніемъ. Изъ-за спины кузнеца онъ пристально глядѣлъ на меня и дѣлалъ умоляющіе жесты. Я понялъ, что онъ проситъ держать новость въ строгомъ секретѣ и кивнулъ ему головой въ знакъ согласія.

— Ахъ, халудора!.. — излилъ онъ свои чувства въ любимомъ словечкѣ и торопливо удалился въ свѣтличку.

Неописуемое волненіе, между тѣмъ, овладѣло мною. Я считалъ часы, минуты, когда должны были окончиться горныя работы, и то-и-дѣло забѣгалъ въ свѣтличку посмотрѣть, не вернулись ли рабочіе изъ шахтъ; Пѣтушковъ старался при этомъ не глядѣть на меня и велъ о чемъ-то оживленную бесѣду съ казаками. Очевидно, онъ трусилъ и порядкомъ раскаивался, что сболтнулъ мнѣ великую тюремную тайну... Я чувствовалъ, какъ у меня дрожали колѣни, и пріятный ознобъ

всему тѣлу, когда арестанты, наконецъ, выстроились и, по обыкновенію, очертя голову понеслись по направленію къ тюрьмѣ. Я всегда внутренно сердился на эту торопливость, но сегодня мнѣ казалось напротивъ, что мы бѣжимъ все еще недостаточно быстро. Скоро мнѣ стало жарко, и я разстегнулъ шубу. И застывшій мозгъ началъ оттаивать,—свѣтлыя, бодрыя мысли наполнили его, точно горячіе лучи вышедшаго изъ ночного тумана солнца... Недавно еще я чувствовалъ себя почти старикомъ, безсильнымъ и жалкимъ калѣкой, а теперь былъ опять молодъ и силенъ, опять хотѣлъ жить, надѣяться, вѣрить! И снова горячо любилъ міръ, гдѣ всего нѣсколько часовъ назадъ видѣлъ одну лишь безцѣльную и безсмысленную сутолоку явленій,—любилъ жизнь и людей, которыхъ недавно еще презиралъ, какъ жалкихъ, цѣпляющихся за свое жалкое существованіе, смѣшныхъ маріонетокъ!

— Еще поживемъ, еще поборемся съ судьбой...—шепталъ я про себя, все ускоряя шаги и почти наступая на ноги шедшихъ впереди конвойныхъ. — Теперь-то легче будетъ жить... съ товарищами!

II.

Желанные гости.

Когда горная партія подошла къ тюрьмѣ, отъ вниманія ея не ускользнуло, что среди стоящихъ у воротъ казаковъ есть два-три новыхъ, „нездѣшнихъ“ лица, и что въ караульномъ домѣ также происходитъ какое-то движеніе.

— Братцы, а вѣдь партія, надо быть, пришла?

— Да вонъ, смотрите, и подвода стоитъ! Ну, стало-же, и партія—полтора человѣка съ ребромъ... Обыскиваютъ.

Самые зоркіе, умѣвшіе не только черезъ окно, а даже, какъ говорила кобылка, сквозь штыкъ видѣть, узнали тотчасъ же и всѣ подробности обыска.

— Двое!.. Молодой и старый... Молодой — бѣлый, старый—чернявый... Ну, и вещей же, вещей, братцы мои, разбираютъ—разобрать не могутъ. Надо думать, не изъ простыхъ, потому и одежа господская. Смотрите-ка, смотрите, часы золотые съ одного сымаютъ... Они думали, молодчики, что, какъ въ другой тюрьмѣ, все въ камеру пропустятъ, въ вольной одежѣ ходить дозволятъ...

Нѣтъ, шалишь! Шестиглазый всѣхъ уравняетъ! Поживите-ка на шелайской балàндѣ, а вещи въ чихаусъ пожалуйте!

— Ребята, да у нихъ книги!.. Это ужъ не Миколаичу-ль товарищи будутъ? Вотъ славно-то! Можетъ, опять Чичикова привезли?

Такими замѣчаніями перебрасывались между собой вслухъ арестанты, пока надзиратель обыскивалъ насъ, какъ всегда, подлѣ окна караульнаго помѣщенія, гдѣ происходила пріемка новичковъ. Но любопытство шпанки не было слишкомъ напряжено, и какъ только ворота растворились, она, какъ дождь, посыпалась по камерамъ, торопясь обѣдать. Я остался одинъ у воротъ. Затворявшій ихъ надзиратель осклабился.

— Чего ждете?

— Кто принимаетъ новичковъ?

— Какихъ новичковъ?

— Ну, чего же хитрить? Все равно сейчасъ узнаю. Начальника нѣтъ?

— Нѣтъ, только старшій одинъ. Сію минуту выйдутъ.

И точно, нѣсколько минутъ спустя, изъ караульнаго дома вышла цѣлая толпа людей, и въ воротахъ тюрьмы появились двѣ фигуры новичковъ-арестантовъ. Я бросился къ нимъ со словами привѣта... Но, къ моему удивленію, старшій надзиратель, онъ же и экономъ,—красный, какъ кирпичъ, смѣшно шепелявящій толстякъ,—тотчасъ всталъ между нами и громко запротестовалъ:

— Нельзя, есте нельзя! Нацальникъ сетясъ плидетъ, намъ наголитъ!

Его поддержали другіе надзиратели, тоже поднявшіе крикъ. Я по неволѣ ретировался. Новички осматривались вокругъ съ растерянностью и недоумѣніемъ. Грубая форма обыска, очевидно, уже произвела на нихъ свое дѣйствіе, и оба глядѣли затравленными волками; жалкій, комичный видъ придавала имъ и только что надѣтая, мѣшковато сидѣвшая арестантская одежа. Я съ жадностью вглядывался въ лица, отыскивая въ нихъ интеллигентныя, симпатичныя черты... Кобылка не ошиблась: одинъ, совсѣмъ еще юноша, былъ блондинъ, другой, значительно старше, брюнетъ. Блондинъ показался мнѣ коренастымъ и широкоплечимъ; у него было безусое, моложаво-розовое лицо съ большими, полными доброты глазами; онъ былъ взволнованъ и крайне смущенъ первыми шелайскими впечатлѣніями... Его товарищъ, высо
щавый мужчина съ шелковистой черной бородою, и

скорѣе былъ раздраженъ; темные глаза его сердито глядѣли изъ-подъ густыхъ, почти сросшихся у переносья бровей; онъ и на меня тоже смотрѣлъ съ недовѣріемъ и ни разу не улыбнулся... „Ну, этотъ со мной не сойдется, пожалуй,—невольно подумалъ я съ грустью,—онъ-то, должно быть, и есть докторъ".

Когда надзиратели взошли съ арестантами на крыльцо тюрьмы передъ главнымъ корридоромъ, молодой человѣкъ обернулся въ мою сторону (я шелъ сзади, въ нѣкоторомъ отдаленіи) и, улыбнувшись, послалъ мнѣ воздушный поцѣлуй; но товарищъ его даже не оглянулся, весь погруженный въ свои мысли. Затѣмъ оба скрылись въ дежурной комнатѣ, гдѣ ихъ заперли въ ожиданіи прихода Лучезарова. Когда надзиратели послѣ этого удалились, я подбѣжалъ къ замкнутой двери, и тутъ между мной и заключенными произошелъ торопливый, отрывочный, но оживленный обмѣнъ вопросовъ.

— Какъ ваша фамилія?—послышался суровый голосъ, очевидно, старшаго изъ новичковъ.

Я назвалъ себя.

— Какъ! вы-то и есть Иванъ Николаевичъ? Это правда?

— Почему вы такъ удивляетесь? Развѣ я до того ошпанѣлъ по виду за эти годы?

— Нѣтъ, я сейчасъ же догадался, что, это должно быть, вы,— отвѣчалъ молодой голосъ.

— А я почему-то думалъ,—сказалъ первый,—что васъ здѣсь нѣтъ, и мы будемъ совершенно одни съ арестантами.

— Ахъ, вотъ почему вы показались мнѣ такимъ страшнымъ и непривѣтливымъ!

— Ваша тюрьма нагоняетъ ужасъ!

— Погодите, это еще начало только...

— Лучезаровъ, говорятъ, звѣрюга?

— Господа, а вѣдь я-то вашихъ фамилій еще не знаю.

— Сдѣлайте одолженіе: я—Штейнгартъ, Дмитрій Петровичъ Штейнгартъ, студентъ-медикъ IV курса.

— А я—Валерьянъ Башуровъ, юристъ-первокурсникъ.

— Вы, значитъ, очень еще молоды?

— Да, конечно... Двадцать два года...

— Да и васъ, Дмитрій Петровичъ, кобылка напрасно, кажется, старикомъ окрестила?

— Развѣ уже окрестила? Впрочемъ, что-жъ, мнѣ 28 лѣтъ, и кое-гдѣ есть уже сѣдые волосы...

Мы перебросились затѣмъ нѣсколькими фразами о дѣлахъ, за которыя очутились въ Шелаѣ, и опять перескочили къ данному положенію вещей. Лихорадочно-быстрые вопросы такъ и перебивали одинъ другой.

— Что здѣсь всего страшнѣе? Шапочный вопросъ?

— Ага, вы ужъ слыхали!

— Какія у васъ отношенія съ арестантами?

— И съ начальствомъ?

— Постойте, господа, на столько вопросовъ сразу невозможно отвѣтить.

— Вы не отвѣтили: точно ли такая звѣрюга Лучезаровъ, какъ про него говорятъ? Какъ вы посовѣтуете намъ держаться съ нимъ,

— Можно ли тутъ воообще жить?

— Какъ видите, я жилъ... А теперь, съ вашимъ прибытіемъ и подавно стану жить!

— А нельзя ли съ вами въ одну камеру попасть?

— Если Лучезаровъ будетъ съ вами любезенъ,—попросите его объ этомъ.

— Будетъ ли онъ съ нами на „ты“? Мы хотимъ въ такомъ случаѣ отвѣчать ему молчаніемъ. Вы какъ думаете?

Но, прежде чѣмъ я успѣлъ сообщить свои мысли объ этомъ предметѣ, на дворѣ раздался пронзительный, тревожный свистокъ, возвѣщавшій о вступленіи въ тюрьму начальника, и я поспѣшилъ удалиться въ свою камеру. Однако, волненіе мое было такъ сильно, что къ обѣду я не притронулся. Пріемъ кончился скорѣе, чѣмъ я ожидалъ, и новый свистъ возвѣстилъ объ удаленіи Шестиглазаго. Тогда я бросился опять въ корридоръ и увидалъ уже идущими мнѣ навстрѣчу Штейнгарта и Башурова съ мѣшками казенныхъ вещей въ рукахъ. Здѣсь мы впервые обнялись и расцѣловались... Высыпавшая изъ камеръ шпанка съ любопытствомъ и сочувствіемъ наблюдала эту сцену.

— Ну, какъ и что? Въ какія камеры назначены?

— Представьте, Лучезаровъ былъ необыкновенно любезенъ, джентльменъ да и только! Произнесъ маленькую рѣчь въ похвалу своей гуманности и тюремной опытности и совѣтовалъ намъ одно: терпѣть, терпѣть и терпѣть! Кромѣ того, выразилъ большую радость по поводу того, что я медикъ и могу быть полезенъ въ тюрьмѣ.

— Да, ваша слава, какъ замѣчательнаго доктора, заранѣе здѣсь гремѣла.

— Я получилъ этотъ титулъ уже въ Сибири, во время этапнаго путешествія, отъ благодарныхъ паціентовъ. На самомъ дѣлѣ, я уже говорилъ вамъ, я всего лишь студентъ четвертаго курса...

— Говорили вы съ Лучезаровымъ о камерѣ?

— Какъ же. Съ большимъ удовольствіемъ согласился, чтобъ я поселился вмѣстѣ съ вами, Валерьяну же назначилъ другой номеръ. У меня, говоритъ, общее правило: по возможности дробить на мелкія части всѣ группы, какія только могутъ замѣчаться среди арестантовъ, — татаръ, скопцовъ, раскольниковъ... Позвольте,—спрашиваемъ мы,—да вѣдь мы не татары и не скопцы?— Васъ,—отвѣчаетъ,—я назову группой образованныхъ людей...

Я ввелъ новыхъ своихъ товарищей въ мою камеру, и арестанты тотчасъ же, не дожидаясь просьбы, похватали у нихъ изъ рукъ мѣшки и кинулись очищать на нарахъ мѣсто рядомъ съ моей постелью, а когда узнали, что одинъ только Штейнгартъ будетъ жить здѣсь, стали выражать сильное огорченіе.

— И чего имъ помѣшало, варварамъ, всѣхъ троихъ вмѣстѣ поселить? Наръ, что-ль, не хватило?—возмущался пріятель мой Чирокъ.—То-ись, во всемъ вредѵ одну видятъ, утѣснить вездѣ норовятъ!

Я порекомендовалъ Чирка вниманію новичковъ, какъ старинаго своего сожителя, съ которымъ очень друженъ.

— Должно быть, онъ безъ вины попалъ сюда?—спросилъ Валерьянъ Башуровъ,—и по лицу видно сейчасъ, что честный человѣкъ!

— Ну, какъ вамъ сказать,—засмѣялся я,—арестанты почему-то говорятъ про его честность: чортъ ее чесалъ, да и чесалку сломалъ.

— Вишь вѣдь, какой вредный человѣкъ этотъ Миколаичъ!— обѣими руками заскребъ свою голову Чирокъ,—какъ меня передъ товарищами своими ремизитъ! Не вѣрьте ему, не вѣрьте— первый во всей тюрьмѣ волынщикъ!

— Вы тоже учить насъ будете, какъ Иванъ Николаевичъ?— подошелъ къ новичкамъ, заискивающе улыбаясь, Луньковъ, — вы не знаете, у насъ тутъ вѣдь цѣлое училище основано, господа, и я въ немъ первый ученикъ.

Сохатый презрительно фыркнулъ въ своемъ углу, но промолчалъ.

— Одна бѣда,—продолжалъ Луньковъ,—Иванъ Николаевичъ прилѣниваться что-то зачали, не кажный вечеръ насъ обучаютъ.

Я разсказалъ Штейнгарту и Башурову о своей школѣ; она ихъ живо заинтересовала. А когда я заговорилъ и о бывшихъ одно

время въ тюрьмѣ чтеніяхъ вслухъ, то арестанты поддержали меня громкимъ сочувственнымъ ропотомъ; стали ворчать и ругать Шестиглазаго даже тѣ, кто очень мало интересовался бывало книжками.

Между тѣмъ, Чирокъ вызвался сбѣгать въ кухню заварить для насъ чай. Я далъ ему свой котелокъ, въ который засыпалъ чай, а самъ повелъ товарищей въ камеру, назначенную мѣстожительствомъ Башурова. Жившіе тамъ арестанты встрѣтили насъ съ тѣмъ же гостепріимствомъ, при чемъ произошелъ приблизительно такой же обмѣнъ мыслей, какъ и въ моей камерѣ. Здѣсь жилъ, между прочимъ, и общій староста Юхоревъ. Онъ тотчасъ же появился возлѣ насъ и, развязно и дружественно поздоровавшись за руки съ новичками, усѣлся рядомъ и вступилъ въ разговоръ. Представительная наружность Юхорева, открытый, умный видъ и гигантскій ростъ произвели, видимо, на нихъ внушительное впечатлѣніе, и они долгое время недоумѣвали, съ кѣмъ имѣютъ дѣло. Человѣкъ этотъ, дѣйствительно, могъ производить такое впечатлѣніе. Онъ весь, казалось, состоялъ изъ однихъ мускуловъ, могучихъ и крѣпкихъ, какъ сталь; большіе, сѣрые глаза глядѣли отважно и рѣшительно, и трудно было вынести ихъ прямой пронзительный взглядъ; длинные усы окаймляли энергично очерченныя губы. За то подбородокъ круглый и нѣсколько выдающійся, а также и щеки всегда обривались съ помощью стекла или тайныхъ арестантскихъ бритвъ. Лобъ былъ замѣчательно низкій, и въ середину его правильнымъ треугольникомъ вдавались жесткіе черные волосы. Это придавало смуглому длинному лицу суровый, почти свирѣпый видъ, хотя нимало не уменьшало впечатлѣнія большого, неоспоримаго ума, виднѣвшагося въ каждой чертѣ и въ каждомъ жестѣ этого сильнаго человѣка. Будучи совершенно неграмотнымъ, Юхоревъ говорилъ всегда такъ умно, плавно и даже красиво, пересыпалъ свою рѣчь такой массой оригинальныхъ эпитетовъ и поговорокъ, что если послѣдніе не были черезчуръ откровенны, то вы могли бесѣдовать съ нимъ битый часъ и даже не догадаться, что имѣете дѣло съ простымъ, необразованнымъ мужикомъ, а не съ какимъ-нибудь бариномъ средней руки, земцемъ, помѣщикомъ. Непреклонная воля чуялась во всей этой желѣзной, богатырски скроенной фигурѣ, въ ея порывистыхъ и вмѣстѣ сдержанныхъ движеніяхъ, въ быстрой, всегда торопливой, легкой походкѣ. Дорисовывая внѣшнюю физіономію Ю скажу еще, что я былъ однажды сильно удивленъ, ув

банѣ его голую спину, покрытую густыми, мохнатыми волосами... Вотъ богатая пища для ломброзоическихъ выводовъ! невольно подумалъ я.

Арестанты поголовно уважали и боялись Юхорева, но отнюдь не потому только, что онъ былъ старостой, и я не видалъ случая, чтобы кто-нибудь серьезно сцѣпился съ нимъ, вступилъ по какому-либо поводу въ грубую перебранку. Впрочемъ, Юхоревъ и не терпѣлъ противорѣчій. Съ мелкой шпаной, которой случалось чѣмъ-нибудь прогнѣвить его, онъ расправлялся по своему: быстро вскакивалъ съ наръ и своими жилистыми руками гиганта начиналъ, не говоря худого слова, мять и тузить (сопротивленіе было, конечно, немыслимо), такъ что жертвѣ оставалось одно—обратить ссору въ шутку и молить пощады. Съ „серьезными“ арестантами Юхоревъ держался за то въ высшей степени политично и осторожно.

— Ваши вещи, господа, — обратился онъ къ моимъ товарищамъ, — отнесены въ чихаусъ. Я самъ и положилъ. Если что нужно достать, мнѣ только шепните. Я вѣдь часто туда хожу съ косноязычнымъ чортомъ и что угодно сумѣю взять—не замѣтитъ. „Ты сьмотли у меня, Юхолевъ, не стяни цего“. А я, покамѣстъ онъ въ одно мѣсто глаза таращитъ, рыжій пентюхъ, я ужъ въ двадцать сторонъ успѣлъ повернуться. Разъ! разъ!—и готово, взялъ, что мнѣ нужно. Въ одномъ изъ ящичковъ лежатъ тамъ у васъ, я видѣлъ, чернила, перья, почтовая бумага... Только глазомъ моргните мнѣ!

Мы поблагодарили Юхорева за любезное предложеніе, но отклонили его.

— Съ Лучезаровымъ у меня тоже большая дружба... Я вѣдь каждый день ношу ему въ контору пробный обѣдъ,—ну, и тутъ разговоры у насъ всякаго рода происходятъ. Наливаю ему, само собою, такъ, чтобъ жиру плавало больше сверху... Вотъ Иванъ Николаевичъ по этому случаю претензію мнѣ разъ высказывали: зачѣмъ я это дѣлаю? Надо, молъ, напротивъ, самый худшій сортъ пищи начальству показывать... Но это потому только, господа, что Иванъ Николаевичъ,—не въ обиду ему будь сказано,—десять лѣтъ проживетъ въ тюрьмѣ и всетаки ничего не пойметъ въ нашей сволочно̀й жизни! Умъ ихъ не тѣмъ вовсе занятъ, вотъ они и думаютъ, что правдой можно всего добиться. А я по опыту знаю, что всѣ заботы начальства о нашемъ братѣ—одно только пока-

заніе вида. Какъ мы есть для него каторжные, варнаки, такъ и будемъ ими до скончанія вѣка! Вѣдь что-жъ, пробовалъ я показывать и настоящую балàнду. Затопаетъ ногами, зарычитъ: „А! ты, значитъ, воръ!“ Скажите на милость—воръ. Да чтобъ ему самому и на томъ, и на этомъ свѣтѣ такъ наживаться отъ воровства, какъ я здѣсь наживаюсь! Небось, безъ штановъ ходить будетъ. Я не спорю—я ворую, но только не у своего брата; довольно съ меня и того, что̀ экономъ прозѣвываетъ, когда къ вѣсамъ съ нимъ хожу. Вотъ, господа, послѣ такой ерунды я и рѣшилъ носить Шестиглазому на пробу одинъ только верхній наваръ. И теперь мы живемъ друзьями. Жалко, что баня у насъ сегодня не топлена, печку поправляютъ. Ну, ужъ за то въ слѣдующую субботу я самолично васъ, господа, выпарю, такъ выпарю, какъ, пожалуй, и самъ губернаторъ не парится... Ха-ха! Баня—это моя, можно сказать, спеціальность.

— Однако, Чирокъ ужъ, пожалуй, заварилъ намъ чай,—поднялся я съ мѣста,—пойдемте, господа.

Юхоревъ тоже вѣжливо всталъ.

— Значитъ, мы будемъ съ вами на однѣхъ нарахъ лежать, въ товарищахъ, такъ сказать, жить? обратился онъ къ Башурову.—Вотъ и отлично. Объ чаѣ никогда не будете заботиться: у меня тутъ сто дьяволовъ найдется къ услугамъ въ кухню сбѣгать. Эй ты, чувырло чухонское!—крикнулъ онъ вдругъ на арестанта, лежавшаго рядомъ съ постелью Валерьяна,—убирайся-ка отсюда подобру, по-здорову, я тутъ лягу!

— А мнѣ тутъ развѣ худо?—пробормотало чувырло.

Но Юхоревъ, какъ кошка, прыгнулъ на нары, и не успѣлъ арестантъ опомниться, какъ уже перелетѣлъ вмѣстѣ съ своей подстилкой на другое мѣсто, а подстилка Юхорева очутилась рядомъ съ Башуровской. Кобылка одобрительно загрохотала; подумавъ немного, разсмѣялся и потерпѣвшій, рѣшивъ, что благоразумнѣе всего отнестись шутливо къ своему невольному salto mortale... Разсмѣялись и мы, выходя вонъ изъ камеры.

— Что это за личность?—спросилъ меня Штейнгартъ.

— Общетюремный староста, второй здѣсь царекъ послѣ Лучезарова.

— Оно и видно; но развѣ староста пользуетъ властью?

— Не всякій, конечно; но этотъ какъ са че изъ дюжины.

— Онъ кажется мнѣ очень симпатичнымъ; а вамъ?—спросилъ Башуровъ.

— Ничего себѣ. Впрочемъ, я очень мало его знаю, не приходилось жить въ одной камерѣ.

Чирокъ уже оборудовалъ свое дѣло, и котелокъ съ чаемъ, приправленнымъ, какъ оказалось, ни вѣсть откуда взявшимся молокомъ, стоялъ на нарахъ, укутанный со всѣхъ сторонъ халатомъ.

— Чтобъ не стылъ,—сказалъ Кузьма, осклабляясь и услужливо раскутывая чай.

— Ну, значитъ, пируемъ, господа!—пригласилъ я гостей.

Но только что началось пиршество, какъ дверь шумно растворилась, и въ камеру вошелъ въ шапкѣ на бекрень и въ франтовато накинутомъ на плечи халатѣ, улыбаясь во всю рожу и какъ-то уморительно выкидывая въ стороны колѣни, тюремный скоморохъ и дурачекъ Карпушка Липатовъ. Рыжіе, какъ морковь, волосы, такая же рыжая бороденка, выходившая изъ-подъ шеи и оставлявшая голымъ подбородокъ, некрасивое веснущатое лицо съ небольшимъ вздернутымъ носомъ и плутоватыми сѣрыми глазами, потѣшныя ужимки и чисто канканныя тѣлодвиженія,—все было въ Карпушкѣ своеобразно и въ высшей степени комично. Одни изъ арестантовъ считали его прямо сумасшедшимъ, другіе, напротивъ, хитрымъ пройдохой, находившимъ выгодной роль дурачка. Трудно было рѣшить этотъ вопросъ, тѣмъ болѣе, что Липатовъ вовсе не стремился къ тому, къ чему стремились обыкновенные тюремные симулянты, т.-е. къ освобожденію отъ работъ и къ помѣщенію въ больницѣ. Иногда попавъ туда, онъ начиналъ очень скоро рваться обратно въ тюрьму, а на работѣ былъ скорѣе излишне трудолюбивъ, чѣмъ лѣнивъ и хитеръ.

— Здравствуйте, господа поштенные,—началъ Карпушка, присаживаясь съ нами рядомъ, — не примете-ль и меня въ вашу хеврю? Я вѣдь тоже дворяньская кровь, потому—хоть мать у меня и мѣщанка, а отецъ-то былъ чиновникъ.

— Да вѣдь вы сами, Карпушка, говорили, что отца и не видали никогда, что вы—незаконный?

— Я и теперь не говорю, что я законный, а все-жъ хоть и не съ того боку, а кровь-то дворяньская свое во мнѣ обозначаетъ. Вѣрно я говорю! У меня вѣдь и обличье-то настоящее дворяньское... Нешто можно меня сравнить вонъ съ его аль съ его харей?—кивнулъ Карпушка въ сторону арестантовъ. Послѣдніе захохотали.

— А я вѣдь по дѣлу пришелъ-то къ вамъ, господа. Который тутъ изъ васъ, говорятъ, дохтурь есть?

— Ну, положимъ, я,—отозвался Штейнгартъ.

— А позвольте узнать, какъ величать васъ?

— Дмитрій Петровичъ.

— Такъ вотъ съ тобой, Митрій Петровичъ, мнѣ нужно съ руки на руку поговорить.

Карпушка при этомъ многозначительно подмигнулъ.

— Въ чемъ же дѣло? Или вы стѣсняетесь постороннихъ?

— Мнѣ чего стѣсняться! Я нигдѣ не обробѣю. Я и самому Шестиглазому на кажней повѣркѣ всѣ свои мысли выражаю. Вотъ жду еще—не дождусь окружного дохтуря, съ нимъ тоже хотѣлось бы мнѣ словечкомъ-другимъ перекинуться.

— У васъ болитъ что-нибудь?

— У меня внутри настоящая-то боль сидитъ. Видите-ли, Митрій Петровичъ, я такъ полагаю, у меия косточки одной въ спинѣ нѣтъ. А фершалъ здѣшній, Землянскій, говоритъ: врешь, собачій сынъ, у тебя есть косточка. А какое тамъ есть, когда я хорошо знаю, что нѣтъ.

— Знаете, что, Липатовъ,—предложилъ я,—вы въ другое время когда-нибудь посовѣтуетесь съ Дмитріемъ Петровичемъ; тогда онъ хорошенько осмотритъ васъ. А теперь онъ, видите, съ дороги, дайте ему покой. Мы и сами-то не успѣли еще поговорить, какъ слѣдуетъ.

— И въ самъ-дѣлѣ, пошелъ вонъ, Карпушка!—закричали на него арестанты.—Чего-ты дурочку-то изъ себя оказываешь? Проваливай во свояси!

Карпушка равнодушно сплюнулъ на сторону и продолжалъ сидѣть.

— Хитрые вы, Иванъ Миколаичъ, спулить отъ себя Карпушку хотите. Вамъ-то поговорить межъ собой, въ хеврѣ своей чайку напиться, а у меня, можно сказать, о жизни аль смерти дѣло идетъ. Говорю, косточки у меня въ спинѣ нѣтъ! Я сказываю фершалу: давай ты мнѣ настоящей хананіи, такой, чтобы она, значитъ, болѣзнь изъ костей вонъ выгоняла. А онъ, цыганская его морда, калидатомъ да калидатомъ все меня пичкаетъ! А калидатъ—я знаю, что такое. Онъ вѣдь болѣзнь въ нутро, въ кости вгоняетъ...

— Это что же такое за калидатъ, и какой такой хананіи ему нужно?—въ недоумѣніи обратился ко мнѣ Шт

Мнѣ уже достаточно извѣстенъ былъ Кар

и я объяснилъ, что хананіей онъ называетъ, повидимому, вообще всякое лѣкарство, а калидатомъ—кали-іодатъ.

Штейнгартъ и Башуровъ громко засмѣялись, ихъ поддержалъ и самъ Карпушка.

— Въ томъ-то и дѣло... Вотъ сейчасъ видно, что дохтурь настоящій—все понимаютъ. Я ужъ знаю, что они мнѣ настоящей хананіи пропишутъ. Сейчасъ замѣчаешь хорошаго человѣка, не то что Иванъ Миколаевичъ: проваливай, молъ, Карпушка Липапатовъ! Ты къ моей хеврѣ не подходишь... А почему я не подхожу? У меня тоже дворяньская вѣдь кровь. Вотъ дали бы вы мнѣ, господа, чайку дворяньскаго испить. Байховый чай—онъ, знаете, хорошо тоже по жиламъ расходится, особливо ежели съ молокомъ. Лучше всякой хананіи.

Дали Карпушкѣ чашку чаю. Своей бесѣды намъ такъ и не удалось вести: скоро послышался свистокъ дежурнаго и его же взволнованный крикъ по корридору:

— Вылазь на повѣрку! Скорѣй на повѣрку! Самъ начальникъ будетъ!

Лучезаровъ давно уже не появлялся на повѣркахъ собственной персоной, и сегодня готовилась,—очевидно, по случаю прибытія новичковъ,—торжественная церемонія.

— Любезенъ-то онъ, любезенъ былъ съ вами, а попугать все-таки хочетъ,—замѣтилъ я товарищамъ, выходя съ ними во дворъ тюрьмы, и поспѣшилъ предупредить относительно того, что слѣдовало дѣлать во время новѣрки.

Съ Башуровымъ мы тутъ-же простились, думая, что до утра уже не увидимся больше. Онъ направился къ своей камерѣ, которая „строилась“ въ другомъ концѣ длинной арестантской шеренги. Тамъ Юхоревъ тотчасъ-же принялъ его подъ свое покровительство, поставивъ за своей могучей спиною. Повелъ и я Штейнгарта на то мѣсто, гдѣ шевелились наши сокамерники. Всегдашняя моя пара—Чирокъ уже стоялъ въ переднемъ ряду, поджидая меня и энергичной бранью прогоняя всякаго, кто по забывчивости пытался занять позади его мое мѣсто. Впереди Штейнгарта, ставшаго рядомъ со мною, вытянулся гигантъ Петинъ.

Надзиратель безпокойно метался передъ строемъ арестантовъ, дѣлая имъ предварительный счетъ. И только теперь ударилъ звонокъ на повѣрку; но и послѣ звонка мы мерзли еще около пяти минутъ, а Шестиглазый все не показывался.

— Выстойку намъ, какъ хорошимъ жеребцамъ, дѣлаетъ, — острили неунывающіе арестанты.

Наконецъ, за рѣшетчатыми воротами произошло движеніе, и на глазахъ у всѣхъ появилась величавая фигура въ большой мохнатой папахѣ и широко развѣвающейся шинели. Мы трое уже стояли давно безъ шапокъ. Распахнулись широко ворота. Точно проглотившій аршинъ, надзиратель проревѣлъ неестественно зычнымъ голосомъ слова команды:

— Смирр-на! Шапки дол-лай!

Сотня головъ моментально, съ шумомъ, обнажилась.

— Шапки надѣть!—торопливо, почти не давъ кончиться надзирательскому крику, произнесъ Лучезаровъ.

— Продолжаетъ быть любезнымъ,—шепнулъ я Штейнгарту и съ любопытствомъ посмотрѣлъ на товарища. Я замѣтилъ, какъ лицо его потемнѣло и то и дѣло подергивалось нервными судорогами... Лучезаровская любезность, очевидно, мало утѣшала его. Дальнѣйшая часть повѣрки прошла съ обычной помпой по разъ установленной формѣ и, къ счастью, безъ всякихъ непріятныхъ инцидентовъ. Наряда на работы не читалось, такъ какъ день былъ субботній.

— По камерамъ шагомъ мар-ршъ!—прогремѣла заключительная команда, и ровнымъ ритмическимъ шагомъ, попарно, арестанты двинулись къ тюрьмѣ. Штейнгартъ шелъ впереди меня, блѣдный и сумрачный, понуря голову. Въ корридорѣ къ намъ подбѣжалъ Валерьянъ Башуровъ.

— Это ужасно, господа! Какое униженіе!—прошепталъ онъ, конвульсивно стискивая себѣ пальцы рукъ. Юношески-розовое лицо его отъ волненія еще болѣе разрумянилось. Штейнгартъ упрямо молчалъ.

— А развѣ вы лучшаго ждали, господа?—сказалъ я успокоительнымъ тономъ:—Глядите на эти вещи философски. Если можно, запаситесь даже юморомъ...

Мы еще разъ пожали другъ другу руки и разстались. Въ камерѣ, между тѣмъ, арестанты опять выстроились въ шеренги. Мы съ Штейнгартомъ, какъ и прежде, встали позади Чирка и Сохатаго, возлѣ своихъ наръ.

Дверь быстро распахнулась, человѣкъ пять надзирателей влетѣли, какъ ураганъ, и одинъ изъ нихъ прокричалъ обычное:

— Смирр-на!

Внушительно замедленными шагами вошелъ Лучезаровъ, окидывая пытливымъ взглядомъ лица арестантовъ и видимо кого-то отыскивая. Упитанное, румяное лицо его, по обыкновенію, чуть-чуть улыбалось иронически; въ бравомъ штабсъ-капитанѣ не произошло вообще никакой перемѣны съ тѣхъ поръ, какъ читатель видѣлъ его въ послѣдній разъ, за исключеніемъ одного только: онъ носилъ уже полные капитанскіе погоны, и это обстоятельство, конечно, могло придать ему лишь больше внушительности и величавости.

Наконецъ, онъ увидалъ Штейнгарта и, приблизившись, молча подалъ ему письмо, которое вынулъ изъ бокового кармана. Затѣмъ круто повернулся къ надзирателямъ и произнесъ сердито:

— Вы слышите запахъ? Есть тутъ запахъ?

— Не можемъ знать, господинъ начальникъ,—подобострастно отвѣтилъ кто-то, въ нерѣшительности.

— Какъ не можете знать? Носа надо не имѣть, чтобъ не слышать! Гадкій, отвратительный запахъ!

— Да, оно точно, чижоловатый воздухъ, господинъ начальникъ,—согласился тотъ же надзиратель.

Тяжелый запахъ въ нашей камерѣ за послѣднее время сдѣлался почему-то предметомъ постоянныхъ наблюденій и раздраженія браваго начальника. Онъ слышалъ его даже въ такіе дни, когда у насъ подолгу стояла открытой форточка и когда атмосфера другихъ камеръ, навѣрное, была вдвое удушливѣе, и ни за что, ни про что распекалъ и надзирателей, и несчастнаго старосту. Точно также и теперь онъ бросился за перегородку, гдѣ помѣщались камерныя параши. За нимъ послѣдовала и вся свита.

— Откройте!—услышали мы оттуда повелительный голосъ начальника,—понюхайте! нѣтъ, вы понюхайте хорошенько!

Слышно было, какъ надзиратели, одинъ за другимъ, подходили и нюхали. Кобылка, тихонько смѣясь, переглядывалась.

— Вотъ что!—заговорилъ Лучезаровъ, появляясь опять въ камерѣ,—староста и парашники плохо знаютъ свои обязанности. Мало чистоты и порядка! Смотрите у меня, я строго буду взыскивать.

И быстрыми шагами почти выбѣжалъ въ корридоръ; со стукомъ и грохотомъ прослѣдовала за нимъ свита, дверь захлопулась, и замокъ щелкнулъ. Арестанты зашумѣли, засмѣялись и принялись за свои обычныя бесѣды и занятія.

Штейнгартъ, склонившись надъ столомъ, читалъ при тускломъ

свѣтѣ лампы полученное письмо, и мрачное лицо его съ густыми нахмуренными бровями напоминало мнѣ первый моментъ нашей встрѣчи. Сердце мое болѣзненно сжалось... Я чувствовалъ себя опять одинокимъ, ревниво размышляя о томъ, что у этого человѣка есть и всегда будетъ свой особый міръ, въ который я никогда не проникну, и въ которомъ онъ будетъ страдать и радоваться одинъ, замкнуто и молчаливо. Я легъ въ свой уголъ, предаваясь этимъ грустнымъ думамъ; а товарищъ долго еще сидѣлъ надъ письмомъ, чтеніе котораго, повидимому, давно было окончено. Затѣмъ, поднявшись, онъ сталъ ходить, въ глубокой задумчивости, взадъ и впередъ по камерѣ. Луньковъ и Сохатый, разложивъ свои тетрадки, сидѣли за столомъ и переругивались.

III.

Разсказъ Штейнгарта.

Было уже совсѣмъ поздно. Арестанты, не исключая и учениковъ, давно исправно храпѣли, когда Штейнгартъ, взобравшись на нары, началъ устраивать свою постель рядомъ съ моею.

— Вы еще не спите, Иванъ Николаевичъ? Знаете, отъ кого я письмо сегодня получилъ?—неожиданно, вполголоса заговорилъ онъ, замѣтивъ, что я не сплю; и, взглянувъ ему въ лицо, я радостно вздрогнулъ: оно опять было свѣтлое, доброе, и темные глаза сіяли изъ-подъ разглаженныхъ бровей, точно двѣ звѣзды, обливая меня теплыми, ласковыми лучами.

Я, конечно, не зналъ, отъ кого было полученное имъ письмо. Отъ матери? Сестры?

— Нѣтъ, отъ невѣсты,—сказалъ Штейнгартъ грустнымъ и вмѣстѣ радостнымъ голосомъ.—Вотъ ужъ никакъ не надѣялся получить! Сегодня, во время пріемки, Лучезаровъ прямо заявилъ намъ, что будетъ выдавать письма только отъ ближайшихъ и несомнѣнныхъ родственниковъ, всѣ же остальныя сохранитъ у себя вплоть до нашего выхода на поселеніе. Это, молъ, законъ, нарушить который невозможно. И вдругъ приноситъ вечеромъ это самое письмо... Признаюсь, Иванъ Николаевичъ, за этотъ великодушный поступокъ я многое готовъ простить Лучезарову и съ очень многимъ въ его режимѣ примириться!

— Да, я видѣлъ, какое впечатлѣніе произвела на васъ повѣрка.

— Ужасное! Но... знаете-ли, о чемъ проситъ меня невѣста? Впрочемъ, мнѣ ужъ хочется все разсказать вамъ, всю нашу грустную повѣсть. Конечно, это личныя муки и радости, и вамъ онѣ не покажутся, быть можетъ, интересными...

— Что вы, Дмитрій Петровичъ! Я боюсь только, что не заслужилъ еще такого довѣрія съ вашей стороны.

— Нѣтъ, вамъ можно довѣриться, я чувствую это... Все, сказанное отъ сердца, вы сердцемъ-же и примете. Для меня же... Я такъ усталъ про себя таить свои думы и муки!

— А Валерьянъ Михайловичъ? Развѣ съ нимъ вы не дружны?

— Видите-ли... Я очень люблю Валерьяна, но мы съ нимъ не друзья. Онъ слишкомъ еще юнъ, и въ немъ есть черты, которыя не располагаютъ къ изліяніямъ... Ну, словомъ, вы сами потомъ узнаете. Во всякомъ случаѣ, моя интимная жизнь ему извѣстна лишь въ самыхъ общихъ чертахъ. Прежде всего, знаете ли вы, что я еврей?

— Вы еврей? Никогда бы этого не подумалъ! Да и ваше имя...

— Ну, имя-то ничего не значитъ. По настоящему я вѣдь не Дмитрій, а Мордухъ, и не Петровичъ, а Пейсеховичъ, но вѣдь это такъ дико звучитъ по-русски... Однако, скажите откровенно, Иванъ Николаевичъ, въ васъ ничего нѣтъ юдофобскаго?

Я засмѣялся.

— Къ счастью, нѣтъ. Могу сказать это, положа руку на сердце. Я родился и выросъ въ сѣверной глуши, гдѣ и евреевъ-то почти нѣтъ. Когда, поэтому, я поступилъ въ петербургскій университетъ, то каждаго чернаго хохла, говорившаго „хадость“ вмѣсто „гадость“, принималъ долгое время за еврея. И послѣ того у меня было нѣсколько лучшихъ товарищей и друзей изъ евреевъ.

— Очень радъ. Вы снимаете съ моего сердца тяжелый камень. Повѣрите-ли, Иванъ Николаевичъ, какія подлыя вещи творятся теперь на Руси! Образованные, интеллигентные, повидимому, люди не стѣсняются громко и открыто произносить слово „жидъ“ и высказывать презрѣніе и ненависть къ евреямъ. Тѣмъ больнѣе все это видѣть и слышать человѣку, который, будучи, какъ я, самъ евреемъ, въ сущности ничѣмъ, кромѣ происхожденія, не связанъ съ роднымъ племенемъ и превосходно знаетъ всѣ его пороки и недостатки. О, слишкомъ даже хорошо знаю я ихъ! Но когда со всѣхъ сторонъ летятъ въ этотъ несчастный народъ плевки и каменья, то можно-ли спрашивать, что́ я долженъ чув-

ствовать и кого долженъ любить?.. Да, именно этотъ проклятый еврейскій вопросъ былъ проклятіемъ и моей личной жизни!.. Вы слушаете меня?

— Я весь вниманіе.

— Итакъ, разскажу вамъ свою исторію. Я былъ еще студентомъ второго курса, когда познакомился съ моей теперешней невѣстой. Мнѣ было двадцать три, Еленѣ двадцать лѣтъ. Оба мы почти въ одинаковой степени проникнуты были тѣмъ „святымъ недовольствомъ“, о которомъ говоритъ Некрасовъ въ своемъ стихотвореніи,—одинаково восторженны, наивны, молоды душой... Этимъ все сказано, — и какимъ образомъ, и ни какой почвѣ создался нашъ романъ. Помните-ли вы весеннія петербургскія ночи, эти бѣлыя чудныя ночи, съ ихъ фантастическимъ колоритомъ и болѣзненной грустью, точно разлитой кругомъ въ воздухѣ? Помните ночныя катанья въ лодкахъ по Невѣ и по взморью, въ компаніи другихъ такихъ же восторженныхъ мечтателей? Или зимнія студенческія вечеринки съ шумной пляской и отважными пѣснями? Впрочемъ, я лично съ наибольшей любовью вспоминаю теперь другую картину. Мнѣ рисуется комнатка Елены на Пескахъ, маленькая, уютная комнатка... На столѣ давно потухъ самоваръ, а мы до полночи сидимъ при свѣтѣ лампы и ведемъ безконечную бесѣду. О любви? О, нѣтъ, рѣже всего и меньше всего о любви! Все важныя и солидныя матеріи: мы перестраиваемъ жизнь человѣчества, рѣшаемъ судьбы міра, собираемся идти на великій подвигъ служенія родному народу... Случалось, Елена вспоминала, наконецъ, что ей нужно учить лекціи, что и мнѣ самому не мѣшало бы подумать о томъ-же; тогда она принималась гнать меня домой. Мы начинали прощаться, но, прощаясь и держась уже за руки, опять увлекались на долго то серьезной бесѣдой, то чисто ребяческой болтовней. Я стоялъ все время у порога комнаты, совсѣмъ уже одѣтый, и мы никакъ не могли разстаться, десять разъ подавая другъ другу руки и десять разъ возобновляя бесѣду. Да, обо всемъ мы тогда переговорили, обо всемъ передумали, одно только позабыли: что я еврей, а она — православная... Все въ нашихъ отношеніяхъ представлялось намъ такъ просто и ясно: мы полюбили другъ друга и, значитъ, всю жизнь будемъ идти рядомъ, рука объ руку, „безъ размышленій, безъ борьбы, безъ думы роковой“... Въ законныхъ узахъ не являлась намъ по той лишь причи

сердца наши, бившіяся въ унисонъ, парили въ то время черезчуръ высоко для заботъ объ эгоистическомъ личномъ счастьи; а, можетъ быть, мы и отгоняли, безсознательно, непріятный вопросъ... Еленѣ казалась своего рода кощунствомъ перемѣна вѣры не по убѣжденію, хотя бы и ради любви; меня страшила, кромѣ того, необходимость нанести жестокій ударъ старухѣ-матери, безумно меня любившей, но преданной староеврейскимъ завѣтамъ и преданіямъ. А жизнь, между тѣмъ, не медлила и разрѣшила вопросъ по своему. Когда меня въ одно прекрасное утро арестовали, Елена не только не была допущена ко мнѣ на свиданіе, но и сама арестована и выслана на родину. Переписки намъ также не разрѣшили... Я приходилъ въ ярость, безумствовалъ, не зная— что̀ съ Еленой, жива-ли она, свободна-ли. Вы знаете, конечно, это чувство, когда готовъ бываешь разбить черепъ объ холодныя, каменныя стѣны!..

— Но, Иванъ Николаевичъ, человѣкъ—безгранично-терпѣливое, возмутительно-выносливое животное, и я тоже все вынесъ, ни съума не сошелъ, ни головы себѣ не разбилъ, остался живъ и здоровъ. А, между тѣмъ, цѣлыхъ два года прошло. Наконецъ, меня осудили въ каторгу и передъ отправкой въ Сибирь перевели въ Домъ Предварительнаго Заключенія. Послѣ абсолютнаго одиночества крѣпости мнѣ показалось, что я попалъ въ шумный водоворотъ жизни: по корридору то и дѣло слышались шаги, голоса, живые голоса живыхъ людей; по всѣмъ направленіямъ стѣнъ, точно неугомонные дятлы, перестукивались между собой заключенные... Ну, да вѣдь вы сами знаете — нечего объ этомъ разсказывать. Но, признаюсь, долгое время меня страшно раздражалъ этотъ шумъ, и я съ искреннимъ сожалѣніемъ вспоминалъ о своемъ прежнемъ тихомъ гробѣ. Съ переводомъ въ предварилку, я могъ бы, конечно, немедленно написать Еленѣ, — и я зналъ это,—но писать и не думалъ. Я давно почему-то рѣшилъ, что она разлюбила меня и, навѣрное, вышла уже замужъ. Въ началѣ, когда мнѣ приходили въ голову такія мысли, мною овладѣвало бѣшенство, я ревновалъ, плакалъ, грозилъ; но съ теченіемъ времени примирился съ „неизбѣжнымъ закономъ женской природы“, какъ съ горечью называлъ это. Вотъ мужчина,—думалось мнѣ,—другое дѣло! Если бы и двадцать лѣтъ пришлось мнѣ ждать, я нашелъ бы въ себѣ достаточно любви и силы, прождалъ-бы!

И вотъ однажды дверь моей камеры растворяется, и надзи-

ратель подаетъ мнѣ депешу. Не вѣря глазамъ, читаю: „Телеграфируй Томскъ смотрителю тюрьмы, скоро-ли будешь высланъ. Останусь ждать. Люблю, помню. Твоя Елена". Телеграмма была изъ Тюмени.

Отъ радости я чуть не лишился чувствъ. Ледяная кора прорвалась, и спавшій подъ ней мертвецъ ожилъ. Весна, весна! Воскресеніе!—Въ тотъ же день я послалъ отвѣтъ, въ которомъ, къ сожалѣнію, не могъ точно указать время своей отправки.

Въ первую минуту я не огорчился даже тѣмъ, что и Елена высылается въ Сибирь, что и она лишена свободы. Я не забытъ, я любимъ! Мы опять увидимся,—а вчера еще свиданіе казалось возможнымъ лишь за могилой! Безконечное число разъ перечитывалъ я телеграмму и, забывая, что почеркъ чужой, цѣловалъ дорогія строки... Такъ, въ блаженномъ чаду, провелъ я нѣсколько дней... Добрая! вѣрная! Какъ мелокъ и пошлъ казался я самъ себѣ своими недавними упреками и подозрѣніями! Теперь я боялся лишь одного: что́, если телеграмма моя опоздаетъ и уже не застанетъ Елены въ Томскѣ? Мнѣ представлялись тысячи случайностей, которыя могли разстроить наше свиданіе и снова сдѣлать его несбыточной грёзой...

Высылка моя состоялась лишь двѣ недѣли спустя, въ концѣ іюля, и только въ половинѣ августа баржа наша подплыла, наконецъ, къ таинственному Томску. Разсказать, какъ волновался я въ то памятное утро, я не въ силахъ. Для меня совершенно не существовало тѣхъ тревогъ, какими мучились товарищи: какъ будутъ встрѣчены они новымъ начальствомъ, какого рода обыскъ предстоитъ и проч. Я весь поглощенъ былъ вопросомъ: здѣсь-ли Елена? Какъ-то встрѣтимся мы послѣ двухлѣтней разлуки? Не дожидаясь, пока партію пустятъ во дворъ тюрьмы, я бросился къ вышедшему смотрителю. Угрюмый, непривѣтливый старикъ съ видимой неохотой сказалъ мнѣ, что Елены въ тюрьмѣ нѣтъ,—телеграмма моя была получена ею своевременно, но никакого вопроса объ оставленіи въ тюрьмѣ она не поднимала.

— Она здорова?

— Вполнѣ, даже весела.

Пришибленный, пристыженный, отошелъ я отъ смотрителя, и мнѣ почудилось, что онъ насмѣшливо и какъ бы съ соболѣзнованьемъ посмотрѣлъ мнѣ вслѣдъ... Старые демоны проснулись въ душѣ: значитъ, я забытъ! И такъ скоро!..

Между тѣмъ, разсказы о веселой барышнѣ-арестанткѣ встрѣчали меня въ тюрьмѣ на каждомъ шагу.

— Ну, и безунывная-жъ барышня! Прямо душа-человѣкъ!— отзывались о ней съ теплымъ сочувствіемъ старые, опытные бродяги,—всякаго-то она привѣтитъ, приласкаетъ, со всякимъ пошутитъ, посмѣется.

Я самъ, точно, забылъ въ это время о характерѣ Елены, поражавшемъ меня еще на волѣ: въ минуты самаго глубокаго душевнаго волненія, въ присутствіи постороннихъ, она умѣла быть веселой, безпечной, разговорчивой, и серебряный смѣхъ ея звучалъ такъ громко и часто, что никому и въ голову не пришло бы въ это время подумать, что она разстроена. Теперь я одно твердилъ себѣ: „Весела, шутитъ, смѣется, когда...“

Съ Томска, какъ вы помните, начинается уже настоящій этапный путь, пѣшій вояжъ ссыльныхъ партій. Не прошли мы и нѣсколькихъ шаговъ перваго же станка, какъ изъ кучки товарищей, шедшихъ впереди меня и мирно бесѣдовавшихъ съ провожавшимъ партію офицеромъ, долетѣла до моего слуха фамилія Елены. Я вздрогнулъ и прислушался къ разговору, въ который до тѣхъ поръ не вникалъ.

— Я вамъ говорю, господа, что съ этимъ народомъ нужно ухо востро держать. Чуть зазѣвайся только, сейчасъ „секимъ-башка!“—и пошли въ ходъ ножи. Вѣдь посмотрите, вотъ, какъ пострадала ни въ чемъ неповинная, прекрасная дѣвушка!—такъ ораторствовалъ толстенькій офицерикъ съ добродушнымъ открытымъ лицомъ и уже сѣденькой бородкой.

Въ мгновеніе ока я былъ подлѣ него.

— Что съ ней случилось, капитанъ, Бога ради, что такое?..

Я видѣлъ какъ мои товарищи усиленно моргали офицеру глазами, кашляли, но онъ ничего этого не замѣчалъ и съ большой любезностью согласился повторить мнѣ свой разсказъ.

— Да развѣ вы не слышали объ исторіи, которая произошла въ Халдеевскомъ этапѣ? Это второй отсюда этапъ.

— Ничего не слышалъ.

— Черкесы взбунтовались въ партіи и давай полосовать русскихъ ножами. А одинъ желѣзными наручнями какъ ударилъ Елену Н. по головѣ,—такъ, говорятъ, полчерепа и отхватилъ!

Весь міръ завертѣлся въ моихъ глазахъ, и я, какъ снопъ, повалился на землю. Когда я очнулся, товарищи и самъ просто-

душный капитанъ, уже знавшій о томъ, что онъ разсказывалъ мнѣ о моей невѣстѣ, стали меня успокаивать, утѣшать.

— Да вы же не дослушали меня,—смущенно объяснялъ маленькій капитанъ,—я не сказалъ вѣдь, что она умерла... Да и насчетъ полчерепа я это такъ, для картинности больше, такъ сказать, выразился... Ну, какіе тамъ полчерепа! Кожу только оцарапалъ немного... Увѣряю васъ, она жива и здорова.

Но успокить меня, разумѣется, было не такъ-то легко, тѣмъ болѣе, что кобылка, до которой также дошелъ слухъ о бунтѣ черкесовъ, разсказывала исторію совсѣмъ иначе: черкесы, будто бы, ворвались ночью въ камеру женщинъ, и послѣднія спасены были только подоспѣвшимъ конвоемъ, убившимъ нѣсколькихъ азіатовъ на мѣстѣ; въ свалкѣ была, будто бы, ранена и одна женщина... Понятно, что подобная версія могла лишь еще больше встревожить и напугать меня. Во снѣ и на яву грезилась мнѣ Елена, блѣдная, истекающая кровью, и минуты казались нескончаемыми часами.

Только прибывъ черезъ двое сутокъ на Халдеевскій этапъ, я могъ самъ убѣдиться въ преувеличенности своихъ тревогъ и опасеній. Напугавшій меня добродушный капитанъ немедленно привелъ начальника халдеевской команды, и тотъ лично завѣрилъ меня, что невѣста моя жива и вполнѣ здорова. Дѣло было такъ. Одинъ изъ черкесовъ повздорилъ съ русскимъ арестантомъ и такъ сильно пырнулъ его ножомъ въ животъ, что нѣсколько дней спустя тотъ умеръ, но за то и самъ былъ раненъ въ голову. Елена пошла перевязывать раненыхъ, и въ это-то время разъяренный горецъ, поднявъ обѣ руки, закованныя въ наручни, хотѣлъ ударить ими по головѣ стоявшую по близости подругу Елены. Послѣдняя еле успѣла подставить подъ ударъ свою руку. Рана причиняла сильную боль, но опасности не представляла, и Елена уѣхала съ партіей дальше. Этотъ разсказъ подтвердили и солдаты халдеевской команды, и старикъ-каморщикъ; сомнѣваться въ его вѣрности было невозможно.

— И вѣдь какая веселая барышня,—неизбѣжно прибавляли всѣ разсказчики,—еще смѣется послѣ этого! Ей говорятъ: „Не подходите впередъ на сто шаговъ къ этому звѣрью“. А она: „Не бѣда,—говоритъ,—видно, очень ужъ его раздражили, бѣднягу. На его мѣстѣ, можетъ быть, и вы бы хватили перваго встрѣчнаго“. И что же вы думаете? Нарочно ходила послѣ ямъ

секретной, куда засадили черкеса, и спрашиваетъ его: „За что ты ударилъ меня? Я тебѣ же рану хотѣла перевязать“. Ну, онъ— звѣрь, такъ звѣрь и есть: глядитъ исподлобья, ровно съѣсть хочетъ... „Бѣдные“ они! Вздернуть бы ихъ всѣхъ на первой осинѣ— и вся недолга!

А напугавшій меня старичекъ-капитанъ, весело потирая руки, все говорилъ мнѣ:

— Ну, вотъ видите... А то полчерепа! Эка, батенька, влюбленное-то воображеніе что нарисуетъ! Хе-хе-хе... ужъ извините меня за откровенность.

Онъ, очевидно, и забылъ уже, что нарисовало это не мое, а его собственное воображеніе.

Только въ Ачинскѣ получилъ я впервые извѣстіе отъ самой Елены, телеграмму изъ Красноярска: „здорова, жду“. Это были для меня дни, полные какого-то блаженнаго опьянѣнія. Послѣдніе станки, не смотря на тяжелые кандалы и непривычку къ ходьбѣ, я почти не присаживался на подводу и шелъ, не чувствуя утомленія, по двадцати верстъ пѣшкомъ; если же и садился, бывало, отдохнуть, то немедленно вскакивалъ на ноги: мнѣ все казалось, что подводы двигаются слишкомъ медленно, и я спѣшилъ туда, гдѣ впереди партіи шли лучшіе изъ каторжныхъ ходоковъ.

Въ Красноярскъ мы прибыли въ яркій солнечный день. Какъ сквозь туманъ, помню прощаніе съ товарищами предшествующей партіи, стоявшими у воротъ тюрьмы и въ этотъ поздній часъ только что собиравшимися выступить въ дальнѣйшій путь. Почти каждый изъ нихъ, улыбаясь пожималъ мнѣ руку и поздравлялъ съ тѣмъ, что сейчасъ я увижусь, наконецъ, съ Еленой. А я дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ, и лишь машинально отвѣчалъ на всѣ предлагаемые вопросы. Рѣшительно не понимаю, какъ это случилось, что я очутился во дворѣ тюрьмы, когда остальная партія оставалась еще за воротами; я взбѣжалъ на указанное мнѣ кѣмъ-то тюремное крыльцо, спотыкаясь и путаясь въ гремящихъ кандалахъ, и тутъ же, въ дверяхъ, столкнулся съ блѣдной, худенькой дѣвушкой, принявшей меня въ объятія.. Когда я очнулся, мы сидѣли уже въ маленькой каморкѣ, въ которой жила Елена, и бесѣдовали. Впрочемъ, эта первая бесѣда послѣ трехъ лѣтъ разлуки скорѣе походила на безсвязный ребяческій лепетъ... Помню, я долго стѣснялся снять свою арестантскую шапку и показать Еленѣ бритую голову...

Кажется, Данте сказалъ, что всего тяжелѣе въ минуты горя вспоминать дни блаженства? Вотъ и мнѣ теперь мучительно-больно. Буду поэтому кратокъ. Мы все время думали, что стоитъ мнѣ немедленно креститься, и намъ позволятъ обвѣнчаться, и мы уже не разстанемся больше. И какъ же мы были поражены когда узнали, что каторжнымъ позволяютъ жениться лишь по окончаніи какого-то тамъ испытуемаго и исправляющаго срока, и что для меня этотъ срокъ—семь лѣтъ!.. Иркутскъ былъ конечнымъ пунктомъ, до котораго намъ предстояло идти въ одной партіи, и новая разлука наша, разлука на цѣлыхъ семь лѣтъ, отсрочивалась всего на два мѣсяца... Блаженные и вмѣстѣ страшные это были мѣсяцы, когда мы непрерывно чувствовали висящій надъ головами Дамокловъ мечъ. Въ Иркутскѣ мы, по обычаю, посажены были въ различныя отдѣленія,—я въ мужское, Елена—въ женское, которое было гдѣ-то на другомъ дворѣ. Видѣться намъ удавалось только во время прогулокъ по тюремному садику. Все говорило о близкой разлукѣ, все наводило на мрачныя размышленія и предчувствія. И разлука подошла совершенно неожиданно. Разъ вечеромъ, въ половинѣ декабря, къ воротамъ тюрьмы подкатила тройка, и меня пригласили въ тюремную кузницу для заковки въ кандалы (передъ тѣмъ врачъ распорядился временно расковать меня). Многаго стоило мнѣ уломать смотрителя привести туда же и Елену, чтобъ мы могли проститься, и въ то время, какъ я сидѣлъ на полу кузницы, а кузнецъ возился около меня съ молоткомъ, заклепывая на-глухо кандалы, я услышалъ знакомые, торопливые шаги... Мы, словно, помѣнялись въ этотъ вечеръ ролями: прежде я все время былъ унылъ и мраченъ, Елена же бодра и весела на видъ; ея вѣчный серебристый смѣхъ и кажущаяся беззаботность насчетъ будущаго порой даже раздражали мнѣ нервы... Теперь, въ виду такъ неожиданно нагрянувшей и ничѣмъ уже неотвратимой бѣды, я чувствовалъ себя сильнымъ, смѣлымъ, я говорилъ слова утѣшенія и надежды, а въ ея затуманенныхъ, потемнѣвшихъ глазахъ дрожали все время крупныя, свѣтлыя слезы... До тѣхъ поръ я ни разу въ жизни не видѣлъ ея плачущей... Изъ кузницы она пошла провожать меня и за ворота тюрьмы—смотритель не счелъ почему-то нужнымъ протестовать. Я никогда не забуду того морознаго, торжественно-тихаго вечера; звѣздъ на темномъ небѣ горѣло видимо-невидимо... Когда я сѣлъ повозку, рядомъ съ

двумя усатыми конвоирами, продрогшая тройка почти сразу дернула и сумасшедшимъ галопомъ помчалась въ снѣжную даль. Обернувшись, я долго кричалъ что-то Еленѣ, не помню что: мнѣ все казалось, что между нами осталось что-то недосказанное, невыясненное и въ то же время необыкновенно важное... Должно быть, я кричалъ какіе-нибудь пустяки! Долго еще казалось мнѣ, что я различалъ въ сумракѣ звѣздной ночи, какъ возлѣ бѣлой тюремной стѣны, у фонаря, стояла знакомая, грустно поникшая фигура...

Штейнгартъ замолчалъ, и я чувствовалъ, что вотъ-вотъ онъ не выдержитъ и разразится рыданіями. У меня самого не отыскивалось утѣшающихъ словъ. Я спросилъ:

— А вы знали, разлучаясь, что вамъ не позволятъ вести оффиціальную переписку?

— Да, конечно, знали, хотя на всякій случай (онъ, какъ видите, и представился) Елена обѣщала изрѣдка писать. Вообще же, мы условились переписываться черезъ одну изъ моихъ тетокъ, женщину образованную и давно посвященную въ наши отношенія. Живетъ она въ Минскѣ. И такъ подумайте, Иванъ Николаевичъ, черезъ сколько времени я буду получать извѣстія объ Еленѣ, а она обо мнѣ? Не раньше, какъ въ пять мѣсяцевъ письмо совершитъ это кругосвѣтное путешествіе! Да, Лучезарову за передачу этого письма я ужасно благодаренъ; должно быть, и его оно тронуло... А я, Иванъ Николаевичъ, чувствую, что все во мнѣ перемѣнилось... Елена требуетъ во имя нашей любви, чтобъ я вытерпѣлъ здѣсь все, что только не затронетъ моего человѣческаго достоинства,—и я исполню ея желаніе.

— Такъ вотъ въ чемъ секретъ, что Лучезаровъ передалъ вамъ это письмо!—неосторожно пошутилъ я.

Штейнгартъ задумался.

— Пожалуй, вы правы... Ну, да все равно! Я буду терпѣть все, что только не затронетъ нашего человѣческаго достоинства. Вѣдь вы же терпѣли? *Они* терпятъ!

— Ну, объ нихъ мы еще успѣемъ поговорить, теперь не время... да и не мѣсто,—прибавилъ я по-французски,—вонъ Луньковъ, кажется, не спитъ.

Мы еще поболтали нѣкоторое время. Штейнгартъ выразилъ вслухъ удивленіе тому, что такъ разоткровенничался со мной.

— А развѣ вы жалѣете объ этомъ?

— О, нѣтъ! Нисколько.

Онъ горячо пожалъ мою руку.

— Я чувствовалъ,—сказалъ онъ задушевно,—мертвецъ надъ мертвецомъ не станетъ смѣяться... Знаете ли, Иванъ Николаевичъ, мнѣ все время такъ и кажется, что это-то и есть такъ называемый „тотъ свѣтъ"—міръ, въ которомъ мы живемъ теперь съ вами. И я разсказывалъ вамъ сегодня о своей земной жизни, далекой и навѣкъ уже невозвратной!

Послѣ этого мы замолчали и рѣшили попытаться заснуть.

Но сонъ долго еще не шелъ къ намъ. Выслушанный разсказъ пробудилъ въ душѣ столько давно уснувшаго, позабытаго... Глубокая, жгучая тоска охватила меня... Штейнгартъ также до поздней ночи ворочался съ боку на бокъ на своей жесткой постели...

IV.

По новому.

Свистокъ надзирателя прервалъ мой сонъ на самомъ интересномъ мѣстѣ. Мнѣ снилось, что я еще гимназистъ, юноша лѣтъ четырнадцати, что въ шумномъ классѣ я сижу одинокій и нелюбимый товарищами. Всѣ глядятъ на меня съ насмѣшкой и явнымъ пренебреженіемъ, хотя причина этой насмѣшливости ускользаетъ отъ моего сознанія. Мнѣ горько, мнѣ безконечно обидно несправедливое отношеніе ко мнѣ товарищей, но я бы всѣмъ пренебрегъ, все бы вынесъ, еслибы за-одно съ ними не былъ и тотъ, въ кого я влюбленъ со всѣмъ пыломъ первой юности, кого считаю недосягаемымъ для себя образцомъ, идеаломъ ума, геройства и талантливости. Кто, собственно, этотъ любимый товарищъ, я не могу дать себѣ яснаго отчета: въ его лицѣ есть и черты давно мной забытыя, черты какого-то, дѣйствительно, существовавшаго у меня гимназическаго друга, и черты совсѣмъ новыя, мучительно мнѣ знакомыя. Вотъ профиль строгаго, блѣднаго лица съ насупленными черными бровями... О, почему онъ не хочетъ глядѣть на меня, зачѣмъ отворачивается? Неужели и онъ такъ же ошибочно понимаетъ меня, какъ всѣ, не знаетъ того, что я одинъ разгадалъ его душу, одинъ могу искренно и пламенно любить ее? Подъ вліяніемъ моего пристальнаго, влюбленнаго взгляда юноша вдругъ поворачивается въ мою сторону...

Я жду встрѣтить сердитые темные глаза, прочесть гнѣвъ на этомъ строгомъ лицѣ, и вмѣсто того—Боже! передо мной лицо, все залитое слезами... Добрые, любящіе глаза глядятъ съ трогательной мольбою, дрожащія руки протягиваются ко мнѣ...

— Дмитрій!—вскрикиваю я, бросаясь въ его объятія и сразу вспоминая имя.

Но онъ уклоняется, онъ прикладываетъ палецъ къ губамъ, умоляя о молчаніи... Намъ обоимъ грозитъ страшная опасность, одинъ звукъ можетъ погубить насъ обоихъ... И я сразу вспоминаю, что мы въ каторжной тюрьмѣ, оба несчастные, всѣми покинутые... Кругомъ ночной мракъ и какая-то высокая каменная стѣна, за которой живетъ Елена, и откуда мы должны похитить ее, чтобы вмѣстѣ бѣжать... Мы тихо крадемся, держась за руки и ежеминутно вздрагивая... И вдругъ яростный смѣхъ раздается сзади, стукъ ключей, бряцанье ружей—все погибло! Мы открыты, узнаны, и некуда дѣться! Я узнаю сердитые голоса Лучезарова, надзирателей, Юхорева...

— Въ карцеръ отвести ихъ! Наручни подать!

И въ ужасѣ я просыпаюсь.

— Вставай на повѣрку, вставай!

Со свистомъ проходитъ по корридору надзиратель... Я схватываюсь за голову, силясь что-то вспомнить—не то очень дурное, не то очень хорошее.

— Да, я вѣдь не одинокъ больше среди этого ужаса! Со мной товарищи...

О, какъ я счастливъ! Какая бодрящая сила разливается внезапно по всѣмъ жиламъ! Прочь сомнѣніе и отчаяніе! Теперь есть у меня цѣль въ жизни—облегчить страданія дорогихъ мнѣ людей, только что начинающихъ тяжелое каторжное поприще, людей непривычныхъ, слабыхъ, незакаленныхъ въ испытаніяхъ...

— Дмитрій Петровичъ!—окликаю я Штейнгарта;—вы тоже уже проснулись?

Штейнгартъ сидитъ на своей постели и нервно, поспѣшно одѣвается. Но отвѣтить онъ не торопится и не то сердито, не то сконфуженно отворачивается въ сторону.

— Куда вы такъ спѣшите?

— А какъ-же... сейчасъ повѣрка?

— Утромъ повѣрка дѣлается въ корридорѣ. Это облегченіе давно уже завоевано... Послѣ свистка двери камеръ отворятъ

только черезъ двадцать минутъ. Тогда и успѣемъ накинуть халаты; а затѣмъ, въ виду того, что сегодня нерабочій день, можно будетъ и еще часика полтора соснуть. Ну, какъ вы провели ночь? Что во снѣ видѣли?

— Спалъ плоховато и всевозможную чепуху видѣлъ. Лучезаровъ, будто-бы, учитель латинскаго языка въ нашей гимназіи и поставилъ мнѣ единицу!

— Да, онъ теперь частенько будетъ вамъ сниться.

Послѣ повѣрки мы, однако, не уснули больше и, повалявшись немного въ постеляхъ, отправились въ камеру Башурова провѣдать, какъ онъ живъ и здоровъ. Мы столкнулись съ нимъ въ корридорѣ—онъ въ свою очередь шелъ навѣстить насъ. Прогуливаясь втроемъ по корридору, мы стали дѣлиться ночными впечатлѣніями. Башуровъ жаловался на убійственную атмосферу въ ихъ камерѣ, на процедуру повѣрокъ, на общую тягостность тюремнаго режима, но за то былъ въ большомъ восторгѣ отъ арестантовъ, отъ состава своей камеры.

— Я представлялъ ихъ собѣ гораздо хуже, судя по дорожнымъ впечатлѣніямъ,—говорилъ онъ.—Но тамъ, въ пути, условія жизни до того ненормальны, что, собственно, и спрашивать многаго съ людей нельзя. Всѣ тамъ чужды другъ другу, сегодня идутъ вмѣстѣ, а завтра пойдутъ розно; трудно даже характеръ человѣка настоящимъ образомъ узнать. Ну, а здѣсь другое дѣло. Люди живутъ вмѣстѣ годами и невольно сдружаются.

— Ну, особенной дружбы вы и здѣсь, пожалуй, не увидите,— замѣтилъ я расхолаживающимъ тономъ.—А кто же больше всего понравился вамъ изъ сожителей?

— Прежде всего, какъ юмористическій элементъ, Карпушка Липатовъ.

— Совѣтую только не поощрять особенно его болтовни, а то онъ сядетъ вамъ на шею, и вы потомъ отъ него не отвяжетесь.

— Ахъ, какой-же вы, право, Иванъ Николаевичъ... суровый человѣкъ! Я ужъ и вчера замѣтилъ, что вы съ нимъ черезчуръ строги... Онъ милый, этотъ Карпушка... Представь, Дмитрій, изъза чего онъ вчера со всей камерой поссорился. Я просилъ отворить форточку, и староста отворилъ, а онъ всталъ посрединѣ камеры въ позу и протестуетъ: „Это вы всѣ, мужичій р
конюшняхъ воспитывались, такъ вамъ и нуженъ чистый
а во мнѣ дворяньская кровь течетъ, мнѣ чистаго воз

надо". И такъ потѣшно выговариваетъ онъ эти слова: „дворяньскій", „Двиньскъ" (мѣсто его родины) и проч. Смѣху сколько было надъ нимъ! Въ концѣ концовъ сталъ просить у меня сахару и табаку, но тутъ Юхоревъ (вотъ властный человѣкъ этотъ Юхоревъ!) какъ подымется съ наръ, да прикрикнетъ на него... И, мой Карпушка въ уголъ тотчасъ-же, на свое мѣсто! Вообще вся камера производитъ отрадное впечатлѣніе прежде всего выдержкой въ обращеніи, солидностью, разумностью. Просто забываешь, что имѣешь дѣло съ каторгой, а не съ обыкновеннымъ русскимъ народомъ. И какая жажда къ ученью, къ знанію. Представьте, у меня вчера же составилась цѣлая школа, чуть не полъ-камеры учениковъ набралось! Интересно, какъ вы глядите, Иванъ Николаевичъ, на этихъ людей? Мнѣ кажется, теорія Ломброзо возмутительно, въ сущности, бездушная теорія! На самомъ дѣлѣ большинство нашихъ, по крайней мѣрѣ, преступниковъ точь въ точь такіе-же, какъ и всѣ русскіе люди, и только случайное какое-нибудь стеченіе обстоятельствъ толкаетъ ихъ на путь преступленія.

— Право, не знаю, Валерьянъ Михайловичъ. Живу здѣсь вотъ ужъ два съ половиной года, но обобщеній никакихъ не возьмусь дѣлать. Наука, конечно, рѣшитъ когда-нибудь этотъ вопросъ, а пока можно только собирать факты для будущихъ точныхъ выводовъ.

— Ну, разумѣется, мы съ вами не ученый диспутъ ведемъ, но все же вѣдь очень важны первыя впечатлѣнія. Напр., хотя-бы взять Юхорева. Теперь онъ считается каторжнымъ, разбойникомъ, а разберите-ка суть дѣла, скажите: при другихъ условіяхъ, въ другой странѣ, развѣ онъ не могъ-бы стать вожакомъ какой-нибудь гарибальдійской банды, борющейся за возвышенный принципъ? У него даже и внѣшность-то скорѣе общественнаго протестанта, чѣмъ уголовнаго преступника!

— Внѣшность у него, правда, внушительная, но всетаки трудно сказать, что было-бы, если бы было... Пока что, онъ разбойникъ и ничего больше.

— Не совсѣмъ. Вы развѣ не знаете, за что онъ попалъ въ каторгу съ олекминскихъ пріисковъ? Онъ былъ тамъ спиртоносомъ. Конечно, не Богъ знаетъ какое это возвышенное занятіе, но все же и не ужасное какое-нибудь. Казаки хотѣли отнять у него съ товарищами золото, онъ оказалъ смѣлое вооруженное сопротивленіе...

— А изъ Россіи онъ за что попалъ въ Якутскую область?

— Его вѣдь общество сослало въ Сибирь, и, если вѣрить его собственному разсказу,—а онъ, кажется, не враль,—общество это состояло изъ порядочныхъ скотовъ. Онъ же защищалъ интересы бѣдноты. Во всякомъ случаѣ человѣкъ это несомнѣнно замѣчательный. Представь себѣ, Дмитрій, безграмотный въ сущности мужикъ, а знаетъ наизусть огромную защитительную рѣчь, которую написалъ ему одинъ якутскій же ссыльный. Юхоревъ долженъ былъ произнести ее на судѣ, но ему не позволили. Рѣчь, дѣйствительно, недурная и очень смѣлая. И какъ энергично, какъ выразительно произноситъ ее этотъ разбойникъ, какъ называетъ его Иванъ Николаевичъ!

Я вспомнилъ, что Юхоревъ и мнѣ собирался нѣсколько разъ прочесть эту рѣчь, но все не выходило подходящаго случая.

— Валерьянъ!..—послышался вдругъ съ другого конца корридора громкій возгласъ легкаго на поминѣ Юхорева, — чаевать ступайте, все готово!

— Сейчасъ, сейчасъ,—откликнулся нѣсколько сконфуженный Башуровъ и поспѣшилъ въ свою камеру.

Штейнгартъ замѣтилъ, что я немного поморщился.

— Вы, повидимому, не долюбливаете этого Юхорева?—спросилъ онъ меня.

Я объяснилъ, что нахожу во многихъ отношеніяхъ неудобнымъ для насъ допускать слишкомъ большую фамильярность не только съ Юхоревымъ, но и вообще съ арестантами, съ людьми совершенно иного нравственнаго склада. Штейнгартъ задумался.

— Боюсь, что Валерьянъ доставитъ намъ въ этомъ отношеніи хлопоты. У него вообще есть недостатокъ—то безъ причины завязывать съ людьми слишкомъ дружескія, почти интимныя отношенія, то вдругъ, безъ видимой же причины, отталкивать ихъ отъ себя. Конечно, не отъ дурного чего-нибудь это происходитъ у него, а такъ—отъ молодого легкомыслія... И, кромѣ того, онъ довольно самонадѣянъ и самомнителенъ. Вотъ, онъ уже прочелъ вамъ сегодня легкую нотацію насчетъ вашего, якобы жесткаго, отношенія къ людямъ, и, вѣроятно, искренно думаетъ про себя, что самъ онъ не таковъ, что онъ способенъ всѣхъ этихъ людей безъ исключенія по-братски любить, прощая имъ всѣ ихъ недостатки. А о томъ онъ и не подумаетъ, что вы уже прожили здѣсь безъ насъ цѣлые годы, и мы застали васъ любимымъ и

уважаемымъ всей тюрьмою; мы-же только начинаемъ свое поприще, и кто еще знаетъ, что мы сдѣлаемъ, какъ уживемся съ этимъ народомъ?

Послѣ этого мы отправились въ свою камеру тоже пить чай. Было воскресенье, и арестанты весь день то занимались безпробуднымъ спаньемъ, то принимались по двадцати разъ за чаепитіе. Мѣстами перекидывались въ картишки, мѣстами велись вялые разговоры на давно истощенныя темы. Темы нашихъ разговоровъ были неисчерпаемы. Не успѣвъ досыта наговориться объ одномъ предметѣ, мы уже бросались къ другому, третьему и такъ далѣе, до безконечности. Мнѣ приходилось, впрочемъ, въ началѣ больше слушать, такъ какъ, проживъ столько времени вдали отъ живого міра, я сгоралъ нетерпѣніемъ узнать, что произошло въ этомъ мірѣ за годы моего отсутствія. Но едва только удовлетворена была въ общихъ чертахъ моя любознательность, какъ разсказчиками овладѣло тоже вполнѣ законное и понятное любопытство относительно подробностей ожидающей ихъ въ Шелайскомъ рудникѣ жизни, и я, въ свою очередь, изъ слушателя превратился въ разсказчика. Взявшись втроемъ подъ руки и прогуливаясь по корридорамъ тюрьмы, мы весь день провели такимъ образомъ въ самой оживленной бесѣдѣ. Я спросилъ, между прочимъ, товарищей объ ихъ денежныхъ средствахъ. Оказалось, что оба они разсчитывали получать отъ родственниковъ по двадцати рублей ежемѣсячно.

— Отлично!—воскликнулъ я,—почти столько же могу получать и я... Но, пока я жилъ здѣсь одинъ, эти деньги были мнѣ почти ни къ чему, такъ какъ помогать всей тюрьмѣ на такую ничтожную сумму невозможно, а пользоваться ими одному тяжело и непріятно. Теперь, если вы согласитесь, мы устроимъ дѣло такъ, что вся тюрьма будетъ жить въ матеріальномъ отношеніи сносно.

— Развѣ это мыслимо при бюджетѣ въ 60 рублей?

— А вотъ судите сами. Тюремное населеніе не превышаетъ обыкновенно 120 человѣкъ и въ рѣдкихъ только случаяхъ достигаетъ 150 и больше. Прежде всего арестанты страдаютъ отъ отсутствія табаку. Полутора фунтовъ махорки въ недѣлю совершенно достаточно для одной камеры, въ качествѣ прибавки къ тому табаку, который арестанты могутъ выписывать сами. Считая съ кухней десять камеръ, мы должны будемъ покупать полтора пуда махорки въ мѣсяцъ.

— А сколько стоитъ махорка?

— Сорокъ копѣекъ фунтъ. Значитъ, полтора пуда—двадцать четыре рубля... Это самая крупная статья расхода. Если затѣмъ въ постные дни прибавлять въ котелъ по одному пуду мяса, то баланда, навѣрное, получится великолѣпная. Баранина стоитъ здѣсь 2 р. пудъ. Слѣдовательно, улучшеніе пищи въ постные дни обойдется намъ въ мѣсяцъ (восемь постныхъ дней) въ шестнадцать рублей. На остающіеся 20 рублей мы можемъ имѣть байховый чай, сахаръ и табакъ для себя и еще дѣлать изрѣдка, въ праздничные дни, прямо роскошные обѣды для всей тюрьмы, прибавляя, напр., по полупуду мяса къ казенному пайку.

— Но позвольте! Что скажетъ на все это Лучезаровъ?

— Ничего. Онъ самъ неоднократно заявлялъ публично, что улучшенія общаго котла закономъ разрѣшаются. Бѣда была только въ томъ, что арестанты держатся на этотъ счетъ своего особаго мнѣнія: коммунальными теоріями ихъ не соблазнитъ и самъ законъ, и ни одного такого благодѣтеля тюрьмы до сихъ поръ не отыскивалось. А богатые люди есть и среди нихъ...

— Итакъ, Иванъ Николаевичъ, наша многолюдная артель единогласно избираетъ васъ своимъ старостой. Вы такъ отлично всѣ эти дѣла знаете. Да и съ Шестиглазымъ у васъ установились уже опредѣленныя отношенія.

Я, не споря, принялъ бразды правленія, переговорилъ немедленно съ экономомъ и заказалъ ему табакъ и мясо для ближайшаго постнаго дня. Услыхавъ о нашемъ желаніи кормить на свои деньги всю тюрьму, толстый экономъ хихикнулъ, очевидно, считая меня съ новыми товарищами отчаянными олухами, но противорѣчить ни въ чемъ не сталъ и на другой же день доставилъ пятнадцать фунтовъ махорки.

— Нацальникъ смѣется, — сообщилъ онъ при этомъ, широко улыбаясь,—что никому-бъ, кромѣ васъ, не позволилъ въ тюльмѣ майданъ устлаивать.

Я обошелъ всѣ камеры и роздалъ старостамъ для дѣлежки по полтора фунта махорки на каждый номеръ. Старосты, принимая табакъ, не выражали ни большого удивленія, ни особеннаго любопытства. Вернувшись послѣ того въ свою камеру, я не мог[illegible] не наблюдать за тѣмъ впечатлѣніемъ, какое произвело на [illegible] изъ сожителей необычное въ тюремной жизни явленіе. Ст[illegible] Шемелинъ, нашъ камерный староста, вытеръ тщательно

принялся раскладывать табакъ на шестнадцать кучекъ, точь въ точь такъ же, какъ онъ дѣлалъ это ежедневно съ мясомъ. Я поспѣшилъ шепнуть ему, чтобъ меня съ Штейнгартомъ онъ въ разсчетъ не принималъ. Шемелинъ почтительно выслушалъ и ничего не возразилъ. Двѣ кучки моментально исчезли со стола и ровными щепотками распредѣлились между остальными четырнадцатью. Затѣмъ старикъ все съ той-же дѣловитостью и тщательностью смахнулъ рукой въ какую-то бумажку свою кучку (хотя мнѣ отлично было извѣстно, что онъ не курилъ) и ушелъ съ нею на свое мѣсто, сообщивъ громко камерѣ:

— Разбирайте, ребята!

Но ребята не торопились, и никто изъ присутствовавшихъ даже не пошевельнулся при этомъ возгласѣ, точно и не слышавъ его,—каждый съ достоинствомъ продолжалъ заниматься своимъ дѣломъ. Только тѣ изъ арестантовъ, которые ничего не знали и входили въ камеру прямо со двора, увидѣвъ табакъ, удивленно спрашивали:

— Это что за табакъ?

— Берите по кучкѣ,—коротко отвѣчалъ Шемелинъ, и удивительно, что этого отвѣта оказывалось вполнѣ достаточно, такъ что лишь очень рѣдкіе, менѣе всѣхъ дальновидные, послѣ того еще спрашивали:

— А откудовъ онъ? Чей?

Большинство принимало этотъ даръ безмолвно, почти равнодушно, словно что-то давно извѣстное, должное и вполнѣ законное. Нѣкоторыя кучки лежали, впрочемъ, до поздняго вечера, и я уже думалъ было, что хозяева этихъ кучекъ такъ и не возьмутъ ихъ,—изъ чувства-ли гордости, потому-ли, что сами имѣютъ средства и стѣсняются брать наравнѣ съ бѣдняками,—однако, въ концѣ концовъ, со стола исчезъ рѣшительно весь табакъ; взяли свою долю и тѣ, которые не курили, и тѣ, которые свободно могли бы пожертвовать ее въ пользу товарищей *). То же самое происходило и въ другихъ камерахъ. Возможно, конечно, что нѣкоторыми изъ арестантовъ руководило при этомъ опасеніе своимъ отказомъ обидѣть меня съ товарищами.

---

*) Впрочемъ, впослѣдствіи, когда матеріальное положеніе тюрьмы стало еще стѣсненнѣе, подобное соглашеніе между арестантами установилось само собою, и камерные старосты начали дѣлить нашу махорку только по числу курящихъ. *Прим. авт.*

Въ ближайшій постный день, когда, вмѣсто тошнотворной кашицы съ иллюзіей сала, на столѣ появилась прекрасная балàнда съ мясомъ, невольное любопытство опять заставляло меня наблюдать за кобылкой: какъ она отнесется къ этому? Что будетъ говорить? Но и тутъ очень долгое время я видѣлъ одно лишь холодное молчаніе и наружно-небрежное равнодушіе. Многіе, впрочемъ, вполнѣ, повидимому, искренно и не замѣчали даже, что, вмѣсто постной пищи, ѣдятъ скоромную. Разговоры шли, вѣроятно, въ кухнѣ за нашей спиной, но мы ихъ не слышали. Только гораздо позднѣе стали прорываться вслухъ отдѣльные благодарственные отзывы, и то больше со стороны благочестивыхъ, благонамѣренныхъ старичковъ, вродѣ нашего-же Шемелина:

— Кабы не добрые люди, замерли-бы въ этой тюрьмѣ! Безъ табаку, безъ мяса насидѣлись-бы... Дай имъ Богъ добраго здоровья, благодѣтелямъ нашимъ!

Степень этихъ „благодѣяній“ даже раздувалась и преувеличивалась: назывались порой головокружительныя суммы, которыя мы, будто-бы, тратили на тюрьму. Но „иваны“ и всѣ тѣ, которые считали себя настоящими, профессіональными каторжными, держались въ этомъ отношеніи гордо и независимо, встрѣчая громогласныя похвалы намъ старичковъ если и не презрѣніемъ (табакъ они все же брали, скоромную баланду въ постные дни ѣли), то показнымъ равнодушіемъ. Лишь во время ссоръ между собою, когда терялось всякое самообладаніе, и такіе люди высказывались вслухъ въ томъ-же духѣ и смыслѣ.

— Ты что́ видалъ-то на свѣтѣ, мараказъ проклятый?—кричалъ верзила Петинъ на маленькаго Лунькова.—Ты развѣ въ настоящихъ-то тюрьмахъ сиживалъ? Въ другомъ развѣ мѣстѣ стали-бъ тебя даровымъ табакомъ потчивать, аль мясомъ, какъ борова, откармливать?

— А тебя, небось, стали-бъ?

— Сравнялъ меня съ собою, оселъ! Развѣ ты можешь вниманіе отъ такихъ людей заслужить? Нешто въ башкѣ твоей порожней найдется столько мозгу, сколько у Ивана Николаича, аль у Дмитрія Петровича въ одномъ мизинцѣ ноги есть?

Любопытно, конечно, было знать, какъ объясняли себѣ арестанты матеріальную помощь, которую мы имъ оказывали, какіе мотивы предполагали въ нашихъ поступкахъ. Дальнѣйшія событія обнаружили, что многіе допускали даже какіе-то эгоистиче-

скіе разсчеты съ нашей стороны, думали, что, принимая наши подачки, они этимъ, въ свою очередь, оказываютъ намъ нѣкоторое благодѣяніе... Крайне удивилъ меня по этому поводу одинъ неглупый въ общемъ арестантъ, послѣ нѣсколькихъ постныхъ дней, случайно прошедшихъ безъ всякихъ улучшеній пищи, спросившій меня:

— А что, Иванъ Николаевичъ, развѣ вся ужъ марка-то у васъ вышла?

— Какая марка?—спросилъ я съ удивленіемъ.

— Да та, по которой *полагается вамъ* мясо и табакъ покупать?

Арестантъ нѣсколько замялся, увидавъ мое удивленное лицо, и я такъ и не понялъ, что онъ разумѣлъ подъ своей маркой.

Новичкамъ предоставлено было Шестиглазымъ нѣсколько дней отдыха, а затѣмъ и ихъ также, какъ меня, назначили въ гору. Придя въ свѣтличку, я тотчасъ же повелъ ихъ, въ ожиданіи раскомандировки, въ штольню. Съ шумомъ и весельемъ побѣжали они по темному корридору впередъ, оставивъ меня далеко позади съ фонаремъ.

Вообще я замѣчалъ нѣкоторую разницу между теперешнимъ настроеніемъ товарищей и тѣмъ, что когда-то переживалъ и испытывалъ самъ. Помню, я чувствовалъ себя долгое время точно затравленнымъ звѣремъ, ежеминутно и отовсюду ожидая обиды, оскорбленій, пугливо и подозрительно глядя на каждаго надзирателя, какъ на своего естественнаго врага, и эта подозрительность не совсѣмъ исчезла во мнѣ даже и теперь; и теперь еще я считалъ за лучшее возможно меньше разговаривать и возможно меньше имѣть дѣла со всякимъ, кто представлялъ собой хоть малѣйшее подобіе начальства въ моихъ глазахъ. Исключеніемъ не былъ даже Пѣтушковъ, который самъ напрашивался на пріятельство. Новички, подобно мнѣ, въ первыя минуты пребыванія въ Шелайской тюрьмѣ имѣли подавленный и запуганный видъ, но длилось это очень недолго. Благодаря-ли природному, болѣе жизнерадостному характеру, или-же тому обстоятельству, что они явились не въ качествѣ піонеровъ и во всемъ встрѣчали уже подготовленную почву, только въ настоящую минуту они держались такъ, будто прожили въ Шелайскомъ рудникѣ цѣлые годы,— были веселы, непринужденны, свободно разговаривали не только съ арестантами, но и съ надзирателями, и послѣдніе, въ свою

очередь, запуганные моимъ сдержаннымъ обращеніемъ, отвѣчали имъ охотно, съ видимой даже радостью. Точно какія-то мрачныя чары разсѣялись, долго державшійся ледъ растаялъ... Не скрою: я ловилъ себя въ эти первые дни даже на тайномъ недовольствѣ новичками... Мнѣ все казалось, что вотъ-вотъ послѣдуетъ что-нибудь очень дурное за ихъ нетактичнымъ, какъ мнѣ казалось, черезчуръ свободнымъ поведеніемъ, и я пугливо косился по сторонамъ, точно дикая кошка, выведшая своихъ дѣтенышей изъ логовища на вольный свѣтъ и все оглядывающаяся, не грозитъ-ли имъ какая-либо опасность. Но опасности не грозило никакой, и моя одичалая и обледенѣлая душа тоже мало-по-малу оттаивала и расправляла утомленныя крылья...

Едва забрались мы въ глубину штольни и бѣгло осмотрѣли ее, какъ Башуровъ, не раздумывая долго, запѣлъ, такъ что отъ неожиданности я вздрогнулъ:

Стукъ молота отъ вѣка и до вѣка,
Тяжелый звукъ заржавленныхъ оковъ...
Другъ! ты видалъ-ли гнома-человѣка
На днѣ холодныхъ рудниковъ?

Бодрящія ноты молодого, звучнаго тенора огласили мрачныя каменныя стѣны, столько лѣтъ не слыхавшія ничего, кромѣ унылаго бряцанья кандаловъ, монотонныхъ постукиваній молотка да тяжелыхъ вздоховъ измученныхъ, несчастныхъ людей *). Сначала нѣсколько испуганно, а затѣмъ радостно отозвалось этимъ бодрымъ звукамъ и мое изболѣвшее сердце...

Тамъ міръ иной, міръ горькой, тяжкой доли...—

подхватилъ красивый баритонъ Штейнгарта:—

Тамъ царство безконечныхъ мукъ.
Полжизни — день работы и неволи,
Полжизни — ночь суровыхъ вьюгъ.
И мракъ, и смерть тамъ царствуютъ надъ міромъ,
И каждый молота ударъ
Звучитъ затѣмъ, чтобъ пиръ смѣнялся пиромъ
Въ угоду ожирѣлыхъ баръ.

*) Въ глубокихъ подземныхъ выработкахъ большинство арестантовъ считаетъ зазорнымъ свистать и пѣть. У насъ, въ Шелаѣ, пѣли, случалось, только въ шахтахъ, глубина которыхъ не превышала 5—8 саженъ. *Прим. авт.*

Когда безпечный пиръ свершаютъ счастья дѣти,
Къ умѣ моемъ рождается вопросъ:
Ужъ не наполнены-ль бокалы эти
Виномъ изъ крови и изъ слезъ?..

Звуки шли все выше, и выше, аккомпанируемые звономъ настоящихъ цѣпей, хватая за душу, звуча горькимъ упрекомъ кому-то, зовя на что-то смѣлое и великое...

— Откуда вы взяли, господа, эти слова и этотъ мотивъ?—полюбопытствовалъ я, когда пѣвцы окончили свой импровизированный дуэтъ.

— Въ дорогѣ одинъ бродяга-пѣвецъ научилъ насъ. Онъ увѣрялъ, будто это каторжный гимнъ, или „карійскій гимнъ", какъ онъ называлъ его.

— Ну, врядъ ли, господа, настоящій каторжникъ сочинялъ этотъ „гимнъ"! Тотъ плохо знаетъ каторгу, кто считаетъ, напр., „заржавленныя оковы" аттрибутомъ особенно тяжкихъ испытаній.

— Какъ такъ?

— А вотъ сами увидите, заржавѣютъ-ли ваши кандалы при постоянномъ ношеніи. Напротивъ, они будутъ блестѣть, какъ стеклышко!

Въ свѣтличкѣ когда мы туда вернулись, раскомандировка рабочихъ была уже почти окончена.

— А, господа бродяги,—привѣтствовалъ насъ Пѣтушковъ,—я ужъ и впрямь думалъ, что вы въ бѣга ударились! Ну, присовѣтуйте, Миколаичъ, куда мнѣ поставить новичковъ. Вѣдь бурить-то имъ, пожалуй, не поглянется? Халѹдора возьми это буренье!

Новички, однако, выразили желаніе непремѣнно попробовать бурить, и я повелъ ихъ въ верхнюю шахту. Штейнгартъ, какъ и я когда-то, затруднялся въ подъемѣ на гору и то-и-дѣло испытывалъ одышку; за то Башуровъ шелъ легко и свободно: родомъ крымчакъ, онъ былъ привыченъ къ ходьбѣ по горамъ. Безъ особеннаго труда научился онъ и бурить довольно хорошо, между тѣмъ какъ Штейнгарту и это искусство давалось плохо. Онъ то-и-дѣло ударялъ себя молоткомъ по рукѣ, искривлялъ шпуръ и очень огорчался всѣми этими неудачами. Но когда работа нѣсколько налаживалась, онъ первый начиналъ пѣть подъ дружные удары арестантскихъ молотковъ:

«Стукъ молота отъ вѣка и до вѣка...»

Башуровъ присоединялся. И когда на темномъ днѣ холоднаго, непри-

вѣтливаго колодца раздавались стройные звуки „каторжнаго гимна“, несясь въ вышину то въ видѣ горькой жалобы, то гнѣвной угрозы, на душѣ становилось и какъ-то жутко, и сладко... Особенно стихъ—

«И мракъ, и смерть тамъ царствуютъ надъ міромъ»—

производилъ сильное впечатлѣніе, вызывая у меня каждый разъ дрожь во всемъ тѣлѣ...

И вдругъ жизнерадостный Валерьянъ переходилъ къ веселой пѣсенкѣ Беранже:

Виномъ сверкаютъ чаши,
Веселье впереди.
Кричатъ подруги наши:
«Фортуна, проходи!»

И, дружно и быстро стуча молотками по бурамъ, мы всѣ подхватывали хоромъ:

— «Стукъ! Стукъ!» — Кто въ гости къ намъ?
«Стукъ! Стукъ!» — Мы Лизу ждемъ.
«Стукъ! Стукъ!» — Фортуна тамъ.
«Стукъ! Стукъ!» — Не отопремъ!

Слабому и нервному Штейнгарту буренье, конечно, вскорѣ не „поглянулось“, какъ и пророчилъ ему Пѣтушковъ, и онъ промѣнялъ его на должность буроноса. Одышка, разумѣется, скоро прошла, и онъ сдѣлался отличнымъ бѣгуномъ. Это не мѣшало, впрочемъ, Сохатому острить надъ нимъ и называть не „буроносомъ“, а „буреносомъ“, разумѣя подъ этимъ, что скорѣе его самого могли носить по сопкѣ вѣтеръ и буря, чѣмъ онъ таскать на плечахъ тяжелыя вязанки буровъ. Много также пищи для остроумія и разнаго рода шутокъ доставилъ всѣмъ Штейнгартъ, явившись однажды по окончаніи работъ въ тюрьму и, какъ оказалось при обыскѣ у воротъ, принеся по разсѣянности за пазухой два короткихъ бура... Надзиратель, сдѣлавшій это открытіе, былъ сначала въ недоумѣніи, словно раздумывая, не слѣдовало ли затѣять по этому поводу слѣдствіе, но скоро и онъ попалъ въ общій веселый тонъ и также началъ хохотать.

— Стѣну хотѣлъ тюремную пробурить! — острила кобылка, шумно разбѣгаясь по камерамъ.

Нѣкоторое время спустя для Штейнгарта открылось, болѣе важное занятіе, чѣмъ буренье и ношенье буровъ, которое въ глазахъ не только арестантовъ, но и начальст

возвысило болѣе чѣмъ вдвое наши прежніе фонды. Разъ, поздно вечеромъ, въ камерѣ нашей загремѣлъ замокъ, дверь распахнулась, сильно перепугавъ сидѣвшихъ въ углу картежниковъ, и вошедшій надзиратель пригласилъ моего товарища къ внезапно захворавшей женѣ экономa.

— Самъ начальникъ проситъ поглядѣть,—заискивающе объявилъ онъ.

Штейнгартъ, проворно одѣвшись, ушелъ. Вернулся онъ только два или три часа спустя, не только осмотрѣвъ больную, но и лично приготовивъ для нея съ помощью фельдшера нужныя лѣкарства. Первый случай медицинской практики Штейнгарта оказался очень счастливымъ: больная на другой же день почувствовала себя вполнѣ здоровой, и слава его, какъ замѣчательнаго врача, загремѣла далеко кругомъ. За надзирателями, ихъ женами и дѣтьми сталъ обращаться къ нему и весь шелайскій бомондъ,—казацкій есаулъ съ семьей, его помощникъ, Монаховъ, писаря изъ тюремной конторы и, наконецъ, самъ Лучезаровъ, почувствовавшій къ молодому врачу большую симпатію; онъ далъ ему разрѣшеніе во всякое время дня и ночи посѣщать больничную аптеку и, по зову больныхъ, выходить,—разумѣется, подъ конвоемъ, — за ворота тюрьмы. Нерѣдко стали вызывать Штейнгарта прямо изъ рудника, отрывая отъ работы, а иногда и совсѣмъ не наряжали въ гору въ теченіе цѣлой недѣли. Валомъ повалило къ нему и тюремное населеніе. Пьяница фельдшеръ совсѣмъ какъ бы остался за штатомъ, и дѣло доходило до того, что онъ только формально освобождалъ арестантовъ отъ работъ или клалъ на больничную койку, въ дѣйствительности же всѣмъ распоряжался Штейнгартъ. Съ теченіемъ времени это начало злить самолюбиваго Землянскаго, и онъ сдѣлался нашимъ отчаяннымъ врагомъ. Но пока что, я отъ души радовался тому, что обстоятельства сложились для товарища такъ благопріятно, и пребываніе въ каторгѣ могло стать для него полезной практической школой, „пятымъ курсомъ академіи", какъ выражался онъ самъ. Я видѣлъ его бодрымъ, повеселѣвшимъ, всецѣло поглощеннымъ своими новыми занятіями, не имѣющимъ даже достаточнаго досуга, чтобы хандрить и мучиться своими личными печалями и страданіями.

За розами и лаврами, правда, послѣдовали въ свое время волчцы и терніи, но объ нихъ я разскажу послѣ.

Только поздними вечерами, когда жизнь въ камерѣ затихала

и сожители наши уже громко всхрапывали, намъ удавалось по-прежнему бесѣдовать между собой по душѣ и этимъ бесѣдамъ за полночь конца не было. Лежа на своихъ подстилкахъ и склонившись одинъ къ другому головами, мы шепотомъ разговаривали иногда вплоть до разсвѣта, особенно когда дѣло было наканунѣ праздника, и на другой день не предстояло работъ. О чемъ только не говорили мы въ эти тихія тюремныя ночи!..

Однажды рыженькій Жебреёкъ, одинъ изъ ближайшихъ сосѣдей нашихъ по нарамъ, подошелъ ко мнѣ въ корридорѣ тюрьмы и таинственно сказалъ:

— А знаете, Иванъ Миколаичъ, что я хочу спросить у васъ: гдѣ вы доставали тѣ книжки, по которымъ сами учились?

— Какъ это самъ учился?

— Да такъ. Я оченно хорошо понимаю теперь, что тѣ-то книжки, которыя вы намъ читали, такъ себѣ, пустяковыя книжки для простого народа, вотъ какъ мы, дураки. Ну, прямо сказать *бѣлыя* книжки, какъ есть бѣлыя—бумага и ничего больше. Для старыхъ бабъ все это да ребятишекъ списано. А вы сами съ товарищами по настоящимъ, значитъ, по *чернымъ* книгамъ учились... Я это очень хорошо теперь вижу.

— Не понимаю я васъ. Какія-такія черныя книги?

— Ну, ужъ вы со мной не разговаривайте такъ. Я вѣдь не какой-нибудь Луньковъ али Сохатый... Новóй *) арестантъ съ умомъ, а новой совсѣмъ, какъ младенецъ... Ну, а я до пятидесяти годовъ дожилъ и тоже что-нибудь смекаю. У меня самого бабушка,—прямо скажу вамъ, не таясь,—вѣдьма была, вотъ что!

Я поглядѣлъ во всѣ глаза на выжившаго изъ ума старикашку; онъ былъ, по обыкновенію, комично-серьезенъ и величавъ.

— Я вѣдь слышу ваши разговоры... Вы думаете, я сплю ночью-то? Вовсе, что есть, глазъ не смыкаю! И до того вникаю,—ну, прямо сказать, всѣ уши прикладаю къ вашимъ рѣчамъ!

— Это не очень, положимъ, похвально подслушивать, но что-жъ такое поняли вы изъ нашихъ разговоровъ?

— А вотъ то и поняли, что у каждаго изъ васъ свой дьяволъ есть!..

— Дьяволъ? Что за чепуха! Откуда вы взяли это?

— Значитъ, вотъ взялъ. У васъ вѣдь, ежели не пятое, такъ

*) Новой—иной.

десятое слово безпремѣнно дьяволъ будетъ. Одинъ говоритъ: „Мой дьяволъ такой“, а другой отвѣчаетъ: „Нѣтъ, мой дьяволъ такой“!

Я расхохотался, хотя долго не понималъ смысла этихъ словъ Жебрейка. Штейнгартъ, которому я сообщилъ объ этой бесѣдѣ, назвалъ ихъ просто бредомъ сумасшедшаго. Но нѣкоторое время спустя онъ сказалъ мнѣ, смѣясь:

— А знаете, я вѣдь понялъ, о какомъ дьяволѣ говорилъ Жебреёкъ. Во вѣкъ, пожалуй, не догадаетесь: это—идеалъ!..

V.

„Украденный“ манифестъ.

Еще и еще разъ наступала весна... Каждый годъ пробуждаетъ она въ душѣ арестанта забытую сладкую боль, муки, надежды и отчаянія.

Всѣ люди живутъ,
Какъ цвѣты цвѣтутъ,—

жалуется тюремная пѣсня, сложенная, по всей вѣроятности, не въ иную какую, а именно въ весеннюю пору:

А моя голова
Вянетъ, какъ трава!
Куда ни пойду,
Въ бѣду попаду;
Съ кѣмъ веду совѣтъ—
Ни въ комъ правды нѣтъ.
Кину жъ, брошу міръ,
Пойду въ монастырь!

И горькой ироніей надъ самимъ собою, безконечно-трогательной скорбью звучитъ это обѣщаніе пѣвца пойти въ монахи, когда слѣдующія затѣмъ строки пѣсни *), мѣняя не только размѣръ, но и смыслъ стиха,—въ отчаяніи раскрывая, такъ сказать, всѣ свои карты,—говорятъ:

Ты воспой, воспой, жаворо̀ночекъ,
Ты воспой весной на проталинкѣ,
На шелко̀вой мягкой травонькѣ!

*) Возможно, конечно, что это и двѣ различныхъ пѣсни, но дѣло въ томъ, что отъ лучшихъ тюремныхъ пѣвцовъ, вродѣ Юхорева, я слышалъ ихъ всегда слитными, безъ малѣйшаго перерыва, и всѣ они утверждали, что это одна пѣсня.

Ты подай голосъ черезъ темный лѣсъ,
Черезъ темный лѣсъ за Москву рѣку,
За Москву-рѣку въ тюрьму каменну...
Подъ окномъ сидитъ тамъ колодничекъ,
Младъ колодничекъ, ахъ! разбойничекъ.
Онъ не годъ сидитъ и не два года,
Онъ сидитъ въ тюрьмѣ ровно восемь лѣтъ.
На девятый годъ сталъ письмо писать,
Сталъ письмо писать къ отцу съ матерью.
Отецъ съ матерью не признался,
Не признался, отказался:
«Какъ у насъ въ роду воровъ не было,
Воровъ не было, ни разбойниковъ».

Лихой пѣсенникъ Ракитинъ прибавлялъ, бывало, къ этой пѣснѣ еще одинъ стихъ, котораго другіе тюремные пѣвцы не знали:

Молода жена слезно всплакалась...

Но на этомъ и онъ останавливался, и тщетно просилъ я его припомнить хоть смыслъ дальнѣйшихъ стиховъ, о чемъ именно „всплакалась“ молодая жена. Впрочемъ, осиновое ботало не затруднялось дать собственный отвѣтъ на этотъ вопросъ:

— Эхъ, Иванъ Николаевичъ! да о чемъ же другомъ ей, подлой, плакать, какъ не о томъ, что вотъ-молъ воротится, чего добраго, воръ-бродяга, а у нея ужъ другой паренекъ, почище, на примѣтѣ есть?..

Я самъ уже третью весну встрѣчалъ въ Шелайскомъ рудникѣ и каждый разъ испытывалъ эту особенно сладкую, особенно щемящую боль. Однако, въ этотъ третій разъ, когда опять зазеленѣли окрестныя сопки и изъ глубины ожившей тайги понеслись въ тюрьму живительные весенніе звуки и запахи, въ душѣ моей, долго дремавшей, а теперь разбуженной пріѣздомъ товарищей и бесѣдами съ ними, съ небывалой прежде силой проснулась жажда жизни, воли и счастья... Въ тѣ дни, когда работы у Пальчикова въ кузницѣ было совсѣмъ мало, и я бралъ на себя обязанности буроноса въ одной изъ шахтъ, тамъ во время чаепитія передъ разведеннымъ костромъ я съ жадностью слушалъ безконечные разсказы арестантовъ о побѣгахъ, въ тайникахъ души сочувствуя этимъ безумнымъ мечтамъ объ освобожденіи. Внизу, подъ нашими ногами, разстилалась зеленая, пахучая тайга, полная своихъ чудныхъ тайнъ и приманокъ, обольстительная, молодая, влекущая, а дорогу къ ней преграждали

расхаживавшіе съ ружьями въ рукахъ часовые-казаки. Впрочемъ, всего только два человѣка, по одному у каждаго изъ противоположныхъ дверей колпака; остальные, сложивъ ружья въ козлы, сидѣли, подобно намъ, въ отдаленіи, у своего костра, и арестанты часто съ насмѣшкой отзывались объ этихъ стражахъ закона, хвастаясь, что если-бы захотѣли только бѣжать на ура, то „казачишки“ не успѣли бъ и выстрѣла по нимъ дать... Особено любилъ хвалиться на этотъ счетъ Сохатый, дѣйствительно извѣстный своими отважными побѣгами.

— Я изъ Иркутской тюрьмы бѣгивалъ, не то что отсюда,— горделиво рычалъ онъ, выпучивая свои телячьи глаза.—Тамъ не такіе духи-то стоятъ, не эта деревенщина, а настоящіе солдаты. Мы со стѣны вчетверомъ, одинъ за другимъ, прыгнули, я первый... Упалъ, вскочилъ на ноги—еще помню, колѣнко здорово объ камень зашибъ — и прямо на городъ побѣжалъ. Солдатъ и не посмѣлъ стрѣлить, потому дома близко. А пока онъ, духъ окаянный, трелогу подымалъ, свистѣлъ да кричалъ,—глядь, и тѣ трое, товарищи-то мои, за мной слѣдомъ... Такъ и убѣжали.

— А всетаки поймали васъ, Петинъ.

— Это ужъ опосля было, не въ Иркутскѣ, а я про то сказываю, какъ мы изъ тюрьмы ловко удрали.

— Теперь, небось, ноги не такія ужъ рѣзвыя?

Петинъ презрительно фыркнулъ.

— Вы не знаете еще Петина-Сохатаго! Не бѣжитъ онъ,—значитъ, воли его на то еще нѣтъ. А захочетъ — ни одного дня Шестиглазый его не удержитъ!

Одно время мнѣ казалось, что Петинъ и дѣйствительно что-то замышляетъ. Онъ ходилъ сердитый, задумчивый, забросивъ свои учебныя тетрадки. А разъ надзиратель (это было въ самыхъ первыхъ числахъ мая), при обыскѣ шахты, нашелъ спрятаннымъ за крѣпями чуть не цѣлый мѣшокъ ржаныхъ сухарей. Въ умѣ начальства сейчасъ же явилась мысль о затѣваемомъ побѣгѣ; казаки сдѣлались осторожнѣе, прибавили постовъ, перестали отпускать арестантовъ даже на одинъ шагъ отъ колпака безъ усиленнаго конвоя. Сухари могли быть, конечно, припасены кѣмъ-либо изъ шпанки и для другихъ болѣе невинныхъ цѣлей, но Петинъ такъ многозначительно фыркалъ, когда заходила среди арестантовъ рѣчь объ этомъ открытіи, что невольно заставлялъ подозрѣвать себя. Впослѣдствіи онъ даже прямо сознался мнѣ въ дружеской

и сожители наши уже громко всхрапывали, намъ удавалось по-прежнему бесѣдовать между собой по душѣ и этимъ бесѣдамъ за полночь конца не было. Лежа на своихъ подстилкахъ и склонившись одинъ къ другому головами, мы шепотомъ разговаривали иногда вплоть до разсвѣта, особенно когда дѣло было наканунѣ праздника, и на другой день не предстояло работъ. О чемъ только не говорили мы въ эти тихія тюремныя ночи!..

Однажды рыженькій Жебреёкъ, одинъ изъ ближайшихъ сосѣдей нашихъ по нарамъ, подошелъ ко мнѣ въ корридорѣ тюрьмы и таинственно сказалъ:

— А знаете, Иванъ Миколаичъ, что я хочу спросить у васъ: гдѣ вы доставали тѣ книжки, по которымъ сами учились?

— Какъ это самъ учился?

— Да такъ. Я оченно хорошо понимаю теперь, что тѣ-то книжки, которыя вы намъ читали, такъ себѣ, пустяковыя книжки для простого народа, вотъ какъ мы, дураки. Ну, прямо сказать *бѣлыя* книжки, какъ есть бѣлыя—бумага и ничего больше. Для старыхъ бабъ все это да ребятишекъ списано. А вы сами съ товарищами по настоящимъ, значитъ, по *чернымъ* книгамъ учились... Я это очень хорошо теперь вижу.

— Не понимаю я васъ. Какія-такія черныя книги?

— Ну, ужъ вы со мной не разговаривайте такъ. Я вѣдь не какой-нибудь Луньковъ али Сохатый... Новóй *) арестантъ съ умомъ, а новой совсѣмъ, какъ младенецъ... Ну, а я до пятидесяти годовъ дожилъ и тоже что-нибудь смекаю. У меня самого бабушка,—прямо скажу вамъ, не таясь,—вѣдьма была, вотъ что!

Я поглядѣлъ во всѣ глаза на выжившаго изъ ума старикашку; онъ былъ, по обыкновенію, комично-серьезенъ и величавъ.

— Я вѣдь слышу ваши разговоры... Вы думаете, я сплю ночью-то? Вовсе, что есть, глазъ не смыкаю! И до того вникаю,—ну, прямо сказать, всѣ уши прикладаю къ вашимъ рѣчамъ!

— Это не очень, положимъ, похвально подслушивать, но что-жъ такое поняли вы изъ нашихъ разговоровъ?

— А вотъ то и поняли, что у каждаго изъ васъ свой дьяволъ есть!..

— Дьяволъ? Что за чепуха! Откуда вы взяли это?

— Значитъ, вотъ взялъ. У васъ вѣдь, ежели не пятое, такъ

*) Новой—иной.

десятое слово безпремѣнно дьяволъ будетъ. Одинъ говоритъ: „Мой дьяволъ такой“, а другой отвѣчаетъ: „Нѣтъ, мой дьяволъ такой“!

Я расхохотался, хотя долго не понималъ смысла этихъ словъ Жебрейка. Штейнгартъ, которому я сообщилъ объ этой бесѣдѣ, назвалъ ихъ просто бредомъ сумасшедшаго. Но нѣкоторое время спустя онъ сказалъ мнѣ, смѣясь:

— А знаете, я вѣдь понялъ, о какомъ дьяволѣ говорилъ Жебреёкъ. Во вѣкъ, пожалуй, не догадаетесь: это—идеалъ!..

V.

„Украденный“ манифестъ.

Еще и еще разъ наступала весна... Каждый годъ пробуждаетъ она въ душѣ арестанта забытую сладкую боль, муки, надежды и отчаянія.

Всѣ люди живутъ,
Какъ цвѣты цвѣтутъ,—

жалуется тюремная пѣсня, сложенная, по всей вѣроятности, не въ иную какую, а именно въ весеннюю пору:

А моя голова
Вянетъ, какъ трава!
Куда ни пойду,
Въ бѣду попаду;
Съ кѣмъ веду совѣтъ—
Ни въ комъ правды нѣтъ.
Кину жъ, брошу міръ,
Пойду въ монастырь!

И горькой ироніей надъ самимъ собою, безконечно-трогательной скорбью звучитъ это обѣщаніе пѣвца пойти въ монахи, когда слѣдующія затѣмъ строки пѣсни *), мѣняя не только размѣръ, но и смыслъ стиха,—въ отчаяніи раскрывая, такъ сказать, всѣ свои карты,—говорятъ:

Ты воспой, воспой, жаворо̀ночекъ,
Ты воспой весной на проталинкѣ,
На шелко̀вой мягкой травонькѣ!

*) Возможно, конечно, что это и двѣ различныхъ пѣсни, но дѣло въ томъ, что отъ лучшихъ тюремныхъ пѣвцовъ, вродѣ Юхорева, я слышалъ ихъ всегда слитными, безъ малѣйшаго перерыва, и всѣ они утверждали, что это одна пѣсня.

Ты подай голосъ черезъ темный лѣсъ,
Черезъ темный лѣсъ за Москву рѣку,
За Москву-рѣку въ тюрьму каменну...
Подъ окномъ сидитъ тамъ колодничекъ,
Младъ колодничекъ, ахъ! разбойничекъ.
Онъ не годъ сидитъ и не два года,
Онъ сидитъ въ тюрьмѣ ровно восемь лѣтъ.
На девятый годъ сталъ письмо писать,
Сталъ письмо писать къ отцу съ матерью.
Отецъ съ матерью не признался,
Не признался, отказался:
«Какъ у насъ въ роду воровъ не было,
Воровъ не было, ни разбойниковъ».

Лихой пѣсенникъ Ракитинъ прибавлялъ, бывало, къ этой пѣснѣ еще одинъ стихъ, котораго другіе тюремные пѣвцы не знали:

Молода жена слезно всплакалась...

Но на этомъ и онъ останавливался, и тщетно просилъ я его припомнить хоть смыслъ дальнѣйшихъ стиховъ, о чемъ именно „всплакалась“ молодая жена. Впрочемъ, осиновое ботало не затруднялось дать собственный отвѣтъ на этотъ вопросъ:

— Эхъ, Иванъ Николаевичъ! да о чемъ же другомъ ей, подлой, плакать, какъ не о томъ, что вотъ-молъ воротится, чего добраго, воръ-бродяга, а у нея ужъ другой паренекъ, почище, на примѣтѣ есть?..

Я самъ уже третью весну встрѣчалъ въ Шелайскомъ рудникѣ и каждый разъ испытывалъ эту особенно сладкую, особенно щемящую боль. Однако, въ этотъ третій разъ, когда опять зазеленѣли окрестныя сопки и изъ глубины ожившей тайги понеслись въ тюрьму живительные весеніе звуки и запахи, въ душѣ моей, долго дремавшей, а теперь разбуженной пріѣздомъ товарищей и бесѣдами съ ними, съ небывалой прежде силой проснулась жажда жизни, воли и счастья... Въ тѣ дни, когда работы у Пальчикова въ кузницѣ было совсѣмъ мало, и я бралъ на себя обязанности буроноса въ одной изъ шахтъ, тамъ во время чаепитія передъ разведеннымъ костромъ я съ жадностью слушалъ безконечные разсказы арестантовъ о побѣгахъ, въ тайникахъ души сочувствуя этимъ безумнымъ мечтамъ объ освобожденіи. Внизу, подъ нашими ногами, разстилалась зеленая, пахучая тайга, полная своихъ чудныхъ тайнъ и приманокъ, обольстительная, молодая, влекущая, а дорогу къ не

расхаживавшіе съ ружьями въ рукахъ часовые-казаки. Впрочемъ, всего только два человѣка, по одному у каждаго изъ противоположныхъ дверей колпака; остальные, сложивъ ружья въ козлы, сидѣли, подобно намъ, въ отдаленіи, у своего костра, и арестанты часто съ насмѣшкой отзывались объ этихъ стражахъ закона, хвастаясь, что если-бы захотѣли только бѣжать на ура, то „казачишки“ не успѣли бъ и выстрѣла по нимъ дать... Особено любилъ хвалиться на этотъ счетъ Сохатый, дѣйствительно извѣстный своими отважными побѣгами.

— Я изъ Иркутской тюрьмы бѣгивалъ, не то что отсюда,— горделиво рычалъ онъ, выпучивая свои телячьи глаза.—Тамъ не такіе духи-то стоятъ, не эта деревенщина, а настоящіе солдаты. Мы со стѣны вчетверомъ, одинъ за другимъ, прыгнули, я первый... Упалъ, вскочилъ на ноги—еще помню, колѣнко здорово объ камень зашибъ — и прямо на городъ побѣжалъ. Солдатъ и не посмѣлъ стрѣлить, потому дома близко. А пока онъ, духъ окаянный, трелогу подымалъ, свистѣлъ да кричалъ,—глядь, и тѣ трое, товарищи-то мои, за мной слѣдомъ... Такъ и убѣжали.

— А всетаки поймали васъ, Петинъ.

— Это ужъ опосля было, не въ Иркутскѣ, а я про то сказываю, какъ мы изъ тюрьмы ловко удрали.

— Теперь, небось, ноги не такія ужъ рѣзвыя?

Петинъ презрительно фыркнулъ.

— Вы не знаете еще Петина-Сохатаго! Не бѣжитъ онъ,—значитъ, воли его на то еще нѣтъ. А захочетъ — ни одного дня Шестиглазый его не удержитъ!

Одно время мнѣ казалось, что Петинъ и дѣйствительно что-то замышляетъ. Онъ ходилъ сердитый, задумчивый, забросивъ свои учебныя тетрадки. А разъ надзиратель (это было въ самыхъ первыхъ числахъ мая), при обыскѣ шахты, нашелъ спрятаннымъ за крѣпями чуть не цѣлый мѣшокъ ржаныхъ сухарей. Въ умѣ начальства сейчасъ же явилась мысль о затѣваемомъ побѣгѣ; казаки сдѣлались осторожнѣе, прибавили постовъ, перестали отпускать арестантовъ даже на одинъ шагъ отъ колпака безъ усиленнаго конвоя. Сухари могли быть, конечно, припасены кѣмъ-либо изъ шпанки и для другихъ болѣе невинныхъ цѣлей, но Петинъ такъ многозначительно фыркалъ, когда заходила среди арестантовъ рѣчь объ этомъ открытіи, что невольно заставлялъ подозрѣвать себя. Впослѣдствіи онъ даже прямо сознался мнѣ въ дружеской

бесѣдѣ, что побѣгъ былъ уже совсѣмъ рѣшеннымъ дѣломъ гораздо раньше, чѣмъ надзиратель нашелъ сухари, но что остановка явилась за товарищами; съ негодованіемъ говорилъ онъ о двухъ-трехъ арестантахъ, пользовавшихся въ тюрьмѣ громкой репутаціей „громилъ“ и, однако, въ рѣшительную минуту дрогнувшихъ и отступившихъ.

— А одному бѣжать никакимъ манеромъ нельзя!

— Почему?

— Да одного въ первую-жъ ночь въ лѣсу, сонно́го, захватятъ... Стрёма *) вѣдь будетъ. Тутъ ухо надо востро держать. Опять же голодомъ не пойдешь всю дорогу. А какъ безъ товарищей провіантъ будешь добывать?

— А мнѣ кажется, Петинъ, что ужъ если затѣвать побѣгъ, то надо и на голодовку готовымъ быть. Дней десять поголодаете—не помрете, а за это время, Богъ знаетъ, куда уйти можно.

— Вишь вы какіе ловкіе. Нѣтъ, я голодать не согласенъ...

— То-то и есть. Правду, значитъ, говоритъ про васъ Луньковъ, что вы дешевый.

— Да я ему, сволочи, голову оторву! Самъ-то онъ что такое? Что можетъ онъ понимать въ этихъ дѣлахъ? Вѣчный тюремный житель!

— А вы ужъ не сами-ль, Иванъ Николаевичъ, собираетесь того?.. — конфиденціально обратился ко мнѣ однажды Сохатый, скаля зубы,—все спрашиваете да любопытствуете... Что-жъ, я-бъ взялъ, пожалуй, васъ и Штенгора въ товарищи себѣ.

— А какая-жъ бы вамъ отъ насъ польза была? Глаза у насъ обоихъ плохіе, значитъ, и стремщики мы были бы плохіе; ноги еще того хуже... Словомъ, мы бы только помѣхой вамъ служили?

— За то у васъ деньжонки есть... Одежу бы могли тоже вольную изъ чихауза достать.

— Ага, вотъ чего вамъ отъ насъ надо! А потомъ — оберете при случаѣ, да и бросите гдѣ-нибудь въ тайгѣ?

— Вотъ ка̀къ вы обо мнѣ понимаете, Иванъ Николанчъ? Благодаримъ покорно! Только вы ошибаетесь: на Сохатаго положиться можно, какъ на каменную гору. Не было еще случая, чтобъ онъ товарищей своихъ продавалъ. Но вамъ всегда дороже

---

*) Облава. Другое значеніе «стрёмы»—тайное стояніе на караулѣ. *Прим. авт.*

какой-нибудь прохвостъ, сволочь тюремная, которая подлизаться умѣетъ.

И Петинъ сдѣлалъ видъ, что серьезно на меня обидѣлся. Но онъ и самъ, конечно, хорошо понималъ, что я шутя только говорилъ съ нимъ о своемъ участіи въ побѣгѣ; по крайней мѣрѣ, и онъ, и другіе арестанты не разъ говаривали про меня съ товарищами:

— Не намъ вы чета, Миколаичъ, не нашъ братъ. Вамъ или помирать въ тюрьмѣ надо, или законнымъ родомъ изъ нея выходить, не иначе. Потому, какъ вы побѣжите? Да хоть самимъ чортомъ, не то что челдономъ, одѣнь васъ, такъ первое встрѣчное дитё признаетъ вашу личность. И слова, и обращенье, все, все вѣдь другое въ васъ!

И, вѣроятно, пріятели-арестанты были на этотъ счетъ правы. Или помереть въ каторгѣ, или дождаться законнаго выхода изъ нея—ничего другого не предстояло намъ!..

Весной описываемаго года весь арестантскій міръ не только въ Сибири, но даже и въ Россіи переживалъ небывалое волненіе; произошло въ его жизни событіе, дѣйствительно, неимовѣрной важности. Сначала пошли какіе-то глухіе, отрывочные слухи, исходившіе большею частью изъ довольно мутныхъ и легковѣсныхъ источниковъ. Какой-нибудь Карпушка Липатовъ прохóдилъ по камерамъ и „бóталъ“:

— Ну, хрестьяне православные, слухайте, что вамъ Карпушка скажетъ. Вы вотъ все смѣетесь да смѣетесь надъ Карпушкой, а онъ вамъ такую вѣсточку принесъ, что только рты разинете! Не будетъ теперь и фершалъ со мной много чирикать. Скажу: давай мнѣ, цыганская твоя образина, настоящей хананіи, такой, чтобъ въ носъ шибала, кости, значитъ, что твой спиртъ, промывала, а не то чтобы какъ...

— Да говори, рыжая твоя морда, въ чемъ дѣло!

— А въ томъ дѣло, что Государь Императоръ насъ всѣхъ на волю выпущаетъ.

— Ха-ха-ха! Пошелъ ты ко всѣмъ дьяволамъ, ботало безобразное! Откудова ты знать можешь?

— Нѣтъ, старики,—выдвигалась вдругъ изъ угла какая-нибудь молчавшая до тѣхъ поръ фигура. — Нѣтъ, старики, дуракъ онъ, дуракъ, а говоритъ на этотъ разъ дѣло. Я еще въ Шелай шелъ, такъ по дорогѣ одинъ этапный офицеръ вышелъ къ намъ и гово-

ритъ: „ребята, не печальтесь! скоро вамъ отъ Государя Императора милость выйдетъ". Вотъ что!

— Скоро, братъ ты мой, солнышко взойдетъ, да до той-то поры роса глаза выѣстъ! Давно ужъ сказываютъ про этотъ большой манафестъ, а его все нѣтъ, какъ нѣтъ.

— Погоди, синодъ раньше собраться долженъ да указъ составить. Ты, большая башка, какъ думалъ-то? Легкое это дѣло? Сѣлъ къ столу, взялъ бумагу, брехъ-брехъ-брехъ да и готово?

Давно уже происходили подобнаго рода толки и разговоры, но никто не придавалъ имъ большого значенія. Но вотъ однажды, въ серединѣ мая, портной Булановъ пришелъ отъ казацкаго есаула, на семью котораго шилъ, и сообщилъ уже настоящую сенсаціонную новость: вышелъ, наконецъ, манифестъ, тотъ „большой" манифестъ, котораго всѣ столько лѣтъ ждали, но сибирское начальство пока скрываетъ отъ арестантовъ бумагу, потому что напугано неслыханно-огромной милостью и не знаетъ, какъ быть: если выпустить сразу всѣхъ каторжныхъ, то не произойдетъ-ли бунта?..

— Что ты гово-ришь?!—внезапно поблѣднѣвъ, произнесъ кто-то изъ слушателей тихимъ, упавшимъ отъ волненія голосомъ.

Разговоръ происходилъ въ мастерской, гдѣ чинились обувь и арестантская лопоть, но гдѣ, кромѣ мастеровыхъ, присутствовала постоянно куча и посторонняго народа. Сапожники выронили изъ рукъ свои колодки, портные побросали иголки. Всѣ обступили пронырливаго мордвина, всегда улыбавшееся лицо котораго было на этотъ разъ серьезно и почти строго.

— Неужто всѣхъ, братцы, выпустятъ? Да кто тебѣ сказывалъ, Булановъ?

— Сама есаульша. Я, говоритъ, тебѣ, Буланушка, потихоньку отъ барина сказываю, потому оченно строго скрываютъ пока. Обрадуй ты своихъ товарищей-колодничковъ: двѣ трети со всего строка скидывается имъ по манафесту!

— Двѣ трети? Ну, значитъ, все же не сразу выпустятъ?

— Поросячья твоя голова!—зашумѣла внезапно кобылка, набрасываясь на разочарованнаго товарища, зашумѣла, словно только что очнувшись отъ тяжелаго столбняка:—тебѣ этого еще мало?..

— А законную-то треть ты забылъ?—приступилъ къ нем числѣ прочихъ и Шматовъ (онъ-же Гнусъ), тяжело, прерь дыша по обыкновенію, возбужденно жестикулируя рукой ь

веля длинными тараканьими усами.—Законную-то треть ты забылъ? Она вѣдь не отымется отъ тебя *). Ну, оно и выйдетъ такъ, что при двухъ третяхъ по царскому манафесту всѣ пойдемъ на волю, кромѣ долгосрочныхъ!

Съ бѣшенымъ весельемъ и стремительной поспѣшностью разсыпались тюремные „вѣстники“ по камерамъ, и вскорѣ все тюремное населеніе знало новость и обсуждало ее со всѣхъ сторонъ и во всѣхъ подробностяхъ. Вернувшись изъ рудника, услышалъ объ ней и я съ товарищами, но мы стали смѣяться надъ легковѣрными. Арестанты слегка даже обидѣлись, хотя ни въ комъ изъ нихъ и не было еще непоколебимо-твердой увѣренности.

— А вотъ я схожу сейчасъ къ эконому,—рѣшилъ Юхоревъ,— прямо вытрясу изъ шепеляваго дьявола правду-матку!

Возвратившись изъ этой рекогносцировки, онъ съ самой забористой руганью обрушился на Буланова и на всѣхъ, кто увѣровалъ было въ его сообщеніе: экономъ клялся и божился, что никакой бумаги Лучезаровымъ ни откуда не получено, и что все это одна арестантская выдумка. Кобылка повѣсила носы. Когда общее негодованіе было излито на портного, смутившаго общій покой, тюрьма затихла и стала, казалось, вдвое печальнѣе и мрачнѣе, чѣмъ была раньше. Такъ прошелъ день или два.

И вотъ снова началось какое-то шушуканье по угламъ... „Манафестъ“, „двѣ трети“, „милость“—опять доносилось до нашего слуха, не вызывая, впрочемъ, съ нашей стороны большого вниманія. Однако, и мы невольно насторожились, когда Юхоревъ пришелъ разъ отъ эконома и заявилъ:

— А вѣдь точно есть что-то... Обманываетъ шельма косноязычная, скрываетъ!

И въ тотъ-же день открыто начали повсюду говорить, будто уже самъ Шестиглазый объявилъ многимъ изъ вольнокомандцевъ о большой милости, о томъ, что на дняхъ въ тюрьмѣ будетъ молебенъ, послѣ котораго и прочитаютъ о двухъ третяхъ.

Что, дѣйствительно, „что-то есть“, въ этомъ почти нельзя уже

*) Дѣло въ томъ, что каторжные II и III разрядовъ, осуждаемые срокомъ до 12 лѣтъ включительно въ заводы и крѣпости и, за отсутствіемъ послѣднихъ, отправляемые обыкновенно въ тѣ-же рудники (пребываніе въ которыхъ считается по закону болѣе тяжкимъ наказаніемъ), пользуются такъ называемой горной скидкой, по 4 мѣсяца съ каждаго года. Каторжные I разряда этой скидки не имѣютъ. *Прим. авт.*

было сомнѣваться; оставалось скептически относиться къ слуху о такой большой сбавкѣ.

— Возможно-ли это?—говорили мы:—Какъ правительству рѣшиться сразу выпустить на свободу чуть не нѣсколько десятковъ тысячъ человѣкъ, которыхъ наканунѣ еще оно считало опасными для общества элементами и держало на цѣпи?

— А почему-же и нѣтъ? возражалъ увлекающійся Башуровъ:— Во-первыхъ, и выпущенные, они останутся все-же въ Сибири, на которую принято глядѣть, какъ на мѣсто стока общественныхъ нечистотъ; а, во-вторыхъ, я думаю, если позаботиться дать этому народу работу и кусокъ хлѣба, то опасности ровно никакой не будетъ.

— Откуда-же взять столько кусковъ?

— Какъ откуда? Да вѣдь и въ тюрьмѣ каторжныхъ нужно кормить? Но, главное, вы забываете, господа, объ одномъ свойствѣ человѣческой души: преступная она, а все-же человѣческая... Вѣдь подобная „милость“, несомнѣнно, вызвала бы въ людяхъ такой взрывъ энтузіазма, такой высокій подъемъ духа, что—кто знаетъ?—быть можетъ, эти люди могли бы переродиться нравственно... Вы смѣетесь? Ну, если не совсѣмъ переродиться, то хоть сдѣлаться воспріимчивыми къ нравственному воздѣйствію. Надо только не упустить момента, надо, чтобы правительство и общество позаботились посѣять доброе сѣмя въ этой размягченной почвѣ. Подобнымъ сѣменемъ, мнѣ кажется, прежде всего могло бы явиться довѣріе къ несчастному, отверженному человѣку!

Такого рода теоретическіе споры вели мы по поводу сенсаціоннаго слуха, колеблясь то въ сторону вѣры, то сомнѣнія.

Бесѣда въ рудникѣ съ Пѣтушковымъ окончательно сбила меня съ толку. Онъ клялся и божился, что самъ собственными глазами читалъ бумагу, и что въ ней прямо говорится о двухъ третяхъ скидки.

— Я слышалъ вчера,—прибавилъ Пѣтушковъ,—какъ самъ Лучезаровъ говорилъ военному начальнику: „По разсчету, въ тюрьмѣ должно остаться всего семь человѣкъ“.

— Значитъ, всетаки останутся? Кто-же это?

— Кто-нибудь изъ вѣчныхъ, изъ такихъ, что ужъ вовсе нельзя выпустить...

— А я думалъ, что и тюрьму упразднятъ, и всѣмъ надзирателямъ отъ мѣста откажутъ.

— Проня и то опустилъ было голову. „Какъ же, говоритъ, теперь инструкція? Для кого-жъ она“? Ну, да я утѣшилъ его: кабы и ни одного арестанта въ тюрьмѣ не осталось, надзиратели-бъ, говорю, остались! Другъ дружку-бъ караулили, покамѣсть новую кобылку-бъ пригнали... Ха-ха-ха! Халудора его побери!

То, что могло грезиться только въ самыхъ безумныхъ снахъ, теперь свершалось на яву. Приходилось и мнѣ признать, наконецъ, что гласъ народа—подлинно гласъ Божій... И бурная радость охватывала противъ воли душу, опьяняя ее свѣтлыми надеждами! Кончены долгія муки, развѣяны мрачныя чары...

Былъ яркій весенній день въ двадцатыхъ числахъ мая, когда назначенъ былъ молебенъ, и отмѣнены по этому случаю работы. Посреди̇нѣ тюремнаго̀ двора уже раннимъ утромъ поставили столъ, накрытый чистой бѣлой скатертью. Экономъ разложилъ на немъ пачки восковыхъ свѣчей. Кобылка толпилась во дворѣ съ радостно сіяющими лицами. Многіе нарядились въ чистыя рубахи и намазали себѣ волосы жиромъ. Не слышалось ни брани, ни обычныхъ ссоръ. Вчера еще заклятые враги—сегодня бесѣдовали мирно̀ и дружелюбно. Юхоревъ съ двумя-тремя изъ своихъ пріятелей, тюремныхъ вожаковъ, расхаживалъ обычной геройской походкой вдоль фасада тюрьмы, и изъ его бесѣды съ ними до моего слуха долетали порой отдѣльныя фразы:

— Я опять на Олекму ударюсь! Чорта съ два сталъ я въ Забайкальи жить!.. Тамъ и дѣвки-то, по моему слаще, и спиртъ крѣпче.

Ко мнѣ тоже подошли мои пріятели, Чирокъ и Ногайцевъ, оба торжественно-солидные, слегка улыбающіеся.

— Ну, что Миколаичъ, дождались и мы праздничка?

— Сонъ, просто сонъ да и на! То-и-дѣло протираешь шары—боязно, какъ бы не проснуться.

— Ну, что-жъ вы теперь, Ногайцевъ, дѣлать станете? На родину вернетесь?

— Возворочусь, безпремѣнно возворочусь. Дѣдушка у меня тамъ... Шибко любелъ меня дѣдушка!

— Какъ же вы жить тамъ станете, чѣмъ?

— Чудно́й ты, право, о чемъ спрашиваешь... Что-жъ, рукъ у меня, что-ль, нѣту? Аль думаешь, коли я разъ въ жизни одну аль двѣ сволочи убилъ, такъ скучать опять по острогѣ стану? Самъ знаешь, Миколаичъ, что я и въ каторгѣ лодырничать не любилъ. Ну, ежели я жиромъ заплылъ, такъ развѣ это отъ себя?

Это болѣзнь. Это нездоровый жиръ; больной я человѣкъ сталъ въ каторгѣ... А дай-ка мнѣ волю да вольную пишшу, я опять настоящимъ человѣкомъ стану!

Чирокъ внимательно вслушивается въ эти рѣчи Ногайцева, и лицо его дѣлается все серьезнѣе и важнѣе.

— Правду это истинную говоритъ Ногайцевъ,—заявляетъ онъ убѣжденнымъ тономъ:—въ тюрьмѣ развѣ можетъ человѣкъ человѣкомъ быть?

— А вы, Чирокъ, ужъ не будете больше черемисовъ давить?—невольно спрашиваю я, припоминая, что до тюрьмы этотъ человѣкъ былъ несравненно меньше человѣкомъ, нежели въ тюрьмѣ, спрашиваю—и почти тотчасъ же раскаяваюсь въ своемъ вопросѣ.

Лицо Чирка принимаетъ въ высшей степени огорченный видъ.

— Эхъ, Миколаичъ!—онъ снимаетъ шапку и энергично чешетъ затылокъ, и это „эхъ!“ звучитъ чѣмъ-то въ родѣ горькаго упрека.

Сами собой вспоминаются мнѣ разсужденія Валерьяна о благопріятномъ для нравственнаго перерожденія моментѣ: ужъ и въ самомъ дѣлѣ, нѣтъ-ли въ этихъ разсужденіяхъ доли правды?

— Строй-ся!—раздался вдругъ оглушительный возгласъ надзирателя, и все зашевелилось. Арестанты почти моментально построились въ ряды. Ворота распахнулись, и стройнымъ шагомъ вошла въ нихъ цѣлая рота мѣстныхъ казаковъ съ молодымъ хорунжіемъ впереди. Послышались и для нихъ слова команды, и казаки выстроились направо отъ арестантовъ точь въ точь такими же шеренгами. Очевидно, ожидалась внушительная и величественная церемонія.

Надзиратель уже безмолвствовалъ, когда вслѣдъ затѣмъ въ ворота вошли пріѣхавшій изъ завода старикъ-священникъ съ рослымъ, представительнымъ дьякономъ, казацкій есаулъ, толпа надзирателей и конторскихъ писарей и во главѣ ихъ Шестиглазый съ бумагой въ рукахъ, при одномъ видѣ которой сердца въ груди у всѣхъ дрогнули и сладко замерли. Въ заключеніе ввели вольнокомандцевъ-арестантовъ и построили на лѣвомъ крылѣ отдѣльнымъ взводомъ. Все это произошло быстро, съ необыкновенной помпой и величайшимъ порядкомъ.

— Благослови, Вла-ды-ко! — рявкнулъ дородный, плечистый дьяконъ, нарушая внезапно благоговѣйную тишину, и богослуженіе началось. Всѣ, какъ одинъ человѣкъ, шумно перекрестились широкимъ крестомъ. Истово крестились даже и тѣ изъ арестан-

товъ, которые на словахъ не вѣрили, что называется, ни въ чохъ, ни въ сонъ, походя богохульствовали и заявляли себя самыми крайними атеистами. Было-ли это искреннее умиленіе, серьезная готовность возродиться? Вліяло-ли отчасти присутствіе многочисленнаго начальства?..

Передъ провозглашеніемъ многолѣтія къ столу торжественно приблизился бравый капитанъ, медленно развернулъ таинственную бумагу, которую все время держалъ въ рукахъ, окинулъ ликующимъ взоромъ строй бритыхъ арестантскихъ головъ и громко произнесъ:

— Такъ вотъ что, братцы, дождались вы великой милости!.. Слушайте бумагу, полученную мной отъ военнаго губернатора.

Если бы муха пролетѣла въ это время по тюремному двору, то, вѣроятно, и ея шелестъ былъ бы всѣми услышанъ. Гдѣ-то далеко, за тюремными воротами, кто-то кашлянулъ; высоко въ небѣ прощебетала ласточка...

Читалъ Лучезаровъ громко, необыкновенно отчетливо и выразительно, не только голосомъ, но взоромъ и жестомъ руки подчеркивая слѣдующія слова: „При условіяхъ хорошаго поведенія, искренняго раскаянія и добраго мнѣнія начальства, сроки наказанія арестантовъ, назначенные имъ по суду, могутъ быть уменьшаемы *до двухъ третей*“!!!

У всѣхъ точно тяжелый камень свалился съ плечъ: теперь уже всѣ собственными ушами слышали то, чему раньше приходилось вѣрить лишь на основаніи толковъ и слуховъ, хотя бы и самыхъ достовѣрныхъ. Кобылка глубоко завздыхала, закрестилась, радостно заколыхалась...

— Слава тебѣ, Господи!—послышались возгласы старичковъ.

Лучезаровъ, между тѣмъ, продолжалъ чтеніе губернаторской бумаги по пунктамъ, хотя его никто уже не слушалъ и никто не понималъ.

— Ну, такъ вотъ что: *до двухъ третей* скидывается вамъ!— торжественно возгласилъ онъ еще разъ, окончивъ чтеніе и высоко поднявъ въ воздухѣ бумагу.

Видимо, бравый капитанъ самъ искренно ликовалъ. Багровокрасное лицо съ длинными желтыми усами казалось на этотъ разъ не грознымъ, а сіяло умиленіемъ... Да и вся внушительная фигура Лучезарова приняла, казалось, меньшіе противъ обыкновеннаго размѣры, превратившись въ фигуру обыкновеннаго смертнаго...

Внимательно поглядѣвъ затѣмъ въ обѣ стороны арестантскихъ рядовъ, Шестиглазый быстрыми шагами подошелъ ко мнѣ и, протянувъ бумагу, любезно сказалъ:

— Посмотрите еще разъ и объясните имъ въ камерахъ, если чего, быть можетъ, не поняли.

Это было въ первый разъ, что онъ говорилъ мнѣ безъ всякихъ обиняковъ *вы* при столь оффиціальной обстановкѣ.

Между тѣмъ, священникъ, благообразный старикъ съ длинными бѣлыми волосами, тоже умиленно заговорилъ:

— Такъ вотъ, ребятушки, какая милость вамъ вышла! Можетъ быть, нѣкоторые изъ васъ и не заслужили ея, а и тѣмъ будетъ сброшено двѣ трети срока. Ну, помолимся же еще разъ покрѣпче и потеплѣе!

И снова началось жаркое моленіе.

— Лебята, кто хочетъ свѣци купить, белите!—кинулся толстый и красный, какъ кирпичъ, экономъ къ рядамъ арестантовъ съ пучкомъ восковыхъ свѣчей въ рукахъ. Ихъ живо расхватали у него (онъ отлично запоминалъ, кто именно). Брали не только благочестивые старички, но и равнодушный къ религіи „молодяжникъ“, не только состоятельные люди, но и такіе, за кѣмъ въ конторѣ числилось не больше десяти копѣекъ. Дьяконъ, зараженный общимъ энтузіазмомъ, просто надрывался, провозглашая многолѣтіе, и когда могучій басъ его загремѣлъ „многая лѣта“ плѣненнымъ, заключеннымъ, а затѣмъ и ихъ начальникамъ, то арестантскій хоръ рявкнулъ въ отвѣтъ ему такъ искренно, такъ громоподобно, что, вѣроятно, на дальнихъ сопкахъ было слышно его; по крайней мѣрѣ, парившій въ небесной синевѣ, въ видѣ маленькой точки, коршунъ тотчасъ же скрылся изъ моихъ глазъ...

Бурной волною текла ликующая кобылка въ корридоръ тюрьмы, окружая мени и громко требуя, чтобы еще разъ прочитана была драгоцѣнная бумага.

— По гуковкамъ, по гуковкамъ заучимъ! Читай, Миколаичъ, читай!

Мы съ Штейнгартомъ теперь только переглянулись, и я увидалъ, что у насъ одна и та-же мысль лежитъ въ глубинѣ души.

— Стойте, братцы,—обратился я къ толпѣ, едва подавляя собственное волненіе,—тутъ вѣдь крупная ошибка выходитъ. зумѣніе... Никакихъ двухъ третей намъ не скидывается

только одна треть, да и та не непремѣнно цѣликомъ и каждому. Могутъ скинуть меньше, могутъ и совсѣмъ ничего не скинуть.

— Что ты говоришь?! Смѣешься, что-ли, надъ нами?!

— Нисколько не смѣюсь; но и начальникъ, и священникъ, и вы всѣ поняли бумагу не такъ, какъ слѣдуетъ.

За минутой ошеломленнаго молчанія поднялся невообразимый гвалтъ. Раздались взбѣшенные голоса:

— Чего онъ плететъ? Отуманить насъ хочетъ!

— Не слухайте его, братцы! Мы вѣдь сами, своими ушами-то слышали!

— Возьмите у него бумагу, сами читайте. Кто грамотный?

— *Эти* люди всегда смуту сѣютъ, всегда начальство замарать норовятъ!—уловилъ я въ заднихъ рядахъ звонкій голосъ Богодарова, каторжнаго изъ дворянъ, вышедшаго когда-то изъ VI класса иркутской гимназіи, за подлогъ угодившаго въ Среднеколымскъ, а оттуда за убійство въ пьяномъ видѣ—въ Шелайскій рудникъ. Это былъ чахоточный, противъ всего на свѣтѣ озлобленный и страшно самолюбивый человѣкъ, мнившій себя высоко образованнымъ (а на самомъ дѣлѣ не умѣвшій писать грамотно) и глубоко ненавидѣвшій меня, тоже бывшаго дворянина, обладавшаго подлиннымъ образованіемъ.

— Имъ непріятно, что правительство человѣколюбіе такое выказало!..—громко, не стѣсняясь насъ, продолжалъ кричать Богодаровъ, и можно было уловить тамъ и сямъ сочувственное ему мычаніе. Вслѣдъ затѣмъ Богодаровъ куда-то скрылся. Оказалось потомъ, что онъ побѣжалъ докладывать Шестиглазому, что я съ товарищами бунтую арестантовъ, объясняя имъ, что никакихъ двухъ третей нѣтъ и не будетъ, что это одинъ обманъ. Онъ разсказывалъ потомъ кобылкѣ, будто Шестиглазый, страшно разсердившись, закричалъ:

— Скажи ему (т. е. мнѣ), что я до сихъ поръ просвѣщеннымъ человѣкомъ его считалъ, а онъ оказался просто-на-просто... осломъ!

Не знаю, выразился-ли бравый капитанъ такъ рѣзко, но что онъ былъ сильно раздраженъ моимъ противорѣчіемъ общему (и въ томъ числѣ его, Лучезаровскому) мнѣнію, это вполнѣ вѣроятно.

Арестанты, между тѣмъ, продолжали волноваться и шумѣть. Чѣмъ больше читали имъ бумагу собственные ихъ грамотѣи, тѣмъ сильнѣе укоренялась въ нихъ увѣренность насчетъ двухъ третей. Едва только чтеніе доходило до строкъ: „При условіяхъ и

проч., сроки наказанія арестантовъ, назначенные имъ по суду, могутъ быть уменьшаемы до двухъ третей", — какъ слушатели приходили тотчасъ же въ неистовый восторгъ и, размахивая руками, съ азартомъ кричали:

— Ну, чего же онъ споритъ? Вѣдь написано тутъ? Мы не глухіе тоже... Аль ужъ дураками насъ вовсе считаютъ? Вотъ они, высокоумные... Учились, учились, да и умъ-то ужъ за разумъ зачалъ заходить!

Многіе изъ арестантовъ совсѣмъ даже перестали въ эти дни разговаривать со мною и проходили мимо, не здороваясь, какъ всегда прежде, и отворачивая въ сторону голову, а нѣкоторые, напротивъ, глядѣли нахально въ глаза съ нескрываемымъ выраженіемъ ненависти и презрѣнія. И только сравнительно немногіе сохраняли все время прежнюю теплоту отношеній. Такъ, Кузьма Чирокъ говорилъ мнѣ съ добродушной укоризной:

— Посередь чурокъ лѣсныхъ взросъ я, Миколаичъ, и самъ не болѣ, какъ пень пермяцкій... Что люди говорятъ, тому и вѣрю. Ну, а все же, надо полагать, маху ты на этотъ разъ далъ! Ужъ очень знатко написано въ гумагѣ-то,—я даже понимаю, что двѣ трети, а ты толкуешь—одна треть!

— Послушайте, Чирокъ. Если у меня, положимъ, не будетъ хлѣба, а у васъ я увижу цѣлую краюху, подойду и скажу вамъ по-пріятельски: „Кузьма, дайте мнѣ хлѣба, уменьшите свою порцію до двухъ третей". Вы сколько же оставите себѣ и сколько мнѣ дадите?

—.Ну, я и дамъ тебѣ третью часть, а себѣ двѣ оставлю!—не задумываясь, рѣшаетъ Чирокъ.

— Ага! когда дѣло коснулось вашей пользы, вы поняли? Почему же тамъ, гдѣ вамъ невыгодно оставить себѣ двѣ трети, вы оставляете только одну?

Въ сильномъ волненіи заскребъ себѣ Чирокъ и голову, и брюхо.

— Ахъ, Миколаичъ, Миколаичъ! Не раздражай ты моего сердца, замолчи!

Въ числѣ немногихъ другихъ „сурьезныхъ" и бывалыхъ арестантовъ, Юхоревъ также ни на іоту не измѣнилъ своего отношенія ко мнѣ съ товарищами. Онъ, какъ всегда, бравировалъ своимъ каторжнымъ презрѣніемъ ко всякаго рода милостямъ.

— А наплевать мнѣ,—говорилъ онъ, тряся, какъ левъ, своей могучей головою.—Дадутъ треть—возьму и треть, съ лихой собаки

шерсти клокъ... А, впрочемъ, на себя самого всего лучше надѣяться!

И, загнувъ крѣпкое словцо, онъ торопливо, по обыкновенію, убѣгалъ легкой походкой по своимъ дѣламъ. Что касается, однако, смысла бумаги, то я не сомнѣвался, что въ глубинѣ души онъ понималъ его такъ же, какъ всѣ.

По окончаніи одного изъ горячихъ споровъ моихъ съ арестантами, въ которомъ принималъ участіе и дежурившій въ тотъ день надзиратель, Луньковъ таинственно отозвалъ меня въ сторону и сказалъ:

— Иванъ Николаевичъ, я вполнѣ готовъ вѣрить вамъ. Конечно, куда же супротивъ васъ не только намъ, а и самому Шестиглазому. Но только одно я вамъ посовѣтую: держите про себя, что думаете... Ну, вдругъ до высшаго начальства донесется? Спохватится оно и не дастъ намъ двухъ третей... Намъ же вѣдь лучше, ежели они невѣрно понимаютъ...

И онъ такъ трогательно-умоляюще глядѣлъ на меня, произнося это, что я не въ силахъ былъ даже засмѣяться. Между тѣмъ, Лучезаровъ, разсерженный въ первыхъ попыхахъ, началъ, должно быть, размышлять. Когда на одной изъ вечернихъ повѣрокъ кто-то изъ арестантовъ спросилъ его, точно-ли двѣ трети прощаются каторжнымъ, бравый капитанъ отвѣчалъ уже съ нѣкоторымъ смущеніемъ, бросивъ косвенный взглядъ въ мою сторону:

— Я послалъ запросъ завѣдующему каторгой... Въ губернаторской бумагѣ, дѣйствительно, нѣсколько неясныя на этотъ счетъ выраженія... Во всякомъ случаѣ, вопросъ очень скоро будетъ разъясненъ.

Пѣтушковъ тоже не разъ затѣвалъ со мной споры въ рудникѣ. Онъ понималъ бумагу, какъ всѣ, въ пользу арестантовъ и полушутя, полусерьезно упрекалъ меня въ самомнѣніи, въ желаніи во всемъ быть не такимъ, какъ другіе.

— Я хорошо знаю, что вы ученые люди, а мы пни таежные, ну, а всетаки, ежели не мы, такъ вѣдь Монаховъ-то съ Лучезаровымъ не меньше могутъ понимать?.. Они тоже чему-нибудь учились... Да чего! самъ завѣдующій, слышно, объяснялъ, что скидывается двѣ трети... Неужто-жъ никто, халудора, такъ-таки никто, кромѣ васъ однихъ, во всей нашей Сибири читать не умѣетъ?

— Не читать не умѣютъ, Ильичъ, а настроились всѣ въ пользу двухъ третей—вотъ такъ и понимаютъ. А вы вотъ что-скажите мнѣ: положимъ, вы бы 90 руб. жалованья въ мѣсяцъ получали.

— Охъ, ловко-бъ это, халудора, было!

— Положимъ теперь, что за какую-нибудь провинность вамъ уменьшили-бъ это жалованье до двухъ третей. Сколько-бъ вы тогда получать стали?

— Раньше, говоришь, было 90? Ну, понятно, осталось бы 60 рублей.

— Ну, вотъ сами видите, что по моему и выходитъ.

— Какъ такъ? Что такое? Гдѣ по твоему, халудора тебя заѣшь?—срывался съ мѣста Пѣтушковъ и, продолжая споръ, соглашался прогакладывать своего любимаго коня Воронка противъ 50 руб. съ моей стороны...

Молва о томъ, что трое образованныхъ арестантовъ заумничались, катилась, точно снѣжный комъ, по шелайскимъ окрестностямъ, и скоро объ этомъ знали и говорили даже въ заводѣ. Общественное мнѣніе было не на нашей сторонѣ, и всѣ съ явнымъ злорадствомъ поджидали рѣшенія высшаго начальства, рѣшенія, которое должно было въ конецъ пристыдить и опозорить насъ!

— А что, Иванъ Николаевичъ, — шутливо говорилъ иногда Штейнгартъ, — вѣдь самая большая непріятность будетъ теперь для насъ, если начальство возьметъ да и примѣнитъ къ намъ двѣ трети? Ужъ лучше, пожалуй, въ тюрьмѣ остаться, но за то въ качествѣ побѣдителей?

— Ну, нѣтъ, я не согласенъ,—отвѣчалъ я, тоже шутя, — по моему, лучше провалиться, но двѣ трети получить!

Время, между тѣмъ, шло. Большинство арестантовъ ждало, что выпускать изъ тюрьмы станутъ—самое позднее—нѣсколько дней спустя, а нѣкоторые были разочарованы, когда ихъ не выпустили тотчасъ же послѣ молебна и вечеромъ, какъ всегда, сдѣлали повѣрку, прочитали нарядъ на работы и заперли на замокъ. На другой день кто-то пустилъ слухъ, что изъ богадѣльни въ Александровскомъ заводѣ всѣ арестанты давно уже выпущены, и семидесятилѣтніе богодулы, гуляя по кабакамъ, хвастливо шамкаютъ беззубыми ртами:

— Мы еще загремимъ, братцы!..

Но слухъ этотъ былъ вскорѣ опровергнутъ. Дни шли за днями. Повѣрки, работы, весь строй каторжной жизни продолжался своимъ чередомъ; умиленное настроеніе надзирателей и самого Шестиглазаго смѣнилось прежней важностью и суровостью, и кобылка

быстро начала падать духомъ. Втайнѣ она продолжала вѣрить въ двѣ трети, но явно все чаще и чаще слышались голоса:

— Правъ Иванъ Николаевичъ, правъ: и одной-то трети понюхать намъ не дадутъ! Какой тутъ можетъ быть законъ въ Сибири? Одно слово—шемякинъ судъ!

Въ серединѣ лѣта никто даже и не заговаривалъ больше о манифестѣ. О примѣненіи его не было ни слуху, ни духу. Наконецъ, уже въ сентябрѣ мѣсяцѣ, разнеслась молва, что въ Зерентуйскомъ рудникѣ двоимъ заключеннымъ объявлена сбавка въ двѣ трети.

— Въ двѣ трети?!

— Да,—говорили съ увѣренностью вѣстники.

— Да какъ же такъ?.. Если это тотъ Малышевъ, котораго я знаю, такъ ему и оставалось-то всего нѣсколько мѣсяцевъ, потому судился онъ на двѣнадцать лѣтъ.

— А я Сухопятова знаю,—подхватилъ другой изъ слушателей,—онъ въ одинъ день со мной судился, только мнѣ однимъ годомъ больше дали... Значитъ, онъ и такъ ужъ пересидѣлъ, потому и мнѣ на дняхъ, почесть, срокъ выйдетъ!

— Какія же это двѣ трети?

— Ну, да, можетъ, не тотъ Сухопятовъ—другой.

Но вотъ, въ одинъ прекрасный вечеръ, Лучезаровъ прочиталъ на повѣркѣ, что трое арестантовъ, находящихся въ Шелайской вольной командѣ, тоже выходятъ по манифесту на поселеніе. Про этихъ всѣ уже отлично знали, что одному оставался до поселенія мѣсяцъ, двоимъ по два мѣсяца! Каждая почта стала приносить послѣ того подобныя же скидки арестантамъ, большею частью изъ вольнокомандцевъ, сроки которыхъ и безъ того оканчивались въ самомъ близкомъ будущемъ, а одинъ разъ пришелъ приказъ о годовой скидкѣ арестанту, который наканунѣ совсѣмъ окончилъ свою каторгу!.. Разочарованіе было полнѣйшее. Каторга громко негодовала. „Иваны“ больше чѣмъ когда-либо бравировали, заявляя, что они все равно ни въ какихъ милостяхъ не нуждаются, а мелкая шпана ворчала, что сибирское начальство „украло“ у нея двѣ трети.

— Да ужъ одну-бъ то хоть дали полнякомъ, а то и одной вѣдь не выходитъ!

Рѣшили обратиться за разъясненіями къ Шестиглазому. Бра-

помолимся покрѣпче,—передразнивали его, кипя непонятною злобой,—потому и тѣ изъ васъ, которые того не заслуживаютъ, и тѣ получатъ двѣ трети"!.. О, грива твоя нечесаная, чтобъ тебѣ пусто было! Получили!.. Двѣ трети!.. У, жеребячья порода!

Безпощадно осмѣивались также тѣ изъ арестантовъ, которыхъ видѣли ставившими свѣчи во время молебна. Уличаемые отпирались и, въ свою очередь, указывали на другихъ. Одни краснѣли конфузливо, другіе свирѣпо огрызались.

Немало происходило по этому поводу забавныхъ и вмѣстѣ печальныхъ сценъ.

VI.

На очной ставкѣ.

Населеніе нерчинскихъ рудниковъ въ послѣднее время сильно таяло и независимо отъ манифеста, благодаря частымъ выборкамъ здоровыхъ арестантовъ на Сахалинъ и, главнымъ образомъ, потому, что изъ Россіи временно почти прекратился притокъ свѣжихъ партій (вѣроятно, также благодаря усиленному требованію ихъ на Сахалинъ). Населеніе Шелайскаго рудника рѣдѣло не по днямъ, а по часамъ; не хватало здоровыхъ арестантовъ для исполненія даже тѣхъ несложныхъ функцій, какія имѣлись въ его повседневной жизни. Особенный недостатокъ чувствовался въ мастеровыхъ всякаго рода. Въ гору наряжали совсѣмъ мало народа, и Монаховъ прекратилъ дѣйствіе одной изъ шахтъ. Между тѣмъ, изъ маленькихъ партій, время отъ времени продолжавшихъ всетаки прибывать въ Нерчинскую каторгу, въ Шелай не назначали почему-то ни одного человѣка: арестанты объясняли это „варварской" славой браваго капитана и дурными отношеніями къ нему завѣдующаго каторгой. Предполагалось, что Шестиглазый жить не можетъ, „спать спокойно не можетъ безъ нашего брата", и что этимъ игнорированьемъ его тюрьмы ему можно насолить всего сильнѣе. Говорили, что онъ то и дѣло посылалъ „затребованья" новыхъ людей, и временами къ намъ присылали, дѣйствительно будто на смѣхъ, двухъ-трехъ старичковъ, которыхъ давно уже слѣдовало бы поселить въ богадѣльнѣ, кривыхъ, хромыхъ, неспособныхъ ни къ какой работы и не знающихъ никакого ремесла. Лучезаровъ тогда рвалъ и металъ и немедленно

только одна треть, да и та не непремѣнно цѣликомъ и каждому. Могутъ скинуть меньше, могутъ и совсѣмъ ничего не скинуть.

— Что ты говоришь?! Смѣешься, что-ли, надъ нами?!

— Нисколько не смѣюсь; но и начальникъ, и священникъ, и вы всѣ поняли бумагу не такъ, какъ слѣдуетъ.

За минутой ошеломленнаго молчанія поднялся невообразимый гвалтъ. Раздались взбѣшенные голоса:

— Чего онъ плететъ? Отуманить насъ хочетъ!

— Не слухайте его, братцы! Мы вѣдь сами, своими ушами-то слышали!

— Возьмите у него бумагу, сами читайте. Кто грамотный?

— *Эти* люди всегда смуту сѣютъ, всегда начальство замарать норовятъ!—уловилъ я въ заднихъ рядахъ звонкій голосъ Богодарова, каторжнаго изъ дворянъ, вышедшаго когда-то изъ VI класса иркутской гимназіи, за подлогъ угодившаго въ Среднеколымскъ, а оттуда за убійство въ пьяномъ видѣ—въ Шелайскій рудникъ. Это былъ чахоточный, противъ всего на свѣтѣ озлобленный и страшно самолюбивый человѣкъ, мнившій себя высоко образованнымъ (а на самомъ дѣлѣ не умѣвшій писать грамотно) и глубоко ненавидѣвшій меня, тоже бывшаго дворянина, обладавшаго подлиннымъ образованіемъ.

— Имъ непріятно, что правительство человѣколюбіе такое выказало!..—громко, не стѣсняясь насъ, продолжалъ кричать Богодаровъ, и можно было уловить тамъ и сямъ сочувственное ему мычаніе. Вслѣдъ затѣмъ Богодаровъ куда-то скрылся. Оказалось потомъ, что онъ побѣжалъ докладывать Шестиглазому, что я съ товарищами бунтую арестантовъ, объясняя имъ, что никакихъ двухъ третей нѣтъ и не будетъ, что это одинъ обманъ. Онъ разсказывалъ потомъ кобылкѣ, будто Шестиглазый, страшно разсердившись, закричалъ:

— Скажи ему (т. е. мнѣ), что я до сихъ поръ просвѣщеннымъ человѣкомъ его считалъ, а онъ оказался просто-на-просто... осломъ!

Не знаю, выразился-ли бравый капитанъ такъ рѣзко, но что онъ былъ сильно раздраженъ моимъ противорѣчіемъ общему (и въ томъ числѣ его, Лучезаровскому) мнѣнію, это вполнѣ вѣроятно.

Арестанты, между тѣмъ, продолжали волноваться и шумѣть. Чѣмъ больше читали имъ бумагу собственные ихъ грамотѣи, тѣмъ сильнѣе укоренялась въ нихъ увѣренность насчетъ двухъ третей. Едва только чтеніе доходило до строкъ: „При условіяхъ и

огромнымъ вліяніемъ на эконома, обдуваетъ его въ пользу артели и, вообще, держитъ въ ежевыхъ рукавицахъ. Мнѣ самому, дѣйствительно, приходилось слыхивать въ кухнѣ, какъ Юхоревъ въ глаза называлъ эконома шепелявымъ чортомъ, и тотъ только добродушно ежился да отшучивался. Но „шепелявый чортъ", съ своей стороны, былъ достаточно пронырливая бестія, чтобы въ чемъ-нибудь уступать самому хитрому и ловкому арестанту; восхищеніе кобылки умомъ своего старосты было чисто платоническимъ, никакихъ видимыхъ благотворныхъ для себя плодовъ отъ его побѣдоносной политики тюрьма не видѣла; напротивъ, баланда въ котлѣ становилась съ каждымъ мѣсяцемъ все водянистѣе и безвкуснѣе, мяса все меньше и меньше; сало для каши то подъ тѣмъ, то подъ другимъ предлогомъ не выдавалось цѣлыми недѣлями. Все это кобылка отлично видѣла и чувствовала, но личность Юхорева была слишкомъ обаятельна и слишкомъ подавляла всѣхъ, чтобы раздались, наконецъ, противъ него громкіе протесты.

Между тѣмъ, самъ Юхоревъ, отъ природы жилистый и сухощавый, начиналъ лосниться отъ жира и избытка здоровья; онъ не пилъ чаю безъ молока, курилъ только хорошій табакъ, ѣлъ много мяса и даже бывалъ иногда пьянъ, доставая спиртъ отъ фельдшера Землянскаго, съ которымъ велъ большую дружбу. Онъ самъ похвалялся арестантамъ послѣ одного изъ тюремныхъ обысковъ, что если бы пошарили хорошенько въ его бушлатѣ, то нашли бы тамъ цѣлыхъ двадцать пять рублей. Откуда у него явились такія деньги? Откуда онъ бралъ молоко, мясо? Кобылка старалась не думать о такихъ щекотливыхъ вопросахъ, продолжая молчаливо и безропотно питаться помоями.

Въ одинъ изъ воскресныхъ дней Штейнгартъ и я гуляли, по обыкновенію, съ Башуровымъ въ корридорѣ, какъ вдругъ Юхоревъ крикнулъ съ порога своей камеры:

— Валерьянъ, завтракъ поданъ, иди, дружище!

— Какой такой завтракъ?—съ недоумѣніемъ обратились мы къ товарищу.

Башуровъ сконфузился.

— Да, знаете, тамъ... Юхоревъ часто потчуетъ... Неловко какъ-то отказываться.

— Чѣмъ онъ потчуетъ?

— Ну, разнымъ тамъ, картошкой, иногда мясомъ...

— Да развѣ вы не знаете, откуда онъ беретъ все это? Вѣдь

— Свидѣтели нашлись. Двое изъ нашей же компаніи непьяныхъ было... Еще отговаривали насъ... Ну, а потомъ, какъ сволочь-то эта заявила на нихъ, они и не стали запираться, указали на меня съ товарищами. И вотъ восемь лѣтъ каторги, какъ пить дать, готово! Ну, какой же это законъ? Не законъ это, а прямо сказать—разбой!

Изъ внутреннихъ качествъ Быкова, кромѣ упомянутой уже недалекости, выдавались еще чисто-ослиное упорство и болѣзненно развитое самолюбіе, способность видѣть обиду даже тамъ, гдѣ ея и тѣни не было. Мня себя очень неглупымъ человѣкомъ, онъ не допускалъ ни малѣйшаго возраженія въ спорахъ и сейчасъ-же начиналъ фыркать. Разъ лѣтомъ, любуясь со двора тюрьмы на красиво разливавшійся по сопкамъ цвѣтъ богульника, я спросилъ проходившаго мимо Быкова, какого онъ представляется ему цвѣта.

— Ну, да алаго, вѣстимо, алаго,—категорически заявилъ онъ.

— А мнѣ кажется, лиловаго цвѣта,—высказалъ я свое мнѣніе:— алый совсѣмъ не такой...

Быковъ сейчасъ-же обидѣлся.

— Еловый?.. Я не знаю, какой такой еловый свѣтъ... Зачѣмъ и спрашиваете, коли сами все знаете? Мы въ попы вѣдь не мѣтимъ... Хо-хо! еловый свѣтъ!

И, надувшись, отошелъ прочь *).

Вотъ съ этимъ-то человѣкомъ у Валерьяна Башурова и произошло вскорѣ рѣзкое столкновеніе. При установившейся раньше фамильярности отношеній немудрено, что въ отвѣтъ на какую-то грубость Башурова (въ родѣ „отойдите прочь, не мѣшайте мнѣ!“) Быковъ самъ послалъ учителя въ какія-то не очень двусмысленныя мѣста... Не ожидавшій ничего подобнаго Башуровъ вскипѣлъ гнѣвомъ и потребовалъ отъ Быкова, чтобы онъ немедленно передъ нимъ извинился. Быковъ вмѣсто извиненія закатился самымъ обиднымъ хохотомъ и къ первой грубости прибавилъ еще нѣсколько площадныхъ словъ. Вліятельные арестанты въ родѣ

*) Кстати сказать, я и до сихъ поръ не въ состояніи опредѣлить этотъ цвѣтъ. Мнѣ указывали, что въ I ч. «Міра отверженныхъ» встрѣчаются такія курьезно противорѣчащія одно другому выраженія, какъ «лиловый» и «кровавый» цвѣтъ богульника... Но я думаю, что это вовсе не противорѣчіе: обыкновенно лиловатый, цвѣтъ этотъ иногда (особенно, когда задумаешься) дѣйствительно принимаетъ кровавый оттѣнокъ. *Прим. авт.*

вѣкъ, не то что мы двое—гордые люди, гнушающіеся темнымъ людомъ...

Но, какъ и предсказывалъ Штейнгартъ, Валерьянъ не смогъ надолго остаться въ одномъ и томъ же настроеніи, и у него тамъ и сямъ стали случаться рѣзкія стычки съ пріятелями-арестантами. Объ одной такой стычкѣ съ любимымъ его „ученикомъ“ Быковымъ заговорили во всей тюрьмѣ. Этотъ Быковъ былъ выдающаяся въ своемъ родѣ фигура, и я долженъ сказать о немъ нѣсколько словъ. Ближайшій другъ Юхорева, онъ былъ обязанъ, однако, своей замѣтностью не какимъ либо внутреннимъ, а почти исключительно внѣшнимъ качествамъ. Туповатый и недалекій малый, ростомъ онъ былъ чуть не головой выше Юхорева и Сохатаго, и при этомъ сухъ и тощъ, какъ спичка; мертвенно-блѣдное лицо на огромномъ четырехугольномъ черепѣ, глубоко впавшіе каріе глазки и чуть замѣтная желтая бородка, длинныя, костистыя руки, отличавшіяся феноменальной силой,—таковъ былъ обликъ этого огромнаго живого скелета, въ дополненіе ко всему имѣвшаго грубый, непріятный голосъ съ отрывистымъ смѣхомъ.. Пришелъ Быковъ въ каторгу за насиліе надъ женщиной, хотя самъ онъ находилъ свое осужденіе возмутительно-жестокимъ и несправедливымъ дѣломъ.

— Ха! законъ!—говорилъ онъ своимъ жесткимъ, сердитымъ басомъ:—какой тутъ можетъ быть законъ? За какую-нибудь шляющую старушонку посылать человѣка въ каторгу...

— Но вы, точно, обидѣли ее, Быковъ?

— Какая тутъ можетъ быть обида? Ну, кабы дѣвка молодая, аль мужняя жена, тогда бы другое дѣло. А то—вдова-старушонка, и съ лица-то прямо вѣдьма-вѣдьмой!

— Все равно—женщина...

— Э, да вы, Миколаичъ, извѣстно, всегда за это поганое сословіе стоите! А вы послухайте, какъ было дѣло-то. На пріискѣ я жилъ, и старушонка эта тамъ же гдѣ-то по-близу жила. Вотъ и встрѣтили мы ее, нѣсколько парней, въ лѣсу... Праздничнымъ было дѣломъ—ну, и выпимши всѣ здорово. Нешто въ трезвую башку взбрела бъ такая глупость? Нешто денегъ у насъ не было, аль охочихъ дѣвокъ не хватало? Ну, а она, вѣдьма, закуражилась... Другая бъ еще за честь почла... хо-хо-хо, съ молодыми-то парнями погулять... А она рыло прочь! Ну... ну и пришлось насильствомъ.

— Какъ же она потомъ доказала на васъ?

двѣ спустя послѣ объявленія въ тюрьмѣ манифеста. Придя разъ утромъ въ кухню за кипяткомъ и увидавъ кухонниковъ сидящими за какимъ-то завтракомъ, онъ сказалъ, смѣясь:

— Хорошо вамъ жить, господа, съ теперешнимъ старостой! Кормитъ онъ васъ, точно на убой.

Слова эти были приняты, казалось, за шутку, но когда Валерьянъ ушелъ, въ кухнѣ разыгралось цѣлое драматическое представленіе. Явившемуся туда Юхорову сообщили, будто Башуровъ говорилъ о составившейся въ кухнѣ подъ его предводительствомъ шайкѣ. Какъ взбѣшенный левъ, прибѣжалъ Юхоревъ въ камеру и торжественно заявилъ Валерьяну:

— Я этого не ожидалъ отъ васъ, Башуровъ. Мы жили до сихъ поръ дружно, а теперь я вижу, что вы камень за пазухой держите. Только вамъ слѣдовало бы доказать сначала, что я атаманъ какой-то тамъ шайки, обворовывающей артель!

Башуровъ пробовалъ оправдаться.

— Я пошутилъ, меня невѣрно поняли...

— Ну, *такъ* не шутятъ у насъ, — внушительно возразилъ Юхоревъ и прибавилъ:—впрочемъ, мнѣ хорошо извѣстно, откуда все это идетъ, и кто васъ настраиваетъ противъ меня. Слишкомъ ужъ высоко носъ загибаете, господа!

— Кто меня настраиваетъ, и кто носъ загибаетъ? — допрашивалъ Валерьянъ.

— Да ужъ знаемъ мы, кто! — сказалъ, какъ отрѣзалъ, Юхоревъ и выбѣжалъ вонъ изъ камеры.

Узнавъ объ этомъ разговорѣ, я ни минуты не сомнѣвался въ томъ, что разумѣлъ онъ, главнымъ образомъ, меня. Еще до прибытія новичковъ, я былъ по отношенію къ нему всегда крайне сдержанъ, какъ бы инстинктомъ чуя въ немъ, хотя и выдающуюся, но лишенную всякаго моральнаго элемента силу, отъ которой благоразумнѣе стоять; съ началомъ же дружбы Юхорева съ Башуровымъ я (также, быть можетъ, безсознательно) сталъ съ нимъ не только сдержаннымъ, но даже и холоднымъ. И я чувствовалъ, что эта вибрація моихъ отношеній не оставалась незамѣченной умнымъ арестантомъ. Онъ былъ по прежнему безукоризненно вѣжливъ со мной и Штейнгартомъ, но въ вѣжливости этой уже чуялась затаенная вражда. Его, очевидно, глубоко задѣвало и оскорбляло, что съ нашей стороны

Юхорева поспѣшили удалиться изъ камеры, точно и не слышавъ ссоры; оставшаяся шпанка хранила безмолвный нейтралитетъ.

— Я всегда предупреждалъ васъ Башуровъ, — высказалъ я товарищу свое мнѣніе, когда онъ разсказалъ мнѣ эту исторію: — Такъ какъ на площадную брань мы не можемъ отвѣчать арестантамъ такой же бранью, то намъ вообще не слѣдуетъ входить въ черезчуръ близкія отношенія съ ними.

— Ахъ, право же, этотъ Быковъ исключеніе! Это такой оселъ...

— Ну, дѣлать всетаки нечего, — рѣшилъ Штейнгартъ, — не лѣзть же тебѣ драться съ нимъ.

Въ душѣ я чувствовалъ большое раздраженіе противъ товарища, обвиняя скорѣе его, нежели Быкова, съ котораго и спрашивать многаго нельзя было; тѣмъ не менѣе, оффиціально и я счелъ нужнымъ нѣсколько надуться на этого послѣдняго, суше обыкновеннаго отвѣчая на его заговариванья при встрѣчахъ. Вообще, послѣ этого случая мы съ Штейнгартомъ еще больше насторожились; стоило теперь кому-либо изъ насъ троихъ заговорить въ присутствіи кобылки что-нибудь лишнее или, какъ другимъ казалось, нетактичное, какъ уже слышалось предостереженіе: — Noblesse oblige, господа!..

Проученный столкновеніемъ съ Быковымъ и цѣлымъ рядомъ другихъ болѣе мелкихъ стычекъ съ сожителями, самъ Башуровъ сталъ подозрительно относиться ко всѣмъ арестантамъ, съ которыми раньше допустилъ излишнюю близость. Онъ все чаще сталъ грубо обрывать фамильярное обращеніе съ собою и получать въ отвѣтъ, разумѣется, такія же грубости. Популярность его такъ же быстро начала падать въ тюрьмѣ, какъ раньше быстро создалась. Въ концѣ концовъ, и съ Юхоревымъ у него началось неизбѣжное охлажденіе. На бѣду свою Башуровъ былъ черезчуръ откровененъ и неосторожень въ громкомъ высказываніи своихъ мыслей объ артельныхъ обычаяхъ и порядкахъ. Прежде, когда онъ держалъ себя съ сожителями на равной ногѣ, самыя рѣзкія замѣчанія его на этотъ счетъ прощались или обращались въ шутку; но теперь, когда подъ вліяніемъ обиженнаго самолюбія онъ попробовалъ круто измѣнить первоначальное поведеніе, оставляя, однако, за собой право разыгрывать роль цензора нравовъ, арестанты не захотѣли признавать за нимъ этого права. Вотъ на какой почвѣ произошла первая его ссора съ Юхоревымъ, недѣл

словно пудовая гиря, восемнадцатилѣтній Огурцовъ былъ безобиденъ и незлобивъ, какъ голубь, въ отвѣтъ на всякую брань умѣлъ только хихикать и хвататься за животъ, и какъ-то съ трудомъ даже вѣрилось, что этотъ юный и недалекій геркулесъ пришелъ въ каторгу за убійство человѣка. Онъ совершилъ, впрочемъ, это убійство безъ всякаго желанія и намѣренія, почти случайно. Товарищи зазвали однажды Огурцова въ кабакъ, и когда онъ отказался тамъ отъ питья водки, сидѣвшій въ кабакѣ пьяный, какъ стелька, фельдфебель предложилъ честной компаніи насильно влить ему въ ротъ стаканъ спирта. Защищаясь отъ этого остроумнаго предложенія, Огурцовъ хотѣлъ, по его словамъ, „смазать“ пьянаго солдата по рожѣ, но такъ неосторожно угодилъ кулакомъ по виску, что у несчастнаго раскололся черепъ, и духъ вылетѣлъ моментально.

Со мной Огурцовъ сдружился съ первыхъ же дней общаго пребыванія въ тюрьмѣ и, хотя не жилъ въ одной камерѣ, учился урывками грамотѣ, которая давалась ему очень туго; онъ съ большой охотой велъ также „ученые“ разговоры, подобно Кифѣ Мокіевичу допрашивая меня, напр., о томъ, почему у человѣка только двѣ ноги, а онъ, однако, умнѣе птицы. При этомъ, о какой бы важной матеріи ни заходила бесѣда, онъ то и дѣло закрывалъ почему-то одной рукой ротъ, а другой держался за животъ, присѣдалъ и закатывался тоненькими смѣшками; это было обычнымъ выраженіемъ его удивленія... Кобылку Огурцовъ цѣнилъ, подобно Лункову, очень низко, какъ въ нравственномъ, такъ и въ умственномъ отношеніи, возмущался арестантскими обычаями и порядками и держался въ сторонѣ отъ общей тюремной жизни.

Однажды понадобился на кухню новый хлѣбопекъ. Лучезаровъ окинулъ глазами строй арестантовъ и облюбовалъ почему-то Огурцова. Послѣдній былъ въ страшномъ огорченіи. Его богатырское тѣлосложеніе требовало свѣжаго воздуха и здоровой работы, а душная и жаркая атмосфера кухни только распаривала человѣка, разслабляла мускулы, наполняла лѣнью и жиромъ. Онъ готовъ былъ кричать отъ страшныхъ головныхъ болей, которыми началъ страдать, но на всѣ просьбы отослать его въ рудникъ бравый капитанъ отвѣчалъ одно:

— Вздоръ, братецъ, вздоръ! Привыкнешь. Хлѣбопекъ тоже долженъ быть сильнымъ человѣкомъ. Да и фамилія твоя не да-

онъ не встрѣчалъ того же товарищескаго довѣрія и желанія сблизиться, какъ со стороны экспансивнаго Валерьяна.

Друзья Юхорева нѣсколько дней подрядъ находились въ сильной ажитаціи и все время о чемъ-то совѣщались, расхаживая въ свободные отъ работы часы по тюремному двору. Въ кухнѣ появленіе каждаго изъ насъ троихъ встрѣчалось гробовымъ молчаніемъ. Главный поваръ, татаринъ Азіадиновъ, отнесшійся вначалѣ со смѣхомъ къ шуткѣ Башурова, теперь больше всѣхъ дулся и даже не отвѣчалъ на наши вопросы. Когда наступилъ ближайшій постный день, въ который готовилась балàнда изъ нашего мяса, оказалось, что Юхоревъ, Быковъ, Азіадиновъ, Шматовъ и еще два-три человѣка сварили себѣ отдѣльную постную баланду, а при субботней раздачѣ по камерамъ нашей махорки они же отказались отъ своихъ порцій. Это былъ явный протестъ. Борьба принимала острый и довольно непріятный характеръ...

Хлѣбопекъ Огурцовъ, совсѣмъ еще молодой и необыкновенно смѣшливый парень, до тѣхъ поръ очень дружившій со мной, теперь, когда я показывался въ кухнѣ, конфузливо отворачивался, точно не замѣчая меня. Но разъ, подъ вечеръ, когда я заваривалъ себѣ передъ самой повѣркой чай, онъ незамѣтно для другихъ арестантовъ приблизился ко мнѣ и быстро вложилъ въ руку записку. Вернувшись въ камеру, я прочелъ слѣдующія безграмотныя строки: „иванъ мекалаечъ шайка Наша говорятъ что у васъ тожи своя шайка что вы вней отоманъ что вы тесните тюрму сводитѣ напраслену на иванофъ А я видитъ бохъ люблю васъ да боюсъ. того гледи побютъ юхорефъ говоритъ, что вы купили меня табакомъ вашъ верный лечарда Огурцофъ“.

Я долженъ разсказать здѣсь исторію этого „вѣрнаго Ричарды“—она не безынтересна. Огурцовъ явился вмѣстѣ со мною въ Шелай совсѣмъ. почти мальчикомъ, безусымъ бутузомъ съ свѣжеокругленными щеками и атлетическимъ сложеніемъ, но главное—съ такой наивной и неиспорченной душою, что просто жаль было смотрѣть на него, облеченнаго въ сѣрую куртку съ двумя черными каторжными тузами на спинѣ. Не даромъ кобылка называла его „травой“—онъ и точно былъ травой безъ всякаго собственнаго цвѣта и запаха, бѣлой доской, на которой жизнь могла написать, что хотѣла. Имѣя въ плечахъ чуть не косую сажень, круглое толстое лицо (котораго, какъ острили арестанты, въ три дня было кругомъ не объѣхать) и огромный кулакъ, тяжелый,

и другихъ арестантскихъ ивановъ изрядно навеселѣ. Въ больницѣ юхоревскимъ агентомъ былъ лазаретный служитель Мишка Биркинъ, по прозванью Звѣздочетъ, юркій, живой, необыкновенно легкомысленный весельчакъ и щеголь изъ бывшихъ солдатъ. Биркинъ льнулъ, между прочимъ, и ко мнѣ, десять разъ на день забѣгая на минуту въ мою камеру и задавая мнѣ какой либо ученый вопросъ:

— А скажите, Иванъ Николаевичъ, есть ли гдѣ нибудь конецъ звѣздамъ на небѣ?

Или:

— Возможно ли, Иванъ Николаевичъ, прокопать землю насквозь?

Вопросами о мірозданіи, о звѣздахъ и пр. онъ наиболѣе, повидимому, интересовался, за что и получилъ отъ арестантовъ насмѣшливое прозвище Звѣздочета; но когда онъ задавалъ любой изъ подобныхъ вопросовъ, я хорошо видѣлъ, что и онъ, подобно Огурцову, очень мало въ сущности имъ интересуется и въ то самое время, какъ, слушая мой отвѣтъ, глубокомысленно глядитъ прямо въ мои глаза, мысли его несутся уже далеко, далеко, и съ губъ срывается фраза о чемъ либо совершенно постороннемъ и астрономіи, и геологіи:

— А знаете, какую сегодня пулю отмочилъ Землянскій? Вотъ что, говоритъ, Мишка: если придутъ сегодня больные, гони ихъ въ шею! Нѣтъ у меня лѣкарствъ, а отъ работы ослобождать я боюсь.

И Мишка, еще не окончивъ своего сообщенія, уже стрѣлой убѣгалъ изъ камеры. Вѣчно онъ куда-то торопился, вѣчно о чемъ-то заботился, и румяное лицо его съ взъерошенными усами всегда казалось чѣмъ-то встревоженнымъ и взволнованнымъ За эту свою непосѣдливость и суетливость Биркинъ носилъ также прозваніе Собачьей Почты.

Не смотря на то, что Юхоревъ не только походя ругалъ Мишку самой увѣсистой и циничной бранью, но нерѣдко и колотилъ основательнымъ образомъ, Мишка буквально благоговѣлъ передъ нимъ, питая какую-то чисто собачью привязанность, вполнѣ безкорыстную и самоотверженную.

Въ тюрьмѣ такую же роль преданной собаки по отношенію къ Юхореву игралъ Шматовъ (онъ же и „Гнусъ“), который, благодаря страшной астмѣ, былъ совершенно освобожденъ врачомъ отъ работъ и имѣлъ массу свободнаго времени для всякаго рода волы-

нокъ, интригъ и сплетенъ. Нѣсколько разъ пытался Шестиглазый засадить его всетаки въ мастерскую въ качествѣ починщика старой арестантской лопоти, но проходило два-три дня, и Шматовъ опять отбивался отъ работы и, дыша, какъ паровикъ, по прежнему начиналъ праздно слоняться по тюрьмѣ, разнося по камерамъ, по кухнѣ и больницѣ всякаго рода тюремныя новости и „бумо“. Другимъ такимъ же вѣстникомъ былъ сапожникъ Звонаренко („Кожаный Гвоздь“), тоже чахоточный человѣкъ, крикливый и необыкновенно злой на языкъ; но этотъ былъ характера самостоятельнаго: непримиримый обличитель всякаго рода неправды и нарушенія артельныхъ интересовъ (хотя, конечно, готовый при случаѣ и самъ погрѣть около артели руки), онъ во все совалъ свой носъ, вездѣ находилъ „неправильность поступковъ“ и, расхаживая по тюрьмѣ, громко кричалъ объ этомъ своимъ тонкимъ, бабьимъ голосомъ, безпрестанно кашляя и хватаясь руками за впалую грудь. Въ награду за свою любовь къ „правдѣ“ Звонаренко нерѣдко получалъ жестокіе побои отъ тюремныхъ воротилъ. Передъ нами же онъ всегда лисилъ и заискивалъ.

Но вотъ явилась, наконецъ, долго жданная новая партія въ шестьдесятъ четыре человѣка. Въ тюрьмѣ поднялась невообразимая бѣготня и возня; не только Шестиглазый, но и всѣ надзиратели чего-то ликовали и торжествовали. Освободили для новичковъ три крайнихъ камеры, выгнавъ оттуда старыхъ арестантовъ и размѣстивъ по остальнымъ шести номерамъ. Смѣшивать всѣхъ вмѣстѣ почему-то не торопились, и въ теченіе нѣсколькихъ дней новая партія жила совершенно отдѣльной жизнью въ отдѣльномъ корридорѣ, имѣя даже своего особаго старосту. Мнѣ также предстояло оставить насиженное гнѣздо и перейти въ другую камеру. Штейнгартъ настаивалъ, чтобы я воспользовался этимъ случаемъ и записался на нѣкоторое время въ больницу, чтобы тамъ на болѣе питательной пищѣ поправить свое довольно разстроенное здоровье. Не сладка была, впрочемъ, перспектива и лежанья въ тѣсномъ душномъ лазаретѣ, совершенно переполненномъ больными, среди которыхъ были и тифозные изъ только что пришедшей партіи; смерти одного изъ нихъ ожидали съ минуты на минуту. Особенно покоробило насъ, когда мы узнали отъ Биркина, что бѣлье этого больного, испачканное экскрементами, вотъ уже третьи сутки лежитъ здѣсь же, въ лазаретномъ чуланѣ. Возмущенный Штейнгартъ тотчасъ же заявилъ фельдшеру, что бѣлье необхо-

димо немедленно убрать. Землянскій, давно уже косившійся на то, что „арестантъ“ свободно заходитъ въ аптеку и распоряжается въ ней по своему усмотрѣнію, отвѣчалъ очень грубо:

— А вотъ когда накопится больше, тогда и велю убрать!

Штейнгартъ вспылилъ:

— Сейчасъ-же извольте очистить чуланъ! Если вы будете распространять здѣсь заразу, я на васъ врачу пожалуюсь.

Тотчасъ-же послѣ этой стычки, но еще не зная о ней, пришелъ и я просить Землянскаго записать меня въ лазаретъ. Онъ рвалъ и металъ въ аптекѣ, билъ въ безсильномъ бѣшенствѣ стклянки, бросалъ на полъ вату и бумагу.

— Мѣста нѣтъ въ лазаретѣ!—коротко отрѣзалъ онъ.

— Неправда, Штейнгартъ говоритъ, что есть.

Черные воровскіе глаза Землянскаго забѣгали въ разныя стороны, сверкая злымъ огонькомъ. Онъ, какъ-будто, обдумывалъ планъ борьбы.

— Ну, есть. Да какая вамъ будетъ польза отъ этого мѣста?—сказалъ онъ, наконецъ, стараясь быть хладнокровнымъ: — вамъ нужна улучшенная пища, хлѣбъ и молоко, а „третьи порціи“ всѣ въ разборѣ. Ложитесь, пожалуй, если хотите, на койку, только станете получать ту же пищу, что и въ тюрьмѣ. Начальникъ и то сердится, что я больше, чѣмъ слѣдуетъ, третьихъ порцій назначаю.

И доставъ изъ шкафа какіе-то отчеты, онъ быстро началъ перечислять мнѣ всѣ имѣющіяся въ его распоряженіи денежныя средства, „вторыя“ и „третьи“ порціи и т. д. Эти порціи, о которыхъ постоянно толковали и фельдшеръ, и староста, и больничные повара, служили всегда камнемъ преткновенія для моего пониманія; даже Штейнгартъ не совсѣмъ ясно понималъ порядокъ ихъ назначенія, а потому я предпочелъ просто спросить Землянскаго:

— Такъ, значитъ, вы начальника боитесь—назначить мнѣ молочную порцію?

— Да, начальника... Вотъ странное дѣло! Штейнгартъ тоже пристаетъ ко мнѣ насчетъ бѣлья... А что-жъ мнѣ дѣлать, если и его тоже начальникъ велитъ держать въ чуланѣ?

Я молча поклонился и, отправившись къ воротамъ, попросилъ дежурнаго доложить начальнику о моемъ желаніи видѣть его по важному дѣлу. Лучезаровъ, какъ всегда, безъ замедленія вызвалъ меня въ контору. Когда я сообщилъ ему, что фельдшеръ ссылается на его авторитетъ, отказываясь убирать экскременты тифозныхъ и

принять меня въ больницу, онъ пришелъ въ страшное бѣшенство и обѣщалъ сію же минуту нарядить „слѣдствіе“. Дѣйствительно, черезъ часъ времени въ тюрьму явился изъ конторы письмоводитель и сталъ по одиночкѣ допрашивать въ дежурной комнатѣ меня, Юхорева и нѣкоторыхъ больныхъ, лежавшихъ въ лазаретѣ. Между прочимъ, письмоводитель задалъ мнѣ вопросъ: — не слыхалъ-ли я чего-нибудь о томъ, что Землянскій приноситъ въ тюрьму водку или продаетъ Юхореву казенный аптечный спиртъ?

Изъ этого вопроса очевидно было, что у Шестиглазаго уже имѣлись на этотъ счетъ какія-то свѣдѣнія. Я отвѣчалъ, конечно, что не слыхалъ ничего. Что говорили Юхоревъ и другіе допрошенные арестанты, я не знаю, но о фельдшерѣ большинство отозвалось, что онъ ведетъ свое дѣло отлично, и никакихъ претензій къ нему арестанты не имѣютъ. Такимъ образомъ, моя жалоба осталась единичной, и „слѣдствіе“ не привело ровно ни къ какимъ благотворнымъ результатамъ.

А между тѣмъ, въ тюрьмѣ началось сильное волненіе. Юхоревъ произнесъ въ кухнѣ противъ меня съ товарищами цѣлую рѣчь.

— Вотъ они, хваленые-то благодѣтели!—гремѣлъ онъ, потрясая своей могучей головою:—мы да мы!.. Мы за народъ стоимъ, мы доносчиковъ ненавидимъ... А кто же, скажите, о спиртѣ донесъ? Почему письмоводитель такъ сразу и выпалилъ мнѣ: „А правда-ль, Юхоревъ, что ты у Землянскаго спиртъ покупаешь“? Вѣдь ни одинъ честный арестантъ не возьметъ во вниманіе доносами заниматься... Ахъ вы, фискалишки паршивые, бумагомараки! Знаю я теперь настоящую цѣну вамъ!

Валерьянъ первый прибѣжалъ сообщить мнѣ о происходящемъ на кухнѣ. Обвиненіе въ фискальствѣ, исходившее даже изъ юхоревскихъ устъ, признаюсь, какъ ножомъ, рѣзнуло меня по сердцу. Штейнгартъ былъ гдѣ-то внѣ тюрьмы у своихъ многочисленныхъ паціентовъ, и посовѣтоваться было не съ кѣмъ. А душа такъ наболѣла за послѣдніе дни, нервы такъ расходились, что, подъ вліяніемъ горькаго чувства обиды, я потерялъ голову и предпринялъ большую глупость, которая могла кончиться самымъ непріятнымъ для всѣхъ насъ образомъ: въ пылу негодованія, я обошелъ всѣ шесть камеръ, гдѣ жили старые арестанты, и пригласилъ ихъ въ свой номеръ на сходку „по очень важному дѣлу“. Кобылка, о видно, сразу догадалась, о какомъ щекотливомъ дѣлѣ шла

потому что большинство ея не шевельнулось даже съ мѣста, и на сходку изъ семидесяти человѣкъ собралось не больше пятнадцати-двадцати... Среди нихъ было очень мало безусловно сочувствовавшихъ мнѣ лицъ, но за то всѣ друзья Юхорева,—Быковъ, Азіадиновъ, Шматовъ, Биркинъ и во главѣ ихъ самъ онъ,—были на виду. Съ неостывшимъ еще чувствомъ возмущенія я спросилъ у собравшихся, какой поводъ далъ я арестантамъ за нѣсколько лѣтъ жизни въ ихъ средѣ оскорбить меня прозвищемъ фискала... Не успѣлъ я кончить свою маленькую рѣчь, какъ Шматовъ, стоявшій на нарахъ, крикливо загнусавилъ:

— Они думаютъ, что купили насъ своимъ табакомъ да мясомъ! Мы рта не смѣй разинуть!

— Ха! купили!—иронически поддакнулъ ему верзила Быковъ. Фыркнуло и еще нѣсколько человѣкъ.

— А я скажу вотъ что,—продолжалъ шипѣть Гнусъ,—перестану я вовсе курить, помру я съ голоду на шестиглазовскомъ брульонѣ, да останусь за то вольнымъ человѣкомъ... Вотъ что!

— Молчи, гнусина проклятая! — вдругъ притопнулъ на него Юхоревъ, любившій во всемъ обстоятельность и желавшій соблюсти цивилизованныя формы преній со мною. И онъ смѣло выступилъ впередъ.—Дай прежде людямъ слово сказать.

— А я говорю: помру лучше!.. — прошипѣлъ еще разъ Шматовъ, патетически ударяя себя въ грудь.

— Ты еще станешь мѣшать мнѣ!—внѣ себя закричалъ Юхоревъ и сдѣлалъ гнѣвное движеніе, намѣреваясь схватить Гнуса за шиворотъ. Гнусъ юркнулъ куда-то въ уголъ и замолчалъ.

— Теперь я, старики, говорить буду, — началъ Юхоревъ, и, признаюсь, онъ былъ живописенъ въ эту минуту, гордо выпрямившійся во весь свой огромный ростъ: поблѣднѣвшее отъ волненія смуглое лицо, точно изваянное изъ бронзы, казалось страшнымъ и величавымъ; свирѣпые сѣрые глаза загорѣлись враждою; желѣзная рука вытянулась впередъ — и въ этомъ неподвижномъ положеніи онъ живо напомнилъ мнѣ (рискую показаться смѣшнымъ, но это такъ) грозную статую Антокольскаго „Петръ Великій“... Противъ воли я почти залюбовался своимъ противникомъ.

— Я буду теперь говорить, старики. Жалуется Иванъ Николаевичъ, что я его фискаломъ обозвалъ. Это точно, обозвалъ. Ну, а какъ было не подумать и не высказать? Бѣжитъ Иванъ

Николаевичъ къ начальнику на фельдшера доказывать. А наша кобылка доказательствъ не обожаетъ!

— Да, на своего брата! — негодуя, прервалъ я,—а Землянскій не свой братъ-арестантъ, онъ — то же начальство.

— Позвольте, Иванъ Николаевичъ,—вѣжливо отстранилъ меня Юхоревъ,—я теперь говорю... Для насъ Землянскій не начальство, а почти, можно сказать, свой братъ! Не знаемъ, какъ вы, а мы вполнѣ довольны этимъ фершаломъ.

— Душа-человѣкъ для насъ, арестантовъ! — загнусавилъ Шматовъ.

— Чего и говорить!—поддержалъ Быковъ.

— Про этого фельдшера вы ничего дурного не скажете?— спросилъ я, оглядываясь кругомъ и снова до глубины души возмущаясь,—и замѣтилъ, какъ нѣкоторые изъ арестантовъ скосили глаза, чтобы избѣгнуть моего взгляда.

— Разныя у насъ съ вами требованія отъ фершала,—заговорилъ опять Юхоревъ,—въ этомъ и все дѣло. Вы нашихъ арестантскихъ нравовъ не знаете. Не о томъ, однако, рѣчь. Очень, конечно, пріятно слышать, что вы не доносили Шестиглазому объ моемъ пьянствѣ, но я всетаки виновнымъ себя въ поклепѣ не признаю. Является по вашему зову въ тюрьму письмоводитель и вдругъ, допросивъ сначала васъ, начинаетъ всѣхъ спрашивать о спиртѣ. Ясное дѣло, на кого тутъ подумать! А вотъ, что скажутъ ребята, ежели я объясню имъ другую штуку. Этотъ же самый Иванъ Николаевичъ, который такъ возмущенъ моими словами объ его фискальствѣ, самъ пустилъ по тюрьмѣ бумо, что Юхоревъ, молъ, когда ходитъ къ начальству съ пробой, обсказываетъ ему разныя ябеды на арестантовъ.

— Вы въ своемъ умѣ, Юхоревъ?!.

— Не безпокойтесь. Вы сказали Огурцову, что я просилъ начальника убрать его съ кухни, какъ лѣниваго и супротивнаго мнѣ человѣка.

На минуту я почувствовалъ себя ошеломленнымъ, подавленнымъ. Смутно я припомнилъ, что, дѣйствительно, было нѣчто подобное!.. Чуть-ли еще не за полгода до этого времени, Лучезаровъ въ одной изъ бесѣдъ со мною у себя въ конторѣ сказалъ:

— Въ тюрьмѣ только и осталось теперь два настоящихъ богатыря — Юхоревъ да Огурцовъ. Ихъ слѣдовало бы, собств

въ рудникъ отправить, но и на этихъ мѣстахъ они очень нужны. А кстати, какого вы объ нихъ мнѣнія?

— Ничего, добрые, кажется, малые,—отвѣчалъ я уклончиво.

— Въ Юхорева, откровенно скажу вамъ, я просто влюбленъ: этакій молодчинища на видъ! Да и уменъ бестія. Но вотъ на Огурцова онъ все жалуется: очень лѣнивъ и затѣваетъ свары на кухнѣ.

Признаюсь, эти слова въ то время непріятно поразили меня: до тѣхъ поръ я не думалъ, чтобы Юхоревъ въ борьбѣ съ противниками не прочь былъ прибѣгнуть и къ наушничеству. Какъ разъ въ тотъ же день Огурцовъ подошелъ ко мнѣ и началъ жаловаться на то, что въ послѣднее время Шестиглазый все къ нему придирается, бранитъ за лѣность и грозитъ карцеромъ. Парень казался такъ искренно огорченнымъ и недоумѣвающимъ, что я почувствовалъ все былое расположеніе къ нему и для чего-то сказалъ:

— Я бы могъ назвать вамъ человѣка, который вредитъ вамъ, да боюсь, вы разболтаете...

Огурцовъ закрестился обѣими руками и сталъ божиться, что будетъ нѣмъ, какъ могила.

Какой смыслъ, какая цѣль была сообщать ему объ моемъ разговорѣ съ Лучезаровымъ? Разумѣется, это было въ высшей степени глупо, но бываютъ иногда въ жизни сумасшедшія минуты, и я назвалъ Огурцову Юхорева. Назвалъ—и сейчасъ же понялъ, какую непростительную безтактность сдѣлалъ, но вернуть сказанное было уже невозможно. Тщетно старался я, по возможности, смягчить вину Юхорева, придать ей характеръ шутки, допустить даже ложь со стороны браваго капитана,—Огурцовъ твердилъ одно:

— Нѣтъ, это не ложь... Такъ вотъ гдѣ сука-то кроется! Я такъ вѣдь и думалъ.. Ну, укараулю жъ и я стервину, не прощу!

Мнѣ оставалось заставить Огурцова еще разъ возвести глаза къ небу и подтвердить торжественной клятвой, что онъ будетъ молчать и имени моего никогда не коснется въ своихъ стычкахъ съ Юхоревымъ, и я ушелъ, продолжая проклинать въ душѣ свою откровенность. Такъ прошло полгода, и я забылъ совсѣмъ объ этой исторіи, считая ее навѣки похороненной.

— Огурцова, Огурцова сюда, на очную ставку! — съ дикимъ торжествомъ заголосили Быковъ, Шматовъ и другіе благожелатели Юхорева.

Кто-то побѣжалъ въ кухню за Огурцовымъ. Я обдумывалъ

планъ дѣйствій. Дѣло запутывалось самымъ отвратительнымъ образомъ. Конечно, я могъ бы разсказать теперь же, при всей сходкѣ, то, что сообщилъ нѣкогда Огурцову, но нѣкоторыя съ быстротой молніи мелькнувшія въ головѣ соображенія подсказывали, что лучше не дѣлать этого. Въ самомъ дѣлѣ, какія я могъ привести доказательства? Не сказалъ ли бы мнѣ Юхоревъ съ товарищами: „А! такъ ты разговариваешь съ начальствомъ объ арестантахъ? Какъ же ты послѣ этого не фискалъ?“ А что сказалъ бы самъ Лучезаровъ, если бы узналъ когда нибудь, что я передалъ кобылкѣ конфиденціально брошенную имъ мнѣ фразу? Я ждалъ, поэтому, прихода Огурцова съ понятнымъ волненіемъ. Онъ не скоро явился на зовъ. Вошелъ онъ въ камеру неохотной, грузной походкой, флегматичный, заплывшій жиромъ, въ бѣломъ кухонномъ фартукѣ и съ высоко засученными рукавами.

— Огурцовъ, правда ли, будто я говорилъ вамъ про Юхорева, что онъ сплетничаетъ на васъ начальнику?

Минута молчанія, послѣдовавшая за этимъ вопросомъ, показалась мнѣ вѣчностью.

— А зачѣмъ вамъ говорить мнѣ, когда я самъ это хорошо знаю? — медлительно пробасилъ, наконецъ, Огурцовъ, окинувъ своего врага съ ногъ до головы ненавистнымъ взглядомъ.

У меня отлегло отъ сердца: не выдалъ меня Огурцовъ!..

— Что ты знаешь, волчій ротъ?—подскочилъ къ нему Юхоревъ со стиснутыми кулаками.

— Самъ сучій ротъ!—отвѣчалъ молодой геркулесъ, въ свою очередь приближаясь къ лицу противника,—аль ты не знаешь, что у меня тоже кулакъ здоровый? Одному этакому живо брюшину выпущу.

— Да развѣ-жъ ты не сказывалъ Мишкѣ Биркину про Ивана Николаевича?—съѣхалъ Юхоревъ на болѣе удобную для себя позицію, сразу понижая тонъ.

— Ничего не сказывалъ.

— Мишка! Эй, Собачья Почта!—заревѣлъ Юхоревъ, оглядываясь по всѣмъ сторонамъ, какъ разъяренный тигръ, ищущій добычи.

— Эге!—откликнулся юркій Мишка, норовившій уже, было, шмыгнуть за дверь.

— Что тебѣ сказывалъ Огурцовъ?

— Да что ты, молъ... на мѣсто его другого хлѣбопека хочешь просить у начальника.

— Не про то, сволочь, спрашиваютъ тебя! Это-то я самому Огурцову въ глаза говорилъ... А что сказывалъ ему Николаичъ?

— Ты, можетъ, звѣзды тогда на потолкѣ считалъ, когда я тебѣ сказывалъ про это?—спросилъ и Огурцовъ, тоже подступая къ Мишкѣ:—а то, можетъ, хочешь, чтобъ я ребра тебѣ хорошенько посчиталъ?

Несчастный Звѣздочетъ завертѣлся между двухъ огней; для меня было очевидно, что Огурцовъ не сберегъ-таки довѣренной ему мною тайны и, дѣйствительно, что-то сболтнулъ Биркину, но что теперь онъ готовъ пустить въ ходъ свои дюжіе кулаки, лишь бы только хоть какъ-нибудь оправить себя въ моихъ глазахъ, и перспектива отвѣдать этихъ знаменитыхъ кулаковъ мало улыбалась его легкомысленному конфиденту.

— Такъ называлъ онъ тебѣ Миколаича, аль нѣтъ?—бѣсился передъ Биркинымъ не менѣе грозный Юхоревъ.

— Да давно вѣдь было это, Юхоревъ... запамятовалъ я!—весь красный, какъ ракъ, взмолился трусливый Мишка.

Стальная рука Юхорева схватила его во мгновеніе ока за шиворотъ, приподняла, встряхнула раза два и вышвырнула за дверь камеры. Кобылка разразилась хохотомъ, а Юхоревъ неистовой бранью. Быстрыми шагами подошелъ онъ затѣмъ ко мнѣ и, протягивая руку, сказалъ:

— Ну, помиримтесь въ такомъ случаѣ, Николаичъ. Я повѣрилъ этой сволочи, Собачьей Почтѣ, которой одно надо—порядочныхъ людей стравливать. Теперь я вполнѣ вѣрю вамъ и прошу прощенья за поклепъ.

VII.

Герои новой партіи. — Открытіе Прони.

Смѣшанныя чувства волновали меня долгое время послѣ описанной исторіи. Тутъ было и досадное, въ высшей степени обидное сознаніе той жалкой роли, какая выпала на мою долю въ этой исторіи, и не менѣе горькое чувство попранной въ грязь любви къ несчастной, темной кобылкѣ, искренней готовности всегда и во всемъ отстаивать ея интересы. Да, нелегко было примириться съ мыслью, что *меня* поставили на очную ставку съ какимъ-нибудь Огурцовымъ или Мишкой Звѣздочетомъ, одинъ минутный капризъ, одно слово которыхъ могли поставить меня въ самое

позорное положеніе! На одну чашку вѣсовъ положили мое человѣческое достоинство, на другую—авторитетъ Юхорева и заставили съ сердечнымъ замираніемъ ждать, которая изъ этихъ двухъ чашекъ перетянетъ въ глазахъ судей-зрителей, и кому изъ насъ они вынесутъ обвинительный или оправдательный приговоръ! Созывая сходку, я, очевидно, разсчитывалъ въ глубинѣ души, что кобылка, какъ одинъ человѣкъ, подымется на мою защиту и выскажетъ Юхореву рѣзкое неодобреніе за взведенное на меня обвиненіе. Ничего подобнаго не случилось, однако. Ни одинъ голосъ не возвысился въ мою пользу; единственное, чего я дождался, это—что Огурцовъ не рѣшился открыто предать меня. Но и тутъ пришла мнѣ на помощь его мстительная ненависть къ Юхореву: не будь этой послѣдней, считай и онъ нужнымъ заискивать передъ общимъ старостой, развѣ тогда поступилъ бы такъ благородно этотъ чистокровный представитель шпанки? Кто поручился бы въ этомъ?..

Въ тотъ же день Чирокъ, не присутствовавшій на сходкѣ, говорилъ мнѣ таинственно въ банѣ, гдѣ онъ стиралъ бѣлье, и куда я случайно зашелъ:

— Хорошо мы знаемъ, Миколаичъ, что Юхоревъ глотъ. И то знаемъ, что онъ все, обвязательно все, что въ тюрьмѣ дѣлается, Шестиглазому переводитъ. А только никакъ нельзя намъ встать за тебя.

— Почему же нельзя?

— Эхъ, ровно дитё ты малое, право! Не знаешь развѣ арестантскихъ порядковъ? Вѣдь намъ житья не станетъ отъ иванóвъ скажутъ—махоркой да мясомъ купили васъ, продажныя души!..

Съ выраженіемъ подобнаго же тайнаго сочувствія подходили ко мнѣ и многіе другіе арестанты, какъ изъ старой, такъ и изъ новой партіи. Изъ этой послѣдней нѣсколько человѣкъ присутствовало даже на сходкѣ. Новички, еще полные ужасныхъ впечатлѣній этапнаго пути, а также слуховъ объ омерзительномъ пищевомъ режимѣ другихъ рудниковъ, повидимому, совершенно искренно недоумѣвали: какъ возможна такая черствая неблагодарность по отношенію къ людямъ, которымъ тюрьма столькимъ обязана?

— Помилуйте, да за такихъ людей надо вѣчно Бога молить, а не то чтобы что... Впереди сколько лѣтъ всяческихъ стязаній да постовъ предвидится; отъ цынги одной, какъ собак

подохнемъ безъ табачишку... А вы намъ помогу оказываете, заступниками въ кажинной бѣдѣ являетесь! Достаточно мы еще въ дорогѣ наслышаны; всюду вѣдь слухъ-то прошелъ: не люди, а прямо анделы небесные! Ну, да не печальтесь, господа. Наша партія все по новому передѣлаетъ. Мы этимъ глотамъ вашимъ, Юхоревымъ-то разнымъ, почирикать много не дадимъ... Набаловали вы ихъ шибко!

Такимъ искательнымъ языкомъ говорило вначалѣ большинство новоприбывшихъ. Отъ средняго типа старой партіи такого языка я давно уже не слыхалъ. Старые шелайскіе арестанты, „набалованные“ ли нашимъ деликатнымъ обращеніемъ, „просвѣщенные“ ли шестиглазовскимъ суровымъ режимомъ, держались болѣ горделиво и независимо, были въ высшей степени амбиціозны и чутки насчетъ охраны своего человѣческаго достоинства въ отношеніяхъ съ нами. И какъ только новую партію смѣшали со старой, разбивъ по всѣмъ девяти камерамъ, такъ этотъ независимый духъ сообщился сейчасъ же и большинству вновь пришедшихъ...

Въ новой камерѣ, куда переведены были мы съ Штейнгартомъ, очутилось съ нами шестеро новичковъ. Одинъ изъ нихъ, Струйскій по фамиліи, сынъ мелкаго чиновника, гдѣ-то когда-то учился и пришелъ въ каторгу за фальшивыя кредитки. Въ обращеніи съ нами онъ старался блеснуть книжными оборотами рѣчи, ужимочками и манерами якобы свѣтскаго пошиба, но за этой внѣшней полированностью скрывалось самое несосвѣтимое невѣжество и мелкая душонка. Завѣтнѣйшія помышленія этого человѣка вертѣлись около самой грубой и первобытной клубнички, и скоро даже среди арестантовъ онъ получилъ циничную кличку „любителя“. Струйскій тотчасъ же внесъ въ камеру такую зловонную атмосферу словесной распущенности, что мы съ Штейнгартомъ должны были то и дѣло ежиться, выслушивая эти безконечные скабрезные анекдоты. это грязное и извращенное остроуміе. Какъ разъ передъ появленіемъ „любителя“, въ нашей камерѣ составился въ этомъ отношеніи превосходнѣйшій подборъ обитателей. Однажды вечеромъ, когда публика была въ высшей степени благодушно настроена, Штейнгарту вздумалось предложить ей никогда не произносить, находясь подъ замкомъ, отъ вечерней до утренней повѣрки, ни одного площаднаго слова. „А кто провинится—тому банки!“—шутливо прибавилъ я... Вопреки

всякому ожиданію, камера приняла предложеніе съ восторгомъ... Къ чести большинства ея обитателей надо сказать, что оно и безъ того отличалось большой воздержанностью на языкъ и прибѣгало къ циничной ругани лишь въ самыхъ исключительныхъ случаяхъ. Предложеніе было поэтому направлено, главнымъ образомъ, противъ Чирка. Онъ тотчасъ же зачесался по всѣмъ направленіямъ тѣла, что было у него всегда признакомъ сильнаго волненія, и заговорилъ жалобно:

— И хитрые жъ вы, братцы, я погляжу! Сами знаете, что я безъ этого слова жить не могу... Вамъ-то легко отвыкнуть, а мнѣ, значитъ, кажный день банокъ придется отвѣдывать? Нѣтъ, я не согласенъ!

И съ языка его тутъ же сорвалось запретное выраженіе... Тогда Сохатый, Луньковъ, Ногайцевъ, Желѣзный Котъ, Медвѣжье Ушко и другіе кинулись на него всей оравой и отрубили такія здоровыя „банки“, что злополучный Чирокъ оралъ не своимъ голосомъ и клялся и божился, что станетъ впередъ остерегаться... И точно, хотя ему и чаще другихъ приходилось получать банки, но онъ началъ съ этихъ поръ, насколько могъ, „остерегаться“, и камера наша сдѣлалась прямо образцовой по сдержанности на языкъ. Случалось, что усердные ревнители нравственности отрубали банки даже случайно заходившимъ къ намъ обитателямъ чужихъ камеръ...

И вотъ, вся эта воздержанность пошла прахомъ съ появленіемъ шестерыхъ новичковъ, ни образъ мыслей которыхъ, ни характеръ, ни внутренняя цѣнность рѣшительно никому не были извѣстны. Аборигены тюрьмы, не успѣвшіе еще сблизиться съ новыми товарищами, не только не останавливали ихъ, но и сами начали опять мало-по-малу заражаться дурнымъ примѣромъ: снова загремѣла кругомъ кабацкая брань, снова нравственная атмосфера сдѣлалась душной и нестерпимо-смрадной. Что касается „любителя“ Струйскаго, то онъ, казалось, и не замѣчалъ того, что мы съ Штейнгартомъ чувствуемъ себя въ его обществѣ отвратительно, и продолжалъ то и дѣло вступать съ нами въ бесѣды, при чемъ держался самымъ галантнымъ и утонченно вѣжливымъ, на его взглядъ, образомъ. Но разъ вечеромъ, когда, только что разсказавъ громогласно одинъ изъ своихъ безчисленныхъ сальныхъ анекдотовъ, онъ подошелъ съ самымъ развязнымъ видомъ къ нашимъ нарамъ и задалъ Штейнгарту какой-то во-

просъ, послѣдній поднялся, весь дрожа отъ негодованія, и крикнулъ:

— Прочь отъ меня... Не смѣйте никогда больше со мной разговаривать!

Не ожидавшій подобнаго афронта Струйскій опѣшилъ. Страшно поблѣднѣвъ и весь съежившись, онъ принялъ вдругъ самый плачевный видъ.

— Дмитрій Петровичъ, да что же я такое сдѣлалъ?—забормоталъ онъ.

Штейнгартъ повернулся къ нему спиной.

— Я тебѣ, Струйскій, вотъ что скажу,—заговорилъ тогда Чирокъ,—Митрій Петровичъ и Иванъ Миколаичъ не любятъ этихъ самыхъ словъ. Не выноситъ, значитъ, душа, да и все тутъ! А ты такое, братъ, мелешь, что ужъ чего мой пермяцкій языкъ любитъ срамословить, а и мнѣ, скажу тебѣ, подчасъ муторно становится...

— Дуракъ ты этакій,—вступился и Сохатый не то серьезно, не то, по обыкновенію, иронизируя,—ты долженъ понимать, въ какую тюрьму попалъ и съ какими людьми обращенье теперь имѣешь. Ты думалъ, тутъ каторга, а на дѣлѣ тутъ ниверситетъ, и ты студентомъ долженъ понимать себя, вотъ что!

— У насъ банки отсѣкали до васъ кажному, кто только мать выругаетъ!—съ гордостью добавилъ Луньковъ.

— А вѣдь что-жъ, ребята, самое это разлюбезное дѣло!—сорвался вдругъ съ наръ плечистый мужчина съ мрачнымъ выраженіемъ краснаго, какъ морковь, угреватаго лица и маленькими рыжими усиками, Карасёвъ по фамиліи.—Я самъ смерть не люблю этой нашей дурной привычки... Давайте, братцы, и мы въ это согласіе вступимъ. Банки тому, сукиному сыну, кто хоть разъ помянетъ мать аль отца нехорошимъ словомъ!

И за этимъ энергичнымъ выкрикомъ онъ сдѣлалъ въ воздухѣ энергичное движеніе кулакомъ.

— Что, братъ Струйскій, заварилъ кашу?—захохоталъ другой арестантъ, спокойно лежащій на нарахъ. Онъ давно уже производилъ на меня крайне непріятное впечатлѣніе своими наглыми свѣтлосѣрыми глазами, постоянно, точно у волка, оскаленными, бѣлыми, какъ слоновая кость, зубами и всѣмъ своимъ лицомъ, тоже ослѣпительно-бѣлымъ и прекрасно упитаннымъ. Рядомъ съ этимъ антипатичнымъ, развязнымъ блондиномъ, фамилія котораго была Тропинъ, лежалъ четвертый изъ новичковъ, худощавый брю-

нетъ съ длинными усами и прямымъ, острымъ носомъ; темные глаза его въ глубокихъ впадинахъ смотрѣли пронзительнымъ и почти дикимъ взглядомъ. Этотъ не проронилъ пока ни одного слова.

Струйскій по прежнему стоялъ возлѣ нашихъ наръ, повѣсивъ голову и имѣя самый виноватый видъ.

— Я что же... Я, какъ всѣ, господа,—продолжалъ онъ оправдываться,—противъ общества я никогда не пойду. Я даже очень буду радъ... Конечно, глупая привычка наша всему причиной... Къ тому же, иные настоящіе господа очень даже сами одобряютъ крѣпкое слово... Приходилось мнѣ и порядочное общество тоже видать... Но ежели вашъ характеръ иного рода, такъ простите великодушно, я не зналъ вѣдь...

Несчастный „любитель“ имѣлъ очень комичный видъ въ своей растерянности.

— Больше, значитъ, не будете?—сурово спросилъ его Штейнгартъ.

— Прямо языкъ себѣ позволю отрѣзать!—обрадовался Струйскій:—прямо вотъ принесу ножикъ, подамъ въ руки и скажу: рѣжьте, Дмитрій Петровичъ, заслужилъ!

— Ну, надо, значитъ, въ другую камеру проситься, а съ барами намъ не житье! — гнѣвно произнесъ вдругъ худощавый, врачный брюнетъ, поднявшись съ наръ. И, громко брякая кандалами и стуча сапогами, онъ сталъ расхаживать взадъ и впередъ по камерѣ, крутя одной рукой усы и исподлобья бросая въ нашъ уголъ злые, пронизывающіе взгляды.

— Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Молодчинища Стрѣльбицкій, славно, братъ, отбрилъ!—залился веселымъ смѣхомъ Тропинъ, перевалившись съ одного бока на другой и скаля острые, бѣлые зубы.

— Дичь вы необразованная, еловая дичь!—ядовито бросилъ въ сторону ихъ обоихъ Карасёвъ, тотъ мужчина съ угреватымъ краснымъ лицомъ, который вызвался передъ тѣмъ вступить въ „согласіе“.

Я давно уже замѣчалъ, что въ этомъ человѣкѣ, работалъ ли онъ, отдыхалъ ли, разговаривалъ ли съ кѣмъ, вѣчно, казалось, бурлило и клокотало тайное недовольство, злость на кого-то или обида на что-то. Вѣчно онъ на что-нибудь ворчалъ, проклиналъ то начальство, то арестантовъ, то самого себя. Когда же не было повода къ чему либо придраться, онъ упорно молчалъ по цѣлымъ часамъ, угрюмо насупившись, съ налитыми кровью глазами безъ рѣсницъ, съ подозрительно насторожившимся видомъ, точно зор

выжидая и выслѣживая, гдѣ бы и въ чемъ бы уловить хоть тѣнь обиды себѣ и оскорбленія. Очевидно, это былъ человѣкъ изъ породы тѣхъ самогрызуновъ, недалекихъ, безпричинно злобныхъ и сварливыхъ, которые умѣютъ дѣлать несчастными и себя самихъ, и всѣхъ окружающихъ ихъ людей. Когда на Карасева находили, случалось, порывы добросердечія, то въ нихъ было что-то неестественное, слащаво-сантиментальное, и, конечно, порывы эти были всегда крайне мимолетны и оканчивались сугубой бранью съ сожителями... Такъ, въ настоящую минуту онъ всталъ ни съ того, ни съ сего на защиту благопристойности и съ гнѣвомъ обрушился на двухъ товарищей, заявившихъ себя ея противниками.

— Ты, что-ль, образованный-то?—захохоталъ пуще прежняго Тропинъ, приподнимая на локтѣ свое нахальное лицо.—Я, по крайности, грамотный, а ты-то до сегодня вѣдь полагалъ, что книжку замѣсто сахару съ чаемъ прикусываютъ! Недаромъ и фамилія твоя Карасевъ: караси вѣдь всѣхъ рыбъ глупѣе, братцы.

Кровь такъ и ударила въ лицо Карасеву.

— А твоя кака фамилія?—весь дрожа отъ злости и тщетно ломая голову, какой бы сокрушительный отвѣтъ придумать, спросилъ онъ, подступая кошачьими шагами къ нарамъ противника,— ты кто такой будешь? Тропинъ?

— Ну, Тропинъ. А все-жъ не Карасевъ. Завтра, захочу, Скатертевымъ буду, а все-жъ не Карасевымъ!

Карасёвъ, видимо, былъ окончательно ошеломленъ этимъ непонятнымъ для него остроуміемъ и нѣсколько мгновеній стоялъ, какъ очумѣлый, не зная, что возразить. И вдругъ, подумавъ, раскатился такой отборной, трехъэтажной кабацкой руганью, къ какой рѣдко прибѣгали и самые лучшіе тюремные вйртуозы! Кобылка, какъ одинъ человѣкъ, покатилась со смѣху; не выдержалъ даже мрачный Стрѣльбицкій, все время шагавшій по камерѣ.

— Ай, да монахъ! Только что въ монахи поступить собирался... Ну, и удружилъ же! Молодчага!

Карасёвъ окончательно потерялся.

— А чего жъ онъ говоритъ мнѣ глупости?—какъ бы оправдываясь, заговорилъ онъ охрипшимъ голосомъ, — я и самъ могу вѣдь наговорить глупостей...

И долго еще въ такомъ родѣ шла между новичками перебранка, пока всѣ не улеглись, наконецъ, спать. Не помню ужъ, въ какой связи, поздно вечеромъ, Стрѣльбицкій разсказалъ Тро-

пину, лежа съ нимъ рядомъ на нарахъ, одну страшную исторію изъ своего далекаго прошлаго. Начала этой исторіи я не слышалъ: должно быть, Стрѣльбицкій повѣствовалъ о своихъ разбойничьихъ похожденіяхъ гдѣ-то на югѣ Россіи. Шайка ихъ была переловлена, и озлобленные крестьяне-хохлы посадили троихъ главарей, въ томъ числѣ и Стрѣльбицкаго, въ холодный погребъ.

— Ну, вотъ посадили. И помни, въ однѣхъ рубахахъ, со связанными руками, ногами! Глядимъ вокругъ — темно, ледъ. Холодно—страсть. „Что-жъ, братцы, видно, помирать надо“,—говоримъ промежъ себя. Помирать—такъ помирать! Стараемся уснуть, жмемся другъ къ дружкѣ; зубъ на зубъ не попадетъ. Вдругъ ночью огни. Много народу, слышимъ, идетъ. „Бить ихъ, мерзавцевъ!“ Ну, бѣда пришла. Ввалилась орава. Лупили, я тебѣ скажу, такъ, что еле живыхъ оставили. Однако, на смерть не убили. А что-жъ, ты думаешь, сдѣлали? Привѣсили за веревку, которой руки за спиной были скручены, къ балкѣ, вылили на каждаго по ведру воды и ушли. Заледенѣли мы всѣ... Ну, вотъ какъ сосульки бываютъ зимой, съ крышъ висятъ... И такъ, братецъ ты мой, кажинный день по часу, по два стали мы висѣть: выльютъ на насъ по ведру воды и привяжутъ. А разъ, помню, цѣлыя сутки такъ продержали.

— Да какъ же вы не померли? Вѣдь это насмóку какую, братъ, схватить было можно?

— Тутъ ужъ не до насмоки. Всѣ трое голосу совсѣмъ лишились, а одинъ въ горячкѣ и померъ скоро. Другой товарищъ безъ голосу на всю жизнь остался, а у меня послѣ отошло.

— Ну, и долго такъ держали васъ въ погребу?

— Да почти шесть недѣль.

— Ну, врешь?!

— Ничего не вру. Ты, братъ, не знаешь еще этихъ хохловъ! Такихъ другихъ варваровъ свѣтъ не создавалъ.

Но, возмущаясь варварствомъ палачей-хохловъ, собесѣдники и не думали, повидимому, вспомнить о варварствахъ самого разсказчика, которыми была вызвана эта свирѣпая расправа. Я давно уже привыкъ къ такому одностороннему гуманизму своихъ сожителей; тѣмъ не менѣе, услышанный разсказъ, въ которомъ чуя[я] правда, обратилъ мое вниманіе на Стрѣльбицкаго: у чел[овѣка] прошедшаго такую школу,—невольно думалось мнѣ,— ск[олько]

въ душѣ много мрака и ненависти, и долженъ быть гордый, непреклонно-сильный характеръ...

Что касается Струйскаго, то на него описанная исторія повліяла почему-то самымъ благотворнымъ образомъ: онъ не только пересталъ срамословить, но и вообще какъ-то затихъ и совершенно стушевался въ камерѣ. Его прежнюю роль взялъ на себя Тропинъ, которому, видимо, страшно нравилось доставлять мнѣ и Штейнгарту возможно больше непріятностей. Струйскій, бывало, только разсказывалъ грязные анекдоты, онъ же теперь старался размазывать ихъ, всячески изукрашивать, варіировать и смаковать. И оборвать такого человѣка, подобно тому, какъ Штейнгартъ оборвалъ Струйскаго, было немыслимо: это значило бы пойти на крупный скандалъ, въ которомъ несомнѣнно принялъ бы участіе и озлобленный товарищъ Тропина — Стрѣльбицкій. Оба они еще съ первыхъ же дней свели дружбу съ Юхоревымъ и все свободное отъ работы время неразлучно гуляли вмѣстѣ по тюремному двору.

Въ тотъ самый день, какъ произошло примиреніе мое съ Юхоревымъ, послѣдній прибѣжалъ и торжественно заявилъ:

— Иванъ Николаевичъ! Мы съ товарищами по прежнему будемъ брать табакъ и пользоваться мясомъ. Миръ — такъ ужъ, значитъ, миръ въ полной формѣ!

Это было сказано такимъ тономъ, точно мнѣ сообщалась огромная радость, и дѣлалось великое одолженіе... Однако, я тогда же почувствовалъ, что миръ этотъ былъ довольно неискренъ и непроченъ, такъ, какъ вызванъ былъ, главнымъ образомъ, необходимостью для Юхорева самому выпутаться какимъ-либо искуснымъ маневромъ изъ неловкаго, двусмысленнаго положенія, въ какое онъ попалъ на сходкѣ. Вся клика, дѣйствительно, по прежнему стала принимать нашу махорку и ѣсть въ постные дни скоромную пищу, но въ отношеніяхъ ея съ нами не переставала чувствоваться напряженность и натянутость. Изъ новой партіи тотчасъ же выдѣлились элементы, которые быстро съ ней снюхались и заключили оборонительный и наступательсоюзъ: главарями ихъ были Тропинъ и Стрѣльбицкій.

Но первый изъ этой достойной парочки заслуживаетъ того, чтобы на немъ нѣсколько подольше остановиться. Подобно Сокольцеву, Тропинъ былъ софистъ по натурѣ, но софистъ совсѣмъ въ другомъ родѣ, софистъ-мучитель, находившій величайшее

наслажденіе въ возможности (если нѣтъ случаевъ мучить кого-либо физически) терзать чью-нибудь душу, мочалить чьи-либо нервы, наконецъ, кощунствовать и издѣваться надъ признанной всѣми святыней. Отчаянный болтунище, онъ по цѣлымъ вечерамъ ораторствовалъ, напр., на тему, о томъ, что честность—вздоръ и одно лицемѣріе, что и всѣ тѣ, кто ее проповѣдуетъ, если не тупоумные дураки вродѣ крестьянъ, то въ глубинѣ души первостатейные подлецы и негодяи, богатые люди, живущіе на чужой счетъ, чужимъ трудомъ и потомъ. Прочитавъ когда-то какой-то романъ изъ жизни іезуитовъ, Тропинъ пропагандировалъ теперь устройство такого мошенническаго ордена, который покрылъ бы своей сѣтью всю Россію и сталъ бы неодолимой силой. Путаница понятій въ этихъ дикихъ мечтахъ была полнѣйшая!

Вступать съ Тропинымъ въ какой-нибудь споръ было совершенно безцѣльно, такъ какъ все, что имъ говорилось, говорилось намѣренно, изъ желанія позлить меня со Штейнгартомъ, вывести изъ себя. И Штейнгартъ, дѣйствительно, выходилъ иногда изъ терпѣнія, схватывался съ нимъ, пытался пристыдить, урезонить. Но это только еще больше поджигало безстыднаго человѣка, и я предпочиталъ бороться съ нимъ убивающимъ презрѣніемъ.

Но какая, — спроситъ читатель,—была, собственно, причина его ненависти къ намъ, къ людямъ, отъ которыхъ онъ пользовался матеріальной выгодой и передъ которыми, казалось бы, долженъ былъ и въ силу своей дешевой натуришки скорѣе заискивать и пресмыкаться? Я думаю, одна только причина—пожирающая скука, страшное раздраженіе противъ образцовой каторжной тюрьмы, далеко уже славившейся среди арестантовъ „просвѣщенностью“ своихъ обитателей. Не меньше, чѣмъ мнѣ съ Штейнгартомъ, досаждалъ онъ и бравому капитану почти ежедневными приставаніями—перевести его въ другой рудникъ. Излагалъ онъ эти просьбы также въ высшей степени развязно и даже нахально, принимая, впрочемъ, видъ не то простофили, не то юродиваго и тѣмъ оставляя себѣ лазейку спасенія отъ наказанія за дерзость.

— Господинъ начальникъ,—начиналъ онъ одну изъ такихъ волынокъ,—у меня носъ проваливается.

— Что такое?—удивленно поднималъ голову великолѣпный капитанъ.

— У меня, знаете, сифилисъ, и очень даже сердитый сифилисъ: я здѣсь всѣхъ арестантовъ, а, можетъ, и самихъ надзирателей, навѣрное, перезаражу. Каждый день у меня то въ одномъ, то въ другомъ мѣстѣ прыщъ вскочитъ.

— Такъ ступай къ фельдшеру, въ больницу!

— Фершалъ говоритъ, что у него нѣтъ для такихъ больныхъ коекъ. А у меня, я правду вамъ сказываю, господинъ начальникъ, носъ скоро провалится...

— Чортъ знаетъ, братецъ! Другой я носъ, что ли, тебѣ приставлю? Чего ты ко мнѣ съ носомъ лѣзешь?

И, съ отвращеніемъ покручивая собственнымъ органомъ обонянія, Лучезаровъ, какъ бомба, вылеталъ изъ камеры въ коридоръ. Тропинъ же, нагло скаля зубы, подходилъ къ нашимъ нарамъ и, не обращая вниманія на то, что мы не разъ заявляли ему о своемъ нежеланіи имѣть съ нимъ какое-либо дѣло, начиналъ повѣствовать моему товарищу о своей болѣзни. При всей своей непріязни къ намъ, формально онъ не переставалъ быть вѣжливымъ, говорилъ „вы“ и не иначе обращался, какъ со словами „Иванъ Николаевичъ“, „Дмитрій Петровичъ“, или „господинъ Штенгоръ“.

— Я читалъ гдѣ-то, господинъ Штенгоръ,—не знаю, правду ли, нѣтъ ли,—что въ настоящее время уже двѣ трети человѣческаго рода заражено сифилисомъ, и самое лучшее будетъ, если и остальная треть возможно скорѣй заразится. Тогда, будто бы, болѣзнь сама собой прекратится. Значитъ, я такъ полагаю, что болѣзни этой не только стыдиться нечего, но гордиться ею слѣдуетъ.

Прошлое Тропина, двадцатилѣтняго каторжанина (рецидивиста и, кажется, оффиціально извѣстнаго подъ ложной фамиліей) было въ арестантскомъ смыслѣ не изъ серьезныхъ. Началъ онъ свою тюремную карьеру въ качествѣ самаго обыкновеннаго жулика изъ тѣхъ южныхъ „раклòвъ“, какими особенно славится городъ Николаевъ, мѣсто его родины. Не знаю, гдѣ научился онъ грамотѣ и гдѣ нахватался тѣхъ книжныхъ верхушекъ, знаніемъ которыхъ, несомнѣнно, превосходилъ большинство шелайскихъ обитателей. Если и были среди нихъ люди, не меньше его читавшіе и даже кончившіе курсы уѣздныхъ училищъ и прогимназій, то Тропинъ, уступая имъ въ чисто внѣшней полированности, грубостью своей напоминая скорѣе невѣжественнаго простолюдина, былъ за то выше

ихъ всѣхъ по природному уму, гибкому, цинично-изворотливому, пропитанному всякаго рода софистическимъ ядомъ. Быть можетъ, это былъ единственный экземпляръ изъ всѣхъ когда-либо видѣнныхъ мною подонковъ отверженнаго міра, относительно котораго я затруднился бы сказать: есть ли у него въ сокровеннѣйшей глубинѣ души, въ той глубинѣ, которая и самому обладателю ея лишь смутно извѣстна, хоть что-нибудь святое и завѣтное? У Семенова, напримѣръ, было въ высшей степени развито чувство какого-то особеннаго, мрачнаго и, пожалуй, даже страшнаго человѣческаго достоинства, чувство своеобразной арестантской чести и товарищества; что-то въ этомъ же родѣ было, несомнѣнно, и въ Юхоревѣ, и въ Сокольцевѣ, и въ другихъ крупныхъ представителяхъ каторжнаго міра; но у Тропина, мнѣ кажется, ничего не было, кромѣ голаго, откровенно-циничнаго эгоизма, для удовлетворенія котораго онъ не остановился бы, вѣроятно, ни передъ какой гнусностью, ни передъ какимъ злодѣйствомъ. Впрочемъ, къ этому слѣдуетъ прибавить, что онъ производилъ, при всей своей развязности и нахальствѣ, впечатлѣніе страшнаго труса, способнаго ныть и плакать отъ порѣза пальца. Я уже упоминалъ о томъ, что, ведя себя дерзко и иногда прямо нахально съ надзирателями и самимъ Шестиглазымъ, нерѣдко попадая за это даже въ темный карцеръ, онъ никогда не переходилъ, однако, границъ, за которыми начиналось бы явное преступленіе. Той же политики онъ держался, вѣроятно, и на волѣ, т. е. не шелъ, подобно другимъ преступникамъ, напроломъ, а старался дѣйствовать какими-нибудь скрытными изворотами, изъ-за угла или черезъ мелкихъ помощниковъ, самому себѣ оставляя всегда спасительную лазейку. Тропинъ, не скрывая отъ товарищей, громко, съ циничнымъ сарказмомъ надъ самимъ собой, говорилъ, что больше всего на свѣтѣ онъ боится веревки!.. Въ минуты самой обостренной борьбы съ Юхоревымъ я могъ любоваться и даже восхищаться этимъ человѣкомъ, какъ своего рода силой; но Тропинъ ни разу за все время нашего знакомства, ни на одно самое даже короткое мгновеніе, не умѣлъ внушить мнѣ ни малѣйшаго чувства симпатіи или сожалѣнія, и я боюсь, что, давая изображеніе этого молодца, сгустилъ нѣсколько мрачныя краски... Кто знаетъ, не былъ ли и здѣсь виною недостатокъ наблюдательности и вниманія съ моей стороны? Быть можетъ, другой, болѣе терпимый и безпристрастный глазъ сумѣлъ бы и въ Тропинѣ отыскать искру божію, безъ

которой какъ-то трудно представить себѣ разумное существо—человѣка... Но я описываю только то, что самъ видѣлъ и чувствовалъ.

Мишка Звѣздочетъ не переставалъ и послѣ извѣстной уже исторіи лебезить передо мною. Одной изъ его слабостей было, между прочимъ, изученіе заковыристыхъ иностранныхъ словъ, которыми онъ могъ щеголять передъ шпанкой, и онъ то и дѣло прибѣгалъ ко мнѣ или къ Штейнгарту съ вопросами.

— Ну, теперь Иванъ Николаевичъ, я уже знаю, что я—галантный и интеллигентный человѣкъ, индивидуй, либералъ, космополитъ и профессіональный астрономъ... А вотъ что еще мнѣ разъясните: что это такое инціадива?

И, едва успѣвъ удовлетворить свое любопытство, торопливо убѣгалъ куда-то по неотложнымъ дѣламъ.

— Охъ ты, Собачья Почта!—говорили ему вслѣдъ арестанты.

Но однажды, покруживъ такимъ образомъ нѣсколько разъ около Штейнгарта, прогуливавшагося вокругъ тюрьмы, онъ подошелъ къ нему и спросилъ съ обычнымъ беззаботнымъ видомъ:

— А скажите, пожалуйста, Дмитрій Петровичъ, для чего употребляется морфій?

Штейнгартъ объяснилъ. Затѣмъ онъ полюбопытствовалъ узнать, что такое опій, атропинъ, и какая разница въ дѣйствіи этихъ ядовъ на человѣка. Штейнгартъ вдругъ насторожился: всѣ эти яды имѣлись въ тюремной аптекѣ, и, кромѣ того, задавая свои вопросы, Мишка, противъ обыкновенія, чего-то внутренно волновался. Тревожное подозрѣніе мелькнуло у молодого врача, и онъ очень строго сталъ допрашивать Биркина о причинахъ его любознательности. Биркинъ окончательно растерялся и началъ, по арестантскому выраженію, крутить хвостомъ во всѣ стороны. Штейнгартъ, въ свою очередь, принялъ еще болѣе строгій тонъ и, наконецъ, добился отъ Мишки слѣдующаго признанія:

— Я боюсь, Дмитрій Петровичъ, какъ бы мнѣ не попасть въ бѣду... Я хочу бѣжать изъ больничныхъ служителей, да меня грозятся побить.

— Кто такой грозится побить? Что вы разсказываете?

— Наши иваны... У нихъ поддѣланъ ключъ къ аптекѣ, и они хотятъ, чтобъ я вошелъ туда ночью и взялъ эти самые яды.

— Ага, вотъ что. Ну, и мерзавцы же! Только знаете что, Биркинъ? Если вы не исполните ихъ просьбы, они только по-

бьютъ васъ немного, а, быть можетъ, и совсѣмъ не побьютъ. Не такая здѣсь тюрьма... Ну, а если исполните, тогда знайте, что вамъ не миновать висѣлицы, или, по крайней мѣрѣ, новой каторги. А вамъ вѣдь черезъ четыре мѣсяца на поселеніе выходить!

Мишка поблѣднѣлъ.

— Присовѣтуйте, что же мнѣ дѣлать?

— Скажите имъ, что въ аптекѣ нѣтъ этихъ ядовъ.

— Нельзя. Тропинъ самъ видѣлъ мертвую голову на ящикахъ. Онъ чуть не кажный вѣдь день къ фершалу лѣчиться ходитъ.

— Такъ вотъ что: я дамъ вамъ магнезіи или другихъ какихъ пустяковъ, а вы скажите имъ, что это и есть ядъ. Не станутъ же они на языкъ пробовать, подлецы этакіе.

Мишка, видимо, сильно обрадовался этому плану и, поблагодаривъ Штейнгарта за совѣтъ, быстро умчался.

Но Штейнгартъ былъ взволнованъ. Онъ долго совѣщался со мной и Башуровымъ, и мы не могли придти ни къ какому спасительному рѣшенію. Доносить Шестиглазому о безумной затѣѣ арестантовъ намъ не приходило, конечно, и въ голову; рекомендовать осторожность Землянскому, который такъ дружилъ съ Юхоревымъ и могъ въ концѣ концовъ лично выдать ему все, что угодно, особенно въ пьяномъ видѣ, было бы глупо. Я посовѣтовалъ товарищу при первомъ удобномъ случаѣ провѣрить количество имѣвшихся въ аптекѣ ядовъ и затѣмъ слѣдить не только за Биркинымъ, но и за самимъ Землянскимъ. Произвести, однако, такую провѣрку удалось не скоро.

Почти въ тотъ же день, когда происходилъ разговоръ съ Мишкой Звѣздочетомъ, Тропинъ подошелъ къ Штейнгарту при всей камерѣ и спросилъ съ обычной развязной улыбкой:

— Скажите, пожалуйста, Дмитрій Петровичъ, что это за штука такая атропинъ? Правда ли, будто отрава такая существуетъ, читалъ я въ какой-то книжкѣ?

Штейнгартъ поглядѣлъ ему пристально въ глаза и отчеканилъ:

— Дѣйствительно, есть такая штука. Первая буква этого слова *а* есть греческая частица, обозначающая отрицаніе: не нужно, молъ... И выходитъ, что *атропинъ* есть то, о чемъ и знать не нужно Тропину! Вотъ что это такое.

Тропинъ весело захохоталъ: казалось, ему ужасно понравилась остроумная шутка.

— Но зачѣмъ этимъ негодяямъ понадобился ядъ?—допрашивалъ меня всѣ эти дни негодующій Штейнгартъ.

— Ну, это-то я отлично понимаю, зачѣмъ,—объяснилъ я,—много разъ приходилось мнѣ слышать ихъ бесѣды на этотъ счетъ. Ядъ, хорошій, тонкій ядъ—это своего рода философскій камень алхимиковъ, о которомъ мечтаютъ всѣ эти Тропины, Юхоревы, Сокольцевы. Они думаютъ, что, имѣя такое оружіе, они будутъ всесильны и безнаказанно могутъ убивать и грабить.

— Такъ вы думаете, они для подвиговъ на волѣ, а не въ тюрьмѣ, хотятъ теперь раздобыть его?

— Я почти увѣренъ въ этомъ. Запасаются на далекое будущее. Да, впрочемъ, почему на далекое? Юхоревъ почти на дняхъ долженъ выйти въ вольную команду.

Между тѣмъ долгія прогулки Юхорева съ Тропинымъ, Стрѣльбицкимъ и другими по тюремному двору и какія-то тайныя совѣщанія продолжались ежедневно. Къ этому избранному обществу присоединялся иногда и Гнусъ-Шматовъ. Юхоревъ вскорѣ, дѣйствительно, долженъ былъ выйти въ вольную команду и, должно быть, торопился преподать своимъ ученикамъ уроки долгаго мошенническаго опыта. Въ одинъ прекрасный вечеръ имя его прочитали на повѣркѣ въ числѣ освобождаемыхъ на жительство внѣ тюрьмы: онъ забралъ свои вещи и тотчасъ же ушелъ за ворота. Признаюсь, я вздохнулъ не безъ тайнаго облегченія, думая, что никому другому изъ арестантовъ уже не удастся такъ искусно верховодить кобылкой, экономомъ, фельдшеромъ и самимъ Шестиглазымъ.

Была уже середина лѣта.

Въ тюрьмѣ наступила отрадная тишина, отдыхъ послѣ всѣхъ пережитыхъ треволненій. Все это время арестанты потѣшались надъ Шматовымъ-Гнусомъ, который вздумалъ по уши влюбиться въ одну изъ каторжныхъ сильфидъ и то и дѣло вертѣлся около воротъ, въ тайной надеждѣ увидѣть свою пассію. Надзиратели сначала заподозрили было Шматова въ какихъ-то жульническихъ планахъ и намѣреніяхъ, но скоро и они попали въ общій тонъ, слыша постоянныя насмѣшки кобылки надъ Гнусомъ.

— Гнусъ, а, Гнусъ? Да вѣдь она тебя, говорятъ, стряхиваетъ? Сказываетъ, что изъ тебя песокъ скоро посыплется...

— Ты бороду-то сбрѣй, дурачина,—гляди, какъ помолодѣешь?

— Ну, что и за Гнусъ у насъ, братцы! Одно слово любитель...

И вотъ, въ одно прекрасное утро вся тюрьма такъ и покатилась со смѣху: Гнусъ, дѣйствительно, сбрилъ бороду и, закрутивъ длинные усы, расхаживалъ по двору такимъ молодцомъ, словно ему было не больше двадцати лѣтъ... Каждый разъ, какъ растворялись ворота, и домашніе рабочіе, исполняя должность быковъ, ѣхали съ бочкой по воду, добровольно впрягался вмѣстѣ съ ними въ телѣгу и Гнусъ, чтобы хоть глазкомъ повидать свою красавицу, встрѣтивъ ее гдѣ-нибудь случайно за оградой. Самъ онъ, правда, никому не говорилъ этого, но болѣзненно ожирѣвшее лицо его съ большимъ носомъ, сопѣвшимъ не хуже паровика, и оскаленными гнилыми зубами, улыбалось такой блаженной и вмѣстѣ лукавой улыбкой, что арестанты хватались въ порывѣ веселости руками за бока. Изрѣдка только Шматовъ гнусавилъ:

— Завидно, небось, подлецы?

— Ну, а коли она, Гнусъ, записку тебѣ пришлетъ, какъ ты ее читать будешь?

— Найду такихъ—прочтутъ.

— Да вѣдь перевруть сучьи дѣти!

Долго не давали такимъ образомъ Шматову проходу не только товарищи-арестанты, но и надзиратели, скучавшіе не меньше ихъ и тоже искавшіе предлога позубоскалить. Исключеніе представлялъ одинъ только Проня, „живая смерть“, точно манекенъ въ дни своего дежурства ходившій по тюрьмѣ, дѣйствуя во всемъ „согласно инструкціи“, молчаливый, педантичный и подозрительный. Онъ не смѣялся, подобно другимъ, надъ Шматовымъ, и я не разъ замѣчалъ, идя въ кухню за кипяткомъ, какъ онъ, усѣвшись на главномъ тюремномъ крыльцѣ, искоса наблюдаетъ за гуляющимъ тутъ же, вдоль фасада тюрьмы, Гнусомъ и какъ-то особенно при этомъ навостряетъ свои рысьи ушки и глазки, несмотря на то, что Гнусъ съ своей стороны усиленно заискиваетъ и то и дѣло заговариваетъ:

— Прокопій Филипповичъ, а вѣдь скоро, пожалуй, нашему начальнику подполковничій чинъ выйдетъ?

Или:

— А вѣдь вамъ, Прокопій Филипповичъ, набавка жалованья должна выйти? Пятилѣтіе-то ваше на дняхъ кончается, я слышалъ?

Но на гладко выбритомъ, худощаво-блѣдномъ лицѣ образцоваго надзирателя не вздрагиваетъ ни одинъ мускулъ. Онъ отвѣчаетъ

односложными, ничего незначущими словами и продолжаетъ свои ни для кого незамѣтныя, подозрительныя наблюденія. Но вотъ Гнусъ, нѣсколько разъ прогулявшись такимъ образомъ взадъ и впередъ съ заложенными за спину руками, быстрымъ движеніемъ повернулъ за уголъ тюрьмы и скрылся. Кажется, что въ этомъ особеннаго? Соскучился человѣкъ ходить по одному мѣсту и ушелъ. Но неподвижность статуи командора моментально соскакиваетъ съ Прони, и онъ, точно стрѣла, выпущенная изъ лука, бросается къ противоположному углу тюрьмы, какъ бы желая—тоже для моціона—обѣжать ее кругомъ.

Поиски и наблюденія каторжнаго Лекока не оказались безплодными, и въ одно мертвенно-тихое послѣобѣденное время, когда большинство арестантовъ, пользуясь короткимъ отдыхомъ, спало богатырскимъ сномъ, Проня-Живая Смерть сдѣлалъ важное открытіе, произведшее въ тюрьмѣ страшный переполохъ. Вынувъ половицу на одномъ изъ боковыхъ крылецъ тюрьмы, онъ нашелъ подъ ней цѣлый складъ вещей: массу лазаретнаго бѣлья, арестантскихъ бродней, рубахъ, рукавицъ и пр. Мало того: по данному имъ сигналу,—вскорѣ послѣ того, какъ кучка арестантовъ, съ Гнусомъ въ томъ числѣ, выходила за ворота тюрьмы въ огородъ поливать капусту,—въ одной изъ грядъ нашли, повидимому, только что зарытую часть того же больничнаго бѣлья. Немедленно явился въ тюрьму самъ бравый капитанъ, чуть не лопавшійся отъ гнѣвнаго прилива крови къ лицу, и, осмотрѣвъ крыльцо съ потайнымъ складомъ, приказалъ въ собственномъ присутствіи произвести во всѣхъ камерахъ повальный обыскъ. Обыскъ этотъ не далъ, однако, никакихъ новыхъ открытій.

— Я знаю главныхъ виновниковъ!—кричалъ Шестиглазый, грозясь заковать ихъ въ наручни и отдать подъ судъ.—Нѣтъ, мало суда: убью и отвѣчать не буду!

Но на дѣлѣ онъ, очевидно, не зналъ виновныхъ, а голыхъ подозрѣній, наученный прежними неудачными опытами, на этотъ разъ не рѣшился послушаться. Не былъ почему-то арестованъ даже Шматовъ, котораго Проня видѣлъ убѣгающимъ отъ крыльца, и всѣ репрессіи по отношенію къ тюрьмѣ ограничились тѣмъ, что снова было предписано надзирателямъ держать камеры подъ строжайшимъ запоромъ, никого не выпуская вонъ безъ самой крайней необходимости. Что касается Прони, то, вмѣсто ожидаемой похвалы и поощренія, онъ получилъ суровый окрикъ:

— А вы глупы! Надо было засаду устроить и поймать этихъ артистовъ съ поличнымъ.

И Лучезаровъ повернулся къ образцовому надзирателю спиной.

Еще слышно было въ растворенное окно кухни, какъ онъ грозился упечь подъ судъ фельдшера Землянскаго. Но и изъ этой угрозы ничего не вышло, такъ какъ фельдшеръ привелъ въ свою защиту какіе-то факты, свалившіе вину недосмотра на эконома, а послѣдній тоже какимъ-то образомъ выкрутился, и дѣло съ краденнымъ бѣльемъ такъ въ концѣ концовъ и заглохло.

Единственнымъ видимымъ послѣдствіемъ открытія Прони было то, что любовь Гнуса въ тотъ же день точно рукой сняло... Онъ пересталъ бродить подъ воротами тюрьмы и добровольно впрягаться въ водовозную телѣгу, пересталъ щеголять и только самодовольно скалилъ зубы, давая этимъ понять, какъ ловко водилъ онъ за носъ не только надзирателей, но и самихъ сожителей-арестантовъ.

— Ай, да и Гнусина!..—говорили послѣдніе, раздумчиво качая головами.

Втайнѣ поговаривали также (и, конечно, не безъ основанія), что складъ краденныхъ вещей принадлежалъ, въ сущности, Юхореву, а Шматовъ былъ не больше какъ его прислужникомъ-агентомъ. Послѣ выхода въ вольную комаиду главы товарищества, Гнусъ производилъ, будто бы, ликвидацію его дѣлъ и успѣлъ уже сплавить за ворота тюрьмы столько вещей, что открытіе Прони захватнло лишь жалкіе остатки былого величія...

VIII.

Недоразумѣнія продолжаются.—Вмѣшательство Шестиглазаго.

Попавъ въ вольную команду, Юхоревъ сразу утратилъ былое значеніе и обаяніе и превратилса въ самаго обыкновеннаго арестантя. Нажитыя въ тюрьмѣ деньги онъ очень скоро прокутилъ съ каторжными прелестницами и теперь долженъ былъ работать черную работу наравнѣ со всѣми вольнокомандцами. Такъ онъ и дотянулъ бы, конечно, свой небольшой срокъ и ушелъ бы на поселеніе, если бы, на бѣду, не „спутался“ съ Марьюшкой, служившей въ горничныхъ у браваго капитана. Кобылка поговаривала (она все знала!), что послѣдній самъ не совсѣмъ равноду-

шенъ къ здоровой, краснощекой арестанткѣ и наряжаетъ ее, какъ „барыню“; что касается Марьюшки, то наряды она, разумѣется, готова была принимать отъ кого угодно, не прочь была при случаѣ и вниманіемъ своимъ подарить кого угодно, но женское сердце ея не могло устоять противъ лихо закрученныхъ усовъ такого молодца, какимъ былъ Юхоревъ, не смотря на его сорокъ лѣтъ; да и къ тому же, онъ былъ „своимъ братомъ“, арестантомъ. Юхоревъ повадился ходить къ Марьюшкѣ въ гости, и какъ только Лучезаровъ куда-нибудь отлучался, въ домѣ поднимался цѣлый содомъ, игра на гитарѣ, пѣніе залихватскихъ пѣсенъ и всякаго иного рода веселье. Заставъ нѣсколько разъ Юхорева у себя въ кухнѣ, бравый капитанъ недовольно крутилъ носомъ и сердито предлагалъ бывшему своему любимцу идти въ казармы заниматься своимъ дѣломъ. Вытянувшись по солдатски, Юхоревъ отвѣчалъ „слушаю-съ!“—уходилъ и, пользуясь новой отлучкой начальника, опять оказывался въ его кухнѣ. Наконецъ, Шестиглазый запретилъ ему показываться здѣсь, подъ страхомъ возвращенія въ тюрьму.

Разъ ночью Лучезаровъ вернулся неожиданно изъ завода (откуда ждали его лишь къ вечеру слѣдующаго дня), неслышно подѣхалъ къ дому и, пославъ за надзирателями, отправился прямо въ кухню. Тамъ шелъ, по обыкновенію, дымъ коромысломъ. Заслышавъ знакомые шаги, Юхоревъ попытался было скрыться въ подполье, но поздно: великолѣпный Лучезаровъ уже стоялъ передъ нимъ лицомъ къ лицу съ гнѣвно раздувающимися щеками и ноздрями.

— Отправить немедленно этого артиста въ тюрьму!—коротко, но внушительно произнесъ онъ, и выросшіе, точно изъ-подъ земли, два дюжихъ надзирателя приготовились исполнить приказаніе.

— За что же, господинъ начальникъ?—взмолился Юхоревъ.

— За многое, за многое, братецъ, самъ знаешь.

— Работу я свою, кажется, сполняю еще почище другихъ, а что ежели повеселишься вечеркомъ...

— Я тебѣ дамъ повеселиться! Ты въ моемъ домѣ развратный притонъ завелъ... Прислугу мою совращаешь... И въ тюрьмѣ тоже, я знаю, чьи всѣ штуки были... Но я тебя до сихъ поръ покрывалъ, я къ тебѣ расположенъ былъ... И вотъ какой ты платишь мнѣ благодарностью! Теперь ты сгніешь въ тюрьмѣ! Не гляди, что твой срокъ почти на дняхъ кончается,—я сумѣю тебя въ новую каторгу послать.

Такимъ образомъ Юхоревъ не прожилъ и одного мѣсяца въ вольной командѣ. Попалъ онъ на этотъ разъ въ мою камеру. Когда, поздно ночью, загремѣлъ замокъ и распахнулась дверь, я подумалъ было, что пришли звать Штейнгарта къ кому-нибудь изъ его многочисленныхъ паціентовъ, и едва повѣрилъ глазамъ, увидавъ Юхорева съ вещами. Многіе изъ арестановъ тоже проснулись, зашевелились; начались разспросы и разсказы съ обычною бранью противъ закона, вѣры, Бога и особенно Шестиглазаго.

— Ну, и загнетъ же онъ мнѣ теперь салазки, попомнитъ Марьюшку!—говорилъ Юхоревъ, укладываясь спать.

Дѣйствительно, на другой же день Юхорева вызвали въ рудникъ, причемъ оказалось, что Лучезаровъ просилъ Монахова и Пѣтушкова назначить его на самую тяжелую работу. Но въ рудникѣ Шестиглазый не былъ хозяиномъ, и Юхорева заставили тамъ дѣлать то же самое, что дѣлали и остальные арестанты. При его желѣзныхъ мускулахъ не стоило большого труда выбурить полный урокъ, и онъ подолгу грѣлся на солнышкѣ, лежа на отвалѣ и болтая съ караулившѝми казаками, съ которыми почти со всѣми свелъ близкое знакомство въ короткое пребываніе на волѣ.

Возобновились и его дружескія прогулки и бесѣды въ тюремномъ дворѣ съ Тропинымъ, Стрѣльбицкимъ, Быковымъ и Шматовымъ. Не смотря на то, что онъ лишенъ былъ теперь всякой оффиціальной силы и власти, прежнее значеніе его все еще сказывалось въ тюрьмѣ. Онъ производилъ впечатлѣніе развѣнчаннаго короля, который спустился въ толпу бывшихъ своихъ подданныхъ, и тѣ все еще продолжаютъ и страшиться его, и ощущать былое обаяніе. Когда Юхоревъ хотѣлъ того, онъ и дѣйствительно умѣлъ быть по прежнему обаятельнымъ. Живо запомнилась мнѣ одна сцена. Было ненастное, холодное утро. Выгнавъ арестантовъ для повѣрки въ корридоръ, одинъ изъ самыхъ непопулярныхъ надзирателей, тотъ самый, котораго звали „Змѣиной Головой“, не торопясь производить намъ счетъ, спокойно расхаживалъ взадъ и впередъ передъ строемъ, весело болтая о чемъ-то съ другимъ дежурнымъ.

— Долго-ль еще стоять здѣсь будемъ?—раздался, наконецъ, изъ рядовъ покорной кобылки смѣлый возгласъ Юхорева.

— А столько, сколько захотимъ!—грубо отвѣтилъ Змѣиная Голова:—Кто тамъ ротъ разѣваетъ?

шенъ къ здоровой, краснощекой арестанткѣ и наряжаетъ ее, какъ „барыню“; что касается Марьюшки, то наряды она, разумѣется, готова была принимать отъ кого угодно, не прочь была при случаѣ и вниманіемъ своимъ подарить кого угодно, но женское сердце ея не могло устоять противъ лихо закрученныхъ усовъ такого молодца, какимъ былъ Юхоревъ, не смотря на его сорокъ лѣтъ; да и къ тому же, онъ былъ „своимъ братомъ“, арестантомъ. Юхоревъ повадился ходить къ Марьюшкѣ въ гости, и какъ только Лучезаровъ куда-нибудь отлучался, въ домѣ поднимался цѣлый содомъ, игра на гитарѣ, пѣніе залихватскихъ пѣсенъ и всякаго иного рода веселье. Заставъ нѣсколько разъ Юхорева у себя въ кухнѣ, бравый капитанъ недовольно крутилъ носомъ и сердито предлагалъ бывшему своему любимцу идти въ казармы заниматься своимъ дѣломъ. Вытянувшись по солдатски, Юхоревъ отвѣчалъ „слушаю-съ!“—уходилъ и, пользуясь новой отлучкой начальника, опять оказывался въ его кухнѣ. Наконецъ, Шестиглазый запретилъ ему показываться здѣсь, подъ страхомъ возвращенія въ тюрьму.

Разъ ночью Лучезаровъ вернулся неожиданно изъ завода (откуда ждали его лишь къ вечеру слѣдующаго дня), неслышно подѣхалъ къ дому и, пославъ за надзирателями, отправился прямо въ кухню. Тамъ шелъ, по обыкновенію, дымъ коромысломъ. Заслышавъ знакомые шаги, Юхоревъ попытался было скрыться въ подполье, но поздно: великолѣпный Лучезаровъ уже стоялъ передъ нимъ лицомъ къ лицу съ гнѣвно раздувающимися щеками и ноздрями.

— Отправить немедленно этого артиста въ тюрьму!—коротко, но внушительно произнесъ онъ, и выросшіе, точно изъ-подъ земли, два дюжихъ надзирателя приготовились исполнить приказаніе.

— За что же, господинъ начальникъ?—взмолился Юхоревъ.

— За многое, за многое, братецъ, самъ знаешь.

— Работу я свою, кажется, сполняю еще почище другихъ, а что ежели повеселишься вечеркомъ...

— Я тебѣ дамъ повеселиться! Ты въ моемъ домѣ развратный притонъ завелъ... Прислугу мою совращаешь... И въ тюрьмѣ тоже, я знаю, чьи всѣ штуки были... Но я тебя до сихъ поръ покрывалъ, я къ тебѣ расположенъ былъ... И вотъ какой ты платишь мнѣ благодарностью! Теперь ты сгніешь въ тюрьмѣ! Не гляди, что твой срокъ почти на дняхъ кончается,—я сумѣю тебя въ новую каторгу послать.

Такимъ образомъ Юхоревъ не прожилъ и одного мѣсяца въ вольной командѣ. Попалъ онъ на этотъ разъ въ мою камеру. Когда, поздно ночью, загремѣлъ замокъ и распахнулась дверь, я подумалъ было, что пришли звать Штейнгарта къ кому-нибудь изъ его многочисленныхъ паціентовъ, и едва повѣрилъ глазамъ, увидавъ Юхорева съ вещами. Многіе изъ арестановъ тоже проснулись, зашевелились; начались разспросы и разсказы съ обычною бранью противъ закона, вѣры, Бога и особенно Шестиглазаго.

— Ну, и загнетъ же онъ мнѣ теперь салазки, попомнитъ Марьюшку!—говорилъ Юхоревъ, укладываясь спать.

Дѣйствительно, на другой же день Юхорева вызвали въ рудникъ, причемъ оказалось, что Лучезаровъ просилъ Монахова и Пѣтушкова назначить его на самую тяжелую работу. Но въ рудникѣ Шестиглазый не былъ хозяиномъ, и Юхорева заставили тамъ дѣлать то же самое, что дѣлали и остальные арестанты. При его желѣзныхъ мускулахъ не стоило большого труда выбурить полный урокъ, и онъ подолгу грѣлся на солнышкѣ, лежа на отвалѣ и болтая съ караулившѝми казаками, съ которыми почти со всѣми свелъ близкое знакомство въ короткое пребываніе на волѣ.

Возобновились и его дружескія прогулки и бесѣды въ тюремномъ дворѣ съ Тропинымъ, Стрѣльбицкимъ, Быковымъ и Шматовымъ. Не смотря на то, что онъ лишенъ былъ теперь всякой оффиціальной силы и власти, прежнее значеніе его все еще сказывалось въ тюрьмѣ. Онъ производилъ впечатлѣніе развѣнчаннаго короля, который спустился въ толпу бывшихъ своихъ подданныхъ, и тѣ все еще продолжаютъ и страшиться его, и ощущать былое обаяніе. Когда Юхоревъ хотѣлъ того, онъ и дѣйствительно умѣлъ быть по прежнему обаятельнымъ. Живо запомнилась мнѣ одна сцена. Было ненастное, холодное утро. Выгнавъ арестантовъ для повѣрки въ корридоръ, одинъ изъ самыхъ непопулярныхъ надзирателей, тотъ самый, котораго звали „Змѣиной Головой“, не торопясь производить намъ счетъ, спокойно расхаживалъ взадъ и впередъ передъ строемъ, весело болтая о чемъ-то съ другимъ дежурнымъ.

— Долго-ль еще стоять здѣсь будемъ?—раздался, наконецъ, изъ рядовъ покорной кобылки смѣлый возгласъ Юхорева.

— А столько, сколько захотимъ!—грубо отвѣтилъ Змѣиная Голова:—Кто тамъ ротъ разѣваетъ?

Этотъ безсвязно-нелѣпый потокъ обвиненій встрѣчался глухимъ одобрительнымъ ропотомъ тѣснившейся вокругъ толпы. Въ сторонѣ стоялъ съ вызывающимъ видомъ самъ Юхоревъ; передъ нимъ патетически размахивалъ руками и громко о чемъ-то шипѣлъ Гнусъ-Шматовъ. Быковъ, выдаваясь изъ толпы своимъ блѣднымъ лицомъ скелета, рычащимъ басомъ тоже разсказывалъ какую-то исторію.

— Онъ меня хлѣбомъ своимъ попрекнулъ... Бурили въ штольнѣ... Онъ засадилъ буръ и зоветъ меня подсобить исправить. Я бъ и пошелъ—чего не подсобить? Да только говорю,—такъ себѣ, никакого зла на умѣ не имѣю: „охъ! свой-то урокъ у меня не конченъ еще“... А онъ какъ вдругъ выпалитъ: „Забыли нашу хлѣбъ-соль!“ Такъ вотъ они, ребята, каковы!

Послѣднія слова быковскаго разсказа долетѣли до моего слуха, и я сразу поналъ, что рѣчь шла не о комъ другомъ, какъ именно обо мнѣ. Но какъ же этотъ самолюбивый и упрямый человѣкъ извратилъ и переиначилъ то, что было на самомъ дѣлѣ! А было вотъ что. Быковъ бурилъ со мной въ штольнѣ и, видя, что я сижу, отдыхая и ничего не дѣлая, попросилъ меня сходить въ свѣтличку за новыми свѣчами. Я съ удовольствіемъ исполнилъ эту просьбу. Когда же, нѣсколько минутъ спустя, я, въ свою очередь, обратился къ нему за услугой, и онъ произнесъ свою фразу: „У меня свой урокъ еще не конченъ“, въ отвѣтъ я, дѣйствительно, сказалъ полушутливымъ тономъ: „Ага! Старая-то хлѣбъ-соль забывается?“—причемъ подъ хлѣбомъ-солью, конечно, разумѣлъ только свою ходьбу за свѣчами... Мнѣ и въ голову не пришло тогда, что мое замѣчаніе сколько-нибудь могло оскорбить Быкова; я не замѣтилъ даже, чтобы онъ надулся... Но теперь оказывалось, что я причинилъ человѣку жестокую обиду, и невинный случай выдвигался въ качествѣ одного изъ моихъ преступленій противъ подозрительной гордости кобылки...

Однако, я ограничился теперь замѣчаніемъ:

— Вы не такъ меня поняли, Быковъ!—и поспѣшилъ пройти къ Карасеву. Съ послѣднимъ у меня установились передъ тѣмъ довольно добрыя отношенія. Разгадавъ сразу этотъ мнительный, болѣзненно-амбиціозный характеръ, я подкупилъ его сдержанностью и уступчивостью въ спорахъ, и онъ относился ко мнѣ съ видимымъ уваженіемъ. Явившись теперь на выручку къ товарищу, я сталъ сочувственно разспрашивать Карасева о случившемся. Онъ еще разъ излилъ передо мной весь потокъ своихъ обвине-

душевной поэтической жалобы на то, что судьба и злые люди загубили жизнь добраго молодца, разлучили его съ родиной и съ милой сердцу дѣвушкой, какъ изъ устъ Юхорева вырывался отчаянно-кабацкій, безстыдно-разгульный припѣвъ, незаконный плодъ культуры и новѣйшей народной фантазіи... И очарованіе улетало: я опять видѣлъ передъ собой жестокаго, самолюбиваго, развратнаго человѣка, для котораго нѣтъ ни святыни, ни родины, ни *foi*, ни *loi*!

Однажды, въ воскресенье, я стоялъ съ двумя своими товарищами въ боковомъ корридорѣ тюрьмы, о чемъ-то вполголоса разговаривая. Бесѣда наша была непродолжительна, и, по окончаніи ея, я съ Штейнгартомъ отправился въ больницу, а Башуровъ взялся за ручку двери, ведшей въ главный корридоръ. Онъ увидалъ при этомъ, какъ кто-то быстро отскочилъ отъ двери и поспѣшно сталъ удаляться въ сторону; но Валерьянъ узналъ Карасёва, того мнительнаго самогрызуна, который жилъ въ одной камерѣ со мною. Быть можетъ, онъ и не думалъ вовсе подслушивать и у двери находился случайно, но ставшій, въ свою очередь, подозрительнымъ Башуровъ окликнулъ его и укоризненно замѣтилъ:

— А вѣдь это нехорошо, Карасевъ!

— Что такое нехорошо?—спросилъ Карасевъ, вспыхивая кровавымъ заревомъ.

— Да уши прикладывать къ дверямъ.

Трудно изобразить, что произошло послѣ этихъ словъ. Возвращаясь съ Штейнгартомъ изъ больницы въ свою камеру, мы застали въ корридорѣ слѣдующую сцену: Башурова и Карасёва окружала цѣлая толпа арестантовъ, и второй изъ нихъ, съ пѣной у рта, съ налитыми кровью глазами и стиснутыми судорожно кулаками, такъ и лѣзъ на Валерьяна, оглушеннаго, растерянnаго, стоявшаго въ углу, не зная, что дѣлать и говорить.

— Какую ты имѣлъ полную праву такъ меня обзывать?— кричалъ Карасевъ:—выходитъ по твоему, я—сука? А можетъ, я еще почище тебя? А можетъ, я такое выражу, что ты въ лоскъ передо мной ляжешь? Ты отвѣть: какую имѣлъ полную праву? Что я мимо двери проходилъ, такъ, значитъ, ужъ не смѣй и проходить мимо васъ? Вы Юхорева винили, что онъ большую власть надъ тюрьмой бралъ. А кто теперь его въ тюрьму посадилъ? Знаемъ мы хорошо, кто. Вы сами хотите власть забрать!

противъ всѣхъ и съ неподражаемо-искреннимъ комизмомъ воскликнулъ:

— Несогласенъ! Составляйте протоколъ, пишите: я несогласенъ!..

Это былъ не кто другой, какъ Луньковъ. Слабый, маленькій, подъ угрозою поднятыхъ на него кулаковъ, онъ не переставалъ кричать:

— Нѣтъ моего согласія! Старики, васъ на удочку поддѣть хотятъ! Имъ-то, глотамъ этимъ и храпамъ, ничего не стоитъ отъ табаку и мяса отказаться, они свое найдутъ, а мы съ голоду подыхать будемъ сдуру... И не вижу я никакой вины ни за Иваномъ Николаичемъ, ни за Митреемъ Петровичемъ, ни за Валерьяномъ Михалычемъ, кромѣ одной вины, что они много вниманья на насъ обращаютъ. Мы куражимся, а они насъ упрашиваютъ: „Ѣшьте, голубчики, пейте!“ Вотъ за это виню я Ивана Николаича. Я-бъ на его мѣстѣ...

Лунькову заткнули глотку и вышвырнули за дверь кухни; но арестантскій сеймъ былъ, тѣмъ не менѣе, сорванъ. Произвела ли рѣчь Лунькова такое впечатлѣніе на большинство кобылки, просто ли утомилась она отъ безплоднаго крика и гама, только кухня начала быстро пустѣть, и значительная часть крикуновъ разошлась по камерамъ. Когда Юхоревъ съ Тропинымъ начали подводить послѣ того итоги и собирать голоса тѣхъ, которые соглашались сдѣлать Шестиглазому заявленіе о пищѣ, они насчитали всего только восемь человѣкъ... Съ этимъ числомъ, конечно, невозможно было выступать отъ лица всей тюрьмы, и шайка порѣшила только снова варить для себя постную пищу въ отдѣльномъ котлѣ. Какимъ-то образомъ затесался въ эту же группу протестантовъ и нашъ пріятель Карпушка Липатовъ. Все время слѣдующаго дня, свободное отъ работы, онъ расхаживалъ по тюремному двору, ухарски заломивъ на бекрень шапку и какъ-то особенно геройски выкидывая впередъ колѣни, а когда встрѣчался съ кѣмъ-либо изъ насъ троихъ, то бросалъ на насъ убійственные взгляды и сардоническія усмѣшки. Но когда и еще день прошелъ (первый постный день послѣ сходки), а мы все не обращали на него ни малѣйшаго вниманія, тогда онъ подошелъ и заговорилъ:

— Вотъ вы какіе господа... Карпушка Липатовъ съ пустымъ брюхомъ ходитъ, а вы и въ усъ себѣ не дуете! Не лучше ль же вамъ опять въ хеврю меня свою принять? Дайте фунтикъ-другой

ній и укоровъ. Я старался его успокоить, объясняя слова Валерьяна простымъ недоразумѣніемъ, въ которомъ онъ не замедлитъ, конечно, извиниться. Долго еще Карасевъ продолжалъ брызгать слюной, повторяться и кричать, но уже видимо успокоенный; при появленіи надзирателя, привлеченнаго шумомъ, кобылка мало по малу разошлась.

Чувствовалось тѣмъ не менѣе, что исторіи далеко не кончена, что электричества скопилось въ воздухѣ достаточно для того, чтобы вожаки попытались разрядить его. И дѣйствительно, къ вечеру собралась въ кухнѣ огромная сходка. Мы, конечно, не могли на ней присутствовать, но тайные друзья наши, вродѣ Огурцова и „интеллигентно-галантнаго“ шпіона по профессіи Мишки Биркина, передали намъ вскорѣ всѣ ея подробности. Юхоревъ предлагалъ заявить Шестиглазому, что тюрьма не желаетъ пользоваться скоромной пищей во время постовъ; его поддерживали Быковъ, Шматовъ, Тропинъ, Стрѣльбицкій и другіе. Совершенно неожиданно присоединился къ нимъ и Сохатый, котораго я, будто бы, „унизилъ“, сказавъ кому-то, что его, Сохатаго, водитъ на веревочкѣ всякій, кто захочетъ. Выступилъ опять и Карасевъ, съ налитыми кровью глазами выкрикивавшій опять всѣ подробности своей стычки съ Башуровымъ. Выплывали на поверхность такія давно забытыя, тонкія и почти неуловимыя обиды, что въ другое время и при другомъ настроеніи можно было бы отъ души расхохотаться, услыхавъ объ нихъ. Но теперь было не до смѣха. Теперь эта глупая исторія наполняла насъ троихъ чувствомъ горечи и глубокаго раздраженія. О, глупцы, глупцы! Жестокія дѣти въ тридцать и сорокъ лѣтъ, не понимающія, кто ваши истинные друзья и враги, готовыя растерзать тѣхъ, кто вамъ искренно желаетъ блага, и принять въ объятія тѣхъ, кто на самомъ дѣлѣ можетъ предать васъ и погубить!

Сходка, однако, не привела къ тому героическому рѣшенію, котораго добивался Юхоревъ съ товарищами. Многіе даже изъ главарей охотнѣе кричали и размахивали руками, чѣмъ шли на дѣйствительныя жертвы собственными интересами; большинство, энергично участвовавшее въ негодующемъ шумѣ и гамѣ, вяло поддерживало вожаковъ, когда тѣ пытались перейти къ реальной формулировкѣ своихъ желаній. Этого мало. Нашелся человѣкъ, отъ котораго, казалось, меньше всего можно было ожидать геройства, но который, однако же, откровенно и громко всталъ одинъ

лѣзнаго Кота, Звонаренки, Мишки Биркина, татарина Равилова и многихъ другихъ. Глухое броженіе въ тюрьмѣ не прекращалось, но съ каждымъ днемъ, повидимому, все расло и усложнялось. Надзирателямъ по нѣсколько разъ въ день приходилось разгонять собиравшіяся тамъ и сямъ группы арестантовъ. Смутные, доходившіе до насъ слухи объ этихъ совѣщаніяхъ говорили, съ другой стороны, что въ общемъ замѣчается сильное движеніе въ нашу пользу. Одни изъ главарей, видимо, уже утомились волненіями, другіе переругались другъ съ другомъ. Гдѣ-то за кулисами шли невообразимыя интриги, сплетни и свары: сегодня бранили и обвиняли во всемъ Юхорева, завтра, напротивъ, утверждали, что Юхоревъ давно наплевалъ на все, а что мутитъ одинъ только Тропинъ, который хочетъ верховодить тюрьмою. Полоумный Жебреёкъ, стоя въ величественной позѣ посреди камеры и намекая на Штейнгарта, прорицалъ, что все зло на свѣтѣ отъ „дохторишекъ“, и что еслибы всѣхъ ихъ спалить въ одинъ пріемъ, то бѣднымъ людямъ много бы легче дышать стало на свѣтѣ... Карасёвъ кричалъ въ это же время, что онъ самъ сумѣетъ наговорить глупостей Сохатому, который чѣмъ-то его обидѣлъ... Словомъ, ничего нельзя было разобрать изъ того, что происходило кругомъ, и чего, наконецъ, хотѣли эти люди!

Между тѣмъ прошло еще два постныхъ дня, и тюрьма, какъ ни въ чемъ не бывало, продолжала ѣсть вкусную скоромную баланду, мы же и не думали идти съ повинной къ постившейся кучкѣ протестантовъ, у которыхъ, къ тому же, стали изсякать собственныя средства. И вотъ, начались искательные подходы къ намъ со стороны тѣхъ самыхъ лицъ, которыя были иниціаторами волненій. Тропинъ изъ первыхъ сталъ весело скалить зубы и дружелюбно заговаривать то со мной, то со Штейнгартомъ; Карасевъ и Быковъ сдѣлались вдругъ удивительно ласковыми и уступчивыми; Сохатый нѣсколько разъ пытался вступить со мной въ дружескую бесѣду:

— Я что жъ? Я ничего... Другіе всѣ были недовольны...

— А зачѣмъ же вы, Петинъ, замучили на дняхъ Штейнгарта бурами? Безъ нужды то и дѣло посылали въ кузницу, изъ одной злости.

Петинъ краснѣлъ и отпирался.

Что касается Юхорева, то онъ, дѣйствительно, имѣлъ въ послѣднее время видъ человѣка утомленнаго и ничѣмъ въ тюремной жизни не интересующагося.

табачку, и я, пожалуй, опять готовъ буду пишшу вашу ѣсть... Я вѣдь не злопамятный... А ужъ какъ вѣдь изобидѣли вы меня господа, такъ изобидѣли, что просто и высказать даже нельзя!

— Въ чемъ же обида ваша, Карпушка?

— Въ господинѣ дохтурѣ, въ Митреѣ Петровичѣ, вотъ въ комъ! Потому я хананіи у нихъ прошу настоящей, а они мнѣ все калидатъ да калидатъ въ ротъ суютъ. Они говорятъ, не калидатъ-молъ это. А меня ужъ довольно фершалъ Землянскій покормилъ имъ—Карпушку трудно омануть, шалишь, братъ!

— Ну, вы опять за свое, проходите мимо.

— Нѣтъ, вы постойте, господинъ... Я помириться съ вами пришелъ. Я опять ваше мясо ѣсть стану...

— Ужасно насъ обяжете этимъ!

— Да и обвяжу!.. Потому мясо—оно очень пользительно для моей болѣзни. Оно лучше, пожалуй, всякой хананіи будетъ!

И въ тотъ же день Карпушка объявилъ всѣмъ, что прекращаетъ свой протестъ. Что касается остальныхъ семи человѣкъ, то они варили постную пищу, какъ и предсказывалъ Луньковъ, только напоказъ; отдѣльно же отъ нея ѣли въ большомъ количествѣ мясо, пили молоко и, словно торжествуя какую-то побѣду, доставали, Богъ вѣстъ откуда, даже водку... Башуровъ предлагалъ было уничтожить временно, по доброй волѣ, всякія улучшенія общаго котла и посмотрѣть, что станетъ дѣлать кобылка, если перестать „нѣжничать“ съ нею, показать наше полное равнодушіе къ ея вздорнымъ капризамъ; но Штейнгартъ энергично возсталъ противъ этого плана, и я также согласился съ нимъ, что лучше всего покажемъ мы свое равнодушіе, если ровно ничего не измѣнимъ въ своемъ поведеніи, а оставимъ все въ прежнемъ видѣ. Тѣмъ не менѣе, когда наступила суббота, и я разнесъ по камерамъ, какъ обыкновенно, махорку, то всѣ мы были крайне удивлены, узнавъ, что не взяли своихъ порцій уже не одни только тюремные „иваны“, а цѣлыхъ сорокъ человѣкъ, т. е. чуть не третья часть тюрьмы... Чѣмъ объяснялось это странное явленіе? Возросло-ли такъ быстро число недовольныхъ нами? Просто-ли пользованіе табакомъ рѣзче бросалось въ глаза, отказъ же отъ улучшенной пищи обставленъ былъ значительными трудностями? Среди отказавшихся отъ махорки, кромѣ прежней чедовольныхъ коноводовъ, пестрѣли и имена до тѣхъ любно относившихся къ намъ арестантовъ, вродѣ

какъ „старосту“ нашей маленькой группы. Я отправился, заранѣе рѣшивъ держаться вѣжливо, но холодно, ни въ чемъ не уступая, но и не заводя никакихъ лишнихъ пререканій. Кухню я нашелъ биткомъ набитой народомъ. Меня встрѣтило гробовое молчаніе.

— Что вамъ нужно отъ меня, господа?—спросилъ я.

— Вы чего жъ замолчали? Говорите! — раздался чей-то насмѣшливый голосъ.—Пока одни были, такъ откуда чего бралось, а тутъ и языкъ прикусили..

Голосъ, очевидно, былъ въ мою пользу.

— Вотъ что, Иванъ Николаевичъ,—выступилъ изъ толпы староста Годуновъ. Глаза его были дипломатично опущены внизъ, правая рука съ видомъ достоинства заложена за пазуху рубахи. Каждое слово онъ точно процѣживалъ и тщательно взвѣшивалъ прежде, чѣмъ произнести.

— Видите ли,—мы, кобылка, живемъ по нашимъ глупымъ правиламъ и привычкамъ. Вы насъ не обезсудьте. Между прочимъ, многіе обижались вашими поступками и обращеньемъ... Такъ вотъ намъ хотѣлось бы разобрать въ окончательной формѣ, кто изъ насъ, значитъ, правъ и кто виноватъ.

— Ну, что жъ, давайте разбирать,—сказалъ я спокойно, — высказывайте ваши претензіи.

Изъ толпы ближе всѣхъ протискался ко мнѣ рыженькій Жебреёкъ. Онъ важно разставилъ свои крошечныя ножки и, скосивъ ротъ убійственно-презрительной усмѣшкой, хрипло заговорилъ:

— Претензіи? А ежели у меня въ животѣ болѣсть? Говорю вамъ, сурьезная болѣсть у меня въ кишкахъ есть, а онъ, дохторишка вашъ паршивый...

— Нельзя ли безъ ругани?

— Онъ говоритъ, будто никакой болѣсти во мнѣ не слышитъ. Прикладаетъ ухо и говоритъ, не слышитъ. Да кому же ближѣе слышать и знать? Ежели я самъ чувствую, что у меня въ животѣ настоящая, сурьезная болѣсть есть?

— Ну, ты, Жебрей цѣпучій! Ты дѣло говори, а не то проваливай! — закричалъ кто-то на полоумнаго старика, давно всѣмъ въ тюрьмѣ надоѣвшаго разсказами о своей „сурьезной болѣсти“.

— А ты мнѣ что за указъ, долгій твой носъ?

— Самъ песъ!

Вся эта безтолочь длилась бы, вѣроятно, еще очень долго, не приводя ни къ какимъ положительнымъ результатамъ, если бы въ дѣло не вмѣшалась, наконецъ, властная рука Шестиглазаго. До него донеслись какимъ-то путемъ свѣдѣнія о безпокойномъ настроеніи тюрьмы, и онъ не замедлилъ призвать къ себѣ новаго артельнаго старосту, скрытнаго хохла, большого политикана, того самаго, который нѣкогда, при чтеніи „Бориса Годунова“ Пушкина, получилъ отъ кобылки прозвище Годунова. Послѣдній попробовалъ было отговориться незнаніемъ. Тогда бравый капитанъ на него прикрикнулъ:

— Не смѣть увертываться! Я слышалъ, что о пищѣ какіе-то толки идутъ?

Годуновъ струсилъ.

— Да, это точно, господинъ начальникъ... По средамъ и пятницамъ готовится изъ жертвуемаго мяса лапша... Такъ вотъ она многимъ нескусной кажется...

— Лапша невкусна? Да вы очумѣли, что ли? Нѣтъ, ты что-то путаешь братецъ, скрываешь.

И вдругъ голову Лучезарова осѣнила догадка:

— Ага, понимаю! Вѣроятно, тутъ религіозныя чувства затрогиваются... Да, да, это очень возможно! Какъ это мнѣ раньше на умъ не приходило? Въ такомъ случаѣ придется совсѣмъ запретить улучшенія по постнымъ днямъ.

Годуновъ не принадлежалъ лично къ числу протестантовъ и, потому, сталъ горячо опровергать догадку начальника. Послѣдній долго качалъ раздумчиво головою.

— Такъ вотъ что, братецъ,—наконецъ, рѣшилъ онъ,—отправляйся сейчасъ же въ тюрьму, и къ вечерней повѣркѣ чтобъ былъ мнѣ отвѣтъ: если найдется хоть пять человѣкъ, желающихъ поститься, я немедленно прекращу всякія улучшенія.

Съ этимъ сенсаціоннымъ извѣстіемъ Годуновъ, чрезвычайно взволнованный, прибѣжалъ въ тюрьму и тотчасъ же созвалъ въ кухнѣ сходку.

— Вотъ до чего довели ваши капрызы!—заголосила кобылка, накидываясь на ивановъ.

— Чьи капрызы? Всѣ вѣдь говорили, не мы одни...

Начались, какъ всегда, безплодныя перекосердія, въ которыхъ Тропинъ сваливалъ вину на Карасева, Карасевъ на Юхорева и т. д. до безконечности. Рѣшили, наконецъ, пригласить на с

Такой тонкости чувствъ, признаюсь, я никакъ не ожидалъ встрѣтить въ одномъ изъ представителей каторжной кобылки.. Замкнутый, всегда страшно молчаливый и сдержанный, этотъ удивительный старикъ съ аристократически-тонкими чертами лица, съ нервнымъ складомъ всей фигуры, правда, всегда казался мнѣ загадкой и исключеніемъ. Я поспѣшилъ утѣшить его увѣреніемъ, что если Штейнгартъ и дѣйствительно обратился къ нему на ты, то, конечно, не изъ желанія обидѣть, а, напротивъ, изъ самаго теплаго чувства къ нему, какъ къ больному старику.

— Ну, вѣстимо, чего здря говорить! — послышались опять миролюбиво-настроенные голоса, среди которыхъ былъ и голосъ Быкова. Надо было ковать желѣзо, пока горячо, и я быстро перешелъ къ выводамъ.

— Не будемъ же, братцы, перебирать понапрасну старую труху и перейдемъ къ дѣлу. Время отъ времени поднимаются между нами ссоры, и всегда оказывается въ концѣ, что по пустякамъ. Надо съ этимъ покончить. Или вѣрьте намъ, что мы вамъ друзья и товарищи по несчастью, и тогда будемъ жить мирно, или же разъ навсегда разойдемся и не будемъ имѣть ужъ ничего общаго. Вотъ мы давали вамъ махорку, улучшали общій котелъ, дѣлая все это изъ самыхъ дружескихъ къ вамъ чувствъ. Живемъ въ общей тюрьмѣ, терпимъ общую бѣду; у насъ есть средства, которыхъ у васъ нѣтъ,—ну, мы и хотѣли вамъ помогать, повторяю, какъ товарищамъ по несчастью. Но многіе изъ васъ недовольны этимъ. Это ваше, конечно, дѣло. Теперь Шестиглазый сюда уже впутался: стоитъ вамъ одно слово сказать—и никогда никакихъ махорокъ, никакого мяса въ постные дни вы ни отъ кого ужъ получать не будете! И мы, и вы одинаково станемъ голодать. Больше мнѣ нечего говорить. Рѣшайте, какъ сами знаете.

И съ этими словами я оставилъ кухню. Я слышалъ, какъ за дверью поднялся тотчасъ же невообразимый шумъ и гвалтъ. Разомъ заговорило нѣсколько десятковъ голосовъ.

Сходка привела къ совершенно неожиданнымъ результатамъ. Прежніе смутьяны-главари, почти всѣ безъ исключенія, стояли теперь за то, что слѣдуетъ „помириться“, что не надо вредить будущимъ поколѣніямъ шелайскихъ арестантовъ, добровольно отказавшись отъ помощи „добрыхъ людей“; но безголосое обыкновенно

большинство, само ничего противъ насъ не имѣвшее, вдругъ заартачилось... Даже такіе неизмѣнные друзья и благожелатели мои, какъ Чирокъ, Луньковъ и Ногайцевъ, кричали:

— Нельзя теперь мириться, никакъ нельзя!..

Я былъ въ полномъ недоумѣніи. Но передъ самой уже повѣркой въ нашу камеру вошелъ Стрѣльбицкій (незадолго передъ тѣмъ переведенный, по собственной просьбѣ, въ камеру Башурова) и съ чрезвычайнымъ негодованіемъ сталъ говорить при мнѣ и Штейнгартѣ о какихъ-то „иванахъ“, ловящихъ рыбу въ мутной водѣ и подстрекающихъ „простецкую“ кобылку ко всякаго рода волненіямъ (къ этой же простецкой кобылкѣ Стрѣльбицкій причислялъ, очевидно, и самого себя!).

— Отца съ матерью не послухаюсь больше, если скажутъ: „выражай, Стрѣльбицкій, недовольство, подавай голосъ за ивановъ“! И на всѣ законы ихъ плюю съ этого дня!

Прислушиваясь къ этимъ рѣчамъ, я все еще не понималъ, въ чемъ дѣло. Желѣзный Котъ горячо подхватилъ его слова:

— А я такъ и давно ужъ наплевалъ. Потому мы же и въ дуракахъ всегда остаемся... Ну, какими глазами я теперь на Ивана Миколаевича сталъ бы глядѣть, коли послѣ всего, что было, послѣ всего нашего кураженья пришелъ бы къ нему и сказалъ: давай мнѣ опять свой табакъ! Буду и пишшу твою опять ѣсть! Нѣтъ, ужъ лучше, по моему, помереть съ голода, чѣмъ горѣть со стыда!

— Вѣстимо, лучше!—мрачно подтвердилъ Стрѣльбицкій.

— А я и табакъ до сихъ поръ бралъ, и пищу ѣлъ, а теперь ото всего откажусь, ото всего!—забасилъ вдругъ поэтъ Владиміровъ, срываясь съ наръ въ необычайномъ волненіи.

— Да всѣ, всѣ теперь откажемся!—поправилъ его Луньковъ:— потому *они*, можетъ быть, изверги, стыда не имѣющіе, а мы—человѣки.

— Въ чемъ дѣло у васъ Луньковъ?—не вытерпѣлъ я, наконецъ, тоже поднимаясь съ своего мѣста.

Компанія, очевидно, все время хорошо меня видѣла и нарочно говорила такъ громко, чтобы вызвать меня на разговоръ.

— Да въ томъ дѣло,—закричали разомъ Луньковъ, Чирокъ и Желѣзный Котъ,—что не можемъ мы теперь мириться съ вами, Миколаичъ! Потому съ какими глазами пойдемъ мы къ тебѣ мириться? У нихъ-то безстыжіе шары, а мы совѣсть какую ни есть имѣемъ. Никакъ, выходитъ, нельзя намъ съ тобой мириться.

Такой тонкости чувствъ, признаюсь, я никакъ не ожидалъ встрѣтить въ одномъ изъ представителей каторжной кобылки.. Замкнутый, всегда страшно молчаливый и сдержанный, этотъ удивительный старикъ съ аристократически-тонкими чертами лица, съ нервнымъ складомъ всей фигуры, правда, всегда казался мнѣ загадкой и исключеніемъ. Я поспѣшилъ утѣшить его увѣреніемъ, что если Штейнгартъ и дѣйствительно обратился къ нему на ты, то, конечно, не изъ желанія обидѣть, а, напротивъ, изъ самаго теплаго чувства къ нему, какъ къ больному старику.

— Ну, вѣстимо, чего здря говорить! — послышались опять миролюбиво-настроенные голоса, среди которыхъ былъ и голосъ Быкова. Надо было ковать желѣзо, пока горячо, и я быстро перешелъ къ выводамъ.

— Не будемъ же, братцы, перебирать понапрасну старую труху и перейдемъ къ дѣлу. Время отъ времени поднимаются между нами ссоры, и всегда оказывается въ концѣ, что по пустякамъ. Надо съ этимъ покончить. Или вѣрьте намъ, что мы вамъ друзья и товарищи по несчастью, и тогда будемъ жить мирно, или же разъ навсегда разойдемся и не будемъ имѣть ужъ ничего общаго. Вотъ мы давали вамъ махорку, улучшали общій котелъ, дѣлая все это изъ самыхъ дружескихъ къ вамъ чувствъ. Живемъ въ общей тюрьмѣ, терпимъ общую бѣду; у насъ есть средства, которыхъ у васъ нѣтъ,—ну, мы и хотѣли вамъ помогать, повторяю, какъ товарищамъ по несчастью. Но многіе изъ васъ недовольны этимъ. Это ваше, конечно, дѣло. Теперь Шестиглазый сюда уже впутался: стоитъ вамъ одно слово сказать—и никогда никакихъ махорокъ, никакого мяса въ постные дни вы ни отъ кого ужъ получать не будете! И мы, и вы одинаково станемъ голодать. Больше мнѣ нечего говорить. Рѣшайте, какъ сами знаете.

И съ этими словами я оставилъ кухню. Я слышалъ, какъ за дверью поднялся тотчасъ же невообразимый шумъ и гвалтъ. Разомъ заговорило нѣсколько десятковъ голосовъ.

Сходка привела къ совершенно неожиданнымъ результатамъ. Прежніе смутьяны-главари, почти всѣ безъ исключенія, стояли теперь за то, что слѣдуетъ „помириться“, что не надо вредить будущимъ поколѣніямъ шелайскихъ арестантовъ, добровольно отказавшись отъ помощи „добрыхъ людей“; но безголосое обыкновенно

то камеру, и мимо насъ надзиратели проволокли по корридору, съ помощью арестантовъ, трехъ человѣкъ, похожихъ на трупы. Къ дверному оконцу нашей камеры тѣснилась куча народа, толкаясь и наперерывъ силясь въ него заглянуть.

— Что тамъ такое?

— Мертвяки.

— Изъ какого нумеру?

— Это изъ шестого. Вонъ Быковъ прошелъ...

Это былъ номеръ, гдѣ жилъ Валерьянъ. Мы съ Штейнгартомъ страшно обезпокоились... Однако, не прошло и десяти минутъ, какъ нашу дверь также отомкнули, и надзиратель позвалъ Штейнгарта въ больницу. Всѣ кинулись къ нему съ разспросами.

— Дурно сдѣлалось со Стрѣльбицкимъ, Карпушкой Липатовымъ и Китаевымъ, до такой степени дурно, что, кажись, помираютъ.

— Ну, обожрались, должно быть, проклятые, балáнды,—рѣшила кобылка, сразу успокаиваясь: — вишь вѣдь, дорвутся кажинный разъ, словно два года крошки въ ротъ не бирали!..

А дѣло, между тѣмъ, было несравненно серьезнѣе. Штейнгартъ всю ночь оставался въ больницѣ. На слѣдующее утро, только что прошла повѣрка, по тюрьмѣ пронесся слухъ, что Карпушка, Китаевъ и Стрѣльбицкій отравлены, и что отрава положена была въ чай.

— Н-ну?.. Кѣмъ? Какъ? За что?

— Живы еще, аль померли?

— Живы. Митрій Петровичъ отходилъ.

— Вотъ выдумаютъ чепуху! Откуда здѣсь отравѣ, въ тюрьмѣ, взяться?—презрительно промолвилъ Юхоревъ: —чешутъ языкъ до той поры, покамѣсть сами себѣ петли на шею не надѣнутъ.

— Прямо изъ Рокамболя исторія!—сочувственно поддержалъ его Тропинъ, скаля зубы.

Остальные обитатели нашей камеры имѣли растерянный видъ и не знали, что думать и говорить. Я поспѣшилъ къ Башурову, и вотъ что Валерьянъ разсказалъ мнѣ.

— Я пришелъ вчера вечеромъ, передъ самой повѣркой, въ кухню заваривать чай. Азіадиновъ въ послѣднее время ужасно ухаживалъ за мной, небывалую любезность проявлялъ. „Не хотите-ли, спрашиваетъ, Валерьянъ Михалычъ, ложку-другую молока, у меня отъ больничныхъ порцій осталось?“ И почти насильно всучилъ мнѣ котелокъ — на днѣ двѣ ложки молока; признаться,

мнѣ не хотѣлось и обидѣть его отказомъ, послѣ всѣхъ этихъ исторій... Какъ вдругъ подлетаетъ Карпушка Липатовъ: „Господинъ, вамъ вѣдь ни къ чему эти двѣ ложки, а у меня въ спинѣ косточка вырости отъ питья можетъ“. Посмѣялся я и отдалъ ему, на свое счастье, на его бѣду. Послѣ повѣрки вынимаетъ Карпушка изъ-подъ халата котелокъ и торжественно провозглашаетъ: „Кто Карпушкѣ поклониться хочетъ — чай сегодня молосный пить“? Стрѣльбицкій съ Китаевымъ тутъ, какъ тутъ: „Мы самому Богу кланяться не любимъ, а холи хочешь намъ товарищемъ быть, наливай по чашкѣ“. И стали чаевать. Черезъ полчаса и схватило всѣхъ троихъ. Карпушка, должно быть, больше выпилъ— повалился, какъ мертвый, и глаза даже закатились. Китаевъ же все время стоналъ, хватаясь за животъ. Странно даже видѣть было, что такой здоровенный мужчина хныкалъ, точно баба: „охъ, братцы, смертонька моя подошла! Охъ, обкормили варвары!“ Стрѣльбицкій тоже все время находился въ сознаніи и, хоть выносилъ, повидимому, не меньшія муки, не терялъ мужества. Все грозился только сломать шею Азіадинову и Юхореву, когда выздоровѣетъ.

— Юхореву? Причемъ тутъ Юхоревъ?

— А кто же, какъ не онъ, сволочь?—заголосила вся камера, слушавшая мою бесѣду съ Башуровымъ:—онъ, гадина, отраву у насъ въ тюрьмѣ развелъ, некому больше! Одна ихъ шайка: Юхоревъ, Землянскій да Азіадиновъ!

— Ежели я заступался за ихъ, такъ нешто я зналъ за имя этакое дѣло? — зарычалъ, поднимаясь съ наръ, смущенный до нельзя Быковъ, обращаясь въ мою сторону:—я за правду только стоялъ, за свою обиду...

— А все же, ребята, надо раньше обслѣдовать это дѣло,—заговорилъ мой горный начальникъ Пальчиковъ, тоже принадлежавшій втайнѣ къ почитателямъ Юхорева:—можетъ, другіе виновники сыщутся, черная немочь ихъ побери! Какъ можно съ бухты-барахты на человѣка этакую вину возводить? Пущай настоящіе врачи обслѣдуютъ и скажутъ: можетъ, это и не отрава еще вовсе, чтобъ ее язвой язвило!

— Это само собой,—подхватилъ и Быковъ:—можно человѣка и безъ вины завинить, мало развѣ примѣровъ... Сразу такъ нельзя говорить: Юхоревъ, Юхоревъ... А можетъ, и другой кто.

Я вполнѣ согласился съ этимъ мнѣніемъ и отправился въ ла-

то камеру, и мимо насъ надзиратели проволокли по корридору, съ помощью арестантовъ, трехъ человѣкъ, похожихъ на трупы. Къ дверному оконцу нашей камеры тѣснилась куча народа, толкаясь и наперерывъ силясь въ него заглянуть.

— Что тамъ такое?

— Мертвяки.

— Изъ какого нумеру?

— Это изъ шестого. Вонъ Быковъ прошелъ...

Это былъ номеръ, гдѣ жилъ Валерьянъ. Мы съ Штейнгартомъ страшно обезпокоились... Однако, не прошло и десяти минутъ, какъ нашу дверь также отомкнули, и надзиратель позвалъ Штейнгарта въ больницу. Всѣ кинулись къ нему съ разспросами.

— Дурно сдѣлалось со Стрѣльбицкимъ, Карпушкой Липатовымъ и Китаевымъ, до такой степени дурно, что, кажись, помираютъ.

— Ну, обожрались, должно быть, проклятые, балáнды,—рѣшила кобылка, сразу успокаиваясь: — вишь вѣдь, дорвутся кажинный разъ, словно два года крошки въ ротъ не бирали!..

А дѣло, между тѣмъ, было несравненно серьезнѣе. Штейнгартъ всю ночь оставался въ больницѣ. На слѣдующее утро, только что прошла повѣрка, по тюрьмѣ пронесся слухъ, что Карпушка, Китаевъ и Стрѣльбицкій отравлены, и что отрава положена была въ чай.

— Н-ну?.. Кѣмъ? Какъ? За что?

— Живы еще, аль померли?

— Живы. Митрій Петровичъ отходилъ.

— Вотъ выдумаютъ чепуху! Откуда здѣсь отравѣ, въ тюрьмѣ, взяться?—презрительно промолвилъ Юхоревъ: —чешутъ языкъ до той поры, покамѣсть сами себѣ петли на шею не надѣнутъ.

— Прямо изъ Рокамболя исторія!—сочувственно поддержалъ его Тропинъ, скаля зубы.

Остальные обитатели нашей камеры имѣли растерянный видъ и не знали, что думать и говорить. Я поспѣшилъ къ Башурову, и вотъ что Валерьянъ разсказалъ мнѣ.

— Я пришелъ вчера вечеромъ, передъ самой повѣркой, въ кухню заваривать чай. Азіадиновъ въ послѣднее время ужасно ухаживалъ за мной, небывалую любезность проявлялъ. „Не хотите-ли, спрашиваетъ, Валерьянъ Михалычъ, ложку-другую молока, у меня отъ больничныхъ порцій осталось?“ И почти насильно всучилъ мнѣ котелокъ — на днѣ двѣ ложки молока; признаться,

— Но какъ же вы полагаете?... Что же это, наконецъ, такое?.. На кого думать?

Штейнгартъ только пожималъ плечами.

— Мое дѣло констатировать фактъ, а теперь—ухаживать за больными. Во всемъ прочемъ вы хозяинъ. Одно я позволю себѣ порекомендовать вамъ: собрать рвоту больныхъ въ сосудъ и запечатать.

— Совершенно вѣрно! Обязательно. Биркинъ, Биркинъ! И знаете что: я пошлю сейчасъ же отобрать и тотъ котелокъ, въ которомъ былъ чай,—быть можетъ, его осталось хоть немного...

Но мысль эта явилась бравому капитану уже слишкомъ поздно: котелокъ оказался чисто вымытымъ и вытертымъ кѣмъ-то насухо. Какъ ни скрывалъ Штейнгартъ отъ арестантовъ характеръ и названіе болѣзни, черезъ полчаса все уже было извѣстно въ больницѣ. Самъ Лучезаровъ, какъ только отравленные обнаружили признаки выздоровленія,—снисходительно присаживаясь къ нимъ на койки, говорилъ:

— Непремѣнно разыщите мнѣ этихъ мерзавцевъ-отравителей! На первой же осинѣ повѣшу ихъ... Только поправляйтесь, поправляйтесь, друзья!

Китаевъ, Карпушка и самъ мрачный Стрѣльбицкій были поражены и приведены въ умиленіе ласковымъ обращеніемъ съ ними грознаго начальника; растроганные, они цѣловали ему руки и клялись, что, если встанутъ на ноги, сдѣлаются образцовыми арестантами. Китаевъ все продолжалъ охать и жаловаться, хотя особенныхъ страданій уже, казалось не испытывалъ; вся ненависть Стрѣльбицкаго обратилась теперь на Юхорева, и онъ говорилъ, что выпуститъ ему кишки, „людскому сомустителю“. Къ Штейнгарту онъ относился теперь съ неподдѣльной симпатіей, широкой, мягкой улыбкой встрѣчая каждое его появленіе и величая спасителемъ. Одинъ только Карпушка Липатовъ, казалось, даже радовался случившемуся.

— Я чувствую, господинъ дохтурь, что эта самая яда мнѣ на пользу пошла,—объяснилъ онъ Штейнгарту:—потому она кровь по костямъ разогнала. Вотъ ежелибъ вы еще мнѣ той хананіи дали, которую ночесь въ ротъ лили, такъ я знаю, что настоящимъ бы тогда человѣкомъ сталъ! Теперь оно бы самая точка—мою болѣзнь лѣчить. Но вы, господинъ дохтурь, скупой... вы по губамъ только меня помазали, а чтобъ, значитъ, окончательно

заретъ узнать о состояніи здоровья больныхъ и разспросить обо всемъ Штейнгарта. Послѣдній не сомкнулъ глазъ въ теченіе ночи и чуть стоялъ на ногахъ отъ утомленія. Ночью въ больницѣ происходило слѣдующее. Явившись осмотрѣть больныхъ, онъ нашелъ ясно выраженную картину болѣзни: рвота, судороги, расширенные зрачки, жженіе въ горлѣ, томительная жажда... Конечно, не будь предшествовавшихъ разговоровъ о ядѣ, о мечтѣ арестантовъ обокрасть больничную аптеку, Штейнгартъ, не смотря на всѣ эти яркіе признаки, бродилъ бы, какъ впотьмахъ, но теперь ужасное подозрѣніе сразу пришло ему въ голову. Тотчасъ же послалъ онъ за Лучезаровымъ. Послѣдній явился немедленно, сильно взволнованный и встревоженный.

— Что тутъ у васъ? Неужели и къ намъ забралась азіатская гостья? Не было еще случаевъ холеры въ Забайкальской области...

— Это не холера, но не лучше холеры,—отвѣчалъ Штейнгартъ:—это отравленіе.

Съ бравымъ капитаномъ чуть не случился апоплексическій ударъ.

— Невозможно... Въ моей тюрьмѣ?! Вы ошиблись.

— Смотрите сами.

И Штейнгартъ показалъ ему медицинскій учебникъ съ подробнымъ описаніемъ симптомовъ отравленія атропиномъ.

— Откуда же они достали, мерзавцы, этотъ ядъ?

— Объ этомъ вы подумаете послѣ. А теперь, если желаете спасти отравленныхъ, вы должны принять на свою отвѣтственность способъ лѣченія. Средство должно быть употреблено героическое—тоже ядъ—морфій.

— Но такъ ли ужъ плохо ихъ положеніе?

Штейнгартъ повелъ его въ комнату, гдѣ лежали больные. Карпушка уже начиналъ хрипѣть, Стрѣльбицкій еле поворачивалъ головой, а Китаевъ жалобно стоналъ:

— Батюшка начальникъ... Спаси... Будь отцомъ роднымъ!

— Дѣлайте все, что хотите, только спасите ихъ,—круто повернулся Лучезаровъ къ Штейнгарту, въ сильномъ волненіи.

Послѣдній тотчасъ же приступилъ къ работѣ. Землянскій былъ въ отлучкѣ—онъ наканунѣ уѣхалъ въ заводъ, отпущенный Лучезаровымъ на три дня въ гости.

Бравый капитинъ глядѣлъ на все съ страшно растерянным видомъ и то и дѣло подходилъ къ Штейнгарту съ вопросами:

— Но какъ же вы полагаете?... Что же это, наконецъ, такое?.. На кого думать?

Штейнгартъ только пожималъ плечами.

— Мое дѣло констатировать фактъ, а теперь—ухаживать за больными. Во всемъ прочемъ вы хозяинъ. Одно я позволю себѣ порекомендовать вамъ: собрать рвоту больныхъ въ сосудъ и запечатать.

— Совершенно вѣрно! Обязательно. Биркинъ, Биркинъ! И знаете что: я пошлю сейчасъ же отобрать и тотъ котелокъ, въ которомъ былъ чай,—быть можетъ, его осталось хоть немного...

Но мысль эта явилась бравому капитану уже слишкомъ поздно: котелокъ оказался чисто вымытымъ и вытертымъ кѣмъ-то насухо. Какъ ни скрывалъ Штейнгартъ отъ арестантовъ характеръ и названіе болѣзни, черезъ полчаса все уже было извѣстно въ больницѣ. Самъ Лучезаровъ, какъ только отравленные обнаружили признаки выздоровленія,—снисходительно присаживаясь къ нимъ на койки, говорилъ:

— Непремѣнно разыщите мнѣ этихъ мерзавцевъ-отравителей! На первой же осинѣ повѣшу ихъ... Только поправляйтесь, поправляйтесь, друзья!

Китаевъ, Карпушка и самъ мрачный Стрѣльбицкій были поражены и приведены въ умиленіе ласковымъ обращеніемъ съ ними грознаго начальника; растроганные, они цѣловали ему руки и клялись, что, если встанутъ на ноги, сдѣлаются образцовыми арестантами. Китаевъ все продолжалъ охать и жаловаться, хотя особенныхъ страданій уже, казалось не испытывалъ; вся ненависть Стрѣльбицкаго обратилась теперь на Юхорева, и онъ говорилъ, что выпустить ему кишки, „людскому сомустителю“. Къ Штейнгарту онъ относился теперь съ неподдѣльной симпатіей, широкой, мягкой улыбкой встрѣчая каждое его появленіе и величая спасителемъ. Одинъ только Карпушка Липатовъ, казалось, даже радовался случившемуся.

— Я чувствую, господинъ дохтурь, что эта самая яда мнѣ на пользу пошла,—объяснилъ онъ Штейнгарту:—потому она кровь по костямъ разогнала. Вотъ ежелибъ вы еще мнѣ той хананіи дали, которую ночесь въ ротъ лили, такъ я знаю, что настоящимъ бы тогда человѣкомъ сталъ! Теперь оно бы самая точка—мою болѣзнь лѣчить. Но вы, господинъ дохтурь, скупой... вы по губамъ только меня помазали, а чтобъ, значитъ, окончательно

Карпушкѣ спину выправить, такъ этого вы не хотите... А ужъ я вамъ говорю, что теперь самая, что есть, точка подошла для моего лѣченья, потому яда эта... она кровь по костямъ у меня разогнала.

Словомъ, по утру вся тюрьма говорила про „яду“, и за спиной Юхорева всѣ единогласно называли его имя, называли съ самой искренней ненавистью къ нему, открыто утверждая, что Азіадиновъ съ Юхоревымъ хотѣли отравить Башурова, меня и Штейнгарта, но что судьба рѣшила иначе, и на удочку попался несчастный Карпушка да двое изъ юхоревской же шайки... Даже надзиратели указывали на Юхорева. Однако, Шестиглазый, для котораго „справедливость была выше всего на свѣтѣ“, рѣшился пока арестовать одного Азіадинова, какъ непосредственно давшаго Валерьяну Башурову молоко, отъ котораго произошло отравленіе. Поваръ-татаринъ посаженъ былъ немедленно въ темный карцеръ, лишенъ горячей пищи и закованъ въ ручные кандалы. Самъ начальникъ посѣщалъ его во время каждой вечерней повѣрки и грозно убѣждалъ сознаться и выдать единомышленниковъ. Но Азіадиновъ упорно стоялъ на своемъ:

— Безъ вины страдаю, господинъ-начальникъ! Знать ничего не знаю, вѣдать не вѣдаю.

Обходя во время повѣрокъ камеры, Шестиглазый бросалъ каждый разъ на Юхорева пытливо-пронизывающій взглядъ, но тотъ, вытянувъ руки по швамъ, стоялъ, какъ всегда, непроницаемо-холодный на видъ, не вздрагивая ни однимъ мускуломъ. Впрочемъ, не смотря на эту ледяную маску, пристальное наблюденіе могло всетаки открыть, что и онъ временами волновался и чувствовалъ нѣкоторый страхъ. Разъ утромъ по тюрьмѣ прошелъ слухъ, что Азіадиновъ рѣшилъ дать какія-то чистосердечныя показанія; и вечеромъ того же дня, передъ самой повѣркой, кобылка всколыхнулась, какъ одинъ человѣкъ, отъ новой сенсаціонной вѣсти: Юхорева поймали на мѣстѣ преступленія...

— Кто поймалъ? Въ чемъ?

— Огурцовъ... Юхоревъ на подоконникъ карцера вскочилъ и, оглянувшись кругомъ, зачалъ уговаривать Азіадинова по прежнему во всемъ запираться, обѣщая заплатить ему двадцать рублей...

Выйдя на дворъ, я, дѣйствительно, увидѣлъ у воротъ Огурцова, въ сильной ажитаціи разговаривавшаго о чемъ-то съ надзирателями; онъ просилъ ихъ немедленно доложить начальнику

о необходимости сообщить ему неотложное дѣло. Завидѣвъ меня, Огурцовъ радостно закричалъ:

— Поймалъ, Иванъ Николаевичъ, поймалъ таки суку!.. Я говорилъ вѣдь вамъ, что не я буду Огурцовъ, коли рано или поздно не отплачу. Вотъ и дождался точки! Я день и ночь слѣдилъ за имя, сволочами!

Бѣлое, жирное, въ обычное время апатичное лицо Огурцова разгорѣлось радостнымъ оживленіемъ; большіе черные глаза мстительно сверкали, кулаки судорожно сжимались... И я невольно подумалъ: а вѣдь давно-ль еще это былъ наивный, простенькій юноша, котораго не иначе всѣ называли, какъ дурочкой? И вотъ что сдѣлала изъ него жизнь, эта ненормальная, проклятая тюремная жизнь!—Не успѣлъ я отвѣтить что-нибудь Огурцову какъ ударилъ звонокъ на повѣрку, и арестанты начали строиться по срединѣ двора въ шеренги. Шестиглазый на этотъ разъ недолго заставилъ себя ждать, и подъ воротами появилась его видная фигура. Прежде всего онъ вызвалъ въ караульный домъ Огурцова и долго съ нимъ о чемъ-то бесѣдовалъ. Затѣмъ началась повѣрка въ обычномъ церемоніальномъ порядкѣ. Ожидали, что будетъ что-нибудь сказано или объявлено послѣ прочтенія наряда, но бравый капитанъ продолжалъ хранить все то же грозное молчаніе, и послышалось только короткое:

— Разводить арестантовъ по камерамъ!

Всѣ разошлись въ нѣкоторомъ недоумѣніи, не то чѣмъ-то недовольные, не то съ затаенной тревогой. Въ камерахъ снова выстроились двумя рядами, но не было слышно ни обычныхъ шутокъ, ни перебранокъ. Я невольно покосился въ сторону Юхорева. Присѣвъ въ ожиданіи повѣрки на краешекъ наръ, онъ нервно барабанилъ по нимъ пальцами, и лицо его показалось мнѣ темнѣе обыкновеннаго и, какъ будто, нѣсколько осунувшимся... Никто изъ товарищей не глядѣлъ на него, и онъ также ни съ кѣмъ не заговаривалъ. Молчаніе было такъ тягостно, что всѣ словно обрадовались, когда раздалась оглушительная команда:—Смирр-на!—и Лучезаровъ не вошелъ, а вбѣжалъ быстрыми, безпокойными шагами. Не глядя никому въ лицо, онъ совершилъ обычную церемонію, обошелъ камеру, заглянулъ за перегородку, понюхалъ тамъ воздухъ. Оттуда онъ вышелъ тихимъ, замедленнымъ шагомъ... И, лишь подойдя къ двери, вдругъ обернулся и произнесъ зычнымъ, повелительнымъ голосомъ:

— Юхоревъ, я тебя арестую и отдаю подъ судъ. Надзиратели, отведите его за ворота въ солдатскій карцеръ.

Ни слова не отвѣтилъ Юхоревъ, точно давно уже ждалъ этого распоряженія: молча повернулся къ нарамъ, взялъ съ нихъ шапку и ровными, мужественными шагами направился къ выходу. Но на порогѣ вдругъ обернулся и сказалъ нѣсколько дрогнувшей нотой.

— Прощайте, братцы, лихомъ не поминайте... Только напрасно обвиняютъ меня въ эстомъ дѣлѣ!

Дверь захлопнулась, ключъ въ замкѣ щелкнулъ. Тогда въ камерѣ всѣ защумѣли и разомъ заговорили:

— Убрали, наконецъ, сволочь!— объявилъ Сохатый, до исторіи съ отравленіемъ сильно склонявшійся на сторону Юхорева, но послѣ того рѣшительно отъ него отвернувшійся.

— Да и еще-бъ кой-кого убрать не мѣшало! Довольно ихъ такихъ осталось еще,—сказалъ Луньковъ, бросивъ на Тропина полный недоброжелательства взглядъ.

— Ужъ очень геройствовать привыкъ этотъ Юхоревъ,—выпустилъ ядъ Карасевъ:—мы какъ явились сюда, такъ не знали, что и подумать: не то арестантъ такой же, какъ всѣ, не то секлетарь аль самъ сенаторъ!.. Вотъ и доносились съ своимъ сенатóромъ, какъ курица съ яйцомъ, вотъ и дождались. Бога молите, что онъ всѣхъ васъ не обкормилъ, челдоновъ желторылыхъ.

— Да чего ты намъ въ носъ его тычешь—„вашъ“ да „вашъ“ Юхоревъ,—вступился за честь старой партіи Чирокъ.—Ну, а чѣмъ онъ нашъ? Нешто скажешь, ваша партія не больше дружила съ нимъ?

— А кто—я, скажешь, дружилъ?—налился кровью обидчивый Карасевъ:—Я? Нѣтъ, врешь! Я еще никому въ жизни своей не кланялся! Это, можетъ, ты несамостоятельный человѣкъ, а я... я самому чорту-дьяволу, не то что какому-нибудь Юхореву, не уважу. Я, братъ, чохъ-мохъ не разбираю!..

— Да мало-ль ихъ, друзьевъ-то, и окромя тебя было! Тропинъ вонъ...

— А ты Тропина не замай!—быстро отозвался съ наръ Тропинъ, тотчасъ же послѣ повѣрки улегшійся спать и покрывшійся было съ головой халатомъ,—я никого, братъ, не задѣваю; а кто меня задѣнетъ, тому я сумѣю и скулы своротить.

Чирокъ почему-то не заблагоразсудилъ съ нимъ ссориться и замолчалъ.

мальнаго обвиненія оказывалось слишкомъ мало. Передавали, что уже и самъ Лучезаровъ въ бесѣдахъ со слѣдователемъ смѣялся надъ арестантскими толками о ядѣ, какъ надъ ребяческой выдумкой: откуда взяться въ тюрьмѣ, и въ такой строгой тюрьмѣ, яду? Конечно, Штейнгартъ прекрасный юноша, проникнутый самыми благими намѣреніями и чувствами, съ пользою замѣняющій врача, который пріѣзжаетъ въ Шелайскій рудникъ такъ рѣдко, но... все же нельзя забывать, что онъ не больше, какъ студентъ, не кончившій курса и не имѣющій большого опыта въ прошломъ... Никто не могъ, разумѣется, сообщить слѣдователю того, что знали, напр., мы съ Штейнгартомъ или Мишка Биркинъ съ товарищами, и нѣтъ ничего удивительнаго, что онъ отнесся къ дѣлу поверхностно, спустя рукава. Что касается врачебной экспертизы надъ опечатанной рвотой, то результаты ея остались неизвѣстными.

Мнѣ лично извѣстно одно, что ядъ дѣйствительно находился въ рукахъ арестантовъ, и притомъ цѣлыхъ двѣ банки. Одна изъ нихъ, по слухамъ, была вынесена за ворота и исчезла неизвѣстно куда, а другая очень долго скрывалась отъ бдительныхъ глазъ начальства и гуляла по тюрьмѣ, переходя изъ рукъ въ руки. Наконецъ, дошло до того, что арестанты стали проигрывать ее одинъ другому въ карты. . Только годъ спустя, когда меня не было уже въ Шелайскомъ рудникѣ, Штейнгарту удалось прослѣдить это опасное оружіе, выкупить и швырнуть въ печку.

По окончаніи слѣдствія и Юхоревъ, и Азіадиновъ были выпущены изъ карцеровъ и опять водворены въ тюрьму. Обстоятельство это вначалѣ страшно смутило тѣхъ изъ арестантовъ, которые открыто заявили себя ихъ врагами. Въ разговорахъ между собой они выражали серьезное опесеніе, какъ бы Юхоревъ не отравилъ ихъ теперь всѣхъ гуртомъ... Огурцовъ на одной изъ повѣрокъ высказалъ эту мысль самому Шестиглазому.

— Да, да, не совсѣмъ это удобно, не совсѣмъ, я понимаю,— озабоченно согласился съ нимъ Лучезаровъ,—но ничего пока не подѣлать. Я не могу собственной властью убрать его. Буду хлопотать, а пока потерпите и остерегайтесь.

Что касается самого Юхорева, то онъ держался теперь, хотя и съ прежнимъ гордымъ достоинствомъ, но уже совершенно въ сторонѣ отъ общихъ тюремныхъ дѣлъ, не только въ нихъ не вмѣ-

Юхоревъ, уходя въ секретную, сказалъ:—Напрасно винятъ меня въ эстомъ дѣлѣ.

— А что, ребята, и въ самъ-дѣлѣ, какія такія доказательства, что безпремѣнно онъ сдѣлалъ это? Можетъ, одинъ Азіадиновъ? Огурцовъ могъ вѣдь и по злобѣ убійство на него открыть... Онъ давно, толстая его морда, грозился на Юхорева...—послышались голоса, сначала робкіе, а затѣмъ все болѣе и болѣе настойчивые.

Но больше всего изумила меня перемѣна, происшедшая въ выздоравливающемъ Стрѣльбицкомъ. Недавно еще онъ называлъ Штейнгарта своимъ спасителемъ, а Юхореву обѣщался кишки выпустить, теперь же глядѣлъ опять, безъ всякой видимой причины, на всѣхъ насъ троихъ дикими, враждебными глазами и, гуляя по тюремному двору въ желтомъ больничномъ халатѣ, якшался по прежнему съ Тропинымъ, Быковымъ, Шматовымъ и другими членами распуганной было шайки. Очевидно, этотъ человѣкъ съ мрачнымъ обликомъ и непримиримо-вольнолюбивыми рѣчами, на дѣлѣ обладалъ дряблой и неустойчивой волей, расшатанной, быть можетъ, его безпутной жизнью, полной всякаго рода кошмаровъ.

Вскорѣ объяснилось, что значила эта новая перемѣна декорацій: Тропинъ пустилъ по тюрьмѣ новое „бумо“, будто отрава брошена была въ котелокъ не кѣмъ другимъ, какъ самимъ Валерьяномъ Башуровымъ, а добыта, разумѣется, Штейнгартомъ, который былъ вхожъ въ аптеку. Все сдѣлано для гибели Юхорева и для вящшаго прославленія, въ качествѣ спасителя отравленныхъ, того же Штейнгарта... Какъ ни возмутительна была эта гнусная выдумка, опровергать ее было невозможно, такъ какъ распространялась она подъ сурдинку, а, встрѣчаясь съ нами, Тропинъ только скалилъ нахально острые зубы и глядѣлъ прямо въ лицо безстыдными, свѣтлыми, какъ вода, глазами...

X.

На прощанье.

Прошло два мѣсяца. Исторія съ отравленіями затянулась надолго. Пріѣзжалъ слѣдователь, допрашивалъ Азіадинова, Юхорева, Огурцова по одиночкѣ и лицомъ къ лицу, вызывалъ и еще нѣкоторыхъ арестантовъ, къ томъ числѣ и Башурова, но ни къ какому опредѣленному заключенію не пришелъ. Данныхъ для фор-

страданій, а не нѣсколькими всего мѣсяцами мелкихъ, сравнительно, разочарованій и огорченій. Насколько раньше я старался охладить оптимистическій пылъ товарища и показать ему оборотную сторону „отколковъ народнаго міра“, настолько же теперь испытывалъ естественное стремленіе защитить и оборонить нашихъ несчастныхъ сожителей отъ преувеличенныхъ нападокъ, отъ окончательнаго топтанія ихъ огуломъ въ грязь. Что касается Штейнгарта, то онъ, казалось, мало интересовался этими спорами и держался мрачнаго нейтралитета; было замѣтно, что опять какое-то глубокое личное горе терзало его и дѣлало снова угрюмымъ и необщительнымъ. Вѣчная бѣготня по больнымъ, внѣ стѣнъ тюрьмы и внутри ихъ, работа въ аптекѣ и утромъ, и вечеромъ, а иногда даже ночью, оставляли ему слишкомъ мало свободнаго времени для прежнихъ откровенныхъ бесѣдъ со мною, и порой мнѣ чудилось даже, что онъ начинаетъ намѣренно избѣгать ихъ, что между нами опять происходитъ въ послѣднее время отдаленіе. Меня это очень огорчало, хотя напрашиваться на дружескія изліянія я не хотѣлъ, тѣмъ болѣе, что не допускалъ перемѣны въ его личныхъ отношеніяхъ ко мнѣ и причиною отчужденія считалъ какія-нибудь новыя осложненія въ его грустномъ романѣ... Штейнгартъ очень часто забѣгалъ въ мою келью, но каждый разъ не надолго и разсѣянно слушалъ наши бесѣды съ Валерьяномъ.

— Ну, все-таки, не станете-жъ вы хоть того отрицать,—кричалъ неугомонный Башуровъ,—что люди вродѣ Тропина съ товарищами безнадежно-вредные члены общества, что такихъ-то ужъ ничто не исправитъ, никакія школы и книжки? Неужели всѣ недавнія исторіи не убѣдили васъ въ этомъ?

— Башуровъ, да вы вѣдь безъ году недѣлю живете среди этихъ людей и не успѣли хорошенько узнать ихъ!

Тогда Валерьянъ вспыхивалъ, какъ порохъ, въ немъ заговаривало самолюбіе.

— Во-первыхъ, не забывайте, что я шелъ съ ними дорогой—значитъ, не совсѣмъ ужъ не зналъ еще и раньше прибытія въ Шелайскій рудникъ, а во-вторыхъ—и это самое главное: какъ жили вы здѣсь до насъ эти два съ половиной года, которыми такъ кичитесь?

— Кичусь?!

— Да, есть небольшой грѣхъ... Жили вы, по вашимъ же собственнымъ разсказамъ, мирно, спокойно, какъ у Христа за пазухой...

шиваясь, но даже и не прислушиваясь ни къ какимъ арестантскимъ разговорамъ на артельныя темы. По цѣлымъ днямъ не было слышно въ тюрьмѣ его голоса; онъ работалъ, спалъ безъ просыпу и рѣдко прогуливался даже со старыми своими пріятелями. Видимо, онъ сильно грустилъ... Въ могучей натурѣ этого человѣка такъ и бурлила еще жизнь и кипучая жажда свободы; до выхода на поселеніе ему оставалось не больше четырехъ мѣсяцевъ, но онъ былъ почему-то твердо увѣренъ, что Лучезаровъ выхлопочетъ ему еще нѣсколько лѣтъ каторги... Иногда, лежа на нарахъ послѣ вечерней повѣрки, онъ долго мурлыкалъ про себя какой-нибудь чудный мотивъ изъ своего богатаго репертуара народныхъ пѣсенъ, но потомъ внезапно останавливался, вскакивалъ и ударялъ въ отчаяніи кулакомъ по нарамъ, загибая энергичное словцо:

— Эхъ, пропала, чортъ возьми, жисть, ни за что, ни про что пропала!..

Единственнымъ благотворнымъ послѣдствіемъ исторіи съ отравленіями было то, что фельдшера Землянскаго Лучезаровъ, наконецъ, удалилъ, и его мѣсто занялъ молоденькій, только что кончившій фельдшерское училище, безусый юноша, робкій, какъ застѣнчивая дѣвушка, мягкій и добродушный. По первому же заявленному мною желанію, онъ записалъ меня въ больницу и помѣстилъ въ маленькой отдѣльной комнаткѣ, въ той самой, гдѣ умеръ нѣкогда Маразгали и куда по окончаніи горныхъ работъ ежедневно приходили ко мнѣ Башуровъ и Штейнгартъ поболтать и отдохнуть отъ тюремной сутолоки. Въ праздничные дни, усѣвшись тѣсной кучкой на моей убогой койкѣ, мы не разлучались отъ утренней повѣрки вплоть до вечерней, и о чемъ только не бесѣдовали, о чемъ не спорили!

Лѣтнія исторіи страшно повліяли на Валерьяна. Онъ круто измѣнилъ свой первоначальный взглядъ на арестантовъ, какъ на случайный отколокъ народнаго міра, ничѣмъ, въ сущности, отъ этого міра не отличающійся. Теперь, напротивъ, онъ называлъ обитателей каторги „отбросами“ народа и въ большинствѣ ихъ видѣлъ отпѣтыхъ злодѣевъ и сознательныхъ, ничѣмъ неисправимыхъ негодяевъ. И съ той же горячей искренностью, съ тѣмъ же юношескимъ апломбомъ, какъ нѣкогда старые свои [illegible] щищалъ теперь новые, какъ будто они составляли [illegible] убѣжденіе, добытое долгими годами тяжкаго опыта

страданій, а не нѣсколькими всего мѣсяцами мелкихъ, сравнительно, разочарованій и огорченій. Насколько раньше я старался охладить оптимистическій пылъ товарища и показать ему оборотную сторону „отколковъ народнаго міра", настолько же теперь испытывалъ естественное стремленіе защитить и оборонить нашихъ несчастныхъ сожителей отъ преувеличенныхъ нападокъ, отъ окончательнаго топтанія ихъ огуломъ въ грязь. Что касается Штейнгарта, то онъ, казалось, мало интересовался этими спорами и держался мрачнаго нейтралитета; было замѣтно, что опять какое-то глубокое личное горе терзало его и дѣлало снова угрюмымъ и необщительнымъ. Вѣчная бѣготня по больнымъ, внѣ стѣнъ тюрьмы и внутри ихъ, работа въ аптекѣ и утромъ, и вечеромъ, а иногда даже ночью, оставляли ему слишкомъ мало свободнаго времени для прежнихъ откровенныхъ бесѣдъ со мною, и порой мнѣ чудилось даже, что онъ начинаетъ намѣренно избѣгать ихъ, что между нами опять происходитъ въ послѣднее время отдаленіе. Меня это очень огорчало, хотя напрашиваться на дружескія изліянія я не хотѣлъ, тѣмъ болѣе, что не допускалъ перемѣны въ его личныхъ отношеніяхъ ко мнѣ и причиною отчужденія считалъ какія-нибудь новыя осложненія въ его грустномъ романѣ... Штейнгартъ очень часто забѣгалъ въ мою келью, но каждый разъ не надолго и разсѣянно слушалъ наши бесѣды съ Валерьяномъ.

— Ну, всетаки, не станете-жъ вы хоть того отрицать,—кричалъ неугомонный Башуровъ,—что люди вродѣ Тропина съ товарищами безнадежно-вредные члены общества, что такихъ-то ужъ ничто не исправитъ, никакія школы и книжки? Неужели всѣ недавнія исторіи не убѣдили васъ въ этомъ?

— Башуровъ, да вы вѣдь безъ году недѣлю живете среди этихъ людей и не успѣли хорошенько узнать ихъ!

Тогда Валерьянъ вспыхивалъ, какъ порохъ, въ немъ заговаривало самолюбіе.

— Во-первыхъ, не забывайте, что я шелъ съ ними дорогой—значитъ, не совсѣмъ ужъ не зналъ еще и раньше прибытія въ Шелайскій рудникъ, а во-вторыхъ—и это самое главное: какъ жили вы здѣсь до насъ эти два съ половиной года, которыми такъ кичитесь?

— Кичусь?!

— Да, есть небольшой грѣхъ... Жили вы, по вашимъ же собственнымъ разсказамъ, мирно, спокойно, какъ у Христа за пазухой...

— Прощай и ты, Миколаичъ,—прогнусилъ онъ, саркастически оскаливая гнилые зубы:—прощай! Спасибо, что въ кандалы заковалъ... Тебѣ обязанъ!

Признаюсь, такой грубой, искренно-злостной клеветы, брошенной прямо въ лицо, я не ожидалъ даже и отъ Шматова. Но прежде чѣмъ, придя въ себя отъ удивленія, успѣлъ я произнести хоть одно слово въ отвѣтъ, Гнусъ уже вышелъ вонъ торжественно-замедленными шагами, заложивъ руки за спину.

Вслѣдъ за этомъ въ дверь просунулъ голову Тропинъ. Ему, очевидно, не съ кѣмъ было прощаться, и онъ показался для того только, чтобы крикнуть во всю глотку Стрѣльбицкому:

— Ты чего-жъ тутъ копаешься? Скорѣе, лѣшій!

Онъ окинулъ меня бѣглымъ, нелюбопытнымъ взглядомъ и, не удостоивъ ни однимъ словомъ, скрылся. Да и что ему было говорить? Своего онъ добился, а до всего остального въ мірѣ, до лжи и правды этому человѣку, не имѣвшему за душой даже признаковъ убѣжденія, не было ни малѣйшаго дѣла...

Стрѣльбицкій вышелъ изъ палаты и, тоже ничего не сказавъ мнѣ на прощанье, поспѣшилъ прямо къ воротамъ. Я глядѣлъ въ окно. Тамъ стояли уже подъ дождемъ, въ ожиданіи, Азіадиновъ, Тропинъ и Шматовъ. Быстрой, легкой походкой, ухарски заломивъ на бокъ круглую арестантскую шапочку, шелъ къ нимъ изъ тюрьмы Юхоревъ, вскинувъ на плечо свой мѣшокъ съ вещами. Въ больницу онъ не зашелъ. Замокъ щелкнулъ—ворота распахнулись настежь, приняли въ свою пасть пятерыхъ друзей и снова громко захлопнулись. На новую жизнь! Не пожалѣютъ ли когданибудь эти люди и о Шелайской тюрьмѣ, не вспомнятъ ли съ сочувствіемъ о тѣхъ, кого теперь, уходя, пытались оплевать и закидать грязью?...

Башуровъ и Штейнгартъ явились ко мнѣ съ тюремными новостями.

— Ну, что, Иванъ Николаевичъ, заходили къ вамъ прощаться?

Я разсказалъ о сценѣ, устроенной мнѣ Гнусомъ.

— Ну, значитъ, точь въ точь та же пѣсня, которую и мы слышали,—съ горечью разсмѣялся Штейнгартъ.—Къ намъ Шматовъ и Юхоревъ вмѣстѣ зашли. Первый шипѣлъ что-то не совсѣмъ вразумительное, кого-то въ чемъ-то упрекалъ, кого-то прощалъ то и дѣло прерывая Юхорева, который, по обыкновенію, прикрикнулъ наконецъ:—„Замолчи, Гнусъ, не дури!“ Самъ онъ

держался съ обычной важностью и съ первыхъ же словъ заявилъ, что противъ насъ двоихъ никакой злобы не уноситъ, одного только Ивана Николаевича считаетъ врагомъ.—„Какъ вамъ, Юхоревъ, не стыдно говорить такія вещи?—воскликнулъ я:—Иванъ Николаевичъ прожилъ столько лѣтъ въ тюрьмѣ, и всѣ видѣли отъ него одно только доброе“.—„Быть можетъ, другіе, но никакъ не я! Мнѣ онъ врагъ, и я когда-нибудь съумѣю ему отплатить“.—„Онъ насъ въ кандалы заковалъ!“—прошипѣлъ опять Гнусъ. Я обратился къ Юхореву:—„Неужели вы вѣрите въ такую нелѣпость? Ну, Шматовъ по глупости, а вы-то?...“ Онъ сдѣлалъ рѣшительный жестъ рукою:—„Не будемъ спорить, Дмитрій Петровичъ; у каждаго человѣка свои взгляды... Итакъ, господа, прощайте, спасибо за вашу хлѣбъ-соль. Валерьянъ, не поминай лихомъ“! Но мы отказались подать ему руку:—„Если вы думаете такъ дурно о нашемъ товарищѣ, котораго мы уважаемъ, такъ по доброму и мы не можемъ разстаться съ вами“. Тогда Юхоревъ гордо выпрямился, подумалъ немного и, поклонившись слегка, торопливо вышелъ. А за нимъ побѣжалъ и его вѣрный оруженосецъ, продолжая что-то гнусавить.

— И откуда берется такая гордость, такой языкъ у чистокровной, въ сущности, шпаны!—загорячился Валерьянъ:—вотъ, Иванъ Николаевичъ, плоды вашего многолѣтняго нѣжничанья съ ними!

Но Штейнгартъ сурово остановилъ его:

— Вспомни, Валерьянъ, свое собственное амикошонство съ Юхоревымъ. Еще большой, братъ, вопросъ, чьей это политики плоды...

Башуровъ густо покраснѣлъ и, замолчавъ на нѣкоторое время, по обыкновенію, надулся.

Грустное настроеніе овладѣло мною, когда товарищи ушли въ тюрьму, оставивъ меня одного. Мысленно перебиралъ я свои тюремныя воспоминанія, годъ за годомъ, мѣсяцъ за мѣсяцемъ, стараясь отыскать тамъ свои ошибки, промахи, вины противъ посланныхъ судьбой сотоварищей, подобрать ключъ къ правильному пониманію ихъ простой и вмѣстѣ загадочной психологіи, на почвѣ которой создались между нами сначала недоразумѣнія, а затѣмъ и вражда. Я думалъ,—и исторія этихъ мелкихъ тюремныхъ бурь наводила меня на мысль о болѣе широкихъ аналогіяхъ и картинахъ: не возможны ли подобные же (только еще болѣе грустные по сво-

имъ огромнымъ размѣрамъ и важнымъ послѣдствіямъ) конфликты и на волѣ между интеллигентными людьми и темными народными массами?...

Было сумрачное осеннее утро передъ самымъ началомъ зимы. Порывы холоднаго вѣтра стучали порой по оконнымъ рамамъ крупными дождевыми каплями. Непривѣтливо висѣло низкое темное небо надъ непривѣтливымъ, мокрымъ зданіемъ тюрьмы, дѣлая его еще мрачнѣе обыкновеннаго, а жизнь, происходившую подъ его кровлей, еще страшнѣй и удушливѣй. Вотъ рѣзкими, точно отсырѣвшими звуками ударилъ звонокъ на обѣдъ; съежившіеся отъ холода камерные старосты пронесли изъ кухни баки съ баландой, нагибаясь подъ ихъ тяжестью. Суетливо пробѣжало за ними нѣсколько праздно торчащихъ въ кухнѣ отощалыхъ фигуръ. Тюремный день продолжалъ идти своей обычной колеей...

XI.

Тревоги иного рода.

Невеселаго свойства событія описывалъ я въ предыдущихъ главахъ. И если бы событія эти были финальнымъ аккордомъ въ сложной исторіи отношеній темной каторжной кобылки къ небольшой кучкѣ интеллигентныхъ арестантовъ, если бы они являлись чѣмъ-то вродѣ послѣдняго слова въ этой исторіи, рокового и непоправимаго, то читатель, быть можетъ, сдѣлалъ бы изъ него даже болѣе грустные выводы, чѣмъ тѣ, къ какимъ приходилъ самъ я въ минуты уныній и душевной слабости. И онъ былъ бы можетъ быть, правъ... Но, къ счастью, дѣйствительность въ ея цѣломъ не была такъ мрачна. Въ сущности, описанныя мной недоразумѣнія и ссоры были не болѣе, какъ преходящимъ моментомъ изъ многолѣтней совмѣстной жизни нашей съ каторгой, моментомъ, который совершенно непредвидѣнно вынырнулъ изъ самой мирной и дружелюбной тишины, разразился рядомъ бурныхъ конфликтовъ болѣе или менѣе трагикомическаго характера и затѣмъ, послѣ увоза тюремныхъ главарей, смѣнился прежней невозмутимой тишиной и прежними дружескими отношеніями, опять длившимися годы. Тѣмъ не менѣе, этотъ короткій, сравнительно, періодъ казался мнѣ не лишеннымъ своего значенія и характерности; мнѣ думалось, что отбрось я его, какъ нѣчто нетипичное, мимолетное, ограничься картиной обычныхъ отношеній

съ арестантами, представленной въ первой части очерковъ,—и отъ записокъ моихъ, какъ отъ всего неполнаго и недосказаннаго, вѣяло бы въ значительной степени неискренностью, своего рода ложнымъ, приторно-сладкимъ сантиментализмомъ.

Мнѣ остается лишь сказать по этому поводу, что пережитыя треволненія не прошли безъ слѣда ни для одной изъ враждовавшихъ сторонъ, ни для каторги, ни для меня съ товарищами. Что касается первой, то, признаюсь откровенно, ея поведеніе не разъ вызывало во мнѣ глубочайшее удивленіе. Невозможно было, конечно, предполагать, чтобы лѣтнія событія были забыты ею такъ скоро и такъ окончательно; напротивъ, по общему настроенію чувствовалось нерѣдко, что арестантами ничто не забыто... И однако, ни разу и никто изъ нихъ (даже изъ самыхъ неразвитыхъ умственно и нравственно) не заводилъ въ нашемъ присутствіи громкаго разговора о прошломъ. Точно какое-то безмолвное, но твердое соглашеніе состоялось между всѣми на этотъ счетъ: молчать, никогда не вспоминать о томъ, что было. Сказывалась ли тутъ своего рода деликатность? Играло-ли нѣкоторую роль то обстоятельство, что подъ конецъ волненій нами усвоена была политика показного равнодушія къ ихъ исходу и твердаго стоянія на избранной разъ позиціи? Во всякомъ случаѣ, повторяю, никогда больше не видалъ я со стороны нашихъ сожителей ни малѣйшаго поползновенія возобновлять ссоры.

Горечь обиды, одно время обуревавшая увлекающагося Башурова и толкавшая его на необдуманные слова и поступки, тоже скоро улеглась: отъ природы онъ былъ добръ и незлопамятенъ. Крайнія мнѣнія его объ арестантахъ, такъ непріятно противорѣчившія одно другому и быстро мѣнявшіяся, съ теченіемъ времени смягчились и уравновѣсились; въ концѣ концовъ, взгляды наши сблизились и примирились. Но, кромѣ того, пережитыя непріятности научили насъ всѣхъ троихъ быть сдержаннѣе, зорче слѣдить за каждымъ своимъ шагомъ, имѣвшимъ хоть косвенное отношеніе къ каторгѣ и ея интересамъ. Если, благодаря этому, поведеніе наше, быть можетъ, и утратило нѣсколько свою прежнюю непринужденность и непосредственность, то, съ другой стороны, оно гарантировало отъ новыхъ крупныхъ ошибокъ, а это было, конечно, самое главное.

Между тѣмъ, наступившая осень готовила намъ испытанія и тревоги совсѣмъ иного рода,—своеобразный кошмаръ, который мо-

имъ огромнымъ размѣрамъ и важнымъ послѣдствіямъ) конфликты и на волѣ между интеллигентными людьми и темными народными массами?...

Было сумрачное осеннее утро передъ самымъ началомъ зимы. Порывы холоднаго вѣтра стучали порой по оконнымъ рамамъ крупными дождевыми каплями. Непривѣтливо висѣло низкое темное небо надъ непривѣтливымъ, мокрымъ зданіемъ тюрьмы, дѣлая его еще мрачнѣе обыкновеннаго, а жизнь, происходившую подъ его кровлей, еще страшнѣй и удушливѣй. Вотъ рѣзкими, точно отсырѣвшими звуками ударилъ звонокъ на обѣдъ; съежившіеся отъ холода камерные старосты пронесли изъ кухни баки съ баландой, нагибаясь подъ ихъ тяжестью. Суетливо пробѣжало за ними нѣсколько праздно торчащихъ въ кухнѣ отощалыхъ фигуръ. Тюремный день продолжалъ идти своей обычной колеей...

XI.

Тревоги иного рода.

Невеселаго свойства событія описывалъ я въ предыдущихъ главахъ. И если бы событія эти были финальнымъ аккордомъ въ сложной исторіи отношеній темной каторжной кобылки къ небольшой кучкѣ интеллигентныхъ арестантовъ, если бы они являлись чѣмъ-то вродѣ послѣдняго слова въ этой исторіи, рокового и непоправимаго, то читатель, быть можетъ, сдѣлалъ бы изъ него даже болѣе грустные выводы, чѣмъ тѣ, къ какимъ приходилъ самъ я въ минуты унынія и душевной слабости. И онъ былъ бы можетъ быть, правъ... Но, къ счастью, дѣйствительность въ ея цѣломъ не была такъ мрачна. Въ сущности, описанныя мной недоразумѣнія и ссоры были не болѣе, какъ преходящимъ моментомъ изъ многолѣтней совмѣстной жизни нашей съ каторгой, моментомъ, который совершенно непредвидѣнно вынырнулъ изъ самой мирной и дружелюбной тишины, разразился рядомъ бурныхъ конфликтовъ болѣе или менѣе трагикомическаго характера и затѣмъ, послѣ увоза тюремныхъ главарей, смѣнился прежней невозмутимой тишиной и прежними дружескими от[illegible]ми, опять длившимися годы. Тѣмъ не менѣе, этотъ ко[illegible]тельно, періодъ казался мнѣ не лишеннымъ свое[illegible]характерности; мнѣ думалось, что отбрось я его, [illegible]типичное, мимолетное, ограничься картиной обычн[illegible]

наній? Ровно ничего. У меня нѣтъ никакой свободы дѣйствій, у меня положительно связаны руки... Меня ограничиваютъ въ денежныхъ тратахъ, меня заставляютъ губить время на пустяки. Вотъ вамъ мелкій примѣръ: по штату мнѣ полагается помощникъ, обязанность котораго исполнять нѣкоторыя черныя работы—производить повѣрки арестантамъ, наблюдать за порядкомъ въ тюрьмѣ, за надзирателями... Ну, конечно, это необходимо и для нѣкотораго престижа власти начальника... И что же вы думаете? Мнѣ дали помощника, но какого? Я просилъ офицера, человѣка энергичнаго, рѣшительнаго, способнаго съ достоинствомъ замѣнять меня самого въ нужныхъ случаяхъ, а они назначили... какого-то отставнаго канцеляриста, пропоицу и теленка, котораго я боюсь даже пускать въ тюрьму, и который способенъ только сидѣть въ конторѣ и строчить бумаги...

Мнѣ живо вспомнилась фигура этого „теленка и пропоицы"—жалкая, сгорбленная, съ трясущимися руками и головой, въ какомъ-то длинномъ женскомъ капотѣ съ мѣдными пуговицами, изображавшемъ собою чиновничью шинель. Въ тюрьмѣ онъ показывался очень рѣдко, голоса его мы почти никогда не слыхали, и никто изъ арестантовъ не зналъ даже объ его оффиціальномъ званіи „помощника", а называли всѣ „письмоводителемъ".

— При такихъ условіяхъ тюрьма не можетъ быть образцовой!—съ горечью продолжалъ Лучезаровъ:—и, въ сущности, она ничѣмъ ровно не отличается отъ другихъ каторжныхъ тюремъ.

— Мнѣ кажется, вы нѣсколько преувеличиваете. Судя по разсказамъ арестантовъ, въ другихъ рудникахъ несравненно больше свободы.

— То есть, вы хотите сказать—распущенности? Но знаете ли, почему это? Только потому, что *я* здѣсь... Поставьте на мое мѣсто кого-либо изъ обыкновенныхъ смотрителей—и завтра же вы не отличите Шелаевской тюрьмы отъ Зерентуйской, Алгачинской и всякой другой!

И довольное, румяное лицо браваго капитана приняло оттѣнокъ мечтательной грусти; онъ съ горечью закусилъ длинные усы и, махнувъ рукой, быстро отошелъ къ окну.

— Впрочемъ,—тотчасъ же справился онъ съ своимъ волненіемъ и заговорилъ опять непреложнымъ, властнымъ тономъ:—я не теряю еще надежды... Нѣтъ, я питаю надежду! Я почти увѣренъ... Новый губернаторъ тоже одобряетъ мои планы... У меня

жетъ имѣть мѣсто только въ тюрьмѣ и только для интеллигентныхъ людей.

Еще за полгода до прибытія въ Шелай новичковъ, у меня происходила съ бравымъ капитаномъ одна бесѣда, которой я не придалъ въ то время особеннаго значенія, какъ одной изъ безчисленныхъ минутныхъ фантазій капитана, въ большинствѣ случаевъ никогда не видавшихъ осуществленія.

— Я не очень-то доволенъ теперешнимъ состояніемъ тюрьмы,— въ связи съ чѣмъ-то другимъ, заговорилъ онъ, нахмуривая брови, но тономъ почти дружеской довѣренности:—это далеко не то, о чемъ я когда-то мечталъ и что соблазнило меня принять предложенное мѣсто начальника.

Я полюбопытствовалъ узнать, что, собственно, вызывало его недовольство.

— Да, если хотите, все, рѣшительно все! Первоначальнымъ планомъ, въ составленіи котораго и я принималъ участіе, было устроить изъ Шелаевскаго рудника образцовую тюрьму, отличную отъ всѣхъ остальныхъ каторжныхъ тюремъ. Строгость, неуклонная, чисто военная строгость во всемъ режимѣ—вотъ основной принципъ, который былъ поставленъ мною на видъ. Я, знаете, тогда же составилъ докладную записку, въ которой все это изложилъ. Я прекрасно знаю этихъ артистовъ и знаю, какъ нужно управлять ими!.. Тогдашній губернаторъ былъ во всемъ со мною согласенъ. Но... вамъ извѣстны наши русскіе порядки? Канцелярщина, волокита... Каждый разумный проектъ разбирается десяткомъ власть имѣющихъ лицъ, и у каждаго изъ нихъ собственныя фантазіи! Все новое, оригинальное не находитъ у насъ признанія... По моему плану, начальникъ Шелаевской тюрьмы долженъ былъ зависѣть только отъ Бога и губернатора, или, вѣрнѣе сказать, отъ разъ навсегда составленной инструкціи. Завѣдующій нерчинской каторгой никакого касательства не долженъ былъ имѣть въ этой тюрьмѣ: онъ могъ бы учиться здѣсь—и ничего больше... Таковъ былъ мой идеалъ. Но, посмотрите, что вышло въ дѣйствительности! Остановились, какъ всегда, на полумѣрахъ! Тюрьму сдѣлали, какъ-будто, и образцовой, а съ другой стороны все оставили по старому. Во главѣ дѣла стоитъ все то же Управленіе каторгой, учрежденіе, скажу вамъ откровенно, допотопное, насквозь пропитанное чиновничьимъ формализмомъ и халатностью! Ну, и что же выходитъ изъ всѣхъ моихъ начи-

Молодая, красивая, мало, правда, образованная, но съ добрымъ, отзывчивымъ сердцемъ и гуманными наклонностями, она вышла замужъ за пожилого и почти незнакомаго ей офицера такъ, какъ дѣлаетъ это въ далекихъ провинціальныхъ захолустьяхъ большинство неопытныхъ молодыхъ дѣвушекъ, т. е. необдуманно, легкомысленно. Жизнь во всей своей суровой неприглядности открылась ея испуганнымъ глазамъ лишь на другой день послѣ свадьбы. Мужъ оказался не злымъ по природѣ человѣкомъ, но тупымъ и недалекимъ бурбономъ, взгляды котораго на людей и общественную дѣятельность не подъ силу было измѣнить ей, которая сама только ощупью, инстинктомъ отыскивала истину и ложь жизни. Долго странствовала Анна Аркадьевна съ своимъ мужемъ по разнымъ глухимъ угламъ Забайкальской области и, наконецъ, попала въ такую мрачную нору, какою былъ стоявшій среди тайги и унылыхъ сопокъ нашъ каторжный городокъ. Здѣсь встрѣтило ее не просто лишь отсталое и безцвѣтное общество—нѣтъ, это была настоящая крѣпостническая среда, жестокая, бездушная, съ самыми античеловѣчными понятіями, достойными первобытныхъ дикарей; это былъ какъ бы уголокъ среднихъ вѣковъ, бережно сохранявшійся и законно процвѣтавшій въ цивилизованной странѣ и въ просвѣщенномъ вѣкѣ... Грубость царила кругомъ самая варварская, нравы откровенно-животные, высшихъ интересовъ никакихъ. Лучшими дамами шелайскаго бомонда являлись надзирательскія жены, такъ какъ Лучезаровъ, Монаховъ и молодой казацкій хорунжій были люди холостые; эти дамы, ссорясь между собою, публично называли одна другую „шкурами“ и „потаскушками“...

Аннѣ Аркадьевнѣ суждено было повторить собою обычную на Руси грустную исторію никѣмъ непонятыхъ страданій и безвременнаго, одинокаго увяданія чуткой, но слабой женской души. Переписка съ подругами-институтками, за отсутствіемъ общихъ реальныхъ интересовъ, постепенно становилась вялой и нелюбопытной; дѣтей не было; книгъ для чтенія не отыскивалось; слезъ не хватало.. Чѣмъ бы кончилась эта печальная исторія? Вѣроятнѣе, конечно, всего, что и Анна Аркадьевна, подобно сотнямъ и тысячамъ своихъ предшественницъ, сдалась бы въ концѣ концовъ засасывающей силѣ житейской тины; прошло бы еще нѣсколько лѣтъ, и она, какъ всѣ, утратила бы человѣческій образъ, сдѣлалась бы такой же, какъ всѣ .. Но какъ разъ въ ту минуту, когда было еще

есть, кромѣ того, и въ Петербургѣ единомышленники... друзья... Записка моя теперь уже разсматривается, и весьма возможно, что въ самомъ недалекомъ будущемъ вы практически съ нею познакомитесь.

Глаза его вдругъ блеснули игривымъ огонькомъ... Однако, на моемъ лицѣ, должно быть, нельзя было прочесть сильнаго желанія поскорѣе „практически“ познакомиться съ его воинственными планами, потому что онъ поспѣшилъ перевести разговоръ на другую тему, и аудіенція вскорѣ кончилась.

Повторяю, я не придалъ въ то время большого значенія этой бесѣдѣ и почти въ тотъ же день выкинулъ ее изъ головы. Но послѣ пріѣзда новичковъ, по тюрьмѣ не разъ проходили смутные слухи о какихъ-то готовящихся нововведеніемъ строгаго характера. Даже надзиратели толковали объ этомъ, хотя, нужно сказать, большинство ихъ открыто становилось на сторону арестантовъ и откровенно либеральничало; нѣкоторые хвалились даже, что „въ случаѣ чего“ уйдутъ въ отставку... Одинъ только Проня—„живая смерть“ казался еще болѣе, чѣмъ прежде, недоступнымъ и все туже и туже затягивался на всѣ пуговицы. Онъ давно уже былъ любимцемъ и правой рукой Лучезарова.

Въ концѣ концовъ, каждый новый слухъ встревоживалъ наше воображеніе на одинъ-другой день, а затѣмъ снова очень скоро вылеталъ изъ головы: монотонная, гнетущая дѣйствительность не давала по-долгу останавливаться ни на хорошихъ, ни на дурныхъ слухахъ. Зато, среди всякаго рода огорченій и непріятностей, судьба подарила намъ, безправнымъ и обездоленнымъ, друга, вѣрная преданность котораго не разъ поддерживала насъ въ минуты унынія и не разъ оказала намъ впослѣдствіи неоцѣнимыя услуги. Этотъ другъ былъ—женщина... Штейнгарту всецѣло принадлежала заслуга пріобрѣтенія сначала знакомства, а затѣмъ и дружбы жены начальника казацкой сотни, стоявшей въ Шелаѣ,—„доброй матушки-есаульши“, какъ называла ее безхитростиая кобылка. Случилось, что вскорѣ послѣ его прибытія въ Шелайскій рудникъ, она очень серьезно заболѣла воспаленіемъ легкихъ и, по общему признанію, только Штейнгартомъ была спасена отъ смерти. Чтобы вполнѣ понять и оцѣнить чувство, наполнившее душу выздоровѣвшей больной, нужно познакомиться нѣсколь съ положеніемъ и нравственнымъ состояніемъ этой симпатич и глубоко-несчастной женщины.

скомъ совѣтѣ для устраненія слѣдовъ перенесенной весною тяжкой болѣзни... Въ это же время она стала крайне интересоваться знакомствомъ великолѣпнаго Лучезарова, вида котораго раньше не могла выносить и которому всячески выказывала всегда явное неблаговоленіе. Теперь красивая молодая женщина начала ему, не безъ кокетства, улыбаться, привѣтливо заговаривать, и бравый капитанъ, никогда не бывшій нечувствительнымъ къ женскимъ чарамъ, таялъ каждый разъ, какъ воскъ, и при малѣйшемъ недомоганіи обворожительной есаульши согласился бы сдѣлаться даже спиритомъ, чтобы вызвать съ того свѣта всѣхъ знаменитыхъ врачей прошлыхъ вѣковъ; тѣмъ болѣе онъ готовъ былъ разрѣшить Штейнгарту являться по первому зову есаула...

Вотъ изъ этого-то источника и принесъ однажды Штейнгартъ положительныя свѣдѣнія о новыхъ грозившихъ намъ непріятностяхъ, про которыя давно уже говорили разные темные слухи. Передъ тѣмъ около трехъ недѣль не видался онъ съ Анной Аркадьевной, и только разъ за все время была получена отъ нея коротенькая записка: „Все ищу случая и возможности вызвать, но никакъ не удается. Боюсь, что Л. что-то подозрѣваетъ. Есть важныя новости". Наконецъ, ей удалось какимъ-то образомъ добиться свиданія.

— Представьте, господа, — разсказывалъ Штейнгартъ мнѣ съ Башуровымъ, вернувшись въ тюрьму,—я впалъ въ немилость!

— У Шестиглазаго?

— Ну, разумѣется. Давно, положимъ, я замѣчалъ, что онъ, какъ-будто, косится на меня. За ворота тюрьмы, къ больнымъ, стали вызывать въ послѣднее время очень рѣдко, а недавно пріѣзжалъ, говорятъ, издалека какой-то казакъ и слезно умолялъ разрѣшить мнѣ изслѣдовать его, но такъ и не добился разрѣшенія... Все это я объяснялъ, однако, минутными капризами.

— А теперь что же оказывается?

— Оказывается, что онъ видѣть меня не можетъ равнодушно. Вчера, когда Анна Аркадьевна усиленно пристала къ нему съ просьбой вызвать меня, онъ вспыхнулъ, какъ порохъ, и разразился длиннымъ монологомъ, въ которомъ высказался вполнѣ откровенно: „Штейнгартъ—мальчишка, который положительно избаловался, вслѣдствіе моего мягкаго къ нему отношенія! Онъ совершенно забылъ о томъ, что онъ каторжный, что ему нужно въ рудникѣ работать, а не воображать, будто онъ что-то вродѣ на-

не поздно, пришло спасеніе. Предъ нею, больной, слабой, охваченной горячечнымъ жаромъ и возбужденіемъ, въ одно время и призывавшей къ себѣ смерть, и мучительно хотѣвшей жить, внезапно появился молодой, энергичный и очень недурной собою врачъ, окруженный самой необыкновенной обстановкой,—со штыкомъ солдата за спиною, съ гремящими на ногахъ кандалами, съ бритой головой. Ласковый свѣтъ горѣлъ въ его глазахъ, въ каждомъ словѣ слышалась одобряющая сила и надежда... Воображеніе Анны Аркадьевны было поражено, симпатіи завоеваны съ перваго раза; а между тѣмъ, каждое новое посѣщеніе Штейнгарта, окруженное все той же таинственностью и необычайностью, только усиливало первоначальное очарованіе, открывая въ молодомъ врачѣ-каторжникѣ все новыя и новыя неслыханныя черты и достоинства, и къ тому времени, когда жизнь больной находилась уже въ полной безопасности, между ними успѣла установиться самая тѣсная и искренняя дружба. Для Штейнгарта это была, разумѣется, только дружба; чѣмъ сдѣлался онъ для молодой женщины — кто могъ знать объ этомъ, кромѣ нея самой? Да и большой вопросъ еще, знала-ль она и сама о настоящемъ характерѣ своего чувства? Во всякомъ случаѣ это была трогательно-безкорыстная преданность. Очень скоро дружеское расположеніе Анны Аркадьевны перенеслось и на товарищей ея спасителя, которыхъ она никогда въ жизни не видала, и вотъ Штейнгартъ, возвращаясь со свиданій, сталъ неизмѣнно каждый разъ приносить мнѣ и Башурову поклоны и привѣты отъ своей паціентки, а затѣмъ, когда личныя свиданія прекратились, начали получаться раздушенныя записочки съ восторженнымъ обращеніемъ ко всѣмъ намъ троимъ: „Друзья мои!“ и съ подписью „вашъ вѣрный и любящій другъ“. И, какъ я сказалъ уже выше, эта любовь и эта вѣрность были не разъ впослѣдствіи доказаны жизнью, и если имѣлись въ нихъ свои смѣшныя стороны, то мнѣ-ли смѣяться надъ ними? Нѣтъ, если гдѣ-нибудь ты существуешь еще, добрая и самоотверженная душа, такъ много любившая и такъ мало видѣвшая награды за свою любовь, то прими отъ меня, хоть теперь, запоздалый, но все же горячій и искренній привѣтъ!..

Выздоровѣвъ, Анна Аркадьевна, понятно, старалась
вать всевозможные предлоги для того, чтобы, время отъ
снова приглашать къ себѣ Штейнгарта: то появлялся
кой-нибудь новый недугъ, то встрѣчалась надобность въ

скомъ совѣтѣ для устраненія слѣдовъ перенесенной весною тяжкой болѣзни... Въ это же время она стала крайне интересоваться знакомствомъ великолѣпнаго Лучезарова, вида котораго раньше не могла выносить и которому всячески выказывала всегда явное неблаговоленіе. Теперь красивая молодая женщина начала ему, не безъ кокетства, улыбаться, привѣтливо заговаривать, и бравый капитанъ, никогда не бывшій нечувствительнымъ къ женскимъ чарамъ, таялъ каждый разъ, какъ воскъ, и при малѣйшемъ недомоганіи обворожительной есаульши согласился бы сдѣлаться даже спиритомъ, чтобы вызвать съ того свѣта всѣхъ знаменитыхъ врачей прошлыхъ вѣковъ; тѣмъ болѣе онъ готовъ былъ разрѣшить Штейнгарту являться по первому зову есаула...

Вотъ изъ этого-то источника и принесъ однажды Штейнгартъ положительныя свѣдѣнія о новыхъ грозившихъ намъ непріятностяхъ, про которыя давно уже говорили разные темные слухи. Передъ тѣмъ около трехъ недѣль не видался онъ съ Анной Аркадьевной, и только разъ за все время была получена отъ нея коротенькая записка: „Все ищу случая и возможности вызвать, но никакъ не удается. Боюсь, что Л. что-то подозрѣваетъ. Есть важныя новости". Наконецъ, ей удалось какимъ-то образомъ добиться свиданія.

— Представьте, господа, — разсказывалъ Штейнгартъ мнѣ съ Башуровымъ, вернувшись въ тюрьму,—я впалъ въ немилость!

— У Шестиглазаго?

— Ну, разумѣется. Давно, положимъ, я замѣчалъ, что онъ, какъ-будто, косится на меня. За ворота тюрьмы, къ больнымъ, стали вызывать въ послѣднее время очень рѣдко, а недавно пріѣзжалъ, говорятъ, издалека какой-то казакъ и слезно умолялъ разрѣшить мнѣ изслѣдовать его, но такъ и не добился разрѣшенія... Все это я объяснялъ, однако, минутными капризами.

— А теперь что же оказывается?

— Оказывается, что онъ видѣть меня не можетъ равнодушно. Вчера, когда Анна Аркадьевна усиленно пристала къ нему съ просьбой вызвать меня, онъ вспыхнулъ, какъ порохъ, и разразился длиннымъ монологомъ, въ которомъ высказался вполнѣ откровенно: „Штейнгартъ—мальчишка, который положительно избаловался, вслѣдствіе моего мягкаго къ нему отношенія! Онъ совершенно забылъ о томъ, что онъ каторжный, что ему нужно въ рудникѣ работать, а не воображать, будто онъ что-то вродѣ на-

чальства и будто мы ему чѣмъ-то обязаны". — Но, позвольте, — вставила Анна Аркадьевна, — вѣдь *мы*, дѣйствительно, многимъ ему обязаны? — Тутъ Лучезаровъ окончательно „изъ себя выпрягся", какъ говорятъ арестанты, и началъ отрицать во мнѣ всякія знанія и способности: „Если и было нѣсколько удачныхъ исходовъ въ его практикѣ, такъ это просто счастливый случай, не больше. Я не признаю врача въ этомъ заносчивомъ... недоучкѣ!" Анна Аркадьевна чуть не расплакалась при этихъ словахъ, а Лучезаровъ продолжалъ откровенничать: — „Но еслибы даже отъ него и польза была, принципъ долженъ быть выше поставленъ. Штейнгартъ—каторжный, и его дѣло каторжнымъ быть, а не врачемъ. Впрочемъ, на дняхъ это и начнется"... — Что такое начнется? — „Вообще новый порядокъ. Я получилъ, наконецъ, давно жданный приказъ устроить тюрьму по возможности такъ, какъ это отвѣчаетъ моимъ взглядамъ и убѣжденіямъ. И я устрою дѣйствительно образцовую тюрьму, а не какую-то гостиницу, какой она до сихъ поръ была". — Постепенно капитанъ выболталъ все: на стѣнахъ камеръ будутъ вывѣшены печатныя правила (при словѣ „печатныя" онъ положительно захлебывался отъ восторга!), и неисполненіе ихъ будетъ влечь за собою самыя суровыя наказанія... Кромѣ того, у него будетъ на дняхъ настоящій помощникъ, такой, какого онъ всегда желалъ, человѣкъ смѣлый и дѣятельный, не столь мягкій, какъ самъ онъ, Лучезаровъ... Анна Аркадьевна такъ и ахнула, когда узнала фамилію новаго помощника: она и лично хорошо знала подпоручика Ломова, и наслышалась о немъ въ свое время очень много. — „Да вѣдь это дубина, — закричала она, — ничего человѣческаго въ немъ нѣтъ!" — Съ какой точки зрѣнія смотрѣть, — отвѣчалъ капитанъ, — во всякомъ случаѣ, у подпоручика много неоспоримыхъ достоинствъ: прежде всего онъ честенъ, неподкупенъ, а главное—исполнителенъ. Ну, а это въ *нашемъ* дѣлѣ неоцѣнимое качество! Повиновеніе, исполнительность, энергія... — Аннѣ Аркадьевнѣ пришлось употребить героическія усилія воли, чтобы сдержать негодованіе, и, только благодаря наружному спокойствію, ей удалось все это вывѣдать. — Передайте вашимъ товарищамъ, — сказала она мнѣ въ заключеніе, — что теперь я буду за всѣхъ васъ очень бояться! На одного Лучезарова я еще могла бы, вліять; мужъ мой тоже не злой человѣкъ и, побу тоже немного сдерживалъ бы его. Но съ Ломовым

детъ невозможно: это не голова, а дерево... Свиданія наши, по всей вѣроятности, теперь совсѣмъ прекратятся, и придется ограничиваться перепиской, хотя и писать надо будетъ очень, очень осторожно. Если вамъ станетъ слишкомъ плохо, дайте мнѣ знать. Я напишу въ Читу,—тамъ у меня есть старыя связи, друзья, и мнѣ, быть можетъ удастся ослабить лучезаровскія затѣи...

— Ну, вотъ мои сегодняшнія новости, — закончилъ Штейнгартъ свой разсказъ:—не очень-то пріятныя?

— Будемъ ждать событій, заранѣе ничего не придумаешь,— порѣшили мы, расходясь по своимъ мѣстамъ. Я продолжалъ еще жить въ больницѣ; Башуровъ и Штейнгартъ находились теперь въ одной камерѣ.

Событія не заставили себя долго ждать. Однажды утромъ „шепелявый дьяволъ", онъ же старшій надзиратель, принесъ въ тюрьму пукъ печатныхъ „Правилъ шелаевской каторжной тюрьмы", подъ которыми красовалась крупно подписанная фамилія капитана Лучезарова, и торжественно сталъ прибивать ихъ на передней стѣнѣ каждой изъ девяти камеръ. Грамотные изъ кобылки съ любопытствомъ принялись читать. Собственно чего-нибудь новаго и неожиданнаго въ этихъ правилахъ не было, но все то, что требовалось отъ арестантовъ и раньше, теперь подчеркивалось и подкрѣплялось какой-нибудь опредѣленной угрозой, ссылкой на ту или иную грозную статью закона. Слова: розги, плети, судъ, наручни, кандалы, темный карцеръ, тѣлесное наказаніе, лишеніе вольной команды такъ и пестрѣли въ глазахъ, такъ и скребли по сердцу, словно гвоздь по стеклу. Впрочемъ, на большинство арестантовъ чтеніе это не произвело ни малѣйшаго впечатлѣнія.

— О, чтобы васъ язвило!.. Я думалъ, что-нибудь насчетъ манафеста, а это-то мы и безъ вашей бумаги знаемъ, — говорили они, еще не дочитавъ до конца правилъ и съ презрѣніемъ отходя прочь.

— Это что за полотенце тутъ вывѣсили? — спрашивали возвращавшіеся съ работъ и еще ничего не слыхавшіе.

— А это насчетъ, братъ, штановъ. Увидалъ начальникъ, что шибко измяты у насъ, такъ вотъ обѣщаетъ выгладить.

Острота встрѣчалась общимъ смѣхомъ, и спрашивавшій не интересовался больше содержаніемъ бумаги.

Но за то для насъ троихъ содержаніе это было въ высшей степени интересно, такъ какъ мы отлично понимали, что впеча-

тлѣніе оно разсчитывало произвести, главнымъ образомъ, на насъ. „Ровно въ 9 часовъ вечера,—читали мы,—при первомъ барабанномъ боѣ въ казармахъ арестанты обязаны немедленно ложиться спать. Замѣченные надзирателями въ нарушеніи этого правила и въ ослушаніи въ первый разъ подвергаются наказанію карцеромъ, во второй — розгами". Правило это, за исключеніемъ послѣдней угрозы, было извѣстно и раньше; въ первый годъ существованія Шелаевской тюрьмы изъ-за несоблюденія его происходили иногда словесныя стычки съ надзирателями; раза два или три случалось даже, что арестантовъ отводили и въ карцеръ, но теперь все это давнымъ-давно уже было забыто, тѣмъ болѣе, что, утомленные дневной работой, арестанты и сами засыпали не позже девяти часовъ вечера. Что касается меня съ товарищами, то мы часто не ложились и еще часа полтора-два. Надзиратели отлично это видѣли, видалъ иногда и самъ Шестиглазый, производя вечерніе обходы тюрьмы, но замѣчаній никто намъ не дѣлалъ. Теперь же печатно объявлялась на этотъ счетъ внушительная и многознаменательная угроза... „За отказъ отъ работы подъ предлогомъ болѣзни, которой не призналъ врачъ или фельдшеръ (!), а также за невыполненіе урока безъ достаточныхъ (!) основаній" назначалось такое же наказаніе: сначала карцеръ, затѣмъ розги...

„За неснятіе шапки передъ начальствомъ", „за дерзкіе отвѣты надзирателямъ", „за невниманіе къ звонку и свистку" и за многое другое въ томъ же родѣ—классическая лоза, казалось, такъ и свистѣла въ воздухѣ, терроризируя и безъ того угнетенное и болѣзненно настроенное воображеніе. Точно перечислялось далѣе, кого изъ начальствующихъ лицъ слѣдовало называть „Ваше превосходительство" и „Ваше высокоблагородіе", и въ какихъ случаяхъ полагалось сказать „здравія желаемъ" или „рады стараться"; а въ заключеніе всего стоялъ такой любопытный пунктъ: „Надзиратели никому изъ арестантовъ не должны говорить *вы*, а всѣмъ безъ различія *ты*"... Въ ряду правилъ для арестантовъ статья эта, обращавшаяся съ внушеніемъ къ надзирателямъ, особенно поражала странностью и видимой ненужностью. Эта-то видимая ненужность и выдавала составителя инструкціи: ясно было, что онъ придавалъ этой статьѣ особенное значеніе, что именно въ этомъ пунктѣ съ особеннымъ усердіемъ скрипѣло по бумагѣ расходившееся чиновничье перо...

Какъ бы то ни было, на трехъ человѣкъ изъ полуторыхъ со-

тенъ арестантовъ вывѣшенныя печатныя правила произвели болѣзненно удручающее впечатлѣніе. Мы, правда, молчали и даже между собой не держали никакихъ совѣтовъ, не принимали никакихъ преждевременныхъ рѣшеній, но сердце у каждаго мучительно сжималось, и мрачныя предчувствія заволакивали душу холоднымъ туманомъ... Перспектива новой борьбы, борьбы за человѣческое достоинство, въ то время, какъ утомленная душа жаждала тишины и спокойствія, хотя бы спокойствіемъ этимъ былъ обычный тяжелый строй каторжной жизни,—перспектива эта пугала и мучила... Кому и зачѣмъ это нужно? Чего они хотятъ отъ насъ?

„Новый порядокъ“ начался съ того, что, вывѣсивъ на стѣнахъ камеръ правила, старшій надзиратель подошелъ къ Штейнгарту и Башурову и, глупо ухмыляясь и смѣшно по обыкновенію шепелявя, потребовалъ отъ нихъ выдачи простынь, которыми всѣ мы пользовались уже съ незапамятныхъ временъ. Бравый капитанъ, всегда любившій и поощрявшій чистоту и опрятность, въ свое время съ большимъ удовольствіемъ разрѣшилъ мнѣ употребленіе простынь; когда пріѣхали новички, это было уже давно установившимся прецедентомъ.

— Съ какой стати отбираете вы простыни? — удивился Штейнгартъ.

— А какъ же! Въ правилахъ говорится, что постельныя принадлежности, одѣжа и все прочее должно быть у алестантовъ одинаковое.

— Да вѣдь грязь невообразимая заводится на постеляхъ?

— Алестантамъ полагается глязь,—попробовалъ отшутиться надзиратель:—А вплочемъ, нацальникъ говоритъ, что если всѣ алестанты заведутъ простыни, такъ ихъ можно дозволить.

Но всѣ арестанты, конечно, не могли „завести“ себѣ простынь, и мы тоже должны были отнынѣ спать на однѣхъ грязныхъ подстилкахъ. Какъ ни любилъ Шестиглазый чистоту и опрятность, но принципъ для него былъ выше! Наступленіе было, очевидно, дѣломъ окончательно обдуманнымъ и рѣшеннымъ.

Вечеромъ того же дня на повѣрку явился самъ авторъ правилъ, окруженный всѣми шелайскими надзирателями, торжественный и грозный. Изъ корридора больницы я съ любопытствомъ и нѣкоторой тревогой наблюдалъ въ окно за церемоніей; каждый громкій возгласъ явственно доносился сквозь отворенную фор-

точку. Противъ обыкновенія, немедленнаго разрѣшенія надѣть шапки не послѣдовало, но я видѣлъ, какъ Башуровъ и Штейнгартъ (не изъ какого-либо протеста, какъ потомъ они мнѣ объяснили, а совершенно машинально, по привычкѣ) накрылись, не дожидаясь команды. Бравый капитанъ замѣтилъ это и, весь побагровѣвъ, возвысилъ тотчасъ же голосъ:

— Никогда не должно надѣвать шапокъ, пока я не разрѣшилъ!

Послѣдовало долгое и тягостное молчаніе. Провинившіеся продолжали стоять въ шапкахъ. Еще мгновеніе—и болѣе ретивые изъ надзирателей полетѣли бы къ нимъ съ криками и угрозами, но Лучезаровъ быстро скомандовалъ:

— Шапки надѣть... Да вотъ что!—продолжалъ онъ, еще возвышая голосъ:—нѣкоторые изъ васъ надѣваютъ штаны поверхъ сапоговъ. Форма требуетъ, чтобы штаны забирались внутрь... Да и помимо того, некрасиво такъ носить—такъ *жиды* только одни носятъ.

И, выпаливъ этотъ удивительный афоризмъ, онъ угрюмо замолчалъ. Рѣчь эта произвела на меня тѣмъ большее впечатлѣніе, что я зналъ, противъ кого она была направлена: изъ всей тюрьмы одинъ только Башуровъ надѣвалъ брюки не по казенному...

Непріятности, однако, этимъ не кончились. Когда надзиратели скомандовали арестантамъ расходиться по камерамъ, гнѣвъ Шестиглазаго опять прорвался наружу; зычный окрикъ, какого я никогда еще не слыхивалъ, раздался на весь дворъ:

— Тамъ не въ ногу идутъ!. Кто смѣетъ изъ рядовъ выходить? Кто...

Но колонна, къ которой относился этотъ крикъ, и въ которой находились и два моихъ товарища, уже успѣла вступить въ двери тюрьмы и скрыться изъ глазъ. Лучезаровъ почему-то не вернулъ ея, хотя долго еще кричалъ на дворѣ—что именно, я не сталъ вслушиваться. Съ тяжестью и мракомъ на сердцѣ отошелъ я отъ окна.

Какъ оказалось, во многихъ камерахъ Лучезаровъ произнесъ въ тотъ вечеръ краткія, но внушительныя рѣчи, и, конечно, онъ не могъ думать, что мы не узнаемъ ихъ содержанія.

— Въ тюрьмѣ будутъ введены нѣкоторыя строгости,—объявилъ онъ арестантамъ,—но вы не должны ихъ пугаться. Тѣ,

казалъ почти въ тотъ же моментъ, какъ раздалась команда надзирателя снимать ихъ. По выслушаніи рапорта дежурнаго о благополучномъ состояніи тюрьмы, онъ милостиво обратился къ арестантамъ съ привѣтствіемъ, причемъ не сказалъ даже: *„здорово,* ребята!“ а— *„здравствуйте,* братцы“... И когда „братцы“ отвѣчали на это оглушительнымъ ревомъ: „Здраввія желлаемъ, господинъ начальникъ“!— еще привѣтливѣе оглянулъ ихъ и сказалъ, указывая на Ломова:

— Вотъ, братцы... прошу любить и жаловать новаго помощника!

И, должно быть, самому бравому капитану показалось нѣсколько чудно́ то, что онъ сказалъ: онъ, какъ будто, сконфузился и замолчалъ. Впрочемъ, добродушіе не покидало его. Между тѣмъ, Ломовъ стоялъ, какъ прежде, огромный и сѣрый, неподвижный, точно статуя командора, нѣсколько пригнувъ къ землѣ свою косую голову, и только во время неожиданной рѣчи начальника какъ-то неровно дернулъ ею, словно ломовая лошадь, которой надоѣдливая муха сѣла вдругъ на носъ.

Арестантскій хоръ запѣлъ установленныя молитвы. Лучезаровъ со всей свитой отправился за задніе ряды арестантскаго строя, куда обыкновенно удалялся во время пѣнія (должно быть, для того, чтобы не казалось, будто арестанты на него молятся!).

— Вотъ что я скажу тебѣ, Петинъ,—громко заговорилъ онъ, надѣвая по окончаніи молитвы папаху и снова выходя впередъ:— басъ то у тебя, пожалуй, и есть, но въ головѣ, должно быть, пусто, какъ въ порожнемъ боченкѣ. Нотъ не знаешь и гудишь тамъ, гдѣ совсѣмъ не требуется!

Замѣчаніе это было сдѣлано, однако, такимъ добродушнымъ тономъ, что кое-гдѣ въ рядахъ арестантовъ слова: „порожній боченокъ“ вызвали даже легкій смѣхъ—до того насмѣлѣла кобылка. Этого было вполнѣ достаточно, чтобъ начальникъ не далъ дальнѣйшаго хода своей разыгравшейся веселости и принялъ тотчасъ сдержанный, серьезный видъ. Радостно расходилась кобылка по номерамъ. Я видѣлъ съ своего наблюдательнаго поста, какъ Шестиглазый долго еще стоялъ послѣ того по срединѣ двора и бладушно ораторствовалъ о чемъ-то передъ своимъ сѣрымъ и молчаливымъ помощникомъ. Разговоръ шелъ, повидимому, вполнѣ частный, и тѣмъ не менѣе Ломовъ то и дѣло отдавалъ начальнику честь. Надзиратели держались въ почтительномъ отдаленіи. Наконецъ, вся свита отправилась въ тюрьму и пробыла тамъ

больше часу. Я ужъ думалъ, никогда и не кончится эта длинная церемонія; отъ долгаго ожиданія у меня расходились нервы и разболѣлась голова. Но вотъ процессія, наконецъ, вышла и прежде всего направилась къ кухнѣ: впереди быстро шагалъ, развѣвая полами шинели, Шестиглазый; нѣсколько поодаль, скосивъ на бокъ голову, шелъ грузной походкой Ломовъ, а позади стройно выступали попарно, точно проглотивъ по аршину, шесть или восемь надзирателей. Изъ кухни шествіе прошло... къ помойной ямѣ. И тамъ бравый капитанъ долго что-то объяснялъ мрачному подпоручику, краснорѣчиво жестикулируя руками; и лишь по тщательномъ освидѣтельствованіи помойной ямы, онъ быстро направился, наконецъ, къ больницѣ. Тутъ только я покинулъ свой постъ и поспѣшилъ въ палату. Въ послѣднее время я жилъ въ ней не одинъ, а имѣлъ сожителемъ стараго хохла Ткаченко.

Загремѣли въ сѣняхъ двери, и по полу корридора застучали десятки сапогъ. Слышно было, какъ, приближаясь къ моей каморкѣ, Лучезаровъ сказалъ что-то вполголоса Ломову. И вотъ все свободное пространство впереди меня и Ткаченки быстро заполнилось шинелью браваго капитана, почти прижавшаго меня къ маленькому столику, стоявшему между двумя койками. Входя въ тюремныя камеры, капитанъ никогда не снималъ съ головы шапки, въ больничныя же палаты, напротивъ того, являлся всегда съ обнаженной головой; точно такъ же поступали и надзиратели. И теперь, еще на порогѣ моей кельи, онъ граціознымъ движеніемъ руки скинулъ папаху, не позабывъ тутъ же сдунуть съ нея какую-то пылинку. Ломовъ остановился на порогѣ, надзиратели столпились въ корридорѣ. Я не глядѣлъ на порогъ, но чувствовалъ, какъ тамъ стояло что-то большое, тяжелое и темное.

Лучезаровъ медленно снималъ съ руки лайковую перчатку и наполнялъ комнату благоуханіемъ острыхъ духовъ, къ которымъ чувствовалъ всегда пристрастіе. Нѣсколько мгновеній онъ глядѣлъ на меня сверху внизъ не то насмѣшливымъ, не то дружелюбнымъ взглядомъ.

— Ну-съ, каковы наши дѣла?

Я, молча, пожалъ плечами.

— Поправляемся?

— Понемногу.

Разговоръ никакъ не клеился, и бравый капитанъ торопливо повернулся въ сторону Ткаченки.

— Ну, а ты, старина, что тутъ дѣлаешь?

— Хлѣбъ жую, господинъ начальникъ, да Богу молюсь,—попробовалъ пошутить арестантъ, видя доброе настроеніе начальника. Но Лучезарову этотъ отвѣтъ, видимо, не понравился.

— Ага,—нахмурился онъ,—хлѣбъ жуешь? Это-то и я, братецъ, умѣю... Въ лазаретъ не хлѣбъ жевать поступаютъ, а отъ болѣзней лѣчиться.

— Да этого добра у меня, господинъ начальникъ, довольно! Тыща болѣзней, просто и счету нѣтъ,.. Одною спину какъ разломило!

— Бурно пожилъ!—многозначительно бросилъ Лучезаровъ въ мою сторону и, слегка кивнувъ головой, выбѣжалъ тотчасъ же изъ палаты.

Корридоръ опять загремѣлъ отъ топота многочисленныхъ шаговъ.

— Это что-жъ такое значитъ: „бурно пожилъ“?—недовольно обратился ко мнѣ Ткаченко.

Я, смѣясь, объяснилъ ему. Хитрые раскосые глаза старика сердито забѣгали туда и сюда; сѣдые бакенбарды и толстые усы забавно топорщились. Онъ не то дѣйствительно не понималъ, не то не хотѣлъ понять моего объясненія.

— Бурно?..—восклицалъ онъ съ комическимъ негодованіемъ:— Нѣтъ, шалишь, братъ! Нѣтъ, вовсе даже не дурно я пожилъ. Право, недурно! Въ тюрьму, вотъ, дурно попалъ—что вѣрно, то вѣрно.

На вечернюю повѣрку слѣдующаго дня явился уже одинъ Ломовъ. Во все время церемоніи онъ не проронилъ ни слова. Дежурный надзиратель то-и-дѣло подскакивалъ съ вопросами: „Прикажете господинъ помощникъ?“—и онъ на все только угрюмо кивалъ головою. Само собой разумѣется, что и шапокъ надѣвать онъ не разрѣшалъ, такъ что арестанты, за исключеніемъ Штейнгарта и Башурова, всю повѣрку отъ начала до конца простояли на жестокомъ декабрьскомъ морозѣ съ обнаженными головами. Склонивъ нѣсколько на бокъ шею, Ломовъ, казалось, ничего не замѣчалъ и думалъ о совершенно постороннихъ вещахъ. Арестанты разошлись по камерамъ, не раскусивъ еще характера новаго помощника: кто сравнивалъ его съ бараномъ, а кто съ затравленнымъ волкомъ; но интересъ въ общемъ былъ возбужденъ крайне слабый.

Еще прошелъ день, наступила вторая повѣрка, на которой опять присутствовалъ Ломовъ, и я снова съ любопытствомъ и затаенной тревогой наблюдалъ за всѣмъ происходившимъ. Едва только окончилась молитва, какъ онъ вынулъ изъ кармана колоду,—какъ мнѣ показалось сначала,—картъ и сталъ раздавать арестантамъ, громко вызывая ихъ по фамиліямъ. Голосъ у него оказался громкій, но съ какимъ-то раздражительнымъ, желчнымъ раскатомъ въ окончаніяхъ словъ.

— Мило-сердовъ! Струй-скій! Вла-а-диміровъ!

Вызываемые униженно снимали шапки, выдвигались изъ строя и, подходя къ Ломову, брали изъ его рукъ карты. Онъ пристально вглядывался въ каждаго, словно желая запомнить физіономіи. Наблюдавшіе вмѣстѣ со мной больные живо догадались, что это за карты.

— Квиткй! Квиткй, ребята, выдаетъ... Насчетъ строковъ... Сбавки какой не вышло ли?

— Чи-рокъ! Ишні-язовъ! Огур-цовъ!—продолжалъ выкликать Ломовъ.

У меня усиленно билось сердце, въ ожиданіи неизбѣжной исторіи.

— Шара-фетдиновъ! Но-гайцевъ! Ба-а-шуровъ!

Маленькій татаринъ Шарафетдиновъ и толстый Ногайцевъ, поспѣшно засунувъ шапки подмышки, кинулись получать квитки. Медленной походкой шелъ за ними Башуровъ, и на головѣ у него торчала злополучная шапка. Ломовъ, протягивая къ нему руку съ бумажкой, поднялъ глаза.

— Шапку забылъ снять... Какъ твоя фамилія?

Шапка не снималась.

— Шапку долой!!—почти взвизгнулъ помощникъ и двинулся къ Башурову:—безпоря-адокъ!!

Отвѣтомъ было прежнее молчаніе.

— Какъ фамилія?

Надзиратель стрѣлой подлетѣлъ и, приложивъ къ козырьку руку, назвалъ фамилію.

— Отвезти въ карцеръ!—еще пущимъ визгомъ разразился Ломовъ. Башурова повели въ карцеръ. По дорогѣ онъ взглянулъ на больничное окно и съ веселой улыбкой кивнулъ мнѣ головою... Между тѣмъ Ломовъ, пока надзиратели не вернулись изъ карцернаго дворика, въ явномъ возбужденіи, расхаживалъ впереди аре-

стантскаго строя; Ткаченко увѣрялъ даже, что видитъ, какъ все лицо его перекашивается...

— Ну, и злости же въ ёмъ! Этотъ еще почище Шестиглазаго будетъ. Сущій волкъ! Говорилъ я, что на волка находитъ—вотъ по моему и вышло... Даромъ, что голова на бокъ скрючена, а все видитъ!

Съ возвращеніемъ надзирателей перекличка продолжалась, какъ ни въ чемъ не бывало. Я съ замираніемъ сердечнымъ ожидалъ вызова Штейнгарта... Однако, какимъ-то чудомъ его квитка не оказалось, такъ же какъ и квитковъ нѣкоторыхъ другихъ арестантовъ, и остальная часть повѣрки прошла благополучно.

На другое же утро я покинулъ лазаретъ и перешелъ въ тюрьму: разъ началась борьба, я хотѣлъ быть съ товарищами. По указанію надзирателя, мнѣ пришлось помѣститься не въ ту камеру, въ которой находился Штейнгартъ. Послѣдній настаивалъ, чтобъ я немедленно вызвался къ Лучезарову для переговоровъ. Какъ ни тяжела была эта обязанность, выбора не представлялось, такъ какъ имѣлись свѣдѣнія, что Штейнгартъ пользовался преимущественнымъ нерасположеніемъ капитана, и я заявилъ дежурному о своемъ желаніи видѣться съ начальникомъ тюрьмы по неотложному дѣлу. На работу въ этотъ день я не былъ назначенъ въ виду того, что только что выписался изъ больницы, и цѣлый день пробродилъ по тюремному двору, волнуясь и нетерпѣливо ожидая, что вотъ-вотъ меня пригласятъ въ контору. За три слишкомъ года пребыванія въ Шелаѣ Лучезаровъ нѣсколько избаловалъ меня въ этомъ отношеніи: онъ вызывалъ меня немедленно всякій разъ, какъ я докладывалъ о необходимости видѣться. Но сегодня происходило что-то странное: часы шли за часами, а меня и не думали вызывать. Вернулись, наконецъ, горные рабочіе.

— Ну, что? Какъ?—кинулся ко мнѣ Штейнгартъ.

— Ничего.

— Все еще не вызывалъ?

— Нѣтъ.

— Что-жъ это значитъ?

— Самъ не знаю. Подождемъ еще немного...

— Ну, а что Валеріанъ?

И я сталъ дѣлиться свѣдѣніями, какія успѣлъ добыть объ арестованномъ товарищѣ.

И въ этотъ вечеръ на повѣрку опять явился Ломовъ. Мы съ

Штейнгартомъ стояли все время въ шапкахъ, но онъ, очевидно, не замѣчалъ „безпорядка“, и все сошло благополучно. Лучезаровъ еще цѣлыхъ два дня не подавалъ никакихъ признаковъ жизни, и это начинало насъ не на шутку раздражать... Однако, въ бесѣдахъ съ Штейнгартомъ я, какъ болѣе старшій и опытный, считалъ своимъ долгомъ по возможности охлаждать его негодованіе и силился даже придать всей исторіи нѣсколько комическій характеръ. Штейнгарта это злило.

— Что вы тутъ комичнаго видите, я не понимаю!—говорилъ онъ съ сердцемъ: — И развѣ сами вы не то же дѣлаете, что и мы?

— Конечно, дѣлаю, но это не мѣшаетъ мнѣ внутренно подсмѣиваться и надъ собой. Подумайте сами: каторгу мы терпимъ, солдатскій строй терпимъ, чортъ знаетъ что терпимъ, а тутъ вдругъ изъ-за какой-нибудь несчастной шапки артачимся!

— Иванъ Николаевичъ, да вѣдь одна лишняя капля можетъ переполнить чашу терпѣнія...

— Но не лишить способности разсуждать логически. Сниманіе шапки такая же, въ концѣ концовъ, формальность, какъ и все остальное. Отъ товарищества я, разумѣется, никогда не отступлю; возможно и то, что, живи я здѣсь одинъ, безъ васъ, я и тогда поступалъ бы такъ же, какъ теперь вмѣстѣ съ вами. Но, съ другой стороны, по совѣсти скажу вамъ, что, если бы товарищи рѣшили плюнуть на этотъ вопросъ, я не сталъ бы упираться.

Штейнгартъ горячо протестовалъ противъ такого взгляда.

— Я гляжу не такъ... По моему, даже тѣлесное наказаніе не въ такой степени принижаетъ человѣка! Что можетъ сдѣлать человѣкъ со связанными руками противъ грубаго физическаго насилія? И развѣ *его* оно унижаетъ? Но этотъ, сравнительно, маленькій и смѣшной на вашъ взглядъ вопросъ объ обязательномъ сниманіи шапки—о, это совсѣмъ другое дѣло! Тутъ я не пассивно, а уже активно унижаюсь, изъ шкурнаго страха я самъ, собственной рукою дѣлаю то, что мнѣ въ высшей степени непріятно дѣлать...

— Значитъ, Дмитрій Петровичъ... Простите мой вопросъ, но помните вы рѣшеніе, которое приняли въ первый вечеръ пребыванія здѣсь: „я стану все терпѣть, что только не задѣнетъ основъ моего человѣческаго достоинства“? Это была просьба, съ которою.. И вы думаете, что теперь у васъ задѣта одна изъ такихъ осно

Штейнгартъ вспыхнулъ и затѣмъ опять поблѣднѣлъ.

— Я помню, конечно,—сказалъ онъ, понизивъ голосъ и грустно опустивъ голову, — но мало ли, во-первыхъ, какія рѣшенія принимаются въ минуты унынія или, наоборотъ, радостнаго подъема чувствъ. А, во-вторыхъ, какъ опредѣлить точно, гдѣ кончается и гдѣ начинается какая нибудь основа? Логикой тутъ ничего не рѣшишь, это область нравственнаго чувства...

Но и во мнѣ самомъ „логика“ давно молчала, замѣнившись смутой самыхъ разнородныхъ мыслей и чувствъ. И прежде всего я боялся, подобно Штейнгарту, что вопросъ о шапкахъ, который самъ по себѣ не имѣлъ для меня существеннаго значенія, можетъ явиться лишь первымъ шагомъ по пути систематическаго надруганія надъ нашимъ человѣческимъ достоинствомъ. Что Шестиглазымъ задуманъ цѣлый систематическій планъ, я въ этомъ больше не сомнѣвался. Ломовъ являлся въ этомъ планѣ лишь послушнымъ и удобнымъ орудіемъ. Что-то было, очевидно, въ самомъ бравомъ капитанѣ, что́, при всей жесткости его натуры и тайныхъ вожделѣній, мѣшало ему лично взяться за это дѣло, тупой же и грубо-прямолинейный помощникъ, какъ нельзя лучше, подходилъ къ этой неблагодарной роли. И мысль о томъ, что мы находимся въ безконтрольной власти двухъ такихъ человѣкъ, и что надъ нашей головой виситъ, точно дамокловъ мечъ, „инструкція“, знающая такъ мало градацій въ системѣ своихъ каръ,—эта мысль леденила и обезволивала душу...

Башуровъ уже третьи сутки сидѣлъ въ темномъ карцерѣ. Въ глубокомъ душевномъ угнетеніи вышли мы вечеромъ на повѣрку. Ворота растворились, и шумной гурьбой, свободно и весело разговаривая, вошли одни надзиратели. Кобылка тоже радостно всколыхнулась.

— Никакого, значитъ, чорта-дьявола не будетъ сегодня!..

Передъ уходомъ въ свои камеры мы съ Штейнгартомъ еще разъ встрѣтились.

— Что же теперь дѣлать? Очевидно, никакихъ разговоровъ съ нами имѣть не желаютъ?

Лицо Штейнгарта сдѣлалось суровымъ.

— Не станемъ съ завтрашняго дня на повѣрки выходить—и дѣлу конецъ! Пускай силой выводятъ, если хотятъ!

Однако, не прошло и получаса послѣ повѣрки, какъ ключъ въ моей камерѣ снова загремѣлъ, и надзиратель пригласилъ меня

къ начальнику тюрьмы. Бравый капитанъ поджидалъ меня въ маленькой дежурной комнатѣ, примыкавшей къ одному изъ тюремныхъ корридоровъ. Надѣтая въ накидку шинель свободно развѣвалась по его могучимъ плечамъ, и папаха предупредительно снята была съ головы. Въ комнатѣ, по обыкновенію, сильно пахло одеколономъ, а отъ лица и всей фигуры Лучезарова вѣяло, какъ всегда, здоровьемъ и довольствомъ.

— Въ чемъ дѣло? — быстро заговорилъ онъ, едва меня увидавъ:—я былъ ужасно всѣ эти дни занятъ, никакъ не могъ... А вы удалитесь-ка на минуту,—обратился онъ къ надзирателю.

Послѣдній почтительно брякнулъ ключами и исчезъ, какъ привидѣніе.

— Въ чемъ же дѣло?—повторилъ бравый капитанъ, точно и въ самомъ дѣлѣ не догадываясь о причинѣ моего вызова.

— Вы сами прекрасно знаете, въ чемъ,—отвѣчалъ я, съ трудомъ сдерживая волненіе:—сегодня уже четвертыя сутки пошли, какъ вы держите подъ арестомъ нашего товарища.

— Я? Башурова? Вы ошибаетесь... Онъ арестованъ моимъ помощникомъ.

— Да развѣ помощникъ хозяинъ тюрьмы?

— Хозяинъ, разумѣется, я, но... у помощника тоже есть свои обязанности и свои права. Я не могу ихъ нарушить. Мнѣ былъ представленъ рапортъ о происшедшемъ, и я долженъ былъ считаться съ фактомъ.

— Словомъ, вы желаете умыть руки? Что-жъ, быть можетъ, и арестантовъ вооружаетъ противъ насъ кто-нибудь другой?

— Вооружаетъ арестантовъ? Что за чепуха! Напротивъ, они мнѣ постоянно жалуются...

Бравый капитанъ запутался и побагровѣлъ до корней волосъ.

— Чего вы отъ меня, наконецъ, хотите? Инструкціи, которыя я обязанъ исполнять, говорятъ съ чрезвычайной опредѣленностью.

— Инструкціи, которыя вы сами же составляли и которыхъ столько лѣтъ добивались? Мы хотимъ столь малаго, столь, повидимому, законнаго...

— А именно?

— Чтобы вашъ подчиненный обращался съ нами, по крайней мѣрѣ, не хуже васъ самихъ... Внушить ему это вполнѣ отъ васъ зависитъ. Подумайте сами: вотъ уже четвертый годъ вы управ-

ляете тюрьмой и ни разу еще не имѣли съ нами никакихъ исторій. Почему это? Потому, конечно, что вы, по возможности, умѣряли суровость мертвой буквы инструкцій...

Я видѣлъ ясно, что слова мои попали въ чувствительное мѣсто капитана: круглое лицо его все вдругъ залоснилось, и голова, отъ прилива законной гордости, поднялась выше обыкновеннаго.

— Да, да,—поспѣшилъ онъ согласиться,—это моя заслуга, я, дѣйствительно, человѣкъ очень умѣренный... Правда, бываютъ минуты, когда теряешь самообладаніе съ этими артистами (онъ протянулъ руку по направленію къ камерамъ), но съ тѣми, кто заслуживаетъ... съ людьми просвѣщенными... я умѣю быть не только начальникомъ, но и человѣкомъ!

— Такъ зачѣмъ же теперь, послѣ трехъ лѣтъ мира и спокойствія, понадобились вдругъ исторіи, столкновенія?

— Разскажите мнѣ, какъ произошло дѣло съ этимъ арестомъ?

Я разсказалъ, останавливаясь возможно больше на психологіи интеллигентнаго человѣка и подчеркивая то обстоятельство, что онъ, Лучезаровъ, всегда считался до сихъ поръ съ этой психологіей. Бравый капитанъ, какъ бы соглашаясь со мною, все время кивалъ головою.

— Ну, я полагаю, что больше такихъ исторій не будетъ, — сказалъ онъ, наконецъ, и вдругъ, немного подумавъ, прибавилъ:— я увѣренъ, что вы, напримѣръ, станете вести себя благоразумнѣе Башурова. Что дѣлать, законъ требуетъ исполненія!

Признаюсь, такой выводъ явился для меня полной неожиданностью. Мнѣ уже начинало казаться, что моя искусная дипломатія одерживаетъ побѣду, и Шестиглазый готовъ уступить,—и вотъ мы опять очутились, что называется, у печки!..

— Вы ошибаетесь, вы жестоко ошибаетесь! — воскликнулъ я съ горячностью:—поведеніе мое ничѣмъ не будетъ отличаться отъ поведенія товарищей. Я точно такъ же буду гнить въ карцерѣ, если вы не поспѣшите запретить вашему помощнику исполнять инструкцію черезчуръ пунктуально! И послѣ того будь, что будетъ!

Лучезаровъ, нѣсколько опѣшивъ, нахмурился.

— Я подумаю,—сказалъ онъ, направляясь къ дверямъ и дѣлая знакъ, что аудіенція кончилась:—во всякомъ случаѣ, я поговорю съ помощникомъ... Я постараюсь его убѣдить, такъ какъ приказать не имѣю права.

— А когда же будетъ выпущенъ Башуровъ?

— Его срокъ кончается завтра вечеромъ... Впрочемъ, можно и сегодня... Да, да, я велю сейчасъ же его выпустить!

— Въ такомъ случаѣ, позвольте мнѣ его подождать здѣсь.

Надзиратель стрѣлой полетѣлъ въ карцеръ. Лучезаровъ, плотно закутавшись въ шинель, сталъ торжественно прохаживаться по корридору. Я стоялъ въ молчаливомъ ожиданіи. Черезъ нѣсколько минутъ на крыльцѣ послышались торопливые шаги, смѣлая рука распахнула широко дверь, и я увидалъ Валерьяна, какъ всегда жизнерадостнаго и безпечнаго. Столкнувшись со мной лицомъ къ лицу, онъ разразился веселымъ смѣхомъ и шумно заключилъ меня въ объятія.

— Ага, вы тутъ? Выручали? А я ужъ спать было залегъ... Вотъ отдохнулъ-то прекрасно! Ну, что — воевали съ Шестиглазымъ? А гдѣ же Дмитрій?

И тутъ только онъ замѣтилъ въ противоположномъ углу корридора величественную фигуру Шестиглазаго... Послѣдній, въ явномъ смущеніи, отворилъ дверь и потихоньку въ нее скрылся. Башуровъ снова залился громкимъ смѣхомъ...

XII.

Торжество дамской дипломатіи.

Исторіи, однако, не прекратились. Единственнымъ видимымъ послѣдствіемъ бесѣды моей съ Лучезаровымъ было то, что Ломовъ въ теченіе нѣсколькихъ дней не появлялся послѣ того на вечернихъ повѣркахъ; но за то, какъ бы желая вознаградить себя за это лишеніе, онъ во всѣ другіе часы дня держалъ тюрьму въ настоящемъ осадномъ положеніи. То и дѣло слышался на дворѣ и въ корридорахъ тюрьмы рѣзкій свистокъ надзирателя, предупреждавшій арестантовъ о прибытіи начальства: это Ломовъ приходилъ ревизовать свои владѣнія... Казалось, ему доставляло огромное наслажденіе созерцать повсюду картины наводимаго его сѣрой фигурой страха и благоговѣнія. Какъ только показывался онъ въ воротахъ тюрьмы, такъ всѣ, кто только имѣлъ несчастіе попасть въ этотъ моментъ въ поле его зрѣнія, немедленно обязывались застывать въ каменныхъ позахъ на тѣхъ самыхъ мѣстахъ, гдѣ были застигнуты свисткомъ, и, снявъ шапки, вытяг руки по швамъ, стоять безъ движенія до тѣхъ поръ, пока

ный подпоручикъ не скрывался изъ виду. Никогда при этомъ и помину не было о томъ, чтобы живыя статуи получили дозволеніе покрыть обнаженныя головы (какая бы погода ни стояла на дворѣ), хотя, съ другой стороны, изъ устъ Ломова нерѣдко вырывался рѣзкій, съ обычнымъ нервнымъ раскатцемъ, крикъ:

— Зда-ра-ва!

Но крикъ этотъ нимало не обозначалъ какого-либо благоволенія къ кобылкѣ, нѣтъ, онъ издавался въ интересахъ все той же субординаціи, такъ какъ обязательно долженъ былъ вызвать отвѣтъ:

— Здрравія желаемъ, господинъ помощникъ!

И если бы отвѣта этого не послѣдовало, сейчасъ же отысканъ былъ бы безпорядокъ и отворились бы двери карцера...

Нѣсколько разъ въ день обходилъ Ломовъ корридоры тюрьмы, заглядывалъ въ самыя камеры, въ кухню, въ починочную мастерскую, въ больницу, и всюду при появленіи его арестанты должны были вскакивать, вытягиваться въ струнку и кричать „здравія желаемъ!“ Естественно, что мы трое, едва только долеталъ до ушей надзирательскій свистокъ, торопились забраться въ такое мѣсто, куда Ломовъ обыкновенно не заглядывалъ, такъ какъ встрѣча съ нимъ не могла доставить особеннаго удовольствія. Однако, не слишкомъ пріятна была и эта необходимость вѣчно быть насторожѣ, постоянно бѣгать и прятаться. Очень скоро нервы наши въ конецъ развинтились, и каждая минута свободной отъ работы жизни была совершенно отравлена. Штейнгартъ уже не разъ заговаривалъ о томъ, что предпочитаетъ сидѣть въ въ карцерѣ, нежели играть роль бѣгающаго отъ охотника зайца... Жизнь, впрочемъ, сама ускорила развязку.

Однажды, въ ясное воскресное утро, Штейнгартъ съ котелкомъ чаю возвращался, не спѣша, изъ кухни въ свою камеру, какъ совершенно неожиданно застигнутъ былъ на серединѣ двора оглушительнымъ, тревожнымъ свисткомъ; ворота загремѣли, и надзиратель прокричалъ обычное: „Смирно, шапки долой!“ Всѣ, кто очутился въ эту минуту на дворѣ, остановились, какъ вкопаные, на одномъ мѣстѣ и обнажили головы. Одинъ только Штейнгартъ, ускоривъ шаги, продолжалъ идти впередъ съ шапкой на головѣ. Онъ уже поднимался на тюремное крыльцо, когда сзади послышался бѣшено-визгливый крикъ:

— Сто-ай! Сто-ай! Безпо-рядокъ!

Онъ машинально остановился и поджидалъ Ломова.

— Кто?

Штейнгартъ назвалъ себя.

— Да-лай шапку!..

— А вы тоже ее снимите.

— Въ карцеръ!! Въ кар-церъ!!

Визгъ Ломова дошелъ до истерически высокихъ нотъ. Штейнгартъ совершенно спокойно отправился слѣдомъ за подоспѣвшимъ надзирателемъ въ карцеръ, а помощникъ воротился за ворота тюрьмы сочинять рапортъ начальнику.

Арестъ этотъ вызвалъ сильную сенсацію среди надзирателей и вообще внѣ тюрьмы. Никто не зналъ еще объ опалѣ, постигшей Штейнгарта, и о томъ, что Шестиглазымъ рѣшено окончательно ограничить его медицинскую нрактику стѣнами тюрьмы; всѣ продолжали относиться къ нему съ большимъ почтеніемъ и любовью. Напротивъ, Ломовъ успѣлъ вездѣ снискать себѣ непріязнь и даже ненависть. Разсказывали, что кто-то рѣшился даже сказать ему по поводу этого ареста:

— Что вы сдѣлали, господинъ помощникъ? Вѣдь вы арестовали *господина доктора.*

Ломовъ, конечно, только глаза вытаращилъ отъ удивленія. А когда другой кто-то замѣтилъ ему, что въ окрестностяхъ Шелая сильно свирѣпствуетъ инфлуэнца, и Штейнгартъ можетъ во всякую минуту понадобиться самому даже начальнику, который уже захворалъ, то онъ далъ на это по-истинѣ замѣчательный отвѣтъ:

— Ну, такъ что-жъ! Понадобится—приведемъ.

— Изъ карцера-то?..

— Почему же нѣтъ?

— А потомъ опять въ карцеръ?

— Если не выйдетъ срокъ, такъ опять.

Отвѣтъ этотъ переходилъ изъ устъ въ уста, и весь шелайскій „свѣтъ“ открыто негодовалъ на Ломова.

Что касается меня и Башурова, то арестъ товарища произвелъ на насъ страшное впечатлѣніе. Въ сильной ажитаціи ходили мы весь день по двору, нетерпѣливо поглядывая на ворота и сгорая желаніемъ самимъ попасть поскорѣй въ карцеръ. Но ожиданія наши не сбылись: Ломовъ въ этотъ день больше зывался, даже повѣрка прошла при однихъ надзирате

утромъ слѣдующаго дня, нередъ уходомъ въ рудникъ, я опять заявилъ дежурному надзирателю о желаніи видѣться съ начальникомъ по самому настоятельному дѣлу... День этотъ въ рудникѣ тянулся необыкновенно медленно, въ мучительномъ томленіи. А по возвращеніи въ тюрьму мы узнали отъ артельнаго старосты еще непріятную новость: арестованный отказался принимать всякую пищу, отослалъ назадъ не только хлѣбъ, но и воду, велѣвъ сказать Шестиглазому, что лучше умретъ, нежели покорится Ломову. Дѣло принимало серьезный оборотъ. Съ помощью Лунькова, Чирка и другихъ благопріятелей изъ арестантовъ, ставшихъ неподалеку „на стремѣ“, мы съ Валерьяномъ взобрались на подоконникъ карцера, чтобы переговорить съ Штейнгартомъ. Сквозь наглухо запертый ставень звуки его голоса доносились до насъ точно издалека, глухіе и странные... Мы прежде всего спросили его о причинѣ голодовки.

— Простите, что я началъ это дѣло, не посовѣтовавшись раньше съ вами, — началъ Штейнгартъ, — но это какъ-то само собою вышло. Вчерашній день мнѣ и не предлагали никакой пищи... А сегодня, когда надзиратель подалъ въ окошко хлѣбъ, я уже хотѣлъ было взять его, да вдругъ услыхалъ въ корридорѣ знакомые шаги и увидалъ знакомую фигуру...

— Ломова? Неужели онъ самъ и хлѣбъ вамъ приносилъ?

— Да, самъ... Ну, тутъ меня страшная ярость охватила, я отшвырнулъ хлѣбъ и сказалъ... Что сказалъ, не помню теперь въ точности. Впрочемъ, я не жалѣю: быть можетъ, это и дѣйствительно лучшее средство заставить Лучезарова и Ломова быть впередъ осторожнѣе.

Что казается Ломова, то, разумѣется, надежда Штейнгарта была совершенно напрасной. Выслушавъ его заявленіе, онъ отправился въ кухню и тамъ объявилъ поварамъ и старостѣ, что „запоретъ“ ихъ, если узнаетъ, что они тайкомъ подаютъ арестованному хлѣбъ или мясо.

— И воды тоже не смѣть подавать! Посмотримъ, какъ онъ выдержитъ свое хвастовство!

И съ этими словами Ломовъ удалился. У него, дѣйствительно, хватило бы духу не остановиться передъ самой трагической развязкой, но Шестиглазый, повидимому, иначе взглянулъ на дѣло: вслѣдъ за категорическимъ запрещеніемъ помощника надзиратели получили отъ него приказъ внести въ карцеръ цѣлый бакъ свѣ-

жей воды и большую краюху свѣжеиспеченнаго хлѣба. Все это оказалось, однако, на слѣдующее утро нетронутымъ.

Потянулся тяжелый рядъ дней, одинъ другого мрачнѣе и тоскливѣе. Шестиглазый не торопился вызывать меня для переговоровъ. Мы строили съ Валерьяномъ множество плановъ, но при ближайшемъ разсмотрѣніи ни одинъ изъ нихъ не выдерживалъ критики. Никакого смысла не имѣло, напр., начать и намъ голодовку: ни Ломовъ, ни самъ Шестиглазый, конечно, ни на минуту не сомнѣвались бы въ томъ, что, имѣя общеніе съ арестантами, мы продолжаемъ тайкомъ принимать пищу, а постимся только для виду. Оставалось поэтому одно: добиться во что бы то ни стало, чтобы и насъ посадили въ карцеръ; но какъ этого добиться? Ломовъ, точно нарочно, показывался въ тюрьму лишь въ тѣ часы, когда мы были въ рудникѣ, на повѣрки же не являлся. Пламенный Башуровъ предлагалъ, впрочемъ, очень простой и рѣшительный способъ:

— Давайте бить стекла!—говорилъ онъ самымъ серьезнымъ тономъ,—тогда насъ, навѣрное, въ карцеръ посадятъ.

Но „бить стекла“ я не соглашался... Въ концѣ концовъ, мы остановились бы, по всей вѣроятности, на отказѣ ходить въ рудникъ, если бы не удержало насъ одно непредвидѣнное обстоятельство. Староста Годуновъ съ весьма таинственнымъ видомъ отозвалъ меня разъ въ сторону и передалъ какую-то записку (я такъ и не узналъ никогда, какимъ образомъ онъ раздобылъ ее). Распечатавъ ее, я сразу различилъ знакомый женскій почеркъ. „Будьте спокойны, не падайте духомъ. А самое главное—не дѣлайте ничего явно противозаконнаго, не расширяйте вопроса о шапкахъ никакими другими требованіями. Боже васъ сохрани отказываться отъ работъ. Умоляю васъ, иначе все пропало. Помните, что друзья ваши бодрствуютъ и дѣйствуютъ. Пока могу сказать одно — есть надежда, получены хорошія вѣсти. Потерпите еще немного. Другъ“.

Какъ ни голословны были утѣшенія „друга“, какъ ни наивно было, повидимому, думать, что слабая, не имѣющая никакой власти женщина можетъ сдѣлать для нашего положенія что-либо существенное, тѣмъ не менѣе мы съ Валерьяномъ пріободрились: извѣстно, что утопающій за соломинку хватается... Мы поспѣшили и съ Штейнгартомъ подѣлиться нашей радостью. Но онъ выслушалъ ее, казалось, довольно равнодушно и тѣмъ нѣсколько

охладилъ нашъ пылъ. Впрочемъ, онъ вообще неохотно подходилъ теперь къ окну карцера и вяло отвѣчалъ на наши безчисленные вопросы. Возможно, что, голодая уже четвертыя сутки, онъ чувствовалъ слабость, хотя и увѣрялъ, что никакихъ особенныхъ страданій не испытываетъ.

— Ѣсть, собственно, во вторыя только сутки хотѣлось. Тогда, дѣйствительно, были непріятныя минуты. А потомъ аппетитъ совсѣмъ исчезъ. Только ноги почему-то мозжатъ, такъ что уснуть даже трудно...

— Ну, а жажда?

— Первые три дня жажды совсѣмъ не было. Вы знаете, что я вѣдь вообще пью очень мало... Но сегодня жажда явилась, и временами мучительная... Какіе сны мнѣ сегодня снились ночью, какіе чудные оазисы въ пустынѣ! Теперь я хорошо понялъ чувства каравана, путешествующаго по Аравіи... Ну, однако, уходите, господа, я подремлю немного.

И мы отходили прочь съ камнемъ на сердцѣ.

Я чувствовалъ, что какой-то нравственный столбнякъ постепенно овладѣваетъ мною. Надзиратели, арестанты, вся окружающая обстановка и жизнь, точно, провалились въ бездонную, темную пустоту, а ихъ мѣсто занялъ міръ призраковъ и болѣзненныхъ грезъ, окрашенный въ постоянный траурный цвѣтъ. Совершенно машинально исполнялъ я все, чего требовала отъ меня дѣйствительность: ѣлъ, ложился спать, работалъ, отвѣчалъ на задаваемые мнѣ вопросы. Давно-ли, казалось, въ самыя тяжелыя минуты жизни я способенъ былъ отыскивать всюду свѣтлыя и даже забавныя стороны? Давно ли считалъ себя философомъ-стоикомъ и рекомендовалъ товарищамъ утѣшаться философическими размышленіями. Весь этотъ самообманъ разлетѣлся въ одинъ мигъ. Съ каждымъ днемъ въ душу проникалъ все большій и большій пессимизмъ. Чѣмъ-то вполнѣ яснымъ и логически-неизбѣжнымъ представлялось мнѣ, что шапочный вопросъ поведетъ за собою цѣлый рядъ осложненій, которыя должны окончиться для насъ или полнымъ позоромъ, или полной гибелью; другого исхода не было. Погибнуть!.. Я, лицомъ къ лицу стоявшій передъ гибелью въ ту пору, когда жизнь сулила еще впереди столько свѣта и радости, и не блѣднѣвшій и не трепетавшій тогда передъ роковымъ концомъ, теперь, когда лучшія приманки жизни были невозвратно отняты, и настоящее было такъ

темно и уныло, а будущее полно такой холодной неизвѣстности, теперь... ахъ, зачѣмъ скрывать? Меня ужасала мысль о смерти въ каторгѣ, и жажда жизни, жажда свободы томила до нестерпимой боли и муки!

И вереницы самыхъ мрачныхъ видѣній проходили передо мной медленной похоронной процессіей; а ночью разстроенное воображеніе посѣщали еще болѣе черные сны. Я видѣлъ, какъ самые дорогіе мнѣ люди, спасаясь отъ чего-то столь же ужаснаго, неназываемаго, налагали на себя руки и неподвижно лежали съ закрытыми глазами и страшнымъ предсмертнымъ хрипѣніемъ въ горлѣ. Я самъ, подобно древнему Катону, открывалъ себѣ жилы, и вокругъ меня сидѣли съ опущенными головами друзья... Глубокія шахты, темныя пропасти, опасные побѣги, мрачныя казни — таковы были теперь неизбѣжныя темы моихъ сновидѣній, и не разъ, обливаясь ледянымъ потомъ, дрожа съ ногъ до головы, я въ ужасѣ просыпался и на глазахъ своихъ ощущалъ жаркія слезы... Мгновенная радость разливалась тепломъ по всѣмъ членамъ, и тотчасъ же смѣнялась чувствомъ глубокой тоски и разочарованія: вспоминался весь ужасъ дѣйствительности, вспоминалось, что она ничѣмъ не легче ночныхъ кошмаровъ...

На шестой день, едва только прошла утренняя повѣрка, мы бросились со всѣхъ ногъ къ карцеру, забывъ даже поставить стрему. Штейнгартъ долго не отзывался на наши оклики. Башуровъ изо всѣхъ силъ началъ барабанить по ставню: „Дмитрій! Дмитрій!“

— Что?—откликнулся, наконецъ, слабый голосъ.

— Какъ ты напугалъ насъ! Мы ужъ думали... Ну, что? Какъ себя чувствуешь?

— Ничего. Галлюцинаціи проклятыя не даютъ покоя... Вотъ она, вотъ, вотъ!

— Кто? Что ты тамъ видишь?

— Вода, чтобъ ее...

— Господа, сойдите съ окна! Намъ строго-на-строго запрещено! — жалобнымъ, почти умоляющимъ голосомъ заговорилъ внизу подошедшій надзиратель.

Но мы еще нѣсколько минутъ продолжали бесѣдовать, не обращая на него вниманія; побрякивая ключами и ежась отъ холода, онъ, молча, стоялъ передъ карцеромъ, не зная, что предпринять.

Мы спрыгнули, наконецъ, съ подоконника. Валерьянъ былъ блѣденъ, и на глазахъ его дрожали слезы. Онъ крѣпко стиснулъ мою руку.

— Иванъ Николаевичъ, чего же мы ждемъ, точно истуканы какіе? Вѣдь такъ нельзя дольше оставить; онъ умереть можетъ!..

Мной самимъ овладѣлъ ужасъ и негодованіе на самого себя. Какъ! товарищъ гибнетъ на моихъ глазахъ, угасаетъ страшной медленной смертью за дѣло, которое всѣхъ насъ одинаково близко касается,—и я не шевелю пальцемъ для того, чтобы спасти его, а если невозможно спасти, то хоть раздѣлить его участь? Я только безплодно ною, на яву и во снѣ предаваясь болѣзненнымъ грезамъ, мрачнымъ кошмарамъ, и ничего, ничего не дѣлаю... И уже упущено столько драгоцѣннаго времени, уже идетъ шестой день, какъ живой и здоровый человѣкъ не ѣстъ и не пьетъ, между тѣмъ какъ извѣстно, что одной недѣли абсолютной жажды совершенно достаточно для того, чтобы погубить человѣческій организмъ? Да это тоже какой-то сонъ, какой-то дикій кошмаръ, что я живу, безмолвно на все это глядя, спокойно дожидаясь роковой и неизбѣжной развязки! Эти мысли, какъ молнія, пробѣжали въ моемъ мозгу; я весь вздрогнулъ и точно стряхнулъ съ себя гнетущія чары гипноза... Дѣйствовать! спасать, пока еще не поздно! Погибнуть самому, но исполнить долгъ чести и товарищества!

Потрясенные, взволнованные, побѣжали мы къ тюремнымъ воротамъ, съ твердымъ рѣшеніемъ въ душѣ, хотя и безъ всякаго опредѣленнаго плана въ головѣ...

— Пожалуйте къ начальнику!—крикнулъ дежурный, растворяя передъ нами ворота.

— Ага, вотъ кстати! обоихъ?

— Нѣтъ, пожалуйте вы одни.

Приглашеніе относилось ко мнѣ. Все послѣднее время надзиратели обращались съ нами съ какой-то усиленной, еще небывалой вѣжливостью и любезностью... Казакъ съ ружьемъ тотчасъ же повелъ меня въ контору. Только что переступилъ я порогъ хорошо знакомой комнаты, гдѣ за письменнымъ столомъ возсѣдалъ одинъ Лучезаровъ (писаря находились въ другихъ комнатахъ), какъ бравый капитанъ порывисто вскочилъ на ноги. Сегодня онъ показался мнѣ блѣднѣе обыкновеннаго; внутри его, видимо, клокотало раздраженіе, и глаза метали молніеносные взгляды.

— Да чего же вы домогаетесь, господа?— почти закричалъ

онъ, сильнымъ движеніемъ руки бросая на столъ какую-то бумагу,— сами дѣлаете цѣлый рядъ... неосторожностей! затѣваете какіе-то... протесты! Голодные бунты! Чего вы ждете? Этимъ вы себѣ только вредите, тѣмъ болѣе, что кто же вѣритъ нынче въ голодовки!

— То есть, какъ это „нынче“?

— Ну, да послѣ этого, какъ бишь его? доктора Таннера, что-ли... Сорокъ дней человѣкъ голодалъ—и всетаки живъ остался!

— Страннымъ мнѣ кажется дѣлать столь смѣлые выводы на основаніи газетныхъ анекдотовъ. Это, во-первыхъ. А во-вторыхъ, если ужъ на то пошло, Таннеръ, помнится мнѣ, все время своего поста употреблялъ воду.

— Да? Ну, а развѣ Штейнгартъ... развѣ онъ серьезно? Вѣдь я же велѣлъ каждый день ставить ему воду.

— Такъ неужели вамъ докладываютъ, что онъ пьетъ эту воду? Это ложь. Онъ не притрогивается къ ней!

— Такъ скажите, ради Бога, что же мнѣ дѣлать? Что я могу подѣлать?

— Прежде всего немедленно выпустить Штейнгарта, а затѣмъ...

— Выпустить! А знаете ли вы,—тутъ Лучезаровъ подошелъ ко мнѣ вплоть и сказалъ почти шопотомъ: — знаете ли вы, что на меня и безъ того уже доносъ посланъ?

— Кѣмъ посланъ? Какой доносъ?

— Ну, этого я не могу вамъ сказать—кѣмъ, хотя и знаю, конечно, кѣмъ... Но фактъ тотъ, что онъ уже посланъ. Я выпустилъ Башурова изъ карцера по истеченіи трехъ сутокъ, когда назначено было пять...

— Вами же самими назначено!

— Я сдѣлалъ вамъ въ послѣднее время крупныя послабленія, которыхъ вы не могли, разумѣется, не замѣтить...

— Какія же это послабленія?

— Мой помощникъ не ходитъ больше на вечернія повѣрки, хотя это его прямая обязанность.

— Что это не прямая его обязанность, доказываетъ трехлѣтній примѣръ его предшественника, который сидѣлъ себѣ въ конторѣ и никогда не заглядывалъ даже въ тюрьму. И было все тихо и прекрасно.

— Ахъ, вы затрогиваете мое больное мѣсто!—Лучезаровъ подошелъ къ столу и съ гнѣвомъ подбросилъ лежавшую на немъ

бумагу.—Прежній мой помощникъ былъ таковъ, что его нельзя было посылать въ тюрьму, не унижая престижа администраціи, но онъ зналъ, по крайней мѣрѣ, конторское дѣло. Теперешній... Положительно какая-то иронія судьбы меня преслѣдуетъ! Его нельзя вѣдь ни къ какой серьезной бумагѣ подпустить, все тотчасъ же изгадитъ! Самаго простого рапорта въ десять строкъ безъ двадцати грамматическихъ ошибокъ составить не можетъ. Вы видите, вся работа лежитъ теперь на мнѣ одномъ. Я положительно измученъ, я скоро долженъ буду въ постель слечь... Я не привыкъ гнуть спину за письменнымъ столомъ!

Гнѣвъ овладѣлъ опять бравымъ капитаномъ, круглыя щеки его нервно колыхались, и мнѣ снова показалось, что онъ былъ блѣднѣе и худѣе обыкновеннаго.

— Чѣмъ же мы-то виноваты, что вамъ данъ негодный помощникъ?—сказалъ я, пользуясь благопріятнымъ моментомъ.—Мнѣ кажется, выходъ изъ этого положенія одинъ: возможно скорѣе устранить подпоручика Ломова... И для васъ самихъ, и для тюрьмы это будетъ во всѣхъ отношеніяхъ полезно.

— Да, если бы отъ насъ съ вами зависѣли такія вещи...

Лучезаровъ нахмурился и забарабанилъ по столу какой-то маршъ.

— Во всякомъ случаѣ,—рѣшилъ онъ,—надо потерпѣть. Будемъ нести нашъ крестъ и ждать лучшихъ временъ.

— Къ сожалѣнію,—возразилъ я, горько усмѣхнувшись,—наши съ вами кресты неравной тяжести, и потому намъ ждать невозможно. Какой ни-на-есть выходъ долженъ быть теперь же, сейчасъ же придуманъ. Иначе сегодня будетъ умирать въ карцерѣ Штейнгартъ, а завтра я...

— Ну, этого я не хотѣлъ бы!

— Однако это неизбѣжно будетъ!

Снова завязался между нами горячій споръ. Отъ непосредственныхъ фактовъ мы перескакивали къ теоріямъ и принципамъ, отъ теорій опять къ дѣйствительнымъ фактамъ. Лучезаровъ взывалъ къ моему благоразумію и привычной сдержанности, которую осыпалъ похвалами; я, напротивъ, взывалъ къ его гуманности. Тогда мой собесѣдникъ очень недвусмысленно намекнулъ на возможность самыхъ суровыхъ репрессій, которыя мы можемъ на себя накликать, и мысль о которыхъ приводитъ его, капитана, въ невольный трепетъ... Я отвѣчалъ на это, что не закрываю глазъ на будущее, но полагаю тѣмъ не менѣе, что во всемъ и за

все явится отвѣтственнымъ одинъ онъ, какъ начальникъ тюрьмы, и подъ конецъ разговора—да простятъ мнѣ боги Олимпа за это, быть можетъ, неумѣстное разсыпаніе священнаго бисера!—я напомнилъ бравому капитану о судѣ потомства и о „Русской Старинѣ“ XX-го вѣка...

Шестиглазый былъ, казалось, подавленъ неожиданнымъ натискомъ моего краснорѣчія. Мысль о томъ, что онъ является въ своемъ родѣ историческимъ человѣкомъ, ударила ему въ голову—онъ весь побагровѣлъ и надулся, какъ индѣйскій пѣтухъ.

— Я подумаю... Штейнгарта я сегодня выпущу... Мы тамъ посмотримъ!

— Нѣтъ, онъ сейчасъ, сію минуту долженъ быть выпущенъ, иначе будетъ поздно. Съ нимъ уже дѣлаются галлюцинаціи... Мы не пойдемъ на работу, пока вы его не-выпустите!

— Я выпущу сейчасъ же, какъ только вы уйдете на работу Это условіе.

— Вы даете слово?

— Да. Но вы должны идти на работу.

Чѣмъ ближе подходилъ я къ тюрьмѣ, тѣмъ сильнѣе омрачалась и остывала моя радость. И когда снова растворились знакомыя рѣшетчатыя ворота, и я увидѣлъ передъ собой мрачное зданіе и не менѣе мрачный дворъ, столько уже лѣтъ бывшій свидѣтелемъ всякаго рода обидъ и униженій, этотъ огромный дворъ, по которому, корчась отъ холода, сновали тамъ и сямъ угрюмыя, исхудалыя фигуры, мнѣ стало опять такъ горько и страшно за будущее! Что значатъ всѣ эти эфемерныя и непрочныя словесныя побѣды, когда впереди предстоитъ еще цѣлый рядъ длинныхъ, ужасныхъ лѣтъ? Хватитъ ли силъ ихъ вынести? Суждено ли намъ когда-нибудь снова увидѣть „вольный бѣлый свѣтъ“, гдѣ люди гордо и прямо носятъ на плечахъ голову, живутъ, не зная униженій и страха?

Не успѣли мы съ Валерьяномъ вернуться въ этотъ день изъ рудника, какъ надзиратель, принимавшій отъ конвоя арестантовъ, пріятно осклабившись, объявилъ намъ:

— А господинъ Штенгоръ ужъ выпущены!

— Да? Гдѣ онъ?

— Въ больницѣ-съ. Очень, говорятъ, слабы...

Мы тотчасъ же направились въ больницу и тамъ, дѣйствительно, нашли Штейнгарта: блѣдный, исхудалый, онъ весело намъ улыбался и пожималъ руки.

— Есть пріятная новость,—сказалъ онъ.

— Что такое?

— Мнѣ по секрету сообщилъ одинъ надзиратель, что Шестиглазый совсѣмъ запретилъ Ломову посѣщать тюрьму.

Мы громко ликовали. Я сталъ разсказывать подробности своей утренней баталіи.

— Да, вѣроятно, и другъ нашъ съ своей стороны не дремлетъ.

— Еще бы! Надо бы къ нему записочку отправить.

И мы погрузились въ наши повседневные заботы и интересы. Не смотря на категорическое извѣстіе о томъ, что Ломовъ окончательно „отставленъ“ отъ тюрьмы (объ этомъ уже и кобылка знала и болтала), полной увѣренности у насъ еще не было, и вечерней повѣрки мы ждали съ обычнымъ волненіемъ. Но вотъ ударилъ звонокъ, и подворотный дежурный прокричалъ внутреннему надзирателю: „Повѣряйте! Никого не будетъ“. Вслѣдъ затѣмъ ворота распахнулись, и въ нихъ съ шумомъ и хохотомъ ввалилась толпа другихъ надзирателей. Они тоже, очевидно, радовались свободѣ.

— Командуйте на молитву!—закричалъ кто-то изъ вошедшихъ, и кобылка, не дожидаясь команды дежурнаго, запѣла, что называется, спрохвала, торопясь и мало заботясь о вѣрности напѣва.

И вдругъ, всѣ вздрогнули и разомъ подтянулись; пѣвчіе на мгновеніе, словно, поперхнулись, а затѣмъ начали пѣть, какъ слѣдуетъ. За воротами, неожиданно для всѣхъ, появилась мрачная фигура Ломова... Мы съ Валерьяномъ переглянулись: „Что же это значитъ?“

Замедливъ шаги и снявъ при звукахъ молитвеннаго пѣнія шапку, онъ вошелъ въ дежурную комнату. Мы всѣ увидали его тотчасъ у окна, выходившаго на тюремный дворъ,—онъ съ жадностью приникъ къ стеклу и весь, казалось, превратился въ созерцаніе... Не смѣя ослушаться прямого запрещенія Шестиглазаго входить въ тюрьму, онъ хотѣлъ хоть издали полюбоваться сладостнымъ его сердцу зрѣлищемъ арестантской субординаціи...

Изо дня въ день мы были съ этихъ поръ свидѣтелями всетой же умилительной картины: каждый разъ во время вечерней повѣрки Ломовъ заходилъ въ дежурную комнату за воротами тюрьмы и, ставъ тамъ подъ окномъ, изображалъ изъ себя преступнаго духа, изгнаннаго изъ рая. Днемъ онъ также не появлялся больше въ тюрьмѣ и всю дѣятельность свою перенесъ въ

вольную команду, гдѣ открывалъ всякаго рода „безпорядокъ“ и нарушеніе дисциплины. Тамъ Шестиглазый предоставилъ ретивому помощнику полную свободу дѣйствій, и мрачный подпоручикъ проявлялъ свою власть въ самыхъ широкихъ размѣрахъ, прибѣгая даже къ помощи розогъ. Слухъ о тѣлесныхъ наказаніяхъ въ вольной командѣ то-и-дѣло достигалъ теперь нашихъ ушей, не менѣе болѣзненно дѣйствуя на нервы, чѣмъ въ былое время, когда я былъ въ Шелаѣ еще одинъ, и на Лучезарова нашла однажды полоса дикаго самодурства. Чрезвычайно характерно было для Ломова, что онъ лично присутствовалъ при каждой тѣлесной расправѣ, и самъ считалъ число отвѣшиваемыхъ ударовъ.

— Смирно!—раздавалась команда надзирателя, когда онъ приближался къ мѣсту экзекуціи на задворкахъ своей квартиры,— шапку долой!

И приговоренный къ розгамъ арестантъ, покорно снявъ шапку, молчаливо ожидалъ дальнѣйшихъ приказаній.

— Раздѣваться!..—командовалъ Ломовъ, и несчастный, дрожа всѣмъ тѣломъ, раздѣвался. Два дюжихъ казака принимались за заплечную работу, причемъ Ломовъ то-и-дѣло взвизгивалъ.

— По настоящему!.. Какъ слѣдуетъ!.. Безъ лукавства!..

Кончалась „работа“, и онъ удалялся домой съ сознаніемъ честно выполненнаго долга. Передавали, между прочимъ, будто онъ крайне сожалѣлъ о томъ, что въ Шелаѣ не имѣлось своего палача, и для наказаній плетьми по суду арестантовъ отсылали въ Алгачи. Послѣднее было, конечно, большимъ счастьемъ для кобылки, такъ какъ подобный ревнитель законности, навѣрное, не одного присужденнаго къ плетямъ загналъ бы въ гробъ: вѣдь извѣстно, что и одного удара плетью „по настоящему“ вполнѣ достаточно для того, что вышибить духъ изъ человѣка...

Внутри тюрьмы воцарилось, во всякомъ случаѣ, отрадное спокойствіе. Мы уже начинали довольно легкомысленно думать, что только что пережитый мрачный періодъ нашей жизни навсегда отошелъ въ область преданій и больше не вернется... Тѣмъ непріятнѣе было внезапное пробужденіе отъ свѣтлыхъ грезъ. Разъ утромъ мы съ Башуровымъ собрались идти въ рудникъ на работу (Штейнгартъ все еще лежалъ въ больницѣ, медленно поправляясь отъ сильнаго нервнаго разстройства), какъ вдругъ надзиратель, чрезвычайно встревоженный, промчался по коридору, крича:

— Горные рабочіе, стройсь! Живой рукой! Сейчасъ помощникъ будетъ...

Кобылка поспѣшно строилась на дворѣ по рабочимъ группамъ. Недоумѣвая, отправились и мы двое на свое мѣсто. Замокъ нервно щелкнулъ, ворота угрожающе распахнулись — и грузными, торопливо стучащими шагами Ломовъ направился прямо къ намъ.

— Смирр-на! Шапки дол-лай!—скомандовалъ надзиратель. Всѣ головы моментально обнажились.

Приподняли свои шапки и мы съ Башуровымъ, чтобы черезъ мгновеніе надѣть ихъ снова. Этого только и нужно было Ломову.

— Без-па-ря-дакъ!—послышался тотчасъ же визгливый крикъ.— Кто тамъ? Кто въ шапкѣ?

Онъ очутился возлѣ Башурова.

— Я вѣдь вамъ поклонился, — объяснилъ послѣдній, — развѣ вы не видали?

И онъ, снявъ еще разъ шапку, опустилъ ее и снова надѣлъ на голову. Это было такимъ неслыханнымъ безпорядкомъ, что Ломовъ на нѣсколько секундъ, казалось, языка лишился и растерялъ всѣ мысли. Наконецъ, онъ нашелся:

— Мы не товарищи... Здѣсь не знакомство, а субординація... Надзиратель, въ карцеръ его!

— Арестуйте и меня также, я тоже въ шапкѣ стою,—выступилъ я впередъ, подозрѣвая, что Ломовъ хочетъ удовольствоваться однимъ Башуровымъ.

— Ну, такъ и его взять!—взвизгнулъ, точно ужаленный, Ломовъ и, повернувшись на каблукахъ, пошелъ къ воротамъ.

Какимъ образомъ попалъ онъ въ это утро въ тюрьму, получилъ-ли дозволеніе Шестиглазаго, рѣшился-ли самовольно проникнуть въ потерянный эдемъ, объ этомъ мы такъ и не узнали никогда; какъ бы то ни было, но Ломовъ достигъ своей цѣли и былъ, вѣроятно, вполнѣ доволенъ собою. Нельзя, впрочемъ, сказать, чтобъ и я не чувствовалъ нѣкотораго нравственнаго удовлетворенія. Точно гора свалилась съ плечъ, когда дверь карцера затворилась на замокъ, и я впервые очутился въ низенькой темной каморкѣ, лишь слабо освѣщенной падавшимъ изъ корридора въ дверную форточку свѣтомъ. Окно, выходившее на тюремный дворъ, всегда было плотно закрыто спущеннымъ ставнемъ. Не успѣлъ я собраться съ мыслями и чувствами, какъ изъ другого конца корридора послышался смѣхъ Валерьяна.

— Иванъ Николаевичъ, какъ поживаете? Что думаете спросить себѣ на завтракъ—бифштексъ или ростбифъ?

— А шутки въ сторону, какъ вы думаете насчетъ пищи поступить?

— Сказать вамъ правду, я не особенно люблю съ пустымъ желудкомъ сидѣть...

— Оно такъ; но, знаете, послѣ того, какъ Штейнгартъ...

— Я и самъ тоже думаю. Попробуемъ! вѣдь не боги горшки обжигаютъ!

Такъ перекликались мы довольно долго. Наконецъ, подъ окномъ послышался голосъ Штейнгарта. Онъ пришелъ изъ больницы разспросить насъ о событіяхъ утра. Послѣ него кто-то другой постучалъ въ ставень:

— Миколаичъ, другъ!

Я узналъ голосъ Чирка.

— Мяса не хошь-ли? Огурцовъ съ Луньковымъ караулятъ, я живой рукой подамъ.

Съ трудомъ убѣдилъ я своего пріятеля оставить это намѣреніе.

— Да ты не такъ-ли ужъ, какъ Штенгоръ, задумалъ?

— Какъ это?

— Да такъ, не исть... Чудакъ, вѣдь замрешь! Какая польза, кому надо?

Но, не дождавшись отвѣта на свой вопросъ, добрякъ соскочилъ поспѣшно съ подоконника, и я слышалъ, какъ онъ своей грузной, ковыляющей походкой улепетывалъ со всѣхъ ногъ; должно быть, поданъ былъ сигналъ о близкой опасности...

Томительно потянулись часы за часами. Вотъ прозвенѣлъ колокольчикъ на обѣдъ. Съ веселымъ говоромъ прошли по двору вернувшіеся изъ мастерскихъ арестанты, торопясь въ камеры обѣдать и отдыхать. Я явственно различалъ голоса нѣкоторыхъ изъ нихъ; разговаривали все о вещахъ постороннихъ. У большинства не было, очевидно, остраго интереса къ нашему дѣлу, мало для нихъ понятному и потому мало вызывавшему сочувствія.

— Стёпша! а ты продай мнѣ свое мясо, я больно что-то жрать захотѣлъ сегодня.

— А онъ и говоритъ мнѣ: „ты, говоритъ...“

— Я тебѣ кайлу въ боковину запущу, коли въ другой разъ слово такое услышу!

Съ такими рѣчами, кучка за кучкой, проходили

подъ нашими окнами, и, наконецъ, все затихло. Начался обѣдъ и затѣмъ отдыхъ. Артельный староста, въ сопровожденіи дежурнаго надзирателя, принесъ и намъ хлѣбъ съ водой.

— Не обезсудьте, Иванъ Николаевичъ, сегодня вамъ горячей пищи не полагается, а ужъ завтра безпремѣнно подадимъ, — ласково, почти искательно сказалъ Годуновъ, всовывая ко мнѣ въ форточку свое красное лицо.

Я отвѣчалъ, что все равно не стану ничего ѣсть.

— Это вы напрасно, право, напрасно!—въ одинъ голосъ замѣтили и староста, и надзиратель. Форточка захлопнулась на задвижку, и шаги смолкли.

Переговариваться съ Валерьяномъ я вскорѣ бросилъ — приходилось очень громко кричать, и это надоѣдало. Попытался я было лечь на короткую и жесткую лавку, неподвижно прикрѣпленную къ стѣнѣ, но лежать было слишкомъ неудобно, и сонъ не шелъ. Голова пылала и болѣла отъ сильнаго нервнаго возбужденія; мысли, одна другой безсвязнѣе и нелѣпѣе, копошились въ мозгу. Я опять вставалъ на ноги, пытался ходить взадъ и впередъ по карцеру, но и ходьба не доставляла ни малѣйшаго удовольствія, такъ какъ свободно можно было сдѣлать всего лишь два шага.

Снова прозвенѣлъ звонокъ на работу, и снова съ шумомъ прошли подъ окномъ толпы арестантовъ. Черезъ часъ послѣ того, слышно было, вернулись горные рабочіе. И опять все затихло, какъ въ могилѣ, только кровь громко стучала въ вискахъ: „Тукъ-тукъ-тукъ! Тукъ-тукъ-тукъ!“ Нѣсколько разъ въ теченіе дня подбѣгалъ къ окну Штейнгартъ, хотя свиданія эти ни ему, ни намъ не доставляли отрады. Сообщить другъ другу было рѣшительно нечего. Я начиналъ, между тѣмъ, ощущать мучительный голодъ: какъ на грѣхъ, поутру я вышелъ на работу, не притронувшись ни къ хлѣбу, ни къ чаю. Впрочемъ, пить у меня еще не было особеннаго позыва. За то Башуровъ давно уже жаловался на сильную жажду, которую увеличивало еще сосѣдство жарко натопленной печки. Штейнгартъ пробовалъ было убѣдить насъ обоихъ не подражать ему—и пить, по крайней мѣрѣ, воду, но мы остались при своемъ рѣшеніи. Ударилъ, наконецъ, колокольчикъ на вечернюю повѣрку. Въ эту самую минуту кто-то торопливо вскочилъ на подоконникъ.

— Господа!

— Это вы, Дмитрій Петровичъ?

— Сейчасъ слышалъ новость: рѣшено, будто бы, разселить насъ по разнымъ рудникамъ. Слухъ этотъ исходитъ, впрочемъ, отъ кобылки,—быть можетъ, и врутъ. А вотъ утромъ обѣщано письмо—вѣроятно, отъ друга—тогда все узнаемъ.

Штейнгартъ поспѣшно ушелъ, и вслѣдъ затѣмъ послышалась команда на молитву: значитъ, на повѣркѣ присутствовали опять одни только надзиратели.

Ночь прошла безъ сна, въ тягостномъ томленіи и невеселыхъ думахъ. Койка была такъ коротка, что мозжившія и безъ того ноги невозможно было протянуть на ней, да и въ изголовье нечего было подложить. Въ противоположность Башурову, котораго страшно пригрѣвала сосѣдняя желѣзная печка, мнѣ было холодно. Карцеръ представлялъ собой настоящую маленькую мышеловку, въ которой нельзя было ни лежать, ни ходить. Голодный червякъ пересталъ сосать подъ ложечкой, и только голова болѣла нестерпимѣе прежняго, точно собираясь лопнуть по всѣмъ швамъ...

— Какъ это все глупо, обидно-глупо! какое подлое положеніе!— вырывался то-и-дѣло крикъ изъ груди, и въ безсильномъ бѣшенствѣ я пытался сдѣлать по своей клѣткѣ два неполныхъ шага. Въ камерѣ товарища было тихо. „Счастливецъ, думалъ я съ завистью, онъ можетъ спать и не думать!..“ Только подъ самое утро, согнувшись въ три погибели, полулежа, полусидя, забылся и я на нѣкоторое время тупымъ, свинцовымъ сномъ; но мнѣ показалось, что длился этотъ сонъ всего лишь одно мгновеніе. Я проснулся, дрожа всѣмъ тѣломъ и стуча зубами отъ невыносимаго холода, а въ ушахъ моихъ еще гудѣлъ какой-то металлическій отзвукъ. „Ага! это, должно быть звонокъ на повѣрку“. Изъ корридора не проникало еще ни луча свѣта: на дворѣ было темно. Но вотъ послышался шумъ голосовъ, топотъ ногъ, бряканье кандаловъ и ключей. Громко зазѣвалъ и Башуровъ въ концѣ корридора. Голодный червякъ опять завозился внутри.

— Какъ почивали, Иванъ Николаевичъ? А представьте, что мнѣ всю ночь снилось: великолѣпнѣйшій ужинъ! Дичь, холодная телятина, вина, но главное — вода... Ахъ, что это была за вода! Свѣжая, прозрачная, ароматная... Клянусь вамъ, я никогда ничего подобнаго не пилъ! А вы что во снѣ видѣли?

— Приблизительно то же самое.

— Ха-ха-ха! Что же это, однако, Дмитрій долго не показы-

вается? Спитъ, что ли? Хоть бы по рудникамъ поскорѣе развезли насъ! А то здѣсь отъ одной скучищи пропадешь.

Штейнгарта намъ, дѣйствительно, пришлось долго ждать. Уже совсѣмъ разсвѣло, и арестанты разошлись по работамъ, когда послышались, наконецъ, его лихорадочно-торопливые шаги. Не успѣвъ еще вскочить на подоконникъ, онъ громко закричалъ:

— Урра, господа! Радуйтесь: по-бѣ-да!

— Что случилось? Въ чемъ дѣло?

— Ломовъ уходитъ... Совсѣмъ! Васъ сейчасъ выпустятъ...

— Да ты не брешешь?

— Я нарочно не шелъ раньше, чтобъ дождаться вѣрныхъ извѣстій. Другъ сообщаетъ, что получена сегодня ночью телеграмма съ предписаніемъ Ломову въ двадцать четыре часа покинуть Шелай и ѣхать на новое мѣсто. По полиціи какая-то должность...

— Вотъ такъ штука. Это, дѣйствительно, побѣда!

— Такъ вотъ что значило „друзья дѣйствуютъ“...

— Ну, и молодецъ же эта Анна Аркадьевна! Знаешь что, Штейнгартъ? Въ первый же разъ, какъ увидишь ее, ты расцѣлуй ее отъ меня... Хорошо?

— А насколько все это, Дмитрій Петровичъ, не подлежитъ сомнѣнію?

— А! вы и здѣсь не утратили вашего обычнаго скептицизма, Иванъ Николаевичъ? Успокойтесь, однако. Я уже и отъ надзирателей слышалъ, что Ломовъ сегодня уѣзжаетъ. Рано утромъ онъ уже заказалъ столяру ящикъ для вещей...

— А можетъ быть, умирать хочетъ съ горя—такъ гробъ для себя?—пошутилъ Валерьянъ.

— Ужъ не знаю. Врядъ-ли, впрочемъ... Онъ, кажется, не изъ таковскихъ, чтобъ духомъ падать.

Разговоръ нашъ былъ прекращенъ загремѣвшимъ въ корридорѣ карцера замкомъ. Штейнгартъ оказался правъ, и дежурный надзиратель, пріятно ухмыляясь во все лицо, явился освобождать насъ, а самого Штейнгарта вслѣдъ затѣмъ вызвалъ за ворота. Онъ вернулся оттуда только часа черезъ полтора.

— Лучезаровъ, что ли, вызывалъ?— накинулись мы на него еще на серединѣ двора.

— Не угадали: на практику ходилъ!

— Какъ такъ? Значитъ, опала кончилась?

— Совершенно и безъ остатка. И знаете, къ кому ходилъ? Къ другу.

— Ну, разсказывайте все по порядку!

— Анна Аркадьевна, оказывается, еще третьяго дня получила телеграмму иносказательнаго содержанія, изъ которой узнала, что дѣло ея выиграно, и тюремная карьера Ломова окончена. Впрочемъ, она объясняетъ этотъ успѣхъ не однимъ только своимъ вліяніемъ; тутъ дѣйствовали довольно сложныя махинаціи... Дѣло въ томъ, что и самъ Шестиглазый заваливалъ въ послѣднее время начальство доносами на Ломова: онъ называлъ ихъ контръ-доносами, такъ какъ подозрѣвалъ, что Ломовъ на него посылаетъ доносы... Я лично смекаю, что и тутъ дѣло не обошлось безъ милѣйшей Анны Аркадьевны.

— Какимъ образомъ?

— Мнѣ кажется, она съумѣла внушить бравому капитану такія подозрѣнія насчетъ Ломова, на самомъ же дѣлѣ онъ, быть можетъ, невиннѣе грудного младенца былъ... Впрочемъ, я не настаиваю на своемъ предположеніи. Во всякомъ случаѣ, самъ того не зная, Шестиглазый игралъ намъ на руку, Анна же Аркадьевна выказала огромный дипломатическій талантъ.

— Господа, надо ей поднести благодарственный адресъ.

— Ну, продолжайте, Дмитрій Петровичъ!

— Оффиціальная телеграмма объ отставкѣ Ломова получилась вчера въ двѣнадцатомъ часу ночи, и Лучезаровъ прежде всего прибѣжалъ съ нею къ Аннѣ Аркадьевнѣ. За послѣдніе дни они, вообще, сильно опять подружились... Онъ сіялъ, словно будто одержалъ величайшую въ жизни побѣду, и точно будто Ломовъ вовсе и не былъ дѣтищемъ его собственныхъ рукъ! Однако, когда Анна Аркадьевна предложила ему немедленно же выпустить васъ на свободу, отклонилъ это предложеніе: „Пускай просидятъ ночь, радость будетъ потомъ сильнѣе“. Она сочла, конечно, за лучшее не настаивать. За то подъ конецъ свиданія ей сдѣлалось дурно, она начала стонать и жаловаться на внезапный приступъ сердцебіенія. Старикъ-мужъ встревожился, Лучезаровъ того пуще и тутъ же вызвался пригласить меня... Но Анна Аркадьевна и здѣсь проявила геніальный тактъ. Ей вовсе не любопытно было видѣть меня въ присутствіи браваго капитана, и она заявила, что нѣтъ настоятельной нужды тревожить меня ночью, что ей стало лучше; а что если утромъ опять сдѣ-

лается хуже, тогда... Ну, утромъ ей стало, разумѣется, хуже, и вотъ я очутился за воротами.

— А какъ отнесся Ломовъ къ своей внезапной отставкѣ? Неизвѣстно?

— Какъ неизвѣстно! Мужъ Анны Аркадьевны видѣлъ его и счелъ нужнымъ выразить соболѣзнованіе.

— Ну и что же онъ?

— „Воля, говоритъ, начальства, наше дѣло не разсуждать, а повиноваться".

— Вотъ дубинища!..

— Нѣтъ, Валерьянъ, онъ, по моему, молодецъ. До конца остается себѣ вѣренъ. Но я не все еще разсказалъ, господа. Представьте: я уже собирался уходить, какъ вдругъ влетаетъ... самъ великолѣпный Лучезаровъ! Веселъ, румянъ... Ну, и одѣтъ довольно небезпечно, а одеколономъ такъ и залилъ всю комнату... Прямо ко мнѣ: „Желаю здравствовать! Какъ находите нашу больную? Не правда ли, она молодцомъ сегодня глядитъ? Ну, а ваше какъ здоровье? Надѣюсь, теперь не станете больше хворать?" Послѣдняя фраза говорится съ пріятнѣйшей улыбкой, а взглядъ такъ и играетъ. Я, конечно, отвѣчалъ выраженіемъ тоже надежды, что *теперь* все пойдетъ по-новому, по-лучшему, и мы съ любезными поклонами разстались... Однако, я замѣтилъ, что онъ сильно поморщился, когда затѣмъ Анна Аркадьевна схватила меня за руку, нѣсколько разъ крѣпко пожала ее и выразила вслухъ рядъ самыхъ добрыхъ пожеланій мнѣ и моимъ товарищамъ. Въ довершеніе всего, только что вернувшійся откуда-то есаулъ, не раздумывая долго, тоже подалъ мнѣ руку. Шестиглазый совсѣмъ былъ сраженъ!

— А теперь, господа,—закончилъ Штейнгартъ,—пойдемте-ка въ мою каморку и отпразднуемъ счастливое избавленіе отъ гибели трехъ библейскихъ отроковъ, брошенныхъ въ пещь огненную (тебя вѣдь, Валерьянъ, дѣйствительно, кажется, поджаривали вчера?). У меня молоко есть, заваримъ байховый чай и станемъ кейфовать!

Предложеніе это было единогласно одобрено, и съ веселымъ смѣхомъ и громкими разговорами мы отправились въ больницу.

XIII.

Жизнь опять входитъ въ нормальную колею.

Давно уже не было въ Шелаѣ такого мягкаго режима, какой воцарился послѣ удаленія Ломова. Вечернія повѣрки стали производиться большею частью въ присутствіи однихъ надзирателей; камеры съ утра до вечера стояли незапертыми; карцера пустовали; самъ Шестиглазый совсѣмъ пересталъ показываться въ тюрьму—повидимому, она опротивѣла ему послѣ столь неудачной попытки установить идеально-образцовый порядокъ. Пресловутыя печатныя правила висѣли теперь на стѣнахъ камеръ въ полномъ пренебреженіи и забвеніи; сначала на нихъ появились откуда-то грязныя, жирныя пятна, затѣмъ сама бумага начала лопаться и прорываться, и, въ концѣ концовъ отъ большихъ, красивыхъ листовъ остались лишь жалкіе, невзрачные обрывки.

Впрочемъ, нужно и то сказать, что всѣ эти благіе результаты новаго вѣянія чувствовались, главнымъ образомъ, мной и двумя моими товарищами; арестантская же масса, сравнительно, мало ихъ замѣчала, по-прежнему жалуясь на тяжесть шелайской жизни и мечтая о другихъ рудникахъ. Главное, что всегда отличало Шелай отъ этихъ послѣднихъ, питая въ кобылкѣ непримиримую злобу, было запрещеніе частныхъ улучшеній пищи: запрещеніе это и до сихъ поръ оставалось во всей силѣ. Самые богатые арестанты принуждены были довольствоваться тѣмъ, что̀ давалось въ общемъ котлѣ, отдѣльно же могли выписывать лишь чай, табакъ и сахаръ, да и то въ установленныхъ разъ навсегда максимальныхъ размѣрахъ. Заработанныя въ тюрьмѣ или полученныя изъ дому деньги никогда не выдавались на руки, и все это вмѣстѣ дѣлало невозможнымъ ни существованіе въ тюрьмѣ майдановъ, ни процвѣтаніе картежной игры. Арестанты по натурѣ вообще большіе индивидуалисты, и даже тѣ изъ нихъ, для кого право свободнаго пользованія деньгами было бы, казалось, ни къ чему, бѣдняки и всякаго рода неудачники, плохіе ремесленники и еще болѣе плохіе игроки, даже и они не иначе, какъ съ величайшимъ раздраженіемъ, отзывались всегда о шестиглазовскомъ „прижимѣ“.

— Да откуда жъ бы у васъ и въ другой тюрьмѣ деньги взялись? — спрашивали мы иныхъ изъ такихъ неудачниковъ: — Въ

карты вы всегда, говорятъ, проигрываете, заработать ничѣмъ не можете...

— Эхъ, господа, господа, — слышалось обыкновенно въ отвѣтъ,—мнѣ вѣдь шесть лѣтъ еще въ тюрьмѣ-то сидѣть. Такъ неужто жъ за эстолько годовъ ни разу у меня копѣйки бы лишней не завелось?

— Ну, и куда бы вы эту копѣйку дѣли?

— Куда? Эхма, куда!.. Купилъ бы *я*, къ примѣру сказать, фунта два-три мяса и *самъ бы*, въ собственномъ котлѣ, наварилъ себѣ щей! Зналъ бы, по крайности, что свое собственное ѣмъ.

Такъ разсуждала кобылка. Но намъ троимъ, конечно, жилось и дышалось, сравнительно, легче прежняго. Штейнгартъ снова имѣлъ обширную практику внѣ тюремныхъ стѣнъ и нерѣдко приносилъ оттуда даже газетныя новости, производившія каждый разъ въ нашемъ маленькомъ кружкѣ огромную сенсацію... Одного только не удалось намъ добиться, не смотря на всю мягкость наступившаго періода—это возвращенія отобранныхъ нѣкогда книжекъ. Шестиглазый, когда мы обращались къ нему по этому поводу съ прямыми вопросами, не отвѣчалъ, правда, категорическимъ отказомъ; напротивъ, не давая намъ синицы въ руки, онъ сулилъ даже цѣлаго журавля въ небѣ.

— Я давно уже послалъ формальный запросъ относительно чтенія арестантами свѣтскихъ книгъ, и отвѣта нужно ждать со дня на день. Я думаю, отвѣтъ будетъ благопріятный... Скажу даже больше: васъ ожидаетъ пріятный сюрпризъ! Въ тюрьмѣ будетъ, по всей вѣроятности, устроена оффиціальная библіотека (конечно, на средства арестантовъ), и одинъ изъ васъ будетъ подъ моимъ наблюденіемъ завѣдывать ею.

— Но въ ожиданіи такого „сюрприза“,—приставали мы,—вы могли бы временно собственной властью разрѣшить пользованіе тѣми книгами, какія уже имѣются. Прежде вы могли же это сдѣлать?

— Могъ потому, что тогда я не дѣлалъ еще формальнаго запроса. Теперь я обязанъ слѣдовать буквѣ закона.

Такъ говорилъ намъ бравый капитанъ; и въ это же самое время на вопросы другихъ арестантовъ, тоже просившихъ иногда „книжечекъ“, отвѣчалъ совсѣмъ въ другомъ духѣ:

— Я, вотъ, покажу вамъ книжечки! Вздоръ, вздоръ. Единственной духовной пищей арестанта должны быть евангеліе и библія.

Словомъ, Лучезаровъ не измѣнилъ себѣ и продолжалъ и въ это мирное время оставаться все тѣмъ же великолѣпнымъ Лучезаровымъ. О книгахъ, поэтому, много мечтать не приходилось.

За то на нѣкоторое время тюрьма, почти вся поголовно, увлеклась опять обученіемъ грамотѣ. Наиболѣе популярнымъ преподавателемъ изъ насъ троихъ сдѣлался въ эту пору Штейнгартъ, въ которомъ, дѣйствительно, открылся и большой учительскій талантъ, и еще большій тактъ въ обращеніи съ учениками. Онъ какъ-то удивительно умѣлъ избѣгать всѣхъ тѣхъ сциллъ и харибдъ, о которыя столько разъ разбивались мои усилія, въ родѣ самолюбія или зависти однихъ учениковъ къ другимъ. Одного его слова оказывалось, бывало, вполнѣ достаточно, чтобы прекратить возникавшія распри, и заявленіе одного арестанта другому (въ какомъ нибудь „ученомъ“ спорѣ), что такъ, молъ, сказалъ Дмитрій Петровичъ,—перевѣшивало нерѣдко всякій иной доводъ. Въ отношеніяхъ Штейнгарта съ арестантами не было никогда и тѣни какого-либо желанія подладиться къ ихъ нравамъ или понятіямъ; въ общемъ онъ отличался скорѣе молчаливостью и несравненно охотнѣе отвѣчалъ на вопросы, нежели самъ задавалъ ихъ; мягкій и терпимый къ людскимъ недостаткамъ, онъ никогда не бралъ на себя роли моралиста и проповѣдника; однако, всѣмъ было отлично извѣстно, что существуетъ граница, за которой терпимость эта кончается, и Штейнгартъ можетъ вспылить и наговорить кучу самыхъ рѣзкихъ вещей. И для меня было всего удивительнѣе то, что никто никогда не обижался на рѣзкія выходки товарища, и что, напротивъ, онѣ только увеличивали, казалось, уваженіе къ нему кобылки. Тотъ самый Струйскій, котораго онъ такъ грубо оборвалъ однажды за цинизмъ, положительно благоговѣлъ передъ Штейнгартомъ и во время шестидневной его голодовки, со слезами на глазахъ, умолялъ меня предпринять что-нибудь для его спасенія... Меня крайне занималъ также вопросъ: оставалось ли для арестантовъ тайной еврейское происхожденіе Штейнгарта, и вліяло ли оно сколько-нибудь на ихъ отношенія къ нему? Мнѣ кажется, тюрьма отлично знала, что онъ еврей—знала это и отъ надзирателей, и отъ самого Штейнгарта; и тѣмъ не менѣе, даже во время извѣстныхъ столкновеній нашихъ съ кобылкой, изъ всей арестанской массы одинъ только сумасшедшій Жебреёкъ, разносившій медицину и докторовъ, припутывалъ временами къ своимъ филиппи-

камъ и какую-то чепуху о жидахъ, но отклика себѣ онъ не находилъ. Вообще мнѣ думается, что въ понятіи простолюдина слово еврей или жидъ рѣшительно не вяжется съ представленіемъ о человѣкѣ образованномъ, лучше его самого говорящемъ по-русски. Поэтому-то свѣдѣнія о еврействѣ Штейнгарта проходили какъ-то совсѣмъ мимо ушей и пониманія кобылки, и мнѣ самому не разъ, помню, задавались вопросы:

— А что, Иванъ Николаевичъ, родитель господина Штейнгора, надо полагать, тоже изъ большихъ помѣщиковъ былъ?

Другіе называли его сыномъ генерала, сенатора и пр.

Замѣчательно, что въ числѣ учениковъ Штейнгарта былъ одно время еврей, съ которымъ намъ придется еще познакомиться, человѣкъ, пользовавшійся въ тюрьмѣ очень дурной славой; кобылка нерѣдко бранила его „жидомъ“. Штейнгарту, какъ и мнѣ съ Башуровымъ, случалось брать подъ свою защиту этого несчастнаго юношу, и тогда арестанты говорили ему:

— Стоитъ ли вамъ, Дмитрій Петровичъ, заступаться за такую сволочь? Одно вѣдь слово—жидъ.

— Я самъ еврей,—возражалъ Штейнгартъ,—но развѣ это какой-нибудь грѣхъ?

Тогда арестанты конфузливо чесали у себя въ затылкахъ и не знали, что сказать.

— Эхъ, Митрій Петровичъ, нашли съ кѣмъ сравнить! Сволочь тюремную взять, али васъ!

Я думаю, что вообще было бы неблагодарнымъ дѣломъ отыскивать даже и въ подонкахъ нашего простонародья какія-либо антисемитическія тенденціи въ томъ смыслѣ, какой онѣ имѣютъ у разныхъ нашихъ доморощенныхъ Дрюмончиковъ и Рошфориковъ. Антисемитизмъ и юдофобство этихъ послѣднихъ — явленія чисто культурныя, создаваемыя извѣстнаго рода воспитаніемъ и книжной пропагандой. Русская каторга абсолютно чужда всякой религіозной, а тѣмъ болѣе расовой нетерпимости. Вотъ народъ, про который, дѣйствительно, можно сказать, что для него не существуетъ ни эллина, ни іудея, и который знаетъ лишь двѣ породы людей—угнетателей и угнетенныхъ! Правда, вы на каждомъ шагу можете услыхать изъ его устъ такія ругательства, какъ „цыганская образина“, „чухна проклятая“, „польская“ или „хохлацкая морда“ и т. п., но все это лишь результатъ обычнаго пристрастія русскаго человѣка ко всякаго рода крѣпкимъ словамъ, и ника-

кого серьезнаго смысла за ними не кроется. До чего еще мало, къ счастію, развиты въ нашемъ простонародьѣ квасныя патріотическія чувства, показываетъ и тотъ, напримѣръ, курьезный фактъ, что во многихъ глухихъ мѣстностяхъ Россіи совсѣмъ неизвѣстно или извѣстно очень смутно самое слово „русскій“, и нерѣдко какой-нибудь двадцатилѣтній парень на вопросъ о томъ, на какомъ языкѣ онъ говоритъ, наивно отвѣчаетъ вамъ: „на краснomъ“... Очень многіе изъ арестантовъ, я помню, говаривали:

— Въ верхней шахтѣ сегодня насъ пятеро *русскихъ* работало.

Оказывалось, въ числѣ этихъ „русскихъ“ былъ одинъ полякъ, одинъ цыганъ, одинъ мордвинъ, одинъ хохолъ и только одинъ великороссъ, но за то не было ни меня, ни Башурова, ни Штейнгарта, и именно это-то и хотѣлъ выразить арестантъ своимъ замѣчаніемъ. Очевидно, въ понятіяхъ этихъ людей слово „русскій“ обозначало, главнымъ образомъ, принадлежность къ простому, необразованному люду—и ничего больше.

Возвращаюсь, однако, къ своимъ воспоминаніямъ о мяткомъ періодѣ, наступившемъ послѣ удаленія подпоручика Ломова. Чаще всего рисуется мнѣ нерабочій праздничный день. Всѣ камеры растворены настежь, дежурный надзиратель пропадаетъ неизвѣстно гдѣ. Никто не спитъ, такъ какъ время близится къ обѣденному часу. Заглянешь въ одну камеру—тамъ совсѣмъ пусто, и только два-три человѣка гдѣ нибудь въ углу, полулежа на нарахъ, пьютъ собственный чай и тихо разговариваютъ. Это какіе-нибудь солидные, флегматичнаго темперамента пріятели, мало интересующіеся шумной общественной жизнью и предпочитающіе ей интимную бесѣду о стародавнихъ временахъ и о разныхъ случаяхъ изъ своей жизни на волѣ. Заходишь въ другую, въ третью камеру—и тамъ все пусто, словно все вымерло. Но за то изъ слѣдующаго номера доносится оживленный говоръ и шумъ. Здѣсь цѣлая толпа народу — трудно протискаться. Что же это за зрѣлище, привлекшее сюда почти всю тюрьму?

Двѣ камеры, моя и Штейнгарта, устроили сегодня состязаніе между собой, „екзаментъ“: чьи ученики сдѣлали больше успѣховъ въ наукахъ? Состязаются, конечно, одни только „ученики“, но живѣйшее участіе принимаютъ въ дѣлѣ и ихъ неграмотные сожители. Одно и то же стихотвореніе („Ласточки“ Майкова) ученикамъ Штейнгарта, онъ — моимъ. Большой камер выдвинутъ на средину комнаты, и съ него убран

могло бы мѣшать экзамену: чашки, ложки, бачки, хлѣбъ. Лица пишущихъ серьезны и степенны; одни, видимо, волнуются, другіе имѣютъ мрачный видъ, но всѣ хранятъ строгое молчаніе и только таинственно шепчутъ губами, повторяя про себя слова диктанта. Неграмотные зрители, напротивъ, шумно суетятся вокругъ стола, кричатъ, толкаются, жестикулируютъ и даже переругиваются съ противниками; желая всячески ободрить свою сторону, они только мѣшаютъ ей криками и неумѣстными наставленіями.

— Наша камера, смотри, не оплошай, не осрамись!—кричитъ одинъ,—не то такія банки отрублю...

— Ты, Егорка, знатче выводи гуквы-то, а то опять споръ выйдетъ: ты говоришь *о*, а Митрей Петровичъ говоритъ— *а*... Такъ чтобъ безъ сумленія было!

— Нѣтъ, это что!—заявляетъ третій,—своимъ банки не штука поставить. А вотъ ежели ваши ученики слабже нашихъ окажутся, такъ мы и изъ камеры своей вонъ не выпустимъ: всѣмъ вамъ, собачьи дѣти, ложки отпустимъ! и ученикамъ, и не ученикамъ! Не ходи на екзаментъ, не бахвалься!

Дружный хохотъ встрѣчаетъ это предложеніе.

— Ну, да вѣдь и у васъ брюхо-то есть. Еще неизвѣстно, кому ложки получать...

— Не согласенъ я, ребята, на банки,—вдругъ отрывается отъ своей тетради мой неизмѣнный ученикъ Луньковъ, — хоть бы Сохатаго взять... Онъ, большой дуракъ, худо напишетъ, а я за него отвѣчай? Я за себя только, старики, отвѣчаю, ни за кого больше...

— Ахъ ты, трепачъ-мараказина!—огрызается на него Сохатый,—поглядимъ еще, кто больше ошибокъ надѣлаетъ?

Штейнгартъ сурово прекращаетъ споръ:

— Пишите, господа, я сорокъ разъ повторять не стану:

> Взгляну-ль по привычкѣ подъ крышу—
> Пустое гнѣздо подъ окномъ.

Я вижу, между тѣмъ, что дѣло Сохатаго плохо; онъ озирается по сторонамъ, какъ травленый волкъ, и пялитъ глаза на тетрадки сосѣдей; больше всего смущаетъ его, повидимому, окончаніе слова „взгляну-ль“, котораго онъ никакъ не можетъ взять въ толкъ. Въ это самое время ученики Штейнгарта, которымъ диктую я,

успѣли уже дойти до стиха: „какъ веселъ былъ трудъ ихъ, какъ ловокъ“.

— А ты чего же, Ногайцевъ, не пишешь?—спрашиваетъ кто-то третьяго изъ старыхъ моихъ учениковъ.

Ногайцевъ лежитъ въ углу камеры, прикрывшись сверху шубой, и не принимаетъ въ экзаменѣ никакого участія.

— Брюхо болитъ, — отвѣчаетъ онъ слабымъ, больнымъ голосомъ.

— Скажи лучше: гайка заслабила, банокъ испужался?

— Нѣ, въ самъ-дѣлѣ, болитъ...

Но вотъ диктовка, наконецъ, окончена. Учителя предлагаютъ ученикамъ еще разъ пересмотрѣть написанное.

— Чего тутъ смотрѣть, готово!—хвастливо восклицаетъ Луньковъ и подаетъ мнѣ свою тетрадку, но многіе другіе, и въ томъ числѣ Сохатый, долго еще сидятъ за столомъ, углубившись въ свое писанье и храня угрюмое молчаніе. Сохатый совсѣмъ притихъ и то и дѣло бросаетъ на меня недоумѣвающіе взгляды, словно ища помощи и защиты. Это не ускользаетъ, конечно, отъ вниманія публики, и она дѣлаетъ по его адресу рядъ ядовитыхъ замѣчаній. Наконецъ, и Петинъ сердито свертываетъ тетрадку и, показавъ кому-то кулакъ, подаетъ свою работу. Мы съ Штейнгартомъ приступаемъ къ просмотру диктантовъ, и тутъ въ камерѣ начинается невообразимое волненіе, происходитъ страшная давка; ученики и зрители взлѣзаютъ буквально на спины и на плечи одинъ другому, каждому хочется хоть глазкомъ посмотрѣть, что будутъ дѣлать учителя. Даже и мы сами заражаемся общимъ волненіемъ... Я не безъ чувства зависти замѣчаю огромные успѣхи, сдѣланные учениками Штейнгарта. Нѣкоторые изъ нихъ въ самое короткое время научились отличать предлоги, стоящіе передъ именами существительными, отъ такихъ же предлоговъ, стоящихъ передъ глаголами, и первые всегда пишутъ раздѣльно, а вторые слитно (для моихъ учениковъ различіе это всегда составляло главный пунктъ преткновенія). Одинъ изъ пятерыхъ учениковъ Штейнгарта, явившихся на экзаменъ, умудрился не сдѣлать ни одной грубой ошибки даже въ запятыхъ (у насъ заранѣе самымъ точнымъ образомъ условлено, какія именно ошибки считать грубыми и подчеркивать). Этотъ ученикъ былъ, впрочемъ, грамотнымъ еще на волѣ, и я предлагалъ допускать его на экзаменъ, но мои ученики, изъ са

тѣли его „отводить“, хвастливо заявивъ, что въ „дихтовкѣ ни передъ кѣмъ не сробѣютъ“. Теперь они должны были пожать плоды этого хвастовства. Изъ остальныхъ учениковъ враждебной стороны у троихъ оказалось отъ десяти до двадцати грубыхъ ошибокъ у каждаго; пятый сдѣлалъ всего лишь семь ошибокъ.

— Несправедливость!—закричалъ вдругъ Сохатый, все время внимательно слѣдившій за тѣмъ, какъ мы подчеркивали ошибки, и грозно засверкалъ своими телячьими глазами: — явное попустительство!

— Гдѣ? что такое?

— А вотъ, что тутъ у Милосердова написано? Нуль-то пропущенъ? Подчеркнуть надо! Потворствуетъ Иванъ Николаевичъ Штенгору!

— Какой нуль, гдѣ вы тутъ нуль нашли?

Сохатый молча тычетъ пальцемъ въ слова „взгляну-ль“.

Мы съ Штейнгартомъ весело смѣемся, и вслѣдъ за нами всѣ ученики, а затѣмъ и всѣ зрители (неграмотные даже болѣе грамотныхъ) разражаются громовымъ хохотомъ. Сохатый сначала ошеломленъ, потомъ переконфуженъ: онъ дѣлаетъ движеніе схватить со стола свою тетрадку, въ которой у него, очевидно, красуется „взгля 0“, но публика не даетъ ему этого сдѣлать.

— Нѣтъ, шалишь, братъ! Чужія ошибки считать лѣзешь — и за свои умѣй расплачиваться.

Сохатому пытаются скрутить руки, онъ рычитъ и отмахивается кулаками, поднимается невообразимый гвалтъ, драка; съ трудомъ удается возстановить прежнюю тишину. Дѣло моихъ учениковъ оказывается безнадежно проиграннымъ, и все благодаря тому же Сохатому: онъ одинъ умудрился надѣлать въ своемъ диктантѣ 52 грубыхъ ошибки (хотя въ другое время и въ другомъ настроеніи могъ бы написать вдвое и даже втрое лучше).

— Банки, банки отсѣкать!— раздается дикій вопль, и въ начинающейся вслѣдъ за тѣмъ сумятицѣ трудно даже разобрать, кто кому хочетъ ставить банки. Я и мои товарищи успѣли уже очутиться у дверей камеры — насъ моментально оттерли отъ стола, и никакіе наши уговоры и упреки уже не имѣютъ ровно никакого значенія, никто насъ не слушаетъ и даже не можетъ слышать. Намъ остается съ грустью смотрѣть на происходящее побоище.

— Сохатому отрубайте!—кричатъ одни голоса.

— Всѣмъ! Всей камерѣ!—вопятъ неистово другіе.

По срединѣ камеры на полу уже лежитъ, барахтаясь и кусаясь, маленькій Луньковъ, красный, потный и разъяренный, а на немъ сидятъ верхомъ нѣсколько человѣкъ. Но вдругъ на эту кучу налетаетъ ватага другихъ борцовъ: это человѣкъ десять арестантовъ, обхвативъ со всѣхъ сторонъ гиганта Петина, пытаются свалить его съ ногъ. Запнувшись о лежащаго на полу Лунькова и сидящихъ на немъ палачей, вся эта ватага моментально летитъ внизъ; одни тутъ же растягиваются во весь ростъ, другіе кувыркомъ летятъ въ сторону. Освободившійся во время этого паденія Сохатый быстрѣе всѣхъ вскакиваетъ на ноги и, стрѣлой пробѣжавъ мимо насъ, кидается вонъ изъ камеры...

— Лови его! Держи его!—слышится бѣшеный ревъ двадцати голосовъ, и вдогонку бѣжитъ нѣсколько человѣкъ.

А въ камерѣ свалка, между тѣмъ, продолжается. Въ числѣ отвѣшивающихъ Лунькову „ложки“, къ удивленію своему, я замѣчаю и его сокамерника и товарища по ученью, Ногайцева, у котораго передъ тѣмъ „болѣло брюхо“...

Штейнгартъ сердится.

— Никогда больше не стану устраивать экзаменовъ. Безобразіемъ только всегда кончается... А сегодня еще слово мнѣ дали, что все прилично будетъ!

Но вотъ раздается звонокъ на обѣдъ, и староста показывается изъ кухни съ баландой въ рукахъ. Все сразу затихаетъ.

Послѣ обѣда тюрьма поголовно спитъ мертвецкимъ сномъ часа полтора или даже два. Рѣдко кто изъ арестантовъ прошмыгнетъ по корридору, направляясь въ кухню или больницу. За то къ вечеру все опять оживаетъ. Вездѣ пьютъ чай, ведутъ оживленныя бесѣды, поютъ хоромъ пѣсни. Надзиратель лишь изрѣдка появится и попроситъ „потише драть глотку“.

Однако, что за необыкновенный шумъ происходитъ въ четвертомъ номерѣ? Туда вся тюрьма бѣжитъ, какъ на интересное зрѣлище, а выходящая оттуда кобылка заливается веселымъ смѣхомъ. Изъ камеры доносятся звуки балалайки и какой-то странный мотивъ неизвѣстной мнѣ пѣсни. Откуда могла взяться въ тюрьмѣ скрипка или балалайка?

— Что тамъ такое? — спрашиваю я перваго изо встрѣчу арестанта.

— Это Чащинъ, чтобъ его язвило, волынку съ Михайломъ Иванычемъ третъ!

Михайло Иванычъ—мой пріятель Ногайцевъ, и я съ любопытствомъ захожу въ камеру. Чащинъ — арестантъ, по общему признанію, не изъ „дешевыхъ“, да и на мой взглядъ это человѣкъ недюжиннаго ума и силы. Онъ рецидивистъ, осужденный навѣчно, родомъ сибирякъ, изъ той же знаменитой всякаго рода фартовцами мѣстности Енисейской губерніи, откуда были и Семеновъ, и Гончаровъ съ Ракитинымъ, и многое множество другихъ шелайскихъ обитателей. Роста онъ немного выше средняго, худощавый, жилистый, весь точно изъ стали вылитый, слыветъ первымъ силачемъ въ тюрьмѣ; на лишенномъ всякой растительности испитомъ лицѣ лежитъ всегда печать солидности, но въ сѣрыхъ, умныхъ глазахъ свѣтится веселая иронія; за словомъ Чащинъ никогда не лѣзетъ въ карманъ, и остроты его отличаются большой ядовитостью. Въ общемъ же характеръ его не совсѣмъ для меня ясенъ.

Балалаечные звуки, оказалось, исходили изъ простой роговой гребенки и изъ собственныхъ искусныхъ губъ Чащина. Степенный и важный, безъ тѣни усмѣшки на губахъ, онъ грузно приплясываетъ передъ „Михайломъ Ивановичемъ“ и не перестаетъ наигрывать свой странный,—то веселый, то вдругъ раздирательно-плаксивый мотивъ.

— Балаганъ ты, мой ба-а-а-лаганъ!..—вырываются по временамъ изъ его груди хриплые, нѣсколько гнусливые звуки, и ихъ сопровождаетъ взрывъ веселаго хохота публики.

Толстякъ Ногайцевъ, въ шапкѣ и въ шубѣ, сидитъ на краешкѣ наръ, молчаливо пыхтя, широко раздувая ноздри и видимо съ каждой минутой все больше и больше свирѣпѣя. Но онъ еще сдерживается и хочетъ казаться въ высшей степени равнодушнымъ, для чего самъ иногда смѣется натянутымъ, неестественнымъ смѣхомъ.

— Вотъ дуракъ-то! вотъ дубина-то!—подаетъ онъ пренебрежительныя реплики, и, слыша ихъ, кобылка пуще того веселѣетъ.

— Ббала-га-анъ ты...—выдѣлываетъ опять на губахъ Чащинъ, уморительно топчась на одномъ мѣстѣ и все поглядывая на свою жертву; и Ногайцевъ все больше надувается, краснѣетъ, пыхтитъ и, наконецъ, выпаливаетъ:

— Остается только въ кухню пойти, да полѣно хорошее взять!..

Гомерическій хохотъ заглушаетъ эти негодующія слова. Чащинъ, конечно, не унимается.

— Въ чемъ тутъ у васъ дѣло, господа? — подхожу я къ своему пріятелю, желая его поддержать.

— Да вотъ посмотри, Миколаичъ, на дурака,—съ живостью обращается онъ ко мнѣ:—посмотри, какіе туесы у насъ въ Сибири на плечахъ растутъ! — И онъ указываетъ мнѣ на Чащина.

— А это вотъ въ чемъ дѣло, Иванъ Николаичъ,—даетъ мнѣ объясненіе самъ Чащинъ:—я пою ему, видите ли, пѣсенку родную... Какъ челдонъ нашъ, сибирячокъ любезный, кверху брюхомъ въ балаганѣ лежитъ, когда пельменей напрется, и поетъ, знай: „Бба-ла-га-а...“

— Тьфу, скотина!—не выдержавъ, посылаетъ ему плевокъ прямо въ лицо вскипѣвшій Ногайцевъ. Новый громъ неистоваго смѣха встрѣчаетъ эту его выходку. Но дальновидный Чащинъ во время успѣлъ замѣтитъ намѣреніе Михайлы Ивановича: извернувшись, какъ ужъ, онъ получилъ по своему адресу лишь нѣсколько незначительныхъ брызгъ слюны, весь же плевокъ пришелся, какъ разъ, въ самый ротъ стоявшему позади него одноглазому татарину Зулкарнаеву. Послѣдній заплевался, заругался на своемъ гортанномъ нарѣчіи, а отскочившій прочь Чащинъ уже опять пиликаетъ на гребенкѣ и тянетъ безконечно-монотонную пѣсню лежащаго кверху брюхомъ, объѣвшагося челдона Самъ „челдонъ“, онъ безподобно передаетъ и комически преувеличиваетъ манеры и интонацію сибиряка.

„Михайло Иванычъ“, давъ исходъ накопившемуся въ немъ гнѣву уже опять сидитъ на нарахъ съ дѣланной невозмутимостью и ждетъ новаго представленія. Я собираюсь уйти, видя здѣсь себя лишнимъ. Но дверь внезапно отворяется, и на порогѣ показывается Штейнгартъ. Онъ уже слыхалъ, конечно, обо всемъ, что здѣсь происходитъ, хотя дѣлаетъ видъ, что ничего не знаетъ,—и кричитъ, не заходя въ камеру:

— Ногайцевъ, не хотите ли прогуляться со мной? Вѣдь ужъ скоро повѣрка.

Ногайцевъ чрезвычайно обрадованъ этимъ неожиданнымъ избавленіемъ. Весь просіявшій, онъ тотчасъ же встаетъ съ наръ и идетъ, переваливаясь, къ дверямъ, не обращая вниманія на смѣхъ и тюканье кобылки. Только на порогѣ онъ на минуту

останавливается и, оглянувшись на Чащина, съ добродушной укоризной говоритъ:

— Ну, что взялъ, дурачокъ? Что взялъ?

Кобылка въ послѣдній разъ разражается громоподобнымъ хохотомъ, а Чащинъ беретъ на своей самодѣльной балалайкѣ прощальный аккордъ:

— Бба-ла...

Штейнгартъ молча увлекаетъ Ногайцева, и тотъ, плотнѣе закутываясь въ шубу и комично перекидывая съ боку на бокъ свое неуклюжее тѣло, поспѣшно выходитъ вслѣдъ за нимъ на тюремный дворъ. Зрѣлище окончено, кобылка весело расходится по своимъ мѣстамъ. До вечерней повѣрки остается уже какой-нибудь часъ, и вотъ полтюрьмы высыпаетъ на дворъ подышать свѣжимъ воздухомъ и поразмять застоявшіяся ноги. Большинство арестантовъ разгуливаютъ въ это время попарно; у каждаго именно для этихъ прогулокъ разъ навсегда заведенъ неизмѣнный товарищъ. Въ остальномъ, повидимому, и нѣтъ между людьми особенной дружбы,— живутъ въ разныхъ камерахъ, работаютъ различную работу, а какъ только выйдутъ подъ вечеръ гулять, глядишь—и очутились вмѣстѣ. И ходятъ, ходятъ, не уставая, кругомъ тюрьмы или больницы, въ глубокомъ молчаніи или обмѣниваясь незначительными фразами. Такъ Чирокъ гуляетъ обыкновенно со Степкой Челдончикомъ, Сохатый съ общимъ старостой Годуновымъ, съ которымъ въ другое время постоянно ссорится и грызется, Луньковъ съ Мишкой Звѣздочетомъ и т. д., и т. д. Ногайцевъ за послѣднее время, къ общему удивленію, сильно сдружился съ Штейнгартомъ и не отстаетъ отъ него ни на шагъ... Да и самому Штейнгарту, видимо, по сердцу пришлось общество почтеннаго Михайла Иваныча, такъ какъ онъ рѣдко подходитъ во время прогулокъ ко мнѣ или Башурову, и послѣдняго обстоятельство это немало огорчаетъ. Валерьянъ нерѣдко даже бесѣдуетъ со мной на эту тему.

— Какой странный сталъ Дмитрій въ послѣднее время! Онъ, точно, дичится насъ съ вами, а эта дружба его съ Ногайцевымъ положительно на какую-то загадку походитъ...

— Онъ просто усталъ, — пытаюсь я защитить Штейнгарта,— въ мирныя времена каждый вправѣ жить такъ, какъ хочетъ, своей внутренней жизнью.

— Такъ-то оно такъ,—возражаетъ Башуровъ,—но почему же

насъ, вотъ, съ вами и теперь другъ къ дружкѣ тянетъ, а не къ какому-нибудь, положимъ, Карпушкѣ Липатову?

Впрочемъ, и Валерьянъ въ сущности отлично понимаетъ, что всѣ „странности", которыя замѣчаются въ послѣднее время въ Штейнгартѣ, его молчаливость, нелюдимость съ товарищами и мрачный, подавленный видъ—имѣютъ, по всей вѣроятности, одну главную причину: вотъ уже около полугода, какъ онъ не имѣетъ никакихъ извѣстій о любимомъ человѣкѣ... Насъ тоже тревожитъ временами это долгое, кажущееся непонятнымъ отсутствіе писемъ, и втайнѣ мы сами строимъ всевозможныя мрачныя догадки, хотя и не высказываемъ ихъ другъ другу. Человѣкъ, лишенный свободы, лишенный всего дорогого ему на свѣтѣ, одиноко страдающій вдали отъ родины, отъ близкихъ ему людей, такъ мало склоненъ бываетъ объяснять ихъ молчаніе какими-либо нормальными, естественными причинами: ему всегда грезятся болѣзни, смерть, забвеніе... Тамъ, за стѣнами угрюмой тюрьмы, жизнь плетется себѣ обычной блѣдной колеей: разливаются рѣки, надолго задерживающія почту; точно на зло, письма пропадаютъ безъ всякихъ видимыхъ причинъ, или, еще проще, пишутся позже обыкновеннаго; но бѣдный узникъ ничего этого не знаетъ и ходитъ мрачный, какъ ночь, со смертью въ душѣ...

Какъ велика была радость Штейнгарта, когда и его страхи оказались, наконецъ, напрасными, и онъ сразу получилъ цѣлый рядъ славныхъ, полныхъ надежды, жизнерадостныхъ писемъ! Вся его отчужденность мигомъ опять исчезла, и однажды, когда я вдвоемъ работалъ съ нимъ въ верхней шахтѣ, а прочіе арестанты ушли наверхъ пить чай, онъ усѣлся возлѣ меня и, какъ въ первую памятную ночь знакомства, оживленно, долго и съ задушевной откровенностью разсказывалъ мнѣ о своемъ недавнемъ душевномъ состояніи.

— Неужели вы не понимали, почему я сторонился отъ васъ съ Валерьяномъ? Въ вашихъ глазахъ я ловилъ постоянные вопросы: что съ тобой? Не можемъ-ли мы чѣмъ помочь тебѣ? И это было такъ тяжело, такъ невыносимо тяжело. Когда отъ самого себя готовъ убѣжать и скрыться, то общество подобныхъ еще меньше можетъ удовлетворить. Ну, а вотъ какой-нибудь Ногайцевъ... Ахъ, это совсѣмъ другое дѣло! Повѣрите-ли, Иванъ Николаевичъ, я только теперь научился цѣнить, какъ слѣдуетъ, эту простую, чуждую всякихъ хитрыхъ затѣй душу. Если бъ вы знали,

сколько нѣжной чуткости открылъ я въ сердцѣ этого полузвѣря, убійцы трехъ человѣкъ! Разъ вечеромъ, — какъ сейчасъ помню, передъ повѣркой,—сижу я на завалинѣ подъ кухоннымъ окномъ, въ сторонѣ отъ публики, смотрю—онъ прямо ко мнѣ ковыляетъ, ухмыляется: „Чего затуманился, дружокъ? Аль ужъ всѣ пути-дороженьки запали?“ И я не сумѣю вамъ передать, какъ онъ это просто, какъ задушевно-просто сказалъ!.. У меня отъ этихъ словъ по сердцу такая теплая волна прошла, и въ глазахъ все сразу просвѣтлѣло. Неужто-жъ, подумалъ я, и въ самомъ дѣлѣ, всѣ пути-дороженьки для меня запали? Развѣ человѣкъ, стоющій этого имени, исчерпывается однимъ какимъ-либо интересомъ, чувствомъ? И если бы даже погибли всѣ мои личныя привязанности и радости, то развѣ не продолжала бы мнѣ свѣтить звѣзда идеала, которой я посвятилъ свою жизнь и свободу? Къ ней-то во всякомъ ужъ случаѣ не запали пути-дороженьки!..

— Такъ вотъ видите,— закончилъ Штейнгартъ съ радостной улыбкой, — какія сложныя мысли и чувства разбудилъ во мнѣ самый простой и немудрый вопросъ нашего забавнаго, толстаго увальня, Михайла Иваныча... И съ этого дня началась наша нѣжная дружба!

XIV.

„Атаманъ Буря“ и начало его карьеры.

Въ одной изъ новыхъ партій, прибывшихъ въ Шелай, оказался молоденькій еврейчикъ, по фамиліи Шустеръ. По его собственнымъ словамъ, ему было 23 года, но на видъ онъ былъ значительно моложе. Маленькаго роста, свѣженькій, всегда чистенькій, румяный, съ большими черными глазами, необыкновенно живыми и блестящими, онъ отличался изысканно-вѣжливыми манерами и, раскланиваясь со мной при встрѣчахъ, всегда граціозно расшаркивался; рѣчь его, слегка картавая, тоже изобличала человѣка, получившаго нѣкоторый лоскъ образованія, и, дѣйствительно, при разспросахъ оказалось, что юноша учился когда-то во II классѣ гимназіи и, кромѣ того, самъ кое-что читалъ; онъ былъ вообще очень неглупъ, развитъ, писалъ почти вполнѣ грамотно, и невольно какъ-то думалось, что съ арестантской массой ничто не связываетъ этого человѣка, кромѣ сѣрой арестантской куртки и какого-нибудь случайнаго несчастія, толкнувшаго его въ среду преступныхъ и развращенныхъ людей. Специфически-еврейскихъ

чертъ въ наружности Шустера было мало, и первое время меня крайне удивляло, что арестанты, тѣмъ не менѣе, почти всѣ называли его „жидомъ“, и называли съ явнымъ недоброжелательствомъ, почти съ презрѣніемъ. Бывали въ нашей тюрьмѣ и другіе евреи, несравненно болѣе типичные, и случалось, что ихъ тоже ругали жидами, но въ ругани этой, какъ я уже говорилъ выше, не слышалось никакой ненависти; между тѣмъ, Шустеръ составлялъ въ этомъ отношеніи какое-то странное исключеніе. Кобылка, несомнѣнно, его не любила, и долгое время я объяснялъ это тѣмъ, что онъ, что называется, отъ своихъ отсталъ и къ чужимъ не присталъ. Дѣйствительно, даже сѣрые арестантскіе штаны и бушлатъ съ двумя черными тузами на спинѣ сидѣли на его гибкой фигурѣ какъ-то приличнѣе—я чуть не сказалъ изящнѣе, нежели на остальныхъ каторжныхъ; онъ былъ со всѣми ласковъ и какъ-то вкрадчиво вѣжливъ, и когда проходилъ, бывало, по корридору или по камерѣ быстрой, граціозной походкой, румяненькій, гладко причесанный, бросая кругомъ блестящіе, робко ласкающіе взгляды, то каждый разъ напоминалъ мнѣ собою котенка, желающаго приласкаться ко всякому встрѣчному... Но Шустера не ласкали, а, напротивъ, обрывали на каждомъ шагу сердитымъ возгласомъ:

— Ахъ ты, жидина пархатая!

Ему съ большимъ удовольствіемъ загибали салазки, дѣлали вселенскія смази, отрубали банки. Шустеръ въ такихъ случаяхъ никогда не защищался, онъ даже не бранился, не кричалъ, а только продолжалъ вкрадчивымъ голосомъ уговаривать или умолять палачей не трогать, не мучить его.... Онъ явно старался въ то же время поддѣлаться къ тюремнымъ силачамъ и воротиламъ, билъ передъ ними, какъ говорится у арестантовъ, хвостомъ, шутилъ, заигрывалъ, и иногда ему удавалось достичь своей цѣли: какой-нибудь Чащинъ или Быковъ расхаживалъ съ нимъ по двору, фамильярно обнявшись и дружелюбно бесѣдуя. Но проходило нѣсколько минутъ, и тотъ же Чащинъ давалъ своему новому пріятелю здоровенный пинокъ и кричалъ свирѣпо:

— Убирайся ты отъ меня, шкура тюремная!..

Мнѣ становилось порой искренно жалко этого загнаннаго, нелюбимаго всѣми еврейчика. Но арестанты, когда я приста
къ нимъ съ разспросами о причинахъ такого всеобщаго
нія, отдѣлывались обыкновенно шутками или общими фр

Но вотъ въ одинъ прекрасный день въ камерѣ нашей узнали, что въ первомъ номерѣ, гдѣ до тѣхъ поръ жилъ Шустеръ, кто-то сильно побилъ его, и что онъ переводится къ намъ. Извѣстіе это встрѣчено было единодушнымъ ропотомъ;

— Слышали, къ намъ жида переводятъ?

— Это Катьку-то?

— Ну. Чтобъ черти ее задавили... Не могъ Алешка крышку ей сдѣлать, гадинѣ этакой!

— Я, братцы, ни за что съ ей рядомъ не лягу; пущай Шестиглазый въ карецъ лучше сажаетъ—не лягу!

— И я тоже. Пущай на полу ложится!

Тутъ только глаза мои открылись: сожители мои говорили на этотъ разъ слишкомъ недвусмысленно, не оставляя мѣста уже никакимъ сомнѣніямъ... И хоть сомнѣніе продолжало во мнѣ шевелиться (мало ли какіе поклепы взводили арестанты другъ на друга!), но, признаюсь, и я ощутилъ невольное чувство брезгливости къ этому юношѣ, съ которымъ до тѣхъ поръ находился въ такихъ хорошихъ отношеніяхъ.

Дверь отворилась — и въ камеру вошелъ съ своими вещами Шустеръ, робкій, смущенный, встрѣченный гробовымъ молчаніемъ, словно будто, не замѣтившихъ его арестантовъ. Но слѣдомъ за нимъ вбѣжалъ Петинъ-Сохатый, отсутствовавшій во время предыдущаго разговора, и весело закричалъ:

— Сюда, Шустрый, ложись рядомъ со мной, въ товарищахъ будемъ!

Слова эти вызвали общее хихиканье, но Сохатый не обратилъ на него вниманія. Это былъ человѣкъ каприза и настроенія: сегодня онъ, точно намѣренно, шелъ противъ общественнаго мнѣнія, а завтра былъ его послушнымъ рабомъ. Всѣ это отлично знали и никто не удивился поэтому его рѣшенію принять къ себѣ Шустера. Послѣдній, конечно, съ радостью отнесся къ приглашенію Сохатаго и, положивъ тотчасъ же свою подстилку рядомъ съ его, въ углу камеры, весь день явно ухаживалъ за своимъ сильнымъ покровителемъ, бѣгалъ въ кухню заваривать ему чай, заглядывалъ ему по-собачьи въ глаза, предупреждалъ малѣйшее его желаніе... Остальные арестанты дѣлали видъ, будто не замѣчаютъ присутствія въ камерѣ новаго сожителя. Что касается меня, то я рѣшилъ держаться нейтралитета и наблюдать; однако, какъ я сказалъ уже, во мнѣ шевелилось гадливое чув-

ство, перенесшееся съ Шустера и на Сохатаго, такъ подозрительно съ нимъ подружившагося: противъ собственнаго желанія, я сталъ держаться съ ними обоими сухо и преувеличенно-холодно... Но прошло нѣсколько дней и мои подозрѣнія совершенно разсѣялись. Отношенія Шустера съ Сохатымъ носили, повидимому, вполнѣ невинный характеръ, да и самъ Шустеръ продолжалъ производить впечатлѣніе запуганнаго малаго съ очень симпатичнымъ, деликатнымъ нравомъ и интеллигентной душевной складкой; онъ съ такимъ вниманіемъ, съ такой жадностью прислушивался ко всякому разговору, въ которомъ я принималъ участіе, и изъ котораго онъ надѣялся извлечь что-либо интересное или поучительное. И мнѣ думалось: если даже и лежало на прошломъ этого мальчика то позорное пятно, въ которомъ обвиняла его кобылка, то оно объяснялось, быть можетъ, дурной, развращающей атмосферой, господствующей въ большинствѣ каторжныхъ тюремъ; здѣсь же, при лучшихъ условіяхъ жизни, подъ вліяніемъ моимъ и моихъ товарищей, эта молодая, способная душа можетъ еще проснуться, возродиться, ужаснуться своего прежняго паденія... Переходъ въ нашъ номеръ казалося во всѣхъ отношеніяхъ благодѣтельнымъ для Шустера. Онъ велъ себя такъ тихо и кротко, такъ готовъ былъ услужить каждому, что скоро вся камера примирилась съ его присутствіемъ, и я сталъ замѣчать, что тѣ самые арестанты, которые недавно еще соглашались лучше пойти въ карцеръ, чѣмъ лежать рядомъ съ поганымъ „жидиной“, теперь охотно пили вмѣстѣ съ нимъ чай и разгуливали по двору. А однажды вечеромъ Шустеръ явился даже героемъ, привлекшимъ къ себѣ общее вниманіе и сочувствіе. Всѣ уже ложились спать, какъ вдругъ изъ угла, гдѣ помѣщался Сохатый съ своимъ новымъ пріятелемъ, послышались такія рѣчи:

— „Я—атаманъ Буря! Кто хочетъ помѣряться со мной отвагой и силами? Громъ и молнія! Кто дерзнетъ отнять у меня любимую дѣвушку? Я разыщу ее на днѣ моря, я достану ее изъ адской пропасти, вырву изъ когтей тысячи демоновъ! Эй, мой вѣрный есаулъ, явись сюда на зовъ своего атамана!

— „Я здѣсь, доблестный атаманъ. Что твоей милости угодно?

— „Гдѣ мои молодцы?

— „Недалеко, въ оврагѣ за рощей...

— „Чтобы ровно къ двѣнадцати часамъ, въ полночь, всѣ были

готовы. Намъ предстоитъ кровавый пиръ-свадьба... Разгуляемъ мечи наши, потѣшимъ молодецкую удаль!

— „Слушаю, храбрый атаманъ. Всѣ мы за тебя съ радостью головы свои сложимъ. Но и врагу нашему несладко придется! Какъ коршуны, налетимъ мы, не одну буйную голову посѣчемъ, не одну красную дѣвицу въ полонъ возьмемъ!“

И т. д., и т. д.

Арестанты, какъ одинъ человѣкъ, повскакали съ наръ и кинулись къ сценѣ. Это Шустеръ давалъ Сохатому даровое представленіе. Онъ началъ тихимъ, еле слышнымъ голосомъ, но, замѣтивъ произведенное впечатлѣніе, разошелся и загремѣлъ такъ, будто и въ самомъ дѣлѣ вообразилъ себя атаманомъ Бурей... Я тоже съ любопытствомъ прислушивался. Содержаніе пьѣсы было вполнѣ нелѣпое, отъ начала до конца все въ томъ же ложно-романтическомъ стилѣ, но кобылку оно приводило въ неистовый восторгъ. Оказалось, что въ Алгачахъ, гдѣ Шустеръ жилъ раньше около года, былъ одинъ арестантъ, знавшій наизусть всего „Царя Максимиліана“ и другія подобныя же пьесы неизвѣстныхъ авторовъ, до сихъ поръ имѣющія большую популярность въ нашемъ тюремномъ и солдатскомъ мірѣ. Отъ него-то и перенялъ способный Шустеръ нѣсколько сценъ, особенно поразившихъ его воображеніе. Много вечеровъ нодъ-рядъ заставляли его арестанты повторять представленіе, а днемъ водили съ этой же цѣлью по другимъ камерамъ, и онъ исполнялъ свои роли съ величайшимъ удовольствіемъ и готовностью, расходясь все больше и больше и выкрикивая монологи атамана Бури такимъ раздирательно-зычнымъ голосомъ, что надзиратели подходили къ дверной форточкѣ унимать его. Шустеръ сразу сдѣлался однимъ изъ самыхъ популярныхъ людей въ тюрьмѣ; встрѣчаясь съ нимъ, всѣ улыбались и говорили:

— А, атаманъ Буря! Какъ живешь-можешь? Гдѣ теперь твои молодцы-удальцы?

— Громъ и молнія! — отвѣчалъ обыкновенно новоявленный атаманъ:—заперли меня лихіе вороги въ клѣтку желѣзную, обрѣзали соколу могучія крылья... Но дождусь я своего краснаго дня, вырвусь на вольную волюшку—и грозна будетъ моя месть тѣмъ, кто предалъ и погубилъ меня!

И вокругъ него тотчасъ же собиралась кучка любопытныхъ. Исчезла прежняя запуганность и робость Шустера: онъ сдѣлался

говорливымъ, живымъ, общительнымъ, и не разъ я видѣлъ, какъ онъ самъ уже сидѣлъ на комъ-нибудь верхомъ и ставилъ банки... Кобылка совсѣмъ, казалось, забыла о тѣхъ слухахъ, которые дѣятельно распускала раньше на его счетъ.

Со мной онъ держался попрежнему почтительно, почти благоговѣйно, и какъ только я начиналъ заниматься съ своими учениками, онъ присаживался потихоньку къ столу и внимательно прислушивался, задавая мнѣ время отъ времени разные вопросы. Кончилось это тѣмъ, что я и его пригласилъ заниматься (раньше онъ нѣсколько дней учился у Штейнгарта). Оказалось, разумѣется, что онъ многое позабылъ, что̀ зналъ когда-то въ гимназіи; однако стоило ему рѣшить нѣсколько ариѳметическихъ задачъ, написать нѣсколько диктантовъ, и все позабытое быстро возстановилось въ памяти: въ письмѣ онъ началъ ставить правильно не только букву ѣ, но даже и знаки препинанія. Шустеръ выказывалъ большую наклонность вступать въ бесѣды и на другія темы, непосредственно не относившіяся къ ученью, и меня поражала каждый разъ глубокая искренность, звучавшая въ его разсужденіяхъ о необходимости жить честнымъ трудомъ, о томъ, какое страшное несчастіе попасть въ молодые годы въ каторгу и пр. Однажды я заговорилъ объ его прошломъ, спросилъ, что привело его въ тюрьму.

— Эхъ, Иванъ Николаевичъ, долго разсказывать!—вздохнулъ Шустеръ: — съ тринадцати лѣтъ вѣдь началось это со мной... Мнѣ самому ужасно хотѣлось бы все разсказать вамъ такъ, какъ вотъ попу на духу разсказываютъ.

— Почему хотѣлось бы?

— Въ душѣ ужъ очень много накипѣло, Иванъ Николаевичъ, всякихъ обидъ, униженій... Чего вѣдь только не пришлось мнѣ пережить за эти десять лѣтъ! Не скрою отъ васъ, что я и самъ очень много пакостей на своемъ вѣку надѣлалъ... Не назову я себя хорошимъ человѣкомъ, зачѣмъ лицемѣрить! Но только я вполнѣ надѣюсь, что я не вовсе еще погибшій человѣкъ, и попади я въ хорошую компанію, я бы могъ еще бросить дурныя привычки. Ну, вотъ мнѣ и хотѣлось бы все разсказать вамъ... Быть можетъ, вы мнѣ и добрый бы совѣтъ подали.

— Зачѣмъ же дѣло стало? Хоть сейчасъ начинайте, я с удовольствіемъ стану васъ слушать.

— Нѣтъ, Иванъ Николаевичъ. Многое мнѣ, пожалуй, сты

будетъ вамъ на словахъ обсказывать, и я, быть можетъ, стану привирать... А мнѣ пришло въ голову на письмѣ описать вамъ свою жизнь.

— Это будетъ еще лучше, — съ живостью ухватился я за любопытное предложеніе,—сумѣете ли вы только?

— Думаю, что сумѣю. Вотъ бумаги только много понадобится...

За бумагой, однако, дѣло не стало—я согласился доставлять ее въ какомъ угодно количествѣ, и работа закипѣла. Мнѣ оставалось лишь удивляться, съ какой быстротой Шустеръ исписывалъ тетрадку за тетрадкой и передавалъ мнѣ. Я еле успѣвалъ добывать бумагу и карандаши. Содержаніе этой сохранившейся у меня автобіографіи кажется мнѣ довольно интереснымъ, и я хочу цѣликомъ привести ее здѣсь, по возможности въ подлинныхъ выраженіяхъ. Позволяю себѣ дѣлать только сокращенія и чисто формальныя поправки, которыхъ, къ тому же, и не такъ много. Что всего удивительнѣе—иностранныя слова, въ изобиліи встрѣчающіяся въ произведеніи Шустера, употребляется имъ всегда правильно и вполнѣ кстати.

„Отецъ мой былъ стараго покроя фанатикъ и, не смотря на то, что много лѣтъ жилъ въ Петербургѣ среди цивилизованныхъ евреевъ, всетаки не разставался съ своими талмудическими суевѣріями, которыя считалъ закономъ. Древне-еврейскій языкъ, пятикнижіе, талмудъ и гемору онъ зналъ въ совершенствѣ и, занимаясь обученіемъ еврейскихъ дѣтей всей этой премудрости, жилъ не только безбѣдно, но даже съ нѣкоторымъ комфортомъ. За то остальныя всѣ науки онъ считалъ вздоромъ, противнымъ талмуду, а по-русски не умѣлъ даже подписать своего имени. Немалаго труда стоило моей матери, которая была женщиной теперешняго поколѣнія, убѣдить отца отдать меня въ Александровскую гимназію. Но судьба съ дѣтства меня преслѣдовала, и вотъ, какъ только исполнился мнѣ 13-й годъ,—годъ, въ который каждый еврей вступаетъ въ совершеннолѣтіе,—отецъ взялъ меня изъ II класса подъ тѣмъ предлогомъ, что въ гимназіи меня заставляютъ писать по субботамъ, что противно талмуду; онъ боялся, что, благодаря этому, я совсѣмъ развращусь и перестану исполнять религіозные обряды. Горько мнѣ было бросать ученье и среду образованныхъ людей, но дѣлать было нечего; я вышелъ изъ гимназіи съ самыми пустыми знаніями. Отецъ опредѣлилъ меня въ свой собственный чулочный магазинъ. Нужно вамъ сказать, что самъ онъ ничего не

онималъ въ этомъ дѣлѣ, но устроилъ чулочную мастерскую лавнымъ образомъ для того, чтобы имѣть право жить въ Петер-ургѣ, и много пришлось ему потратить денегъ сперва на то, тобы купить дипломъ мастера въ одномъ виленскомъ еврейскомъ бществѣ, а затѣмъ, не имѣя въ самомъ дѣлѣ никакихъ знаній, дать въ с-петербургской ремесленной управѣ провѣрочный экза-енъ. Послѣ этого онъ купилъ десять машинъ, по 400 и 500 руб. аждую, и нанялъ мастерицъ для работы. Какъ видите, у отца оего водились деньги...

„И вотъ годъ спустя я былъ въ этой мастерской полнымъ озяиномъ. Но я не чувствовалъ никакой склонности къ торговлѣ , досадуя на отца за вредъ, который онъ мнѣ причинилъ, отно-ился къ дѣлу крайне небрежно: началъ заводить знакомства съ уляками и помаленьку таскать деньги изъ магазина... Отецъ скорѣ все это замѣтилъ и сталъ жестоко наказывать меня, бить, учить, не давать ѣсть по два, по три дня. Конечно, всѣ эти ѣры только еще болѣе озлобляли меня; случалось, что изъ страха пропадалъ на нѣсколько дней изъ дому, меня отыскивали, и огда слѣдовала новая, еще болѣе суровая расправа... Побившись о мной такимъ образомъ мѣсяца три-четыре, отецъ въ одинъ рекрасный день отдалъ меня въ ученье къ знакомому ювелиру ь условіемъ, если онъ выучитъ меня въ два года ювелирному скусству, заплатить ему двѣсти рублей. Новая работа пришлась нѣ по душѣ, и я началъ остепеняться. Мнѣ было у моего хо-яина очень хорошо, такъ какъ никакихъ грязныхъ домашнихъ аботъ, какъ это бываетъ обыкновенно съ мальчиками-учениками, нъ не заставлялъ меня дѣлать. Съ перваго же дня меня стали чить паять, шлифовать, полировать, дѣлать цѣпочки и пр., я нимался прилежно. Самъ хозяинъ плохо умѣлъ работать, онъ юбилъ за то погулять, пощеголять и мастерской своей почти е касался; за то у него былъ подмастерье, который очень хо-ошо зналъ свое дѣло, но за которымъ водился одинъ грѣхъ— юбовь къ водкѣ и картамъ. Впрочемъ, Богдановъ былъ честный алый, и хозяинъ любилъ его.

„Обѣдать и ночевать я ходилъ каждый день домой, такъ какъ тецъ не желалъ, чтобы я ѣлъ у хозяина трефное. Такъ прошло ъ полгода. Случилось разъ, что выпившій Богдановъ ковалъ на раслетъ пять золотниковъ золота и такъ неловко ударилъ мо-откомъ, что золото выскочило у него изъ рукъ на полъ и

1

пропало. Дѣло было вечеромъ, хозяина не было дома. Мы съ Богдановымъ принялись искать, но ничего не нашли, и онъ приказалъ мнѣ идти домой, говоря, что завтра отыщется. Я отправился домой, а Богдановъ въ кабакъ. Дома я разсказалъ объ этой исторіи отцу, и отецъ тотчасъ же заключилъ изъ моего разсказа, что золото укралъ я, хотя и ничего не сказалъ мнѣ объ этомъ. По утру, напившись чаю, я отправился, какъ всегда, въ мастерскую. Богдановъ еще не вернулся съ ночной гулянки, и хозяинъ сталъ разспрашивать меня, какъ это такъ случилось вчера, что пропало золото. Вдругъ входитъ мой отецъ. Поздоровавшись съ хозяиномъ, онъ отозвалъ его тотчасъ же въ сторону и спросилъ, нашлось-ли золото. Хозяинъ отвѣчалъ, что нѣтъ. Тогда отецъ разсказалъ ему обо всѣхъ моихъ прежнихъ грѣхахъ и заявилъ, что золото укралъ непремѣнно я, и что меня слѣдуетъ наказать. Какъ не повѣрить родному отцу? Ювелиръ предложилъ мнѣ немедленно сознаться и вернуть покражу, обѣщаясь простить меня и не прогонять. Но въ чемъ было мнѣ сознаваться? Я плакалъ, клялся, божился—ничто не помогло; меня тутъ же разложили и дали 50 розогъ, послѣ чего хозяинъ сказалъ, чтобъ я не приходилъ больше, пока не отдамъ золота. Однако, приведя меня домой, отецъ принялся снова бить меня самымъ жестокимъ образомъ. Боже мой! какихъ только мученій я тутъ не перенесъ, и если бы мать не позвала сосѣдей и меня не отняли бы, я бы умеръ, навѣрно, у него подъ руками; меня и такъ чуть тепленькаго унесли...

„На четвертый послѣ того день приходитъ къ намъ мой хозяинъ, извиняется и разсказываетъ отцу, что утромъ мыли полъ въ мастерской и подъ половикомъ нашли закатившееся въ щель золото. Но отецъ отвѣчалъ, что это еще не доказательство моей невинности: я могъ взять золото и спрятать туда, а поэтому нечего жалѣть, что меня наказали; это послужитъ мнѣ хорошимъ урокомъ на будущее время... Хозяинъ, тѣмъ не менѣе, велѣлъ мнѣ одѣться и ѣхать съ нимъ въ его мастерскую. Тамъ онъ обласкалъ меня, и все пошло по старому. —Какъ разъ наканунѣ Рождества, одинъ господинъ приноситъ серебряный портмонэ и проситъ его вызолотить. Работы у насъ было очень много, и хозяинъ, положивъ портмонэ на верстакъ, сказалъ, что послѣ праздниковъ исполнитъ заказъ. Прошли и праздники. Въ самый день новаго года я былъ дома и никуда не выходилъ. Утромъ слѣдующаго дня хозяинъ велѣлъ мнѣ

отшлифовать и вычистить портмонэ. Я посмотрѣлъ на верстакъ—его тамъ не было; заглянулъ въ ящикъ—и тамъ не было; пересмотрѣлъ всѣ коробочки, спросилъ у Богданова и, наконецъ, у самого хозяина. Послѣдній самъ перерылъ всю мастерскую и тоже ничего не нашелъ. Тогда онъ подозвалъ меня и спросилъ, не я ли взялъ. Если я взялъ и теперь возвращу назадъ, то онъ проститъ меня, и ни отецъ мой, никто другой никогда ничего не узнаютъ. Я, конечно, отпирался и божился. Тогда хозяинъ приказалъ Богданову никуда не выпускать меня изъ квартиры. Вечеромъ пришелъ къ нему въ гости смотритель арестнаго дома (должно быть, его нарочно позвали). Долго они сидѣли вдвоемъ въ кабинетѣ хозяина и о чемъ-то бесѣдовали, потомъ позвали меня. Хозяинъ объявилъ мнѣ, что, если я не сознаюсь, то смотритель немедленно арестуетъ меня и увезетъ въ тюрьму. А смотритель прибавилъ: „Закую тебя въ ручные и ножные кандалы и заморю голодомъ. Лучше, братецъ, сознайся и скажи, гдѣ спряталъ портмонэ". Мнѣ стало страшно... Я тогда не зналъ еще, что меня не имѣли права арестовать, когда никакихъ уликъ не было, и я повѣрилъ угрозамъ. Чтобы какъ-нибудь избѣжать тюрьмы и отсрочить наказаніе, я объявилъ со слезами на глазахъ, что дѣйствительно укралъ портмонэ и спряталъ на дворѣ въ снѣгу. Смотритель тогда засмѣялся и со словами: „Вотъ такъ-то будетъ лучше!"—простился и уѣхалъ домой. А хозяинъ зажегъ фонарь и повелъ меня въ указанное мной мѣсто. Долго мы тамъ рылись безъ всякихъ результатовъ, но я продолжалъ увѣрять хозяина, что не ошибся и спряталъ именно въ этомъ мѣстѣ. Наконецъ, онъ отложилъ поиски до утра и велѣлъ мнѣ ночевать эту ночь у него. Мнѣ это не совсѣмъ понравилось, но дѣлать, конечно, было нечего. Оказалось, что моя шапка и пальто были уже спрятаны, и за мной тщательно слѣдили. Утромъ, едва только разсвѣло, хозяинъ послалъ служанку за моимъ отцомъ, и тутъ только я понялъ, что надѣлалъ вчера своимъ глупымъ сознаніемъ. Улучивъ удобную минуту, я выскочилъ, въ чемъ былъ, на улицу и побѣжалъ, куда глаза глядятъ, по Екатерингофскому проспекту. Добѣжавъ до Садовой, я остановился. Утро было холодное, трещалъ январьскій морозъ, а я былъ безъ шапки и въ одной рабочей блузѣ. У меня слезы проступали изъ глазъ отъ стужи, обиды и горя: въ карманѣ не было ни копѣйки денегъ, не было и друзей... Но домой я рѣшилъ не возвращаться. Завернувъ въ Малковъ переулокъ, я очутился возлѣ еврейской синагоги. На мое счастье служба уже

отошла, и тамъ былъ только одинъ слѣпой старикъ. Пройдя незамѣченнымъ, я забрался подъ „бименъ“; такъ называется стоящее по срединѣ синагоги возвышеніе вродѣ каѳедры, подъ которымъ устраивается маленькая кладовая для храненія разныхъ рваныхъ книгъ и листовъ („шеймесъ“). По еврейскимъ законамъ нельзя ихъ бросать зря, но ихъ тщательно собираютъ и въ извѣстное время года отвозятъ на кладбище и тамъ зарываютъ въ землю. Вотъ туда-то я и залѣзъ и заперъ за собой дверцу.

„Отецъ, узнавъ обо всемъ отъ хозяина, выбѣжалъ изъ мастерской, взялъ извозчика и поѣхалъ меня искать по городу. Кто-то дорогой сказалъ ему, что видѣлъ, какъ я повернулъ въ Малковъ переулокъ. Отецъ отправился тотчасъ же въ синагогу, рѣшивъ, что больше мнѣ некуда дѣться; но синагога оказалась уже запертой. Тогда отецъ разсказалъ обо всемъ сторожу и упросилъ его отворить синагогу. Боже мой! Сердце у меня замерло, когда я услыхалъ шаги и голосъ отца и понялъ, что онъ роется по ящикамъ и смотритъ подъ скамьями... Я уже думалъ, что вотъ-вотъ онъ найдетъ меня и все глубже зарывался въ рваные листы и книги. Но гроза на время прошла, и я слышалъ, какъ отецъ велѣлъ сторожу дать ему знать, какъ только я появлюсь. Сторожъ заперъ на замокъ дверь, и я опять вздохнулъ свободнѣе. Но скоро я почувствовалъ страшный голодъ, утолить который было, разумѣется, нечѣмъ, и съ досады я проспалъ нѣсколько часовъ. Помню, что это было въ пятницу. Меня разбудилъ сильный шумъ, поднявшійся въ синагогѣ: это евреи сошлись на вечернюю молитву („маарив“). Она окончилась, впрочемъ, скоро, и сторожъ позвалъ дворника, чтобы тотъ погасилъ свѣчи (сами евреи не могутъ на субботу гасить огонь) и оставилъ горящей только одну большую свѣчу, поставленную въ поминъ усопшаго, — ея нельзя было тушить („іоръ цейтъ“). Убравши все, какъ слѣдуетъ, сторожъ вышелъ и опять заперъ дверь на замокъ. Впрочемъ, я хорошо зналъ, что замокъ этотъ виситъ только для славы и отъ одного толчка можетъ разлетѣться въ прахъ Нѣкоторое время я чутко прислушивался — все было тихо кругомъ, и я рѣшился, наконецъ, вылѣзти изъ-подъ бимена и осмотрѣться. За стѣнкой раздавался стукъ тарелокъ и говоръ людей: это жившій здѣсь же сторожъ ужиналъ со своимъ семействомъ. Голодъ мучительно давалъ мнѣ о себѣ знать; надо было, во чтобы то ни стало, выбраться изъ синагоги и куда-нибудь уѣхать. Но у меня не было

ни теплой одежды, ни денегъ. Я увидалъ тогда на стѣнѣ три жестяныя кружки, въ которыя кладется денежный сборъ, и рѣшилъ прежде всего поживиться этими деньгами. Хорошо зная еврейское повѣрье, что съ пятницы на субботу мертвые приходятъ въ синагогу молиться, и будучи увѣренъ, что ни одинъ фанатикъ не рѣшится въ это время войти въ нее, я не сталъ дожидаться, пока у сторожа уснутъ: быстро сломалъ кружки и забралъ къ себѣ въ карманы все серебро и мѣдь, какія тамъ находились (потомъ оказалось—около двѣнадцати рублей; потомъ взялъ скамейку и со всего размаху ударилъ ею въ дверь. Плохо державшійся пробой вылетѣлъ, дверь растворилась настежъ, и я выбѣжалъ въ корридоръ... Но тутъ случилось совсѣмъ не то, чего я ожидалъ. У сторожа былъ въ это время въ гостяхъ какой-то молодой еврей, и когда послышался въ синагогѣ шумъ, на смерть перепугавшій сторожа и его семью, этотъ молодой человѣкъ не струсилъ, взялъ, не смотря на шабашъ, свѣчку, выбѣжалъ въ корридоръ и схватилъ мнимаго мертвеца за шиворотъ. О какомъ-либо сопротивленіи съ моей стороны не могло быть и рѣчи,—я былъ безоруженъ,—и я повиновался. Молодой человѣкъ повелъ меня къ сторожу, но понадобилось, по крайней мѣрѣ, полчаса времени для того, чтобы сторожъ пришелъ въ себя и повѣрилъ, что это былъ я, а не злой духъ, принявшій мой образъ... Опамятовавшись, онъ одѣлся и пошелъ дать знать о происшедшемъ моему хозяину, хорошо зная, что ему за это перепадетъ на чай. Между тѣмъ, арестовавшій меня молодой еврей зорко караулилъ меня и хотѣлъ даже дать мнѣ ѣсть; но сторожиха запротестовала, сказавъ, что я уголовный преступникъ, и что меня грѣшно кормить.

„Явился, наконецъ, и мой хозяинъ. Вскричавъ извозчика, онъ повезъ меня къ себѣ и дорогой все уговаривалъ сказать, куда я дѣлъ портмонэ (въ снѣгу его нигдѣ не оказалось), причемъ обѣщалъ не только защитить отъ гнѣва отца, но даже и наградить меня. Но я отказался отъ прежняго своего показанія, сказавъ, что солгалъ тогда изъ страха передъ смотрителемъ тюрьмы, а что, на самомъ дѣлѣ, я ничего не кралъ и ничего не знаю. Пріѣхавши въ мастерскую, хозяинъ сейчасъ же послалъ за моимъ отцомъ. Явился отецъ и, узнавъ, что я опять отъ всего отперся, потребовалъ, чтобы хозяинъ отпустилъ меня домой, гдѣ онъ скорѣе добьется отъ меня правды. Я хорошо понималъ, какими

средствами станетъ онъ добиваться правды, и началъ умолять хозяина не отпускать меня. „Я не въ правѣ тебя задерживать, отвѣчалъ хозяинъ, такъ какъ не имѣю противъ тебя никакихъ уликъ. Вотъ если бы ты сознался, тогда другое дѣло, тогда я оставилъ бы тебя". И я опять рѣшился лучше наклеветать на себя, чѣмъ попасть отцу въ руки. Напротивъ нашей мастерской жилъ переплетчикъ-нѣмецъ, и у него находился въ ученьи мальчикъ. Вспомнивъ про него, я сказалъ хозяину, что точно укралъ портмонэ и передалъ на храненіе этому мальчику. Хозяинъ обрадовался моему показанію, похвалилъ меня и даже спросилъ, ѣлъ ли я сегодня. А я умиралъ отъ голода. Онъ далъ мнѣ выпить рюмку водки и съѣсть кусокъ бутерброда, а затѣмъ, заперевъ меня въ чуланѣ, вмѣстѣ съ моимъ отцомъ отправился къ переплетчику-нѣмцу; былъ уже двѣнадцатый часъ ночи. Переплетчикъ, выслушавъ разсказъ, предложилъ гостямъ произвести обыскъ въ вещахъ своего мальчика, и когда въ нихъ ничего не нашлось, разбудилъ мальчика, который давно уже спалъ, и началъ допрашивать. Мальчикъ клялся и божился, что ничего отъ меня не бралъ, что даже и не видѣлъ меня наканунѣ новаго года. Такъ, ничего не добившись, хозяинъ съ отцомъ вернулись назадъ въ мастерскую. Отецъ снова сталъ требовать меня къ себѣ домой, но хозяинъ, въ виду моего сознанія, пригласилъ полицейскаго надзирателя. На вопросъ полицейскаго, дѣйствительно ли я укралъ портмонэ, я далъ утвердительный отвѣтъ, и послѣ этого отцу моему ничего не оставалось, какъ отправиться домой одному, меня же отвезли въ полицію. Въ полиціи прежде всего сняли съ меня пальто и шапку и произвели обыскъ, при чемъ отобрали и украденныя мной въ синагогѣ деньги. Ихъ записали въ книгу; затѣмъ отворили какую-то дверь, толкнули меня туда и дверь опять заперли на замокъ. Въ новомъ моемъ помѣщеніи меня сразу поразилъ страшно спертый воздухъ и скверный запахъ, исходившій отъ раскрытыхъ парашъ. Лампа безъ стекла неимовѣрно чадила и еле освѣщала огромную камеру. Груда человѣческихъ тѣлъ лежала безпорядочно на нарахъ и валялась на голомъ полу, въ грязи, въ рваныхъ рубахахъ и въ сапожныхъ опоркахъ на босую ногу. Со мной чуть не сдѣлалось дурно, и я началъ громко стучать въ дверь и требовать холодной воды. Тогда одинъ изъ арестованныхъ, проснувшись, вскочилъ на ноги и закричалъ на меня: „Ты что тутъ за храпъ явился? Люди спятъ, третій часъ ночи, а ты шумѣть вздумалъ? Смѣй только

пибнуть, такъ мы тутъ по-свойски съ тобой раздѣлаемся". Понятно, что я не сталъ больше стучать, а, отойдя въ уголъ, простоялъ до утра на одномъ мѣстѣ, такъ какъ сѣсть или лечь было рѣшительно негдѣ. По-утру долго пришлось мнѣ пробыть въ канцеляріи частнаго пристава, пока дошла очередь до меня. И здѣсь я впервые увидалъ, какъ приставъ производилъ собственноручную кулачную расправу съ сидѣвшими за пьянство. Когда онъ подошелъ, наконецъ, ко мнѣ, я объявилъ ему, что не кралъ портмонэ, а взвелъ на себя это преступленіе единственно для того, чтобы не попасть въ руки къ отцу и не быть имъ наказаннымъ. Услыхавъ это, приставъ страшно разсердился, затопалъ на меня ногами, сталъ кричать и браниться непечатными словами и ударилъ меня по лицу такъ сильно, что изъ носу у меня фонтаномъ брызнула кровь. Онъ уже хотѣлъ отправить меня назадъ въ часть, но тутъ явился мой отецъ; не знаю, о чемъ говорилъ онъ съ приставомъ, такъ какъ я находился въ передней,—только, нѣсколько минутъ спустя, приставъ крикнулъ меня, и когда я вошелъ, сказалъ: „Отпускаю тебя на поруки къ отцу, но въ будущую субботу ты долженъ явиться сюда, и тогда я составлю протоколъ". У меня сердце такъ и упало, когда я взглянулъ на спокойно стоявшаго тутъ же отца: я зналъ, что онъ сдѣлаетъ со мной что-нибудь ужасное... Приведя меня домой, отецъ прежде всего связалъ мнѣ руки и привязалъ меня къ стѣнѣ, говоря, что потолкуетъ со мной послѣ обѣда, и такъ какъ дѣло происходило въ субботу, то умылъ себѣ руки, выпилъ водки и сѣлъ обѣдать „долендъ" (пищу, сваренную наканунѣ, такъ какъ въ субботу евреи не могутъ варить и стряпать). Онъ ѣлъ при этомъ такъ спокойно, какъ будто ничего и не случилось. Мать, все время глядѣвшая на меня со слезами на глазахъ, вздумала было и мнѣ дать поѣсть, но отецъ схватилъ со стола ножъ и погрозилъ тутъ же покончить съ ней и со мной, если она станетъ мѣшаться не въ свое дѣло. Пообѣдавъ хорошенько, онъ всталъ и подошелъ ко мнѣ. „Ну, теперь я съ тобой поговорю. Скажи-ка мнѣ, голубчикъ, куда ты дѣвалъ портмонэ?" Я сталъ божиться, что не бралъ его, но онъ не захотѣлъ и слушать меня. „Ты разсказывай эти сказки приставу и своему хозяину, меня же ты не надуешь. Я тебѣ не повѣрю. Ты лучше скажи мнѣ, куда ты его спряталъ?" Съ этими словами онъ повалилъ меня на полъ и началъ бить подборами сапогъ по чему попало, по ребрамъ, по груди и го-

ловѣ. Тутъ я сообразилъ, что надо какъ-нибудь искусно солгать ему, чтобы выгадать время и убѣжать. Я началъ просить его, чтобы онъ пересталъ бить, увѣряя, что тогда я скажу всю правду. Отецъ остановился, и я съ окровавленнымъ лицомъ поднялся съ полу. „Дѣйствительно, я укралъ портмонэ,—сказалъ я,—и продалъ его одному крещеному еврею". Отецъ сейчасъ же одѣлся и велѣлъ мнѣ вести себя къ этому еврею. Я умылся (потому что весь былъ въ крови) и, собравъ послѣднія силы, пошелъ, самъ не зная, что изъ всего этого можетъ выйти. Я ужъ и тѣмъ былъ счастливъ, что хоть на одинъ часъ отсрочивалась страшная пытка.

„Въ Александровскомъ рынкѣ торговалъ старыми вещами одинъ крещеный еврей; былъ также слухъ, что онъ принималъ и краденное. Вотъ на него-то я и показалъ, хотя и въ лицо-то даже плохо зналъ его. Мы пошли прямо къ нему въ лавку. Увидѣвъ насъ, лавочникъ видимо испугался, такъ какъ хорошо зналъ, что еврей-фанатикъ, какимъ былъ мой отецъ, не придетъ покупать въ субботу. „Ну, говори этому мошеннику прямо въ глаза!"— обратился ко мнѣ отецъ. Мнѣ было невыносимо совѣстно обвинять совершенно незнакомаго мнѣ человѣка, но отступать ужъ было поздно. Собравъ все нахальство, къ какому только я былъ способенъ въ то время, и не сморгнувъ глазомъ, я сказалъ: „Отдайте портмонэ, которое я вамъ продалъ за три рубля. Мой отецъ возвратитъ вамъ ваши деньги назадъ, потому что я укралъ эту вещь у своего хозяина, но теперь я сознался, и вещь надо возвратить". Лавочникъ съ неподдѣльнымъ изумленіемъ вытаращилъ глаза: „Помилуйте, вы ошиблись... Я въ первый разъ васъ вижу!" Но я сказалъ на это: „Развѣ вы забыли прекрасное серебряное портмонэ, которое я принесъ вамъ подъ новый годъ? Я знаю, вамъ жаль разстаться, потому что оно стоитъ въ десять разъ дороже". И видя, что онъ молчитъ, продолжая удивляться, прибавилъ: „Будетъ вамъ притворяться, лучше отдайте и получите свои деньги. А не то мы заявимъ сейчасъ въ полицію, и васъ арестуютъ". Я говорилъ такъ искренно и такъ настойчиво, что отецъ вполнѣ увѣрился въ правдивости моего показанія и съ своей стороны обратился къ торговцу сначала съ ласковыми убѣжденіями, а потомъ и съ угрозами. Но, понятно, изъ всего этого ничего не вышло. Очнувшись отъ минутнаго столбняка, вызваннаго крайнимъ изумленіемъ, торговецъ началъ кричать на насъ и выгналъ вонъ, грозясь въ свою очередь насъ арестовать.

Были уже сумерки, и отецъ, опасаясь прозѣвать службу, повелъ и меня съ собой въ синагогу. Дорогой онъ опять началъ сомнѣваться и говорилъ мнѣ: „Невозможно ни въ чемъ тебѣ вѣрить! Ты вѣдь въ десятый ужъ разъ сознаешься, а потомъ отпираешься, и каждый разъ выходитъ что-нибудь новое. И какъ это не можешь ты жить безъ приключеній? Чего тебѣ не хватаетъ, злой мальчикъ? Отъ кого выучился ты воровать? Въ нашемъ роду не было воровъ. Я старался тебя воспитать, какъ слѣдуетъ, выучилъ пятикнижію, талмуду, геморѣ, я не жалѣлъ на тебя денегъ, а ты вотъ чѣмъ мнѣ отплачиваешь! Это все оттого происходитъ, что ты водишься больше съ русскими, а священнаго нашего закона не исполняешь“. Онъ такъ разжалобилъ меня своими рѣчами, что я чуть было не упалъ ему въ ноги и не признался во всемъ; но удержался, сообразивъ, что это ни къ чему бы не повело, такъ какъ признаться мнѣ было не въ чемъ. Такъ мы дошли до синагоги. Тутъ насъ окружила толпа ребятишекъ, и отецъ сдалъ меня имъ, приказавъ хорошенько караулить. Они облѣпили меня, какъ пчелы, и стали жестоко насмѣхаться, такъ что я готовъ былъ провалиться сквозь землю отъ стыда и безсильной злости: я былъ одинъ, а ихъ нѣсколько десятковъ человѣкъ. Между тѣмъ на отца моего, какъ только онъ зашелъ въ синагогу, тоже набросилась цѣлая орава евреевъ: они тормошили его и наперерывъ разсказывали, какъ я ночью разломалъ кружку и укралъ священныя деньги. Такого удара отецъ мой не ожидалъ! Онъ тотчасъ же призвалъ меня и спросилъ при всѣхъ, вѣрно ли это новое обвиненіе. У меня дрожали ноги отъ страха, и языкъ прилипалъ къ гортани, но не могъ же я отрицать явнаго факта, и я сознался... Отецъ пришелъ тогда въ такое бѣшенство, что схватилъ скамью и тутъ же хотѣлъ покончить со мной, но ему не дали этого сдѣлать. Спросивъ у „габая“, сколько было въ кружкахъ денегъ, и узнавъ, что около пятнадцати рублей, онъ сказалъ, что заплатитъ за меня четвертной билетъ. Послѣ этого началась служба. По окончаніи ея отецъ повелъ меня домой, всю дорогу крѣпко держа за руку...

„Дома онъ раздѣлъ меня до нага и веревкой привязалъ за руки и за ноги къ столбу, такъ чтобы я не могъ шевелиться; затѣмъ взялъ трость и началъ ею меня бить, приговаривая: „Теперь я ужъ ни въ чемъ тебѣ не повѣрю, и потому не думай, что какъ только ты сознаешься, я тебя отпущу. Нѣтъ, мнѣ теперь все

равно, укралъ ты портмонэ или нѣтъ, довольно и того, что ты меня опозорилъ въ синагогѣ передъ всѣмъ обществомъ. Значитъ, можешь теперь молчать. Я буду тебя бить эту ночь до тѣхъ поръ, пока ты не кончишься у меня подъ руками. Я ужъ буду, по крайней мѣрѣ, знать, что самъ убилъ тебя, и ты не будешь больше ни воровать, ни позорить меня". Онъ поставилъ около себя графинъ водки и съ какимъ-то страннымъ наслажденіемъ въ лицѣ продолжалъ мучить меня. Не вытерпѣвъ, я началъ кричать; тогда онъ преспокойно взялъ платокъ и завязалъ мнѣ ротъ такъ крѣпко, что мнѣ не только кричать, но и дышать стало трудно, и принялся за прежнюю работу, глотая по временамъ водку изъ чайнаго стакана. И, конечно, онъ сдержалъ бы свое слово—убилъ бы меня, если бы не пришла въ это время изъ гостей ничего не подозрѣвавшая мать и не увидала происходившаго: отецъ, сильно уже охмѣлѣвшій, сидѣлъ къ ней спиною, въ одной рубашкѣ и въ брюкахъ, и хладнокровно, методически работалъ тростью, а я, привязанный къ столбу и съ заткнутымъ ртомъ, висѣлъ безъ малѣйшаго движенія, не издавая даже стона... Всплеснувъ въ ужасѣ руками, она кинулась на дворъ, вскричала дворниковъ и нѣсколькихъ сосѣдей, и при ихъ помощи съ великимъ трудомъ успѣла вырвать меня изъ рукъ обезумѣвшаго отца и развязать. Меня унесли безъ чувствъ въ другую комнату и положили на диванъ. Мать послала за докторомъ, и ему долго пришлось возиться со мною, чтобы вернуть къ жизни. Предложили мнѣ пищу, но хотя цѣлыя уже сутки я почти ничего не держалъ во рту, но мнѣ было теперь не до ѣды. Боли я, правда, никакой не чувствовалъ, но все тѣло мое было исполосовано и изрублено въ куски; окровавленное мясо висѣло клочьями...

„Позвольте мнѣ здѣсь остановиться до завтра. Я не могу писать объ этомъ безъ содроганія, не произнося проклятія родному отцу! Ночью со мной сдѣлался бредъ. Докторъ, осмотрѣвъ меня во второй разъ, объявилъ, что со мной начинается горячка... Двѣ недѣли пролежалъ я безъ памяти, и когда пришелъ потомъ въ сознаніе, то чувствовалъ такую страшную слабость, что еще цѣлыхъ полтора мѣсяца пролежалъ въ постели. Отецъ сталъ обращаться со мной гораздо ласковѣе, и когда я настолько оправился, что могъ разговаривать, объявилъ мнѣ, что портмонэ нашелся... Я полюбопытствовалъ узнать, какимъ образомъ, и онъ разсказалъ мнѣ слѣдующее. Портмонэ былъ имянной, съ вырѣ-

занной на крышкѣ фамиліей владѣльца, и вотъ какъ-то случилось, что въ то время, какъ я лежалъ въ бреду, къ одному часовыхъ дѣлъ мастеру, хорошему пріятелю моего бывшаго хозяина, заходитъ какой-то господинъ купить серебряную цѣпочку и, расплачиваясь за нее, вынимаетъ изъ кармана портмонэ: часовщикъ сразу увидалъ на немъ ту фамилію, которую называлъ ему мой хозяинъ. Не подавъ покупателю вида, что онъ что-либо заподозрилъ, часовщикъ завелъ съ нимъ длинный разговоръ, а самъ тѣмъ временемъ послалъ кого-то въ участокъ, а также и къ моему хозяину. Явилась полиція, начали разспрашивать неизвѣстнаго господина, у кого и какъ пріобрѣлъ онъ портмонэ: онъ немного смѣшался, но всетаки объяснилъ, что гдѣ-то купилъ. Тѣмъ временемъ подоспѣлъ и мой бывшій хозяинъ. Онъ сразу призналъ не только портмонэ, но и самого господина, который наканунѣ новаго года, то есть въ день пропажи, заходилъ къ нему въ мастерскую и торговалъ запонки, но не купилъ ихъ. Въ участкѣ въ немъ сразу узнали извѣстнаго жулика, который ходилъ по магазинамъ и торговалъ разныя вещи, причемъ никогда ничего не покупалъ, а лишь пользовался случаемъ кое-что стянуть. Вскорѣ онъ самъ сознался и въ кражѣ портмонэ, сыгравшаго такую печальную роль въ моей жизни. „Да, въ этомъ случаѣ ты невинно пострадалъ, — заключилъ отецъ свой разсказъ,—это правда. Но ты укралъ деньги въ синагогѣ, но ты, можетъ быть, хотѣлъ украсть у хозяина золото... Да и раньше за тобой водились эти грѣхи... Словомъ, ты не вообрази себя непорочнымъ, какъ голубь. Слава твоя уже гремитъ, всѣ знакомые указываютъ на тебя пальцами. Ты долженъ объ этомъ хорошенько подумать. Жилъ ты у меня смирно и честно, и никто тебя не зналъ, а теперь всѣ тебя называютъ воромъ, и даже полиція тебя уже знаетъ. Но я тебѣ вотъ какую сказку разскажу. Въ старыя времена жилъ одинъ нищій. И было ему уже девяносто лѣтъ, и сталъ онъ очень дряхлъ и слабъ. И думаетъ нищій: „Видно, пора мнѣ помирать... Только какъ же это я прожилъ девяносто лѣтъ, а теперь вдругъ возьму, да и помру? И никто на свѣтѣ не будетъ знать про то, что я когда-то жилъ? Обидно вѣдь это!“ Досталъ нищій послѣдніе свои гроши, побрелъ въ лавку и купилъ большой старинный мечъ. Съ этимъ мечемъ онъ забрался въ садъ къ богатому и знаменитому въ той стра вельможѣ. И вотъ, когда вельможа вышелъ прогуляться въ са

ловѣ. Тутъ я сообразилъ, что надо какъ-нибудь искусно солгать ему, чтобы выгадать время и убѣжать. Я началъ просить его, чтобы онъ пересталъ бить, увѣряя, что тогда я скажу всю правду. Отецъ остановился, и я съ окровавленнымъ лицомъ поднялся съ полу. „Дѣйствительно, я укралъ портмонэ,—сказалъ я,—и продалъ его одному крещеному еврею". Отецъ сейчасъ же одѣлся и велѣлъ мнѣ вести себя къ этому еврею. Я умылся (потому что весь былъ въ крови) и, собравъ послѣднія силы, пошелъ, самъ не зная, что изъ всего этого можетъ выйти. Я ужъ и тѣмъ былъ счастливъ, что хоть на одинъ часъ отсрочивалась страшная пытка.

„Въ Александровскомъ рынкѣ торговалъ старыми вещами одинъ крещеный еврей; былъ также слухъ, что онъ принималъ и краденное. Вотъ на него-то я и показалъ, хотя и въ лицо-то даже плохо зналъ его. Мы пошли прямо къ нему въ лавку. Увидѣвъ насъ, лавочникъ видимо испугался, такъ какъ хорошо зналъ, что еврей-фанатикъ, какимъ былъ мой отецъ, не придетъ покупать въ субботу. „Ну, говори этому мошеннику прямо въ глаза!"— обратился ко мнѣ отецъ. Мнѣ было невыносимо совѣстно обвинять совершенно незнакомаго мнѣ человѣка, но отступать ужъ было поздно. Собравъ все нахальство, къ какому только я былъ способенъ въ то время, и не сморгнувъ глазомъ, я сказалъ: „Отдайте портмонэ, которое я вамъ продалъ за три рубля. Мой отецъ возвратитъ вамъ ваши деньги назадъ, потому что я укралъ эту вещь у своего хозяина, но теперь я сознался, и вещь надо возвратить". Лавочникъ съ неподдѣльнымъ изумленіемъ вытаращилъ глаза: „Помилуйте, вы ошиблись... Я въ первый разъ васъ вижу!" Но я сказалъ на это: „Развѣ вы забыли прекрасное серебряное портмонэ, которое я принесъ вамъ подъ новый годъ? Я знаю, вамъ жаль разстаться, потому что оно стоитъ въ десять разъ дороже". И видя, что онъ молчитъ, продолжая удивляться, прибавилъ: „Будетъ вамъ притворяться, лучше отдайте и получите свои деньги. А не то мы заявимъ сейчасъ въ полицію, и васъ арестуютъ". Я говорилъ такъ искренно и такъ настойчиво, что отецъ вполнѣ увѣрился въ правдивости моего показанія и съ своей стороны обратился къ торговцу сначала съ ласковыми убѣжденіями, а потомъ и съ угрозами. Но, понятно, изъ всего этого ничего не вышло. Очнувшись отъ минутнаго столбняка, вызваннаго крайнимъ изумленіемъ, торговецъ началъ кричать на насъ и выгналъ вонъ, грозясь въ свою очередь насъ арестовать.

занной на крышкѣ фамиліей владѣльца, и вотъ какъ-то случилось, что въ то время, какъ я лежалъ въ бреду, къ одному часовыхъ дѣлъ мастеру, хорошему пріятелю моего бывшаго хозяина, заходитъ какой-то господинъ купить серебряную цѣпочку и, расплачиваясь за нее, вынимаетъ изъ кармана портмонэ: часовщикъ сразу увидалъ на немъ ту фамилію, которую называлъ ему мой хозяинъ. Не подавъ покупателю вида, что онъ что-либо заподозрилъ, часовщикъ завелъ съ нимъ длинный разговоръ, а самъ тѣмъ временемъ послалъ кого-то въ участокъ, а также и къ моему хозяину. Явилась полиція, начали разспрашивать неизвѣстнаго господина, у кого и какъ пріобрѣлъ онъ портмонэ: онъ немного смѣшался, но всетаки объяснилъ, что гдѣ-то купилъ. Тѣмъ временемъ подоспѣлъ и мой бывшій хозяинъ. Онъ сразу призналъ не только портмонэ, но и самого господина, который наканунѣ новаго года, то есть въ день пропажи, заходилъ къ нему въ мастерскую и торговалъ запонки, но не купилъ ихъ. Въ участкѣ въ немъ сразу узнали извѣстнаго жулика, который ходилъ по магазинамъ и торговалъ разныя вещи, причемъ никогда ничего не покупалъ, а лишь пользовался случаемъ коечто стянуть. Вскорѣ онъ самъ сознался и въ кражѣ портмонэ, сыгравшаго такую печальную роль въ моей жизни. „Да, въ этомъ случаѣ ты невинно пострадалъ, — заключилъ отецъ свой разсказъ,—это правда. Но ты укралъ деньги въ синагогѣ, но ты, можетъ быть, хотѣлъ украсть у хозяина золото... Да и раньше за тобой водились эти грѣхи... Словомъ, ты не вообрази себя непорочнымъ, какъ голубь. Слава твоя уже гремитъ, всѣ знакомые указываютъ на тебя пальцами. Ты долженъ объ этомъ хорошенько подумать. Жилъ ты у меня смирно и честно, и никто тебя не зналъ, а теперь всѣ тебя называютъ воромъ, и даже полиція тебя уже знаетъ. Но я тебѣ вотъ какую сказку разскажу. Въ старыя времена жилъ одинъ нищій. И было ему уже девяносто лѣтъ, и сталъ онъ очень дряхлъ и слабъ. И думаетъ нищій: „Видно, пора мнѣ помирать... Только какъ же это я прожилъ девяносто лѣтъ, а теперь вдругъ возьму, да и помру? И никто на свѣтѣ не будетъ знать про то, что я когда-то жилъ? Обидно вѣдь это!“ Досталъ нищій послѣдніе свои гроши, побрелъ въ лавку и купилъ большой старинный мечъ. Съ этимъ мечемъ онъ забрался въ садъ къ богатому и знаменитому въ той странѣ вельможѣ. И вотъ, когда вельможа вышелъ прогуляться въ садъ,

равно, укралъ ты портмонэ или нѣтъ, довольно и того, что ты меня опозорилъ въ синагогѣ передъ всѣмъ обществомъ. Значитъ, можешь теперь молчать. Я буду тебя бить эту ночь до тѣхъ поръ, пока ты не кончишься у меня подъ руками. Я ужъ буду, по крайней мѣрѣ, знать, что самъ убилъ тебя, и ты не будешь больше ни воровать, ни позорить меня". Онъ поставилъ около себя графинъ водки и съ какимъ-то страннымъ наслажденіемъ въ лицѣ продолжалъ мучить меня. Не вытерпѣвъ, я началъ кричать; тогда онъ преспокойно взялъ платокъ и завязалъ мнѣ ротъ такъ крѣпко, что мнѣ не только кричать, но и дышать стало трудно, и принялся за прежнюю работу, глотая по временамъ водку изъ чайнаго стакана. И, конечно, онъ сдержалъ бы свое слово—убилъ бы меня, если бы не пришла въ это время изъ гостей ничего не подозрѣвавшая мать и не увидала происходившаго: отецъ, сильно уже охмѣлѣвшій, сидѣлъ къ ней спиною, въ одной рубашкѣ и въ брюкахъ, и хладнокровно, методически работалъ тростью, а я, привязанный къ столбу и съ заткнутымъ ртомъ, висѣлъ безъ малѣйшаго движенія, не издавая даже стона... Всплеснувъ въ ужасѣ руками, она кинулась на дворъ, вскричала дворниковъ и нѣсколькихъ сосѣдей и при ихъ помощи съ великимъ трудомъ успѣла вырвать меня изъ рукъ обезумѣвшаго отца и развязать. Меня унесли безъ чувствъ въ другую комнату и положили на диванъ. Мать послала за докторомъ, и ему долго пришлось возиться со мною, чтобы вернуть къ жизни. Предложили мнѣ пищу, но хотя цѣлыя уже сутки я почти ничего не держалъ во рту, но мнѣ было теперь не до ѣды. Боли я, правда, никакой не чувствовалъ, но все тѣло мое было исполосовано и изрублено въ куски; окровавленное мясо висѣло клочьями...

„Позвольте мнѣ здѣсь остановиться до завтра. Я не могу писать объ этомъ безъ содроганія, не произнося проклятія родному отцу! Ночью со мной сдѣлался бредъ. Докторъ, осмотрѣвъ меня во второй разъ, объявилъ, что со мной начинается горячка... Двѣ недѣли пролежалъ я безъ памяти, и когда пришелъ потомъ въ сознаніе, то чувствовалъ такую страшную слабость, что еще цѣлыхъ полтора мѣсяца пролежалъ въ постели. Отецъ сталъ обращаться со мной гораздо ласковѣе, и когда я настолько оправился, что могъ разговаривать, объявилъ мнѣ, что портмонэ нашелся... Я полюбопытствовалъ узнать, какимъ образомъ, и онъ разсказалъ мнѣ слѣдующее. Портмонэ былъ имянной, съ вырѣ-

двухъ, я особенно сдружился. Это былъ довольно недалекій и въ трезвомъ видѣ замѣчательно смирный парень, совершенно еще неиспорченный, такъ что дружба съ нимъ, казалось бы, не сулила мнѣ ничего дурного. Но на дѣлѣ вышло не такъ. У Ивана Брусницына былъ старшій братъ, жившій во второй ротѣ Измайловскаго полка въ старшихъ дворникахъ у дѣйствительнаго статскаго совѣтника Красинскаго, родомъ поляка. Красинскій этотъ былъ страшный богачъ, имѣлъ собственный домъ, но, неимовѣрно скупой, онъ жилъ въ третьемъ этажѣ, въ двухъ комнатахъ, а все остальное сдавалъ квартирантамъ. Старикъ былъ холостъ, но у него жила красивая молодая дѣвушка, одновременно игравшая роль и горничной, и кухарки, и экономки и даже, говорили,—хозяйки. Младшій Брусницынъ часто ходилъ въ гости къ своему брату въ Измайловскій полкъ и тамъ познакомился съ Лизаветой (такъ звали эту дѣвушку).

„Однажды въ первыхъ числахъ мая, — я только что заперъ вечеромъ магазинъ,—приходитъ ко мнѣ Брусницынъ, грустный и задумчивый, и говоритъ: „знаешь что, пойдемъ въ портерную, я тебѣ кое-что разскажу“. У насъ другъ съ другомъ не было никакихъ секретовъ. Придя въ портерную, мы потребовали четыре бутылки пива, налили себѣ по стакану, и Иванъ началъ свой разсказъ. „Ты, поди, вѣдь знаешь, Мишка, какъ врѣзалась въ меня Лизавета... Ну, я частенько хожу къ ней, когда генерала не бываетъ дома. И вотъ сегодня она мнѣ разсказала, что на дняхъ они ѣдутъ въ Старую Руссу на минеральныя воды. А генералъ, между прочимъ, беретъ съ собой двадцать пять тысячъ рублей денегъ... Потомъ онъ уѣдетъ на три дня въ Москву, а ее одну оставитъ эти деньги караулить... Ну, и что же она удумала, Лизавета, какъ ты полагаешь, братъ? Она предлагаетъ мнѣ тоже поѣхать въ Старую Руссу и, когда генералъ будетъ въ отлучкѣ, въ Москвѣ, придти къ ней и забрать эти деньги, а ужъ за послѣдствія она сама берется отвѣчать. Такъ чисто, молъ, все обдѣлано будетъ, что и подозрѣнія даже не упадетъ на меня. Проситъ все это хорошенько обдумать и завтра отвѣтъ дать. Я сдуру-то сказалъ ей, что подумаю, а теперь, вотъ, всего въ жаръ и въ ознобъ кидаетъ: вѣдь въ случаѣ неудачи тутъ Богъ знаетъ чѣмъ пахнетъ!“ Когда онъ сказалъ эти слова, меня самого въ жаръ и въ ознобъ кинуло, только не отъ трусости, конечно. Я подумалъ: двадцать пять тысячъ! Вѣдь это такой

капиталъ, изъ-за котораго многимъ рискнуть можно... Отцовская притча попала, видно, на благодарную почву... Распивъ съ пріятелемъ четыре бутылки пива, я пригласилъ его въ ресторанъ ужинать и тамъ принялся доказывать ему всю выгоду предпріятія, приводя на видъ, что съ такими деньгами онъ можетъ изъ простого разносчика сдѣлаться купцомъ первой гильдіи, и что такой счастливый случай выпадаетъ на долю одного человѣка изъ милліона; я просилъ его взять меня въ товарищи и обѣщалъ все устроить такъ, какъ слѣдуетъ. Послѣ долгихъ уговариваній онъ согласился. Мы условились, что онъ завтра же объявитъ своему брату, будто уѣзжаетъ на побывку домой, а 15-го мая будетъ уже готовъ и станетъ дожидаться меня на вокзалѣ Николаевской желѣзной дороги. Самъ я рѣшилъ обмануть отца слѣдующимъ образомъ. Въ Старой Руссѣ у него было нѣсколько должниковъ, давно уже не платившихъ ему по векселямъ; много разъ онъ собирался туда поѣхать, но собраться никакъ не могъ. По-утру слѣдующаго дня я завелъ съ нимъ разговоръ объ этихъ неисправныхъ должникахъ и говорилъ съ намѣреннымъ раздраженіемъ; я напередъ зналъ, что онъ опять скажетъ о своемъ недосугѣ, болѣзни и пр. И вотъ, едва только онъ сказалъ это, какъ я предложилъ себя къ его услугамъ: если онъ дозволитъ, я съѣзжу въ Старую Руссу и припугну должниковъ, да кстати посмотрю, не выгодно ли тамъ будетъ поторговать во время предстоящей ярмарки. Отецъ охотно согласился на мое предложеніе, назначилъ мнѣ на дорогу тридцать рублей и отпустилъ на двѣ недѣли. Въ назначенный день я попрощался съ родителями, нанялъ извозчика и отправился на вокзалъ".

XV.

Паденіе идетъ быстрыми шагами.

„Брусницынъ уже поджидалъ меня.

„Дорогой я не заговаривалъ съ нимъ о дѣлѣ, такъ какъ видѣлъ, что онъ не въ духѣ, хмурится, нервничаетъ, и, чтобъ развеселить его, разсказывалъ разныя забавныя исторіи и анекдоты. На каждой почти станціи мы пили чай, и я на свой счетъ угощалъ его винами и закусками. Въ седьмомъ часу утра мы пріѣхали въ Старую Руссу. Брусницынъ спросилъ меня, въ какой изъ двухъ гостиницъ мы остановимся—въ „Лондонѣ" или „Петербургѣ". Мое

воображеніе все время дѣятельно работало; во мнѣ проснулись необыкновенная дѣловитость и проницательность; я заранѣе рѣшилъ все предусмотрѣть и со всѣхъ сторонъ себя обезопасить; никогда въ жизни не видавъ Старой Руссы, я уже зналъ ее изъ однихъ разговоровъ съ товарищемъ, какъ свои пять пальцевъ, и потому, не думая долго, объявилъ, что намъ слѣдуетъ остановиться въ „Петербургѣ“: я разсчиталъ, что эта гостиница, стоящая на набережной противъ собора, находится на менѣе людномъ и шумномъ мѣстѣ... Въ „Петербургѣ“ я нанялъ двѣ комнаты съ отдѣльнымъ ходомъ, за два рубля въ сутки, и сказалъ Ивану, чтобы онъ всѣмъ своимъ роднымъ говорилъ, что пріѣхалъ сюда съ хозяйскимъ сыномъ по торговымъ дѣламъ. Послѣ этого мы разошлись. Денегъ я въ этотъ день ни отъ кого изъ отцовскихъ должниковъ не получилъ—всѣ отговаривались плохой торговлей и сулились заплатить въ скоромъ времени. Весь слѣдующій день мы бродили съ Брусницинымъ безъ всякаго дѣла по городу, осматривая торговую площадь и базаръ. На базарѣ насъ встрѣтилъ квартальный надзиратель и сразу узналъ по моему лицу, что я пріѣзжій. Онъ подошелъ ко мнѣ и спросилъ, кто я такой, откуда и есть ли у меня билетъ. Билетъ мой оказался въ порядкѣ, и, просмотрѣвъ его, онъ велѣлъ только прислать его въ часть для прописки. Въ этотъ день я получилъ отъ должниковъ-евреевъ 340 рублей и немедленно отправилъ ихъ отцу, не оставивъ себѣ ни копѣйки, не смотря на то, что собственныя мои деньги уже подходили къ концу: мнѣ хотѣлось, чтобы отецъ вполнѣ успокоился на мой счетъ и далъ мнѣ свободу жить здѣсь сколько понадобится. Я разсуждалъ такъ: я возьму часть отцовскихъ денегъ, потрачу ихъ, а вдругъ наша затѣя не выгоритъ, и мнѣ нечѣмъ будетъ пополнить сдѣланную растрату? Тогда я долженъ буду изъ-за какихъ-нибудь пустяковъ навсегда лишиться довѣрія отца, которое мнѣ такъ необходимо. И вотъ я сталъ придумывать средство раздобыть денегъ изъ другого источника.

„Вечеромъ я пошелъ въ паркъ и былъ тамъ въ театрѣ, но все время меня неотступно грызла одна и та же мысль. При выходѣ изъ парка я зашелъ въ магазинъ Попова купить папиросъ, и здѣсь-то пришла мнѣ въ голову безумная на видъ, но вмѣстѣ и блестящая идея—обокрасть этотъ богатый магазинъ. Но какъ осуществить подобный планъ? Городъ былъ мнѣ мало знакомъ; товарищей для такого дѣла у меня не было, потому что Брусни-

цынъ, конечно, ни за какіе милліоны на него бы не пошелъ, и даже говорить съ нимъ объ этой затѣѣ было немыслимо; въ довершеніе всего самъ я ни разу еще въ жизни не пыталъ своихъ силъ на такихъ крупныхъ и дерзкихъ кражахъ. Но что-то упрямо говорило мнѣ: „Все-таки я сдѣлаю, сдѣлаю это!“—и я всю ночь не могъ заснуть, перебирая въ головѣ сотни всевозможныхъ плановъ, критикуя ихъ и отбрасывая одинъ за другимъ. И къ утру я уже зналъ, что долженъ дѣлать.

„Я успѣлъ за эти два дня подмѣтить, что большая часть старорусскихъ мѣщанъ, по окончаніи работъ, поздно вечеромъ возятъ для себя воду на телѣжкахъ въ особыхъ маленькихъ боченкахъ въ пять-шесть ведеръ, и я рѣшилъ себѣ пріобрѣсти такой же боченокъ и телѣжку. По-утру Иванъ позвалъ было меня погулять съ своими друзьями, но я отговорился головной болью, и онъ одинъ ушелъ на весь день, а я отправился на базаръ, сторговалъ тамъ за 2 р. 65 к. телѣжку съ боченкомъ и велѣлъ лавочнику доставить ихъ ко мнѣ на квартиру. Покупка была доставлена въ срокъ; тогда я снялъ съ одной стороны боченка обручи, выбилъ дно и опять надѣлъ обручи по старому. Зачѣмъ это было мнѣ нужно? А вотъ зачѣмъ. Я разсуждалъ, что если мнѣ удастся забраться въ магазинъ, то невозможно будетъ по главнымъ улицамъ города тащить узелъ съ товарами въ ночное время—меня, навѣрное, арестуютъ. Въ боченокъ же можно будетъ наложить, что угодно, и затѣмъ проѣхать взадъ и впередъ раза три, не возбудивъ ни малѣйшаго подозрѣнія. Вечеромъ этого дня я опять былъ въ театрѣ и, при возвращеніи оттуда, снова зашелъ въ магазинъ Попова, купилъ папиросъ, орѣховъ, конфектъ, пару апельсинъ. Мнѣ не столько нужна была эта покупка, сколько хотѣлось обстоятельнѣе все высмотрѣть, и я нарочно мѣшкалъ, покупая разныя мелочи. Выйдя затѣмъ изъ магазина, я долго прогуливался по противоположной сторонѣ тротуара, желая посмотрѣть, какъ будутъ запирать магазинъ. Дѣйствительно, приказчики скоро замкнули его и ушли домой; тогда я приблизился и увидалъ два простыхъ висячихъ замка, которые при случаѣ нетрудно было бы и сломать, но рискнуть на сломъ замка въ такомъ пунктѣ было бы непростительной ошибкой: почти напротивъ, у входа въ паркъ, всегда стоитъ сторожъ, и малѣйшій неосторожный шумъ погубилъ бы меня. Поэтому я вынулъ изъ кармана заранѣе приготовленный кусокъ воска и снялъ слѣпокъ съ замочной скважины. Былъ уж

первый часъ ночи, и я, крайне довольный своими наблюденіями, пошелъ домой. Дома я засталъ сильно подвыпившаго Брусницына. Я объявилъ ему, что получилъ отъ отца телеграмму, обязывающую меня завтра же уѣхать на два дня въ Новгородъ, и что поэтому я совѣтую ему, вмѣсто того, чтобы платить даромъ деньги за номеръ, провести эти два дня у родныхъ. Онъ согласился, что это резонъ, и тотчасъ же захрапѣлъ. Какъ только я отправилъ его утромъ къ роднымъ, сказавъ, что и самъ черезъ часъ уѣду, на душѣ у меня стало легче, бояться и стѣсняться теперь мнѣ было нечего. Я поѣхалъ тотчасъ же въ желѣзный рядъ подбирать по снятой модели ключи. Но и тутъ я былъ въ высшей степени хитеръ и остороженъ; я дѣлалъ видъ, что просто ищу замковъ попрочнѣе, и воскового снимка приказчику, разумѣется, не показалъ. Подходящіе замки были скоро найдены, и я, не торгуясь, расплатился. Всю остальную часть дня я не показывалъ никуда носа, сидя въ своемъ номерѣ и обдумывая всѣ мелочи будущаго преступленія, причемъ подкрѣплялъ свой духъ пивомъ и коньякомъ. Однако, подъ вечеръ во мнѣ заговорило что-то въ родѣ угрызеній совѣсти; я спрашивалъ себя: хорошее ли дѣло я затѣваю? Имѣю ли я право взять тѣ деньги, которыя, быть можетъ, нажиты потомъ и кровью нѣсколькихъ поколѣній? Было ли бы мнѣ пріятно, если бы меня самого кто обокралъ? У меня голова закружилась отъ этихъ не во время и не кстати явившихся мыслей, и я, чтобъ избавиться отъ нихъ, одѣлся на скорую руку, вышелъ, заперъ свою квартиру и пошелъ наверхъ гостиницы послушать органъ. Тамъ я потребовалъ себѣ полбутылки коньяку и закуску. Однако, и послѣ того я не могъ еще успокоиться и выпилъ для храбрости стаканчикъ очищенной, а затѣмъ отправился въ театръ. Въ театрѣ, какъ сейчасъ помню, давалось „Бѣдность не порокъ“; пьеса эта сильно мнѣ понравилась, такъ что я просидѣлъ до конца представленія и окончательно развеселился. Изъ театра я вернулся домой. Ровно въ часъ ночи я взялъ свою телѣжку, положилъ на нее боченокъ, захватилъ стеариновую свѣчку, спички и ключи отъ купленныхъ утромъ замковъ и отправился на Ильинскую улицу. Уже въ близкомъ разстояніи отъ магазина мнѣ повстрѣчался ночной сторожъ съ колотушкой; я пропустилъ его мимо, завернулъ за уголъ и, поставивъ телѣжку, подошелъ къ магазину. Тишина кругомъ была мертвая, только далеко гдѣ-то слышался

стукъ колесъ. Вынувъ ключи, я отперъ замки и потихоньку приотворилъ дверь; за ней была внутренняя стеклянная дверь, и если бы она оказалась тоже замкнутой, то мнѣ пришлось бы или выдавливать стекло, т. е. поднимать шумъ, или совсѣмъ отказаться отъ своей затѣи. Но на мое счастье или несчастье, она не была замкнута. Осмотрѣвшись еще разъ кругомъ, я пошелъ за телѣжкой, подвезъ ее къ магазину, растворилъ настежъ двери, въѣхалъ въ нихъ и затѣмъ плотно затворилъ за собою. Сердце мое страшно билось—я чувствовалъ, что половина дѣла сдѣлана, что я теперь полный хозяинъ магазина. Успокоившись, я зажегъ свѣчку, и первой моей заботой было направиться къ конторкѣ, гдѣ хранится выручка. Я нашелъ въ ящикѣ 50 рублей бумажками, 19 серебромъ и 9 мѣдью, всего 78 рублей. Сосчитавъ и забравъ эти деньги, я былъ нѣсколько разочарованъ... Затѣмъ я началъ осматривать товары: тамъ былъ сахаръ въ цѣлыхъ головахъ и пиленый въ мѣшкахъ, конфекты, пряники, шоколадъ, крупчатка, но больше всего было чаю собственной фирмы Попова, и я рѣшилъ брать одинъ только чай, такъ какъ это самый дорогой товаръ. Я наклалъ полную бочку пятирублеваго и трехрублеваго чаю—фунтами, полуфунтами, четвертями и восьмушками. Накрывъ затѣмъ боченокъ мѣшкомъ и обвязавъ шнуркомъ, я погасилъ свѣчу, прислушался; пріотворивъ слегка дверь, посмотрѣлъ, не идетъ ли кто по улицѣ, и, увѣрившись, что все тихо и пустынно, спокойно растворилъ двери, вывезъ вонъ изъ магазина свою телѣжку, заперъ опять двери на замки и поѣхалъ съ добычей домой. Дома я все это выгрузилъ и отправился за новой порціей: короче сказать, я продѣлалъ эту операцію три раза. Въ послѣдній разъ я захватилъ, кромѣ чаю, триста сигаръ (по 10 руб. сотня) и пятифунтовую банку конфектъ монпансье. Во время этихъ трехъ поѣздокъ встрѣчались мнѣ по дорогѣ извозчики, ночные сторожа, запоздалые гуляки, полицейскіе,—и никто, рѣшительно никто не подумалъ остановить меня. Дѣло въ томъ, что за ночь можно встрѣтить нѣсколько десятковъ человѣкъ, ѣдущихъ съ такими боченками по воду: инымъ за-свѣтло бываетъ некогда, а инымъ стыдно везти на себѣ воду,—и вотъ для этого они выбираютъ такое время, когда всѣ спятъ, и если попадется всетаки нечаянно знакомый, то, свернувъ въ сторону, стараются сдѣлать такую кислую рожу, что у того пропадаетъ всякое желаніе признать знакомаго или пріятеля.

„Окончивъ ѣзду, я сложилъ весь чай въ уголъ комнаты, накрылъ простыней и легъ спать, такъ какъ становилось уже свѣтло. Въ семь часовъ утра я отправился на базаръ и купилъ тамъ три деревянныхъ ящика и нѣсколько рогожъ. Тамъ же я узналъ о сдѣланной ночью покражѣ—весь городъ взбунтовался, какъ расшевеленный муравейникъ... Поповъ всю полицію поднялъ на ноги; заарестовали множество подозрительнаго народа. Порѣшили, въ концѣ концовъ, на томъ, что некому было совершить эту дерзкую кражу, кромѣ старшаго приказчика, потому что замки были цѣлы, а ключи хранились у него... Словомъ, я находился внѣ всякаго подозрѣнія. Сжегши всѣ чайныя обертки, я ссыпалъ въ ящики весь свой чай (книзу худшій, а кверху лучшій сортъ), забилъ ящики гвоздями, обшилъ рогожами и отвезъ на вокзалъ, гдѣ и сдалъ въ товарный поѣздъ, а самъ тоже взялъ билетъ до Новгорода. Въ Новгородѣ я продалъ чай одному еврею по 80 руб. за пудъ и, получивъ съ него 800 руб., на другой день вечеромъ отправился назадъ въ Старую Руссу. На вокзалѣ меня встрѣтилъ Брусницынъ, очень сердитый на то, что я, вмѣсто двухъ дней, проѣздилъ три: по его словамъ, генералъ съ Лизаветой пріѣхали еще наканунѣ, и если бы онъ, Иванъ, сегодня, наконецъ, не встрѣтилъ меня, то плюнулъ бы на все и уѣхалъ въ Петербургъ. Пріѣхавъ въ гостинницу, я постарался задобрить Ивана и угостилъ его бутылкой мадеры. Тогда онъ объяснилъ мнѣ, что утромъ у него назначено съ Лизаветой свиданіе на базарѣ. Дѣйствительно, напившись на другой день по-утру кофе, мы отправились на базаръ и повстрѣчали тамъ Лизавету. Она остановилась и, вступивъ съ Брусницынымъ въ разговоръ, спросила, кто я такой. Онъ отвѣчалъ: „Это мой хорошій товарищъ. Я нарочно пригласилъ его изъ Петербурга, такъ что передъ нимъ можешь не стѣсняться. Скажи же намъ, долго ли придется тутъ жить?“ Она засмѣялась: „Вишь, какой нетерпѣливый! Ну, да утѣшься. Скряга мой завтра утромъ уѣзжаетъ въ Москву, и вечеромъ милости просимъ на чашку чаю“. На этомъ мы и разстались, и я пошелъ съ Иваномъ погулять. Въ деньгахъ я больше не нуждался, и скажу вамъ коротко, что въ эти два дня прогулялъ съ нимъ 440 рублей. Брусницынъ все приставалъ ко мнѣ съ вопросомъ, откуда у меня завелось столько денегъ, но я отдѣлывался шутками и говорилъ: „Пей, знай, ѣшь и гуляй, пока есть время! Кто знаетъ, можетъ

это мы на послѣдяхъ гуляемъ". Я и не подозрѣвалъ того, что эта шутка была пророческой...

„Въ назначенный срокъ, въ двѣнадцатомъ часу ночи, мы явились въ гости къ генералу Красинскому. Онъ, дѣйствительно, съ вечернимъ поѣздомъ этого же дня уѣхалъ въ Москву, и Лизавета съ нетерпѣніемъ поджидала насъ. Она немедленно поставила на столъ бутылку шампанскаго и закуску; впрочемъ, Брусницынъ еще и до этого былъ пьянъ и еле держался на ногахъ, я же, зная, какое дѣло намъ предстоитъ, былъ только немного навеселѣ. Усадивъ насъ, Лизавета начала: „Мнѣ кажется, я составила хорошій планъ. Деньги лежатъ въ кабинетѣ, въ письменномъ столѣ. Мы взломаемъ дверь, и когда генералъ вернется, я скажу ему, что въ его отсутствіе ворвались неизвѣстные люди и, приставивъ къ моей груди ножъ, грозили меня зарѣзать, при малѣйшей попыткѣ закричать. Я упала, молъ, въ обморокъ и, что дальше было, не знаю, а когда пришла въ себя, то нашла квартиру въ безпорядкѣ, всѣ замки сломанными и даже наружную дверь растворенной. Если вамъ, господа, нравится мой планъ, то скорѣе принимайтесь за дѣло". Что касается меня, то, признаюсь, мнѣ не по душѣ пришелся этотъ планъ: что-то, какъ-будто, фальшивое звучало въ ея словахъ, и глаза виновато, какъ мнѣ показалось, бѣгали по сторонамъ. И у меня въ эту минуту мелькнулъ въ головѣ свой ужасный планъ: убить эту дѣвушку и тогда взять деньги, чтобы не было лишняго свидѣтеля. Но, взглянувъ на Ивана, я долженъ былъ сразу выкинуть изъ головы всѣ подобныя думки: онъ такъ и таялъ передъ Лизаветой и кричалъ пьянымъ голосомъ: „Согласенъ!.. Отлично!.." Вслѣдъ затѣмъ онъ схватилъ лежавшій въ кухнѣ топоръ и живой рукой сломалъ замокъ. Я пошелъ во внутреннія комнаты, обыскалъ кабинетъ, спальню, перерылъ всѣ вещи—нигдѣ не было ни одной копѣйки. Тѣмъ временемъ Лизавета успѣла окончательно напоить Брусницына, и когда я вернулся въ кухню, онъ уже спалъ мертвецкимъ сномъ. Услыхавъ отъ меня, что никакихъ денегъ нѣтъ, Лизавета притворилась страшно изумленной и испуганной и пошла вмѣстѣ со мной въ кабинетъ на новые поиски. Съ мѣста на мѣсто перекидывала она всѣ вещи, рылась въ ящикахъ стола и въ бумагахъ (въ то время, какъ я стоялъ у дверей и наблюдалъ за каждымъ ея движеніемъ) и, наконецъ, съ грустью обратившись ко мнѣ, сказала: „Ну, и маху же я дала! Значитъ, онъ увезъ деньги съ собой...

Да и какъ это я, дура, могла подумать, что такой скряга оставитъ здѣсь экую прорву денегъ!..“ Тогда я поспѣшилъ къ Ивану и, разбудивъ его, сказалъ ему на ухо, что мы погибли, что Лизавета подвела насъ, и что намъ остается для своего спасенія одно только—убить ее... Но Иванъ чуть не убилъ меня самого за эти слова, такъ что мнѣ пришлось обратить ихъ въ шутку. И вотъ, чтобъ не уйти изъ квартиры съ голыми руками и не страдать даромъ, я захватилъ съ собой серебряный столовый сервизъ, золотые часы и еще кой-какія мелочи и, на всякій случай, взялъ съ Лизаветы клятву, что она нашихъ именъ не выдастъ (хотя и очень мало надѣялся въ душѣ на эту клятву). Вернувшись въ гостинницу, Иванъ упалъ на полъ и заснулъ, какъ убитый, а я взялъ извозчика и съѣздилъ къ одному фартовому еврею, которому продалъ всѣ захваченныя вещи. И хорошо сдѣлалъ, потому что на другой же день, около полудня,—не успѣли еще мы съ Брусницынымъ продрать, какъ слѣдуетъ, глаза,—къ намъ заявилась въ полномъ составѣ полиція. По всему городу ходилъ уже слухъ о произведенномъ у генерала Красинскаго грабежѣ, и въ дверяхъ, кромѣ полиціи, толпилось множество посторонняго народа: среди любопытныхъ я замѣтилъ и обокраденнаго мной купца Попова... „Билетъ у васъ въ порядкѣ?“—обратился ко мнѣ приставъ. Я вынулъ изъ кармана и подалъ ему свой билетъ. Просмотрѣвъ его, онъ сказалъ мнѣ и Брусницыну: „Именемъ закона я пришелъ арестовать васъ!“ и велѣлъ квартальному надзирателю произвести у насъ обыскъ. Ничего подозрительнаго не нашлось. Но вдругъ Поповъ заявилъ приставу, что признаетъ свою банку изъ-подъ монпасье, которая стоитъ у меня на столѣ: это, молъ, та самая банка, которая была на дняхъ украдена изъ его магазина. Открыли банку, но въ ней оказалось уже не монпасье, а кофе. „По какимъ примѣтамъ вы ее признаете?“—спросилъ приставъ. Поповъ отвѣчалъ, что, насколько ему извѣстно, во всемъ городѣ нѣтъ другого магазина, кромѣ его, съ конфектами этой фабрики, а также—что и эта банка пятифунтовая, какъ и пропавшая. На это я возразилъ, смѣясь: „можетъ быть, вы и правы, что у васъ была такая же банка, но эту я привезъ изъ Петербурга, а Петербургъ не Старая Русса,—тамъ въ каждой мелочной лавочкѣ можно достать все, что угодно. Такъ что ваше показаніе—не есть фактъ.“ Такимъ образомъ Поповъ остался съ носомъ. Тѣмъ не менѣе насъ

отвезли въ часть, въ сопровожденіи четырехъ надзирателей. Дверь изъ другой комнаты неожиданно отворилась, и въ нее вошла наша пріятельница Лизавета. Я сразу догадался, въ чемъ дѣло, и принялъ такой видъ, будто не видалъ ея никогда въ жизни. „Эти ли господа были у васъ ночью въ гостяхъ?“—обратился къ ней приставъ. „Да, эти самые“,—отвѣчала она твердо, съ нахальствомъ оглядывая насъ. Мы съ Брусницынымъ, съ своей стороны, отперлись, и затѣмъ насъ отправили въ каталашку.

„Въ тотъ же день я послалъ отцу телеграмму о своемъ арестѣ, прося его скорѣе пріѣхать. Мнѣ нельзя было не сдѣлать этого ужъ и по одному тому, что при обыскѣ у меня отобрали тысячу двѣсти рублей, изъ которыхъ девятьсотъ были отцовскихъ, и если бы меня обвинили, то эти деньги могли бы пропасть, и даже послужить мнѣ уликой. Да и кромѣ того, рано или поздно отецъ все равно узналъ бы. На слѣдующій же день съ утреннимъ поѣздомъ пріѣхалъ въ Старую Руссу генералъ Красинскій, вызванный по телеграфу Лизаветой. Какъ только онъ зашелъ въ свой кабинетъ и увидалъ сломаннымъ письменный столъ, такъ и ахнулъ: у него пропали двадцать пять тысячъ рублей!.. Послѣ этого ко мнѣ съ Иваномъ предъявлено было новое, еще болѣе тяжкое обвиненіе: похищеніе со взломомъ и насиліемъ не только серебряной посуды (въ чемъ обвиняли наканунѣ со словъ Лизаветы), но еще и двадцати пяти тысячъ рублей. Теперь для меня не подлежало уже сомнѣнію, что деньги эти, дѣйствительно, существовали, но что онѣ взяты были самой Лизаветой, мы же были приглашены ею лишь для отвода глазъ. Словомъ, мы были одурачены, какъ послѣдніе школьники! Послѣ прочтенія обвинительнаго акта насъ стали формально допрашивать, причемъ и я, и Брусницынъ показали согласно, что мы знать ничего не знаемъ, вѣдать не вѣдаемъ.

„Къ вечеру пріѣхалъ и мой отецъ. Онъ былъ немедленно допущенъ ко мнѣ, и я увѣрилъ его, что рѣшительно не понимаю, за что меня арестовали, такъ какъ отобранные у меня 1,200 рублей—его собственныя кровныя деньги. На другой день меня перевели въ тюрьму, и дѣло пошло своимъ чередомъ. Я очутился въ первый разъ въ жизни въ арестантской рубахѣ, халатѣ и изорванныхъ котахъ; записали всѣ мои примѣты и посадили въ подсудимое отдѣленіе. Не стану подробно описывать начало своей арестантской карьеры, отмѣчу изъ нея лишь главныя

черты и важнѣйшія случаи. Арестанты встрѣтили меня съ перже шага насмѣшливо и даже враждебно; тюремные иваны пристали ко мнѣ съ требованіями „за парашу“, грозясь даже побить меня, если я не заплачу имъ десяти или, по крайней мѣрѣ, пяти рублей. Но вскорѣ произошла въ ихъ отношеніяхъ ко мнѣ странная, поразившая меня перемѣна. Арестанты отошли отъ меня, начали собираться кучками и о чемъ-то шептаться между собою; потомъ нѣкоторые изъ ивановъ опять подошли ко мнѣ, но уже съ заискивающими рѣчами и предложеніями разныхъ услугъ. Мои вещи положили на нары, мнѣ дали тюфякъ, набитый соломой и такую же подушку. Оказалось, причиной этой внезапной перемѣны былъ надзиратель, сообщившій имъ, что я укралъ 25 тыс., и что этихъ денегъ у меня при обыскѣ не нашли. „Славно, должно быть, припряталъ,—похвалилъ меня надзиратель,—за такой кушъ и посидѣть не жалко“. У однихъ арестантовъ пробудилось вслѣдствіе этого уваженіе ко мнѣ, другіе надѣялись урвать отъ меня малую толику, обыгравъ въ карты или пустивъ въ ходъ другой какой способъ. Тутъ же по поводу меня и моего преступленія въ камерѣ произошло нѣсколько ссоръ, и я впервые познакомился съ нѣкоторыми образчиками воровского нарѣчія. „Куда ты лѣзешь, что ты объ себѣ понимаешь?—кричалъ одинъ арестантъ на другого:—вѣдь я тебя хорошо знаю. Вѣдь ты простой шармошникъ, ты только и умѣешь, что таскать кисеты съ табакомъ у пьяныхъ мужиковъ! Ты больше ничего на своемъ вѣку не укралъ. А меня каждый знаетъ! Я на скоки ходилъ *), я на доброе утро хаживалъ **), я и на ципы, случалось хаживалъ“ ***).

„Откуда-то нашлись такіе даже субъекты, которые стали увѣрять, будто хорошо знаютъ и меня самого, и моего отца, и моихъ братьевъ, которыхъ, кстати сказать, у меня никогда не было. Явился вскорѣ самоваръ съ чаемъ и французскими булками и бутылка спирта. Отъ водки я, однако, наотрѣзъ отказался, подозрѣвая тутъ какую-нибудь ловушку. Вдругъ возлѣ меня очутился

---

*) «Скокомъ» называется на воровскомъ нарѣчіи кража, сдѣланная въ какомъ-нибудь домѣ среди бѣлаго дня и въ самое короткое время.

**) Кражи «на доброе утро» совершаются лѣтомъ, на разсвѣтѣ, во время крѣпкаго утренняго сна хозяевъ. Если послѣдніе всетаки проснутся отъ шороха, воръ бросается на утекъ, не вступая съ ними въ борьбу.

***) «На ципы ходятъ» въ осеннія и зимнія темныя ночи; тутъ нерѣдко ускается въ ходъ оружіе. *Примѣч. авт.*

разостланный коврикъ, и нѣсколько человѣкъ усѣлись играть въ карты. То же самое началось и въ другомъ, и въ третьемъ мѣстѣ, здѣсь въ штоссъ, тамъ въ стуколку, въ марьяжъ, преферансъ, кончину. Предложили и мнѣ поставить карточку, и какъ я ни упирался, говоря, что и играть совсѣмъ не умѣю и не люблю, и денегъ у меня при себѣ нѣтъ,—ничто не помогало. Одни подскочили ко мнѣ съ предложеніями дать взаймы сколько угодно, другіе увѣряли, что въ игрѣ нѣтъ ничего не только мошенническаго, но даже и труднаго, что стоитъ моей картѣ упасть налѣво—и я выигрываю, и что нуженъ, слѣдовательно, одинъ только фартъ. Кончилось тѣмъ, что я взялъ-таки взаймы десять рублей, и у меня отобрали ихъ въ какія-нибудь десять минутъ, прямо сказать, навѣрняка. Я не былъ еще въ то время страстнымъ игрокомъ и потому продолжать игру не согласился, а, напившись чаю, крѣпко заснулъ. Вдругъ посреди ночи страшная боль въ ногахъ заставила меня пробудиться, и я съ громкимъ крикомъ вскочилъ съ мѣста. Кругомъ была мертвая тишина; арестанты, укутавшись съ головами въ халаты и шубы, лежали на нарахъ. Опомнившись, я сталъ разсматривать пальцы ногъ и увидалъ, что кожа на нихъ сожжена: это мнѣ, какъ новичку, поставили мушку... Дѣлается это такъ. Берутъ кусокъ бумаги, обмакиваютъ въ керосинъ, сонному обвертываютъ ею пальцы, и поджигаютъ. Когда я съ испуга вскочилъ на ноги, бумажка отлетѣла... Утромъ я узналъ, чья это была продѣлка, и рѣшилъ отплатить насмѣшнику. Едва онъ заснулъ въ ближайшую ночь, какъ я взялъ носовой платокъ, разорвалъ на полоски, намочилъ въ керосинѣ и, привязавъ полоски нитками къ пальцамъ спящаго, зажегъ. Когда пламя вспыхнуло, онъ съ дикимъ ревомъ вскочилъ и началъ срывать съ ногъ мнимую бумагу, но оказалось не такъ-то легко сдѣлать это. По-утру бѣднягу отправили въ больницу, и онъ пролежалъ тамъ три мѣсяца, а я сразу отучилъ арестантовъ отъ шутокъ надъ собою. Правда, днемъ собралась было сходка, чтобы судить меня, но я подмазалъ глотку нѣкоторымъ иванамъ, и меня оправдали. Такъ совершилось мое тюремное крещеніе ..

„Подъ судомъ я сидѣлъ цѣлый годъ, и только въ маѣ 87 года меня приговорили, наконецъ, на годъ и четыре мѣсяца къ рабочему дому, но послѣдній былъ замѣненъ одиночнымъ заключеніемъ; товарищъ же мой Брусницынъ, какъ совершеннолѣтній, былъ осужденъ на четыре года въ арестантскія роты и отосланъ въ Архан-

гельскъ. Срокъ свой я отбылъ въ новой старорусской тюрьмѣ, тогда только что построенной по образцу Дома Предварительнаго Заключенія въ Петербургѣ. Арестантамъ полагалась обычная скидка, но одиночное заключеніе строго не выполнялось. Тѣмъ не менѣе, о старой тюрьмѣ приходилось отъ души пожалѣть, такъ какъ здѣсь не позволяли ѣсть своей пищи, не позволяли имѣть даже чай-сахаръ, а о табакѣ ужъ и говорить нечего: за одно имя его грозила недѣля темнаго карцера... Словомъ, порядки были очень строгіе, и тѣ самые арестанты, мои сожители по старой тюрьмѣ, которымъ, казалось, и самъ чортъ былъ не братъ, вели себя здѣсь тише воды, ниже травы, ломали шапку передъ каждымъ надзирателемъ, а смотрителю положительно готовы были лизать руки. Но, какъ это бываетъ со многими молодыми людьми, которыхъ не укатали еще крутыя горки, я началъ свою арестантскую карьеру не тихимъ и робкимъ поведеніемъ, а, напротивъ, дерзостью своей удивлялъ не только товарищей, но и само начальство. Съ смотрителемъ я столько разъ ругался, что онъ уставалъ сажать меня въ карцеръ. Но я задумалъ еще и другое. Однажды по тюрьмѣ пронесся слухъ, что къ намъ пріѣдетъ одинъ изъ великихъ князей. Смѣшно даже разсказывать, какая поднялась суматоха, какъ струсилъ смотритель и надзиратели. Меня изъ карцера перевели тотчасъ-же въ общую камеру, куда посадили еще пятерыхъ несовершеннолѣтнихъ крестьянъ, арестованныхъ за порубку лѣса—кто на двѣ недѣли, кто на мѣсяцъ. Въ одиннадцать часовъ утра къ тюрьмѣ подкатило пять троекъ, и изъ нихъ вышли великій князь и вся военная и гражданская власть города. Нашъ номеръ былъ первый отъ входа, и къ намъ зашли прежде всего. Войдя, великій князь вѣжливо поздоровался, но, кромѣ меня, никто не зналъ даже, какъ слѣдуетъ его назвать, и потому отвѣчалъ ему одинъ я. Просмотрѣвъ у всѣхъ билеты, онъ обратился къ намъ съ вопросомъ, нѣтъ ли у насъ какихъ жалобъ. Тутъ я и выступилъ впередъ. Я показалъ хлѣбъ, которымъ насъ кормили, и который былъ на половину съ пескомъ; показалъ нашъ общій бакъ, въ которомъ подавался и обѣдъ, и держалась день и ночь вода для питья, такъ что ее нельзя было пить отъ постояннаго запаха гнилой капусты; я жаловался, что арестантамъ не даютъ кипятку и, въ заключеніе, сказалъ: „Не обращайте, ваше высочество, вниманія на то, что въ кухнѣ вамъ подадутъ сегодня для пробы вкусный обѣдъ. Это дѣлается только

на одинъ день, а завтра опять насъ будутъ кормить гнилой капустой и тухлымъ мясомъ". Съ любопытствомъ выслушавъ мой разсказъ, великій князь обратился къ смотрителю съ вопросомъ, правда ли все это, но тотъ съ перепугу только и могъ сказать: „Ваше превосходительство!" и, смѣшавшись окончательно, замолчалъ. За него отвѣтилъ что-то губернскій прокуроръ, а великій князь, въ гнѣвѣ, вышелъ вонъ.

„Все тотчасъ же перемѣнилось. Смотритель поступилъ новый, кормить арестантовъ стали лучше, даже съ воли начали все пропускать... Но я, не удовольствовавшись этимъ, удалилъ еще и старшаго надзирателя, Василія Александровича. Собственно, это былъ добрый человѣкъ, но пьяница и въ пьяномъ видѣ продѣлывалъ большія жестокости: для забавы онъ билъ арестантовъ ключомъ и любилъ ставить, кромѣ того, головныя банки, т. е. забиралъ въ одинъ кулакъ волосы съ макушки и, крѣпко натянувъ, ударялъ другой рукой по кулаку... Эта жестокая пытка была любимымъ его развлеченіемъ, и ради него онъ не дозволялъ арестантамъ стричься. Однажды, играя съ арестантами, я слегка зашибъ себѣ до крови голову, и вотъ, пользуясь этимъ случаемъ, какъ только зашелъ въ мою камеру Василій Александровичъ и сказалъ: „Давай-ка, Мишка, волосы!"—я стрѣлой кинулся вонъ и побѣжалъ прямо къ доктору, которому и заявилъ, что старшій надзиратель ключомъ пробилъ мнѣ голову... Докторъ пришелъ въ такое негодованіе, что, перевязавъ мнѣ ранку, послалъ сейчасъ же за смотрителемъ и въ присутствіи его составилъ протоколъ. Говорили даже, что старшаго отдадутъ подъ судъ; но подъ судъ его не отдали, такъ какъ онъ былъ дворянинъ, а только выключили въ тотъ же день со службы.

„Такъ незамѣтно окончился срокъ моего исправленія (а вѣрнѣе было бы сказать, развращенія), и въ апрѣлѣ 88 года я вышелъ изъ тюрьмы. За мной пріѣхала мать и привезла съ собой новую одежду, такъ какъ за два года я порядочно выросъ, и прежняя уже не годилась. Мы въ тотъ же день поѣхали въ Петербургъ. Отца застали еще въ постели; при входѣ моемъ онъ поднялся и ласково поздоровался — въ этотъ разъ онъ вполнѣ вѣрилъ въ мою невиновность. Онъ тотчасъ же предложилъ мнѣ завѣдывать по прежнему своей торговлей, и я съ жаромъ ухватился за это предложеніе. Я долженъ вамъ сказать, что, не смотря на всю свою развращенность, сидя въ тюрьмѣ, я много

размышлялъ о своемъ прошломъ и будущемъ и пришелъ къ тому убѣжденію, что лучше всего на свѣтѣ честный трудъ и кусокъ хлѣба, заработанный съ чистой совѣстью. И я думаю, что если бы люди были развитѣе и добрѣе, если бы они нѣсколько иначе глядѣли на вещи и по-человѣчески относились къ тѣмъ, кто однажды сдѣлалъ ошибку, то мое рѣшеніе пойти по хорошему пути было бы не пустой мечтой. Но люди были не таковы, и при первой же попыткѣ моей сблизиться съ ними, я получилъ ужасный нравственный толчокъ, какого никогда не ожидалъ: никто не только не подалъ мнѣ руки помощи и добраго совѣта, чтобы удалить отъ прошлаго и его грязныхъ дѣлъ, а, напротивъ, каждый, казалось, спѣшилъ глубже толкнуть меня въ пропасть преступленія и разврата, такъ чтобы я не могъ уже остановиться и опомниться... Простите мнѣ за эту философію, но слишкомъ ужъ много пришлось мнѣ тогда выстрадать, чтобы я могъ теперь спокойно вспоминать и разсказывать.

„Съ первыхъ же дней, какъ я сталъ за прилавокъ, я замѣтилъ, что отношеніе ко мнѣ родныхъ и знакомыхъ совсѣмъ уже не то, что было прежде. Каждое ихъ слово, каждая улыбка говорили мнѣ о презрѣніи, о желаніи уязвить меня, оскорбить, и это желаніе чудилось мнѣ даже тамъ, гдѣ его, быть можетъ, и не было вовсе. И при всякомъ посѣщеніи магазина какимъ-нибудь знакомымъ меня бросало то въ жаръ, то въ холодъ; отъ одного взгляда этихъ людей я приходилъ въ ярость и готовъ былъ на все... Это состояніе начало, наконецъ, повторяться со мной такъ часто, что, во избѣжаніе какого-нибудь безумнаго поступка, я рѣшилъ объясниться съ отцомъ и умолять его отставить меня, хоть на время, отъ торговли. Его сильно удивило мое рѣшеніе; не давъ мнѣ договорить, онъ сказалъ, что слѣдовало гораздо раньше, еще два года тому назадъ, обо всемъ этомъ подумать, и что если мнѣ не стыдно было въ тюрьму попадать, такъ не должно быть стыдно и въ глаза людямъ глядѣть. Словомъ, я увидалъ со стороны отца полное непониманіе моей душевной смуты; тѣмъ не менѣе, я наотрѣзъ отказался продолжать ходить въ лавку. Отецъ вспылилъ и хотѣлъ было поднять на меня руку, но онъ увидалъ въ глазахъ моихъ что-то такое, что заставило его остановиться: передъ нимъ стоялъ уже не прежній забитый и запуганный мальчикъ, а юноша, въ которомъ пробудились совѣсть и сознаніе собственнаго достоинства...

„Онъ махнулъ на меня рукой, и съ этихъ поръ я сталъ безвыходно сидѣть дома, скучать, злиться на всѣхъ и отчаяваться. Все старое я презиралъ, а новаго у меня ничего еще не было въ головѣ. А между тѣмъ я былъ молодъ, во мнѣ играла кровь.. Я жаждалъ общества, дѣятельности, дружбы, задушевныхъ бесѣдъ... Во время этого хаоса мыслей мнѣ нуженъ былъ человѣкъ съ понятіемъ, который вывелъ бы меня изъ заблужденія, указалъ бы мнѣ дорогу, куда я долженъ былъ идти. Но такого человѣка не нашлось. И по неволѣ приходилось мнѣ, незамѣтно для самого себя, мириться съ своимъ прошлымъ, оправдывать передъ совѣстью свои дурные поступки. Мириться съ прошлымъ! съ этимъ позорнымъ прошлымъ, которое стоило мнѣ столькихъ слезъ, мукъ, отчаянія! И теперь, когда во мнѣ пробудилась совѣсть, мнѣ снова пришлось страдать и плакать безплодно, безъ всякой пользы, такъ какъ судьбой было рѣшено, чтобъ я погибъ окончательно и уже безъ возврата...

„Тѣмъ временемъ отцу моему понадобилось подыскать новую, болѣе удобную квартиру, и послѣ многихъ поисковъ и трудовъ ему удалось найти подходящую во второй ротѣ Измайловскаго полка. Лѣтомъ мы переѣхали туда, и тутъ я былъ страшно пораженъ, узнавши, что домъ нашъ принадлежитъ генералу Красинскому. Но не успѣлъ я еще опомниться отъ перваго удивленія, какъ, выйдя на дворъ и взглянувъ изъ любопытства наверхъ, увидалъ въ окнѣ третьяго этажа... Лизавету Семенову, ту самую женщину, которая меня нѣкогда погубила! Едва вѣря собственнымъ глазамъ, я съ часъ времени, точно въ столбнякѣ, простоялъ на одномъ мѣстѣ, хотя въ окнѣ давно уже никого не было. Я весь дрожалъ, какъ въ лихорадкѣ, и въ эту минуту готовъ былъ на какое угодно преступленіе! Мнѣ было душно, я весь горѣлъ; какъ пьяный, вышелъ я на улицу и машинально, безъ всякой цѣли, отправился, куда глаза глядѣли. Мысли у меня путались. Все, что я выстрадалъ изъ-за этой женщины, все мое недавнее прошлое, какъ живое, встало передо мной... Мнѣ хотѣлось ей мстить, страшно мстить, и я придумывалъ, какъ бы лучше сдѣлать это. Одно время мнѣ пришло даже въ голову вскочить среди бѣлаго дня въ квартиру генерала и жесточайшимъ образомъ изрѣзать Лизавету на мелкіе куски... Но я отогналъ эту мысль: не Лизавету, конечно, было мнѣ жалко, а не хотѣлось себя самого подвергать опасности. За то, говоря по чистой

совѣсти, я съ удовольствіемъ исполнилъ бы свой планъ гдѣ-нибудь въ укромномъ мѣстѣ, вдали отъ людскихъ взоровъ.

„Возвращаясь поздно вечеромъ домой, я былъ увѣренъ, что тамъ ждутъ меня непріятности, что Лизавета узнала меня, доложила обо всемъ своему генералу, и тотъ немедленно отказалъ моему отцу отъ квартиры. Однако, опасенія мои не оправдались: какъ въ этотъ, такъ и въ слѣдующіе дни все было у насъ спокойно, и отецъ ничего не подозрѣвалъ“...

. . . . . .

На этихъ словахъ рукопись Шустера, къ сожалѣнію, оборвана. Случилось это такимъ образомъ.

Во время треволненій ломовскаго періода, длившихся около двухъ мѣсяцевъ, мнѣ было, конечно, не до учениковъ съ ихъ автобіографіями; они сами хорошо понимали это, и ученье и писательство временно пріостановились. А когда личныя мои тревоги окончились, и я готовъ былъ вернуться къ обычному образу жизни и обычнымъ занятіямъ, снова началъ интересоваться обществомъ своихъ невольныхъ сожителей, ихъ горемъ и радостями, то, къ удивленію своему, увидалъ, что въ отношеніяхъ арестантовъ къ Шустеру опять успѣла произойти рѣзкая перемѣна къ худшему. Снова всѣ сторонились отъ него, отказывались съ нимъ ѣсть изъ одной чашки, ругали его „поганымъ жидомъ“ и вообще выказывали величайшее презрѣніе. Самъ Мишка Шустеръ имѣлъ опять запуганный и какой-то растерянный видъ; онъ смирно лежалъ на нарахъ, въ своемъ углу, углубившись въ писанье или другую какую работу, и, казалось, не замѣчалъ того, какъ къ нему относится камера. Но невнимательность эта, несомнѣнно, была дѣланной; подходя къ столу за своей порціей пищи, онъ каждый разъ виновато опускалъ голову и пугливо бѣгалъ глазами по сторонамъ. Ясно было, что его въ чемъ-то поймали, уличили... Я недоумѣвалъ. Но вотъ однажды, въ отсутствіи Шустера, въ камеру вбѣжалъ Сохатый, сконфуженный и вмѣстѣ разъяренный.

— Убирайте отъ меня эту стервину проклятую!—закричалъ онъ, швыряя долой съ наръ подстилку своего недавняго пріятеля.

— Что такъ? Аль разонравилась Катенька?—иронически спросилъ кто-то изъ кобылки.

— Да кто-жъ ее зналъ, сволочь, что она... такая? Вы чего-жъ молчали, коли слышали?

— Полно! будто ты не зналъ?

Сохатый закрестился обѣими руками:

— Вотъ тебѣ крестъ и Пресвятая Богородица, не зналъ! Да отъ нея, отъ падлы, еще заразу получить можно: кажный день, говорятъ, въ больницу ходитъ, отъ сифилиса лѣкарства беретъ.

— Вотъ такъ штука! Вся тюрьма отлично знала, одинъ Сохатый у насъ младенцемъ былъ! Повѣрите-ль этому, братцы?

Сохатаго подняли на смѣхъ. Окончательно переконфузившись, онъ заплевался, разразился громкими проклятіями и сталъ топтать ногами тюфякъ Шустера, продолжавшій валяться на полу.

Вечеромъ на повѣрку явился давно не бывавшій въ тюрьмѣ бравый капитанъ. Неожиданно для всѣхъ Шустеръ обратился къ нему съ жалобой.

— Господинъ начальникъ, мнѣ не дозволяютъ на нарахъ спать.

— Кто не дозволяетъ?

— Арестанты.

— Почему?

— Не могу знать, господинъ начальникъ.

Лучезаровъ пожевалъ губами.

— До меня донеслись дурные слухи о тебѣ,—внезапно возвысилъ онъ голосъ,—очень дурные, братецъ! Я не хотѣлъ вѣрить этимъ разсказамъ, но приходится вѣрить. Такъ знай же: я не допущу, чтобы въ моей тюрьмѣ такія мерзости творились! Я уже принялъ относительно тебя мѣры.

И съ этой таинственной угрозой онъ вышелъ вонъ. Точно сдерживаемая долго лавина, прорвалось тогда настроеніе камеры: все зашумѣло, заговорило, всѣ разомъ набросились на несчастнаго Шустера. Плевки и слова: „сволочь“, „язычникъ“, „отродье жидовское“, „погань нечистая“ полетѣли на него со всѣхъ сторонъ. Загнанный, оплеванный, онъ стоялъ, прижавшись спиной въ уголъ, и молчалъ, но въ чертахъ его поблѣднѣвшаго лица меня поразила рѣзкая перемѣна: слѣды недавней еще робости и смущенности сразу исчезли и смѣнились какимъ-то безстыднымъ нахальствомъ; во взглядѣ большихъ, черныхъ, какъ двѣ сливы, блестящихъ глазъ свѣтилась жгучая ненависть, сквозило убивающее презрѣніе...

— Господа, оставьте его!—поспѣшилъ я обратиться къ расходившейся публикѣ.—Шустеръ, положите свою постель возлѣ моей.

Молча, онъ поспѣшилъ воспользоваться моимъ приглашеніемъ,

и хотя арестанты долго еще продолжали на него кричать, но онъ не обращалъ уже на нихъ никакого вниманія,—по крайней мѣрѣ, сдѣлалъ вскорѣ видъ, что заснулъ.

На другой же день мнѣ пришлось разговориться объ немъ съ общимъ старостой Годуновымъ, жившимъ теперь въ моей камерѣ. Я высказалъ предположеніе, что Шустеръ, быть можетъ, и не виноватъ вовсе въ томъ, въ чемъ его обвиняютъ. Хитрый хохолъ только разсмѣялся на это.

— Вы, пожалуй, и Сохатому повѣрили, что онъ ничего не зналъ? Полноте, Иванъ Николаевичъ! Мы наперечетъ знаемъ тѣхъ даже, кто этой сволочью пользуется. Вы возьмите хоть то: откуда же у него табакъ хорошій берется, чай, сахаръ? Или вонъ на прошлой недѣлѣ портной Тихтенко перешилъ ему казенную куртку на пинжакъ. Съ меня за такую же работу онъ 1 р. 50 к. спросилъ... Тоже вѣдь этакія деньги достать надо.

— Но почему же вы не преслѣдуете тѣхъ-то господъ? Вѣдь они, по моему, несравненно виновнѣе?..

Годуновъ пожалъ плечами.

— У нашей кобылки на этотъ счетъ свои понятія имѣются. Она держится правила: вышелъ случай—бери, не вышелъ—бѣги. Да и какъ же преслѣдовать, если добрая половина тюрьмы виновна? Ну, а такихъ сволочей, какъ Катька, арестанты то откармливаютъ на убой, то бьютъ по мордасамъ. Впрочемъ, и то сказать, Иванъ Николаевичъ: въ другой тюрьмѣ мы, пожалуй, и вниманія бы не дали руки марать объ такую стервину, ну, а здѣсь—другое дѣло, здѣсь ее терпѣть не приходится.

— Почему именно здѣсь? Не все ли равно?

— Большая разница.

Однако, разницы этой Годуновъ такъ и не опредѣлилъ вполнѣ для меня ясно: другая тюрьма... другіе люди... все на виду... больше конфузу... Выходило, какъ будто, такъ, что присутствіе людей, подобныхъ мнѣ и моимъ товарищамъ, оказывало немалое вліяніе на настроеніе тюрьмы. Къ сожалѣнію, вліяніе это—„конфузъ“, какъ выражался Годуновъ—было какое-то одностороннее: Шустера презирали, готовы были гнать, бить, и въ то же время подъ сурдинку „добрая половина тюрьмы“ не считала зазорнымъ участвовать въ его позорѣ.

Однако, записки Шустера, дышавшія мѣстами такой искренней грустью, ставили меня временами втупикъ и не позволяли

окончательно повѣрить тому, что про него разсказывали. Я все еще, словно, на что-то надѣялся, пока не пришлось убѣдиться окончательно, собственными глазами...

. . . . . .

Что влекло, думалось мнѣ, несчастнаго къ подобнымъ гадостямъ? Если въ другой тюрьмѣ онъ еще могъ бы, пожалуй, найти нѣкоторое оправданіе въ развращающихъ примѣрахъ, въ систематическомъ голоданіи или возможности широко пользоваться заработанными деньгами, то въ Шелайской тюрьмѣ...

Въ сердцѣ моемъ словно что оборвалось послѣ этого открытія, и вся прежняя симпатія къ несчастному юношѣ сразу пропала. Я не только не сталъ настаивать на томъ, чтобъ онъ продолжалъ свои записки, но почувствовалъ непобѣдимое отвращеніе и къ тѣмъ тетрадкамъ, какія уже были имъ составлены. Мнѣ было противно касаться этихъ грязныхъ, засаленныхъ листковъ, и я не разъ собирался предать ихъ сожженію... Но потомъ я какъ-то позабылъ о нихъ, и только этому обстоятельству они обязаны своимъ спасеніемъ. Нѣсколько лѣтъ спустя я совершенно случайно натолкнулся, разбирая старый хламъ, на эти записанныя полустершимся карандашомъ тетрадки и, перечитавъ, отъ души пожалѣлъ, что онѣ обрывались на самомъ, что называется, интересномъ пунктѣ. Если бы авторъ и дальше писалъ съ той же несомнѣнной правдивостью и откровенностью, то психологія этого жалкаго, безвозвратно погибшаго человѣка могла бы, думается мнѣ, представить въ своемъ родѣ значительный интересъ...

Мнѣ больше ничего неизвѣстно объ его судьбѣ. Вскорѣ послѣ описанныхъ событій онъ переведенъ былъ въ другой рудникъ, вѣроятно, по настоянію самого Шестиглазаго. Арестанты громко радовались.

XVI.

Слава Шелая. Увлеченіе писательствомъ. Каторжные мечтатели.

Имя Шелая далеко уже гремѣло по всей каторгѣ, для однихъ являясь грозою, для другихъ, напротивъ, какимъ-то земнымъ эльдорадо, чѣмъ-то вродѣ каторжнаго университета, откуда желающіе могли выйти не только грамотными, но и чуть-ли не образованными людьми. Все лучшее, чѣмъ отличалась Шелайская тюрьма, стоустая молва раздувала до невѣроятныхъ размѣровъ:

ходилъ, напр., слухъ, будто въ нашихъ рукахъ имѣется огромная библіотека, и въ тюрьмѣ съ разрѣшенія начальства устроена настоящая, правильно организованная школа, лучшихъ учениковъ которой раньше срока выпускаютъ въ вольную команду; умственныя и нравственныя качества самихъ учителей пылкое воображеніе разсказчиковъ (т. е. уходившихъ изъ Шелая на поселеніе арестантовъ) рисовало въ самыхъ розовыхъ и лестныхъ для нихъ краскахъ, и что всего удивительнѣе, въ числѣ этихъ безкорыстныхъ панегиристовъ оказывались нерѣдко субъекты, въ бытность свою въ тюрьмѣ, казалось, меньше всего дарившіе насъ дружескими симпатіями. Но прошедшее всегда представляется въ преувеличенномъ освѣщеніи, и немудрено, что у людей, покидавшихъ, наконецъ, проклятую каторжную жизнь и шедшихъ на волю, сердце противъ воли размягчалось, хоть на короткое время, и фантазія начинала разыгрывать веселый танецъ. Само собой разумѣется, что панегиристы-разсказчики не забывали упоминать, тоже все преувеличивая, и о матеріальной помощи, которую мы оказывали кобылкѣ.

Въ результатѣ всего этого происходили, случалось, горестныя недоразумѣнія. Въ то время, какъ большинство шелайскихъ обитателей денно и нощно рвалось всѣми силами мечты вонъ изъ душныхъ стѣнъ образцовой тюрьмы, въ какомъ-нибудь Стрѣтенскѣ, гдѣ производилась раскомандировка шедшихъ въ рудники партій, нѣкоторые изъ арестантовъ сами умоляли начальство назначить ихъ въ Шелай. Просьбы эти иногда исполнялись, и вотъ злополучныхъ мечтателей въ первые же дни по прибытіи къ намъ ожидало самое горькое разочарованіе: все хорошее, чѣмъ гремѣла и славилась наша тюрьма, оказывалось на дѣлѣ миніатюрнымъ до мизерности... Конечно, доходившее временами до трогательности стремленіе кобылки къ свѣту образованія кое-къ чему обязывало меня съ товарищами, и мы кое-что дѣлали въ этомъ смыслѣ, но все это было, въ концѣ концовъ, лишь незначительной, до обиднаго незначительной каплей въ огромномъ морѣ потребности!

Нельзя съ другой стороны сказать, чтобы и всѣ рвавшіеся въ Шелай заслуживали симпатіи и безусловно стояли выше большинства каторги въ умственномъ и нравственномъ отношеніи. Разные и среди нихъ встрѣчались субъекты. Однажды въ нашъ рудникъ привезли бродягу изъ тѣхъ Непомнящихъ Ивановъ,

торыхъ развозятъ по всѣмъ тюрьмамъ, показывая надзирателямъ и другимъ служащимъ въ надеждѣ, что кто-нибудь признаетъ въ немъ бѣглаго каторжнаго. Шелайскіе надзиратели не признали его „своимъ“, и, въ ожиданіи отправки въ другой рудникъ, оригинальный гость посаженъ былъ, по обыкновенію, въ карцеръ. Кобылка, разумѣется, завела съ нимъ, немедля ни минуты, дѣятельныя сношенія, снабдила его табакомъ, а въ обмѣнъ получила разныя сенсаціонныя новости изъ жизни тюремнаго міра: тотъ „сорвался“, другого „засыпали“, третьяго „пришили“... Меня и моихъ товарищей новости эти, державшія всю тюрьму въ неописуемомъ волненіи, мало, конечно, интересовали. Но вотъ ко мнѣ подбѣжалъ съ крайне таинственнымъ видомъ парашникъ Милосердовъ и вручилъ какое-то письмо въ засаленномъ конвертѣ изъ сѣрой бумаги съ огромной, аляповато сдѣланной сургучной печатью.

— Что такое? Отъ кого это?—спросилъ я съ удивленіемъ.

— Изъ Александровской богадѣльни, отъ кого-то изъ вашихъ,— зашепталъ, оглядываясь, Милосердовъ.—Этотъ, что на уличку-то привезенъ, передалъ. Сказываетъ, Проня чуть не отобралъ при обыскѣ, да старая шельма хитрѣе его оказался—успѣлъ спрятать. Пуще всего, говоритъ, берегся, чтобъ знаки не стерлись.

— Какіе знаки?

— А какъ-же! на конвертѣ-то, смотрите, что цифири наставлено...

Конвертъ, дѣйствительно, испещренъ былъ разными непонятными іероглифами и цыфрами: 80—40—70—100—400—71—12—00—44 и т. д., послѣ чего значилось: „въ нихъ же заключается число 666“. Тутъ же, вокругъ сургучной печати, латинскими буквами выведено было „Cum Deo“, а на оборотной сторонѣ красовался удивительный адресъ: „Обществу русскаго Сацыала“.

— Что за чепуха такая?—воскликнулъ я, пожавъ плечами, и хотѣлъ было вернуть письмо, какъ не адресованное на мое имя, но почтальонъ замахалъ обѣими руками и такъ убѣдительно закричалъ: „Вамъ, вамъ!“ — что я разорвалъ бумагу и прочиталъ въ ней буквально слѣдующее:

„Господа, покорнѣйше прошу подать руку помощи мнѣ, какъ погибшей овцѣ израилевой, заблудившей въ придѣлахъ императорскаго дому и жрицовъ. Мною приняты мѣры о переводѣ къ Вамъ въ Шелай, но не могу никакъ вырваться. Смотритель имѣетъ полную тюрьму фискалъ и ему меня внушили остере-

гаться. Онъ позволяетъ себѣ морить Арестантовъ голодомъ и по нѣскольку дней, случалось, не выдаетъ на ужинъ сала, подобравъ себѣ шайку тюремныхъ Авонтюристовъ, которые всѣмъ и управляютъ, и никто не смѣй сказать слова! Причиняетъ неспособнымъ тѣлесное наказаніе: Валентій Щапнъ съ традалъ порокомъ сердца и легкихъ, по причинѣ нанесенныхъ ударовъ его постигла Eproplecsia, почему вскорѣ и померъ. 14 іюля сего года я написалъ *Прошеніе* на имя Забайкальскаго *Г. Губернатора* въ темѣ нигилистическаго текса по поводу принести мнѣ желательно покаяніе за всю мою жизнь; но фискалы внушили г. Смотрителю, что я могу ему повредить, и онъ меня въ наручняхъ и кандалахъ около мѣсяца держалъ меня во тьмѣ Адовой, называемой карцеръ. И я изъятый по роду болѣзни, легкихъ и пороковъ сердца отъ тѣлеснаго наказанія, вызвалъ меня собманомъ въ контору и причинилъ мнѣ жестокія раны формѣнно на скамьѣ, а я имѣя форменныхъ два врачебныхъ свидѣтельства.

„И не имѣю никакихъ возможныхъ средствъ къ жизни, и недостаетъ моихъ физическихъ силъ и умственныхъ способностей соистезаться съ Вонпиромъ роду человѣческаго. Въ среду и пятницу отнялъ съ помощью Иванцовъ ужинъ, варятъ одинъ разъ въ сутки ничтожную кашицу.

„Я же правды не могу умолчать во вѣкъ, я въ силѣ соистезаться съ жизнью и смѣртью. Сколько мнѣ дали розокъ я не знаю потому что по третьему разу сѣкуціи лишенъ былъ чувствъ и сознаній; а когда пришелъ въ себя, то сказалъ Смотрителю что Вы изъ меня ничего никогда не можете извлечь въ свою пользу, а я прошу Васъ мое Прошеніе отправить по принадлежности, а меня перевести въ Шелай. Онъ мнѣ въ этомъ отказалъ. Прошу щедрую руку помощи отъ Вашихъ избытковъ, прощайте, будьте щастливы. Я, нынѣ Лаврентій Помякшевъ. Прошу отвѣтъ. У меня всѣ принадлежности письмоводства отобраны".

Отвѣта я, конечно, никакого не могъ дать на это странное посланіе; но въ душѣ невольно шевельнулся вопросъ: что если бы подобный субъектъ добился своего и переведенъ былъ въ Шелай? Были-ль бы мы рады подобному другу и поклоннику?.. О смотрителѣ Александровской тюрьмы я кое-что слыхалъ, правда, и раньше, такъ что въ обличеніяхъ Лаврентія Помя[illegible]ть можетъ, и была доля истины, но чуялось въ то[illegible] исходятъ эти обличенія не изъ чистой души тоскую

человѣка, а изъ болѣзненной страсти къ сутяжеству, доносамъ и всякаго рода интригамъ, страсти, дѣлающей этого рода людей одинаково ненавистными какъ начальству, такъ и товарищамъ. Случайно этому человѣку пришлось стать во враждебныя отношенія къ смотрителю и принять образъ невиннаго страдальца; но съ неменьшимъ удобствомъ онъ могъ бы. вѣроятно, при другихъ обстоятельствахъ быть и однимъ изъ тайныхъ агентовъ этого самаго смотрителя, находиться въ числѣ „Авонтюристовъ“, которыхъ онъ теперь обличалъ. И вотъ въ его кляузнической головѣ возникъ совершенно другой планъ: онъ пишетъ губернатору прошеніе „въ темѣ нигилистическаго текса“, гдѣ выражаетъ желаніе принести покаяніе за всю свою жизнь и проситъ о переводѣ въ Шелай, быть можетъ, обѣщаясь фискалить тамъ на своихъ мнимыхъ друзей.

Между тѣмъ, примѣръ Шустера, написавшаго для меня свои мемуары, подѣйствовалъ на шелайскихъ обитателей крайне заразительно, и въ скоромъ времени не только я, но и Штейнгартъ съ Башуровымъ буквально завалены были всякаго рода рукописями въ стихахъ и прозѣ. Стиховъ писалось чуть ли не всего больше, и поэтами оказывались иногда такіе прозаическіе на видъ господа, что приходилось только руками разводить. Къ счастью или къ несчастью, большая часть этихъ стиховъ погибла, и я лишь смутно могу теперь припомнить, что они были главнымъ образомъ обличительно-описательнаго характера; лирика Медвѣжьяго Ушка являлась положительнымъ исключеніемъ. Впрочемъ, Медвѣжье Ушко давно уже не писалъ стиховъ, да, къ удивленію, и вообще не выказывалъ теперь ни малѣйшаго желанія заниматься какимъ-либо родомъ писательства. Больше всѣхъ заваливалъ меня стихами Петинъ-Сохатый, и должно отдать ему справедливость—въ нихъ было одно несомнѣнное достоинство: размѣръ всегда бывалъ выдержанъ, и риѳмы отличались достаточной звучностью; тѣмъ не менѣе я не разъ давалъ Сохатому откровенный совѣтъ бросить писать стихи. Петинъ обижался.

— Почему такъ? Развѣ риѳмой не отзываетъ?

— Нѣтъ, риѳма ничего себѣ,—объяснялъ я,—а только таланта у васъ нѣтъ.

— Какъ это нѣтъ? Да задайте мнѣ, что хотите, въ стихахъ описать—завтра же будетъ готово!

— Вполнѣ вамъ вѣрю. Только это талантъ не поэтическій, а ерсификаторскій.

— Это что такое—сификаторскій? Что-нибудь бранное?

— Нѣтъ, не бранное.

И я пытался разъяснить Сохатому разницу между поэзіей и ерсификаціей; онъ очень разсѣянно выслушивалъ и, отходя рочь, объявлялъ:

— А я вотъ теперь такую штуку поднесу вамъ, что вы только иву дадитесь! Поймете тогда, что за человѣкъ Сохатый... Быть ожетъ, вашего Пушкина аль Некрасова почище!

И однажды онъ подалъ мнѣ на лоскуткѣ бумажки слѣдующее тихотвореніе:

Пѣсня бѣглеца.

Славное море--священный Байкалъ,
Славный корабль—омулёвая бочка!
Ну, Баргузинъ, пошевеливай валъ,
Плыть молодцу недалёчко.
Долго я тяжкія цѣпи влачилъ,
Долго бродилъ я въ горахъ Акатуя,—
Добрый товарищъ бѣжать пособилъ,
Ожилъ я, волю почуя.
Шилка и Нерчинскъ не страшны теперь!
Горная стража меня не поймала,
Въ дебряхъ не тронулъ прожорливый звѣрь,
Пуля стрѣлкаа миновала.
Шелъ я средь ночи, средь бѣлаго дня,
Вкругъ городовъ озираяся зорко;
Хлѣбомъ кормили крестьянки меня,
Парни снабжали махоркой.
Славное море—священный Байкалъ,
Славный и парусъ—кафтанъ дыроватый...
Ну-жъ, Баргузинъ, пошевеливай валъ,
Слышатся бури раскаты!

Стихи эти, признаюсь, очень понравились мнѣ.

— Да вы вѣдь въ самомъ дѣлѣ поэтъ, Петинъ!—удивленно во[с]кликнулъ я, взглянувъ на Сохатаго, стоявшаго подлѣ и съ любопытствомъ слѣдившаго за выраженіемъ моего лица во время чтенія. [Онъ] густо покраснѣлъ, смущенно фыркнулъ и отошелъ прочь, ворча:

— А вы какъ думали? Дайте время—не то еще напишу.

— Ну-ка, ну-ка, что онъ тамъ такое написалъ? Прочтите-ка [мнѣ], Иванъ Николаевичъ,—подошелъ староста Годуновъ, услыхавшій мою похвалу. Съ Сохатымъ у него шли, какъ и у Лунькова

вѣчныя препирательства; одинъ другого то и дѣло уличалъ въ какихъ-нибудь продѣлкахъ или ошибкахъ. Этотъ Годуновъ, о которомъ не разъ ужъ мнѣ приходилось упоминать мимоходомъ, мнилъ себя человѣкомъ, способнымъ въ какомъ угодно (даже самомъ образованномъ) обществѣ не ударить лицомъ въ грязь, а къ Сохатому относился всегда иронически, какъ къ молокососу, ничего еще не видавшему и не имѣвшему никакихъ основательныхъ свѣдѣній. И, дѣйствительно,у него были кой-какіе резоны гордиться „образованіемъ“: гдѣ-то онъ прочелъ всѣ 29 томовъ русской исторіи Соловьева и всю всеобщую исторію Шлоссера, и если многое изъ прочитаннаго понималъ до нельзя своеобразно, то всѣ главные факты, какъ не разъ имѣлъ я случай убѣдиться, отлично помнилъ; мало того, для какой-то неизвѣстной мнѣ цѣли Годуновъ учился у меня нѣмецкой грамматикѣ, на память о чемъ до сихъ поръ еще хранятся въ моихъ бумагахъ написанные его рукой нѣмецкіе вокабулы и склоненія указательнаго мѣстоименія dieser, diese, dieses. Правда, при всемъ этомъ по русски писалъ онъ совершенно безграмотно, что давало Сохатому обильную пищу для всякаго рода насмѣшекъ; но, какъ человѣкъ практической складки, Годуновъ признакомъ настоящей образованности считалъ не знаніе орѳографіи; уличенный пріятелемъ въ невѣрномъ правописаніи, онъ начиналъ поэтому, съ свойственнымъ ему самохвальствомъ, резонировать:

— Ну, ужъ это ты, братъ, восьмилѣтнимъ мальчишкамъ оставь свою букву ять, тебѣ же двадцать восемь, а мнѣ и всѣхъ сорокъ пять есть. Не въ буквѣ ять умъ человѣка заключается. А вотъ это, что у тебя пустая башка, а у меня кое-что заложено здѣсь, какъ и то, что я видалъ свѣтъ и людей, понимаю жизнь,—это, надѣюсь, вполнѣ подтвердятъ и оцѣнятъ люди, которые, братъ, повыше и поумнѣе насъ съ тобой!

Выразительный, полный достоинства взглядъ, который бросался при этихъ словахъ въ мою сторону, ставилъ меня порой въ самое щекотливое положеніе и заставлялъ, если не прямо принимать сторону Годунова, то отдѣлываться многозначительнымъ молчаніемъ.

Когда я прочелъ, по его просьбѣ, вслухъ „Пѣсню бѣглеца“, Годуновъ всплеснулъ руками.

— И вы повѣрили, что эти стихи написалъ Сохатый? Эта простокишная голова?

— Ну, а что-жъ, ты, что-ли, ихъ написалъ? буркнулъ Сохатый, сверкнувъ телячьими глазами.

— И ты не краснѣешь, дубинища ты этакая? Ага, покраснѣлъ однако! Да вѣдь этой пѣснѣ, Иванъ Николаевичъ, по крайней мѣрѣ тридцать лѣтъ есть. Сохатый вашъ безъ штановъ еще бѣгалъ, когда я въ первый разъ въ Сибирь шелъ, и тогда ужъ я слышалъ эту пѣсню. Въ ней вѣдь о тѣхъ еще временахъ говорится, когда старый Акатуй гремѣлъ, и Кара не была въ такой славѣ.

Однимъ словомъ, Сохатый былъ изобличенъ въ литературномъ плагіатѣ и окончательно посрамленъ; пофыркавъ нѣкоторое время на Годунова, онъ, какъ настоящій софистъ, рѣшилъ занять другую позицію:

— Да развѣ я говорилъ Ивану Николаевичу, что я сочинилъ эти стихи? Я только сказалъ, что написалъ.

Но уже ничто не помогало: Луньковъ, Чирокъ и вся камера громко выражали удовольствіе по поводу блистательнаго провала Сохатаго, а Годуновъ побѣдоносно расхаживалъ, заложивъ за спину руки, и не уставалъ резонировать. Какое бы послѣ того стихотвореніе ни приносилъ мнѣ Сохатый, я прежде всего спрашивалъ: точно ли онъ самъ сочинялъ его?..

Среди безчисленныхъ тюремныхъ стихотворцевъ отыскался даже одинъ декадентъ. А быть можетъ, это былъ символистъ—не мнѣ рѣшать столь тонкій вопросъ, я знаю достовѣрно одно только, что стихи этого поэта ставили меня каждый разъ положительно втупикъ, и я съ любопытствомъ вглядывался въ физіономію автора, желая узнать, смѣется онъ надо мной, или нѣтъ. Но Котиковъ (такъ звали Шелайскаго Пеладана), очевидно, не смѣялся и самымъ серьезнымъ образомъ относился къ своимъ писаніямъ. Высокаго роста, худой, костлявый, съ скрюченной спиной и испуганно бѣгающими глазами на испитомъ, чахоточномъ лицѣ, лишенномъ всякой растительности, молчаливый и нелюдимый, это былъ вообще странный человѣкъ; товарищи нѣсколько даже побаивались его и считали сумасшедшимъ. Котиковъ подходилъ ко мнѣ обыкновенно на дворѣ тюрьмы, когда по близости не было никого изъ арестантовъ, и говорилъ, всегда робко озираясь по сторонамъ, почти шопотомъ. Онъ жаловался на свои недуги (порокъ сердца), на то, что тюремныя стѣны давятъ ему мозгъ, грудь, а общество арестантовъ, чуждое всякихъ духовныхъ интересовъ, сводитъ его съ ума (на волѣ Котиковъ былъ, повидимому, мелкимъ чиновникомъ). Вообще ничего прямо безумнаго въ его разговорахъ не замѣчалось; относительно же своихъ стихотвор-

человѣка, а изъ болѣзненной страсти къ сутяжеству, доносамъ и всякаго рода интригамъ, страсти, дѣлающей этого рода людей одинаково ненавистными какъ начальству, такъ и товарищамъ. Случайно этому человѣку пришлось стать во враждебныя отношенія къ смотрителю и принять образъ невиннаго страдальца; но съ неменьшимъ удобствомъ онъ могъ бы, вѣроятно, при другихъ обстоятельствахъ быть и однимъ изъ тайныхъ агентовъ этого самаго смотрителя, находиться въ числѣ „Авонтюристовъ“, которыхъ онъ теперь обличалъ. И вотъ въ его кляузнической головѣ возникъ совершенно другой планъ: онъ пишетъ губернатору прошеніе „въ темѣ нигилистическаго текса“, гдѣ выражаетъ желаніе принести покаяніе за всю свою жизнь и проситъ о переводѣ въ Шелай, быть можетъ, обѣщаясь фискалить тамъ на своихъ мнимыхъ друзей.

Между тѣмъ, примѣръ Шустера, написавшаго для меня свои мемуары, подѣйствовалъ на шелайскихъ обитателей крайне заразительно, и въ скоромъ времени не только я, но и Штейнгартъ съ Башуровымъ буквально завалены были всякаго рода рукописями въ стихахъ и прозѣ. Стиховъ писалось чуть ли не всего больше, и поэтами оказывались иногда такіе прозаическіе на видъ господа, что приходилось только руками разводить. Къ счастью или къ несчастью, большая часть этихъ стиховъ погибла, и я лишь смутно могу теперь припомнить, что они были главнымъ образомъ обличительно-описательнаго характера; лирика Медвѣжьяго Ушка являлась положительнымъ исключеніемъ. Впрочемъ, Медвѣжье Ушко давно уже не писалъ стиховъ, да, къ удивленію, и вообще не выказывалъ теперь ни малѣйшаго желанія заниматься какимъ-либо родомъ писательства. Больше всѣхъ заваливалъ меня стихами Петинъ-Сохатый, и должно отдать ему справедливость—въ нихъ было одно несомнѣнное достоинство: размѣръ всегда бывалъ выдержанъ, и риѳмы отличались достаточной звучностью; тѣмъ не менѣе я не разъ давалъ Сохатому откровенный совѣтъ бросить писать стихи. Петинъ обижался.

— Почему такъ? Развѣ риѳмой не отзываетъ?

— Нѣтъ, риѳма ничего себѣ,—объяснялъ я,—а только таланта у васъ нѣтъ.

— Какъ это нѣтъ? Да задайте мнѣ, что хотите, въ стихахъ описать—завтра же будетъ готово!

скорби, отъ этихъ думъ вѣяло всегда несомнѣнной, глубокой искренностью...

Что же заставляло этихъ людей, спросить, быть можетъ, читатель, писать и заваливать меня своими писаніями? Этотъ вопросъ, признаюсь, и меня сильно интриговалъ. У меня мелькало даже первое время подозрѣніе, что имъ хотѣлось реабилитировать себя въ моихъ глазахъ, во что бы то ни стало доказать, что они осуждены неправильно и страдаютъ въ каторгѣ безвинно, но первыя же прочтенныя страницы исповѣдей убѣждали въ грубой ошибочности такого подозрѣнія. Ни одинъ изъ авторовъ не дѣлалъ ни малѣйшей попытки представить въ сколько-нибудь смягченномъ видѣ свою преступность, скрыть какую-либо черту своего темнаго прошлаго, вся грязь котораго, напротивъ, выволакивалась наружу съ безпощадной, почти циничной откровенностью. Очевидно, причина, побуждавшая этихъ людей писать, была совсѣмъ другая, и не стоило особеннаго труда доискаться ея, такъ какъ она рѣзко бросалась въ глаза и даже откровенно указывалась самими авторами мемуаровъ; этимъ несчастнымъ не только хотѣлось облегчить душу исповѣдью передъ человѣкомъ, который, какъ они надѣялись, все съумѣетъ понять, но и думалось, что онъ съумѣетъ повѣдать свѣту о пережитыхъ ими заблужденіяхъ, ошибкахъ, испытаніяхъ и мученіяхъ!..

Уже нѣсколько разъ упоминалъ я въ этихъ запискахъ, что относительно меня составилась среди арестантовъ какая-то странная увѣренность, что когда нибудь, выйдя изъ тюрьмы, я непремѣнно опишу въ печати все, пережитое мной въ каторгѣ, все до малѣйшихъ мелочей, причемъ изображу не только тюремную администрацію, но и кобылку. Изъ этой именно увѣренности вытекали, напр., и шутки по отношенію къ Чирку, котораго стращали тѣмъ, что я, будто бы, записываю всѣ преступленія, когда либо совершенныя имъ на водѣ. Правда, мнѣ приходилось гдѣ-то упоминать также, что нѣкоторые изъ выдающихся арестантовъ, читавшіе „Записки изъ Мертваго Дома“, крайне неодобрительно и почти враждебно относились къ ихъ автору, предполагая, что онъ сильно повредилъ каторгѣ раскрытіемъ ея мнимыхъ тайнъ и секретовъ; однако, эти же самые люди къ *моему* предполагаемому плану написать подобныя же записки относились вполнѣ благосклонно, очевидно, увѣренные въ томъ, что я сдѣлаю это иначе, т. е. возьму на себя лишь прославленіе страданій каторги

и изобличеніе ея притѣснителей, и многіе изъ этихъ людей, повидимому, не прочь были сами попасть на страницы будущаго сочиненія... Наивныя души! что-то сказали бы вы, если бы когда-нибудь и какъ-нибудь узнали, что я на самомъ дѣлѣ исполнилъ ту миссію, которую вы на меня возлагали, но исполнилъ не совсѣмъ такъ, какъ вамъ бы хотѣлось· изображая ваши поистинѣ великія горести, я высказывалъ временами и горькую для васъ правду...

Нѣкоторые изъ моихъ учениковъ-пріятелей не только „не прочь были“, но положительно *сгорали жаждой* попасть въ мои будущія записки! Говорю это безъ тѣни преувеличенія. Особенно часто вспоминается мнѣ изъ этихъ мечтателей-славолюбцевъ одинъ арестантъ, по фамиліи Пѣнкинъ, во всѣхъ отношеніяхъ производившій впечатлѣніе человѣка выдающагося и необыкновенно симпатичнаго. Даже и внѣшность у него была незаурядная. Длинные бѣлокурые усы свѣшивались внизъ, прикрывая собой красивыя губы, въ углахъ которыхъ лежала печать постоянной грустной ироніи, свѣтившейся также и въ умныхъ синихъ глазахъ. Низы щекъ уже подернуты были замѣтными морщинами, хотя Пѣнкину было не болѣе 43 лѣтъ; когда-то онъ былъ, повидимому, человѣкомъ очень веселаго нрава, потому что и теперь еще не прочь былъ пошутить, побалагурить, разсказать смѣшной анекдотъ, но главной чертой его была теперь уже не веселость, а тихая грусть, задумчивая серьезность. Да и мудрено ли? Ровно 23 года сидѣлъ уже Пѣнкинъ въ тюрьмѣ, и лишь одинъ разъ за все это время ненадолго „срывался“ для того, чтобы еще прочнѣе засѣсть, послѣ того, „въ стѣны каменныя“. Признаюсь, меня охватывала каждый разъ дрожь ужаса, когда я думалъ, что этотъ человѣкъ не знаетъ свободы *съ начала 1870 года*, т. е. съ того года, въ который я едва началъ сознательную человѣческую жизнь, маленькимъ девятилѣтнимъ мальчикомъ готовясь поступить въ гимназію! Вѣдь съ тѣхъ поръ прошла, думалось мнѣ, вѣчность не только для отдѣльныхъ людей, но и для цѣлыхъ поколѣній, для цѣлыхъ народовъ! А человѣкъ, живой, способный страдать и чувствовать человѣкъ, все это время провелъ въ душной, кошмарной атмосферѣ каторжныхъ тюремъ! Но и въ будущемъ положеніе Пѣнкина казалось вполнѣ безнадежнымъ. Его двадцатипятилѣтній каторжный срокъ считался почему-то со времени вторичнаго осужденія послѣ побѣга, и вольной команды, по объясненію браваго капитана, ему совсѣмъ не полагалось.

Вся тюрьма поголовно относилась къ нему съ уваженіемъ, и слово Пѣнкина во время всякихъ арестантскихъ треволненій (въ которыхъ онъ, впрочемъ, не любилъ принимать участіе) отличалось въ ея глазахъ особенной вѣскостью; цѣнило его и само начальство, какъ тихаго, солиднаго арестанта, прекраснаго къ тому же мастерового-плотника.

Къ сожалѣнію, мнѣ какъ-то ни разу не удавалось жить съ Пѣнкинымъ въ одномъ номерѣ. Еще задолго до того времени, какъ по тюрьмѣ прошла волна повальнаго увлеченія писательствомъ, онъ не разъ говаривалъ мнѣ, оставаясь со мной наединѣ въ горной свѣтличкѣ:

— Вотъ мою бы вамъ жизнь прослушать, Миколаичъ! Думаю, не пожалѣли-бъ. Потому не всякому столько пережить удается. И по волѣ, и въ тюремной участи чего только я не видѣлъ, чего не испыталъ... Эхъ, кабы все это описать! Некому только описать-то (самъ Пѣнкинъ былъ малограмотенъ)... Умру—такъ все и пропадетъ, словно ничего и не было.

Эту мысль и это сожалѣніе много разъ высказывалъ Пѣнкинъ, и нужно ли говорить, что я отъ души былъ бы радъ выслушать разсказъ объ его жизни, тѣмъ болѣе, что, какъ я слыхалъ отъ арестантовъ, онъ былъ безподобнымъ разсказчикомъ; но обстоятельства складывались для этого какъ-то особенно неблагопріятно, и случая долго не выходило. Наконецъ, однажды въ нашей камерѣ понадобилась какая-то небольшая передѣлка, и всѣхъ ея обитателей, а въ томъ числѣ и меня, начальство „перегнало“ на однѣ сутки какъ разъ въ тотъ номеръ, гдѣ жилъ Пѣнкинъ. Я поспѣшилъ, разумѣется, воспользоваться этимъ случаемъ и попросилъ Пѣнкина, не откладывая, приняться за разсказъ. Онъ не сталъ кобениться и, усѣвшись послѣ вечерней повѣрки рядомъ со мною, началъ говорить своимъ тихимъ, задушевнымъ, пріятно пѣвучимъ голосомъ саратовца, разсказывая, точно, не собственную жизнь, а гдѣ-то слышанную или вычитанную изъ книги стародавнюю быль или сказку. Не прошло и нѣсколькихъ минутъ, какъ разсказъ этотъ захватилъ меня, и я уже не слушалъ, а буквально горѣлъ, весь отдавшись во власть этого страннаго человѣка, продолжавшаго говорить мѣрно-спокойнымъ, слегка только грустнымъ голосомъ. Да и не я одинъ увлекся—въ камерѣ наступила гробовая тишина—всѣ слушали Пѣнкина съ пожирающимъ вниманіемъ, и когда разсказъ, наконецъ, окончился часа въ два

ночи, я чувствовалъ себя потрясеннымъ до глубины души, до дрожи во всемъ тѣлѣ... Мнѣ казалось въ ту минуту, что никогда въ жизни ни одна книга не производила на меня такого сильнаго, такого жизненнаго впечатлѣнія; этотъ разсказъ былъ сама дѣйствительность, ужасная, полная всякаго рода кошмаровъ, похожихъ на мрачную сказку, но какъ бы живьемъ запечатлѣвшаяся въ памяти пережившаго ее человѣка и теперь вновь воскресавшая передъ изумленнымъ слушателемъ... Мнѣ казалось, что запиши я тогда же дословно этотъ разсказъ, полный безпощадно-правдиваго самоанализа,—онъ былъ бы замѣчательнымъ литературнымъ произведеніемъ, которое произвело бы и на читателей такое же сильное впечатлѣніе. Но я его, къ сожалѣнію, не записалъ... Двѣ-три недѣли прошло съ той памятной ночи, а я все собирался занести слышанное на бумагу—и никакъ не находилъ духу сдѣлать это: то, что выходило изъ-подъ моего карандаша, было такъ блѣдно, такъ вяло, что мнѣ становилось досадно и стыдно... А Пѣнкинъ нѣсколько разъ обращался ко мнѣ съ вопросомъ:

— Ну, что, Миколаичъ, все еще не записали?

И когда я горячо принимался обнадеживать его, что вскорѣ непремѣнно исполню обѣщаніе, онъ отвѣчалъ, грустно усмѣхаясь:

— Гдѣ, поди, записать! Такъ все и пропадетъ, словно ничего и не было...

И онъ оказался правъ въ своемъ пессимизмѣ. Прошли годы, а я такъ и не исполнилъ своего задушевнаго желанія. Да и исполнить его становилось съ каждымъ мѣсяцемъ все труднѣе и труднѣе, такъ какъ многое постепенно и незамѣтно забывалось, изъ памяти то и дѣло выскальзывали тѣ или другіе важные черточки и штрихи, и въ настоящее время, когда я помню уже одинъ только голый, блѣдный остовъ разсказа, когда-то произведшаго на меня столь глубокое впечатлѣніе, я уже не могу отважиться на попотку вдохнуть въ этотъ остовъ живое дыханіе, расцвѣтить мертвый трупъ красками жизни. И если Пѣнкину не, удастся когда-либо встрѣтить другого образованнаго человѣка, который будетъ счастливѣе меня, то его горькое пророчество исполнится въ самомъ буквальномъ смыслѣ, и поучительная, богатая внѣшнимъ и внутреннимъ содержаніемъ жизнь исчезнетъ безслѣдно, словно ея никогда и не было...

Гибелью и проклятіемъ этого человѣка былъ прежде всего тотъ

порокъ, отъ котораго гибнетъ на Руси столько лучшихъ, талантливѣйшихъ людей; страсть къ водкѣ овладѣла имъ еще въ ранней юности. Но къ этому прибавлялась еще бурная строптивость темперамента, принимавшая подъ вліяніемъ винныхъ паровъ размѣры чего-то титаническаго, напоминавшаго черты нашихъ былинныхъ героевъ,—строптивость, ни за что не хотѣвшая считаться съ ложью установившейся морали и обычаевъ; вполнѣ естественно, что мелкая, буднично-пошлая современность въ свою очередь не могла мириться съ колющей ей глаза правдивостью и бунтарскими выходками этой неугомонной натуры. На каждомъ шагу, въ средѣ даже самыхъ близкихъ людей, создавались все новые и новые враги, и трагическая развязка являлась почти столь же неизбѣжной, какъ древній рокъ: въ пьяномъ видѣ Пѣнкинъ зарѣзалъ родного дядю и двоюроднаго брата...

Дальнѣйшая судьба Пѣнкина сложилась не менѣе печально, чѣмъ и вся его жизнь. Какимъ-то чудомъ (всѣ называли это чудомъ) Лучезаровъ выпустилъ его въ вольную команду, и восторгамъ Пѣнкина не было предѣловъ. Повидимому, онъ искренно мечталъ начать новую жизнь... Но вотъ пронесся откуда-то слухъ, быть можетъ и ложный, будто выпустили его по недоразумѣнію и скоро опять посадятъ въ тюрьму. Тогда въ одинъ бурный осенній вечеръ надзиратели, явившіеся въ вольнокомандческій баракъ на повѣрку, не нашли тамъ Пѣнкина—онъ скрылся. Меня уже не было въ Шелайскомъ рудникѣ, когда я узналъ, что около Верхнеудинска его поймали, и что онъ снова отправленъ въ каторгу...

Не менѣе страстнымъ желаніемъ повѣдать свѣту о своемъ бурномъ прошломъ отличался и Годуновъ. Съ глубокимъ презрѣніемъ глядѣлъ онъ на то, что я интересуюсь разсказами такой тюремной мелочи, какъ, напримѣръ, Луньковъ, и говорилъ ему съ обычнымъ самодовольствомъ:

— Ежели сотню, тыщу такихъ описаній собрать, какъ твоя жизнь или жизнь какого-нибудь Сохатаго, то всѣ они вмѣстѣ не будутъ стоить и одной страницы біографіи моей жизни! Потому я по совѣсти могу сказать, что вкусилъ и сладкаго, и горькаго, сквозь желѣзныя и мѣдныя трубы прошелъ, и обо мнѣ не мѣшало бы въ журналахъ написать. Ну, а вы что съ Сохатымъ? Вороній кормъ—ничего больше!

Задѣтые за живое, Луньковъ и Сохатый вступали между собой въ оборонительный союзъ и горячо схватывались съ Годуновымъ,

но, краснобай по натурѣ, онъ никогда не лѣзъ за словомъ въ карманъ и въ этихъ спорахъ всегда загонялъ своихъ противниковъ, какъ выражаются арестанты, въ самый маленькій пузырекъ... Когда Годуновъ тоже принялся, наконецъ, за писаніе мемуаровъ, то онъ, повидимому, страшно волновался и тетрадкамъ своимъ придавалъ огромную цѣну, быть можетъ, потому еще, что самый процессъ писанья давался ему довольно туго, слова для выраженія мыслей подыскивались не легко. За то, когда трудъ былъ доведенъ до послѣдней точки, и прочитанныя мною тетради отнесены были въ цейхаусъ и тамъ спрятаны въ моихъ вещахъ, въ ожиданіи лучшихъ временъ,—Годуновъ сіялъ, какъ никогда, и часто ораторствовалъ въ слухъ всей камеры:

— Пусть только Иванъ Николаевичъ напечатаетъ когда-нибудь мои записки, тогда мы увидимъ, что изъ этого выйдетъ! Тогда поймутъ, что такое жизнь ссыльнаго человѣка! Потому въ настоящее время ничего этого не знаютъ. Думаютъ, что мы идемъ на преступленіе такъ себѣ, съ легкой душой... Такъ пусть же знаютъ, что ссыльный тоже человѣкъ, что у него иной разъ кровью сердце обливается, когда онъ поднимаетъ руку на чужое добро! Пусть узнаютъ, кто настоящій виновникъ всего зла!

Сомнительно, конечно, чтобы эти мысли и рѣчи имѣли достаточное отношеніе къ дѣйствительному содержанію „записокъ“, но важно то, что Годуновъ мечталъ повѣдать обществу исторію своихъ ошибокъ и злоключеній...

Мнѣ не разъ уже приходилось опредѣлять этого человѣка, какъ тюремнаго дипломата, человѣка себѣ на умѣ, а также изрядnаго хвастуна и самодовола. Казалось бы, эти характерныя личныя качества должны были неблагопріятно отразиться и на запискахъ, лишивъ ихъ прежде всего самаго главнаго и цѣннаго свойства—правдивости. Но, что всегда поражало меня въ людяхъ мало культурныхъ,—какъ только берутъ они перо въ руки, такъ сейчасъ становятся большею частью замѣчательно правдивыми и откровенными. Происходитъ это, быть можетъ, оттого, что, не имѣя никакого понятія о такъ называемой красотѣ формы, художественности изложенія, они встрѣчаютъ и меньше соблазновъ отступать отъ правды, тогда какъ образованные писатели часто жертвуютъ ею въ погонѣ за краснымъ словцомъ, за округленностью періодовъ и прочими аксессуарами литературности. Личный характеръ Годунова, правда, отражался на его произве-

деніи, но въ формѣ не только невинной, а почти комической: чувство самоуваженія до того проникало его записки, не смотря на ихъ покаянный тонъ, что оказывалось—его, Годунова, любили и уважали рѣшительно всѣ, кто только сталкивался съ нимъ въ жизни, не исключая чиновъ полиціи и чуть ли не тѣхъ даже, кто билъ его и поролъ розгами... Онъ вообще ужасно любитъ себя и чуть не на каждой страницѣ проливаетъ слезы о своей злосчастной судьбѣ; эта однобокая чувствительность доходитъ до того, что, описавъ, какъ однажды, ради грабежа, ему пришлось убить человѣка, онъ тоже плачетъ... только увы, не о жертвѣ, а о самомъ себѣ! И, тѣмъ не менѣе, фактическая сторона разсказа производила, повторяю, впечатлѣніе несомнѣнной, искренней правды тѣмъ болѣе, что герой записокъ въ общемъ не обѣлялъ, а скорѣе обличалъ и бичевалъ себя. Въ скобкахъ маленькое замѣчаніе: этотъ самобичующій тонъ сильно напоминалъ записки несчастнаго Шустера; многія мысли и даже самыя выраженія, какъ будто, были заимствованы однимъ авторомъ у другого, хотя на дѣлѣ люди эти никогда даже не разговаривали между собой. Этотъ фактъ кажется мнѣ въ высшей степени характернымъ.

За то въ другомъ отношеніи жизнь Годунова напоминаетъ мнѣ жизнь Пѣнкина: какъ того, такъ и другого въ каторгу привели какія-то роковыя силы, таившіяся въ глубинѣ ихъ души; за неимѣніемъ болѣе подходящаго слова, я назвалъ бы эту силу—*тоскою*... Какая-то природная неугомонность и ненасытность ни тому, ни другому не давала примириться со спокойной и ровной дѣйствительностью, толкая на борьбу съ нею... Но разница натуръ сказалась въ различіи формъ этой борьбы. Пѣнкинъ имѣлъ натуру сильную, властную и вмѣстѣ съ тѣмъ глубоко-правдивую. Въ другой историческій моментъ и при другихъ общественныхъ условіяхъ изъ такого человѣка легко могъ бы выработаться общественный или религіозный протестантъ-фанатикъ, но наша сѣренькая дѣйствительность создала изъ него простого пьяницу-буяна и затѣмъ невольнаго убійцу. Натура болѣе мелкая и менѣе чистая толкнула Годунова на путь легкой наживы, сдѣлавъ изъ него жулика-бродягу и, наконецъ, корыстнаго убійцу.

Годуновъ мужчина еще, можно сказать, въ цвѣтѣ лѣтъ. Онъ недуренъ собою, брюнетъ съ окладистой бородой и умнымъ, широкимъ лбомъ, степенный въ манерахъ, словахъ и поступкахъ, большой краснобай и резонеръ. Онъ, какъ видитъ читатель, самъ

прекрасно анализируетъ свое прошлое и знаетъ, что шелъ по дурному пути. Но возможно ли для него отыскать другую дорогу—дорогу честнаго труда и мирнаго благополучія по окончаніи каторжнаго срока и по выходѣ на поселеніе? По совѣсти сказать, я не думаю этого, читатель... Темная дорога этой печальной, по истинѣ кошмарной жизни, точно злымъ рокомъ, намѣчена была еще въ самые ранніе годы, и послѣдняя ея роковая точка, навѣрное, не за горами!...

Дай, конечно, Богъ, чтобы я ошибся.

XVII.

Кошмары.

Всю послѣднюю зиму я бурилъ въ верхней шахтѣ. За три слишкомъ года пребыванія моего въ Шелаѣ она углубилась, впрочемъ, не больше, какъ на одну сажень. Дѣло въ томъ, что буренье часто прерывалось за недостаткомъ въ тюрьмѣ арестантовъ, а когда рабочія руки снова отыскивались, шахта оказывалась уже настолько погруженной въ воду, что послѣднюю приходилось недѣли двѣ откачивать. Начиналась опять сказка про бѣлаго бычка. Тѣмъ не менѣе, при Пѣтушковѣ работы въ рудникѣ подвигались несравненно успѣшнѣе, чѣмъ при его предшественникѣ. Этотъ человѣкъ не только умѣлъ плѣнять кобылку либеральнымъ заигрываньемъ, но и держать ее въ ежовыхъ рукавицахъ, брать съ арестантовъ все, что съ нихъ полагалось брать. Хотя при мнѣ и не случалось, чтобы онъ отсылалъ кого-либо къ Шестиглазому „съ запиской“, но почему-то его побаивались.

— Да лучше-бъ онъ меня,—душа изъ него вонъ,—въ карецъ посадилъ, чѣмъ языкомъ своимъ мягкимъ жилы изъ нутра выматывалъ!—отзывались о Пѣтушковѣ тѣ, на кого обрушивалась порой гроза его ласковаго краснорѣчія:—Чего только не наскажетъ вѣдь, собаки его заѣшь... И насчетъ поштеленія закинетъ — Монаховъ, молъ, лишитъ,—и насчетъ того, что до Шестиглазаго черезъ нашего же брата-кобылку донесется: тогда его, молъ, самого прогонятъ, а намъ всѣмъ хуже станетъ. Жалобно таково, да тоскливо на душѣ станетъ! Нѣтъ, куда легче всѣ десять верховъ въ самой твердой породѣ отбухать, чѣмъ его жалобы слушать!

Нельзя, однако, сказать, чтобы Пѣтушковъ и къ прямымъ угрозамъ не прибѣгалъ. Я самъ видывалъ, какимъ злымъ огонькомъ

загорались его чахоточные глаза, когда онъ съ дѣланной мягкостью и кротостью въ голосѣ объявлялъ лодырничавшимъ, по его мнѣнію, арестантамъ, что не станетъ больше брать ихъ въ рудникъ. А это для большинства кобылки было одной изъ самыхъ внушительныхъ угрозъ, такъ какъ рудникъ, дѣйствительно, имѣлъ много преимуществъ передъ всякой другой работой. Прежде всего здѣсь можно было, хоть на короткое время, забыть о томъ давившемъ умъ и сердце гнетѣ шестиглазовскаго „прижима", который ежесекундно давалъ знать о себѣ на всѣхъ такъ называемыхъ домашнихъ работахъ, происходившихъ вблизи тюремныхъ стѣнъ; на лонѣ природы, тутъ во всѣхъ отношеніяхъ легче дышалось, не говоря уже о томъ, что и самая работа, всегда урочная, была несравненно легче. Немаловажную, разумѣется, роль въ предпочтеніи арестантами рудника играло также и денежное поощреніе, которое Монаховъ, хотя скупо и рѣдко, все же выдавалъ: больше всѣхъ получали—кузнецъ столяръ, плотники (крѣпильщики), но перепадало кое-что и простымъ рабочимъ, бурильщикамъ и даже буроносамъ. Даже я, послѣдній изъ послѣднихъ рабочихъ, за нѣсколько лѣтъ пребыванія въ Шелайскомъ рудникѣ получилъ около шести рублей... Заработанныя такимъ путемъ деньги горное вѣдомство передавало въ тюремную контору, и на ближайшей вечерней повѣркѣ Шестиглазый громогласно прочитывалъ, за кѣмъ сколько было записано. Хорошо помню, какое удовольствіе испыталъ я, въ первый разъ въ жизни заработавъ нѣсколько рублей *чисто-физическимъ трудомъ*...

Въ большинствѣ шелайскихъ забоевъ почва была необыкновенно мягкая. Однако, выпадали недѣли и даже цѣлые мѣсяцы, когда камень вдругъ начиналъ, по выраженію арестантовъ, дурить: онъ становился такимъ твердымъ, что въ одну минуту расплющивались самые острые буры; буроносы не успѣвали таскать ихъ въ кузницу; Пальчиковъ не находилъ на своемъ энергичномъ языкѣ достаточно словъ для выраженія негодованія противъ „закона, вѣры и жизни". Случалось въ такіе незадачливые дни, что даже силачи, въ родѣ Быкова или Сохатаго, выбуривали не больше шести вершковъ, за весь день почти не отходя прочь отъ забоя, а менѣе сильные и умѣлые бурильщики не одолѣвали и четырехъ вершковъ. Обо мнѣ нечего и говорить: я помню случаи, когда за два, за три дня самой адски-прилежной работы я едва успѣвалъ выстукать $1^1/_2$—2 вершка!.. Руки при этомъ почти отказывались служить и дрожали, какъ у горькаго пьяницы, а правое плечо такъ мучительно ныло,

словно послѣ серьезнаго вывиха. Въ такихъ твердыхъ породахъ не помогало даже и знаменитое арестантское средство—бурить съ помощью „тепленькой водицы“: средство это, казалось, только ухудшало дѣло. Я насчиталъ однажды, что молотокъ Быкова со всего размаха и безъ роздыха опустился на буръ 800 разъ, и, погрузивъ послѣ того въ шпуръ чистку, Быковъ съ проклятіемъ объявилъ, что почти ни капли муки не набилось... Вообще въ такіе дни шахтѣ приходилось выслушивать болѣе, нежели достаточное количество самыхъ заковыристо-сильныхъ выраженій и добрыхъ пожеланій!.. Арестанты были мрачны, сердиты и до того грозно-молчаливы, что я остерегался даже обращаться къ нимъ съ какими-либо вопросами; настроеніе у всѣхъ было тягостное, подавленное, точно въ присутствіи покойника. О пѣсняхъ въ такое время забывали и думать, и только молотки нервно и упрямо продолжали свою однообразную щелкотню. Подъ могучими ударами настоящихъ бурильщиковъ безъ конца и безъ передышки раздавалось напряженное, гнѣвное: „тукъ! тукъ! тукъ“! У меня, напротивъ, выходило унылое и минорное: „тукъ да тукъ! тукъ да тукъ“!—и подъ эти минорные звуки сама собою складывалась грустная пѣсня:

Тамъ, гдѣ холодомъ облиты,
Сопки высятся кругомъ,—
Обезличены, обриты,
Въ кандалахъ и подъ штыкомъ,
Въ полумракѣ шахты душной,
Не жалѣя силы рукъ,
Мы долбимъ гранитъ бездушный
Монотоннымъ: тукъ да тукъ!
Гдѣ высокіе порывы,
Сны о правдѣ, о добрѣ?
Ранній гробъ себѣ нашли вы
Въ темной каторжной норѣ.
Счастья кончены обманы,
Роковой очерченъ кругъ...
Заглушая сердца раны,
Мы стучимъ лишь: тукъ да тукъ!
Съ нелюдимаго востока,
Съ плачемъ снѣжныхъ непогодъ,
Этотъ стукъ пройдетъ далёко—
Въ грудь отчизны западетъ...

Однажды попалось мнѣ такое твердое мѣсто, что, пробуривъ уже цѣлыхъ три дня и не подавшись дальше $1^1/_2$ вершковъ, я находился въ отчаяніи. Въ пылу работы я забылъ про осторож-

ность, заставлявшую почти всѣхъ арестантовъ разстилать подъ собою во время буренья шубу, и работалъ, стоя колѣнями на голомъ, холодномъ, какъ ледъ, гранитѣ. Не смотря на наступившій уже мартъ мѣсяцъ, морозы продолжались сильные. На слѣдующій день съ ранняго утра у меня чувствовалась головная боль и какая-то разбитость во всемъ тѣлѣ, едва позволившая мнѣ дождаться окончанія работъ; къ вечеру открылся жаръ, и Штейнгартъ поспѣшилъ перевести меня въ лазаретъ.

И вотъ опять, не помню—въ который уже разъ, лежу я въ хорошо знакомой маленькой каморкѣ, одинокій, обвѣянный со всѣхъ сторонъ мирной тишиною, и грежу. Больничный служитель нѣсколько разъ уже обращается ко мнѣ съ вопросомъ, не нужно ли мнѣ горячаго чаю, но я отвѣчаю одно: „Ахъ, дайте еще немного полежать... Я вамъ скажу потомъ“. И сладкая истома постепенно разливается по тѣлу, и хочется лежать такъ, не шевелясь, часы, дни и годы. Да и точно, не пронеслись ли уже надо мной цѣлые годы? Что это! Вѣдь я покинулъ уже тюремныя стѣны, я былъ свободенъ, а между тѣмъ... вѣдь это опять тюрьма, каторга?.. Да, вотъ онѣ, страшно знакомыя камеры, корридоры; только люди совсѣмъ другіе... Какія-то все мрачныя, враждебныя лица... Какъ непривѣтливо они встрѣчаютъ меня, съ какимъ злымъ недовѣріемъ! Но что изъ того? За то въ собственной груди я несу солнце; за то дивно-прекрасная мысль согрѣваетъ и возвышаетъ мою душу! Эта мысль—желаніе возродить ихъ, озлобленныхъ и несчастныхъ, примѣромъ и словомъ любви и братства. Ради этой великой идеи я добровольно вернулся въ проклятыя стѣны, гдѣ когда-то столько страдалъ, добровольно надѣлъ на себя клейменую куртку каторжнаго съ тѣмъ, чтобъ теперь найти здѣсь покой и счастье. И грезится мнѣ, что я не одинъ пришелъ сюда съ подобной задачей, что у меня есть здѣсь друзья, такіе же самоотверженные, восторженные мечтатели; встрѣчаясь иногда украдкой, мы робко озираемся по сторонамъ (точь въ точь, какъ иной разъ во снѣ) и шепчемъ одинъ другому: „Осторожнѣе! Никто не долженъ знать, что мы не настоящіе каторжные... Объ этомъ только *тамъ* знаютъ“. *Тамъ* означаетъ Россію, Петербургъ...

И мы не устаемъ дѣлить съ названными товарищами всѣ ихъ труды, лишенія, страданія, дѣлить безъ гнѣва и ропота, безъ желанія взять на себя ношу полегче, укрыться отъ какой-нибудь

общей бѣды или обиды; а каждую свободную минуту посвящаемъ проповѣди. И какъ горячо, съ какой пророческой силой и убѣдительностью умѣемъ мы говорить, какъ слова наши проникаютъ въ самую глубину темныхъ, загрубѣлыхъ сердецъ, и какъ эти сердца постепенно размягчаются, злые, темные глаза свѣтлѣютъ, а гнѣвно сжатые кулаки разжимаются и протягиваются для братскаго пожатія нашихъ рукъ! Но что за странная, однако, форма нашихъ рѣчей—вѣдь это стихи, настоящіе звучные стихи, съ размѣромъ и рифмами? Удивленіе, впрочемъ, на мгновенье только мелькаетъ въ мозгу. Очевидно, такъ полагается говорить здѣсь, и стихотворная импровизація продолжаетъ свободно литься изъ моихъ устъ, горячая, свѣтлая, увѣренная въ себѣ, и неизъяснимое счастье продолжаетъ наполнять душу...

— Иванъ Николаевичъ, успокойтесь,—тихо говоритъ, наклоняясь ко мнѣ, кто-то изъ каторжныхъ, высокій брюнетъ съ красивыми глазами и блѣднымъ лицомъ. Онъ, вѣроятно, боится, что рѣчь моя будетъ услышана надзирателями, и мнѣ придется плохо; я хорошо и самъ понимаю, что мнѣ можетъ придтись плохо, такъ какъ мѣстное начальство считаетъ меня настоящимъ каторжникомъ, но какое мнѣ дѣло до угрозъ и опасностей, когда предметъ моей рѣчи есть что-то такое прекрасное, отъ чего дрожитъ собственнное мое сердце, а глаза слушателей блестятъ слезами!

— Однако, и задали-жъ вы мнѣ хлопотъ, Иванъ Николаевичъ! Я ужъ серьезно было думалъ, что вы ad patres рѣшили отправиться. Ну, да теперь-то я ужъ не выпущу васъ изъ своихъ рукъ!—сказалъ Штейнгартъ, ласково склонившись надо мной, когда дня четыре спустя я пришелъ, наконецъ, въ себя. Въ отвѣтъ я могъ только улыбнуться и, слабо пожавъ товарищу руку, крѣпко заснуть. Но я уже былъ спасенъ, и новый сонъ только подкрѣпилъ мои силы.

— И дернула же васъ нелегкая,—укоризненно говорилъ опять Штейнгартъ,—стоять колѣнями на голомъ камнѣ! Въ мартѣ-то мѣсяцѣ? Ну, вотъ и схватили острый сочленовный ревматизмъ.. Теперь вамъ долго съ этой штукой повозиться придется.

Во время выздоровленія меня мучило, впрочемъ, не столько сознаніе нажитой, быть можетъ, на всю жизнь непріятной болѣзни, сколько упорное, неотвязное желаніе припомнить что-то: не то удивительно-прекрасный сонъ, не то открытіе безмѣрной важности для меня самого и чуть-ли не для всего человѣчества... Мнѣ

казалось, что, забывъ объ этомъ, я утратилъ неоцѣненное сокровище, обладая которымъ, сталъ-бы и великъ, и счастливъ, тогда какъ теперь былъ жалокъ, слабъ и достоинъ презрѣнія... Но я долго не могъ вспомнить своего страннаго сна.

Вѣроятно, немногіе изъ выздоравливающихъ больныхъ не испытывали того пріятнаго состоянія душевнаго размягченія, когда и люди, и жизнь и все мірѣ кажется такимъ свѣтлымъ, такимъ прекраснымъ, а въ собственномъ сердцѣ чувствуется столько доброты и любви, что надѣешься побѣдить съ ними все зло и весь мракъ вселенной! Я испытывалъ теперь именно такое душевное состояніе; съ благодушной улыбкой встрѣчалъ я даже надзирателей, входившихъ ко мнѣ во время повѣрки и тоже, въ свою очередь, широко улыбавшихся. Хорошо помню, какъ первымъ арестантомъ, котораго я увидалъ послѣ своего бреда, былъ поваръ-полякъ Пендраль, круглое, лукавое, заискивающее лицо котораго очень мало внушало мнѣ раньше симпатіи, но когда теперь лицо это просунулось однажды утромъ въ мою дверь, и и льстиво-вкрадчивый голосъ спросилъ: „цо панъ хочетъ въ обядъ, — чи зубчикъ, чи бульонъ?“ — то я чуть не кинулся къ этому человѣку съ распростертыми объятіями, чуть не расцѣловалъ эту плутоватую, жирную рожу! Говорить ли послѣ этого, съ какими чувствами встрѣчалъ я навѣщавшихъ меня испытанныхъ, настоящихъ пріятелей, вродѣ, напр., Кузьмы Чирка.

— Ну, какъ можешь, Миколаичъ?—входилъ онъ ко мнѣ, всегда радостно осклабляясь.—Слава Богу, что поправляешься. Кобылка дюже тебя жалѣла... Какъ сказалъ Митрей Петровичъ, что, молъ, шибко плохъ ты, такъ меня, вѣришь-ли, инда слеза прошибла!

До глубины души трогало меня такое отношеніе ко мнѣ тюрьмы, и мнѣ казалось въ эти минуты, что я начинаю припоминать то свѣтлое и прекрасное, что такъ долго и напрасно усиливался вспомнить; мнѣ казалось, что когда я оправлюсь и вернусь въ тюрьму, то стану совсѣмъ инымъ человѣкомъ,—весь, весь безраздѣльно отдамся любви къ этимъ трижды несчастнымъ людямъ, которыхъ судьба послала мнѣ въ товарищи. Присѣвъ на краешекъ моей постели, Чирокъ разсказывалъ, между тѣмъ, тюремныя новости: Сохатый подрался съ Милосердовымъ; Огурцовъ женъ вчера въ карцеръ, а надзиратель Змѣиная Голова же Потомъ онъ переходилъ къ больному своему мѣсту: въ

мѣсяцѣ кончается срокъ его каторги, но кобылка стращаетъ, что, молъ, Шестиглазый ни за что его не выпуститъ, такъ какъ срокъ ему, будто бы, увеличенъ за побѣгъ.

— Будешь, говорятъ, сидѣть безъ строка... Да еще что вѣдь подлецы говорятъ: въ ноябрѣ, говорятъ, отошлютъ тебя въ Верхнеудинскій централъ на вѣчное одиночное заключенье!. Да съ какой стати? Развѣ я отца, аль мать убилъ?

— Вы правы, Чирокъ,—съ какой же стати!

— А они говорятъ, подлецы этакіе, душа изъ ихъ вонъ, будто отъ тебя, Миколаичъ, слышали?..

Я спѣшу, конечно, увѣрить Чирка, что никогда и никто ничего подобнаго не могъ отъ меня слышать.

— Ну, и я тоже говорю: Миколаичъ, молъ, другъ мнѣ, не станетъ онъ этакъ говорить!.. Да и какая можетъ быть набавка, коли подъ судомъ я не былъ, и никто мнѣ никакой набавки не объявлялъ.

— Не объявляли, говорите?

— Вотъ тѣ крестъ святой, не объявляли! Дали пятьдесятъ... объ этомъ нѣтъ спору—дали... Ну, посадили опять въ тюрьму—и все тутъ. Да и побѣгъ-то мой вовсе не побѣгомъ былъ зачтенъ, а простой отлучкой.

Въ концѣ концовъ Чирокъ уходилъ отъ меня утѣшенный и сіяющій... конечно, впредь до новыхъ застращиваній любившей подшучивать надъ нимъ кобылки. Возвращались изъ рудника горные рабочіе, и, наскоро пообѣдавъ, ко мнѣ приходили Башуровъ и Штейнгартъ.

— Господа,—обратился я къ нимъ однажды,—объясните мнѣ, пожалуйста... Вотъ я вспомнилъ сейчасъ нѣсколько стиховъ, повидимому, не дававшихъ мнѣ покоя во время болѣзни...

— Это правда, въ бреду вы все какіе-то стихи декламировали,—замѣтилъ Штейнгартъ.

— Стихи звучные и по содержанію очень хорошіе, но, хоть убейте меня, не знаю—чьи, откуда. И, словно будто, страшно знакомое что-то—и невозможно припомнить.

— Да вы, можетъ быть, въ процессѣ безсознательнаго творчества сочинили ихъ? Ну-ка, прочтите, послушаемъ.

И я прочелъ:

Лишь Богъ помогъ-бы русской груди
Вздохнуть пошире, повольнѣй,

Покажетъ Русь, что есть въ ней люди,
Что есть грядущее у ней.
Она не знаетъ середины—
Черна, куда ни погляди!
Но не проѣлъ до сердцевины
Ее порокъ...

— Дальше не помню, но откуда же эти стихи?

— Что касается меня, то я пасую,—сказалъ Штейнгартъ,—такъ какъ вообще профанъ въ поэзіи. Можете поэтому, если хотите, объявить себя авторомъ этихъ стиховъ; они, дѣйствительно, кажется, недурны.

— Берегитесь! — закричалъ Валерьянъ, — васъ обличатъ въ плагіатѣ. Вѣдь это Некрасова стихи, неужели забыли?

— Какъ такъ? Откуда?

— Изъ поэмы „Несчастные“... Это отрывокъ изъ проповѣдей Крота, героя поэмы, которому удается переродить своихъ каторжныхъ сожителей, пробудивъ въ нихъ лучшія человѣческія чувства. Когда-то я очень любилъ эту вещь, хотя теперь мнѣ и приходитъ въ голову, что въ ней больше фантазіи, чѣмъ жизни и правды. Ну, что, вспомнили?

И я, дѣйствительно, вспомнилъ — и то, что стихи были изъ некрасовской поэмы, и то, что именно сюжетъ этой поэмы занималъ меня въ горячешномъ бреду. Весь сонъ ожилъ передо мной сразу, въ мельчайшихъ подробностяхъ... Когда-то, въ годы восторженной юности, Некрасовъ былъ любимымъ моимъ поэтомъ, и я зналъ всѣ его лучшія стихотворенія наизусть, и вотъ теперь, въ бреду, мнѣ припомнились давно забытые стихи; отождествивъ себя съ „молчальникомъ Кротомъ“, я вошелъ въ его роль и читалъ арестантамъ-товарищамъ его горячія тирады о родинѣ, о великомъ царѣ-работникѣ, о тѣхъ людяхъ, „передъ которыми позднѣй слѣпой народъ восторгъ почуетъ, вздохнетъ и совѣсть уврачуетъ, воздвигнувъ пышный мавзолей“.

Ударилъ звонокъ на повѣрку, и товарищи ушли въ тюрьму, оставивъ меня одного. Неотступно продолжалъ стоять передо мной образъ некрасовскаго героя, такъ странно и вмѣстѣ такъ реально варіированный моимъ болѣзненнымъ сномъ. И мнѣ думалось: неужели же эта больная фантазія—одинъ пустой и безумный бредъ? Неужели въ дѣйствительности невозможны такіе свѣтлые, такіе идеально-безкорыстные и самоотверженные апо-

столы-миссіонеры? Вѣдь бывали же, да и теперь, кажется, бываютъ еще проповѣдники, герои религіознаго долга, уѣзжающіе въ Китай, въ Индію, въ Абиссинію и всю душу, всю свою жизнь отдающіе разнымъ дикарямъ Азіи и Африки... Такъ зачѣмъ же идти просвѣщать счастливыхъ въ своемъ варварствѣ дикарей чуждыхъ намъ странъ, когда среди собственнаго народа, бокъ-о-бокъ со всѣми дарами культуры и цивилизаціи, живутъ еще десятки и сотни тысячъ *родныхъ намъ* дикарей, не имѣющихъ, какъ самые послѣдніе изъ варваровъ, ни малѣйшаго понятія о добрѣ, „о правѣ, о Богѣ", развращенныхъ, жестокихъ, безумныхъ и, главное (вотъ это самое главное!), несчастныхъ, безъ конца несчастныхъ, именно благодаря нравственной своей и умственной дикости? Сотни тысячъ людей, для которыхъ открыта одна дорога—изъ тюрьмы въ тюрьму, а часто и на висѣлицу! Легко сказать—сотни тысячъ, а это не выдумка вѣдь, не сказка. Я читалъ когда-то въ отчетахъ тюремнаго вѣдомства, что ежегодно больше полумилліона людей обоего пола и всѣхъ возрастовъ проходитъ въ Россіи черезъ тюремную школу, и что содержаніе этой огромной школы обходится государству каждый годъ въ 15 милліоновъ рублей, т. е. ровно столько же, сколько министерство народнаго просвѣщенія тратитъ на содержаніе всѣхъ университетовъ, гимназій, реальныхъ и промышленныхъ училищъ, всѣхъ высшихъ и среднихъ учебныхъ заведеній...

Что же дѣлать? Увы, что дѣлать? Какъ избыть этотъ ужасъ, этотъ кошмаръ, висящій грозною тѣнью надъ всѣмъ будущимъ родины? Жизнь не даетъ пока отвѣта на эти вопросы и даже не хочетъ признавать ихъ серьезности. Вмѣсто добрыхъ и любящихъ миссіонеровъ, тюрьма знаетъ пока только черствую и холодную опеку казеннаго формализма и всякаго рода репрессій. Не странно ли это, не дико ли? Если лучшими, просвѣщеннѣйшими умами признается въ настоящее время, какъ нѣчто непреложное, что педагоги и преподаватели учебныхъ заведеній должны быть гуманными, образованными людьми, то, казалось бы, тюремные смотрителя и надзиратели должны быть людьми вдвойнѣ гуманными и просвѣщенными. Казалось бы, не отставные солдаты или бурбоны-офицеры должны замѣщать эти отвѣтственно-трудныя должности, какъ сплошь и рядомъ практикуется это теперь, не авторитетъ кулака, цѣпи и палки долженъ быть предъявляемъ несчастнымъ обитателямъ тюрьмы и каторги... Въ самомъ дѣлѣ, для угрозы

не довольно ли и каменныхъ стѣнъ вокругъ тюрьмы, не довольно ли ружей и штыковъ охраняющихъ ее солдатъ? Внутри тюрьмы не должна ли царствовать иная, высшая сила и власть—власть любви? Вѣдь любовь всесильна, и если бы несчастный отверженецъ во-очію увидалъ, что къ нему подходятъ не съ плетью и розгой, а со словами любви и довѣрія, то—я знаю—на темномъ днѣ и самой развращенной души нашлось бы столько свѣта, что онъ ослѣпилъ бы, пожалуй, многихъ изъ тѣхъ, кто теперь „просвѣщаетъ“ и „исправляетъ“ каторгу! Въ это я глубоко вѣрю... Она сама, эта злосчастная каторга, утопающая во тьмѣ, въ крови и грязи, — она сама не знаетъ, сколько здоровыхъ, свѣтлыхъ зеренъ таится въ ея сердцѣ, и насколько эти зерна способны къ произрастанію!

Мозгъ пылаетъ, душа болитъ, и такъ опять безсильнымъ чувствую я себя, что готовъ плакать. Да, всѣ эти мечты наивны, ребячески неосуществимы!.. Десятки тысячъ людей, молодыхъ, сильныхъ и даровитыхъ, по-прежнему будутъ погибать безъ слѣда и пользы для родины, и все будетъ идти по рутинѣ, изъ года въ годъ, изо дня въ день, а умные, ученые люди не перестанутъ ломать себѣ головы надъ усовершенствованіемъ способовъ возмездія, надъ затрудненіемъ побѣговъ, улучшеніемъ системъ одиночнаго заключенія! Завѣдомо ослабленныя души людей по-прежнему будутъ бросаться въ кромѣшную тьму и предоставляться собственнымъ малымъ силамъ для выхода къ желанному свѣту! И, значитъ, правъ Валерьянъ Башуровъ: Некрасовъ „фантазировалъ“, сочиняя свою поэму, наши „несчастные“ никогда не запоютъ его пѣсни:

Да! Видитъ Богъ, въ кровавомъ потѣ
Омыли мы свою вину
И не напрасно на работѣ
Пѣвали пѣсенку одну:
«Дружнѣй! Работа есть лопатамъ.
Не даромъ насъ сюда вели,
Не даромъ Богъ насытилъ златомъ
Утробу матери-земли.
Трудись, покамѣсть служатъ руки,
Не сѣтуй, не лѣнись, не трусь,
Спасибо скажутъ наши внуки,
Когда разбогатѣетъ Русь.
Пускай томимся гладомъ, жаждой,
Пусть дрогнемъ въ холодѣ зимы,—

Ей пригодится камень каждый,
Который добываемъ мы!».

— А знаете, Иванъ Николаевичъ, какая у насъ новость?— спросилъ меня артельный староста Годуновъ, заглянувъ въ мою каморку:—вѣдь Юхоревъ, говорятъ, убитъ.

— Какъ такъ убитъ? Кѣмъ, за что?

— Онъ, вѣдь, бѣжалъ, вы слыхали?

— Ничего не слыхалъ. Разскажите, пожалуйста. Въ какой онъ рудникъ переведенъ былъ?

— Въ Алгачинскій. Ну, тамъ, разумѣется, его чуть не того же дня въ вольную команду выпустили, потому что онъ въ тюрьмутто, оказывается, Шестиглазымъ самовольно посаженъ былъ, безъ всякаго приказа изъ управленія. Однако, Юхоревъ отлично понималъ, что приказъ можетъ не замедлить, и рѣшилъ, что надежнѣе будетъ лататы задать. Бѣжалъ онъ, можно сказать, со звономъ и трескомъ такимъ, что далече было слышно. Укралъ у кого-то тройку лошадей лихихъ съ кошевой вмѣстѣ, сѣлъ съ одной дѣвкой и товарищемъ—и въ одну превосходную ночь въ путь-дорогу отправился. О Юхоревѣ разно можно судить: что онъ подлецъ былъ первой степени—это, конечно, правда, но все же и башка былъ! Если бы такимъ вотъ манеромъ удралъ, положимъ, какой-нибудь Сохатый, такъ я бы назвалъ его дуракомъ и сказалъ, что онъ черезъ два дня попадется. Ну, а насчетъ Юхорева я тогда же только носомъ покрутилъ, какъ услыхалъ, и ничего не сказалъ... И точно: бѣжалъ онъ такъ—ровно въ воду канулъ! Казачишкамъ бы этимъ его ни въ жисть не поймать, головой готовъ поручиться...

— Такъ кто же его убилъ?

— Тунгусы пристрѣлили,—гдѣ-то далеко на Ононѣ или на Чикоѣ.

Это извѣстіе меня глубоко поразило... Съ трудомъ какъ-то вѣрилось, что Юхоревъ встрѣтился, наконецъ, съ врагомъ, оказавшимся сильнѣе его, что этотъ тюремный герой не ходитъ больше геройской походкой, не глядитъ орлинымъ, вызывающимъ взглядомъ, а лежитъ гдѣ-то въ снѣгу неподвижнымъ, холоднымъ трупомъ... Годуновъ усмѣхнулся, когда я высказалъ громко эту свою мысль.

— Ха-ха-ха! Эта маленькая свинцовая штучка не разбираетъ,

въ кого летитъ. И не такихъ еще героевъ, какъ вашъ Юхоревъ, навѣки спать укладываетъ!..

Глубокая грусть охватила меня, и всю ближайшую ночь душилъ меня тяжелый кошмаръ: Юхоревъ въ самыхъ разнообразныхъ видахъ и положеніяхъ мерещился мнѣ, то съ угрозой бросаясь на меня, то нѣжно и трогательно умоляя о чемъ-то, призывая кого-то спасти, куда-то бѣжать вмѣстѣ съ нимъ... А на другое утро, только что я проснулся, лазаретный служитель, просунувъ въ дверь голову, сообщилъ еще и другую печальную новость:

— Иванъ Николаевичъ, Золото съ Кольяровымъ привели!

Это были два арестанта, бѣжавшіе послѣднимъ лѣтомъ изъ шелайской вольной команды, куда передъ тѣмъ только что выпущены были изъ тюрьмы. Странные это были люди, — закадычные друзья, ни въ чемъ, однако, непохожіе другъ на друга. Кольяровъ являлся типичнымъ представителемъ жулика-аферіста, въ свое время высланнаго въ Сибирь обществомъ по подозрѣнію въ конокрадствѣ, а съ мѣста поселенія попавшаго въ каторгу уже за новыя художества. Съ длинной рыжей бородой лопатой, сѣрыми умными глазами и низко нахлобученной на глаза шапкой, которая и на время сна даже не снималась, онъ вѣчно сновалъ по камерѣ изъ угла въ уголъ, неспѣшно переходя отъ одной кучки разговаривающихъ къ другой, прислушиваясь къ бесѣдамъ арестантовъ и потихоньку посмѣиваясь себѣ въ бороду; но видно было въ то же время, что ничѣмъ онъ въ этихъ бесѣдахъ серьезно не интересуется, что и короткія реплики его, и самый смѣхъ имѣютъ какой-то разсѣянный, мимоходный характеръ, что умъ его занятъ какой-то своей, особенной, неотвязной мыслью. Какъ только надзиратель отворялъ камеру, Кольяровъ спѣшилъ улизнуть во дворъ и тамъ по цѣлымъ часамъ ходилъ съ низко опущенной головой вдоль тюремныхъ стѣнъ, погруженный въ свои неизвѣстныя никому думы. Изъ кухоннаго окна праздные зѣваки часто и подолгу любовались въ лѣтніе солнечные дни на живую каррикатуру Кольярова, его собственную тѣнь, расхаживавшую по бѣлой тюремной оградѣ. Сначала эта тѣнь все росла и росла; длинная борода лопатой угрожающе вытягивалась впередъ; фигура торопливо ковыляла, размахивая рукой и присѣдая на одно колѣно, точно спѣша на незримаго врага, котораго можно было одолѣть лишь ловкимъ подходцемъ...

И вдругъ, словно потерпѣвъ неудачу, тѣнь начинала пятиться, пятиться; борода съуживалась, ковыляющая походка дѣлалась все мельче и смѣшнѣе—и фигура, наконецъ, вовсе исчезала съ тѣмъ, чтобы черезъ минуту опять начать свое грозное наступленіе и опять вызвать гомерическій хохотъ зрителей... О чемъ же думалъ Кольяровъ въ часы своихъ одинокихъ прогулокъ? Никто этого не зналъ, такъ какъ единственнымъ спутникомъ его бывалъ извѣдка только хохолъ Залàта (котораго и надзиратели, и арестанты перекрестили, впрочемъ, въ Золото). Это былъ, по всей вѣроятности, самый молчаливый и самый безобидный человѣкъ во всей тюрьмѣ. Лично я не слыхалъ изъ его устъ ни одной сколько-нибудь длинной фразы, не смотря на то, что прожилъ вмѣстѣ цѣлые годы: въ отвѣтъ на всѣ заговариванья и вопросы Залата умѣлъ только многозначительно крякать да благодушно улыбаться; улыбка у него, дѣйствительно, была премилая—кроткая, располагающая... Онъ и съ Кольяровымъ гулялъ обыкновенно, храня глубокое молчаніе, и трудно было понять, что, собственно, тянуло его къ этому человѣку, и что ихъ связывало. Кольяровъ былъ мужчина еще въ цвѣтѣ лѣтъ, полный энергіи и силы; на работѣ онъ слылъ, правда, отъявленнымъ лодыремъ, но при желаніи, конечно, могъ бы работать самую тяжелую работу. Совсѣмъ не то представлялъ Залата: это былъ, напротивъ, человѣкъ уже пожилыхъ лѣтъ, съ замѣтной сѣдиной на вискахъ и въ рѣденькой темной бородкѣ. Лицо у него было испитое, худощавое, онъ былъ слабосиленъ и хилъ, и цѣлые годы исполнялъ въ Шелаѣ обязанности парашника.

Вотъ эти-то странные пріятели и бѣжали изъ вольной команды, какъ только были выпущены въ нее. Побѣгу Кольярова рѣшительно никто не удивлялся,—наоборотъ, всѣ были бы удивлены, если бы онъ не бѣжалъ: до того для всѣхъ было ясно, что побѣгъ всегда былъ его завѣтной мечтой.

— Ну, а вотъ тому-то старому чорту зачѣмъ бѣжать понадобилось?—недоумѣвала кобылка относительно Золота. — Развѣ это человѣкъ? Такъ — „вродѣ Володи, на счетъ Кузьмы“. Изъ самого песокъ сыплется, ноги давно въ богадѣльню просятся, а туда же за Кольяровымъ вздумалъ погнаться! Этому что? Стоитъ только бороду сбрить, такъ его и въ жисть никто не узнаетъ!

Тѣмъ не менѣе оба бѣглеца точно въ землю провалились, и всѣ уже думали, что они давно пробрались благополучно въ Рос-

сію, какъ вдругъ оказалось, что ихъ привели обратно въ тюрьму. Выйдя въ больничный корридоръ и глядя въ окно, я увидалъ, какъ толпа арестантовъ съ любопытствомъ окружила у тюремныхъ воротъ какого-то человѣка, со смѣхомъ выставлявшаго впередъ бороденку, забавно присѣдавшаго и оживленно хлопавшаго себя рукою по ляшкѣ. Это, очевидно, и былъ Кольяровъ, хотя не легко было узнать его: великолѣпная длинная борода исчезла и замѣнилась жидкимъ и корсткимъ обрывкомъ. Но гдѣ же Золото? Ворота опять распахнулись: силачъ Огурцовъ внесъ въ охапкѣ какую-то небольшую ношу и направился съ ней къ лазарету. Да неужели же онъ раненъ?—подумалъ я съ испугомъ. Но Золото не былъ раненъ—онъ былъ только боленъ. Въ одну изъ палатъ пронесли мимо меня его худенькую фигурку съ изможденнымъ, потемнѣвшимъ лицомъ, на которомъ торчала сѣденькая бородка.

— Добѣгался! Не станетъ ужъ больше бѣгать! — грубо буркнулъ, проходя мимо меня, заплывшій жиромъ Огурцовъ, и я съ невольной гадливостью посмотрѣлъ на его толстую бычачью шею, лоснящуюся бѣлую кожу широкаго, круглаго лица и желѣзные мускулы рукъ, глядѣвшіе изъ-подъ засученныхъ высоко рукавовъ рубахи.

Бѣглецы, оказалось, пойманы были еще два мѣсяца тому назадъ и доставлены сначала въ Горный Зерентуй, но узнавшій объ этомъ Шестиглазый потребовалъ, чтобы ихъ вернули въ Шелай, и желаніе его было исполнено. По дорогѣ Золото простудился и прибылъ на мѣсто еле живой. При первомъ же взглядѣ можно было сказать почти навѣрное, что бѣдняга не жилецъ на бѣломъ свѣтѣ. Однако, онъ и умиралъ такъ же тихо и безропотно, какъ жилъ, и если бы не ужасающій кашель, вырывавшійся временами изъ тщедушной груди и потрясавшій нервы всѣмъ окружающимъ, то легко было бы забыть о существованіи этого страннаго, молчаливаго человѣка. По цѣлымъ днямъ лежалъ онъ на своей койкѣ съ неподвижно раскрытымъ взглядомъ и, казалось, думалъ... О далекой ли своей „Пілтавщинѣ“, гдѣ у него были, можетъ быть, и жена, и дѣти, и „волы и коровы“? Или о чемъ другомъ? Снился ли ему на яву шумъ родныхъ тополей, сладкій запахъ вишневыхъ садовъ и степныхъ травъ? Туда ли, на далекую родину, рвалась его упрямая хлацкая душа, когда онъ задумалъ побѣгъ изъ каторги? К

могъ въ своей жизни обидѣть этотъ тихій, кроткій человѣкъ, повидимому, неспособный и мухи убить? За что онъ попалъ въ каторгу?

Никто, впрочемъ, и не интересовался никогда этими вопросами. Разъ, когда мнѣ показалось, что Золото чувствуетъ себя лучше обыкновеннаго (онъ, не кашляя, полусидѣлъ на койкѣ и прислушивался къ разговорамъ арестантовъ), я осторожно приблизился къ нему и попробовалъ заговорить.

— Ну, что, получше вамъ, Золото? Весна на дворѣ, солнышко пригрѣвать стало...

Старикъ вздрогнулъ отъ неожиданности, но, поднявъ на меня свои глубоко впавшіе, кроткіе, словно выцвѣтшіе сѣрые глаза, ласково улыбнулся.

— Далеко-ль отсюда арестовали васъ, Золото?

Не знаю, отвѣтилъ ли бы онъ что-нибудь на мой вопросъ (повидимому, онъ собирался ответить), но въ эту самую минуту къ намъ подскочилъ одинъ изъ словоохотливыхъ тюремныхъ резонеровъ и отвѣчалъ за старика:

— Близко-ли, далеко-ли удалось уйти, а отъ своей судьбы все равно никуды не скроешься! Она всегда, значитъ, тутъ, за плечами у нашего брата, сидитъ!

Золото еще разъ тихо улыбнулся, должно быть, въ знакъ согласія, и вдругъ съ ужасной силой закашлялся...

Страшная болѣзнь медленно, но вѣрно подтачивала слабый организмъ, и жизнь съ каждымъ днемъ отлетала. Скоро больной не въ силахъ былъ даже въ постели подняться безъ чужой помощи.

Разъ, въ яркій апрѣльскій полдень, входная дверь больницы съ шумомъ распахнулась, и въ корридорѣ появился съ двумя надзирателями Шестиглазый; въ рукахъ онъ держалъ бумагу.

— Въ которой тутъ палатѣ Залàта?

Ему указали. Приотворивъ свою дверь, я слышалъ каждое слово происходившаго за стѣной разговора.

— Не безпокойся, братецъ, лежи, лежи!—началъ бравый капитанъ необычно-ласковымъ тономъ (очевидно, больной силился встать передъ начальствомъ, хотя и не могъ уже сдѣлать этого). — Э, да ты, я вижу, плохъ, я думалъ тебѣ лучше. Не надо было бѣгать, братецъ, на старости лѣтъ, ждалъ бы себѣ спокойно конца срока, тѣмъ болѣе — манифестъ могъ быть при-

мѣненъ. Ну, да теперь ничего ужъ не подѣлаешь! Вотъ я пришелъ тебѣ объявить... Лежи же, говорятъ тебѣ — лежи! бумага пришла изъ управленія... Это насчетъ твоего побѣга съ Кольяровымъ... Конечно, можно бы и погодить съ этимъ, но... лучше исполнить долгъ.

И бравый капитанъ приготовился, повидимому, читать бумагу; но онъ какъ-то необычно мялся, словно находясь въ колебаніи: быть можетъ, онъ, дѣйствительно, не зналъ раньше о степени болѣзни Золота и теперь пораженъ былъ видомъ умирающаго... Прочитавъ нѣсколько строкъ, онъ вдругъ остановился и сложилъ бумагу.

— Я думаю, лишнее читать цѣликомъ, — заговорилъ онъ:— я лучше на словахъ скажу тебѣ... Видишь-ли что. Вамъ съ Кольяровымъ объявляется набавка по пяти лѣтъ... Кольярову-то, конечно, и придется вынести это наказаніе, но ты... но тебѣ...

Великолѣпный Лучезаровъ окончательно растерялся и чуть было не сказалъ, что несчастный долженъ умереть гораздо раньше; но онъ поправился:

— Но ты, старина, не унывай! Я хлопотать о тебѣ стану, и наказаніе могутъ отмѣнить. Вамъ еще и по сорока пяти плетей назначено... Кольярову, конечно, и плети сполна будутъ высчитаны, онъ этого заслужилъ... Онъ порядочный мерзавецъ, этотъ Кольяровъ! Ну, а ты... ты, повторяю, и плетей тоже не бойся. Тебѣ ихъ не будетъ, совсѣмъ не будетъ. Я похлопочу—и докторъ освободитъ тебя! Ну, будь здоровъ, поправляйся, братецъ!

И красный, какъ піонъ, Лучезаровъ торопливо выбѣжалъ вонъ изъ палаты. Я едва успѣлъ захлопнуть свою дверь, чтобы не столкнуться съ нимъ лицомъ къ лицу.

Ни свидѣтельства тюремнаго доктора, ни великодушнаго заступничества добраго начальника Залатѣ, однако, уже не понадобилось: ровно черезъ два дня его не стало. Умеръ онъ также тихо, какъ и жилъ; ни арестанты-товарищи, ни надзиратели, никто не видѣлъ его послѣднихъ минутъ. Проснулись больные рано утромъ и нашли на сосѣдней койкѣ остывшій, недвижный трупъ. На исхудаломъ, какъ щепка, лицѣ мертвеца съ плотно закрытыми, глубоко впавшими вѣками и рѣденькой сѣдой бородкой замерла кроткая, счастливая улыбка... Окончился злой, тяжкій кошмаръ! Свобода!

XVIII.

Сонъ на яву.

Опять наступало лѣто со всей своей раздражающей прелестью. Я не могъ, разумѣется, предвидѣть, что это будетъ послѣднее мое тюремное лѣто, и душу наполняли обычная тоска и горечь. Это лѣто было для меня тѣмъ тяжелѣе, что мартовская болѣзнь оставила въ наслѣдство постоянныя боли въ рукахъ и ногахъ, и врачъ, посѣтившій весною шелайскій рудникъ, освободилъ меня на неопредѣленное время отъ всякой обязательной работы. Фамилію мою перестали выкликать на вечернихъ нарядахъ, и я безвыходно сидѣлъ съ этихъ поръ въ тюремныхъ стѣнахъ, невыносимо грустя и скучая. Любимымъ мѣстомъ, гдѣ я проводилъ теперь цѣлые часы, прислушиваясь къ щебетанью летавшихъ около своихъ гнѣздъ щурковъ и къ доносившимся издалека голосамъ арестантовъ, сдѣлалась одна изъ трехъ стоявшихъ во дворѣ солдатскихъ будокъ; это было единственное во всей тюрьмѣ мѣсто, куда можно было хоть на минуту укрыться отъ человѣческихъ глазъ. Будки эти имѣли слѣдующее происхожденіе. Въ началѣ существованія шелайской образцовой тюрьмы, когда бравый капитанъ особенно боялся побѣговъ, онъ настоялъ, чтобы казацкіе караульные посты имѣлись не только съ наружной стороны тюрьмы, какъ во всѣхъ обыкновенныхъ тюрьмахъ, но также и внутри ея. Съ этой цѣлью въ различныхъ пунктахъ нашего двора и были поставлены четыре сторожевыхъ будки; около нихъ днемъ и ночью расхаживали казаки съ ружьями. Прогулки арестантовъ по двору были вслѣдствіе этого затруднены; то и дѣло слышались грозные оклики: „Куда идешь? Сворачивай!“ Но не это, конечно, обстоятельство послужило вскорѣ причиной отмѣны внутреннихъ постовъ, а чисто-физическая невозможность малочисленной казацкой сотнѣ исполнять всѣ возложенныя на нее функціи. Бѣдные служители Марса очень скоро выбились изъ силъ и, стоя на часахъ, чуть не падали съ ногъ отъ утомленія и долгой безсонницы; есаулъ принужденъ былъ начать хлопоты объ уменьшеніи числа караульныхъ постовъ. И вотъ результатомъ этого ходатайства и была отмѣна внутренняго караула. Къ обоюдному восторгу арестантовъ и казаковъ, послѣднимъ приказано было покинуть

тюрьму, и весь дворъ сталъ съ этого дня доступнымъ для нашихъ прогулокъ. Утащили казаки и одну изъ своихъ тяжеловѣсныхъ будокъ; арестанты думали, что и остальныя три подвергнутся той же участи, но онѣ почему-то оставлены были „на время“ на старыхъ мѣстахъ, Время, между тѣмъ, шло, начальство, должно быть, позабыло даже о существованіи будокъ, и онѣ такъ и остались навсегда достояніемъ кобылки: одна стояла возлѣ кухни, другая въ углу за больницей, третья дальше всѣхъ отъ шума и сутолоки—подъ окнами одной изъ среднихъ камеръ. Вотъ эта-то послѣдняя будка и пришлась по сердцу моей мечтательности; подъ ея уютной кровлей нерѣдко записывалъ я на память для себя и свои тюремныя впечатлѣнія. Задумавшись однажды, я такъ погрузился въ свое занятіе, что не слышалъ пронзительнаго свистка дежурнаго надзирателя, предупреждавшаго арестантовъ о приходѣ въ тюрьму начальства. Я вздрогнулъ и опомнился только тогда, когда въ двухъ шагахъ отъ моего убѣжища раздался знакомый, властный голосъ: это Шестиглазый, дѣлая обходъ вокругъ тюрьмы, говорилъ о чемъ-то съ надзирателемъ, и едва успѣлъ я сунуть въ карманъ карандашъ и бумагу, какъ уже встрѣтился съ нимъ глазами... Бравый капитанъ, въ отвѣтъ на мой поклонъ, только значительно гмыкнулъ, однако, ничего не сказалъ и прошелъ дальше.

Съ наступленіемъ новой весны начальство начало, какъ всегда, бить тревогу и усиливать осторожность; а однажды бравый капитанъ (вскорѣ ожидавшій, какъ говорили, какого-то повышенія по службѣ и потому особенно боявшійся теперь побѣговъ) рѣшился даже, отступая отъ обычныхъ своихъ пріемовъ, повліять на *разумъ* своихъ подчиненныхъ. Явившись на повѣрку съ листкомъ бумаги въ рукахъ, онъ обратился къ нимъ съ слѣдующей рѣчью:

— Я знаю, что многіе изъ васъ съ наступленіемъ теплаго времени имѣютъ дурную привычку задумываться насчетъ возможности бѣжать изъ тюрьмы. Дѣло это, конечно, ваше, также какъ мое—не допускать побѣговъ. И будьте увѣрены, я не допущу ихъ! Но мнѣ жаль всетаки тѣхъ легкомысленныхъ, которые могутъ увлечься нелѣпой мечтой или послушаться злонамѣренныхъ коноводовъ. Я хотѣлъ бы поэтому, чтобъ они пошевелили мозгами... Съ этой цѣлью я пересмотрѣлъ всѣ приказы нерчинской каторги за... (И Лучезаровъ назвалъ какой-то очень большой

періодъ времени,—не помню въ точности, какой именно, но чуть-ли не все послѣднее столѣтіе) и сосчиталъ, сколько было совершено за этотъ срокъ побѣговъ изъ каторжныхъ тюремъ. И что же вы думаете? Я былъ удивленъ полученными результатами. Оказалось, что за это огромное время пыталось бѣжать изъ тюремныхъ стѣнъ всего только *79 человѣкъ*, и изъ нихъ *лишь троимъ*,—замѣтьте, троимъ!—удалось скрыться безслѣдно. Всѣ прочіе или въ самый моментъ побѣга были застигнуты и убиты, или же въ самомъ непродолжительномъ времени пойманы и возвращены въ тюрьму. Такъ вотъ, что говорятъ цифры: не такъ-то легко, значитъ, бѣжать!.. Поразмыслите же объ этомъ хорошенько, прежде чѣмъ рѣшитесь затѣять подобную глупость.

Рѣчь эта разсчитана была, вѣроятно, на подавляющій эффектъ, и, однако, никакого эффекта не получилось. Статистика браваго капитана даже мнѣ показалась довольно-таки шаткимъ экспромтомъ, арестанты же, вернувшись въ камеры, прямо подняли ее на смѣхъ. Въ минуту насчитано было около двухъ десятковъ побѣговъ, совершенныхъ въ самые послѣдніе годы, и изъ нихъ чуть не половина была, будто бы, удачныхъ... Фантазировала-ли въ этомъ случаѣ кобылка, склонная всегда къ оптимизму? Тенденціозно-ли сдѣлалъ капитанъ свой любопытный подсчетъ, поставивъ, напр., вмѣсто 179 цифру 79, а вмѣсто 33 просто 3? У меня нѣтъ никакихъ данныхъ утверждать это съ положительностью: весьма возможно даже, что Лучезаровъ былъ и правъ (если не безусловно, то приблизительно), но въ такомъ случаѣ ему нужно было подробнѣе остановиться на своихъ поучительныхъ цифрахъ, доказать арестантамъ ихъ точность документальными данными, перечисливъ всѣхъ бѣглецовъ поименно. Только такой полной, до конца договоренной правдой можно было разсчитывать произвести на каторгу какое-либо впечатлѣніе. Теперь же Лучезаровъ достигъ результатовъ скорѣе противоположныхъ тѣмъ, какихъ добивался: „пошевеливъ мозгами“, легкомысленные въ пухъ и прахъ раскритиковали его рѣчь, посмѣялись надъ нею и легли спать въ большей даже, чѣмъ раньше, увѣренности, что для „духовного“ человѣка удачный побѣгъ всегда и отовсюду возможенъ.

Съ своей стороны и Шестиглазый мало, повидимому, увѣровалъ въ силу своего краснорѣчія: онъ чаще обыкновеннаго навѣщалъ послѣднимъ лѣтомъ тюрьму и пробовалъ съ надзирателями прочность оконныхъ рѣшетокъ. Послѣднее дѣлалось, впро-

чемъ, больше для успокоенія совѣсти, такъ какъ всѣ отлично понимали, что если бы кто изъ арестантовъ и задумалъ побѣгъ, то выбралъ бы какой-либо иной путь, оставивъ рѣшетки въ покоѣ. По крайней мѣрѣ, тѣ надзиратели, съ которыми мнѣ приходилось разговаривать на эту тему, считали побѣгъ не только изъ камеръ, но даже и со двора тюрьмы дѣломъ совершенно невозможнымъ, а одинъ изъ нихъ (тотъ самый, котораго арестанты звали Пронейживой смертью) выразился разъ даже такъ:

— Помилуйте! да это сонъ на яву былъ бы, кабы изъ нашей тюрьмы кто бѣжалъ... Немыслимое это дѣло!

Да и сами арестанты, мечтая иногда вслухъ о побѣгахъ, никогда почти не останавливались на мысли бѣжать черезъ тюремную ограду или черезъ подкопъ. Послѣдній, дѣйствительно, былъ немыслимъ при строгости шелайскихъ порядковъ и малолюдствѣ арестантовъ; что же касается ограды, то побѣгъ черезъ нее возможенъ былъ бы только днемъ, слѣдовательно—на глазахъ у часовыхъ; несравненно поэтому легче было бы бѣжать во время работы, на глазахъ у тѣхъ же часовыхъ, но гдѣ-нибудь ближе къ лѣсу и безъ такой трудной преграды на пути, какъ высокая каменная стѣна. И арестантскія мечты о побѣгѣ, въ самомъ дѣлѣ, направлялись главнымъ образомъ на рудникъ. Никогда не собираясь бѣжать самъ, даже я не могъ иногда отдѣлаться отъ общей арестантамъ склонности мечтать о побѣгѣ. Мнѣ казалось, напримѣръ, что наибольшее удобство для этого представляла горная свѣтличка, возлѣ которой ставился всегда только одинъ часовой; прочіе конвойные сидѣли все время въ свѣтличкѣ или спали на открытомъ воздухѣ, лишь случайно и разсѣянно поглядывая по сторонамъ. Мнѣ казалось, что, пользуясь условленными заранѣе сигналами товарищей, ничего не стоило обмануть этого часового и, прикрываясь отъ глазъ его зданіемъ самой свѣтлички, уйти въ гору и скрыться въ лѣсу. Побѣгъ, совершенный такимъ способомъ рано по утру, былъ бы обнаруженъ не раньше трехъ часовъ дня, когда арестанты возвращались обыкновенно въ тюрьму,—и какое разстояніе успѣлъ бы пройти бѣглецъ за эти 7—8 часовъ!.. Но что было бы дальше? Дальше мечты мои, однако, не заглядывали, такъ какъ серьезно, повторяю, я бѣжать не собирался, и для моей фантазіи интересенъ былъ только первый, наиболѣе романтическій актъ побѣга. Да я и потому еще не любилъ фантазировать о дальнѣйшихъ шагахъ бѣгства, что я мѣсто

и люди, и условія жизни въ Забайкальской области были мнѣ абсолютно незнакомы. Я зналъ одно только изъ разсказовъ тѣхъ же арестантовъ, что бѣгство черезъ Забайкалье несравненно труднѣе, чѣмъ черезъ какую-либо иную часть Сибири, вслѣдствіе того, что населено оно казаками, сыновья и братья которыхъ служатъ въ конвойныхъ и тюремныхъ командахъ и несутъ отвѣтственность за каждый совершонный изъ-подъ ихъ караула побѣгъ. Всякій поэтому неизвѣстный прохожій возбуждаетъ въ нихъ подозрительность, и завѣдомый бѣглецъ не долженъ ожидать себѣ пощады.

Что тѣ или другіе арестанты серьезно мечтаютъ о побѣгѣ, ни для кого въ тюрьмѣ и даже внѣ тюрьмы не было тайной; на постоянномъ счету у начальства былъ, напримѣръ, Петинъ-Сохатый. Слишкомъ ужъ громкая слава бѣгуна окружала въ прошломъ его имя, и хотя въ настоящее время слава эта въ значительной степени поблекла и померкла, хотя не только арестанты, но и надзиратели относились давно скептически къ тому, чтобы онъ рѣшился когда-нибудь бѣжать изъ „образцовой“ Шелайской тюрьмы, побѣгъ изъ которой представлялся имъ „сномъ на яву“, но все-таки, для вѣрности, за нимъ приглядывали тщательнѣе, чѣмъ за кѣмъ другимъ. Проходило, однако, лѣто за лѣтомъ, а Сохатый все сидѣлъ да сидѣлъ и все ниже и ниже падалъ въ глазахъ насмѣшливой кобылки. Прошелъ было слухъ и въ послѣднее лѣто, что Сохатый что-то затѣваетъ; самъ онъ бродилъ по тюрьмѣ угрюмый и злой, забросивъ ученье, немилосердно лодырничая на работѣ и, видимо, нервничая, но отъ этого было далеко еще до серьезныхъ приготовленій къ побѣгу. Къ тому же, какъ разъ въ это самое лѣто, онъ перегрызся со всѣми выдающимися арестантами и остался совсѣмъ одинокимъ... Единственный человѣкъ въ тюрьмѣ, съ кѣмъ онъ теперь дружилъ, былъ молоденькій татаринъ Кантауровъ, котораго звали просто Малайкой. Тонкій и длинный, какъ комаръ, безусый, Кантауровъ совсѣмъ походилъ еще на мальчика, и его странная дружба съ Сохатымъ вызывала общія недоумѣнія и недвусмысленные порой намеки.

— Связался чортъ съ младенцемъ!—говорила про нихъ кобылка, и если Сохатый и не былъ настоящимъ чортомъ, то про его новаго пріятеля разсказывали, будто онъ кричалъ во снѣ: „ма-ма!“ и такъ чмокалъ губами, точно сосалъ соску.

— Домой хочешь, Малайка? Домъ—якши, тюрьма—яманъ?

— Якши домъ, ухъ, якши!— отвѣчалъ Малайка, улыбаясь во всю рожу и зажмуривая глаза, и даже длинныя уши его дергались отъ удовольствія.

Странное обстоятельство привело этого юношу въ каторгу. Братья его были профессіональные чаерѣзы. Кантауровъ отправился съ ними на грабежъ, даже не зная хорошенько, куда и зачѣмъ они идутъ, по чисто дѣтскому, традиціонному чувству братскаго долга. Всѣ грабители были вскорѣ уличены, и хотя первые же шаги дознанія выяснили, что участіе младшаго изъ братьевъ въ преступленіи было вполнѣ безсознательное, но на всякій случай и его также арестовали и посадили въ тюрьму. Не просидѣвъ, однако, и двухъ недѣль подъ замкомъ Малайка сильно загрустилъ. Замѣтившіе это арестанты принялись смѣяться надъ нимъ:

— Неужто не бѣжишь, Малайка? Неужто обробѣешь?

Въ Малайкѣ заговорило самолюбіе.

— Моя захотѣтъ—сичасъ бѣжать станетъ!

— Такъ ты захоти, дуракъ!

И Малайка удивилъ тюрьму. Разъ, когда надзиратель отворилъ ворота, чтобъ арестанты ввезли въ нихъ бочку съ водой, онъ кинулся со всего разбѣга вонъ изъ тюрьмы, сбилъ съ ногъ надзирателя—и не успѣлъ часовой опомниться и дать выстрѣлъ, какъ онъ уже скрылся въ сосѣднихъ кустахъ.

— Вотъ такъ молодчага нашъ Малайка!—говорила изумленная и восхищенная шпанка, но самому молодчагѣ дорого досталось это молодечество. Когда, мѣсяцъ спустя, онъ былъ, наконецъ, пойманъ, то слѣдователь не могъ уже отнестись къ нему, какъ къ невинному младенцу; въ глазахъ суда онъ тоже явился ловкимъ и смѣлымъ до дерзости преступникомъ. И вотъ, не успѣлъ мой легкомысленный герой очнуться, какъ ни за что, ни про что попалъ въ Шелай. Теперь бѣдняга сдѣлался, повидимому, умнѣе и никакія подзуживанья кобылки уже не имѣли надъ нимъ власти.

— Нѣтъ, моя глупа была,—говорилъ онъ прямо:—вотъ и попала каторга. Четыре мѣсяца высидки—айда домой! Нѣтъ, моя не хотѣла... Ну, такъ ступай каторга! Ну, какъ не глупа? Теперь Малайка умный, сидѣть будетъ, строкъ ждать. Пришелъ строкъ —и начальникъ моя домой пущай!

— Дурачина ты, дурачина,—разочаровывали его арестанты,—да гдѣ твой домъ-то? Въ Казанской губерніи? Ну, а ты вѣдь послѣ каторги поселенъ будешь въ Забайкальи аль по Якутскому тракту.

И понюхать тебѣ дому-то не дадутъ! На вѣки вѣчные простись теперь съ своимъ домомъ!

Малайка слушалъ подобныя рѣчи хоть и съ недовѣріемъ, но съ затаенной тревогой.

— Дуракъ, все равно вѣдь съ поселенія-то бѣжать придется, такъ лучше же изъ тюрьмы?—со смѣхомъ продолжала подзуживать кобылка.

— Моя съ населенія айда домой!—радостно подхватывалъ Малайка и, лопоча что-то непонятное на своемъ языкѣ, поспѣшно убѣгалъ прочь.

Татаръ, сартовъ, киргизовъ скопилось за послѣднее время въ Шелайской тюрьмѣ особенно много, но изъ всей этой массы наиболѣе выдавался, какъ внѣшней, такъ и внутренней оригинальностью татаринъ Оренбургской губерніи Ибрагимъ-Нуреддинъ-Сарафетдиновъ, прославившійся своими многочисленными побѣгами изъ-подъ стражи. Мудреное имя его съ трудомъ выговаривали не только арестанты, но и надзиратели, и потому онъ всѣмъ извѣстенъ былъ подъ короткимъ прозвищемъ Садыка. Высокаго роста, превосходнаго сложенія, съ проницательными косыми глазами на красивомъ, энергичномъ лицѣ, Садыкъ производилъ впечатлѣніе человѣка свирѣпаго и въ высшей степени отважнаго. Я никогда не видалъ его въ спокойномъ состояніи—сидящимъ или лежащимъ на нарахъ; все въ этомъ человѣкѣ жило, кипѣло и двигалось; сейчасъ онъ находился въ одной камерѣ, черезъ минуту вы уже встрѣчали его въ противоположномъ углу тюрьмы на дворѣ. И всегда онъ былъ при этомъ одинокъ и угрюмо-молчаливъ. Странный характеръ носили также прогулки Садыка по двору: онъ не ходилъ тихимъ или быстрымъ шагомъ, какъ всѣ прочіе арестанты, а бѣгалъ дробной рысцой, низко наклонивъ впередъ огромное тѣло и пугая встрѣчныхъ своими косыми огненными глазами, глядѣвшими неизвѣстно на кого и на что, и подобно „доброму иноходцу“, какъ выражалась кобылка, производилъ такой моціонъ иногда по цѣлому часу.

Этого человѣка и казацкій конвой, и тюремная администрація всегда держали на особой примѣтѣ. Въ подозрѣніи находились также Сокольцевъ, Чащинъ, Карасёвъ и всѣ другіе, за кѣмъ числились въ прошломъ побѣги. Однако лѣто прошло благополучно, и начальство опять вздохнуло свободно: въ концѣ августа, конечно, ужъ никто не вздумаетъ бѣжать. Къ тому же, завернули внезапно холода...

Въ одно изъ послѣднихъ чиселъ августа, подъ вечеръ, я и

Башуровъ совершенно неожиданно вызваны были въ контору. Шестиглазый, увидавъ насъ, просіялъ, какъ солнце.

— Ну-съ, позвольте васъ поздравить, *господа*,—сказалъ онъ, торжественно поднимаясь съ мѣста, и это странное предисловіе сдавило мнѣ сердце не столько радостнымъ, сколько болѣзненнымъ предчувствіемъ:--позвольте поздравить со свободой... Только что получилась почта съ приказомъ. Вотъ читайте. Къ Валерьяну Башурову примѣненъ манифестъ, по которому онъ немедленно переводится въ разрядъ ссыльно-поселенцевъ... Ну, а что касается васъ,—обратился Лучезаровъ ко мнѣ, улыбаясь,—то вы не могли, конечно, попасть сразу на поселеніе, но вы теперь же отправляетесь въ вольную команду.

И Лучезаровъ торжествующимъ взоромъ оглядывалъ меня, какъ бы стараясь прочесть на моемъ лицѣ выраженіе радостнаго волненія. Повидимому, онъ немало удивленъ былъ, услышавъ изъ моихъ устъ одинъ только холодный вопросъ:

— Отправляюсь?.. Куда же это я отправляюсь?

— Да, я и забылъ, то-есть не успѣлъ сказать вамъ,—отвѣчалъ капитанъ, нѣсколько нахмуриваясь:—признано неудобнымъ оставить васъ при этой же тюрьмѣ въ вольной командѣ... Были, знаете, разныя соображенія... Такъ что вы переводитесь въ кадаинскій рудникъ.

— Скоро ли мы будемъ отправлены?—полюбопытствовалъ Башуровъ.

— Это будетъ зависѣть отъ того, когда придетъ стрѣтенскій конвой. Во всякомъ случаѣ съ завтрашняго же дня вы освобождаетесь отъ каторжныхъ работъ.

Раскланявшись съ бравымъ капитаномъ, мы отправились въ тюрьму. Здѣсь съ быстротой молніи разнеслось извѣстіе о нашемъ освобожденіи, и арестанты, съ радостными улыбками, то и дѣло подходили къ намъ съ поздравленіями и добрыми пожеланіями.

Въ ожиданіи прихода стрѣтенскаго конвоя, намъ пришлось, однако, прожить въ шелайской тюрьмѣ еще цѣлый мѣсяцъ, и за этотъ послѣдній мѣсяцъ произошло столько важныхъ событій, что въ другое время ихъ могло бы хватить на цѣлый годъ. Нельзя, впрочемъ, не принять здѣсь и того во вниманіе, что теперь мы съ удвоеннымъ любопытствомъ приглядывались къ своимъ сожителямъ, не безъ сожалѣнія и грусти помышляя о томъ, что доживаемъ въ ихъ обществѣ послѣдніе дни, и потому все, что про-

исходило вокругъ, врѣзывалось въ память съ удвоенной силой. Въ отношеніяхъ кобылки ко мнѣ и къ Башурову также чувствовалась какая-то небывалая мягкость, почти что любовность: на лицахъ самыхъ суровыхъ, самыхъ неразговорчивыхъ въ прежнее время субъектовъ, при встрѣчахъ съ нами, неизмѣнно появлялась теперь привѣтливая улыбка, шаги сами собой замедлялись, языкъ обнаруживалъ склонность къ изліяніямъ чувствъ... „Ученики“ особенно искренно жалѣли о нашемъ отъѣздѣ, такъ какъ теперь въ лицѣ Штейнгарта на всю тюрьму оставался одинъ только учитель; Луньковъ не уставалъ засыпать меня всевозможными вопросами, усиленно стремясь набраться за остающіеся дни всякой книжной премудрости.

Въ самомъ непродолжительномъ времени ожидалось, между тѣмъ, прибытіе губернатора, и въ тюрьмѣ все опять волновалось, суетилось, скреблось, чистилось, приводилось въ порядокъ. Былъ вечеръ послѣдняго августовскаго дня. Послѣ повѣрки между Луньковымъ и Сохатымъ произошло обычное столкновеніе. Первый болталъ безъ умолку, философствуя на ту тему, что будь онъ на волѣ грамотнымъ, какъ теперь, ни за что бы не попалъ онъ въ каторгу, „какъ иные прочіе храпы и глоты“; Сохатый ничего не говорилъ, но то и дѣло встрѣчалъ насмѣшливымъ фырканьемъ хвастливыя рѣчи соперника. Это, наконецъ, раздражило Лунькова, и онъ обратился къ Сохатому:

— Чего ты тамъ фыркаешь, вѣчный ты тюремный житель?

— Кто? Это я-то вѣчный тюремный житель?—поднялся Сохатый съ наръ.

— Вѣстимо, ты! Ты объ одномъ вѣдь и тужишь только, что двухъ аль трехъ жизней въ тюрьмѣ провести не можешь.

— Оселъ! да я, можетъ захочу—завтра же съ тюрьмой распрощаюсь!

— Послѣ дождичка въ четвергъ, а завтра еще суббота только. Гремѣлъ ты когда-то Сохатымъ, а нынче гремишь, какъ у меня пустое брюхо гремитъ. Ну, и выходитъ, что вѣчный ты тюремный житель!

— Повтори, трепачъ, что ты сказалъ!

— То и сказалъ: вѣчный тю-ремный жи-тель, кухонный костогрызъ!

Сохатый окинулъ Лунькова молчаливымъ, убійственно презрительнымъ взглядомъ и вдругъ повернулся ко мнѣ:

— А вы, Иванъ Николаевичъ, такое же понятіе обо мнѣ держите, какъ и вашъ *любимый* ученикъ?

Получивъ отъ меня обычно-уклончивый въ такихъ случаяхъ отвѣтъ, онъ ядовито засмѣялся и, замолчавъ, пошелъ спать въ свой уголъ. Луньковъ долго еще съ побѣдоноснымъ видомъ ораторствовалъ, но Сохатый не обращалъ уже на его слова никакого вниманія. Остальные арестанты во время этого спора хранили безмолвный нейтралитетъ, и одинъ только Годуновъ раза два хихикнулъ двусмысленно, очевидно, сочувствуя Лунькову. Вскорѣ всѣ полегли спать, заснулъ и я также.

Когда на утро, еще въ совершенной темнотѣ, надзиратель отворилъ камеры и выгналъ арестантовъ въ корридоръ на повѣрку, я, разоспавшись, полѣнился выйти вмѣстѣ со всѣми и, продолжая лежать съ закрытыми глазами, слышалъ только сквозь сонъ оживленныя восклицанія кобылки, передававшей другъ другу сенсаціонную новость: въ ночь выпалъ глубокій снѣгъ... Никто не запомнилъ такого диковиннаго случая, чтобъ снѣгъ выпадалъ на первое сентября, и всѣ гадали о томъ, къ добру это или къ худу. Подъ этотъ говоръ я и заснулъ опять крѣпкимъ сномъ.

Вдругъ меня разбудилъ тревожный шумъ, крики... Кто-то коснулся меня, окликнулъ. Я поднялъ голову,—было уже совсѣмъ свѣтло—передо мной стояли Башуровъ и Штейнгаргъ.

— Слышали?

— Снѣгъ? Слышалъ...

— Какое снѣгъ! Выстрѣлъ, побѣгъ!

— Побѣгъ?!

— На дворъ! всѣ на дворъ!—нечеловѣческимъ голосомъ проревѣлъ кто-то, промчавшись по корридору. Кобылка давно уже была, очевидно, тамъ, такъ какъ камеры оставались пусты. Одѣвшись второпяхъ, пошелъ и я съ товарищами.

— Кто бѣжалъ? — спрашивали мы встрѣчавшихся по дорогѣ взволнованныхъ арестантовъ.

Но никто ничего не зналъ.

— Чащинъ бѣжалъ!—сказалъ кто-то не совсѣмъ, впрочемъ, увѣренно.

— Черти, дьяволы, да когда, какимъ путемъ?

— Ну, о пути-то ты его ужъ самого спроси. Жаль, съ тобой не посовѣтовался!

— Надо думать, вовсе сею минуту бѣжалъ, потому во время повѣрки я его видѣлъ.

— Четверти часа не прошло, какъ выстрѣлъ слышали. Тамъ, за больницей... Черезъ ограду, надо быть, махнули!

— Вотъ такъ фунтъ!..

Отъ яркаго, молочно-бѣлаго снѣга, устлавшаго весь дворъ, лица арестантовъ казались необыкновенно блѣдными; но и внутренно, повидимому, всѣ страшно волновались; многіе тряслись, точно въ лихорадкѣ.

По рядамъ еще разъ пронеслась фамилія Чащина.

— Ау! тутъ я! чего вамъ занадобился Чащинъ, воронье вы безмозглое?

— Ахъ, шутъ его дери, да онъ здѣсь! Кто-же набрякалъ, будто Чащинъ бѣжалъ?

— Можетъ, и вовсе никто не бѣжалъ, а сами на себя петлю накидываютъ,—раздался чей-то скептическій голосъ.

— Знамо, кобылка дурная...

Надзиратели, между тѣмъ, лѣзли вонъ изъ кожи, летая, какъ угорѣлые, по выстроеннымъ шеренгамъ и лихорадочно пересчитывая арестантовъ. Но свести концы съ концами имъ никакъ не удавалось: арестантовъ оказывалось, какъ это часто случалось, даже больше, чѣмъ нужно. Ворота поспѣшно распахнулись, и въ нихъ не вошелъ, а влетѣлъ красный, какъ ракъ, Лучезаровъ, впопыхахъ одѣвшійся въ какую-то кургузую, полинялую домашнюю куртку, которая лишала его обычной представительности и величія. Растерявшійся дежурный позабылъ даже скомандовать: „Смирно! шапки долой!“ — и кобылка стояла въ шапкахъ, смущенная и недоумѣвающая. Но бравому капитану было въ эту минуту не до заботы о внѣшнемъ великолѣпіи; не обративъ никакого вниманія на нарушеніе порядка, онъ быстрыми шагами кинулся къ арестантскому строю.

— Ну, что?—на бѣгу спросилъ онъ дежурнаго:—кто? какимъ образомъ?

— Ничего пока неизвѣстно, господинъ начальникъ,—отрапортовалъ одинъ изъ надзирателей, приложивъ къ козырьку руку.

— Дурачье!—отрѣзалъ капитанъ и принялся самъ пересчитывать шеренги.

— Двоихъ недостаетъ, — объявилъ онъ громогласно, бросивъ уничтожающій взглядъ въ сторону надзирателей, и вслѣдъ затѣмъ

гаркнулъ на арестантовъ:—По камерамъ! Маршъ въ одну минуту!

Всѣ кинулись въ безпорядкѣ по своимъ номерамъ. Мнѣ тотчасъ же бросилось въ глаза отсутствіе у насъ Сохатаго.

— А гдѣ же, господа, Петинъ?

— И въ самъ-дѣлѣ, ребята, гдѣ же Сохатый?—переглянулись между собой арестанты:—ужъ не онъ ли?..

— Ну, да, ждите!—пренебрежительно возразилъ Луньковъ:—я сейчасъ только видѣлъ его. Не таковскій, не бѣжитъ!

— Гдѣ ты его видѣлъ? Когда?

— На повѣркѣ онъ рядомъ со мной стоялъ, да и сейчасъ, кажись...

— Ну, развѣ что на повѣркѣ, а сейчасъ на дворѣ—это ты врешь, его нѣ было,—въ раздумьи замѣтилъ Годуновъ.

— Не было?!

— Смиррна!..

Дверь отомкнулась—и въ камеру вошелъ раздраженный, какъ и прежде, Лучезаровъ съ толпой блѣдныхъ, смущенныхъ надзирателей.

— Разъ, два, три... Ну, такъ и есть: здѣсь тоже одного не достаетъ—значитъ, ужъ третьяго!—почти взвизгнулъ онъ.

Надзиратели молчали, потрясенные, уничтоженные...

— Кого у васъ недостаетъ, говорите? Староста, отвѣчай!

У насъ были и камерный, и общетюремный староста, но и тотъ и другой мялись въ нерѣшительности.

— Петина нѣтъ, господинъ начальникъ,—убитымъ голосомъ пролепеталъ, наконецъ, Проня.

— Петина? Гм! гм! Такъ и слѣдовало, конечно, предполагать.

И Шестиглазый поспѣшилъ вонъ. Выходя послѣднимъ изъ камеры, Проня хлопнулъ себя рукой по бедру и сказалъ довольно громко:

— Прямо сонъ на яву, да и только!..

— Кто бы могъ въ самъ-дѣлѣ подумать, ребята, на Сохатаго, а?—замѣтилъ Чирокъ, когда мы снова очутились на замкѣ.

— А ты какъ полагалъ объ Сохатомъ? Его, братъ, голыми руками тоже не щупай!—заговорилъ вдругъ Годуновъ: и эти слова сразу дали тонъ общественному мнѣнію.

— Я самъ не разъ говорилъ, что у него дурная башка,—продолжалъ Годуновъ, обращаясь для чего-то въ мою сторону и какъ бы въ чемъ оправдываясь,—въ глаза ему даже говаривалъ, потому что я люблю матку-правду рѣзать. Я и теперь скажу то же

самое: въ нѣкоторыхъ смыслахъ у него точно дурная голова... Но кто изъ насъ, однако, святой, или кто умный? Про Сохатаго же надо сказать, что онъ никому никогда вреда не причинялъ, а если кому вредилъ, такъ самому же себѣ. Ну, а что касательно отваги, арестантскаго, что называется, духу, ну, такъ въ этомъ Сохатый всегда можетъ поддержать свою славу!

— Это чего и говорить,—согласился Чирокъ.

— Я всегда зналъ,—добавилъ Годуновъ.—что сидѣть, какъ иные-прочіе, въ тюрьмѣ онъ не станетъ! Ну, подождалъ, конечно, своей точки, но вотъ и дождался.

— Погодите еще съ вашимъ Сохатымъ носиться,—попробовалъ охладить общее увлеченіе Луньковъ:—высоко залетѣлъ, да неизвѣстно, гдѣ сядетъ!

Но ему не дали и рта разинуть—вся камера, какъ одинъ человѣкъ, встала на защиту Сохатаго.

— Какъ же, однако, бѣжалъ онъ, братцы? И кто другихъ двое? Ну, и молодцы жъ ребята! Какъ все шито-крыто сдѣлали!

— Выстрѣлъ, вѣстимо, мимо былъ, коли такая тревога пошла. Настоящимъ манеромъ бѣжали!

Но какимъ образомъ удалось бѣглецамъ перепрыгнуть черезъ высокую каменную стѣну? На этотъ счетъ высказывались догадки, одна нелѣпѣе другой. Начальство, между тѣмъ, ушло изъ тюрьмы, а камеръ отворять и не думали.

— Да теперь и не отворятъ, напрасно ждете,—рѣшилъ опытный въ такихъ дѣлахъ Годуновъ:—и на работу пускать не будутъ, покамѣсть не кончатся поиски. Каждую сопку теперь, каждый кустикъ обыщутъ. Дѫхамъ нашимъ задана Петинымъ хорошая задача: прежде чѣмъ раскусятъ, не одинъ зубъ сломаютъ.

И Годуновъ оказался правъ: цѣлыхъ четыре дня тюрьма провела подъ замкомъ, изъ камеръ выпускали только старостъ да парашниковъ, и то съ величайшими предосторожностями. Это не помѣшало, впрочемъ, кобылкѣ черезъ нѣсколько часовъ знать уже рѣшительно все, что дѣлалось внѣ тюрьмы. Тотъ же Годуновъ, выходившій въ качествѣ общаго старосты для получки провизіи, принесъ намъ слѣдующія новости. Съ Сохатымъ бѣжали еще два человѣка: Садыкъ и Малайка Кантауровъ.

— Да онъ съ ума, что ли, спятилъ, Малайка-то? Вѣдь ему строкъ скоро кончался?

— Вотъ подите жъ! Не даромъ говорили про Сохатаго, что чортъ съ младенцемъ связался: съумѣлъ, видно, окрутить!..

— Ну, а какъ бѣжали-то?

— Тутъ, я вамъ скажу, прямо чудеса въ рѣшетѣ. Само начальство подставило нашимъ артистамъ лѣстницу.

— Что ты говоришь?!

— Вѣрно говорю. Помните, братцы, будки-то солдатскія?

— Ну?..

— Ну, такъ вотъ одну, что за больницей стояла, они подтащили къ стѣнѣ—да и маршъ. Часовой и стрѣлять даже по настоящему не могъ, потому что побѣжали они прямо на надзирательскій домъ. А за домомъ этимъ, сами знаете, тайга по-близу начинается... Казачишка растерялся и въ началѣ кричалъ только „Лови! Держи!“ и лишь потомъ, какъ проснулся, далъ выстрѣлъ на воздухъ. Ну, да ужъ поздно было... Теперь форменная облава по всей округѣ идетъ: крестьяне, говорятъ, изъ всѣхъ сосѣднихъ деревень согнаны, изъ завода солдатская команда въ походъ отправлена... А Шестиглазый сидитъ и, то и знай, телеграммы отбиваетъ...

Чирокъ безпокойно зачесалъ брюхо.

— А вѣдь нашимъ-то плохо, пожалуй, придется? Снѣгъ-то—главное дѣло, слѣды видны...

— Снѣгъ—это, дѣйствительно, не въ ихъ пользу... Ну, да кто же могъ знать, что какъ разъ въ эту ночь его по колѣно навалитъ?

— Отложить было бы...

— Отложить! это ты, братъ, своими телячьими мозгами разсуждаешь,—ну, а Садыкъ развѣ такой человѣкъ? Или опять взять Сохатаго? Ребята, можно сказать, духовные, огонь-ребята... Все къ дѣлу налажено—и вдругъ бросать? Ты думаешь—это легко?

Въ желаніи, чтобъ бѣглецы не были пойманы, арестанты сходились единодушно. Но вдругъ всѣ встревожены были страннымъ открытіемъ, что бродни Сохатаго, Садыка и Малайки самымъ мирнымъ образомъ покоились въ ихъ камерахъ подъ нарами. Кобылка пришла въ недоумѣніе: какъ же такъ? Въ чемъ же они побѣжали? Неужто босикомъ? По снѣгу-то?

— Для легкости, значитъ,—догадывались одни.

— Такъ-то оно такъ,—отвѣчали другіе,—да только легкости этой не позавидуешь, братъ... Сгоряча-то оно и ничего, пожалуй, покажется, ну, а черезъ часъ-другой запляшешь трепака!

— Вздоръ,—говорили третьи:—у нихъ, навѣрное, съ кѣмъ-нибудь условіе было, кто вольную одежу и обувь въ тайгу имъ доставилъ.

— Ну, развѣ что такъ.

Къ вечеру получились утѣшительныя вѣсти: бѣглецы точно въ воду канули. Что особенно приводило начальство въ недоумѣніе, такъ это полное отсутствіе слѣдовъ на свѣже-выпавшемъ снѣгу.

— Словно по воздуху полетѣли мерзавцы!—говорили надзиратели.

Радостное чувство разлилось по сердцамъ арестантовъ; всѣ свободно вздохнули, всѣ горделиво приподняли головы.

— Знай, молъ, нашихъ! Вотъ тебѣ и шелайская образцовая тюрьма! Вотъ тебѣ и Ше-сти-глазый!

— Они объ одномъ, братцы, позабыли, что у арестанта на плечахъ три головы; и въ кажной изъ нихъ три думки сидятъ: воля-вольная, тайга-матушка и Байкалъ-батюшка... Вотъ что!

И „они“, т. е. надзиратели, всѣ духи, все начальство, въ самомъ дѣлѣ, глядѣли въ эти дни на арестантовъ съ видомъ явнаго конфуза и посрамленія. Даже что-то вродѣ почтенія къ себѣ внушала теперь недавно еще забитая, презрѣнная, а теперь все выше и выше „загибавшая носъ“ шпанка...

— Ни въ жисть не поймаютъ Сохатаго!—говорили оптимисты:—лиха бѣда въ первый день отъ погони отбиться, вольную одежу раздобыть, а ужъ потомъ дорога скатертью вплоть до самого Верхнеудинска.

Пессимисты въ эти дни молчали. Одна только новость, принесенная Годуновымъ, произвела не совсѣмъ пріятное впечатлѣніе: въ погоню за бѣглецами отправился, между прочимъ, казакъ Заусаевъ, на-дняхъ только поступившій въ надзиратели и уже получившій отъ арестантовъ за свой мрачный и суровый видъ прозвище Монаха. Онъ слылъ замѣчательно искуснымъ охотникомъ, стрѣлялъ безъ промаха, имѣлъ зоркій глазъ ястреба и нюхъ гончей собаки; онъ самъ выпросился у Шестиглазаго въ командировку и съ револьверомъ за поясомъ, въ сопровожденіи тѣхъ двухъ злополучныхъ казаковъ, близь караульнаго поста которыхъ совершонъ былъ побѣгъ и которые ждали себѣ дисциплинарнаго батальона, поѣхалъ по такому направленію, которое всѣми другими ищейками оставлено было безъ вниманія.

— Вотъ этотъ чортовъ Монахъ мнѣ кажется страшнѣе всѣхъ

шелайскихъ казаковъ, вмѣстѣ взятыхъ!—заключилъ Годуновъ свое сообщеніе.

Наступилъ первый послѣ побѣга вечеръ, и тюрьма легла, наконецъ, спать, утомленная треволненіями дня; и никто, рѣшительно никто въ ней не подозрѣвалъ, что въ эту минуты бѣглецы, собственно, *еще начинали только* свое опасное путешествіе!

Дѣло происходило такимъ образомъ.

Взобравшись со помощью будки на тюремную ограду и спрыгнувъ съ нея чуть не на голову стоявшему внизу часовому, они понеслись, какъ вѣтеръ, впередъ, не задерживаемые ни кандалами, которые, разумѣется, сброшены были еще въ тюрьмѣ, ни тяжелыми арестантскими бродняии. Вмѣсто послѣднихъ у нихъ надѣты были на ноги высокіе мѣховые чулки. Такіе чулки были вообще въ модѣ у шелайскихъ каторжныхъ; ихъ шили наши портные изъ остатковъ казенныхъ шубъ, выдававшихся экономомъ въ качествѣ починочнаго матеріала, и пускали въ продажу по самой дешевой цѣнѣ. Для побѣга эти чулки дѣйствительно казались замѣчательно подходящей обувью, но Сохатый съ товарищами одно упустилъ изъ виду—ихъ недостаточную прочность: не прошло и нѣсколькихъ часовъ, какъ чулки разорвались по всѣмъ швамъ, такъ что по холодному снѣгу пришлось идти босикомъ...

Между надзирательскимъ домомъ и начинавшейся за нимъ въ нѣкоторомъ отдаленіи тайгой лежала небольшая котловина, покрытая рѣдкими кустиками и глыбами камней. Когда-то на этомъ мѣстѣ поднимался лѣсокъ, но въ видахъ воспрепятствованія побѣгамъ передъ устройствомъ Шелайскаго рудника кругомъ всей тюрьмы были вырублены деревья и оставлено пустое, хорошо доступное глазу пространство. На другомъ берегу этой котловины чернѣлась настоящая густая тайга, и она-то манила взоры нашихъ бѣглецовъ, обѣщая имъ спасеніе. Но едва только достигли они дна лощины, какъ у Сохатаго — оттого ли, какъ увѣрялъ онъ впослѣдствіи, что зашибся, соскакивая съ высокой стѣны, или же, что всего вѣроятнѣе, отъ сильнаго внутренняго волненія—внезапно отнялись ноги: онъ вдругъ почувствовалъ, что не можетъ ступить ни одного шага больше... И онъ легъ на землю. Бѣжавшій рядомъ Садыкъ остановился въ испугѣ и знаками торопилъ товарища скорѣе встать и идти дальше; но Сохатый наотрѣзъ отказался идти впередъ и предложилъ [illegible] гдѣ-нибудь тутъ-же, въ кустахъ. Предложеніе [illegible] о без-

умнымъ, такъ какъ лощина была совершенно открытая, кустарникъ на ней мелкій и рѣдкій, каменья также недостаточно велики, чтобы скрыть взрослаго человѣка. Садыкъ стоялъ въ нерѣшительности; онъ почти ни слова не зналъ по-русски, и главный разсчетъ его былъ на Сохатаго, который, самъ будучи „челдономъ", зналъ Сибирь, какъ свои пять пальцевъ, и, къ тому же, пользовался славой опытнаго бѣгуна. Но помимо этихъ личныхъ соображеній, Садыкъ отличался и рыцарственнымъ характеромъ: бросить товарища въ бѣдѣ ему казалось невозможнымъ преступленіемъ. И потому, обругавъ Сохатаго еще разъ собакой и всѣми тѣми отборными словами, какія находились въ его восточномъ лексиконѣ, онъ съ фатализмомъ настоящаго азіата покорился судьбѣ и, прекративъ споръ, поползъ прятаться среди кустовъ и камней. За нимъ послѣдовалъ и Малайка, которому, въ сущности, безразличны были всѣ способы бѣгства, такъ какъ онъ и затѣялъ-то его больше изъ удальства и товарищества, чѣмъ изъ серьезнаго убѣжденія. Всѣ трое приняли видъ каменныхъ изваяній и, рѣшительно ничѣмъ не прикрытые, незащищенные, лежали такимъ образомъ „на виду у всего бѣлаго свѣта", почти не вѣря сами въ возможность спасенія. Утреннія сумерки, между тѣмъ, кончились и совсѣмъ разсвѣло.

Съ бѣшенымъ визгомъ и гиканьемъ, съ ружьями на перевѣсъ, вылетѣлъ весь караулъ изъ-за угла двухъэтажнаго надзирательскаго дома и, брякнувъ ружьями, остановился, какъ вкопанный, на берегу лежавшей внизу котловины. Все въ ней было пустынно: лишь тамъ и сямъ лежали сѣрыя каменныя глыбы, запорошенныя на половину снѣгомъ, да торчали между ними сухіе кустики тальника и боярышника, а въ отдаленіи чернѣла густая тайга... Сомнѣнія не могло быть: арестанты уже успѣли до нея добѣжать и скрыться... Не раздумывая долго, казаки ринулись въ погоню. Впослѣдствіи Сохатый разсказывалъ, что они пролетѣли въ какихъ-либо двадцати шагахъ отъ него, что онъ явственно слышалъ не только топотъ ихъ ногъ, но и ускоренное дыханіе (лежа ничкомъ, уткнувшись лицомъ въ снѣгъ, видѣть ихъ онъ, конечно, не могъ) и уже считалъ себя погибшимъ. Но караулъ пробѣжалъ, какъ сумасшедшій, мимо, потому что „дураку только" могло бы придти въ голову искать такъ близко и такъ просто... Въ теченіе цѣлаго дня, который бѣглецы провели въ своемъ нелѣпомъ убѣжищѣ, эта удивительная исторія повторилась не одинъ разъ:

отряды освирѣпѣлыхъ казаковъ, одинъ за другимъ, пробѣгали въ нѣсколькихъ шагахъ отъ полузамерзшихъ и застывшихъ отъ страха арестантовъ—и не замѣчали ихъ присутствія. Конечно, если бы фактъ этотъ не былъ вполнѣ достовѣрнымъ, не подлежащимъ ни малѣйшему сомнѣнію фактомъ, то я самъ назвалъ бы его плохо придуманной сказкой.

Вслѣдъ за дежурнымъ конвоемъ въ погоню ударились—сначала вся казацкая сотня, а затѣмъ надзиратели и шелайскіе крестьяне. Сдѣлано было предположеніе, что бѣглецы для отвода глазъ измѣнили принятое первоначально направленіе; тщательно обыскивались поэтому всѣ ближайшія окрестности, гдѣ только были лѣсъ и скалы; находились смѣльчаки, лазившіе въ самыя опасныя мѣста старинныхъ выработокъ, въ давно заброшенныя штольни и шахты—но нигдѣ не отыскивалось рѣшительно никакихъ слѣдовъ побѣга. Это послѣднее обстоятельство въ началѣ сильно смущало преслѣдователей: куда исчезли на свѣже-выпавшемъ снѣгу слѣды ногъ? Однако, въ начавшейся суматохѣ на снѣгу появились скоро по всѣмъ направленіямъ десятки и сотни всевозможныхъ отпечатковъ ногъ, такъ что разобраться въ нихъ стало совсѣмъ нельзя. Шестиглазый рвалъ и металъ въ буквальномъ смыслѣ слова; онъ кричалъ надзирателямъ, что „убьетъ ихъ и отвѣчать не будетъ“, разсылалъ въ разныя стороны вѣстовыхъ съ подробными примѣтами бѣжавшихъ и кончилъ тѣмъ, что поссорился съ есауломъ изъ-за вопроса о томъ: кому изъ нихъ принадлежали будки, стоявшія въ тюрьмѣ, и кто былъ обязанъ позаботиться объ ихъ уборкѣ. Настроеніе браваго капитана было тѣмъ отвратительнѣе, что со дня на день ожидался пріѣздъ губернатора.

Такъ прошелъ въ тщетныхъ поискахъ день и наступила ночь, когда бѣглецы рѣшились, наконецъ, покинуть свою засаду и потихоньку отправиться въ путь-дорогу. Они легко могли бы, конечно, наткнуться на казацкіе пикеты, все еще бродившіе по шелайскимъ окрестностямъ, но казаки сами позаботились о томъ, чтобы на нихъ нельзя было наткнуться: они развели въ разныхъ мѣстахъ костры и громко перекликались другъ съ другомъ. Утомленные, раздраженные неудачей, они продолжали поиски чисто-формальнымъ образомъ, увѣренные, что бѣглецы находятся уже далеко. Послѣднимъ ничего поэтому не стоило пробраться черезъ кар
и уйти отъ нихъ на вполнѣ безопасное разстояніе. Ихъ му

теперь одно только—начинавшійся голодъ и отсутствіе обуви. Импровизированные мѣховые чулки быстро порвались о каменья и сучья, такъ что приходилось ступать по холодному снѣгу почти голыми, израненными въ кровь ногами. Стуча зубами, арестанты бѣжали безъ оглядки впередъ, торопясь дойти до какого-нибудь жилья. На разсвѣтѣ они добрели, наконецъ, до какого-то зимовья: здѣсь, въ одинокой убогой юртѣ жилъ старый тунгусъ съ женою. Хозяева еще мирно спали, когда незваные гости вломились къ нимъ. Они провели здѣсь цѣлый день, отогрѣваясь кирпичнымъ чаемъ, занимаясь починкой обуви и съ жадностью пожирая молочные продукты скуднаго тунгусскаго хозяйства. Поживиться одеждой, къ сожалѣнію, не пришлось, такъ какъ тунгусъ и самъ ходилъ чуть не нагишомъ.

Снѣгъ, между тѣмъ, не думалъ стаевать, и зима, казалось, серьезно вступила въ свои права. Стоялъ большой холодъ. Зарѣзавъ у хозяевъ ихъ единственнаго ямана и изжаривъ на дорогу (тунгусы не смѣли слова пикнуть и рады были тому, что ихъ самихъ не изжарили и не съѣли), наши путешественники въ сумерки отправились, наконецъ, дальше, пригрозивъ старикамъ, что въ случаѣ болтовни имъ плохо придется. Вторая ночь бѣгства прошла еще благополучнѣе, такъ какъ нигдѣ не слышно уже было криковъ облавы, не видно было сторожевыхъ огней. Погоня осталась, очевидно, далеко въ сторонѣ. Совсѣмъ уже разсвѣтало, когда Садыкъ вдругъ остановился и удержалъ товарищей: онъ услыхалъ запахъ дыма... Всѣ полегли моментально на брюхо и, какъ змѣи, поползли сквозь кусты. Скоро причина переполоха объяснилась: на опушкѣ лѣса, возлѣ самой дороги, у костра сидѣло, варя въ котелкѣ чай, трое крестьянъ, и подлѣ двоихъ изъ нихъ лежали ружья; однако, по всему было видно, что это не облавщики, а простые охотники. Одинъ былъ тщедушный на видъ старикъ, все время немилосердно кашлявшій и ворчавшій на товарищей за неудачную охоту; второй—широкоплечій мужчина съ рыжей бородой и добродушными сѣрыми глазами. Онъ то и дѣло улыбался себѣ въ бороду и говорилъ: „Ну, ладно, ладно, чего тутъ... Чего здря ворчать!“ Третій изъ охотниковъ былъ мальчикъ лѣтъ пятнадцати. У всѣхъ троихъ на плечахъ висѣла ветхая, рваная одежонка; но за то вниманіе нашихъ путниковъ всецѣло приковали къ себѣ ноги охотниковъ, обутыя въ прекрасные теплые ичиги. Бѣглецы начали шопотомъ совѣщаться (причемъ Ма-

лайка являлся, какъ всегда, толмачемъ—посредникомъ между Сохатымъ и Садыкомъ). Садыкъ предлагалъ средство простое, но вѣрное: броситься неожиданно на сидѣвшихъ крестьянъ, обезоружить ихъ и перебить... Но Сохатый отвергъ этотъ планъ, какъ черезчуръ рискованный, и предложилъ свой: выскочивъ тоже внезапно изъ засады и похвативъ лежавшія возлѣ охотниковъ ружья, порѣшить съ ними миромъ. Такъ и было сдѣлано. Застигнутые врасплохъ, охотники отнеслись къ своей бѣдѣ довольно благодушно и даже пригласили нашихъ бѣглецовъ принять участіе въ чаепитіи. Послѣдніе отъ чая не отказались, и тогда начались разговоры; Сохатый не запирался, что онъ съ товарищами бѣжалъ, онъ прибавилъ только, что бѣжалъ изъ вольной команды.

— Ну, коли изъ вольной команды, такъ плевое дѣло!—сказалъ рыжебородый и потрепалъ Садыка по плечу.

— А славныя, я погляжу, на васъ куртки,—прибавилъ старикъ, ощупывая рукой бушлатъ Сохатаго.

— Давай мѣняться,—съ живостью подхватилъ Петинъ,—намъ къ тому же и не съ руки эта одежа. Да, кстати вотъ, и ичигами помѣняемся!

— Чудные, братъ, у тебя ичиги, я въ жисть такихъ не видывалъ,—подивился старикъ, разглядывая чулки Сохатаго.

— То-то, что не видывалъ! Да что вы тутъ и видите въ своей Трататоніи? Эти ичиги, братъ, московскаго издѣлья, смотри, какой тонкій, нѣжный товаръ... Ну, а, теплота, я тебѣ скажу,—страсть!

Старикъ покачалъ не совсѣмъ довѣрчиво головой, однако отъ мѣны не отказался, быть можетъ, не безъ основанія полагая, что добровольность этой мѣнки вещь совершенно фиктивная, и что арестанты, въ случаѣ отказа, прибѣгнутъ къ насилію. То же самое думали, повидимому, и его товарищи. Поэтому, ни мало не медля, приступили къ переодѣванью. Сохатый былъ въ полномъ восторгѣ и, чтобъ выразить свои чувства, пустился даже приплясывать вокругъ костра; Садыкъ и Малайка тоже оживленно и радостно лопотали что-то по-татарски. Въ пылу ликованія захваченныя ружья опять побросаны были на землю... Никто изъ бѣглецовъ и не замѣтилъ, какъ въ выраженіи лицъ охотниковъ произошла внезапно странная перемѣна: всѣ трое вдругъ насторожились и, какъ-то неестественно и напряженно продолжая улыбаться, готовились ринуться на своихъ новыхъ пріятелей.

вспыхнуло, какъ порохъ отъ поднесенной къ нему горящей спички, и приняло форму страстнаго, неудержимаго протеста... Въ какую камеру ни заходилъ губернаторъ, вездѣ его встрѣчалъ гулъ ропота, жалобъ на Шестиглазаго и мольбы о спасеніи. Онъ, впрочемъ, не выслушивалъ всѣхъ просьбъ и, отмахиваясь руками, говорилъ только:

— Знаю, знаю, все это будетъ разобрано, успокойтесь, братцы! Самъ вижу, что здѣсь много накопилось всякой неправды.

Пожелавъ, между прочимъ, видѣть бѣглецовъ, онъ долго глядѣлъ на Сохатаго, не то укоризненно, не то сострадательно качая головою.

— Какъ же это ты, голубчикъ, рѣшился на такое дѣло?— спросилъ, наконецъ, старый генералъ,—вѣдь тебя, дурачекъ, убить могли? Да и теперь-то не сладко придется: вѣдь я долженъ буду тебя наказать? Какъ ты полагаешь, мой милый?

— Ваше превосходительство,—съ большимъ чувствомъ отвѣчалъ Сохатый,—отъ горя бѣжали! Отъ сладкаго житья, сами знаете, не побѣжишь! Кантаурову всего какихъ-нибудь два мѣсяца до поселенія оставалось, а и то побѣжалъ... Пощадите, ваше превосходительство, заставьте вѣкъ Бога молить!

Генералъ опять, молча, покачалъ головою.

— Да, да,—сказалъ онъ, наконецъ, раздумчиво,—я приму все это во вниманіе.

По выходѣ изъ тюрьмы, какъ разсказывали потомъ надзиратели, онъ громко замѣтилъ завѣдующему каторгой, въ присутствіи браваго капитана:

— Не понимаю, не могу понять, какой вообще имѣетъ смыслъ эта образцовая тюрьма, столь дурно поставленная и въ то же время такъ дорого обходящаяся правительству?

То, что въ теченіе этого времени напѣвалось ему въ уши со стороны, онъ высказывалъ теперь, какъ мысль, къ которой пришелъ самъ послѣ обстоятельнаго разслѣдованія дѣла. На приглашеніе Лучезарова войти въ его квартиру и закусить, онъ отвѣтилъ вѣжливымъ, но холоднымъ отказомъ и отправился къ казацкому начальнику. У послѣдняго былъ сыгранъ второй актъ начатой трагедіи: тамъ принесены были на Шестиглазаго жалобы самимъ есауломъ, шелайскими крестьянами и нѣкоторыми изъ надзирателей... Шестиглазый безнадежно проигралъ сраженіе: весьма недвусмысленно ему въ тотъ же день дано было понять,

XIX.

Конецъ образцовой Шелаевской тюрьмы.

Пріѣздъ губернатора былъ чреватъ всякаго рода событіями и неожиданностями. Точно ураганъ налетѣлъ на благополучно здравствовавшій до тѣхъ поръ Шелайскій рудникъ, закрутилъ въ себя самые незыблемые, казалось, устои и основы и умчалъ ихъ, какъ малую былинку, и одной изъ такихъ былинокъ оказался не кто иной, какъ самъ великолѣпный капитанъ Лучезаровъ. Онъ, столько лѣтъ бывшій грозою для всего каторжнаго міра; привыкшій думать, что выше его власти и авторитета стоитъ чуть ли не власть одного только Бога; въ минуты сильнаго гнѣва грозившій своимъ подчиненнымъ, что онъ можетъ убить ихъ и отвѣчать не будетъ,— этотъ великій и гордый человѣкъ въ одинъ день, въ одинъ какой-нибудь часъ поваленъ былъ съ своего пьедестала въ прахъ и превратился внезапно въ простого, жалкаго смертнаго!

Все сложилось, на его несчастье, такъ, что паденіе было неизбѣжно, и предотвратить, даже отсрочить его не могли уже никакія, ни земныя, ни небесныя силы.

При устройствѣ Шелайской „образцовой“ тюрьмы высшимъ начальствомъ допущена была какая-то странная неясность и недоговоренность. Прежде всего ни для кого не была достаточно вразумительна самая цѣль существованія этого удивительно-ненужнаго и въ то же время безмѣрно-дорогого учрежденія, гдѣ всѣмъ чинамъ администраціи, кромѣ какихъ-то исключительныхъ наименованій, присвоены были еще и увеличенные оклады жалованья. Даже границы и размѣры власти начальника тюрьмы опредѣлены были довольно смутно: съ одной стороны—это былъ, какъ будто, точь въ точь такой же смотритель, какъ и смотрителя всѣхъ остальныхъ каторжныхъ тюремъ, а съ другой — какъ будто, и не такой же; отношенія его къ завѣдующему каторгой были, какъ будто, и простыми дѣловыми отношеніями равнаго чиновнаго лица къ равному же, но были также и, какъ будто бы, подчиненными отношеніями. Завѣдующій каторгой вполнѣ естественно претендовалъ на верховную власть надъ Шелайскимъ рудникомъ; Лучезаровъ, съ своей стороны, претендовалъ на полную независимость, [illegible] знавая завѣдующаго только посредствующимъ звеномъ меж[illegible]

бой и губернаторомъ, чѣмъ-то вродѣ передаточной почтовой станціи; на этомъ основаніи онъ рѣшался иногда посылать свои рапорты непосредственно къ губернатору. Благодаря допущенной въ самомъ началѣ неопредѣленности, смѣлость эта не повлекла на первыхъ порахъ никакого выговора, и тогда уже властнымъ поползновеніямъ браваго капитана не стало удержу. Отношенія его къ завѣдующему приняли явно враждебный, почти воинствующій характеръ. Впрочемъ, Лучезаровъ и никому не сумѣлъ внушить ни любви, ни даже простой симпатіи. Вражда его съ военнымъ начальствомъ, въ лицѣ казацкаго есаула, къ пріѣзду губернатора достигла крайнихъ предѣловъ. За небольшими исключеніями, ненавидѣли его и надзиратели, которыхъ онъ третировалъ, какъ мальчишекъ или лакеевъ, такъ что нѣкоторые изъ нихъ подъ сурдинку уговаривали даже арестантовъ жаловаться и указывали имъ на болѣе слабые пункты тюремныхъ порядковъ. Ко всему этому присоединилась исторія съ побѣгомъ. Въ самомъ воздухѣ носилось, казалось, что-то недоброе, зловѣщее...

Однако, мнѣ лично, признаться, не вѣрилось, чтобы арестанты стали серьезно и поголовно жаловаться; да и, въ сущности, на что было жаловаться? На строгость режима, на запрещеніе частныхъ улучшеній пищи? Но все это вполнѣ законно основывалось на подписанныхъ высшимъ начальствомъ инструкціяхъ Шелайской тюрьмы; Лучезаровъ заслуживалъ скорѣе похвалы за усердіе... Единственнымъ человѣкомъ въ тюрьмѣ, про котораго я былъ увѣренъ, что онъ станетъ жаловаться, являлся нѣкто Дубасовъ, арестантъ, не такъ давно еще прибывшій въ Шелай, но уже успѣвшій свыше всякой мѣры озлобиться противъ тюремныхъ порядковъ, и всего больше противъ самого Шестиглазаго. Это былъ семейный человѣкъ не молодыхъ уже лѣтъ, по ремеслу сапожникъ, на видъ степенный и тихій; на первыхъ порахъ онъ выражалъ необыкновенное довольство тѣмъ, что попалъ въ Шелай, гдѣ не было „иванцовъ“ и обычныхъ арестантскихъ „хамствъ“. Арестанты сразу рѣшили про себя, что этотъ человѣкъ будетъ однимъ изъ тѣхъ благочестивыхъ язычниковъ и подлипалъ, которыхъ довольно было и раньше въ лицѣ разныхъ Булановыхъ и другихъ надзирательскихъ „причендаловъ“. Лицо Дубасова, жесткое, блѣдное, съ ястребинымъ носомъ и ястребиными же глазами, тоже было далеко не изъ симпатичныхъ. Однако, попасть въ причендалы Дубасову не удалось. Вскорѣ онъ увидалъ и оборотную сторону

шелайской медали. Кто-то изъ надзирателей нашелъ однажды въ починочной мастерской, гдѣ работалъ Дубасовъ, сапожныя колодки.

— Какія это колодки? Чьи? — спросилъ онъ съ удивленіемъ.

— Мои,—отвѣчалъ Дубасовъ вполнѣ наивнымъ тономъ.

— А откуда ты ихъ взялъ?

— Какъ откуда? Да попросилъ Пѣнкина—онъ и выстругалъ мнѣ въ рудникѣ.

— Въ рудникѣ? А кто пропустилъ?

Поднялось цѣлое слѣдствіе. Оказалось, никто изъ надзирателей, дежурившихъ у воротъ, колодокъ въ тюрьму не пропускалъ,— слѣдовательно, Пѣнкинъ пронесъ ихъ тайкомъ. Оказалось также, что по тюремнымъ правиламъ внутри тюрьмы могла лишь чиниться обувь, для чего колодокъ не требовалось, а не шиться новая; если же, паче чаянія, и дѣлались какіе заказы съ воли, то исключительно съ разрѣшенія начальства, которое и выдавало тогда на время необходимыя колодки. Пѣнкина не посадили въ карцеръ единственно въ виду безупречной репутаціи, которою онъ до сихъ поръ пользовался, но Дубасову сдѣлано было строгое внушеніе, и колодки были у него отняты. Дубасовъ находился въ полномъ недоумѣніи: онъ никакъ не могъ взять въ толкъ, какое такое преступленіе онъ совершилъ; и вотъ, дождавшись прихода на одну изъ вечернихъ повѣрокъ Шестиглазаго, онъ обратился къ нему съ вопросомъ, въ которомъ звучало глубоко оскорбленное достоинство:

— Господинъ начальникъ, дозвольте спросить васъ, какая могла быть вредà отъ колодокъ? А между тѣмъ, могите знать, сапожнику безъ нихъ никакъ невозможно!

— Молчать!—грозно крикнулъ капитанъ, которому, очевидно, не понравился тонъ этого вопроса, и, не прибавивъ ни слова, вышелъ вонъ.

Самолюбіе упрямаго старика было теперь еще глубже уязвлено. Негодованію его уже не было предѣловъ... Не прошло и недѣли, какъ онъ ухитрился какимъ-то образомъ утащить свои колодки изъ дежурной комнаты, куда онѣ были положены. Колодки, конечно, снова были арестованы, а самъ Дубасовъ посаженъ на этотъ разъ въ темный карцеръ. Тогда началась между нимъ и начальствомъ долгая и упорная борьба. Дубасовъ, этотъ по натурѣ благонамѣреннѣйшій изъ благона арестантовъ, которому до тѣхъ поръ и во снѣ, бы илось

пойти когда-либо противъ воли начальства, вдругъ забунтовалъ. Онъ отказался работать въ мастерской. Въ отвѣтъ, Шестиглазый не только посадилъ его опять въ карцеръ, но и лишилъ свиданій съ женой. Исторія эта продолжалась больше мѣсяца; если Дубасовъ соглашался идти на работу, то черезъ два-три дня у него обязательно отыскивались опять колодки: то кто-либо изъ кобылки притащитъ ему изъ горы, то самъ онъ выстругаетъ въ кухнѣ изъ простого полѣна. Въ бравомъ капитанѣ, въ свою очередь, говорили самолюбіе и упрямство, и онъ грозился сгноить злополучнаго сапожника въ карцерѣ. Лишь за нѣсколько дней до пріѣзда губернатора его выпустили изъ-подъ ареста.

— Ага! заслабило? выпустили?—громко ворчалъ Дубасовъ, въ разсчеты котораго не входило во время губернаторскаго посѣщенія быть „на волѣ“. Съ этой цѣлью онъ устроилъ шумную ссору съ надзирателями, и тѣ, волей-неволей, снова должны были отвести его въ „секретную“.

Губернаторъ явился въ Шелай, по всѣмъ видимостямъ, уже сильно вооруженнымъ противъ Лучезарова: враги не дремали и успѣли выставить, быть можетъ, даже въ преувеличенномъ свѣтѣ всѣ недостатки и слабости браваго капитана. Послѣдній разлетѣлся, было, къ генералу съ такимъ же развязнымъ, независимымъ видомъ, какой имѣлъ нѣсколько лѣтъ назадъ, въ первое посѣщеніе губернаторомъ Шелая, но тотъ съ первыхъ же словъ осадилъ его, внушительно замѣтивъ, что въ присутствіи завѣдующаго каторгой онъ, капитанъ, долженъ говорить вторымъ. Обмѣнявшись съ завѣдующимъ выразительнымъ взглядомъ, Лучезаровъ сразу понялъ, въ чемъ дѣло; но онъ не хотѣлъ такъ рано сдаваться и продолжалъ бороться.

Войдя въ тюрьму и узнавъ изъ доклада дежурнаго, что есть арестованные, губернаторъ выразилъ желаніе прежде всего посѣтить карцеръ. Тамъ его глазамъ представилось трогательное зрѣлище. Дубасовъ оказался человѣкомъ, нечуждымъ актерскаго дарованія и нѣкоторой изобрѣтательности: снявъ съ себя верхнюю одежду, онъ перепачкалъ нижнее бѣлье сажей (сажей же подмалевалъ немного и лицо), разорвалъ у рубахи воротъ и въ такомъ истерзанномъ и жалкомъ видѣ предсталъ передъ посѣтителями. Низко понуривъ голову и разставивъ ноги, какъ будто едва держась на нихъ отъ изнуренія, онъ заговорилъ такимъ глухимъ, прямо гробовымъ голосомъ, что губернаторъ вздрогнулъ.

— Ваше превосходительство!.. заморили... Спасите, будьте отцомъ!

— Въ чемъ дѣло, братецъ? Что съ тобой? Ты боленъ? За что ты посаженъ сюда?—съ участіемъ обратился къ старику губернаторъ.

Дубасовъ, все съ той же медлительностью и болѣзненной одышкой, отвѣчалъ, что вотъ уже доходитъ полтора мѣсяца, какъ онъ почти безъ перерыва сидитъ въ темномъ карцерѣ на хлѣбѣ и водѣ, въ грязномъ бѣльѣ, лишенный свиданій съ женою, единственно за то, что въ качествѣ сапожника пользовался колодками.

— Онъ лжетъ, ваше превосходительство!—подскочилъ тотчасъ же бравый капитанъ,—насчетъ бѣлья и пищи онъ лжетъ...

— Вы потомъ будете спрошены,—съ ласковымъ взглядомъ и убивающей кротостью въ голосѣ остановилъ его губернаторъ.

— Я не могу понять, братецъ, что ты говоришь,—продолжалъ онъ, обращаясь къ Дубасову:—сидишь въ карцерѣ за то, что пользовался колодками? Сапожникъ?..

Арестантъ подробно разсказалъ всю первоначальную исторію, присовокупивъ, что хорошему сапожнику и починки даже безъ колодокъ производить невозможно.

— Но какой же можетъ быть вредъ отъ простыхъ деревянныхъ колодокъ?—недоумѣвалъ губернаторъ точь въ точь также, какъ недоумѣвали раньше сами арестанты. Завѣдующій каторгой, на котораго онъ вопросительно поглядѣлъ, только пожалъ иронически плечами.

— Такъ выпустить его изъ карцера!—бросилъ губернаторъ въ пространство и поспѣшно добавилъ:—и ежедневно давать съ этихъ поръ свиданіе съ женою!

— По тюремной инструкціи, ваше превосходительство, свиданія даются только одинъ разъ въ недѣлю,—вмѣшался еще разъ Лучезаровъ.

Губернаторъ ничего не отвѣтилъ ему и, выйдя изъ карцера, отправился въ лазаретъ. Какими-то невѣдомыми, почти чудесными путями черезъ нѣсколько минутъ уже вся тюрьма знала о происшедшемъ. Кобылка внезапно воспрянула духомъ, заволновалась, зашумѣла... Все недовольство, какое накоплялось въ ней годами и, быть можетъ, еще цѣлые годы таилось бы на днѣ души (начиная съ самыхъ законныхъ и [illegible] и кончая самыми вздорными, нелѣпыми пр[illegible]моментально

черезъ дворъ къ мѣсту происшествія. Встрѣтивъ по дорогѣ Башурова, поспѣшили и мы туда же...

Моментально распахнулись ворота, и въ нихъ опрометью влетѣло, съ ружьями на перевѣсъ, десятка полтора казаковъ. Любопытная картина представилась нашимъ глазамъ: уголъ, гдѣ сходились двѣ стѣны каменной ограды, отъ неизвѣстной причины развалился, и образовалась огромная брешь, черезъ которую не только видно было внѣ тюремное пространство, но при желаніи можно было и пролѣзть свободно. За стѣною тоже виднѣлись уже перепуганные казаки и надзиратели. Это было то самое мѣсто, гдѣ Сохатый съ товарищами совершилъ свой недавній побѣгъ.

— Ну, братцы, и хваленая же Шелайская тюрьма... Телячьи вѣдь загородки прочнѣй дѣлаются? Ха-ха-ха!—смѣялись арестанты, для которыхъ это событіе было настоящимъ праздникомъ.

— Да развѣ вы не слышали,—вѣдь эту стѣну надзирательскія жены строили?

— Нѣтъ, чего здря говорить, ребята! Стѣна была, какъ стѣна, а только когда Сохатый да Садыкъ сѣли на нее верхами, такъ она чичасъ и осѣла, значитъ. Потому надо вѣдь этакихъ двухъ жеребцовъ выдержать!

За стѣной между тѣмъ расхаживалъ есаулъ и громко кричалъ:

— И это называется постройкой, на которую тысячи рублей шли?.. Безобразіе!.. Что же теперь дѣлать? Впредь до починки усиленный караулъ поставить?

Шестиглазаго никто не видалъ. Своимъ отсутствіемъ онъ выражалъ какъ бы полное презрѣніе ко всему, что теперь происходило и могло еще произойти.

— Что же это, господа? Формальная ликвидація шестиглазовскаго прижима?— сказалъ Башуровъ, резюмируя общее настроеніе. Разговаривая и смѣясь, вернулись мы на обычное мѣсто нашихъ прогулокъ передъ фасадомъ тюрьмы.

На кухонномъ крыльцѣ, съ котломъ въ рукахъ, показался Карпушка Липатовъ.

— Урра, Иванъ Миколаичъ! — проревѣлъ онъ во все горло, увидавъ меня съ товарищами:—барранину ѣмъ!..

И онъ высоко поднялъ въ рукѣ свой котелъ, отъ котораго такъ и валилъ во всѣ стороны заманчивый паръ. Съ лихо заломленной на бокъ шапкой, съ самодовольной улыбкой во всю рожу,

что не мѣшало бы полѣчиться ему отъ нервовъ и подать рапортъ о болѣе или менѣе продолжительномъ отпускѣ...

Легко, конечно, вообразить, что долженъ былъ испытывать бравый капитанъ. Въ началѣ онъ былъ только удивленъ изумленъ, ошеломленъ и то и дѣло ощупывалъ себя, желая убѣдиться, точно ли онъ не спитъ, точно ли все это произошло на яву; но затѣмъ чувство изумленія смѣнилось глубокой обидой, пламеннымъ негодованіемъ... Какъ! онъ, честнѣе котораго не было чиновника не только въ каторгѣ, но, можетъ быть, и во всей Забайкальской администраціи; онъ, который такъ фанатически былъ преданъ идеѣ долга и законности; онъ, наконецъ, который въ теченіе четырехъ лѣтъ съ такой ревностію и самоотверженіемъ стремился создать образцовую каторжную тюрьму и кое-что сдѣлалъ-таки, чортъ возьми, въ этомъ направленіи,—онъ оказывается теперь раздавленнымъ, поруганнымъ, униженнымъ, оплеваннымъ передъ лицомъ всего свѣта, передъ собственными своими подчиненными!.. Такъ позорно принесенъ въ жертву низкимъ и темнымъ силамъ интриганства, чиновничьяго формализма! Да стоитъ ли послѣ этого... ну, если не жить, то, по крайней мѣрѣ, служить?!

И съ этого дня Лучезаровъ махнулъ на все рукою. Въ ожиданіи замѣстителя, онъ сидѣлъ дома, никуда не показываясь, не заглядывая даже въ контору, хандря и срывая мелкую злобу на тѣхъ, кто попадался ему на глаза. Но уже никто его не боялся; были даже случаи, когда домашняя прислуга выказывала явное ослушаніе, и у грознаго когда-то капитана не отыскивалось достаточно энергіи показать, что власть еще находится въ его рукахъ. Онъ совсѣмъ упалъ духомъ, а кобылка болтала, что губернаторомъ запрещенъ ему даже самый входъ въ тюрьму.

И тюрьма съ каждымъ днемъ больше и больше распускалась. Надзиратели сквозь пальцы глядѣли на картежную игру, которая шла теперь по всѣмъ угламъ, причемъ не ставились даже стремщики. Краснорожій экономъ произвелъ, между тѣмъ, въ кухнѣ настоящую революцію, объявивъ арестантамъ, что отнынѣ разрѣшаются частныя улучшенія пищи, и что табакъ, чай и сахаръ желающіе могутъ у него же покупа[illegible] [illegible]одно количествѣ. И, торжествуя и сіяя, точн[illegible] [illegible]чепелявый дьяволъ“ открылъ тутъ же в[illegible] [illegible] арестантская пища очень быстро п[illegible] нельзя было брать въ ротъ; бо[illegible]

КОБЫЛКА ВЪ ПУТИ*).

Въ сумерки холоднаго октябрьскаго дня стрѣтенскій этапъ растворялъ свои ворота для маленькой обратной партіи, шедшей на поселеніе изъ рудниковъ нерчинской каторги. Такіе арестанты сами себя называютъ „вольными“, да и конвой относится къ нимъ снисходительнѣе, нежели къ каторжнымъ, и ведетъ незакованныхъ въ кандалы. Въ партіи былъ, впрочемъ, и кандальный—каторжанинъ, еще не кончившій своего срока, но переводившійся вмѣстѣ съ семьею изъ одного рудника въ другой.

Ефрейторъ пересчиталъ арестантовъ, впустилъ ихъ со всѣмъ дорожнымъ скарбомъ, котомками, узлами и котелками въ узкій, темный корридоръ тюрьмы, гдѣ слабо тлѣли мокрыя щепки подъ плитой, и молча ткнулъ пальцемъ въ дверь направо, за которой скрывалась назначенная для нихъ камера. По привычкѣ, арестанты тотчасъ же ринулись туда, какъ угорѣлые, толкая другъ друга, крича, переругиваясь, спѣша занять лучшія мѣста на нарахъ, хотя особенной нужды въ такой поспѣшности и не представлялось, такъ какъ мѣстъ могло бы хватить и для вдвое большаго количества людей.

— Сюда, Оська Непомнящій, сюда!..—ревѣлъ плотный рыжебородый мужчина, стоя во весь ростъ на нарахъ у окна и съ торжествомъ махая шапкой:—сюда, товарищи!

Грузно ковыляющей походкой торопился на этотъ зовъ маленькій неуклюжій человѣчекъ, повидимому, большой флегматикъ

*) Въ настоящемъ очеркѣ описывается часть этапнаго перехода изъ Шелайскаго рудника въ Кадаинскій. Здѣсь авторъ оставляетъ на время мемуарную форму повѣствованія.

зали... Но я знаю также,—да, это я знаю!—что когда я уйду, вы не разъ и меня добромъ помянете... Во всякомъ случаѣ, если я въ чемъ виноватъ передъ вами, если кто-нибудь.... Ну, словомъ, не поминайте лихомъ!

Голосъ браваго капитана опять дрогнулъ, и онъ быстро повернулся къ воротамъ. Растерявшаяся кобылка хранила гробовое молчаніе. Вдругъ изъ ея рядовъ явственно послышалось всхлипыванье...

— Ба...тюшка! Ба...тюшка!—заскрипѣлъ старческій голосъ.

Лучезаровъ поспѣшно обернулся, и какой-то безвѣстный до тѣхъ поръ и безгласный старичонка, выступивъ изъ шеренги, повалился ему въ ноги.

— Батюшка-начальникъ, не всѣ жалобились, не всѣ!.. Жаль намъ тебя... Хуже теперя намъ будетъ, много хуже, батюшка... Роптали,—вѣстимо, роптали, да вѣдь по глупости, батюшка! Кто же въ каторгѣ, скажи ты самъ, позволитъ жить, какъ на волѣ? Можно ли вовсе безъ строгостевъ. А ты вотъ что отвѣть, батюшка-начальникъ: сказываютъ, ты въ Алгачи переводишься? Такъ возьми и меня туды-ка съ собой! Возьми, родимый!

И старикъ, со слезами, снова бухнулся Лучезарову въ ноги, ловя фалды его шинели и цѣлуя ихъ.

— И меня также, господинъ начальникъ!

— И меня!

— И меня! — грянулъ изъ рядовъ десятокъ-другой умиленныхъ голосовъ.

Лучезаровъ былъ ошеломленъ: онъ не ожидалъ ничего подобнаго... Это была настоящая овація, устроенная экспромптомъ, безъ всякихъ предварительныхъ сговоровъ и подготовокъ, вытекшая, казалось, изъ искренняго, непосредственнаго чувства простыхъ русскихъ сердецъ... Слезы заблестѣли на его глазахъ; отъ волненія онъ не могъ въ теченіе нѣсколькихъ мгновеній слова выговорить.

— Какъ! и ты, Луньковъ, просишься? И ты, Ногайцевъ? Даже и ты, Сокольцевъ?

— И мы, и мы!

— Не хотимъ покидать васъ, господинъ начальникъ!—грянуло еще большее число голосовъ.

— За что же это братцы, за что?—лепеталъ растроганный капитанъ.—Къ сожалѣнію, къ великому моему сожалѣнію

рилъ въ это время, послѣднимъ вошедшій въ камеру, старичокъ благообразной и почтенной наружности, съ шутовскимъ нѣсколько выраженіемъ умныхъ, даже плутоватыхъ сѣрыхъ глазъ. Мнѣ-то, старику, подъ нары, что-ль, лѣзть?

— Старичку Николаеву наше почтеніе! Къ намъ пожалуйте!— откликнулся ему отъ окна рыжебородый мужчина изъ компаніи молодыхъ ивановъ.

— Иди къ намъ, старый аспидъ!—крикнулъ оттуда еще кто-то.

— Вотъ ужъ и ругаетесь!.. Развѣ этакъ возможно, господа? Я къ вамъ съ добромъ, а вы эвона въ какія глупости углубляетесь!

— А не то къ намъ ступай, Николаевъ, мѣста хватитъ,—послышался вкрадчивый голосъ изъ другого угла. Голосъ этотъ принадлежалъ мужчинѣ уже пожилыхъ лѣтъ, коренастому, блѣдному, съ непріятнымъ выраженіемъ маслянистыхъ глазъ и всего лица, недобраго, хотя всегда подернутаго приторно-сладкой улыбкой.

— Къ намъ, Павелъ Николаевичъ, къ намъ милости просимъ,—подтвердила и женщина, сидѣвшая съ нимъ рядомъ:— вы—старики, вамъ съ семейными-то спокойнѣе будетъ.

— И вѣрно! Благодаримъ за привѣтъ. Будемте сусѣдями.

— А, старый чортъ, къ бабамъ полѣзъ! Губа-то не дура!— заревѣлъ отъ окна рыжебородый.—Ты посматривай тамъ за нимъ, Перминовъ. Онъ не спроста... Знаемъ мы этихъ старцевъ божіихъ... Того и гляди, безъ жены останешься!

При этихъ словахъ у Перминова все лицо злобно перекосилось; онъ промолчалъ, однако, и только бросилъ къ окну полный презрѣнія взглядъ. Николаевъ, уже начавшій раскладывать свои мѣшки, тоже ничего не отвѣтилъ на насмѣшку; судя, впрочемъ, по выраженію лица, онъ былъ скорѣе польщенъ ею, нежели уколотъ.

Камера начинала постепенно принимать жилой видъ. Въ Стрѣтенскѣ обратныя партіи сидятъ не меньше двухъ недѣль, и потому всѣ устраивались прочно, основательно, точно намѣреваясь жить здѣсь цѣлые годы. Распаковывались самые завѣтные узлы и мѣшочки, запасалась провизія. Пока камера не была еще замкнута на ночь, арестанты то-и-дѣло сновали по корридору и по двору этапа, стараясь лучше ознакомиться съ мѣстными порядками и обычаями, узнать, нѣтъ-ли въ другихъ камерахъ арестантовъ и проч. Оказалось, что въ сосѣднемъ большомъ номерѣ сидѣла,

царство шпаны начинается... Пойдемте-ка отсюда на дворъ, тутъ дышатъ просто не въ моготу. А не странно ли, Иванъ Николаевичъ, что переворотъ этотъ какъ разъ передъ вашимъ уходомъ случился? Однако, что это значитъ,—вы, какъ-будто, не особенно радуетесь свободѣ?

У меня, дѣйствительно, не слишкомъ было радостно на душѣ. Какъ сказочный колодникъ, привыкшій къ своимъ цѣпямъ, я съ грустью думалъ о томъ, что скоро навсегда покину эту тюрьму, гдѣ столько пережилъ и выстрадалъ. Мнѣ казалось, что въ этихъ стѣнахъ я хороню свою молодость съ ея одинокими, гордыми мечтами, а также и то, что радость свободы пришла ко мнѣ слишкомъ поздно, когда въ душѣ появились уже усталость и надтреснутость... И эту позднюю, какъ мнѣ думалось, радость отравляло еще сознаніе, что я ухожу на волю, оставляя въ тюрьмѣ товарища!

Я разспрашивалъ Штейнгарта объ его роднѣ, о матери, объ ея возрастѣ. Онъ безнадежно махнулъ рукой.

— Ей уже семьдесятъ два года, Иванъ Николаевичъ, и въ самое послѣднее время силы начали, повидимому, быстро ее оставлять. И знаете, какая странная фантазія пришла ей недавно въ голову? Боюсь, что вамъ, какъ незнакомому съ еврейскими религіозными понятіями, фантазія эта можетъ показаться дикой и, пожалуй, даже... некрасивой, но меня она до глубины души, до слезъ трогаетъ... Дѣло вотъ въ чемъ. Я какъ-то писалъ своей старушкѣ, что арестанты время отъ времени получаютъ отъ горнаго вѣдомства за работу въ рудникѣ деньги. Помните, вѣдь и мы съ вами уже нѣсколько разъ получали? Я заработалъ что-то около пяти рублей... Ну, такъ вотъ по этому поводу она и пишетъ мнѣ: „Видѣться намъ ужъ не удастся, я знаю, что скоро умру; но когда ты заработаешь рублей пятнадцать, пришли мнѣ эти деньги, чтобъ на нихъ я могла купить себѣ саваиъ. Тогда я буду думать, что не чужая, а твоя рука закроетъ мнѣ глаза“. Что вы на это скажете, Иванъ Николаевичъ?..

Я ничего не сказалъ, но почувствовалъ, какъ холодная струя пробѣжала у меня по тѣлу...

Вдругъ, гдѣ-то за больницей, раздался ужасный шумъ и трескъ— не то грянуло одновременно нѣсколько ружейныхъ выстрѣловъ, не то произошло землетрясеніе. Остановившись [illegible] Штейнгартомъ молча переглянулись: „Ужъ не опять ли [illegible] арестантовъ съ тѣмъ же недоумѣніемъ [illegible]

черезъ дворъ къ мѣсту происшествія. Встрѣтивъ по дорогѣ Башурова, поспѣшили и мы туда же...

Моментально распахнулись ворота, и въ нихъ опрометью влетѣло, съ ружьями на перевѣсъ, десятка полтора казаковъ. Любопытная картина представилась нашимъ глазамъ: уголъ, гдѣ сходились двѣ стѣны каменной ограды, отъ неизвѣстной причины развалился, и образовалась огромная брешь, черезъ которую не только видно было внѣ тюремное пространство, но при желаніи можно было и пролѣзть свободно. За стѣною тоже видѣлись уже перепуганные казаки и надзиратели. Это было то самое мѣсто, гдѣ Сохатый съ товарищами совершилъ свой недавній побѣгъ.

— Ну, братцы, и хваленая же Шелайская тюрьма... Телячьи вѣдь загородки прочнѣй дѣлаются? Ха-ха-ха!—смѣялись арестанты, для которыхъ это событіе было настоящимъ праздникомъ.

— Да развѣ вы не слышали,—вѣдь эту стѣну надзирательскія жены строили?

— Нѣтъ, чего здря говорить, ребята! Стѣна была, какъ стѣна, а только когда Сохатый да Садыкъ сѣли на нее верхами, такъ она чичасъ и осѣла, значитъ. Потому надо вѣдь этакихъ двухъ жеребцовъ выдержать!

За стѣной между тѣмъ расхаживалъ есаулъ и громко кричалъ:

— И это называется постройкой, на которую тысячи рублей шли?.. Безобразіе!.. Что же теперь дѣлать? Впредь до починки усиленный караулъ поставить?

Шестиглазаго никто не видалъ. Своимъ отсутствіемъ онъ выражалъ какъ бы полное презрѣніе ко всему, что теперь происходило и могло еще произойти.

— Что же это, господа? Формальная ликвидація шестиглазовскаго прижима?— сказалъ Башуровъ, резюмируя общее настроеніе. Разговаривая и смѣясь, вернулись мы на обычное мѣсто нашихъ прогулокъ передъ фасадомъ тюрьмы.

На кухонномъ крыльцѣ, съ котломъ въ рукахъ, показался Карпушка Липатовъ.

— Урра, Иванъ Миколаичъ! — проревѣлъ онъ во все горло, увидавъ меня съ товарищами:—барранину ѣмъ!..

И онъ высоко поднялъ въ рукѣ свой котелъ, отъ котораго такъ и валилъ во всѣ стороны заманчивый паръ. Съ лихо заломленной на бокъ шапкой, съ самодовольной улыбкой во всю рожу,

съ торжесгвенно приподнятой кверху красной бороденкой и комично-широко разставленными ногами, живописенъ былъ въ эту минуту Карпушка Липатовъ, стоявшій въ яркомъ солнечномъ освѣщеніи! Онъ казался намъ воплощеннымъ символомъ новыхъ порядковъ, водворявшихся на развалинахъ образцовой Шелаевской тюрьмы, а котелъ съ бараниной въ его рукахъ—побѣднымъ трофеемъ шпаны, возсѣвшей на мѣстѣ святѣ...

КОБЫЛКА ВЪ ПУТИ*).

Въ сумерки холоднаго октябрьскаго дня стрѣтенскій этапъ растворялъ свои ворота для маленькой обратной партіи, шедшей на поселеніе изъ рудниковъ нерчинской каторги. Такіе арестанты сами себя называютъ „вольными“, да и конвой относится къ нимъ снисходительнѣе, нежели къ каторжнымъ, и ведетъ незакованныхъ въ кандалы. Въ партіи былъ, впрочемъ, и кандальный—каторжанинъ, еще не кончившій своего срока, но переводившійся вмѣстѣ съ семьею изъ одного рудника въ другой.

Ефрейторъ пересчиталъ арестантовъ, впустилъ ихъ со всѣмъ дорожнымъ скарбомъ, котомками, узлами и котелками въ узкій, темный корридоръ тюрьмы, гдѣ слабо тлѣли мокрыя щепки подъ плитой, и молча ткнулъ пальцемъ въ дверь направо, за которой скрывалась назначенная для нихъ камера. По привычкѣ, арестанты тотчасъ же ринулись туда, какъ угорѣлые, толкая другъ друга, крича, переругиваясь, спѣша занять лучшія мѣста на нарахъ, хотя особенной нужды въ такой поспѣшности и не представлялось, такъ какъ мѣстъ могло бы хватить и для вдвое большаго количества людей.

— Сюда, Оська Непомнящій, сюда!..—ревѣлъ плотный рыжебородый мужчина, стоя во весь ростъ на нарахъ у окна и съ торжествомъ махая шапкой:—сюда, товарищи!

Грузно ковыляющей походкой торопился на этотъ зовъ маленькій неуклюжій человѣчекъ, повидимому, большой флегматикъ

*) Въ настоящемъ очеркѣ описывается часть этапнаго перехода изъ Шелайскаго рудника въ Каданнскій. Здѣсь авторъ оставляетъ на время мемуарную форму повѣствованія.

по природѣ, но на этотъ разъ также возбужденный и торжествующій. За нимъ бѣжало къ окну еще человѣкъ пять молодыхъ, здоровыхъ ребятъ. Вся эта группа, очевидно, состоявшая въ дорожномъ товариществѣ и игравшая руководящую роль въ партіи, заняла нѣсколько саженъ лучшихъ мѣстъ на нарахъ. Худшія, болѣе удаленныя отъ свѣта, мѣста заняли старики и семейные. Ближе всѣхъ къ дверямъ очутился единственный кандальный въ партіи, еврей неопредѣленныхъ лѣтъ, худой, сухопарый, съ жидкой козлиной бородкой и пугливо бѣгающими сѣрыми глазками. Его сопровождала многочисленная семья: жена, маленькая, худенькая женщина, совсѣмъ больная, еле передвигающая ноги, но съ явственными еще слѣдами оригинальной и симпатичной красоты. На рукахъ она держала двухъ маленькихъ дѣвочекъ—одну съ рыжими, какъ огонь, курчавыми волосенками, съ ярко блестѣвшими отъ мороза щечками, весело на все кругомъ улыбавшуюся, другую, напротивъ,—смуглую, какъ цыганочка, испуганно глядѣвшую по сторонамъ большими, темными, какъ-бы съ удивленіемъ раскрытыми глазами. За юбку матери цѣплялась третья дѣвочка, постарше, съ серьезнымъ, не подѣтски озабоченнымъ личикомъ; четвертая тащила мѣшокъ больше себя самой. Отецъ и десятилѣтній мальчуганъ, очень на него похожій, съ такимъ же длиннымъ, острымъ носомъ и сѣрыми глазами, волокли прочій семейный скарбъ.

— Шюда, шюда, Ента!—съ характернымъ пришепетываньемъ говорилъ глава семейства, складывая вещи на пустыя нары у самыхъ дверей. — Абрашка, бѣги скорѣй на дворъ, погляди, не забыли-ль еще чего.

Ента, въ изнеможеніи, опустилась на нары съ обѣими дѣвочками. Рыженькая сейчасъ же весело соскочила съ ея рукъ и принялась помогать старшимъ сестрамъ въ разборкѣ вещей; черненькая, напротивъ, еще крѣпче прижалась къ матери.

— Ну, что, Енталэ? Какъ себя чувствуешь, душа моя?— пониженнымъ голосомъ спросилъ мужъ, съ нѣжностью и тревогой заглядывая женѣ въ глаза. Послѣдняя ничего не отвѣчала и только нервно гладила по головкѣ прильнувшую къ ней любимицу-дочь.

— Я чайку сейчасъ заварю... Погрѣемся! Хася, Брухэ, Сурелэ! помогайте матери, я за водой побѣгу.

— Ну, а я, господа, куда же пристроюсь?—громко прогово-

рилъ въ это время, послѣднимъ вошедшій въ камеру, старичокъ благообразной и почтенной наружности, съ шутовскимъ нѣсколько выраженіемъ умныхъ, даже плутоватыхъ сѣрыхъ глазъ. Мнѣ-то, старику, подъ нары, что-ль, лѣзть?

— Старичку Николаеву наше почтеніе! Къ намъ пожалуйте!— откликнулся ему отъ окна рыжебородый мужчина изъ компаніи молодыхъ ивановъ.

— Иди къ намъ, старый аспидъ!—крикнулъ оттуда еще кто-то.

— Вотъ ужъ и ругаетесь!.. Развѣ этакъ возможно, господа? Я къ вамъ съ добромъ, а вы эвона въ какія глупости углубляетесь!

— А не то къ намъ ступай, Николаевъ, мѣста хватитъ,—послышался вкрадчивый голосъ изъ другого угла. Голосъ этотъ принадлежалъ мужчинѣ уже пожилыхъ лѣтъ, коренастому, блѣдному, съ непріятнымъ выраженіемъ маслянистыхъ глазъ и всего лица, недобраго, хотя всегда подернутаго приторно-сладкой улыбкой.

— Къ намъ, Павелъ Николаевичъ, къ намъ милости просимъ,—подтвердила и женщина, сидѣвшая съ нимъ рядомъ:— вы—старики, вамъ съ семейными-то спокойнѣе будетъ.

— И вѣрно! Благодаримъ за привѣтъ. Будемте сусѣдями.

— А, старый чортъ, къ бабамъ полѣзъ! Губа-то не дура!— заревѣлъ отъ окна рыжебородый.—Ты посматривай тамъ за нимъ, Перминовъ. Онъ не спроста... Знаемъ мы этихъ старцевъ божіихъ... Того и гляди, безъ жены останешься!

При этихъ словахъ у Перминова все лицо злобно перекосилось; онъ промолчалъ, однако, и только бросилъ къ окну полный презрѣнія взглядъ. Николаевъ, уже начавшій раскладывать свои мѣшки, тоже ничего не отвѣтилъ на насмѣшку; судя, впрочемъ, по выраженію лица, онъ былъ скорѣе польщенъ ею, нежели уколотъ.

Камера начинала постепенно принимать жилой видъ. Въ Стрѣтенскѣ обратныя партіи сидятъ не меньше двухъ недѣль, и потому всѣ устраивались прочно, основательно, точно намѣреваясь жить здѣсь цѣлые годы. Распаковывались самые завѣтные узлы и мѣшочки, запасалась провизія. Пока камера не была еще замкнута на ночь, арестанты то-и-дѣло сновали по корридору и по двору этапа, стараясь лучше ознакомиться съ мѣстными порядками и обычаями, узнать, нѣтъ-ли въ другихъ камерахъ арестантовъ и проч. Оказалось, что въ сосѣднемъ большомъ номерѣ сидѣла,

замкнутая по случаю прибытія новичковъ (оффиціально еще не принятыхъ и необысканныхъ), партія въ 80 человѣкъ, пришедшая за нѣсколько дней передъ тѣмъ изъ Благовѣщенска и состоявшая на половину изъ каторжанъ, на половину изъ подслѣдственныхъ, которые должны были судиться въ Иркутскѣ по знаменитому дѣлу о разграбленіи на Амурѣ каравана съ золотомъ. У двери этой камеры стояла кучка только что прибывшихъ обратныхъ, переговариваясь сквозь щель съ запертыми „стариками“.

— Строго-ль тутъ обыскиваютъ? — допрашивалъ разбитной рыжебородый, котораго товарищи называли Китаевымъ.

— Можно сказать, даже безчеловѣчно,—отвѣчалъ изъ-за двери невидимый голосъ человѣка, повидимому, не менѣе разбитного, бывалаго и словоохотливаго.—Капитанъ Петровскій прямо за жандарма сойти можетъ. Чуть что—даже и въ скулы норовитъ. Но вы, господа, не смущайтесь. Вверху нашей двери, около печки, дыра есть, заткнутая тряпкой. Все, что у васъ есть отъ запретнаго плода Адама или Евы, спѣшите передать намъ на храненіе.

— А когда будутъ принимать и обыскивать? Сегодня же?

— Ни въ какомъ случаѣ. У капитана Петровскаго правила твердыя, разъ навсегда заведенныя. Завтра ровно въ одиннадцать часовъ.

Предложеніе невидимаго голоса было тотчасъ же принято къ свѣдѣнію, и Оська Непомнящій, усѣвшись на плечи дюжему и высокому Китаеву, полѣзъ на печку разыскивать спасительную дыру. Въ рукахъ у него было нѣсколько колодъ картъ и еще какіе-то изъ „запретныхъ плодовъ“, о которыхъ упоминалъ предусмотрительный совѣтчикъ.

— А какъ только обыщутъ васъ завтра, отопрутъ и насъ. Тогда заведемъ пріятное знакомство и, ежели пожелаете, перекинемся по маленькой!

— Съ нашимъ полнымъ удовольствіемъ. А есть въ вашей партіи деньжонки?

— Водятся. Мы по золотому вѣдь дѣлу въ Иркутскъ ѣдемъ. Жиды есть богатые—раззудить только надо. Ну, да увидимся лично—все это обсудимъ еще и оборудуемъ. Сами вы откуда путь держите?

— Мы изъ Шелая. Слыхали, вѣрно?

— Уголокъ теплый, какъ не слыхать. Говорятъ, могила?

— Прямо обитель святая! Смотритель—игуменъ, арестанты—монахи. Ха-ха-ха!

— Значитъ, деньжонокъ и вы достаточно везете? Накопили въ монашествѣ-то?

— Много-ли, мало-ли, а на нашъ вѣкъ хватитъ, — хвастливо отвѣчалъ Китаевъ, подмигивая товарищамъ.—По домамъ, однако, пора, ребята. Кажись, запирать насъ идутъ. До видзеня, пане!

И точно, въ корридоръ вошелъ ефрейторъ съ ключами, въ сопровожденіи еще нѣсколькихъ солдатъ, и велѣлъ затаскивать въ камеру парашу. Арестантовъ пересчитали и собирались запереть на замокъ.

— Гошподинъ ефреторъ, — несмѣло выступилъ въ это время впередъ глава еврейской семьи:—обратите вниманіе...

— Чего такого?—надменно спросилъ безусый еще ефрейторъ, какъ-то искоса и сверху внизъ смѣривъ его взглядомъ.

— У насъ есть зенщина... и много дѣвочекъ... моихъ дочекъ...

— Ну, такъ что-жъ? У тебя вѣдь ихъ не просятъ. Аль сами просятся?

— Я насчетъ парашки, господинъ ефреторъ, доложите господину охвицеру, чтобъ не запирать камеры, въ корридоръ ушатъ поставить.

— Партія у насъ смирная, господинъ старшій, — поддержалъ просьбу кто-то еще изъ угла:—вездѣ нами конвой былъ доволенъ.

— Чего ихъ тутъ слушать! Запирай, паря! По мѣстамъ, пока цѣлы!—заревѣлъ вдругъ ефрейторъ.

Дверь шумно захлопнулась, ключъ въ замкѣ щелкнулъ.

— Чего взялъ, жидъ? — загрохоталъ Китаевъ: — нашему-ль брату модничать, прихоти барскія разводить? Женщина, женщина... Да что она у тебя—дѣвка, что-ль? Небось, звона сколько жиденятъ наплодила, не хуже насъ съ тобой про все знаетъ.

И, какъ-бы въ подтвержденіе своихъ словъ, онъ тутъ же направился къ парашѣ...

Жизнь пошла своимъ чередомъ. Обитатели камеры тотчасъ-же разбились на нѣсколько кучекъ. Одна состояла изъ еврейскаго семейства; въ другой старикъ Николаевъ бесѣдовалъ съ пріютившей его четой Перминовыхъ; центромъ и душой третьей, пяти или шести молодыхъ ребятъ, былъ говорливый Китаевъ, мужчина немолодыхъ уже лѣтъ, но теперь, по окончаніи каторги, собиравшійся, казалось, снова помолодѣть и расцвѣсти. На противо-

положныхъ нарахъ, въ углу, сидѣли еще два человѣка: одинъ высокій и дряхлый старикъ, у котораго ясно обрисовывалось на лбу клеймо, каторжный еще николаевскихъ временъ, только теперь окончившій, вслѣдствіе частыхъ побѣговъ, небольшой въ началѣ срокъ своего наказанія. Сильно оглохшій и пришедшій почти въ состояніе младенчества, но всегда веселый и неунывающій, онъ былъ общимъ любимцемъ въ партіи, шутникомъ по профессіи. Не принадлежа ни къ какому лагерю, онъ чутко прислушивался, не смотря на глухоту, ко всѣмъ разговорамъ и по временамъ подавалъ свои реплики. Звали его Тимофеевымъ.

Рядомъ съ нимъ, хотя не имѣвшій никакой съ нимъ связи, сидѣлъ косматый мужикъ съ водяночнымъ лицомъ и дикимъ взглядомъ, необыкновенно угрюмый, молчаливый, косившійся на всѣхъ и постоянно что-то про себя ворчавшій. Арестанты называли его Бовой и считали сумасшедшимъ.

Въ группѣ Китаева было особенное оживленіе и веселье. Китаевъ безостановочно болталъ и хвасталъ.

— Спрашиваетъ: „Много-ль деньжонокъ везете?“ Ну, да меня, стараго мошенника, не проведешь! Знаю я васъ, ростовскихъ жуликовъ, наскрозь. Хитры вы, а все же подольскіе три раза васъ вокругъ пальца обовьютъ! У жидовъ и поляковъ учился я... Съ 67-го года съ тюрьмой знакомство веду. „Много! отвѣчаю:— держи карманъ шире, гляди только, чтобъ не прорвался“. И вотъ помяните мое слово, братцы, не будь я Китаевъ, коли я этого ростовскаго франта завтра же голымъ не пущу со всѣми его жидами вмѣстѣ. Деньги! да какія могутъ у насъ быть деньги, коли мы изъ Шелая идемъ? За то башка у насъ на плечахъ. За то просвѣтилъ насъ отецъ игуменъ!

— Ну, да тебѣ-то грѣшно-бъ жаловаться, Китаевъ, — вдругъ отозвался ему старикъ Николаевъ, который, заслышавъ издали интересную бесѣду, подвигался теперь отъ своего мѣста къ веселой группѣ. Въ бѣлой казенной рубахѣ, низко подпоясанной тонкимъ ремешкомъ подъ круглымъ животикомъ, съ волнистой сѣдоватой бородкой вродѣ тѣхъ, какія пишутъ на ликахъ святыхъ, съ кудреватыми волосами, тщательно разобранными по срединѣ проборомъ, съ лукавыми сѣрыми глазами и носомъ картошкой на благообразномъ, покрытомъ морщинами, но еще румяномъ лицѣ, съ степенно скрещенными на груди руками и мягкимъ пѣвучимъ голоскомъ — онъ производилъ въ эту минуту впе-

чатлѣніе человѣка, рѣшительно всѣмъ на свѣтѣ довольнаго, свое участью, самимъ собой и людьми, всегда готоваго и другихъ такж поучить и наставить тому же довольству и мудрой умѣренност

— Тебѣ-то грѣшно-бъ жаловаться, Китаевъ. У тебя ошкуръ-т тугонько, небось, рублевками набитъ?

— Ахъ ты, старый песъ! Да ты щупалъ мой ошкуръ-то, што-ле

— А развѣ не вѣрно? На что-жъ ты Любку въ Шелаѣ содер жалъ? Этакая дѣвка развѣ любить бы тебя безъ денегъ стала?

— А почему жъ бы и не стала? Развѣ я рыломъ не вышелъ Мнѣ хошь и сорокъ четыре года, а какъ надѣну я кумачную ру баху, да въ руки гармонь возьму, такъ не только, братъ, Любка а сама—и не знаю кто—влюбиться въ меня можетъ! Дурень ты дурень, пень новгородскій! Ты по себѣ, видно, судишь, что тебѣ безъ денегъ баба полюбить не можетъ?

— Меня ты оставь. Я изъ тѣхъ годовъ вышелъ. Мнѣ Бог пора молиться.

— Богу молиться?! Нѣтъ, чорту ты молишься, а не Богу Что ты еванделье постоянно читаешь, да псалмы божественны поешь, такъ думаешь, я и не вижу тебя наскрозь? Вижу, голуб чикъ, отлично!

Компанія Китаева неистово загоготала. Старикъ не то сконфу женно, не то самодовольно прищуривъ глазки и слегка ухмыль нувшись, укоризненно закивалъ головой.

— Вотъ городитъ... вотъ городитъ... Чушь такую претъ, чт даже уши вянутъ!

— Чушь? А, скажешь, денегъ въ вольной командѣ не нако пилъ? Я полагаю, у насъ у всѣхъ здѣсь столько нѣтъ, сколько у тебя одного въ кулакѣ зажато. Только ты — аспидъ. У нас вонъ, у всей кампаніи, десятка развѣ какая наберется, которуи мы на пищу можемъ дозволить себѣ тратить, а мы—посмотри: чай байховый съ булками пьемъ, и баранину кажный день ѣдимъ А ты—что ты ѣлъ сегодня? Скажи. Сухари съ водой? Даже чаи кирпичнаго не пилъ?

— Да я въ сухаряхъ больше скусу нахожу, чѣмъ въ вашей баранины. Отъ нея только мысли дурныя въ башку лѣзутъ.

— Хо-хо-хо! мысли дурныя... То-то, небось! Да ты постой, ты не уходи отъ насъ, не серчай. Я тебѣ вотъ что скажу, Нико лаевъ, по дружбѣ. Нечего намъ перекорами заниматься. Какъ ни какъ, въ одной тюрьмѣ нѣсколько лѣтъ провели. Такъ вотъ что

я присовѣтую тебѣ, добра желаючи: сними майданъ! Партія, какъ видно, богатая соберется. Оборотъ хорошій изъ своихъ денегъ сдѣлать можешь.

— Хм... Вотъ чудной ты человѣкъ, Китаевъ! Да изъ какихъ денегъ? Гдѣ онѣ у меня?

— Не притворяйся, Николаевъ. Ну, сказывай по совѣсти: сколько у тебя?

— А и не знаю сколькі. Вотъ кормовыя вчера получилъ... Отъ прошлыхъ кормовыхъ тоже двадцать кипѣекъ, што-ли, еще осталось...

— Врешь! окромя кормовыхъ есть.

— Отвяжись ты отъ меня, сатана! Господи, прости за согрѣшеніе...

И Николаевъ, дѣйствительно, на этотъ разъ осерчавъ, идетъ, махнувъ рукой, прочь, сопровождаемый смѣхомъ и тюканьемъ компаніи. А Китаевъ, придя послѣ этого совсѣмъ уже въ благодушное настроеніе и чувствуя себя царькомъ небольшого, но покорнаго государства, самодовольно дуетъ на блюдечко съ чаемъ и продолжаетъ разглагольствовать.

— Что, братъ Оська Непомнящій? И теперь еще за бока, небось, хватаешься, щупаешь самъ себя: снится тебѣ, аль въявь все это происходитъ, что ты отъ отца игумена вырвался, на поселенье идешь?

— И не говори лучше,—мотаетъ бородой маленькій человѣчекъ, котораго зовутъ Непомнящимъ.

— А признаться, я все, братъ, время думалъ, что ты на Сахалинъ угодишь. Потому родства непомнящій, то-ись самый, по ихъ понятію, вредный ты человѣкъ. И вдругъ на тебѣ: выходитъ приказъ—въ Ключевской волости поселить!

— Забыли, видно, въ статейный заглянуть,—подтвердилъ молодой полуобрусѣвшій татаринъ Равиловъ:—а то гдѣ-жъ бы уйти отъ Сахалина? Нонче всѣхъ бродягъ туды шлютъ.

— Прямо сказать, счастливчикъ! Въ Ключевскую волость! Вѣдь это, Оська, и до родной твоей деревни, кажись, рукой подать?

— Молчи!—не то серьезно, не то шутливо грозитъ пальцемъ Непомнящій.

— Какъ! и теперь еще отца игумена трусишь, боишься? Нѣтъ, ужъ не воротитъ, другъ, шалишь, не воротитъ,

вольныя птицы... Теперь межъ пріятелями могъ бы ты и родословіе свое объявить.

Непомнящій не выказываетъ, однако, намѣренія объявлять родословіе и хранитъ упорное молчаніе.

— Держи карманъ шире, объявитъ онъ, какъ-же!—отвѣчаетъ за него Равиловъ:—онъ крѣпокъ, аспидъ!

— А и слабила жъ у тебя гайка въ послѣдніе мѣсяцы, охъ, какъ слабила!—продолжаетъ Китаевъ:—самъ не свой ходитъ, бывало, въ тюрьмѣ по двору, все думушку свою думаетъ да гадаетъ: Сахалинъ, аль не Сахалинъ?..

— Станешь, небось, думать,—кратко откликается Непомнящій. Онъ несловоохотливъ, замкнутъ въ себѣ, но лицо его тѣмъ не менѣе сіяетъ во время этого разговора довольствомъ и радостью.

Вынесла судьба на свѣтъ Божій, мертваго, отпѣтаго уже совсѣмъ человѣка вынесла! И вспоминается ему, какъ тяжелый, страшный сонъ, недавнее прошлое. Тихій и смиренный мужичонко, только что женившійся и не успѣвшій насладиться, какъ слѣдуетъ, радостями семейной жизни, попадаетъ онъ въ солдаты. Непривычная тяжелая жизнь въ строю и въ казармѣ... Тоска по женѣ и родинѣ... Рядъ незаслуженныхъ обидъ... И вотъ тихая, покорная всегда душа внезапно прорывается и зарабатываетъ себѣ дисциплинарный батальонъ. Слухи о невыносимой тяжести жизни въ батальонѣ наполняютъ безумнымъ ужасомъ сердце молодого солдата—и онъ совершаетъ дерзкій побѣгъ изъ-подъ строгаго караула, съ опасностью получить въ спину пулю часового, рискуя быть пойманнымъ и подвергнуться еще болѣе суровому, чѣмъ прежде, наказанію. Но судьба, къ счастью, покровительствовала ему. Его арестовали только за нѣсколько сотъ верстъ отъ мѣста побѣга: онъ назвалъ себя Осипомъ Непомнящимъ и, принятый за бѣглаго каторжнаго, ѣздилъ „на уличку“ по всѣмъ рудникамъ нерчинской каторги, нигдѣ не былъ признанъ и осужденъ, наконецъ, какъ бродяга, на четыре года временно-заводскихъ работъ. Всѣ эти четыре года онъ дрожалъ день и ночь передъ возможностью быть отправленнымъ на Сахалинъ—и вдругъ... вмѣсто всего этого, ему назначаютъ мѣстомъ поселенія родимыя палестины! Теперь уже всякимъ страхамъ конецъ! Если бы и нашелся такой недругъ, что пожелалъ бы изобличить его, то само начальство не приметъ уже къ свѣдѣнію обличеній: стоитъ-ли заваривать никому ненужную кашу, когда у человѣка имѣются вполнѣ узаконенныя, купленныя нѣсколькими годами страданій, новое имя и званіе?

Онъ можетъ получить теперь въ своей волости, когда захочетъ, законное свидѣтельство и идти съ нимъ на всѣ четыре стороны... Да, кончилась страшная пытка! Впервые сонъ его можетъ стать по прежнему тихъ и безмятеженъ. Но уже новыя тревожныя думы омрачаютъ порой душу: что-то жена? Что онъ о ней услышитъ? Какъ она его приметъ? И сладко щемитъ, и вмѣстѣ болѣзненно ноетъ сердце отъ самыхъ разнородныхъ предчувствій...

Старикъ Николаевъ опять сидитъ рядомъ съ супругами Перминовыми. Мужъ—необыкновенно словоохотливый и сантиментальный человѣкъ, исполненный къ тому же всяческаго благочестія.

— Я, братъ ты мой, никогда неправды не любелъ. За правду, могу сказать, и пострадалъ, въ каторгу пришелъ. Да! И куда я ни приходилъ, вездѣ меня начальники тотчасъ-же отличали. Вотъ хотя бы и теперь, въ Алгачахъ. Какъ только явились мы съ женой, меня и одного дня въ тюрьмѣ не держали, потому въ статейномъ моемъ все прописано... Сейчасъ-же меня въ вольную команду, и не то чтобъ на чижолую какую работу, а прямо горнымъ сторожемъ постановили. „Мы видимъ, говорятъ, Перминовъ что ты старикъ честный, и совѣсть въ тебѣ не потеряна. Тутъ тебѣ и мѣсто“!

— Въ пеклѣ-бъ тебѣ мѣсто, Антипъ проклятый!..—прошамкалъ внезапно старикъ Тимофеевъ, у котораго было клеймо на лбу „(Антипами проклятыми“ онъ обзывалъ всю дорогу солдатъ и всякое начальство).—Антипъ ты проклятый!... повторилъ онъ еще разъ съ непонятнымъ остервенѣніемъ.

— А ты молчалъ бы себѣ, журавль долгоносый,—съ перекосившимся лицомъ отозвался ему оцѣпенѣвшій на минуту отъ неожиданности Перминовъ:—Богъ уже убилъ, и царь заклеймилъ—сидѣлъ бы себѣ въ углу, жевалъ свой табакъ. Такъ нѣтъ—туда же лѣзетъ, куда и конь съ копытомъ.

— Это ты-то конь съ копытомъ? Антипъ ты проклятый—вотъ ты кто!..

— Журавль! Клейменый! Табачный носъ—вотъ кто ты!

— Это кто тамъ нашего журавля обижаетъ?—вмѣшался въ ссору съ другого конца камеры Китаевъ.—А! Это Перминовъ? Такъ его, такъ его, журавушка родной! Антипъ онъ проклятый, Антипъ!

— Антипъ проклятый и есть!—гаркнулъ еще разъ старикъ, вытянувшись вдругъ во весь свой солдатскій ростъ и грозно посмотрѣвъ на врага.

Но послѣ этого онъ мгновенно успокоился, опустился на нары и съ блаженнымъ выраженіемъ въ лицѣ, точно отъ сознанія исполненнаго долга, принялся по прежнему жевать табакъ, уже не обращая больше вниманія на воркотню и брань Перминова. А послѣдній, поругавшись всласть и метнувъ еще нѣсколько злобныхъ взглядовъ въ сторону Тимофеева и Китаева, принялся опять за медоточивое повѣствованіе о своихъ умственныхъ и нравственныхъ достоинствахъ, стараясь, впрочемъ, говорить теперь тише, такъ, чтобы кромѣ Николаева и жены никто его больше не слышалъ. Но жена уже давно спитъ; зѣваетъ и Николаевъ. Повидимому, онъ больше прислушивается къ тому, что происходитъ рядомъ, въ еврейской семьѣ, чѣмъ къ словамъ собесѣдника.

А тамъ напились уже всѣ чаю. Дѣтишки угомонились и полегли спать. Подъ шубами, халатами и разнымъ тряпьемъ и не различишь даже, сколько ихъ тамъ понабилось. Дѣтскія головки переплелись между собою, какъ цвѣты въ вѣнкѣ. Двѣ младшихъ дѣвочки, рыженькая Сӯрэлэ и черненькая Рӯхеню, любовно обнялись ручонками и спятъ, прильнувъ другъ къ другу личиками. Только отецъ съ матерью еще не спятъ и, лежа, тихо разговариваютъ; въ рѣчахъ жены слышится иногда жаргонъ, отдѣльныя слова и выраженія, обличающія еврейку изъ западнаго края, но мужъ говоритъ только по-русски и, повидимому, искренно считаетъ себя вполнѣ „рушкимъ“. Онъ даже любитъ подчеркнуть это и кстати и не кстати употребляетъ чисто русскія поговорки и словечки, подчасъ уморительно ихъ коверкая.

Ента, часто кашляя и постоянно хватаясь рукой за впалую, изсохшую грудь, жалуется на свою судьбу; мужъ старается ее утѣшить.

— Нѣтъ, ужъ не дождаться мнѣ, Мойша, твоей вольной команды. Срокъ большой, а мнѣ жить не долго осталось.

— Что ты говоришь, Ента! Не знаешь ты, что говоришь! Развѣ можно же такъ говорить? Ты больше моего жить будешь. Потому какую я пользу семьѣ окажу, въ тюрьмѣ сидя! А безъ тебя что жъ съ ними будетъ? Нѣтъ, ты должна жить, Ента, и ты увидишь... Вотъ ты увидишь, что ты еще сто двадцать лѣтъ проживешь! Не даромъ же мы въ Зелентуй просились—значитъ, тамъ лучше. Старшихъ ребятишекъ въ пріютъ заберутъ, грамотѣ, ремеслу обучатъ. Абрашка, Хася, Брухэ людьми, гляди, станутъ... Хася черезъ три-четыре года невѣстой будетъ. Чего ты головой качаешь? Я правду говорю, Енталэ. Суженаго коня не объѣдешь—знаешь рушкую пословицу? Чего мудренаго, коли и Хася наша зениха себѣ сы-

щетъ? Хорошаго человѣка. Это я вѣдь каторжный-то, а она вольная, честная дѣвушка, честной матери доць. Абрашка тоже большой ужъ парень. Ремеслу только стоитъ научиться—слесаремъ, аль кузнецомъ, аль токаремъ стать. У отца руки были—и изъ него хорошій работникъ можетъ выйти. Что ты говоришь?

— Съ тобой-то на волѣ, говорю, не живать мнѣ!

— Ну, зачѣмъ ты такъ говоришь? Почему же не живать, Ента? Въ Зеленгуѣ къ начальству ближе. Мы проситься станемъ... Какъ увижу начальника, я ему въ ноги шичасъ. Онъ откажетъ, пойдетъ въ другую камеру, а я и туда прибѣгу—и тамъ въ ноги! Онъ въ третью—и я въ третью... Онъ на другой день придетъ—я и на другой день опять просить стану: „Ваше вишкоблагородіе! Жена больная, дѣтей куча, малъ-мала меньше. Я честный мастеровой. Я трудомъ рукъ своихъ пропитанье могу семьѣ доставать. Пустите меня въ вольную команду“! И что же ты думаешь, Ента? Я такъ думаю, что начальникъ возьметъ, да и отпуститъ меня!

— Хорошо, коли отпуститъ; а коли велитъ въ карецъ посадить?

— А ты-то, Ента, на что-жъ? Я съ одного краю, а ты съ другого... Я просить, а ты того пусце... Хася, Брухэ, Сурэлэ, Абрашка, Рухеню—всѣ кланяться будутъ, кричать... Надоѣстъ ему слушать, онъ и скажетъ, глядишь: „А что въ самомъ дѣлѣ! Отпустить Мойшу Боруховича въ вольную команду“. Вотъ увидишь, Ента: не будь я Мойшей, коли ты не увидишь, что онъ такъ скажетъ. Ну, а тогда ужъ мы заживемъ! Ты увидишь, Ента, какъ мы заживемъ! Я кажную работу могу вѣдь дѣлать. Ты не гляди на то, что я на дохлую лошадь похожъ. Я этихъ чохъ-мохъ не разбираю, силы-то мнѣ еще не занимать стать... Руки-то такъ и чешутся поработать... Ты у меня еще барыней ходить будешь. Вотъ съ мѣста не встать мнѣ, Ента, коли я вру: барыней будешь!..

— Чего ты, слышу я, разоврался тутъ, Вороховичъ?—раздался неожиданно возлѣ наръ голосъ.

Ента и Мойша вздрогнули и невольно приподнялись съ мѣстъ, въ испугѣ. Но сейчасъ-же успокоились, какъ только узнали при слабомъ мерцаніи сальной свѣчи, озарявшей камеру, добродушное лицо старика Николаева. Въ дорогѣ изо всей партіи они уважали его одного. Не смотря на рѣзкій языкъ и склонность впутываться въ чужія дѣла, старикъ производилъ впечатлѣніе доброй души и внушалъ довѣріе.

— Шадись, старикъ,—пригласилъ его Мойша:—гостемъ бу-

дешь. Вотъ Ента моя горюетъ, что до вольной команды мнѣ далеко, а я ей говорю, что никто какъ Богъ. Не правда-ль, старикъ, вѣдь никто какъ Богъ? Богъ сюды насъ въ каторгу прислалъ, онъ же и отшюда вызволить можетъ.

— Худа она у тебя вовсе. Въ чемъ погляжу, душа держится? Неравно помретъ—на кого этакая прорва ребятишекъ останется? Ну, и плодущіе жъ вы, жиды, правду про васъ говорятъ, что плодущіе!

— Опять и тутъ Богъ, старикъ. Вѣдь и зидъ—человѣкъ. Какъ ты думаешь: человѣкъ вѣдь зидъ?

— Человѣкъ-то человѣкъ. Только зачѣмъ вы Христа распяли? Вотъ за это Онъ и гоняетъ васъ теперь по бѣлу свѣту!

— А за что же васъ Онъ гоняетъ, коли вы не зиды?

— Насъ? Насъ за грѣхи наши... Охъ-охъ-охъ! Грѣхи наши тяжкіе! Жалко мнѣ тебя, Вороховичъ. Мужикъ ты, я вижу, безхитрошный. Вонъ онъ и русскій, нашъ православный (мотнулъ Николаевъ бородой въ сторону весело разглагольствовавшаго о чемъ-то Китаева), да что изъ того? Продастъ и выдастъ тебя за мѣдную копѣйку. И какъ угораздило тебя съ этакой семьею въ каторгу влопаться?

— За напрашлину, дѣдушка, видитъ Богъ—жа напрашлину. Въ чужую вклепали. И все оттого, что—зидъ. Ограбили церковь въ нашемъ селѣ. На кого подумать? Конечно, на зида. Сдѣлали у меня обыскъ. И нашли платокъ какой-то церковный, воздухомъ зовется... Самъ дьяволъ, видно, подбросилъ намъ! Такъ мы и до сихъ поръ не знаемъ съ Ентой, какъ онъ у насъ очутился. А межъ тѣмъ — улика! Такъ и пошелъ на семнадцать лѣтъ каторги.

— Жаль тебя, коли не врешь. Да! Оно послушать насъ всѣхъ, такъ и ни одного, почитай, виновнаго не найдется... Перминовъ вонъ тоже говоритъ, за правду пришелъ... А ужъ чего тутъ! По глазамъ видно, что либо дѣвку изнасильничалъ, либо разбойный притонъ содержалъ.

— А ты самъ, дѣдушка, за что же попалъ?

— Я-то?.. Положимъ, я-то, дѣйствительно, безъ вины... Да вѣдь кто повѣритъ? Кто повѣритъ? Судъ не повѣрилъ, а ужъ тебѣ-то, али иному-прочему съ какой стати вѣрить? Не люблю я и говорить поэтому зря. Надыть лучше впередъ заглядывать. Какъ бы не вышло потомъ, что и каторгу еще пожалѣешь?

— И очень просто,—подтвердилъ Боруховичъ, тоже любившій порой пофилософствовать.—Правду рушкая пословица говоритъ: что имѣемъ, не хранимъ, потерявши платье!..

Побесѣдовавъ полчаса въ такомъ родѣ, Николаевъ, широко зѣвая и крестя ротъ, и видя, что разговоры начинаютъ притихать по всѣмъ угламъ, тоже направился, наконецъ, къ своему мѣсту. Тамъ онъ разостлалъ на нарахъ узенькій войлочный тюфячокъ, примостилъ въ изголовье мѣшокъ и затѣмъ, горячо помолясь на колѣняхъ и стукнувшись нѣсколько разъ лбомъ о грязный этапный полъ, улегся подъ арестантскую шубу, накрывшись ею по крестьянскому обычаю съ головой. Но сонъ долго не шелъ къ нему.

— О, Господи, Господи, простишь ли слабость нашу?—размышлялъ старикъ съ сокрушеніемъ сердечнымъ.—Не хватило духу съ перваго раза въ винѣ сознаться, такъ ужъ оно и идетъ, такъ и до конца идти будетъ. Вотъ и жидъ этотъ—тоже, надо быть, вретъ. Безпремѣнно онъ это церковь ограбилъ, сказать только боится. Охъ-охъ-охъ! Всякому-то изъ насъ богачества пуще всего хочется, и вотъ пріуготовляемъ себѣ и на землѣ, и на небѣ адъ кромѣшный. Ну, развѣ не адъ это? Хоть меня же взять. Жилъ хорошо, пилъ-ѣлъ, одѣвался, какъ люди, почетъ имѣлъ отъ чужихъ, отъ дѣтей покорность — и вдругъ накось! Въ пучину какую самъ себя вверзилъ! Голова сколько лѣтъ бритая была, на ногахъ бруслеты звякали, промежъ какого народа жить пришлось, чего-чего ни видѣть, ни слышать... Теперь-то, положимъ, все ужъ миновало, на волю иду... Ну, а все ужъ не то, что прежде, будетъ! Родного мѣста никогда не увижу, на чужбинѣ въ униженіи помру, дѣтьми проклятый и забытый... Да. А кусокъ-то хлѣба гдѣ на старости лѣтъ добуду? Коли и есть какія деньжонки въ поясѣ да въ голенищахъ запрятаны, такъ вѣдь на нихъ однихъ вся и надежа теперь... А глоты эти и храпы разные, вродѣ Китаева, асмодеемъ зовутъ. Да будь бы у самихъ у васъ шестьдесятъ три года на шеѣ — что бы вы запѣли тогда? И чудакъ же этотъ Китаевъ: сыми, говоритъ, майданъ. Партія, молъ, большая и съ деньгами составится. Ну, да гдѣ жъ мнѣ, старику, такимъ дѣломъ орудовать? Разоришься только — ничего болѣ. Оно допустимъ, грамотный я, и глаза еще зоркіе имѣю. Особливо мудренаго ничего я тутъ не вижу: картъ нѣсколько колодъ запаси
знай, сколько партій за ночь сыграли, сколько

процентy причитатся... Да нѣтъ! Тьфу-тьфу, прости Господи! Пущай сами сымаютъ, мнѣ и думать-то объ этомъ грѣхъ!..

— —

На другой день послѣ пріемки новой партіи оба номера отворили и арестантамъ позволили размѣститься въ камерахъ по собственному желанію Немедленно изъ большой камеры въ меньшую нахлынула цѣлая толпа тѣхъ, у кого не было тамъ мѣста на нарахъ, и сдѣлалось вездѣ такъ тѣсно, какъ обыкновенно бываетъ тѣсно на этапахъ. И на полу, и даже подъ нарами—вездѣ помѣстился народъ. Шумъ стоялъ невообразимый. Махорочный дымъ, и паръ отъ дыханія людей (несмотря на многолюдство, было довольно холодно) застилали воздухъ съ полу до потолка. Большая партія, пріѣхавшая на пароходѣ изъ-Благовѣщенска, была самаго разносортнаго и разнохарактернаго состава: были въ ней и простые безбилетные, отправлявшіеся по этапу на родину, были и осужденные уже по разнымъ дѣламъ въ каторгу и шедшіе теперь въ рудники; человѣкъ же двадцать должно было еще судиться въ Иркутскѣ. Эта послѣдняя группа, состоявшая изъ людей богатыхъ и нахальныхъ, видимо верховодила въ партіи. Краснорѣчивый разсказчикъ, съ которымъ обратники познакомились вчера сквозь дверную щелку, Красноперовъ по фамиліи, оказался господиномъ лѣтъ тридцати пяти, небольшого роста, съ очень блѣднымъ лицомъ и пронырливыми карими глазками; одѣтъ онъ былъ въ сѣрый пиджакъ съ жилетомъ, на которомъ красовалась золотая цѣпочка безъ часовъ. Онъ также ѣхалъ судиться по дѣлу объ ограбленіи каравана и съ явною гордостью заявлялъ, что ему грозитъ веревка... Пятерыхъ-шестерыхъ товарищей, съ не меньшей гордостью готовившихся къ той же участи, онъ ругалъ за глаза дешевками и язычниками. Между прочимъ, Красноперовъ привелъ съ собой маленькаго мальчика лѣтъ семи, весьма бойкаго и развязнаго, закладывавшаго одну руку въ карманъ брюкъ, а другою неустанно лущившаго кедровые орѣхи.

— Вотъ нашъ Ринальдо-Ринальдини, атаманъ шайки!—громогласно отрекомендовалъ онъ мальчика нашимъ знакомцамъ, Николаеву, Китаеву и другимъ.

Мальчикъ глядѣлъ на всѣхъ смѣло и самоувѣренно, переводя съ одного лица на другое свои пытливые сѣрые глаза, и усѣлся, какъ большой, на нары.

— Чей же это? Сынъ твой, што-ли?—полюбопытствовалъ Николаевъ.

— Нѣтъ, это сынъ знаменитаго еврея Пенто. Помните, того, что нѣсколько лѣтъ назадъ повѣшенъ былъ въ Читѣ вмѣстѣ съ купцомъ Алексѣевымъ за ограбленье почты? Мать-то его за другого теперь вышла, тоже еврея, который ѣдетъ по нашему же дѣлу въ Иркутскъ судиться.

— И этого, надо быть, повѣсятъ?

— Надо быть, что такъ. Вотъ судьба малютки удивительная, а? Двухъ отцовъ имѣть и обоихъ на висѣлицу отправить! И вы не повѣрите, пожалуй, какой развитой мальчишка? Семи лѣтъ еще нѣтъ—и все понимаетъ, какъ взрослый. Онъ у насъ такъ и зовется атаманомъ шайки!

— Выдрать бы его хорошенько—не сталъ бы такъ зваться,— съ негодованіемъ заявилъ Николаевъ.

— Ха-ха-ха! слышишь, Миша, что дѣдушка про тебя говоритъ?

— Руки коротки,—отрѣзалъ атаманъ шайки, нахально поглядѣвъ на дѣдушку и выплюнувъ изо рта орѣховыя скорлупки. — Сегодня въ карты станете играть? — полюбопытствовалъ онъ затѣмъ у своего покровителя.

Но послѣдній отошелъ уже въ сторону съ Китаевымъ, успѣвшимъ завязать съ нимъ близкое знакомство, и теперь держалъ какое-то таинственное совѣщаніе. Нѣсколько минутъ спустя они вдвоемъ подошли опять къ Николаеву.

— Ну, Павелъ Николаевъ! Я не зря совѣтовалъ тебѣ вчера майданъ сымать. Вотъ послушай, что говоритъ человѣкъ.

— Да, я вамъ скажу, что это дѣло, точно, подходящее. Имѣйте въ виду, что еврей Левенштейнъ мѣтитъ въ эту цѣль. Изъ одного этого можете понять, насколько выгодное дѣльце.

— Ну, и пущай его сымаетъ. Мнѣ-то што?.. По мнѣ хоть татаринъ сыми! Я хлѣба отнимать ни у кого не хочу; всѣ мы тутъ безъ отца, безъ матери, всякъ о себѣ промышляй.

— Не въ томъ дѣло, старикъ. А намъ, русскимъ, обидно будетъ, коли жиды всю партію въ свои руки заберутъ. Имѣйте въ виду, ихъ тутъ много. Плохо намъ придется.

— Меня обидѣть никто не можетъ. Буду получать свои кормовыя—и вся тутъ. Ну, а коли ежели такая забота беретъ васъ, такъ сами бы и сымали майданъ.

— Дуракъ ты безмозглый, Николаевъ, истинный дуракъ! Да

кабы у насъ деньги были, неушто бы мы тебѣ предложили? Я тебѣ, какъ земляку, добра хочу. Сколько лѣтъ вмѣстѣ въ Шелаѣ прожили, не грѣхъ бы тебѣ, старому чорту, и постоять за своихъ!

— А съ чего я постою-то? Гдѣ у меня купила-то, чтобъ майданы сымать? Много-ль за него заплатить-то надыть?

— Пустяки. Съ двухъ рублей начнутъ. Ну, догонятъ, быть можетъ, до шести.

— Вона, какой капиталъ нуженъ! Нѣтъ у меня этакихъ денегъ. Да и были-бъ — не купилъ бы. Это говорите вы только такъ, будто партія ваша богатая, а поглядите-ка звона, какіе сенаторы рядомъ со мной улеглись... Шуба-то прямо, небось, енотовая?.. Вшей-то, вшей, я думаю, сколькі!

— Ну, какъ вамъ угодно, была бы честь предложена. У меня самого такія деньги найдутся. Не хотѣлось мнѣ только мараться объ это дѣло. А жиду Левенштейну я всетаки не уступлю, ни за что не уступлю!

И новоиспеченные друзья отошли отъ старика прочь, заронивъ, однако, въ него тревожную думу. Скрестивъ руки на груди, медленной походкой пошелъ онъ въ большую камеру пошататься промежъ народа, прислушаться къ бесѣдамъ и присмотрѣться къ новымъ лицамъ.

Впечатлѣніе отъ этой прогулки вынесъ онъ, повидимому, благопріятное. Народъ, дѣйствительно, казался богатымъ. Нѣсколько разъ въ теченіе дня онъ самъ подходилъ послѣ этого къ Китаеву и заговаривалъ о майданѣ.

— Ты говоришь, Китаевъ, майданъ-молъ... Да вѣдь гдѣ же мнѣ оборудовать такое дѣло, старъ я...

— А чего тамъ орудовать? Сторговалъ, купилъ — и баста. Пойми ты, старый чурбанъ, что никто вѣдь тогда окромя тебя во всей партіи не будетъ въ правѣ ничѣмъ торговать! Одной торговлей вернешь то, что заплатишь. А карты? Ты подумай только, какая игра тутъ пойдетъ. У меня, братъ, заранѣе руки чешутся... Тутъ еврей одинъ есть—прошлую ночь, говорятъ, двѣсти цѣлковыхъ спустилъ и хоть бы поморщился! Еще столько же спустить готовъ. Съ двухсотъ на твою долю двадцать рублей пришлось бы... Вотъ и смекни, дуракъ. Идти-то намъ придется до Верхнеудинска два мѣсяца, а заплатишь ты всего какихъ-нибудь шесть рублей.

Говорится только такъ, что шесть, а хорошо я знаю, что и до всѣхъ десяти догонятъ.

— Ну, да хоть бы и десять. Развяжи мошну-то, аспидъ.

— Нѣту у меня эстолькихъ денегъ, говорю тебѣ—нѣту. Да и то еще: надо вѣдь товарища нанять, помощника.

— И найми.

— Кого наймешь? Тутъ добросовѣстный человѣкъ нуженъ. Вотъ кабы Оська Непомнящій пошелъ, на харчи бы мои поступилъ. А еще бы лучше ты, Китаевъ. Я знаю, что ты подлецъ и мошенникъ; ну, да меня-то, старика, я знаю, не обидѣлъ бы...

— Тамъ видно будетъ... Купи раньше!

— Нѣтъ, ужъ Богъ съ имъ, съ майданомъ... Нѣтъ, нѣтъ! Отойди отъ меня, искушеніе сатанино! Посѣти меня царь Давыдъ и кротость его!

— Запѣлъ опять свое... Да душа изъ васъ вонъ, изъ тебя и изъ Давыда твоего! Тьфу! Пошелъ отъ меня ко всѣмъ дьяволамъ, асмодей бездушный! Пропади ты и съ деньгами своими, издохни на нихъ, песъ смердящій!

— Экую чушь городишь! Экую чушь прешь! — укоризненно качалъ головой Николаевъ и медленно отходилъ еще разъ прочь.

У всякаго свое дѣло и свои заботы. Наиболѣе замкнуто и странно ведутъ себя супруги Перминовы. Оба, видимо, чего-то волнуются, изъ-за чего-то ссорятся, хотя все происходитъ подъ сурдинкой, сора изъ избы не выносится. Мужъ тихимъ шопотомъ дѣлаетъ женѣ какія-то внушенія. Наконецъ, она не выдерживаетъ и ударяется въ слезы.

— Всегда вотъ такъ, всегда такъ... Что-жъ я худого сдѣлала? Знакомый человѣкъ отыскался, почему-жъ было не поговорить? Почему стакана чаю не предложить? Ты же самъ нашелъ какихъ-то знакомыхъ, тоже цѣлый часъ въ томъ нумеру просидѣлъ—я ничего...

Волнуясь, она возвышаетъ постепенно голосъ, привлекая къ себѣ вниманіе публики.

— Цыцъ! — гнѣвно шепчущимъ голосомъ останавливаетъ ее мужъ, глазами точно собираясь ее проглотить и весь дрожа отъ сдерживаемой внутри ярости.

Отъ вниманія Китаева не ускользаетъ эта семейная сцена.

— Ба! глядите, ребята, — кричитъ онъ съ другого конца камеры:—Перминовъ, надо быть, опять свою жену

Ужъ не къ нашему-ль старцу божію? Бѣда бабѣ, да и на! Ночью мѣшками со всѣхъ сторонъ обкладываетъ, какъ бы кто подлѣзть не прихитрился, а днемъ выйти, съ позволенія сказать, одну не пущаетъ. Эй, тетка! Да плюнь ты на него, стараго хрѣна. Мало-ль тутъ молодчиковъ есть почище его. Хоша бы меня взяла—полюбила.

— Да и вѣрно, дяденька, что ревнуетъ... Житья просто не стало,—отзывается вышедшая изъ себя тетка.—Людей-то хоть бы постыдился! Кто ужъ позарится теперь на меня. Пятьдесятъ вѣдь второй годъ...

— Шкура ты, шкура,— рычитъ на нее мужъ, злобно сверкая глазами:—какъ почну я тебя лупить, какъ почну лупить, такъ будешь знать тогда, какъ честная жена должна вести себя!

— А чѣмъ я неладно веду себя?

— А тѣмъ, что со всякимъ проходимымъ готова хвостомъ крутить!

— Гдѣ я хвостомъ-то кручу?

— Тамъ узнаешь гдѣ... Стерьва!

И вслѣдъ за этими словами послышался звонкій ударъ пощечины. Женщина громко зарыдала. Вся камера, какъ одинъ человѣкъ, ополчилась противъ такого самоуправства (единственно потому, конечно, что всѣ единодушно ненавидѣли Перминова); Китаевъ произнесъ даже цѣлую горячую рѣчь въ защиту гуманности вообще и женской слабости въ частности и чуть не полѣзъ въ драку съ Перминовымъ. Наконецъ, послѣдній, плюнувъ въ сердцахъ, ушелъ въ сосѣднюю камеру. Жена же его долго еще сидѣла и плакала. Старикъ Николаевъ подошелъ къ ней съ разспросами. Лицо у нея, не смотря на пятьдесятъ два года, о которыхъ она только что заявила, довольно еще моложавое и миловидное. Повидимому, было время, когда она знала лучшую жизнь. Въ сердцѣ ея, въ этомъ покорномъ и забитомъ сердцѣ, должно быть, много накипѣло злости и протеста: оглядываясь безпрестанно на дверь, скороговоркой и вполголоса, она разсказала Николаеву всю свою жизнь.

— Ты его, дѣдушка, не слухай, что онъ о своемъ благочестіи тебѣ сказывалъ. Разбойникъ былъ, настоящій разбойникъ! И чѣмъ приколдовалъ меня — право, сама не могу въ толкъ взять — ни красивый, ни богатый, ни разумный... Пень пнемъ! Я вѣдь за второго за него вышла. Отъ перваго-то мужа у меня дочка ужъ

взрослая есть. Объ Сашенькѣ-то я пуще всего и крушусь. Что-то теперь съ ней, голубонькой моей, сталось? Хорошенькая-то какая была, кабы ты видѣлъ, деликатная, нѣжная, ровно барышня... Повѣришь-ли: и къ ней-то приставалъ вѣдь тоже, домогался... угрозы дѣлалъ... и меня не стыдился!

— Чего жъ ты не бросишь его, такого варвара?

— Да вѣдь я не вольная... Я вѣдь тоже съ лишеніемъ правъ пришла. Онъ и меня въ эти дѣла свои вовлекъ... Потому какъ я не доносила и укрывала... За это и осудили. Теперь, говорятъ, манафестъ долженъ быть примѣненъ ко мнѣ, да вотъ узнать не могу настоящимъ образомъ—въ какомъ смыслѣ примѣненъ. Самъ-то, надо быть, знаетъ, а мнѣ не говоритъ и у людей спрашивать не даетъ.

— Что-жъ онъ—силой, значитъ, держитъ тебя?

— Угрозами, дѣдушка... Все, вотъ, хочу съ добрыми людьми посовѣтоваться, какъ бы уйти лучше, да никакъ невозможно—сторожитъ. Да еще что вѣдь: хочетъ, чтобъ я и Сашеньку сюда же къ намъ звала!

Но тутъ разсказчица прикусила внезапно языкъ, потому что Перминовъ показался опять въ дверяхъ, подозрительно оглядывая Николаева, который сидѣлъ рядомъ съ женой, румяный и видимо взволнованный.

— Я прошу, вотъ, дѣдушку письмецо къ Сашенькѣ написать,— поспѣшила она объявить мужу съ дѣланной, заискивающей улыбкой.

Перминовъ принялъ тотчасъ же свой обычный медоточивый видъ и началъ просить Николаева сочинить письмо, не откладывая въ долгій ящикъ. Старикъ не заставилъ себя уговаривать и, доставъ листъ сѣрой бумаги, перо и чернила и вооружившись огромными старомодными очками въ черепаховой оправѣ, немедленно приступилъ къ сочинительству. Сперва слѣдовали обычные поклоны всей роднѣ и знакомымъ, затѣмъ обычное же: „Посылаю вамъ, любезная дочь моя Сашенька, материнское свое благословеніе, которое можетъ быть вамъ полезнымъ до гробовой доски“. Дальше расписывались яркими красками прелести и выгоды жизни въ Забайкальской области и, въ заключеніе, предлагался Сашенькѣ совѣтъ бросить неблагодарную родину и ѣхать къ любящимъ родителямъ на новую, болѣе счастливую жизнь.

Старуха все время заливалась слезами, пока писалось письмо, однако такъ и не посмѣла высказать какое-нибудь противор[illegible]

тому, что диктовалъ мужъ. Взглядъ его зеленыхъ глазъ, казалось, усыплялъ въ ней всякую мысль, подавлялъ всякое движеніе ея собственной воли. И Николаевъ не сомнѣвался въ томъ, что мечты ея уйти отъ этого человѣка такъ и останутся навсегда пустыми, несбыточными мечтами...

Только что заперли послѣ вечерней повѣрки корридоръ, оставивъ на этотъ разъ камеры отворенными, какъ кто-то прокричалъ зычнымъ голосомъ, чтобъ всѣ сходились въ одно мѣсто на выборъ артельныхъ чиновниковъ. Арестанты повалили тотчасъ же въ большую камеру, одни движимые общественными инстинктами, другіе—простымъ любопытствомъ. Въ меньшей камерѣ остались на мѣстѣ только Боруховичи, Перминовы да сумасшедшій Бова, неподвижно сидѣвшій въ своемъ углу въ шапкѣ и шубѣ, сучившій какую-то веревку и ворчавшій себѣ подъ носъ разныя заклинанія. Даже 76-лѣтній Тимофеевъ съ своимъ длиннымъ табачнымъ носомъ и клеймомъ на морщинистомъ лбу поплелся вмѣстѣ съ другими. А впереди всѣхъ неспѣшными шагами двигался, въ низко подпоясанной ремешкомъ бѣлой рубахѣ, съ скрещенными на груди руками и нѣсколько насмѣшливой улыбкой, старикъ Николаевъ.

— Ну, что, не надумалъ, асмодей?—хлопнулъ его по плечу суетливый Китаевъ и, не дождавшись отвѣта, побѣжалъ впередъ разыскивать Красноперова. Но Красноперовъ уже самъ заявилъ о себѣ. Взобравшись на нары, онъ закричалъ къ собравшейся толпѣ:

— Не будемъ терять, господа, времени! Что касается старосты, то мы всѣ здѣсь смѣло можемъ увѣрить обратную партію, что лучше прежняго нашего старосты Свистунова желать нельзя. Да и выбирать больше некого.

— Какъ некого? Соколова можно выбрать, а не то Иванова,— послышался чей-то голосъ изъ заднихъ рядовъ.

— Чего тутъ разговаривать? Свистунова оставить! Обратная партія согласна!—заглушила его крикливая глотка Китаева, уже успѣвшаго снюхаться и со Свистуновымъ.

— Свистунова! Свистунова!

— Соколова!

— Ну, такъ, значитъ, рѣшено, господа, оставимъ Свистунова,— заключилъ Красноперовъ, какъ-бы не разслышавшій другихъ го-

лосовъ.—Остается теперь болѣе важное дѣло—продажа майдана. А то насидимся въ дорогѣ безъ чаю, сахару и табаку. Сколько же дадите за майданъ, старики?

Всѣ молчали.

— Я самъ готовъ дать три рубля,—заявилъ тогда Красноперовъ.

— Три рубля! Кто больше?—закричалъ, появляясь вдругъ на тѣхъ же нарахъ и беря въ свои руки бразды правленія, староста Свистуновъ, мужчина атлетическаго сложенія съ розовыми надутыми щеками и длинными рыжими усами.

— Четыре рубля даю,—отозвался красивый брюнетъ съ гладко выбритыми щеками, одѣтый въ черный сюртукъ и сѣрыя клѣтчатыя брюки. Очевидно, это и былъ еврей Левенштейнъ, о которомъ предупреждалъ Красноперовъ.

— Слышите, четыре! Кто больше?

Красноперовъ предложилъ шесть рублей, Левенштейнъ восемь. Послѣ того Красноперовъ замолкъ. Свистуновъ готовился уже выкрикнуть, что майданъ поступаетъ къ Левенштейну, какъ вдругъ съ противоположной стороны, изъ толпы, послышался негромкій и точно охрипшій нѣсколько голосъ, заставившій всѣхъ невольно обернуться:

— Пятьдесятъ копѣекъ набавляю.

— Ба! землячокъ? Это ты?—изумился обрадованный Китаевъ:— не уступай, не уступай, братъ, жиду, поддержи нашихъ!

Всѣ захохотали и протолкали Николаева впередъ къ нарамъ, гдѣ происходила борьба.

— Пятьдесятъ копѣекъ набавляю,—повторилъ онъ еще разъ, откашливаясь, и смѣло взглянулъ на противника своими сѣрыми проницательными глазами.

— Десять рублей даю,—объявилъ Левенштейнъ.

— Пятьдесятъ копѣекъ набавляю! — невозмутимо отозвался Николаевъ.

— Двѣнадцать рублей!

— Двѣнадцать съ полтиной...

— Четырнадцать.

— Четырнадцать съ полтиной...

— Ого-го! Молодчинища старикъ. Не уступаетъ! не робѣетъ!

— Ай, да Павелъ Николаевъ. Знай нашихъ шелайскихъ!

— Да и не уступлю... Вы какъ думали?—пріосанившись, за

явилъ Николаевъ, торжественно оборачиваясь къ толпѣ и вызывая въ ней взрывъ сочувственнаго хохота.

— Значитъ, четырнадцать съ полтиной. Кто больше?

Левенштейнъ совѣтовался съ кучкой товарищей. Рядомъ съ нимъ очутился и Красноперовъ, тоже что-то шепнувшій ему.

— Второй разъ четырнадцать съ полтиной... Кто больше?

— Шестнадцать рублей,—сказалъ Левенштейнъ.

— Шестнадцать съ полтиной, — какъ эхо, откликнулся Николаевъ.

Отъ волненія онъ былъ красенъ, какъ вареный ракъ, но на лицѣ написана была твердая рѣшимость. Китаевъ, въ искреннемъ восторгѣ, то-и-дѣло посылалъ ему громкія одобренія.

— Не робѣй, дружище, катай его! Закатывай!

— А чего думаешь? И не обробѣю!—хвастался расходившійся старичина:—такъ прямо до сотни и стану гнать.

Толпа отвѣтила на эти слова новымъ радостнымъ гоготаніемъ.

— Не старикъ это, а прямо—два съ боку!

Однако, кто-то изъ благоразумныхъ подошелъ къ нему и дружески предупредилъ, что майданъ врядъ-ли стоитъ такихъ денегъ.

— Сказалъ: до сотни гнать буду!—не слушая, крикнулъ Николаевъ и нетерпѣливо махнулъ рукой.

Левенштейнъ пытливо посмотрѣлъ на него.

— Двадцать рублей,—провозгласилъ онъ торжественно.

— Двадцать съ полтиной, —далъ свой обычный отвѣтъ Николаевъ, доводя веселье толпы до истерики.

Левенштейнъ отступился... Свистуновъ ударилъ кулакомъ по нарамъ.

— Майданъ за тобой, старикъ! Половину денегъ, по обычаю, сейчасъ же внеси.

Не успѣла состояться продажа майдана, какъ начали подбираться игроки. Они сошлись въ меньшей камерѣ, гдѣ у одной изъ стѣнъ находилось единственное мѣсто во всемъ этапѣ—казалось, совершенно укрытое отъ зоркихъ глазъ конвойной команды. Тутъ очутились и Китаевъ съ Красноперовымъ, и еврей Левенштейнъ, только что пытавшійся отбить у Николаева майданъ, и много другихъ любителей сильныхъ ощущеній. Стремщикъ стоялъ уже на своемъ посту, и остановка была только за

майданщикомъ, который обязанъ былъ доставить карты, свѣчу и устроить наблюденіе за ходомъ игры. Николаева невозможно было узнать. Куда дѣвались его степенность, солидность, неунывающая безмятежность, которыми еще недавно онъ такъ выгодно отличался отъ арестантской шпанки. Неопытный, совсѣмъ сбитый съ толку, облитый потомъ, ярко разрумянившійся, онъ комично бросался изъ стороны въ сторону, жалкій, безпомощный, какъ мокрая курица, не зная, что дѣлать, съ чего начать. Кобылка безжалостно издѣвалась и острила надъ нимъ. Наконецъ-то удалось ему завербовать себѣ въ помощники татарина Равилова, знавшаго толкъ въ игрѣ и согласившагося наняться за извѣстную плату. Разостлали на полу коврикъ, зажгли сальную свѣчу, стали сдавать карты. Равиловъ прикурнулъ возлѣ играющихъ съ намѣреніемъ записывать число сыгранныхъ партій, отъ которыхъ майданщику шелъ десятипроцентный доходъ. Самъ же Николаевъ, потѣшая собравшуюся толпу любопытныхъ, ходилъ вокругъ, взволнованно ударялъ себя то и дѣло руками по бедрамъ и говорилъ:

— Эвона въ какую бѣду самъ себя втюрилъ! Вотъ драть-то бы кого, стараго дуралея, надо! Не было никакой заботы, лежалъ себѣ на боку, припѣваючи, такъ нѣтъ! Надыть было такую обузу на плечи взвалить. Ну, не диво ли, люди добрые, а? И когда теперь выберешь эти двадцать съ полтиной, а?

— Пропала теперь твоя голова, старикъ!—смѣялись надъ нимъ арестанты:—еще погоди, прикладовъ отъ капитана Петровскаго отвѣдаешь!

— Да неужто?!

Но едва успѣлъ онъ задать этотъ вопросъ, полный самаго неподдѣльнаго и вмѣстѣ съ тѣмъ комичнаго ужаса, какъ произошло нѣчто необыкновенное. Гдѣ-то въ отдаленіи что-то вдругъ звякнуло, точно быстро отбрасываемый дверной засовъ; послышался шумъ проворно улепетывающихъ ногъ; огни сразу вездѣ потухли; арестанты, даже рѣшительно ни въ чемъ неповинные, торопились взобраться на нары, юркнуть подъ халатъ и притвориться спящими. А по корридору бѣжали уже солдаты съ ружьями на перевѣсъ, освѣщаемые фонаремъ дежурнаго и поощряемые чьимъ-то властнымъ окрикомъ:

— Бейте ихъ, мерзавцевъ! Я [illegible] карты!

И вотъ кого-то настигли въ [illegible] звонъ оплеухи,

стукъ приклада и вслѣдъ затѣмъ верещанье точно подхваченнаго зубами псовъ зайца.

— Помилуйте, шпашите!.. Ваше вишкоблагородіе, я не причемъ... Отпустите душу на покаянье!

— Ну, жида нашего поймали, Вороховича,—промолвилъ Китаевъ изъ подъ халата:—въ чужую влетѣлъ!

Истерическій визгъ женщины былъ продолженіемъ сцены: это больная Ента бросилась на помощь къ своему злополучному мужу. Ей отвѣчалъ плачъ проснувшихся ребятишекъ.

— Ты стремщикъ? Ты сторожилъ играющихъ?—кричалъ, топая ногами, офицеръ.

— Никакъ нѣтъ, ваше благородіе, я честный еврей, я по своему дѣлу къ ноцному ушату ходилъ.

— Онъ мой мужъ, ваше благородіе... У насъ большая семья... Мы бѣдные евреи...

— А коли такъ, нечего шляться по ночамъ. Убирайся скорѣй по добру по здорову на нары.

Маленькая, невзрачная фигурка грознаго капитата, въ сопровожденіи цѣлой оравы солдатъ, вооруженныхъ ружьями и фонарями, появилась въ камерѣ. Онъ медленно обошелъ ее кругомъ, пристально вглядываясь въ лежавшія по нарамъ неподвижныя, какъ трупы, фигуры арестантовъ.

— Сразу на всѣхъ сонъ напалъ,—обратился онъ иронически къ солдатамъ:—въ слѣдующій разъ всякаго, кого поймаете на стремѣ или за картами, отводите въ баню.

И съ этими загадочными словами капитанъ Петровскій прослѣдовалъ въ другую камеру. Черезъ четверть часа опять послышался лязгъ запираемыхъ засововъ, и, наконецъ, все смолкло.

Очнувшись отъ временнаго оцѣпенѣнія, арестанты начали мало-по-малу выползать изъ своихъ норъ. Послышались разговоры, сперва робкіе и негромкіе, потомъ насмѣшливые и веселые.

— Антипы проклятые!—завопилъ Журавль.

Китаевъ потѣшался надъ побитымъ Боруховичемъ.

— Что, братъ Мойша? Бока-то саднѣютъ, небось, а?

— Да порядкомъ-таки отдѣлали черти... подъ орѣхъ!

— Ха-ха-ха! каковъ капитанъ? Онъ, братъ, чохъ-мохъ не разбираетъ, лупитъ кого попало. Пардону запросилъ?

— Запросилъ бы и ты... А про какую это онъ баню говорилъ?

— Жаль, тебя не сводили туда. Выпарили бъ тебя тамъ бе-

резовыми вѣниками такъ, что ты и жидовки своей, и жиденятъ не призналъ бы... Вотъ стремщика нашего тоже не мѣшало бы отлупить путемъ. Не зѣвай, подлецъ, коли деньги берешь!

— Ужъ это вѣстимо.

— А гдѣ же, братцы, нашъ майданщикъ? Ужъ не въ баню-ль его отвели, сердечнаго?

— Да не хуже, братъ, бани!—отозвался изъ-подъ халата голосъ Николаева, за которымъ послѣдовалъ взрывъ хохота въ камерѣ:— едва-едва ноги уволокъ... Вотъ жизнь-то себѣ нажилъ, туесъ колыванскій! Знаешь что, Китаевъ? Купи ты у меня майданъ, право слово, купи. За пятнадцать цѣлковыхъ отдамъ, куда ни шло.

— Нашелъ дурака. Ты думаешь, старый колпакъ, Левенштейнъ и вправду хотѣлъ купить? Да мы тебя, аспида, нарочно только раззадоривали, дразнили, какъ индѣйскаго пѣтуха.

— Ой-ли?

— Да вотъ тѣ и ой-ли. Ты, гляди, и въ полгода не выберешь своихъ двадцати рублей при этакихъ строгостяхъ. Что изъ того, что обратная партія? Одно названье только, когда двадцать молодцовъ прямо на вѣшалицу идутъ съ нами.

— Такъ что-жъ дѣлать мнѣ таперича? Эвона въ какую кашу залѣзъ, въ страмъ какой, во тьму кромѣшную! И не стыдно тебѣ, Китаюшка, такъ надъ товарищемъ старымъ надсмѣхаться? Зачѣмъ же ты соблазнялъ меня? Какое я зло тебѣ сдѣлалъ?

— Ничего, не робѣй, старичина. Еще все можно поправить. Ну, что за бѣда, коли и побьютъ разокъ-другой. Смотри, вонъ, на Вороховича: даромъ, что жидъ, а молодецъ мужикъ. Втапоры заблеялъ было, какъ баранъ недорѣзанный, а теперь самъ съ нами же шутитъ. Люблю такихъ людей. Давайте-ка, ребята, опять за работу примемся. Эй, майданщикъ, карты подавай, свѣчку!

— Нѣтъ, ужъ хоть зарѣжьте меня, не двинусь болѣ съ мѣста.

— Врешь, старикъ, обвязанъ. Заставить можемъ!

Но выросшій, точно изъ-подъ земли, Равиловъ уже началъ орудовать. Завѣсивъ окна халатами, чтобы не виденъ былъ со двора свѣтъ въ камерѣ, онъ разостлалъ снова коврикъ, положилъ на него колоду картъ и засвѣтилъ свѣчу. Игроки опять, откуда ни возьмись появились.

А старикъ Николаевъ сидѣлъ на нарахъ, скребъ себѣ рукою затылокъ и все продолжалъ ворчать, укоризненно кивая на самого себя головою.

Жилъ себѣ человѣкъ кремнемъ цѣлые годы—и вдругъ не выдержалъ, прорвался!.. И самому ему какъ-то чудно, словно не вѣрится, что случилась съ нимъ такая проруха...

Длиннымъ поѣздомъ тянется въ сѣрый осенній день семейная партія по пути отъ Стрѣтенска къ Горному Верентую. Пространство въ двадцать-тридцать верстъ, отдѣляющее одинъ этапъ отъ другого и легко проѣзжаемое на самой плохой лошаденкѣ въ четыре-пять часовъ, одолѣваютъ лишь въ десять часовъ, трогаясь въ путь съ разсвѣтомъ и достигая цѣли въ позднія сумерки.

Впереди бряцаютъ, по обыкновенію, цѣпи арестантовъ, идущихъ пѣшкомъ, — болѣе здоровыхъ и молодыхъ членовъ партіи, или же привычныхъ ходуновъ и бѣгуновъ, которыхъ не могутъ угомонить и самые годы. Идутъ они ровно и „хлёстко“, съ трудомъ догоняемые конвоирующими солдатами; а сзади движется черепашьимъ шагомъ длинная процессія двухколесныхъ телѣгъ, гдѣ скучены женщины, дѣти, хилые и убогіе. Что-то невыразимо грустное и жалкое представляетъ собой это монотонное, до ужаса медленное, словно влачащееся движеніе впередъ! И такъ день изо дня, въ теченіе недѣль, мѣсяцевъ, для иныхъ—цѣлыхъ лѣтъ! Пролетаютъ мимо бойкія тройки, проѣзжаютъ обозы, проходятъ люди, а партія, знай, ползетъ, не торопясь, лѣниво, устало, сонливо... Впрочемъ, это не совсѣмъ вѣрно: сама-то партія даже очень торопится. „Кобылка всегда торопится“, съ ироніей говорятъ про себя арестанты; но въ результатѣ вся торопливость ихъ сводится суровой дѣйствительностью на нѣтъ: въ цѣлый день они могутъ пройти не больше одного станка, а каждый третій день пути обязательно должны сидѣть на этапѣ, „дневать“. Да и куда имъ, въ сущности, спѣшить? Въ каторгу идти вѣдь, а не къ родной матери...

Настоящая партія—уже не обратная, а передовая, и изъ всѣхъ знакомцевъ мы можемъ встрѣтить въ ней одного лишь Мойшу Боруховича. Всѣ остальные изъ Стрѣтенска пошли по направленію въ Читѣ—или судиться, или освобождаться на волю, по волостямъ. Мойша идетъ въ самомъ переднемъ ряду партіи, грустно позванивая тяжелыми кандалами. Онъ, какъ будто, еще больше похудѣлъ и осунулся; его клинообразная бородка, какъ будто, стала еще острѣе, глаза еще испуганнѣе и безпокойнѣе, а въ выраженіи

всего лица появилась какая то новая черта—не то ожесточенной рѣшимости, не то полнаго отчаянія. Да и мудрено ли? Двѣ недѣли назадъ, все въ томъ же Стрѣтенскѣ, умерла Ента, его вѣрная жена, мать многочисленнаго семейства, единственная поддержка и опора всѣхъ его надеждъ, плановъ и мечтаній.,. Что же теперь остается ему въ жизни? На что ему вольная команда? Не все ли равно, въ какой тюрьмѣ и сколько лѣтъ жить? Ребятишекъ начальство заберетъ, конечно, въ пріютъ, а самъ Мойша... Кому онъ теперь нуженъ? Что и ему теперь нужно или интересно на бѣломъ свѣтѣ?

Тѣмъ не менѣе, время отъ времени, онъ выбѣгаетъ изъ первыхъ рядовъ партіи и останавливается на дорогѣ, дожидаясь, когда подъѣдутъ отстающія далеко телѣги. Одна изъ подводъ цѣликомъ занята его многочисленными чадами. Пятеро дѣтишекъ, малъ-мала меньше, закутанныя въ шубенки, халатики и всякаго рода тряпье, тѣсно прижимаясь другъ къ другу, громкими криками привѣтствуютъ отца, еще издали замѣтивъ его понурую, высохшую, какъ щепка, фигуру.

— И не штыдно тебѣ, Абрашка, всю дорогу на бѣдѣ *) сидѣть?— строго замѣчаетъ Мойша своему первенцу и будущему продолжателю фамиліи Боруховичей:—вотъ какъ начну я тебя хлестать, такъ побѣжишь ты у меня прытче бѣгунца енисейскаго. Штупай долой!

И Абрашка послушно слѣзаетъ съ подводы и улепетываетъ впередъ, предоставляя свое мѣсто усталому отцу. Мойша важно взбирается на телѣгу, беретъ къ себѣ на колѣни любимицу Рухеню и начинаетъ съ дочерьми бесѣду, ничѣмъ не отличающуюся отъ той, какую велъ онъ съ ними и вчера, и третьяго дня, и какую будетъ вести, по всей вѣроятности, и завтра, если Богъ пошлетъ ему жизни и здоровья.

— Ну, цто, дѣтки? Трудно безъ мамаши жить? Скажите: охъ, трудно, трудно... Пропадать намъ, пожалуй, придется! Ну, пропадать не пропадать, а горя много увидимъ. Ты, Хася, должна теперь хозяйкой и мамашей намъ всѣмъ быть. Ты вѣдь большая ужъ дѣвушка. Пока замужъ не выйдешь и своихъ дѣтокъ не наживешь, обшивай насъ, чини, стряпай, сопли намъ вытирай. Да. Мамаша была такая зенщина, такая зенщина... Нѣтъ, Хася, нѣтъ, Брухэ, никогда не было и не будетъ больше на свѣтѣ такой зен-

*) Двухколесная тѣлѣга называется въ Забайкальи «бѣдою».

щины! Я правду говорю. И вы всѣ должны стараться такими жъ стать, какъ она.

— А скоро, папаса, на этапъ мы придемъ?—спрашиваетъ бойкая рыженькая Сурэлэ.

— Скоро, скоро, доцка. Вотъ эту сопку обогнемъ, такъ и этапъ, говорятъ, будетъ.

— А завтра опять этапъ?

— Завтра опять этапъ.

— А потомъ что?

— Потомъ? Потомъ дневка.

— А послѣ дневки?

— Ну... тамъ опять этапъ.

— А потомъ что?

— Потомъ? Ты шибко проворна, Сурка... Потомъ сама увидишь. Какъ только пріѣдемъ въ Горный Зелентуй, такъ всѣхъ васъ, дѣтоцки, въ пріютъ возьмутъ. Это такой хорошій домъ, такой хорошій, что вы и не видали еще такого... Надѣнутъ на васъ чистые переднички, бѣлые капорчики. Много тамъ и другихъ дѣвочекъ и мальчиковъ съ вами будетъ. Весело, хорошо. Тепло и сытно. Только учиться хорошо надо и начальства слушаться.

— А чѣмъ насъ кормить тамъ будутъ?

— Хорошо кормить будутъ. Хлѣбомъ и говядиной, и щами, и вшѣмъ такимъ.

— И молокомъ тоже?

— Ну, и молокомъ по праздникамъ.

— И цаемъ?

— Вишь, вострука, цего захотѣла! Ну, цаемъ не цаемъ, а березовой каши вдосталь дадутъ.

Среди такихъ разговоровъ время проходитъ незамѣтно, и партія подходитъ, наконецъ, къ этапу. Къ счастію для Мойши, партія не особенно большая и буйная, и добываніе мѣста на нарахъ достается иногда безъ большихъ хлопотъ. Но временами приходится всетаки круто. Этапы между Стрѣтенскомъ и Зерентуемъ одни изъ самыхъ убійственныхъ... Тѣснота, грязь, холодъ имѣютъ мало равныхъ себѣ на протяженіи всего великаго сибирскаго „пути слѣдованія“. Самыя названія у этихъ этаповъ какія-то зловѣщія, заранѣе тревожащія воображеніе: Ундинскіе Кавы̀кучи, Газимурскіе Кавы̀кучи („съ Кавы̀кучей на Кавы̀кучи—глаза повыпучи“, острятъ неунывающіе арестанты насчетъ со-

рокаверстнаго пути между этими этапами). Дальше—Шалопугино, Тайна, Солонцы, Поперечный Зерентуй, Горный Зерентуй, или, какъ называютъ его каторжные, Горькій Зелентуй...

Нѣкоторые изъ этихъ этаповъ таковы, что пребываніе въ нихъ нѣсколькихъ десятковъ человѣкъ въ теченіе долгой ночи подъ замкомъ, на взглядъ каждаго человѣка, способнаго мыслить и чувствовать по-человѣчески, было бы невозможно. Но дѣйствительность, а тѣмъ паче сибирская дѣйствительность по-человѣчески не чувствуетъ и не разсуждаетъ, и невозможное оказывается для нея настолько возможнымъ, что въ эти тѣсные, душные, грязные свинюшники загоняется порой людское стадо въ полтораста головъ! Ворчитъ кобылка, негодуетъ кобылка, даже протестуетъ, вызывая къ себѣ унтеръ-офицера и пытаясь внушить ему идеи человѣколюбія и справедливости; но кончается дѣло, разумѣется, тѣмъ, что кобылка подчиняется своей участи: ее загоняютъ въ свинюшникъ, куда ставится на ночь вонючій ушатъ-параша, и запираютъ на замокъ. Конвой всегда ужасно труситъ и ни за что не соглашается поставить ушатъ въ корридорѣ, хотя бы и съ часовымъ возлѣ двери. Замокъ представляется дѣломъ болѣе надежнымъ: въ караульномъ домѣ тогда хоть всю ночь играй въ карты, арестанты не кинутся „на ура“, не разбѣгутся, не перебьютъ солдатъ. Куда и зачѣмъ побѣгутъ арестанты въ зимнее или осеннее время, холодной, темной ночью, когда вокругъ этапа высятся еще грозныя пали, охраняемыя наружными часовыми? Въ тайнѣ души всякому ясно, что страхи эти—однѣ пустыя фантазіи, но оффиціально считаютъ нужнымъ относиться къ нимъ самымъ серьезнымъ образомъ.

Уже смеркается, когда партія, голодная и иззябшая, прибѣгаетъ на одинъ изъ подобныхъ этаповъ. Съ неизбѣжной перебранкой, безтолковщиной, а подчасъ и дракой арестанты размѣщаются въ отведенномъ имъ стойлѣ. Боруховичу съ чадами (бываютъ и такіе случаи) достается мѣсто на полу подъ нарами, возлѣ самой параши, гдѣ холодный воздухъ всякій разъ, какъ растворяется дверь, обдаетъ ихъ, точно ледяной душъ. Всѣ дѣтишки страшно кашляютъ, и не будь у нихъ предварительной многолѣтней закалки, конечно, давно бы уже на смерть простудились. Но слава Богу, что хоть и такое-то мѣсто отыскалось: сегодняшній этапъ всѣмъ этапамъ слава и образецъ! Въ маленькой каморкѣ народу набилось, точно сельдей въ бочкѣ. Страшно

поглядѣть, что происходитъ тамъ, въ глубинѣ: лязгъ цѣпей, сопровождаемый не менѣе страшной бранью, визгливые крики женщинъ, плачъ дѣтей, тѣло на тѣлѣ, голова надъ головою... Ужасающая духота и жара вверху, холодъ и сырость, соединенные съ невыносимымъ смрадомъ, внизу подъ нарами, гдѣ тоже копошатся въ темнотѣ живыя существа, масса дѣтей, мужчинъ, женщинъ...

— А намъ вѣдь, дѣтоцки, пофартило сегодня, что мы у дверей захватили мѣсто,—пробуетъ утѣшить себя и ребятишекъ глубокомысленный Боруховичъ:—тамъ задохнуться можно, право слово, можно... А здѣсь ничего, вольготно...

Дѣтишки просятъ есть, но еще не выданы кормовыя. Пройдетъ добрыхъ два часа, пока староста получитъ ихъ, наконецъ, отъ унтеръ-офицера и раздѣлитъ партіи. Мойшѣ удается купить у торговокъ нѣсколько прѣсныхъ шанегъ съ творогомъ и картошкой, вскипятить котелокъ съ водой и заварить въ немъ кирпичнаго чаю. Послѣднее достается, впрочемъ, цѣною крупной перебранки съ арестантами и даже двухъ-трехъ толчковъ въ грудь, такъ какъ у единственной печки толпится куча народу, и за каждый уголокъ идетъ борьба чуть не на жизнь и смерть.

— Куда лѣзешь, жидъ пархатый? Развѣ не видишь, тутъ прежде тебя люди стоятъ?

— А цто жъ, я развѣ не человѣкъ? Мои дѣти не такія жъ, какъ твои? Такъ же пить-ѣсть не хотятъ?

— Ахъ ты, чувырло жидовское! Туда же разговаривать! Туда же въ человѣки лѣзетъ!

Но Мойша не сдается и упорно отстаиваетъ свои права человѣка. На колотушки онъ вниманія не обращаетъ, на брань—того меньше. Вотъ его „дѣтоцки“ напоены, накормлены. Маленькія уже прикурнули и спятъ, сплетясь другъ съ другомъ ручонками и закутавшись во всевозможное арестантское барахло́, старшіе же еще копошатся, приводя въ порядокъ разныя хозяйственныя принадлежности. Въ сознаніи честно исполненнаго за сегодняшній день долга, самъ Боруховичъ лежитъ, развалившись на шубѣ, и мечтаетъ. О чемъ онъ мечтаетъ? Объ умершей женѣ, о счастливомъ прошломъ, о дѣтяхъ, о предстоящемъ имъ будущемъ? Или просто прислушивается къ разноголосымъ звукамъ, несущимся изъ того кромѣшнаго ада, который представляетъ собою камера? Нерѣдко, лежа на спинѣ и заложивъ руки за го-

лову (любимая его поза во время этихъ вечернихъ отдыховъ), онъ напѣваетъ вполголоса какую-то длинную, монотонную, заунывную арестантскую пѣсню, единственную, которую онъ знаетъ, и въ которой можно разобрать только одинъ часто повторяющійся стихъ:

Шудьба моя нешчашная...

— Эй, жидъ!—кричитъ ему кто-то изъ темноты подъ нарами:— не эту ль пѣсню вы пѣли, какъ изъ земли египетской васъ выгоняли?

— А ты фараономъ былъ тогда, цто ли? — бойко огрызается Боруховичъ и иногда, въ знакъ высшаго презрѣнія, прибавляетъ какъ бы про себя, любимую свою поговорку:—тозе, видно, корова и тозе издохнуть хочетъ.

— Вишь, гадина, еще и лается,—отвѣчаетъ неизвѣстный, особенно почему-то обиженный названіемъ фараона.—А слыхали ль вы, братцы, какъ жиды промежъ себя ругаются? Я слыхалъ. Одинъ говоритъ другому: „Чортъ побери твоего батьку!“ А тотъ отвѣчаетъ: „Врешь, дѣдку твоего!“ Первый ему: „И отца, и дѣда, и прадѣда твоего дѣда!“ Тогда другой озлится и кричитъ: „Я хочу, чтобъ у тебя былъ домъ, и въ этомъ домѣ было сорокъ комнатъ, и въ каждой комнатѣ по сорока кроватей. И пусть тебя сорокъ дней трясетъ лихоманка, такая, чтобъ перебрасывало тебя съ кровати на кровать, изъ комнаты въ комнату“. Вотъ какъ, ребята, жиды бранятся.

— Ну, спи, дьяволъ!—толкаетъ разсказчика жена, и подъ нарами водворяется безмолвіе.

Наконецъ, показался и Горный Зерентуй, конечная цѣль пути партіи. Поднявшись на гору, арестанты увидали въ отдаленіи бѣлую каменную тюрьму и большую прилегающую къ ней деревню съ церковью по срединѣ. У каждаго невольно сжалось сердце отъ смѣшаннаго чувства радости, что окончились долговременныя мытарства этапнаго путешествія, и вмѣстѣ тревоги за близкое, но невѣдомое будущее. Вотъ она, каторга! Какова-то она? Лучше или хуже дороги? Ну, никто какъ Богъ, вездѣ люди.

Для Боруховича каторга не была новостью, онъ переволился только изъ одной тюрьмы въ другую. Тѣмъ не ме сердце забилось въ груди сильнѣе... Одни дѣтиш

вали ни малѣйшей тревоги и радостно указывали другъ другу на ярко бѣлѣвшія стѣны централа. Они столько наслышались о Горномъ Зерентуѣ, родители ихъ столько мечтали о переводѣ въ эту тюрьму, что она представлялась ихъ воображенію чѣмъ-то въ родѣ земного рая, или по меньшей мѣрѣ такого мѣста, гдѣ не будетъ больше ни холода, ни голода.

Пѣшіе арестанты прибавили ходу; лошади, почуявъ близость стойла, заржали и побѣжали веселой рысцой. Вотъ потянулись уже и дома чиновниковъ тюремнаго вѣдомства, почтовая контора, каторжное управленіе; вотъ, наконецъ, и самая тюрьма, большое, красивое, чистое зданіе, ослѣпительно сіяющее своей бѣлой каменной оградой. Точно не тюрьма, а какой-то фантастическій замокъ рыцарскихъ временъ съ башнями, амбразурами, рвами, подъемными мостами... Все ново, невиданно для глаза, привыкшаго къ грязи и неприглядности сибирскихъ этаповъ. Партія остановилась у воротъ въ ожиданіи пріемки.

Явился помощникъ смотрителя, молодой еще человѣкъ небольшого роста, круглый, плотный, привѣтливый и, видимо, беззаботный по части службы. Принималъ онъ быстро, читая по списку фамиліи арестантовъ, прибавляя къ нимъ по временамъ безобидныя остроты и дѣлая бѣглый осмотръ казеннымъ вещамъ. Мужчинъ надзиратели уводили по одиночкѣ въ ворота тюрьмы, женщинъ съ дѣтьми пускали въ вольные бараки, а нѣкоторыхъ изъ ребятишекъ тутъ же заносили въ списокъ кандидатовъ на помѣщеніе въ пріютѣ. Дошла очередь и до Боруховича.

— Ну, братъ, ты двадцатилѣтній? За ворота! Тюремный житель!—улыбаясь, прокричалъ ему помощникъ.

— А дѣтишекъ моихъ въ пріютъ отошлете?—робко спросилъ Мойша, подобострастно держа въ рукахъ шляпу и склонивъ бритую голову.

— Какихъ дѣтишекъ?

— А вотъ этихъ самыхъ, пятерыхъ... Сынъ Абрамъ, одиннадцати лѣтъ, и четыре дѣвоцки: десяти, восьми, шести и четырехъ лѣтъ.

— А мать гдѣ?

— Мать на томъ свѣтѣ. Дорогой померла.

— Вотъ такъ фунтъ! Какъ же быть? — смутился безпечный чиновникъ:—сразу нельзя вѣдь въ пріютъ ихъ отправить... Да постой братъ, постой: ты еврей?

— Еврей, ваше благородіе.

— То-то, я смотрю, языкъ будто недоклепанъ, — обрадовался помощникъ, точно отыскавъ вдругъ желанный исходъ: —Ну, такъ дѣтей твоихъ, братецъ, въ пріютъ не примутъ.

— Какъ не примутъ?

— Да такъ. Приказъ получился отъ попечителя пріюта, чтобъ еврейскихъ дѣтей былъ извѣстный только процентъ; а ихъ и такъ ужъ незаконное число. Какъ же быть? Эй, Трофимовъ! — обратился онъ къ одному изъ надзирателей:—бѣги, паря, сейчасъ же къ смотрителю, скажи, что я прошу по важному дѣлу. Ну, а ты, голубчикъ, ступай въ тюрьму, нечего тебѣ тутъ больше дѣлать.

— Ваше благородіе, какъ же я пойду? Дозвольте дождаться господина смотрителя. Пусть вырѣшитъ дѣло.

Помощникъ не сталъ противорѣчить и, отвернувшись отъ Боруховича, продолжалъ пріемку другихъ арестантовъ. Полчаса спустя изъ-за угла тюрьмы появился, ступая медлительными шагами и опираясь на палку, самъ смотритель тюрьмы, солидный господинъ съ окладистой черной бородой и непривѣтливымъ взглядомъ изподлобья. Еще не приблизился онъ и на тридцать шаговъ къ партіи, какъ надзиратель громко прокричалъ:

— Смирно, шапки долой!

Помощникъ быстро подошелъ къ смотрителю, сдѣлалъ подъ козырекъ, отдалъ рапортъ и объяснилъ, почему счелъ нужнымъ потревожить его.

— Еврейскихъ ребятишекъ никакъ нельзя принять,—отвѣчалъ тотчасъ же чернобородый господинъ, искоса взглянувъ на униженно стоявшаго передъ нимъ Боруховича и на его сомкнувшихся въ сторонѣ тѣсною кучкой дѣтей. Мойша повалился въ ноги.

— Ваше вишкоблагородіе, ваше!.. Куда зе ихъ теперича? Малютки!..

— Встань, встань, чтобъ этого не было... Я не Богъ и не царь,—оборвалъ его смотритель.—Да и вы всѣ, — обратился онъ къ шпанкѣ, будто сейчасъ только замѣтивъ обнаженныя у всѣхъ головы:—шапки надѣть.

— Ваше вишкоблагородіе, какъ зе теперича?..

— А такъ же, что не разговаривай и ступай въ тюрьму.

— А дѣти?..

— А что жъ я могу сдѣлать? Къ себѣ, что-ль, на носъ посадить? Нельзя принять въ пріютъ. Законъ!

— Не доложить-ли развѣ завѣдующему. каторгой? — несмѣло вставилъ помощникъ смотрителя.

— О чемъ?

— Да вотъ о дѣтяхъ... Что, молъ, на улицѣ... Отецъ въ тюрьмѣ, мать умерла.

— Завѣдующій каторгой еще вчера утромъ сдѣлалъ замѣчаніе, что въ пріютѣ уже цѣлыхъ девять еврейскихъ мальчиковъ. Скоро весь пріютъ жиденята заполонятъ.

— Такъ какъ же быть?

— Да такъ же и быть! Мы не въ богоугодномъ заведеніи съ вами служимъ. Извольте дѣлать свое дѣло. Надзиратели, отведите арестанта въ тюрьму!

Два надзирателя немедленно бросились исполнять приказаніе начальства и хотѣли, было, потащить Боруховича; но онъ точно обезумѣлъ: съ силой вырвался изъ ихъ рукъ и посмотрѣлъ вокругъ съ такимъ грознымъ видомъ, что надзиратели остановились...

— Какъ, ваше благородіе?—закричалъ онъ, кидаясь снова къ смотрителю, который попятился на два шага и инстинктивно вытянулъ впередъ палку.—Какъ! еврейскія дѣти развѣ щенята, что ихъ на морозъ можно выкинуть, безъ матери, безъ отца оставить? Они развѣ пить-ѣсть не просятъ, не плачутъ, какъ другія дѣти? Евреи совсѣмъ не люди? Нѣтъ! Я не пойду въ тюрьму, я не брошу ихъ на улицѣ—лучше убейте меня, прикажите солдатамъ застрѣлить меня... Или души во мнѣ нѣтъ, что я кровь свою покину, шкуру спасаючи? Господа начальники! и надъ вами Богъ... И вы—люди...

Странное что-то случилось съ Боруховичемъ. Онъ говорилъ не такъ, какъ всегда, робко и приниженно, а властно, торжественно, даже противъ обыкновенія почти не пришепетывая, голосомъ, полнымъ слезъ и проникающимъ въ самую душу... И лицо его словно преобразилось въ эту минуту: исчезъ тотъ смѣшной Мойша Боруховичъ, котораго всѣ передъ тѣмъ знали и видѣли, маленькій человѣчекъ съ клинообразной бородкой, остренькимъ носикомъ, бѣгающими глазками и внушающей жалость фигурой. Спина его какъ-то вдругъ распрямилась, загорѣвшіеся глаза странно расширились, и все лицо сдѣлалось инымъ, внушительнымъ, почти красивымъ...

Къ общему удивленію, смотритель, вмѣсто того, чтобы выйти

изъ себя, раскричаться, слушалъ его рѣчь какъ-то смущенно и растерянно...

— Да я что-же?.. Экой ты, братецъ... Я бы и радъ вѣдь...— бормоталъ онъ, безпомощно озираясь вокругъ.

Въ эту самую минуту сквозь толпу протолкался высокій костлявый старикъ съ длинной, сѣдой бородой, въ простой арестантской одеждѣ, но съ необыкновеннымъ достоинствомъ въ лицѣ и во всѣхъ движеніяхъ. Это былъ еврей-вольнокомандецъ, ювелиръ и часовщикъ по профессіи, пользовавшійся въ мѣстномъ населеніи большой извѣстностью и даже уваженіемъ. Онъ давно уже стоялъ возлѣ тюрьмы, видѣлъ всю сцену съ начала до конца и, сильно взволнованный, принялъ теперь внезапное рѣшеніе.

— Ты чего, Гольдбергъ? — обратился къ нему смотритель, точно отъ него ожидая спасенія.

— Я беру къ себѣ на воспитаніе двухъ малютокъ!—объявилъ старикъ, хватая за руку своего злополучнаго соплеменника.

— Ну, вотъ и прекрасно,—обрадовался смотритель:—мальчугана я, пожалуй, къ себѣ возьму... Мнѣ разсыльный мальчишка, какъ разъ, нуженъ.

— Я тоже возьму самую маленькую дѣвочку,—добавилъ молодой помощникъ, весь зардѣвшись, какъ піонъ: — у насъ дѣтей нѣтъ, и жена будетъ очень рада.

— Еще лучше. Значитъ, одна только дѣвчонка остается. Вотъ ежели ты, Гольдбергъ, согласишься взять двухъ середнихъ, такъ старшую, навѣрное, Оладьины возьмутъ—имъ нянька нужна для ребенка. Ну, и все дѣло устроится. А то шумъ подняли не вѣсть изъ чего, изъ-за выѣденнаго яица! Такъ-то оно всегда лучше выходитъ, по-человѣчеству... Ну, вы кончили съ пріемкой, Павелъ Яковлевичъ? Ты... какъ, бишь, тебя зовутъ?.. дурья ты голова... Жидъ—такъ онъ жидъ и есть! Ты прощайся скорѣй со своимъ кагаломъ и маршъ въ тюрьму. Давно пора. На дворѣ темно совсѣмъ, и конвою надо отдохнуть.

И съ этими словами смотритель сурово повернулъ къ дому; но, отойдя нѣсколько шаговъ, вдругъ пріостановился и, въ полоборота, крикнулъ:

— А ты, малецъ,—какъ тебя тамъ,—за мной ступай!

Между тѣмъ Мойша, весь обезсилѣвшій и дрожавшій, какъ въ лихорадкѣ, безъ счета цѣловалъ холодныя личики дѣтей, перепуганныхъ, еще смертельно блѣдныхъ послѣ только что пережитой,

мало понятной имъ, но страшной сцены. Они прощались съ отцомъ какъ-то машинально, тупо, безъ слезъ. Наконецъ, Мойша взвалилъ свой мѣшокъ на плечо и тихо поплелся къ воротамъ тюрьмы, въ которыхъ и скрылся, ни разу не оглянувшись назадъ.

И такъ былъ онъ опять жалокъ, некрасивъ и смѣшонъ въ своемъ бѣдномъ арестантскомъ одѣяніи, съ мѣшкомъ казенныхъ вещей на согнутой спинѣ!..

СРЕДИ СОПОКЪ.

Въ тряской одноконной таратайкѣ я сижу рядомъ съ надзирателемъ и плетусь легкой рысцой изъ Горнаго Зерентуя въ Кадаю *), куда назначенъ въ такъ называемую вольную команду. Надзиратель, впрочемъ, совершенно безоруженъ и приставленъ ко мнѣ лишь въ качествѣ проводника; онъ везетъ, кромѣ того, мои бумаги для врученія ихъ кадаинскому смотрителю.

Какъ будто справляя праздникъ моего освобожденія, и солнышко привѣтливо глядитъ сегодня съ неба, все послѣднее время закрытаго холодными, сѣрыми тучами... Надъ головой ни облачка; такое ясное, синее, ласковое это чудное осеннее утро! Невольно забываешь, что на дворѣ уже поздняя осень (первые числа ноября), и чудится дыханіе теплой, обворожительной весны. Но почему же на душѣ такое странное, неясное чувство, похожее на грусть? Не то радостно и легко, не то жаль чего-то невыразимо, и хочется смѣяться дѣтски-безпечнымъ смѣхомъ, и горькія слезы подступаютъ къ горлу, душатъ и жгутъ...

Монотонно-величавыя, печальныя картины встрѣчаетъ повсюду глазъ на 36-ти верстномъ пути отъ Горнаго Зерентуя до Кадаи. И позади, и впереди, и по обѣимъ сторонамъ извилистой дороги, куда только проникаетъ взоръ, раскинулось море сопокъ—конусообразныхъ возвышеній, точно капли воды похожихъ одно на другое и видомъ своимъ пробуждающихъ въ душѣ пришельца-чужанина тоскливое, болѣзненно-тревожное настроеніе. Точно желѣзнымъ кольцомъ охватили горизонтъ ихъ унылыя, оголенныя громады съ пожелтѣлой травой и побурѣлымъ кустарникомъ, и нѣтъ имъ конца, нѣтъ числа... Цѣлое войско сопокъ—толпа за

*) Слово Кадая произносится съ удареніемъ на слогѣ «я».

Прим. авт.

толпой, гряда за грядой; онѣ выглядываютъ со всѣхъ сторонъ, тѣснятся, взбираются одна на другую; а тамъ, на краю неба, причудливыя очертанія горъ слились съ кудрями выплывающихъ изъ-за нихъ облаковъ и утонули въ голубоватомъ туманѣ осенняго утра... Ни ручейка, ни деревца кругомъ! Краски поблекли, звуки жизни замерли... Задумаешься—и кажется, будто плывешь по огромному сказочному океану: зеленожелтыя волны его поднялись и заснули волшебнымъ сномъ, окаменѣвъ въ исполинскомъ взмахѣ!..

— Какъ скучно у васъ!—обратился я, наконецъ, къ спутнику, прерывая тягостное молчаніе. — Въ Шелаѣ сопки хоть лѣсомъ покрыты, а здѣсь—пустыня, смерть...

— Что это вы такъ ремизите нашу восточную Даурію? отвѣтилъ надзиратель, желая видимо блеснуть передо мной образованностью:—поживите—авось и слюбится. Вотъ посмотрите ужо, что весной тутъ у насъ пойдетъ! Куда вашей Расеѣ выстоять!

— А вы бывали въ Россіи?

— Не удалось, положимъ, однако по книжкамъ все же знаемъ, да и отъ расейскихъ людей слыхивали. Мѣста у васъ ровныя, пашни все да лѣсочки—что въ этомъ можетъ быть пріятнаго?

— А что жъ такое у васъ тутъ весной „пойдетъ“?

— Первоначально палы̀ пойдутъ... Для нашего брата, крестьянъ,—оно точно—штука это опасная, ну, а ежели красоты природы искать, такъ доложу вамъ—первый сортъ!

— Какіе это палы̀, объясните, пожалуйста.

Оказалось, травяные пожары. Зажжетъ какой-нибудь прохожій сухую прошлогоднюю траву, и огонь неудержимо начнетъ разливаться вокругъ. Великолѣпное зрѣлище представляется тогда въ ночной темнотѣ; за десятки верстъ уже различаешь блестящее зарево, а горящія ближе сопки, эффектно перекидывая съ мѣста на мѣсто гигантскіе огненные языки, производятъ по истинѣ жуткую иллюзію огнедышущихъ вулкановъ...

— А потомъ цвѣтовъ у насъ какое множѐство!—продолжалъ разговорившійся патріотъ-надзиратель,—врядъ-ли въ другомъ гдѣ мѣстѣ столько сыщете. Сперва пойдетъ ургуй... Снѣгъ не успѣлъ еще стаять, а онъ ужъ, глядишь, красуется по солнопекамъ. Потомъ марьины коренья пойдутъ...

— Ѣдятъ ихъ, что-ли?

— Зачѣмъ ѣдятъ! Тоже цвѣты... Распустятся, ровно чашки

большія, бѣлыя, розовыя. Все поле бѣлѣетъ. Духъ отъ ихъ сладкій-сладкій стоитъ! А опять тоже долинки есть—ландышемъ гольнымъ усѣяны. Ну, и сарана тоже браво цвѣтетъ, богульникъ... Ежели вы охотникъ, такъ и для птицы лучшихъ мѣстовъ по всей Сибири, можетъ, не сыщете: утокъ, рябчиковъ, косачей у насъ видимо-невидимо. А что до пѣсенъ касается, такъ отъ однихъ жаворонковъ здѣсь въ лѣтнюю пору прямо стонъ стоитъ! Кукушкамъ счету нѣтъ. Просто надоѣдятъ проклятыя: что ни сопка—то своя кукушка, такъ и перекликаются, такъ и перебиваютъ другъ дружку. Весной и лѣтомъ у насъ браво!

Короткій день умиралъ, когда, переѣхавъ рѣчку Борзю, мы достигли, наконецъ, цѣли поѣздки. Глазамъ нашимъ представилась довольно большая деревня въ три длинныхъ, параллельныхъ одна другой, улицы; но расположилась Кадая въ такой узкой, мрачной котловинѣ, съ обѣихъ боковъ ее охватили такія грозныя горныя громады, что производитъ она впечатлѣніе чего-то жалкаго, забитаго, немощнаго... Правая сторона деревни возвышенная—она примыкаетъ къ тѣмъ самымъ сопкамъ, гдѣ помѣщается богатый серебряными залежами рудникъ; лѣвая, напротивъ, представляетъ низкую, болотистую долину, но за этимъ узкимъ болотомъ почти отвѣсной стѣной поднялся гигантъ-утесъ, господствующій надъ всей окрестностью. Онъ, словно, виситъ въ воздухѣ и грозитъ упасть и похоронить подъ своими развалинами пріютившееся у его ногъ селеніе. Да тутъ и въ дѣйствительности былъ когда-то обвалъ, быть можетъ, даже искусственный: объ этомъ свидѣтельствуетъ голый, неровный бокъ утеса, обращенный къ деревнѣ, и груда лежащихъ внизу глыбъ и осколковъ гранита. Пустыней и холодомъ вѣетъ отъ этой полуразрушенной, но все еще неприступной твердыни. Я невольно поглядывалъ на нее все время, пока мы ѣхали вверхъ по деревнѣ, направляясь къ тюрьмѣ.

— А, вонъ, видите тамъ кресты?—спросилъ надзиратель, указывая влѣво отъ утеса на небольшой холмикъ.

Я ничего не могъ различить въ наступавшихъ сумеркахъ.

— Кладбище, что-ли?

— Нѣтъ, крестьянское кладбище тамъ вонъ, на другой сторонѣ деревни. А здѣсь поляки похоронены.

— Какіе поляки?

— Преступники... Ихъ вѣдь тутъ дивно было. И — однако, и русскій одинъ, Михайловъ.

— Михайловъ?..

Мнѣ сразу вспомнилось, что именно въ этихъ мѣстахъ жилъ и умеръ извѣстный поэтъ и публицистъ 60-хъ годовъ, талантливый переводчикъ стихотвореній Гейне, Михаилъ Ларіоновичъ Михайловъ. Вспомнилось и то, что въ Кадаинскомъ же рудникѣ жилъ одно время и еще болѣе знаменитый авторъ „Очерковъ гоголевскаго періода"... Я съ живостью началъ разспрашивать словоохотливаго собесѣдника о тѣхъ временахъ и о тѣхъ людяхъ, но оказалось, что онъ и самъ ровно ничего не зналъ, кромѣ именъ и голыхъ фактовъ.

— Навѣрное, тутъ старики отыщутся, которые все вамъ окончательно обскажутъ,—утѣшилъ онъ меня, видя мое любопытство и огорченіе.

Напрягая зрѣніе, я продолжалъ вглядываться въ сѣрую вечернюю даль, и мнѣ вдругъ стало казаться, что я тоже вижу на вершинѣ одного изъ холмовъ какой-то высокій шестъ... Сердце мое учащенно забилось, голова сама собой поднималась выше при мысли, что эти мѣста, гдѣ суждено теперь жить мнѣ, безвѣстному скитальцу, отмѣчены жизнью людей одной изъ замѣчательнѣйшихъ эпохъ русской исторіи, и какихъ людей! И губы мои невольно шептали стихъ изъ извѣстнаго посланія поэта къ друзьямъ:

Въ безотрадной мглѣ изгнанья
Буду твердо свѣта ждать...

Я и не замѣтилъ, какъ мы подъѣхали къ квартирѣ смотрителя Кострова. Послѣдній не заставилъ себя ждать и почти тотчасъ же выбѣжалъ въ переднюю, въ туфляхъ и пестромъ домашнемъ халатѣ съ кистями. Это былъ небольшого роста бритый господинъ среднихъ лѣтъ съ толстымъ отвислымъ животомъ и круглымъ добродушнымъ лицомъ, нѣсколько неестественно зарумяненнымъ. Изо рта его пахло не то лукомъ, не то чѣмъ-то болѣе подозрительнымъ...

— Ага! —весело закричалъ, увидавъ насъ, Костровъ,—это ты, Егоровъ? А я вчера еще тебя ждалъ.

И, подавъ руку надзирателю и мнѣ, онъ ввелъ насъ въ просторную, высокую комнату, блиставшую почти полнымъ отсутствіемъ мебели; за то небольшой столикъ въ углу былъ весьма уютно уставленъ всякаго рода графинами и закусками.

— Не желаете ли, господа, съ дороги по стаканчику отечественной пропустить? Вотъ садитесь сюда. На холостую ногу

живу—видите, какая пустота кругомъ? Только вотъ на этотъ счетъ (толстякъ, смѣясь, похлопалъ себя по животу) я ужъ пустоты не люблю... Сейчасъ у меня мальцевскій смотритель въ гостяхъ былъ, ну, такъ мы немножко того... Вы не встрѣтились?

Отказавшись отъ водки, я съ любопытствомъ присѣлъ на стулъ. Костровъ продолжалъ болтать, обращаясь ко мнѣ:

— Давненько не бывало въ нашихъ палестинахъ вродѣ васъ арестантовъ. Все, знаете, шпана! Такіе, я вамъ скажу, артисты, что только карцеромъ да розгой и можно сладить.

— Какъ, вы еще вѣрите въ розгу?—полюбопытствовалъ я.

— Ну, батенька, пожили бы вы съ этимъ народомъ!

— Я жилъ.

— Э, ваша жизнь была особь статья... Нѣтъ, вотъ дать бы вамъ подъ начало сотни три или четыре такихъ жоховъ, да высшее начальство спрашивало бъ съ васъ порядка въ тюрьмѣ, да успѣшности въ работахъ, такъ другое бъ тогда, небось, запѣли. Поняли бы, что значитъ въ шкурѣ смотрителя посидѣть! Особливо же эти чортовы бабы меня донимаютъ, медвѣдь ихъ задери, сволочей!.. Вы ужъ извините меня... Но скажите, пожалуйста: ну, что я возьму съ нея за грубость или тамъ за другое какое художество? Сѣчь-то вѣдь запретили теперь ихнюю сестру... Ха-ха-ха! человѣколюбіе теперь у насъ пошло въ ходъ, просвѣщеніе... Но я откровененъ съ вами буду: искренно, вотъ передъ образомъ говорю—искренно жалѣю объ этомъ, хоть и боюсь прослыть... Какъ это, бишь, зовется? рети... ренегатомъ, что-ли? Помилуйте, господа! въ кандалы я тутъ одну даму принужденъ былъ заковать,—знаете, за развратъ... Такъ она, какъ вы думаете, какую пулю въ глаза мнѣ отмочила? „Плевать мнѣ, говоритъ, на твои кандалы! Свое я и въ кандалахъ возьму“. Понимаете?! Ну, вотъ что вы подѣлаете съ этакой безстыдной твариной, ксгда ее высѣчь, паскуду, нельзя?

— Но развѣ всѣ такія?—попробовалъ я вставить.

— Подъ конецъ всѣ такими становятся, ужъ не защищайте, пожалуйста. Да ты, знаешь, Егоровъ, Машку-то Дергунову?—обратился онъ вдругъ къ приведшему меня надзирателю: — она вѣдь опять у меня въ карцерѣ сидитъ.

— Все не можете дурость-то изъ башки выгнать?—участливо освѣдомился Егоровъ.

— Нѣтъ, вы подумайте только,—входя въ пущій азартъ, снова

повернулся ко мнѣ Костровъ:—она, сволочь, ругать меня смѣетъ... Смотрителя каторжной тюрьмы!

— Въ глаза?—спросилъ я.

— Ну, этого еще не доставало... Да я и по сусаламъ бы съѣздилъ! Но мнѣ передаютъ, всѣ вѣдь знаютъ, кобылка слышитъ...

— Да вѣдь есть пословица: за глаза...

— Ну, нѣтъ-съ, я не спущу! Чтобы смотрителя тюрьмы... какая-нибудь дѣвка каторжная?.. Она думаетъ, видите ли, что коли рожица смазливая да языкъ бритва, такъ ей и самъ чортъ не братъ? Нѣтъ, шалишь. Пока ты была хороша—и съ тобой хороши были; а захотѣла по всему руднику расхожей стать...

Костровъ прикусилъ языкъ, почувствовавъ, должно быть, что можетъ сказать лишнее.

— Оно конечно, — повернулъ онъ внезапно въ другую сторону,—я не говорю, что надо быть варваромъ вродѣ, напримѣръ, Грибанова, что недавно зерентуйскимъ смотрителемъ былъ, вы не слыхали? Собственно говоря, онъ не то, чтобы вовсе варваръ былъ, и арестанты его даже любили; ну, только ежели наступается, бывало, этой водицы отечественной, розлива братьевъ Елисѣевыхъ или Поповыхъ, тогда поддержись! Дьяволомъ прямо становится, отца и мать готовъ убить. Вотъ и случилась съ нимъ эта исторія... Заходитъ пьяный въ тюрьму, а навстрѣчу ему арестантъ. „Ты куда, такъ тебя и этакъ?“—Къ фершалу, ваше благородіе, зубъ выдернуть, болитъ шибко.—„А, болитъ?“ Лясь его по зубамъ, лясь вдругорядь. Арестантъ, конечно, заревѣлъ благимъ матомъ. „А! ты у меня бунтовать?! Надзиратель, ррозогъ!!“ А надзиратель и окажись дурной головой—побѣжалъ и принесъ розогъ. Грибановъ разложилъ тутъ же посреди двора арестанта, да и высѣкъ собственноручно. Замѣтьте: безъ вины и безъ суда, среди бѣлаго дня и на дворѣ главной каторжной тюрьмы, въ десяти шагахъ отъ квартиры завѣдующаго!..

— И что же, ему такъ и сошло это?

— Гм... нѣтъ! Слишкомъ ужъ черезъ край хвачено было. Жалѣли мы Грибанова, это правда, самъ завѣдующій жалѣлъ, но принужденъ былъ немедленно уволить. Такъ вотъ я и говорю: до такой степени забыть себя, даже и въ пьяномъ видѣ, я не въ состояніи! Или, хотя бы, вашего Лучезарова взять? Вѣдь отъ него, говорятъ, каторга прямо стономъ стонала, покамѣсть онъ роговъ самъ себѣ не сломалъ... Очень ужъ носъ высоко загибалъ

хотя—что же онъ такое, собственно говоря? Армейскій капитанишка, не больше вѣдь того, въ семинаріи курса не кончилъ... Ну, а я... я не скрываюсь: я совсѣмъ безъ образованія человѣкъ, я горнаго училища не кончилъ... Ну, такъ я же за то и мнѣнія о себѣ высокаго не держу! Вотъ спросите-ка обо мнѣ здѣшнюю кобылку... кромѣ, разумѣется, бабъ... нарочно спросите: бьюсь объ закладъ—слова дурного не услышите! Я хоть и хвалю розгу, на дѣлѣ же деру очень рѣдко, и то больше по приказу свыше. Я человѣкъ простой—прямо сказать, мужикъ... И я опять-таки безъ хитрости вамъ скажу: другое бъ вовсе дѣло было, если бы позволялось бабъ сѣчь... Ну, тогда я ужъ не утерпѣлъ бы! Ха-ха-ха! Хе-хе! всѣмъ безъ разбору бы заглянулъ, и правымъ и виноватымъ... Потому баба—ужъ извините меня за откровенность—баба... это, доложу вамъ, моя слабая струнка.

Я поспѣшилъ прервать эту пьяную откровенность вопросомъ, есть ли среди каторжной администраціи люди съ высшимъ образованіемъ.

— Съ высшимъ? Эхма, чего захотѣли! Хо-хо-хо! да вы спросите лучше, со среднимъ-то есть ли? *) Вотъ посчитаемте-ка по пальцамъ. Лучезаровъ—семинаристъ, не кончившій курса. Я горнаго училища не кончилъ. Усть-Карійскій смотритель—простой, елеграмотный унтеръ-офицеръ, а мальцевскій — изъ николаевскихъ еще солдатъ. Правда, славный старичина, и выпить не дуракъ и дѣло свое отлично знаетъ, но съ трудомъ фамилію нацарапаетъ... Алгачинскій — такъ себѣ полячишка какой-то, въ полицейскихъ, кажется, надзирателяхъ служилъ прежде; смотритель александровской богадѣльни тоже проходимецъ какой-то безъ малѣйшаго воспитанія. Ну, кто тамъ еще? Управляющій зерентуйскимъ райономъ еле-еле горное училище кончилъ; только у него связи есть, и у жены золотой пріискъ... Да что управляющій райономъ! Выше, батенька, берите: помощникъ завѣдующаго каторгой съ простыхъ канцелярскихъ писцовъ началъ... Словомъ, если говорить правду, такъ у насъ самъ только завѣдующій каторгой и можетъ за всѣхъ постоять!

— А онъ что же такое?

---

*) Надо думать, что въ послѣдніе годы образовательный цензъ администраціи нерчинской каторги значительно повысился. Произведены, слышно, крупныя реформы; уничтожены самыя названія «смотрителей» тюремъ.

Прим. издат.

— Онъ изъ академіи... Это, батенька, голова!.. Такъ вотъ-съ каковы мы всѣ, ха ха-ха! Ну, только, доложу вамъ, той рѣшительности, той стваги ни у кого изъ насъ нѣтъ, даже и у вашего Лучезарова, какая была у покойника Барковскаго: тотъ, дѣйствительно, умѣлъ каторгу въ струнѣ держать, а чѣмъ? розгой, конечно. Бывало всѣ, какъ листъ, трясутся, чуть только слухъ пройдетъ, что онъ ѣдетъ! А вѣдь много ли времени прошло? При этомъ же завѣдующемъ служилъ, и мнѣ отлично извѣстно, что Иннокентій Павловичъ, человѣкъ вообще очень мягкаго сердца, и тогда ужъ противъ тѣлесныхъ наказаній былъ. Не разъ высказывалъ онъ Барковскому; „Вы бы, молъ, полегче... Если ужъ совсѣмъ безъ этого невозможно, такъ хоть женщинъ-то не трогайте“. А тотъ и въ усъ себѣ не дулъ, продолжалъ драть и драть. Потому законъ былъ: „женщинъ дозволяется сѣчь такожде, какъ и мужчинъ“—ну, и прямо запретить ему этого никто не могъ.

— Но почему же завѣдующій, мягкій, какъ вы говорите, человѣкъ, держалъ такого помощника?

— Ему, батенька, необходимо было Барковскаго держать, а то за мягкость-то и самого по головкѣ не погладили бъ, пожалуй.

— Однако теперь Барковскаго нѣтъ—и ничего...

— Я вотъ и говорю, что времена перемѣнились! Я и хотѣлъ бы, вотъ, Машку выпороть, а мнѣ на это говорятъ: не трожь!.. Ха-ха-ха! Хо-хо-хо! Въ карцеръ сколько хочешь сажай, а розгой женщину не моги, потому у насъ просвѣщеніе теперь, Европа... Хо-хо-хо-хо-хо!

Я началъ откланиваться.

— Ну, а насчетъ работки какъ же?—заикнулся Костровъ.

— Какой работки?

— Да вашей... У насъ на этотъ счетъ, знаете, строго: какъ только прибылъ новый арестантъ, кто бы онъ тамъ ни былъ, на другой же день въ рудникъ милости просимъ!

Я объяснилъ, что по болѣзненному состоянію давно уже освобожденъ врачемъ отъ работъ.

— Ага, значитъ, медицинское свидѣтельство имѣете?—обрадовался смотритель:—распрекрасное это дѣло! Съ медициной, какъ у Христа за пазухой, живите себѣ, мы васъ пальцемъ не тронемъ.

— А гдѣ же, позвольте спросить, я поселюсь?

— Да гдѣ-же? Въ арестантскихъ баракахъ вы вѣдь не захотите,

поди, со шпаной жить? Ежели имѣете средства, такъ въ деревнѣ у любого крестьянина квартиру снять можете. Егоровъ! да ты бы ихъ къ своему братану свезъ? У него вѣдь двѣ половины въ дому-то?

Егоровъ изъявилъ согласіе, и, простившись съ оригинальнымъ смотрителемъ, мы вышли на крыльцо. Стоялъ темный беззвѣздный вечеръ. Вдругъ дверь за нами опять поспѣшно растворилась, и я услыхалъ голосъ Кострова:

— Воротитесь-ка, воротитесь на минутку! Я и забылъ: вамъ письмо вѣдь есть... Эка память-то какая!

Я быстро вернулся въ комнату. Порывшись въ безпорядочно сваленныхъ бумагахъ въ ящикѣ стола, смотритель отыскалъ, наконецъ, письмо и при мнѣ распечаталъ его.

— Нельзя, батенька, форма того требуетъ... Позвольте мнѣ хоть такъ, изъ любопытства больше, пробѣжать. Гм! гм! отъ сестры... радуется, что вы въ вольную команду вышли, телеграмму получила... Такъ, такъ, еще бы не радоваться! Ну, радуйтесь и вы: ѣхать къ вамъ собирается... весной!

У меня захватило духъ. Я почти вырвалъ изъ рукъ Кострова драгоцѣнное письмо и, не слыша подъ собой ногъ отъ радостнаго волненія, выбѣжалъ вонъ. Смутно помню, какъ подъѣхали мы въ совершенной уже темнотѣ къ какой-то крестьянской избѣ и вошли въ тѣсное, душное помѣщеніе, гдѣ насъ встрѣтило чисто-вавилонское смѣшеніе языковъ: въ люлькѣ плакалъ ребенокъ, въ углу визжало около дюжины маленькихъ поросятъ, и имъ вторило басистое хрюканье чадолюбивой матери, въ другомъ углу мычалъ новорожденный теленокъ, а изъ-подъ шестка доносился безпокойный шорохъ десятка куръ... Смутно помню подробности перваго знакомства и бесѣды съ хозяевами; рѣшено было, что я переночую здѣсь же, въ обществѣ поросятъ и самихъ хозяевъ, а на утро мнѣ очистятъ и протопятъ „горницу“, которою я и стану владѣть за пять рублей въ мѣсяцъ. Утомленный и въ то же время взволнованный, я очень мало всѣмъ этимъ интересовался и, пользуясь первой возможностью, при свѣтѣ сальнаго огарка, поспѣшилъ развернуть дрожащими руками завѣтное посланіе.

Почти до разсвѣта проворочался я на своемъ жесткомъ ложѣ, безъ сна, не въ силахъ одолѣть расходившіяся думы...

Милая, добрая моя, славная! Гдѣ взяла ты столько нѣжности и любви къ далекому брату, котораго и знала-то лишь по смут-

нымъ воспоминаніямъ дѣтства да по его печальной судьбѣ? Какой безконечной добротой и чуткой отзывчивостью на чужое горе и страданіе, какимъ отсутствіемъ заботы о личномъ счастьи, о своей молодой, едва расцвѣтающей жизни вѣяло всегда отъ твоихъ милыхъ, наивно-восторженныхъ писемъ, отъ этихъ чудныхъ, кристально-чистыхъ писемъ, ободрявшихъ и утѣшавшихъ меня въ грустные годы изгнанія!...

Я помнилъ Таню десятилѣтней невзрачной дѣвочкой съ мечтательными голубыми глазками, съ недѣтски-серьезнымъ, почти печальнымъ выраженіемъ худенькаго личика. Но внутренній міръ моей маленькой сестренки занималъ меня, въ сущности, очень мало (я былъ значительно старше годами); подъ одной кровлей мы жили каждый своей отдѣльной жизнью и были другъ для друга знакомыми незнакомцами. А потомъ, уѣхавъ на долгое время изъ дому, я и совсѣмъ какъ-то потерялъ ее изъ виду. Мы никогда не переписывались.

Первое письмо сестры догнало меня уже по дорогѣ въ Сибирь, и я не съумѣлъ бы передать теперь то впечатлѣніе, какое произвелъ на меня горячій, безсвязно-влюбленный лепетъ четырнадцатилѣтней дѣвочки. Она клялась всю жизнь, до послѣдняго издыханія, посвятить своему несчастному, заклейменному брату; и впродолженіи многихъ лѣтъ не проходило съ тѣхъ поръ недѣли безъ того, чтобы не прилетѣлъ ко мнѣ новый вѣстникъ надежды и свѣта въ видѣ маленькаго конвертика, надписаннаго нервнымъ полудѣтскимъ почеркомъ, съ каждымъ разомъ становившимся мнѣ все знакомѣе, дороже и ближе...

Однако мечтамъ Тани о свиданіи со мною, мечтамъ, которыя она неустанно развивала во всѣхъ своихъ письмахъ, я долгое время не придавалъ особеннаго значенія: мало ли о чемъ мечтаютъ дѣвочки-подростки! Да и мой выходъ въ вольную команду, къ которому пріурочивались эти золотыя мечты, былъ такъ еще далекъ!

Но вотъ незамѣтно подошелъ и ударилъ часъ свободы. И не успѣлъ я серьезно выяснить сестрѣ всю безразсудность ея плана добровольной поѣздки въ каторгу, какъ она уже извѣстила меня о крѣпкомъ, безповоротномъ рѣшенія въ началѣ весны отправиться въ далекій путь. Въ другое время и при другихъ обстоятельствахъ письмо это, навѣрное, глубоко бы меня огорчило, какъ и многихъ на моемъ мѣстѣ, но въ эту минуту, къ стыду своему,

я чувствовалъ одну только безумную, безграничную радость! Яркій свѣтъ блеснулъ впереди, во мракѣ, и ослѣпилъ усталаго путника... Какое невыразимое, неизвѣданное блаженство! Еще нѣсколько мѣсяцевъ грустнаго одиночества — и свершится золотой сонъ... Послѣ столькихъ лѣтъ сплошного кошмара, обидъ, страданій и всяческихъ униженій, я прижмусь, наконецъ, къ груди беззавѣтно преданнаго друга, которому изолью всѣ накипѣвшія на сердцѣ слезы, выскажу все недоговоренное, гордо скрытое отъ посторонняго взора...

Нелегко, однако, далась мнѣ первая кадаинская зима. И теперь еще безъ дрожи не могу о ней вспомнить. Квартира моя оказалась страшно холодной, такъ какъ на манеръ большинства крестьянскихъ избъ въ Забайкальи не имѣла двойныхъ рамъ, и отъ заледенѣлыхъ сверху до низу оконъ несло невообразимой стужей; съ плохо проконопаченными стѣнами вполнѣ гармонировала и отвратительная, мало грѣвшая и страшно дымившая печка. Но почему же я не поискалъ другой, лучшей квартиры? Быть можетъ, это смѣшно, но мнѣ казалось почему-то ужасно стыднымъ и неловкимъ сказать хозяевамъ о томъ, что по ночамъ я чуть не буквально превращаюсь въ ледяную сосульку, и что въ печку не мѣшало бы класть побольше дровъ; отвычка отъ людей и жизни, дѣлавшая изъ меня замкнутаго въ себѣ дикаря, въ началѣ особенно брала свое... Опытный глазъ хозяйки видѣлъ, конечно, и самъ плачевныя свойства моего помѣщенія, и нерѣдко, принося крошечную охапку дровъ, она говорила мнѣ въ утѣшеніе:

— Да какъ же тутъ не околѣть?*) Все одни да одни сидите, книжки-то вѣдь не грѣютъ... Вотъ кабы семья у васъ была, люди бы въ избѣ шевелились—тогда бъ другое дѣло. У насъ, вонъ, дѣти, поросята...

Политика преувеличенной деликатности принесла вскорѣ свои плоды,—вернувшійся ревматизмъ свалилъ меня съ ногъ и на нѣсколько недѣль почти приковалъ къ постели. Страшныя это были недѣли, когда по цѣлымъ днямъ никто ко мнѣ не заглядывалъ, и не къ кому было обратиться за помощью. Удивляюсь, какъ остался

*) Сибирское выраженіе, соотвѣтствующее слову «замерзнуть».

я всетаки живъ и всталъ опять на ноги. Только въ концѣ марта холода начали „сдавать“, и съ наступленіемъ болѣе теплаго времени вернулось и мое здоровье. А вмѣстѣ съ физическими силами пришли и душевная бодрость, и мечты о скоромъ пріѣздѣ дорогой гостьи... Я дѣятельно принялся приводить въ порядокъ свою квартиру, стараясь придать ей больше уюта и привѣтливости. Стѣны и потолокъ были ярко выбѣлены, печка исправлена; появились необходимыя принадлежности хозяйства, кой-какая мебель. Я то и дѣло бѣгалъ въ арестантскіе бараки, гдѣ жили холостые вольнокомандцы, и велъ бесѣды съ столярами, слесарями и другими мастеровыми.

Разъ, въ яркій весенній день, съ радостнымъ свѣтомъ въ душѣ проходилъ я мимо арестантской кузницы и не утерпѣлъ заглянуть туда. Хорошо знакомая картина представилась мнѣ. Громко гудѣлъ мѣхъ, яростно стучали молотки, искры отъ раскаленнаго желѣза летали кругомъ. Кузнецъ и молотобоецъ встрѣтили меня вѣжливыми поклонами (всѣ кадаинскіе каторжные давно уже знали меня въ лицо). Вниманіе мое сразу привлекъ высокій, красивый кузнецъ съ черными, какъ смоль, волосами и задумчиво-печальнымъ выраженіемъ темныхъ бархатныхъ глазъ. Всѣ движенія этого человѣка казались необыкновенно мягкими, почти изящными, а красиво очерченныя, тонкія губы были строго сжаты. Я такъ и рѣшилъ было про себя, что передо мной стоитъ какой-нибудь грузинъ или лезгинъ, и очень былъ удивленъ, когда узналъ, что Андрей Бусовъ самый обыкновенный русскій крестьянинъ изъ Тульской губерніи. Товарищи называли его, впрочемъ, цыганомъ.

— Все по Дуняшкѣ своей скучаетъ!—насмѣшливо кивнулъ въ его сторону молодой парень, дувшій мѣхомъ, замѣтивъ, должно быть, что я не свожу глазъ съ Бусова.

Губы послѣдняго слегка перекосились презрительной улыбкой, но онъ продолжалъ молчать.

— Невѣста у васъ, что ли, въ Тулѣ осталась?—спросилъ я, желая вызвать красавца-кузнеца на разговоръ, но развязный молотобоецъ поспѣшилъ отвѣтить за него:

— Зачѣмъ въ Тулѣ! Здѣсь же, въ рудникѣ... Всему обществу нашему краса—Авдотья Финогеновна! Павой выступаетъ, лебедью бѣлой выплываетъ, краснымъ солнышкомъ поглядываетъ. Вотъ ужо увидите, коли не видали еще. Самъ Костровъ шары свои по-

повскіе пялилъ, да нѣтъ, братъ, — накось поди, выкуси! Признаться, грѣшнымъ дѣломъ, и я тоже подползалъ: наше вамъ, Авдотья Финогеновна! Мы тоже, молъ, не лыкомъ шиты, любите да жалуйте... Куды тебѣ! Я этакихъ-то, говоритъ, какъ ты, стряхиваю... У меня Андрюшенька есть душенька, ни на кого его въ свѣтѣ не промѣняю!

— Будетъ тебѣ, Ванька, бо̀тать-то!—прикрикнулъ на него зарумянившійся Бусовъ:—мелешь, мелешь языкомъ, какъ тебѣ не надоѣстъ? Подумай самъ: развѣ *имъ* можетъ любопытно быть о нашихъ глупостяхъ слухать?

И, не глядя ни на меня, ни на Ваньку, онъ съ сердцемъ принялся колотить молоткомъ по холодному куску желѣза. Почувствовавъ нѣкоторую неловкость, я собирался уже уйти, какъ онъ вдругъ повернулся ко мнѣ и, добродушно осклабившись, сказалъ:

— Секретовъ, однако, никакихъ тутъ нѣтъ. Вы не подумайте, господинъ, чего дурного про дѣвку... Это, дѣйствительно, моя невѣста. Только начальство вѣнчаться намъ не дозволяетъ; ну, вотъ они и скалятъ надо мной зубы, лоботрясы-то эти...

Ванька схватился за животъ и залился самымъ жизнерадостнымъ смѣхомъ.

— Почему же начальство вамъ вѣнчаться не позволяетъ?—спросилъ я у Бусова.

— Видите ли, я женатъ былъ... до каторги, то есть. И, значитъ, требуется теперь свидѣтельство о смерти моей первой жены.

— Хо-хо-хо! Ха-ха-ха!—закатился пуще прежняго Ванька:—свидѣтельство о смерти жены... Охъ, уморушка, да и только! Да ты чего жъ всего-то не объяснишь? Вѣдь онъ... ха-ха-ха! вѣдь онъ жену-то, первую-то, укокошилъ! Вѣдь онъ за это самое и въ работу пришелъ!

Бусовъ весь вспыхнулъ, какъ зарево.

— Это точно,—сказалъ онъ совсѣмъ тихо,—за обманъ, за развратъ убилъ.

— Ну, такъ какое же еще свидѣтельство нужно,—недоумѣвалъ я,—ежели вы здѣсь именно за...

Но тутъ Ванькой-молотобойцемъ овладѣлъ внезапно такой припадокъ веселья, что онъ, не думая долго, повалился на землю и сталъ по ней кататься въ корчахъ самаго искренняго, неудержимаго хохота. Бусовъ даже не взглянулъ на него.

— Въ томъ-то и дѣло,—съ грустью въ голосѣ отвѣчалъ онъ,—

что придирка. Вотъ уже полтора года канитель эта тянется. Самъ-то я, на бѣду, неграмотный: говорятъ, въ статейномъ у меня вышла ошибка—прописано, будто женатъ...

— На покойницѣ женатъ, хо-хо-хо!—не унимался, между тѣмъ, Ванька,—вотъ уморушка... И убить-то настоящимъ манеромъ вѣдьму не съумѣлъ, съ того свѣта она трезвону тебѣ задаетъ. Дуракъ! дуракъ! цыганомъ еще прозываешься—коломъ надо было осиновымъ ее притиснуть.

Покидая кузницу, я еще разъ полюбовался на красивую фигуру кузнеца, который, задумчиво шевеля лопаткой въ ярко пылавшемъ горнѣ, по прежнему не обращалъ ни малѣйшаго вниманія на глупыя остроты и задиранья смѣшливаго товарища.

Случай познакомилъ меня вскорѣ и съ героиней каторжнаго романа. Я отыскивалъ себѣ прачку, и крестьяне направили меня въ такъ называемыя землянки, гдѣ жили семейные арестанты, имѣвшіе собственное хозяйство. У подошвы одной изъ сопокъ, въ верстѣ отъ деревни, отведено было начальствомъ мѣсто для этихъ жалкихъ людскихъ обиталищъ, отличавшихся чисто-первобытной простотой и незатѣйливостью. Въ землѣ выкапывалась глубокая квадратная яма; съ боковъ и сверху этой ямы укрѣплялись въ видѣ сѣтки колья и прутья различной величины, а на послѣдніе накладывались толстые слои земли, дерна и всяческаго древеснаго хлама. Оставалось затѣмъ устроить внутри печку, которая и занимала, разумѣется, добрую половину, если не всѣ двѣ трети помѣщенія. Палаццо было послѣ этого готово. Смотря по его величинѣ, постройка обходилась отъ пятнадцати до тридцати рублей, и у богатыхъ арестантовъ получались даже очень просторныя и красивыя избы-мазанки, съ окнами не на самомъ уровнѣ земли; но бѣдняки, т. е. большинство, ютилось въ настоящихъ подземныхъ норахъ, болѣе приличныхъ кротамъ, нежели людямъ. Въ горномъ Зерентуѣ землянки представляли цѣлый городокъ съ правильно размѣренными улицами и нѣсколькими сотнями арестантскихъ избушекъ; въ Кадаѣ ихъ было въ мое время не больше одного десятка.

Первый попавшійся на глаза арестантъ, на вопросъ о прачкѣ, сказалъ мнѣ:

— Къ Подуздихѣ зайдите, господинъ, къ Подуздихѣ. Вонъ маленькая земляночка съ краю.

— Кто такая эта Подуздиха?

— Да старушоночка тутъ одна есть, а у нея дочка,—здоровенная, ядреная дѣвка, — Дуняшкой зовутъ. Она, навѣрное, съ радостью возьмется ваше бѣлье стирать. Потому въ нуждѣ онѣ, прямо надо сказать—въ страшенной нуждѣ живутъ.

— И мать и дочь—обѣ каторжныя?

— Да какъ вамъ сказать, господинъ, чтобъ не соврать? Вите-ли, старуха-то мужа убила, — вотчимомъ онъ, значитъ, Дуняшкѣ приходился. Извергъ былъ, пьяница, варваръ—стоилъ того! Много лѣтъ стязалъ онъ старуху; все терпѣла, а подъ конецъ злилась баба, выпряглась. Взяла топоръ, да и отрубила ему, оннòму, голову! Очень просто свое дѣло сдѣлала. Вѣстимо, дураба. Скрыть, какъ слѣдуетъ, преступленье не съумѣла, да мало ого—и дочку-то припутала. Сама на двадцать лѣтъ въ работу годила, а Дуняшкинъ строкъ — вотъ не могу вамъ въ точности бсказать—не то ужъ кончился, не то осенью этой выйдетъ.

Я сразу, конечно, догадался, что рѣчь шла не о комъ другомъ, какъ о невѣстѣ моего кузнеца, и съ особеннымъ любопытствомъ зашелъ въ указанную землянку. Къ сожалѣнію, я засталъ амъ одну только старуху Подуздову, — она лежала на печкѣ, ольная, и громко охала. Начались обычныя сѣтованія на горе-орькое арестантское житье.

— Чѣмъ вы живете?—задалъ я, между прочимъ, вопросъ.

— А чѣмъ больше, батюшка, какъ не казеннымъ пайкомъ? есять фунтовъ говядины въ мѣсяцъ на человѣка, пять фунтовъ рупы гречневой да пудъ ржаной муки... Ну, да соли сколько-то— отъ и все. Тутъ эвона какъ растолстѣешь! Въ вольной командѣ, оворятъ, заробить можете. А чѣмъ, спросить, я, старуха, заробить огу? Гдѣ? Кто мнѣ работу дастъ? По настоящему-то, по міру бы адо побираться идти, такъ и то опять — какъ пойдешь, когда? Іа казну вѣдь отробиться тоже надо, урокъ сдать. Вонъ у меня огъ вовсе не стало, до двери доползти не могу, а и то надзиатель ужъ кольки разъ забѣгалъ: „Къ фершалу, говоритъ, сукина очь, ступай! Освободитъ отъ работы — твой фартъ, а нѣтъ—въ арецъ посадимъ за лодырничанье“. Ахъ вы, аспиды, кровопивцы аши! Самимъ бы вамъ такъ полодырничать, какъ мы съ дочкой! рюхо-то, небось, съ голодухи опухло бы, а не съ обжорства, акъ теперь! У тебя, говорятъ, дочка молодая да красивая—она аробить можетъ. Это красотой-то, значитъ, заробить, по-просту

говоря—къ смотрителю въ наложницы пойти... Ну, только мы на это не согласны! Мы съ Дуняхой лучше подохнемъ, а ужъ чести нашей дѣвичьей не продадимъ, нѣтъ! У насъ вѣдь, баринъ, и женихъ есть—оченно хорошій человѣкъ.

— Слыхалъ я... Кузнецъ Бусовъ?

— Онъ самый. Видали? Никто не похаетъ. Изъ себя парень—картина, а ужъ нравомъ такой-ли смиренный, ровно красная дѣвица. Только и съ нимъ Дуняха моя во всей строгости себя соблюдаетъ, пскамѣсть, значитъ, вѣнца не приметъ.

— А гдѣ же теперь ваша Авдотья?

— На работѣ, батюшка, гдѣ ей больше быть. Глину мѣситъ, кирпичъ для новой тюрьмы лѣпитъ.

— Какъ! да вѣдь это самая тяжелая мужская работа?

Подуздиха завздыхала, заплакала.

— Въ томъ-то и горе наше, батюшка, что чижолая это работа... По злобѣ, кормилецъ мой, по злобѣ поставили на нее Дуняшку!

— По какой злобѣ? Кто поставилъ?

— Самъ Костровъ (собесѣдница моя понизила голосъ почти до шепота)... Повѣрите-ли, кажный вѣдь чортъ, начиная съ послѣдняго парашника, норовитъ пристать къ дѣвкѣ съ погаными своими ласками,—и надзиратели всѣ, и казачишки, и самъ смотритель... Большой онъ у насъ до бабъ охотникъ, смотритель-отъ! Ну, вотъ Авдотья моя, надо думать, возьми да и отпихни его. Не сказываетъ она мнѣ по настоящему, что тамъ промежъ нихъ вышло... Только—и-и, Боже мой, какъ осерчалъ на нее Костровъ! Въ порошокъ, говорятъ, истолочь обѣщался, въ карцѣ сгноить! Кобылка-то все слышала. Съ тѣхъ вотъ самыхъ поръ и подыскивается онъ къ Авдотьѣ, за что бъ въ секретную посадить. Ну, да у нея комаръ носу не подточитъ, всегда все, значитъ, по закону. Сама дѣвка смиреная, послухмяная, а работа въ рукахъ такъ и горитъ. Видитъ Костровъ, что дѣло плохо, и велѣлъ ее на кирпичъ поставить. Коли смиришься, говоритъ, придешь ко мнѣ, тогда легкую работу дамъ, захочу—и вовсе отъ всякой работы ослобоню, а не смиришься—заморю на кирпичѣ!

И давно она на этой работѣ?

— Да вотъ ужъ, кажись, третья недѣля пошла. Прежде-то намъ славно жилось, нечего Бога гнѣвить. Дунька тогда много зарабливала—шитьемъ, тѣмъ-другимъ. Ну, а теперь хуже нашего съ ней житья и во всемъ рудникѣ, почитай, не сыщешь. Придетъ

дѣвка домой—въ прежнюю бы пору за иглу взялась, аль по домашности что справила, а теперь одна думка—на постель скорѣй повалиться да заснуть. Измоталась вовсе, даромъ что раньше кровь была съ молокомъ, и никакой, что есть, работы не боялась. Сколько ужъ слезъ-то мы съ ней пролили! Господь, видно, считалъ, считалъ, да и считать бросилъ. „Мамонька, говоритъ мнѣ намедни Дуняха,—родимая ты моя! Не стало, знать, Бога на свѣтѣ бѣломъ, правды его истинной не стало... Умереть, видно, остается...“ И все-то голубушка моя, какъ не втерпежь станетъ, про смерть поминаетъ... Инда страхъ порой беретъ: а что, какъ дѣвка и впрямь надъ собой что сдѣлаетъ! Костровъ же,—такъ полагать надо,—и свадьбѣ нашей мѣшаетъ.

— Это съ кузнецомъ-то?

— Ну!.. Да и того еще я, признаться, боюсь, какъ бы онъ Андрея-то въ другой рудникъ не перевелъ, его вѣдь власть.

— Такъ чего же вы ждете? Жаловались бы.

Въ отвѣтъ, Подуздиха только безнадежно махнула рукой.

— Ничего съ эстого, баринъ, не будетъ! Вѣдь они всѣ тутъ въ родствѣ да въ свойствѣ состоятъ, развѣ воронъ ворону глазъ выклюетъ? Нѣтъ! А вотъ, говорятъ, поѣдетъ скоро по рудникамъ самый наиглавнѣющій надо всѣми тюрьмами енаралъ—изъ Рассеи ждутъ — ну, вотъ на него теперь вся надёжа. Ему жалобиться хотимъ.

На другой же день словоохотливая старуха обѣщала прислать ко мнѣ свою дочку. Авдотья, дѣйствительно, явилась во время обѣденнаго перерыва между работами. Послѣ всего слышаннаго объ ея красотѣ я ожидалъ увидѣть что-то особенное, поражающее, и немало поэтому удивился въ первую минуту, когда глазамъ моимъ представилась заурядная крестьянская дѣвушка лѣтъ двадцати двухъ, съ толстыми румяными губами и широкимъ, какъ бы приплюснутымъ нѣсколько, носомъ. Только здоровье, свѣжесть и сила сразу бросались въ глаза: онѣ такъ и били изо всѣхъ поръ этого молодого, упругаго, богатырски сложеннаго тѣла... Ростомъ Дуняша была выше меня чуть не на цѣлую голову, и ея большая, крѣпкая, чисто-мужская рука могла бы при нуждѣ серьезно постоять за себя... Однако, о какой-либо красотѣ въ подлинномъ смыслѣ слова не могло, казалось, и рѣчи быть. Но едва успѣлъ я подумать это, какъ почти вздрогнулъ: въ упоръ на меня глядѣли большіе сѣрые глаза, тихіе, грустно-задумчивые,

и этотъ глубокій, печальный взглядъ сразу мѣнялъ выраженіе лица, скрадывая всѣ его недочеты, придавая своего рода прелесть и некрасивому широкому носу, и толстымъ, румянымъ губамъ. Мнѣ хотѣлось поговорить съ дѣвушкой; вручая ей узелъ съ бѣльемъ, я задалъ первый пришедшій въ голову вопросъ:

— Сильно, должно быть, устаете вы, Дуняша, на казенной работѣ?

— Чего это изволите спрашивать?—робко и недоумѣло переспросила она.

— Мнѣ мать ваша вчера разсказывала, будто Костровъ шибко тѣснитъ васъ... Я ей жаловаться совѣтовалъ. По моему, и то, что вѣнчаться вамъ такъ долго не разрѣшаютъ, противозаконно! — выпалилъ я однимъ духомъ, смущаясь почему-то и краснѣя.

Дѣвушка ничего не отвѣтила и только прикрыла передникомъ лицо, словно желая высморкаться.

— Да вы почему же сами не хотите съ завѣдующимъ поговорить? Вѣдь онъ бываетъ здѣсь?

Она молчала по прежнему... Съ чувствомъ неловкости я все стоялъ, ожидая какого-нибудь отвѣта, и вдругъ слухъ мой поразило тихое всхлипыванье...

Сконфуженный, я отошелъ прочь; Дуняша скрылась въ одно мгновеніе...

Какъ ни торопилась моя дорогая странница окончить свое длинное и трудное путешествіе, оно все затягивалось и затягивалось, встрѣчая всевозможныя задержки то въ видѣ попорченныхъ весенними разливами дорогъ, то лѣнивыхъ или капризныхъ попутчиковъ, то разныхъ другихъ непредвидѣнныхъ случайностей. О моемъ волненіи и тревогѣ нечего много разсказывать. Воображеніе рисовало мнѣ безчисленныя, грозившія Танѣ на пути опасности—крутыя горы и дикихъ лошадей, нападенія разбойниковъ, переправы черезъ широкія рѣки, бури на Байкалѣ... Въ лихорадочномъ ознобѣ вскакивалъ я по ночамъ съ постели, услыхавъ малѣйшій стукъ, въ которомъ можно было заподозрить приходъ арестанта Василія, обыкновенно приносившаго мнѣ отъ смотрителя письма и депеши.

Однажды Кадаю посѣтилъ завѣдующій каторгой, и мнѣ пришло въ голову обратиться къ нему съ просьбой о разрѣшеніи—по-

лучивъ отъ сестры изъ ближайшаго пункта телеграмму, выѣхать навстрѣчу ей на послѣднюю станцію. Просьба была, правда, очень щекотливая, успѣхъ крайне сомнителенъ, но я рѣшилъ попытать счастья. Здѣсь впервые пришлось мнѣ разговаривать съ завѣдующимъ лицомъ къ лицу. Онъ принялъ меня въ кабинетѣ Кострова, наединѣ, и хотя сѣсть не пригласилъ, но за то и самъ впродолженіи бесѣды стоялъ на ногахъ. На умномъ, почти хитромъ лицѣ этого худенькаго, невзрачнаго, но обстрѣленнаго въ бояхъ человѣка лежала всегда маска холодной непроницаемости; никто и никогда не могъ бы сказать, что онъ думаетъ про себя о томъ или другомъ предметѣ, искренно или съ какой-либо задней мыслью говорить такъ или иначе. Голосъ его всегда былъ мягокъ, ровенъ, почти ласковъ, безразлично—заключали ли въ себѣ его слова милость или смертный приговоръ.

Сверхъ всякаго ожиданія, къ просьбѣ моей завѣдующій отнесся безъ всякаго удивленія, съ видимой даже благосклонностью, и только попытался отговорить меня ѣхать.

— Я вполнѣ увѣренъ, что вы не бѣжите,—сказалъ онъ съ легкой тѣнью улыбки на каменномъ лицѣ,—и охотно готовъ отпустить безъ всякаго конвоя, но... въ вашихъ же собственныхъ интересахъ не предпринимать этой поѣздки. Вы, навѣрное, разъѣдетесь съ вашей сестрой. Она, вы говорите, ѣдетъ съ попутчикомъ, и если онъ—что всего вѣроятнѣе—какой-нибудь чиновникъ изъ завода, то они могутъ на земскихъ лошадяхъ ѣхать. Вы будете ждать на почтовой станціи, а они на земской квартирѣ остановятся.

— Такой случай легко предупредить, — парировалъ я это соображеніе,—на земской квартирѣ я сдѣлаю, на всякій случай, заявленіе о себѣ.

Завѣдующій сухо наклонилъ голову.

— Хорошо. Но... болѣе, чѣмъ на однѣ сутки, я не вправѣ отпустить васъ безъ конвоя.

Я поклонился.

— Надѣюсь, этого срока мнѣ будетъ вполнѣ достаточно.

Однако, когда прошло послѣ того цѣлыхъ пять дней, а отъ Тани, давно находившейся въ Читѣ, не приходило никакихъ новыхъ извѣстій, я ужасно заволновался. Въ мозгу моемъ зародилось даже подозрѣніе, что завѣдующій нарочно распорядился позднѣе отослать мнѣ телеграмму, чтобы разстроить эту не совсѣмъ желательную ему поѣздку...

Разъ позднимъ вечеромъ надъ Кадаей разразилась сильная, первая въ этомъ году гроза. Дождь лилъ свирѣпыми потоками, громъ гремѣлъ, почти не переставая, а молніи сверкали въ разныхъ мѣстахъ неба такъ часто, что въ воздухѣ стоялъ почти сплошной яркій свѣтъ, лишь на короткія мгновенія прерываемый густымъ, чернымъ мракомъ. Сидя въ одиночествѣ подлѣ окна, въ темной комнатѣ, я съ отчетливостью различалъ всѣ окрестныя сопки, въ грозномъ безмолвіи и неподвижности, точно часовые, стоявшія на своихъ постахъ. Мнѣ было невыразимо грустно и больно; сильнѣе, чѣмъ когда-либо, давало себя чувствовать одиночество изгнанника...

Вдругъ рѣзкій, нетерпѣливый стукъ въ наружную дверь прервалъ мои меланхолическія размышленія, и вслѣдъ затѣмъ послышался знакомый голосъ:

— Иванъ Николаевичъ, спите?.. Отворите, а то потону вовсе! Тилеграмъ!..

Это былъ разсыльный Василій съ желанной телеграммой въ рукахъ, заключавшей въ себѣ одно только слово: „Ѣду“.

Одна мысль, одно чувство охватили меня: „Пора“!.. Съ радостнымъ волненіемъ бросился я къ хозяину, который заранѣе обѣщалъ повезти меня во всякое время дня и ночи, когда только будетъ нужно. Оказалось, однако, не такъ-то легко заставить сибиряка въ ту-же минуту тронуться съ мѣста. Хозяинъ Иванъ Григорьевичъ наканунѣ былъ, по обыкновенію, пьянъ и теперь спалъ богатырскимъ сномъ, такъ что съ помощью всей его семьи мнѣ стоило немалаго труда поднять его и добиться членораздѣльныхъ звуковъ. Но и эти звуки въ началѣ были мало утѣшительны.

— Какъ же это такъ? Вѣдь оно того... Теметь-то, вишь, какая на дворѣ... Гремитъ-то какъ!

Но я былъ неумолимъ и убѣдительно взывалъ къ чувству вѣрности данному разъ слову. Тогда, почесавшись еще немного и раздумчиво посопѣвъ носомъ, Иванъ Григорьевичъ схватился внезапно съ мѣста и, какъ стрѣла, ринулся, въ чемъ былъ, на улицу, чтобы произвести тамъ необходимыя метеорологическія наблюденія. Дождь уже прекратился, и только тамъ и сямъ рокотали еще въ ночной тишинѣ бѣшено струившіеся потоки воды; имъ глухо вторилъ замиравшій въ отдаленіи громъ; молніи вспыхивали значительно слабѣе и рѣже, но за то теперь было такъ темно, что въ двухъ аршинахъ трудно было разглядѣть человѣка.

— Теметь-то, главное дѣло, вотъ бѣда!— сконфуженно обратился

ко мнѣ Иванъ Григорьевичъ, безнадежно ударивъ себя рукой по бедру:—дорогу-то, главное, всю размыло. Того и гляди, въ колдобину влетимъ, себѣ и конямъ ребра поломаемъ. Вотъ вѣдь что главное дѣло! Нельзя ли мѣсяца хоть дождаться?

— А скоро-ли онъ взойдетъ?

— Черезъ часъ, много два безпремѣнно объявиться долженъ... Потому, главное дѣло, теметь страшенная, колдобинъ понамыто дождемъ! А то я съ моимъ бы, конечно, удовольствіемъ...

Приходилось покориться и ждать мѣсяца. Накормивъ лошадей и выправивъ свой фурманъ (тарантасъ), Иванъ Григорьевичъ отправился еще немного вздремнуть, я же ни на одну минуту не могъ сомкнуть глазъ. Пріятная, сладкая дрожь то-и-дѣло пробѣгала по всему тѣлу... Десятки разъ выходилъ я на улицу, и, вѣроятно, ни одинъ въ мірѣ влюбленный не искалъ никогда съ болѣе страстнымъ нетерпѣніемъ появленія на горизонтѣ ночного свѣтила. Но всюду по прежнему царилъ мракъ и даже безгромныя далекія зарницы поблескивали все рѣже и рѣже. Ежеминутно поглядывалъ я на часы, и вотъ, наконецъ, ровно въ два часа ночи на краю неба забрежжило слабое зарево...

— Иванъ Григорьевичъ, мѣсяцъ всходитъ! — кинулся я къ своему дремавшему возницѣ.

Полчаса спустя на парѣ сытыхъ и бойкихъ лошадокъ мы летѣли во весь опоръ между безконечными рядами безмолвныхъ сопокъ, сплошь залитыхъ волшебнымъ серебрянымъ свѣтомъ. Какъ обольстительно-прекрасна была эта ночь послѣ первой грозы! Какая ясная бодрость разливалась по всѣмъ жиламъ, и какъ лихорадочно-жадно вглядывался я въ синюю даль, тамъ и сямъ перерѣзанную черными тѣнями горъ!

На другой день, около полудня, мы уже были за пятьдесятъ верстъ отъ Кадаи, на почтовой станціи. Никакой барышни съ господиномъ ни вчера, ни сегодня еще не было въ числѣ проѣзжающихъ. Но едва только это извѣстіе успокоило меня, какъ возникло опасеніе, что полученный мной суточный отпускъ пройдетъ раньше, чѣмъ пріѣдетъ Таня... Опасенія эти росли съ каждымъ часомъ, и когда наступила ночь, и возница мой, вливши въ себя двадцатый стаканъ чаю, спокойно разлегся на полу, и вскорѣ его громкое храпѣнье раздалось по всей станціи, я не на шутку разволновался. Не находя нигдѣ мѣста себѣ, въ болѣзненной тоскѣ метался я изъ стороны въ сторону, выбѣгалъ в

крыльцо, прислушивался къ ночной тишинѣ, снова входилъ въ комнату, садился и черезъ минуту опять вставалъ на ноги. И мнѣ казалось, что если сестра почему-либо опоздаетъ, и я не дождусь ея здѣсь, на почтовой станціи, то это будетъ непоправимымъ для насъ обоихъ несчастіемъ; что и самая радость свиданія, хотя бы оно и состоялось нѣсколько часовъ спустя, будетъ уже неполной, отравленной!

Не знаю, какимъ образомъ я всетаки подъ конецъ заснулъ: нервное утомленіе, должно быть, взяло свое. Но сонъ мой былъ тревоженъ и болѣзненно-чутокъ. Странныя, смутно-печальныя, неясныя видѣнія смѣняли одно другое – и вдругъ, точно электрическій токъ прошелъ по мнѣ съ ногъ до головы... Рѣзкій металлическій звукъ ворвался въ окно вмѣстѣ съ порывомъ свѣжаго ночного вѣтра...

Я вскочилъ—это колокольчикъ! Это *она* ѣдетъ!..

Я кинулся второпяхъ къ дверямъ, едва успѣвъ захватить шапку и чуть не споткнувшись объ Ивана Григорьевича, который въ живописномъ безпорядкѣ откатился отъ первоначальнаго своего ложа почти къ самому порогу.

По небу бродили тучи, разбрасываемыя порывистымъ вѣтромъ, и изъ-подъ нихъ таинственно выглядывалъ, какъ желтый глазъ огромнаго призрака, молчаливо скользящій мѣсяцъ. Я прислушался — колокольчикъ еще разъ брякнулъ, потомъ затихъ на мгновеніе и, вотъ, сталъ гудѣть уже непрерывно. Не могло быть сомнѣнія: это ѣхали почтовые лошади съ ближайшей станціи. Въ неистовомъ восторгѣ бросился я къ нимъ навстрѣчу... Вотъ показалась, наконецъ, и тройка, и почтовая кибитка со спущеннымъ верхомъ. Вотъ она поравнялась со мной... Я напрягъ всѣ силы своего зрѣнія и различилъ внутри, среди подушекъ, неясный силуэтъ человѣка, повидимому, мужчины. Однако, тайный голосъ не переставалъ твердить мнѣ, что тутъ же должна находиться Таня... Слѣдомъ за кибиткой я побѣжалъ къ станціи. Когда, задыхаясь отъ усталости и волненія, я приблизился къ крыльцу, лошади уже нѣсколько минутъ были на мѣстѣ, и у подножки тарантаса стоялъ незнакомый мнѣ усатый господинъ съ дорожной сумкой черезъ плечо.

— Пора проснуться, пріѣхали!—сказалъ онъ, обращаясь къ кому-то другому, находившемуся еще въ глубинѣ возка.

— Неужели? — отвѣчалъ оттуда заспанный голосъ, и этотъ

тонкій серебряный голосъ, несомнѣнно, принадлежалъ очень молоденькой женщинѣ.

Держась рукой за грудь, въ которой бѣшено колотилось сердце, и не въ силахъ говорить отъ волненія, я стоялъ бокъ-о-бокъ съ пріѣзжимъ, который нѣсколько удивленно косился въ мою сторону.

— Татьяна Николаевна, вы долго намѣрены нѣжиться?—наклонился онъ еще разъ въ повозку.

Въ одно мгновеніе я отстранилъ, безъ дальнихъ церемоній, усатаго господина, вскочилъ на подножку и принялъ въ объятія только что проснувшуюся, до нельзя изумленную дѣвушку.

— Таня, родная!..

Веселый, жизнерадостный смѣхъ, неумолкаемое молодое щебетанье наполнили мою маленькую квартирку въ Кадаѣ. Точно свѣтлый лучъ солнца ворвался въ унылую жизнь, озарилъ и согрѣлъ своей лаской закоченѣвшую душу.

Рѣшительно отъ всего приходила Таня въ восторгъ, — и отъ моей квартиры, и отъ хозяевъ, и отъ кадаинской природы. Еще по дорогѣ со станціи, не смотря на сѣрый облачный день, она то-и-дѣло вскрикивала, обращаясь къ Ивану Григорьевичу:

— Стойте! смотрите, какой славный цвѣточекъ? Я слѣзу, сорву.

И мы оба вылѣзали изъ тарантаса и, какъ дѣти, бѣжали въ перегонку къ цвѣтку. Таня не уставала восхищаться окружающими ландшафтами. Я самъ съ удивленіемъ осматривался кругомъ, словно только что пробудившись отъ глубокаго сна. Въ своей упорной меланхоліи я чувствовалъ временами настоящую ненависть къ этимъ угрюмымъ сопкамъ, стѣснявшимъ горизонтъ и давившимъ душу; и мнѣ казалось, что этотъ край изгнанія самимъ Богомъ проклятъ и вѣчно, вѣчно долженъ быть покрытъ снѣгомъ, дышать холодомъ! Въ ожиданіи Танинаго пріѣзда, среди хлопотъ и тревогъ всякаго рода, я и не замѣтилъ, какъ въ окружающей природѣ совершилась рѣзкая, волшебная перемѣна, и теперь, почти не довѣряя глазамъ, видѣлъ эти недавно голыя, пасмурно-ледяныя вершины внезапно расцвѣтшими, зазеленѣвшими, заблагоухавшими чудными, медовыми ароматами. И своеобразная, строгая, величавая красота открывалась мнѣ въ огромномъ, пустынномъ морѣ зеленыхъ сопокъ...

— А я-то воображала, что увижу совсѣмъ, совсѣмъ другое!— весело болтала дѣвушка.

— Что же ты воображала, Таня? Что люди здѣсь съ собачьими головами, а вмѣсто неба—черная дыра?

— Не смѣйся надо мной, голубчикъ, но, право же, я испытываю самое пріятное разочарованіе! Я думала, напримѣръ, что ты до сихъ поръ носишь на рукахъ и ногахъ оковы, что къ тебѣ и въ вольной командѣ приставленъ постоянно часовой съ ружьемъ, а сама эта вольная команда—что-то вродѣ большой, мрачной казармы, гдѣ арестантовъ день и ночь заставляютъ маршировать по-солдатски, подъ бой барабана... Признаюсь, я думала тоже, что кромѣ солдатъ да каторжниковъ здѣсь и людей другихъ нѣтъ!

Таня говорила все это, волнуясь и краснѣя за свою молодую неопытность. Физически она не глядѣла уже дѣвочкой моихъ грезъ и воспоминаній: это была высокая, довольно недурная собой, стройно сложенная дѣвушка съ пышными бѣлокурыми локонами и большими васильковаго цвѣта глазами, и только въ глазахъ этихъ, всегда задумчивыхъ и серьезныхъ, видѣлся прежній наивно-мечтательный ребенокъ.

— Не въ оковахъ главное зло, Таня, — отвѣчалъ я съ улыбкой, - мнѣ не хотѣлось бы, конечно, выводить тебя изъ твоего пріятнаго разочарованія, и я отъ души желаю, чтобъ никогда не пришлось тебѣ вторично разочаровываться; но скажу одно. Люди здѣсь, быть можетъ, и не хуже сами по себѣ, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ, но надъ ними тяготѣетъ постоянный кошмаръ злыхъ, безчеловѣчныхъ порядковъ, обычаевъ и привычекъ. И сколько разъ приходится видѣть, какъ самый добрый по натурѣ человѣкъ совершаетъ здѣсь возмутительно-звѣрскіе поступки потому только, что ихъ можно совершать, принято совершать!

Но я видѣлъ, что охлаждающія замѣчанія проходятъ мимо ушей моей собесѣдницы. Чтобъ омрачить ея розовое настроеніе нужны были не слова, а факты, послѣдніе же пришли не сразу: мы жили вдали отъ подлинной каторжной жизни кадаинской кобылки со всей обычной безрадостностью ея существованія; многое я старался даже скрыть отъ сестры, и лишь значительно позже въ нашъ мирный уголокъ стали врываться кой-какіе мрачные диссонансы, отголоски мрачной дѣйствительности.

Что касается арестантовъ, то нечего и говорить, что они производили на нее въ первое время лишь пріятное, подкупающее впечатлѣніе; знакомство ея съ ними (какъ и мое въ Кадаѣ),

ограничивалось шапочными поклонами при встрѣчахъ на улицѣ. И Таня съ жаромъ говорила, обращаясь ко мнѣ:

— Да развѣ это не тѣ же люди, что и мы съ тобой, что и всѣ другіе? Тихіе, добрые люди, если только не причинять имъ зла. Господи, а въ Россіи-то какъ рисуютъ себѣ каторжника! Я первая побѣжала бы, сломя голову, прочь, если бы повстрѣчала его на одной изъ московскихъ улицъ!

Дуняшу Подуздову, о несчастномъ романѣ которой я успѣлъ уже разсказать сестрѣ въ общихъ чертахъ, она, не долго думая, приняла въ объятія и осыпала поцѣлуями, чѣмъ, разумѣется, привела каторжную дикарку въ неописуемое замѣшательство.

— Дуняша, милая,—говорила Таня, сажая ее рядомъ съ собою:—не унывай, голубушка, будь мужественна... Все перемелется—мука будетъ. Я глубоко увѣрена, что все это одно лишь глупое недоразумѣніе, которое не трудно разъяснить. И знаешь ли, какой планъ пришелъ мнѣ въ голову: въ первый же разъ, какъ поѣду въ Зерентуй, я зайду къ завѣдующему и сама поговорю съ нимъ о твоемъ дѣлѣ. И разъ только онъ вникнетъ въ него,—а ужъ я позабочусь объ этомъ!—всѣ тревоги ваши и бѣды сразу окончатся... Вотъ ты увидишь! Не я буду, если этой же осенью не повѣнчаю тебя съ твоимъ женихомъ... Дай только отдохнуть немного, придти въ себя—и я все это непремѣнно устрою!

Пришлось моей гостьѣ познакомиться и съ Костровымъ, къ которому, по прибытіи въ подвѣдомственный ему районъ, она обязана была лично явиться.

— Что жъ, — благодушно сказала она, вернувшись домой, — я не думаю, чтобъ онъ былъ злой человѣкъ и сознательно дѣлалъ дурныя вещи. По крайней мѣрѣ, онъ разговаривалъ при мнѣ съ однимъ арестантомъ, и тотъ держался такъ свободно, точно съ равнымъ себѣ.

Я былъ увѣренъ, что жалкій видъ арестантскихъ землянокъ произведетъ на Таню подавляющее впечатлѣніе, и съ нѣкоторой робостью повелъ ее въ одинъ ясный воскресный день знакомиться съ старой Подуздихой; но къ удивленію моему, и этотъ визитъ сошелъ какъ нельзя лучше. Да и то сказать: природа вокругъ такъ обольстительно зеленѣла и сверкала, іюньское солнце такъ причудливо золотило все своими теплыми ласкающими лучами, что и сама нищета глядѣла въ этотъ день красивѣе и довольнѣе обыкновеннаго.

— Плохо, конечно, живется имъ, бѣднягамъ, — такъ резюмировала сестра впечатлѣнія своего осмотра землянокъ,—но сколько есть на Руси совершенно свободныхъ, никакого наказанія не несущихъ людей, которымъ живется, однако, ничуть не слаще и не легче. Да если вѣрны твои разсказы о тюрьмѣ, т. е. не вызваны желаніемъ утѣшить меня, смягчить краски, то и тамъ жизнь рисуется мнѣ теперь не такой ужъ страшной, какъ прежде...

— Ну, словомъ, Таня,—пошутилъ я въ заключеніе,—ты ѣхала сюда утѣшать и ободрять страдальцевъ, а нашла заплывшихъ жиромъ буржуевъ, которымъ надо читать проповѣдь о страданіяхъ меньшаго брата!

Съ доброй улыбкой она закрывала мнѣ рукой ротъ и, надѣвъ шляпку, тащила меня гулять по сопкамъ. Бродя по окрестностямъ, тщетно искали мы защиты отъ палящихъ лучей солнца. Тощіе кусты боярышника и тальника, раскинувшіеся вдоль правой возвышенной стороны Кадаи, давали лишь слабое подобіе тѣни, и если мы всетаки любили среди нихъ скитаться, то, главнымъ образомъ, изъ-за ландышей, которые росли тамъ въ удивительномъ изобиліи. Безъ конца, безъ жалости, словно въ какомъ-то опьяненіи, рвали мы эти милые, душистые цвѣты и цѣлыми корзинами таскали къ себѣ въ комнату. Вставъ иногда рано на зарѣ, когда сестра еще крѣпко спала, я приносилъ огромные, обрызганные свѣжей росой букеты изъ ландышей и будилъ ее, осыпая цвѣтами. И, едва успѣвъ напиться чаю, торопясь и волнуясь, мы бѣжали собирать ихъ вмѣстѣ...

Не любила Таня лишь той части горы, гдѣ помѣщался рудникъ съ его колпаками, свѣтличками и другими строеніями. Мысль о томъ, что въ этихъ мѣстахъ лежатъ подземныя норы, гдѣ люди во тьмѣ и сырости долбятъ холодный, бездушный камень, поражала ее страхомъ, наполняла болью. Увидавъ еще издали зловѣщія постройки, она забывала всѣ свои недавнія разсужденія о томъ, что въ каторгѣ людямъ живется значительно легче, нежели свободнымъ рабочимъ на фабрикахъ, и тащила меня прочь, возможно дальше оттуда. А разъ, когда въ направленіи рудника послышался какой-то подозрительный звукъ, показавшійся ей лязгомъ кандаловъ, она, вся поблѣднѣвъ, съ крикомъ неподдѣльнаго ужаса кинулась бѣжать внизъ съ горы, спотыкаясь о камни и корни кустарника. Напрасно я, съ своей стороны, кричалъ, догоняя ее, что она ошиблась, что въ рудникъ

не водятъ закованныхъ арестантовъ, — она не слушала моихъ увѣреній и, не уставая, бѣжала впередъ.

— Ну, и нервозная жъ ты, будто кисейная барышня,—пробовалъ я пристыдить ее, когда, наконецъ, догналъ,—и мы, замедливъ шаги, пошли рядомъ.

Она молчала.

Долго не удавалось намъ побывать на вершинѣ гиганта-утеса, который высится по лѣвую сторону Кадай и съ котораго, по разсказамъ мѣстныхъ жителей, можно видѣть гребни горъ, стоящихъ за рѣкой Аргунью, въ китайскихъ владѣніяхъ. То слишкомъ поздно выбирались мы изъ дому и рисковали быть застигнутыми темнотой въ дорогѣ, то на пути встрѣчалъ насъ рѣзкій, пронизывающій холодомъ вѣтеръ, то какая-нибудь иная неудача. Неудовлетворенное любопытство только пуще разжигалось; шутя, мы начинали фантазировать, что съ вершины этой таинственной горы открывается, быть можетъ, видъ на райскій, никому невѣдомый уголокъ, совсѣмъ непохожій на мрачное дно кадаинской котловины съ ея бѣдной, печальной деревушкой, тощими лугами и однообразными сопками... И вотъ, выйдя однажды на прогулку раньше обыкновеннаго, мы рѣшили, во что бы то ни стало, достигнуть загадочной черты. Чѣмъ ближе мы къ ней подходили, тѣмъ сильнѣе волновались; топча увядающіе ургуи, саранў и другіе цвѣты, задыхаясь, мы почти бѣжали впередъ... Что-то увидимъ сейчасъ?

Я первый взбѣжалъ наверхъ и—замеръ въ невольномъ восхищеніи: прекрасная, широкая долина раскидывалась глубоко внизу, подъ ногами... Въ сизомъ туманѣ вечера, чуть озаренныя закатомъ, синѣли и краснѣли убѣгающія вдаль цѣпи горъ, и за самой дальней изъ нихъ смутно вилась, точно прядь сѣдыхъ волосъ, лента Аргуни... На мгновеніе чѣмъ-то роднымъ и мучительно-близкимъ, воздухомъ свободы пахнуло на душу отъ этой картины...

— Смотри, вѣдь это... это крестъ тамъ, внизу?—крикнула вдругъ Таня, прерывая торжественное молчаніе и указывая на одинъ изъ холмовъ, лежавшихъ вправо, подъ нашими ногами:— Смотри, и не одинъ даже, а нѣсколько!..

Дѣйствительно, можно было различить два или три высокихъ креста, и я сразу вспомнилъ ихъ происхожденіе. Я тутъ же разсказалъ Танѣ все, что зналъ объ одинокихъ кадаинскихъ могилахъ, и покаялся, что не собрался до сихъ поръ посѣтить ихъ.

— Такъ сію же минуту спустимся туда!—предложила моя увлекающаяся спутница. Но было уже слишкомъ поздно для такого предпріятія, да и прямого спуска къ холму мы не знали. Солнце уже совсѣмъ закатилось, и пора было подумать о возвращеніи домой. Мы оба такъ расхрабрились, что рѣшили сойти къ деревнѣ по крутой сторонѣ утеса, какъ представлявшей кратчайшій путь. Мы воображали себѣ, что спускаться внизъ гораздо легче, нежели подниматься вверхъ. Не сдѣлали мы, однако, и пятой части всего пути, какъ уже поняли свою ошибку: спускъ оказался необыкновенно крутымъ и опаснымъ для такихъ неопытныхъ туристовъ, и счастье еще, что мы выбрали случайно не самое трудное мѣсто. Приходилось временами почти перескакивать съ одного уступа на другой, стоявшій внизу, причемъ Таню я переносилъ туда на рукахъ; колючій кустъ шиповника нерѣдко обманывалъ зрѣніе, и, не разсчитавъ ни высоты, ни прочности уступа, я кубаремъ летѣлъ внизъ, увлекая за собой кучу каменьевъ и паденіемъ своимъ вырывая изъ устъ сестры крикъ ужаса. Съ трудомъ удавалось мнѣ уцѣпиться за какой-нибудь кустъ или камень, нащупать твердую почву и разглядѣть, куда идти дальше. Жутко было сходить внизъ, но еще страшнѣе казалось вернуться на верхъ, и мы продолжали спускаться, я—обливаясь потомъ, съ царапинами и порванной одеждой, спутница моя—блѣдная и пугливо притихшая... И лишь четверть часа спустя, когда мы очутились, наконецъ, у подошвы угрюмаго утеса, среди груды его развалинъ, окрестность опять огласилась веселымъ смѣхомъ и торжествующими криками!

Въ одинъ изъ ближайшихъ послѣ этого дней, прежде чѣмъ отправиться на могилу поэта, мы пошли взглянуть на домикъ, въ которомъ онъ жилъ и умеръ, и который, какъ сказали намъ, существовалъ еще въ полуразрушенномъ видѣ. Узнавъ, что домъ принадлежитъ сельскому старостѣ, мы придумали и предлогъ для осмотра: намѣреніе купить домъ.

Самъ хозяинъ, атлетъ-мужчина съ умнымъ, благообразнымъ лицомъ, повелъ насъ въ покинутое жилье. Загремѣлъ замокъ, дверь заскрипѣла на ржавыхъ петляхъ, и мы очутились въ просторной полутемной комнатѣ, куда свѣтъ пробивался сквозь одинъ на половину оторванный ставень (остальные были забиты наглухо).

Сѣней у избы давно не было. Голыя бревенчатыя стѣны промозгли и прогнили. На насъ пахнуло могильной сыростью, и со всѣхъ сторонъ хлынули грустныя преданія прошлаго...

— Сколько же просите вы за эту развалину?

— Шестьдесятъ рублей. Здѣсь еще Михаилъ Ларіоновичъ Михайловъ жили, здѣсь и умерли...—прибавилъ хозяинъ, очевидно, хорошо понимая настоящую цѣль нашего посѣщенія.

— Какъ, вы даже имя и отчество помните?

— Какъ живого, его передъ собой вижу! Славный былъ баринъ, добрый, хотя собой и незрачный... Мнѣ о ту пору лѣтъ десять было, какъ онъ померъ; братанъ мой и могилу копалъ.

Мы осыпали разсказчика всевозможными вопросами, но отвѣты, какъ и слѣдовало ожидать, оказались мало любопытными, имѣющими слишкомъ общій характеръ. Былъ добрый баринъ... Денегъ не жалѣлъ и никогда не запиралъ на замокъ стола, въ которомъ онѣ лежали („кучи, кучи, бумажекъ"!)... Все читалъ больше или писалъ... Книгъ „множе́ство" было...

Не больше сообщили намъ потомъ и другіе деревенскіе старожилы. Память о тѣхъ еще недалекихъ, сравнительно, временахъ, когда кадаинскимъ рудникомъ правилъ знаменитый приспѣшникъ Разгильдѣева—Кабаковъ, и подъ его ферулой находились Чернышевскій, Михайловъ и польскіе повстанцы 63-го года, сохраняется среди нихъ уже довольно смутно. Да и то сказать: жили они здѣсь изолированной отъ внѣшняго міра жизнью, проводя время, главнымъ образомъ, въ обществѣ книгъ, и что же характернаго могли знать о нихъ крестьяне?

Я не знаю, какимъ здоровьемъ пользовался поэтъ до своего переселенія въ Сибирь; въ Иркутскѣ онъ перенесъ, кажется, брюшной тифъ, но развитіе чахотки, унесшей его въ могилу послѣ одного лишь года пребыванія въ Кадаѣ, мѣстные обыватели приписывали исключительно дню похоронъ душевно-больного ссыльнаго Каро́ли, когда Михаилъ Ларіоновичъ не то застудилъ, не то повредилъ себѣ ногу. Съ этого времени болѣзнь пошла быстрыми шагами, и роковой конецъ сталъ неизбѣженъ...

Путь къ могилѣ лежалъ мимо знакомаго уже намъ гиганта-утеса. Здѣсь, среди гранитныхъ обломковъ мы повстрѣчали цѣлый лѣсъ свѣже-распустившихся марьиныхъ кореньевъ; отцвѣтающіе ургуи также виднѣлись во множествѣ. Вспугнутая нашими голосами семья ястребовъ съ тревожными криками поднялась изъ разсѣлины скал

и стала виться надъ нашими головами; вдали протяжно и уныло перекликались кукушки, а вверху, въ синемъ небѣ, не умолкая, разливалось торжественное пѣніе жаворонковъ. Набравъ по дорогѣ огромный пукъ цвѣтовъ, Таня усѣлась на одну изъ гранитныхъ глыбъ, и я не безъ удивленія увидалъ, какъ изъ этихъ скромныхъ, незатѣйливыхъ цвѣтовъ, ландышей, сараны, ургуевъ и марьиныхъ кореньевъ, подъ ея проворными и искусными пальцами выросталъ красивый, пышный вѣнокъ. Мы продолжали затѣмъ дорогу.

Мало замѣтный издали холмъ оказался вблизи высокимъ утесомъ, взобраться на который стоило немалаго труда. Не переведя духу, мы кинулись къ стоявшимъ на вершинѣ огромнымъ крестамъ. Ихъ было всѣхъ три, но одинъ, вѣроятно, давно уже поваленный бурей и весь источенный червями, лежалъ на землѣ. Къ немалому разочарованію нашему, всѣ три надписи оказались польскими...

— А гдѣ жѐ Михайловъ?—въ одинъ голосъ спросили мы другъ друга и инстинктивно направились къ краю обрыва, гдѣ безпорядочно наваленная груда бѣлыхъ каменьевъ (породы грубаго мрамора) обозначала, повидимому, чью-то безымянную могилу.— Не здѣсь ли?

Разспрашивая потомъ кадаинскихъ стариковъ и сличая ихъ показанія, мы убѣдились въ вѣрности этой догадки. Нѣкогда на этомъ мѣстѣ также стоялъ крестъ, поставленный родственниками поэта, но вотъ уже лѣтъ десять, какъ онъ упалъ и куда-то исчезъ,— по всей вѣроятности, украденъ кадаинцами на дрова (благо послѣднія представляютъ въ безлѣсной Кадаѣ цѣнный предметъ)...

Положивъ вѣнокъ на могилу, долго бродили мы съ грустными думами по утесу, осматриваясь кругомъ и любуясь открывавшимися съ него видами. Глазъ пріятно поражается, прежде всего обиліемъ ростущихъ тутъ незабудокъ: весь холмъ буквально залитъ ими и синѣетъ подъ ногами, какъ огромный голубой коверъ... Глубоко внизу, по темной лощинѣ тянется сѣрая лента деревни, а съ другихъ сторонъ, по краямъ горизонта, высятся унылыя остроконечныя сопки, словно стерегущія невозмутимый сонъ мертвецовъ.

Грустно и сиротливо здѣсь въ долгія забайкальскія зимы; утесъ, отъ низа до самой вершины, занесенъ сыпучимъ снѣгомъ и „лишь волками голодными навѣщаемъ порой“. Но за то въ остальныя времена года это одна изъ самыхъ живописныхъ въ Кадаѣ мѣстностей. Миромъ и поэзіей вѣетъ отъ гордо уединенныхъ могилъ, вырытыхъ далеко отъ чуждыхъ и враждебныхъ взоровъ. Въ ясные солнечные

дни воздухъ оглашается несмолкаемыми, безчисленными трелями жаворонковъ, привольно купающихся въ небесной лазури, и подъ ихъ торжественные звуки невольно вспоминаются стихи, помѣщенные въ „Отеч. Зап.“ 1871 года подъ скромными буквами М. М.:

Вышелъ срокъ тюремный—
По горамъ броди!..
Со штыкомъ солдата
Нѣтъ ужъ позади.
Воли больше... Что же
Стѣны этихъ горъ
Пуще стѣнъ тюремныхъ
Мнѣ тѣснятъ просторъ?
Тамъ, подъ темнымъ сводомъ,
Тяжело дышать,
Сердце уставало
Биться и желать.
Здѣсь, надъ головою,
Подъ лазурный сводъ
Жаворонокъ вьется
И поетъ—зоветъ...

Какъ золотой, блаженный сонъ, промелькнуло лѣто!

Въ одно прекрасное августовское утро мы были застигнуты совершенно врасплохъ извѣстіемъ, что рудникъ посѣтилъ, наконецъ, тотъ важный генералъ, пріѣзда котораго кобылка уже не одинъ годъ поджидала съ такимъ нетерпѣніемъ. Однако, не успѣли мы приготовиться къ событіямъ, какъ они стали уже дѣломъ прошедшаго... Наканунѣ, ровно въ 11 часовъ вечера, генералъ „прибѣжалъ“ въ Кадаю, а къ слѣдующему полудню его уже не было. И за этотъ короткій промежутокъ онъ успѣлъ совершить великое множество дѣлъ: выспаться, позавтракать, на мѣстѣ ознакомиться съ каторжнымъ вопросомъ, сдѣлать осмотръ тюрьмы, наконецъ, дать мѣстной администраціи необходимыя указанія и инструкціи. Съ такой же точно стремительностью и основательностью осмотрѣны были, очевидно, и прочіе рудники, и важный сановникъ поспѣшилъ отбыть въ Петербургъ, оставивъ по себѣ впечатлѣніе блеска, грома и тумана. Разсказывали, что самъ завѣдующій каторгой ходилъ въ эти дни, низко понуривъ голову, и немудрено: на какое-то его замѣчаніе послѣдовалъ суровый, раздражительный отвѣтъ въ присутствіи чуть-ли даже не арестантовъ:

— Я пріѣхалъ не совѣты выслушивать, а учить!..

За всѣмъ тѣмъ, мелкая каторжная администрація ликовала.

— Пронеслась гроза—гуляемъ!..—крикнулъ весело Костровъ, промчавшись куда-то мимо оконъ моей квартиры на парѣ своихъ рыжихъ и фамильярно пославъ мнѣ воздушный поцѣлуй.

Правда, многіе изъ арестантовъ, собиравшихся обратиться къ генералу съ различными просьбами и жалобами и не успѣвшихъ сдѣлать это, имѣли огорченный видъ, но скоро и они нашли утѣшеніе въ философическихъ размышленіяхъ.

— Ну, въ этотъ разъ не пофартило—пофартитъ въ другой. Онъ вѣдь, говорятъ, на Кару теперь побѣжалъ, а взадъ поѣдетъ—безпремѣнно опять къ намъ заглянетъ. Главная бѣда, не подпускали близко собаки эти—надзирателишки, а то бы онъ вникъ въ кажное дѣло, потому генералъ самый настоящій: и по закону, и противъ закона, говорятъ, власть ему дадена! И къ нашему брату доброта такая въ лицѣ!.. А смотрителишекъ не обожаетъ. Такъ и бреетъ ихъ, братцы мои, такъ вотъ и бреетъ! Взадъ поѣдетъ—тогда ужъ мы его такъ не пропустимъ.

Но вотъ однажды, рано по-утру,—мы съ Таней только что поднялись съ постелей,—отъ хозяевъ пришли сказать намъ, что какая-то женщина давно уже дожидается въ сѣняхъ нашего пробужденія. Мы велѣли немедленно впустить ее. Едва успѣвъ переступить порогъ, женщина со слезами повалилась мнѣ въ ноги. Въ маленькой сморщенной старушонкѣ я съ трудомъ узналъ нашу пріятельницу Подуздиху.

— Въ чемъ дѣло? Что случилось?

— Охъ, батюшки-свѣты, охъ, голубчики мои,—заголосила старуха,—увозятъ, усылаютъ!.. Охъ, злочастная я, горемычная!

— Кого увозятъ? Куда?

— Да Дуняху, дочку мою... На Соколиный островъ!

— Съ какой стати? Быть этого не можетъ. Встаньте, пожалуйста, разскажите толкомъ. Зачѣмъ ее увозятъ? Вѣдь ея срокъ черезъ мѣсяцъ кончается? Вздоръ это какой-нибудь, глупый арестантскій слухъ.

— Нѣтъ, не слухъ, батюшка. Какой ужъ тутъ слухъ,—захлебываясь въ горькихъ слезахъ, возразила Подуздиха:—еще третёводни, на вечерней повѣркѣ смотритель гумагу вычиталъ. Всѣхъ, молъ, холостыхъ бабъ, кому только сорока годовъ отъ роду нѣтъ, генералъ велѣлъ на Сахалинъ предоставить... А сегодня въ одиннадцатомъ часу и отправка!

— Что это? прошептала Таня, страшно поблѣднѣвъ и судорожно схватившись за мой рукавъ, точно опасаясь упасть:—Она бредитъ?..

Я вдругъ вспомнилъ о давнемъ стремленіи тюремнаго вѣдомства населить, во что бы ни стало, островъ Сахалинъ, вспомнилъ и о томъ, что подобныя отправки туда каторжныхъ женщинъ уже бывали въ прежніе годы; поэтому, какъ ни былъ я пораженъ неожиданной вѣстью, я молчалъ.

— Но вѣдь у нея женихъ, у нея мать!—ломала руки Таня,—это невозможно, это безчеловѣчно!

— Матушка ты моя, у Пелагеи Концовой трое дѣтей отъ неродного мужа, а и ту вычитали въ гумагѣ, потому по закону ты, говорятъ, холостая.

— Нѣтъ, этого нельзя допустить! Иванъ Николаевичъ сейчасъ же отправится къ Кострову. Или нѣтъ, я лучше сама съ нимъ отправлюсь... Тутъ, навѣрное, какое-нибудь страшное недоразумѣніе... И подумать, что это я все надѣлала! Боже, Боже, сколько я времени пропустила, и теперь—вотъ!..

— Благодѣтели вы наши,—бухнулась опять въ ноги Подуздиха,—заступитесь за насъ, сиротъ. Не на кого больше надѣяться!

Но я не двигался съ мѣста. Таня вспыхнула.

— Ну, что же ты, словно пень безчувственный, стоишь?—сказала она, метнувъ на меня гнѣвный взоръ:—Скорѣе, сію минуту пойдемъ!

Но не успѣлъ я высказать свое мнѣніе о безполезности всякаго заступничества, особенно съ нашей стороны (и передъ кѣмъ же? Передъ безвластнымъ въ этихъ вопросахъ смотрителемъ!), какъ дверь съ шумомъ распахнулась, и въ комнату не вошелъ, а влетѣлъ, въ растерзанномъ видѣ, съ разстегнутымъ воротомъ рубахи, безъ шапки, высокій, блѣдный, задыхающійся человѣкъ. Я не узналъ въ первый моментъ Бусова и, сочтя его за какого-нибудь пьянаго крестьянина, инстинктивно поспѣшилъ навстрѣчу.

— Иванъ Николаевичъ, не у васъ ли?!—завопилъ Бусовъ хриплымъ, полнымъ ужаса голосомъ, и, оглядѣвъ присутствующихъ, опустился безпомощно на полъ и, рыдая, сталъ рвать на себѣ волосы.

Пораженный этимъ взрывомъ отчаянія взрослаго, сильнаго человѣка и еще не вполнѣ понимая, въ чемъ дѣло, я старался успокоить его, уговорить подняться и разсказать все по порядку.

— Вы, Андрей, точно по мертвой, по невѣстѣ своей плачете, а вѣдь не на тотъ же свѣтъ ее увозятъ. Въ концѣ концовъ, развѣ вы не можете и сами перепроситься на Сахалинъ? Съ вашимъ мастерствомъ вы нигдѣ не пропадете. Стыдитесь такъ малодушествовать!

— Малодушествовать? — подхватилъ мое слово Бусовъ, переставъ вдругъ плакать и бросивъ на меня почти злобный взглядъ:— да вѣдь ея въ живыхъ теперь нѣтъ ужъ! Поймите вы это! Или вы, какъ господинъ Костровъ, скажете: бродяжить ушла? Полноте, господа, народъ смѣшить. Не пойдетъ она бродяжить, не таковская. А я знаю теперь, гдѣ ее искать надо: въ старыхъ шахтахъ — вотъ гдѣ!..

И, проворно поднявшись, онъ хотѣлъ выйти вонъ; старая Подуздиха еле успѣла поймать его за рукавъ.

— Что ты, Андрюша, Господь съ тобой, опомнись! Я вѣдь сію минуту видала Дуняху.

Бусовъ сердито остановился на порогѣ.

— Когда ты ее видала? Гдѣ?

— Да вотъ какъ сюда побѣгла, къ Ивану Миколаичу... Дай, думаю, схожу,—люди они образованные, не наша темнота дурацкая, авось что и посовѣтуютъ... А Дуняха того жъ часу въ рудникъ пошла: надыть, говоритъ, въ кузницу сходить, Андрея повидать,—это тебя, значитъ, повидать.

— Да не была она въ кузницѣ, не была вовсе! А сказываютъ которые изъ кобылки — вверхъ по горѣ, молъ, пошла... Свѣтличный сторожъ, сказываютъ, видѣлъ. „Ты куда, спрашиваетъ, Авдотья, идешь?“ „Цвѣточковъ, говоритъ, на прощанье Андрюшѣ своему нарвать иду“. Съ тѣмъ и ушла въ сопку. Не повѣрилъ я втапоры: бѣтаетъ, думаю, кобылка... Галится надо мной, попужать хочетъ... Побѣгъ сначала сюда, ну, а видно...

Подуздиха заголосила, запричитала... Поспѣшно одѣвшись и сказавъ Танѣ, чтобы она оставалась дома, я отправился въ тюрьму. Бусова уже не было на улицѣ.

Въ квартирѣ смотрителя я засталъ необычное движеніе. Голосъ Кострова, разъяреннаго, какъ дикій звѣрь, гремѣлъ на весь домъ. Онъ продолжалъ кричать на надзирателей и ругаться непечатными словами, даже когда увидалъ меня.

— Сволочи, черти! Всѣхъ въ кандалы закую! Въ карцерѣ сгною, за-по-рю!.. Ахъ, не до васъ мнѣ теперь,—грубо отмахнулся онъ

въ мою сторону, понижая, впрочемъ, охрипшій голосъ и не глядя прямо въ глаза: — Вы не знаете, что творится здѣсь. Они подъ судъ меня упечь хотятъ, негодяи! Я, видите ли, по простотѣ душевной, раньше срока объявилъ объ отправкѣ на Сахалинъ. По настоящему-то, надо было въ самое утро отправки, сегодня прочитать бумагу и сейчасъ же послѣ того арестовать, кого слѣдуетъ. Оно такъ, по правдѣ сказать, и предписано мнѣ было сдѣлать... А я думаю себѣ: люди вѣдь тоже... Надо имъ дать приготовиться, собраться... По человѣчеству-то лучше... А они, вотъ, мерзавцы, какое человѣчество мнѣ преподнесли! Представьте себѣ, двѣ дѣвки сегодня ночью бѣжали со своими любовниками! Ну, а кто теперь, позвольте спросить, отвѣтитъ за это? Я, одинъ я! Но только я на днѣ морскомъ розыщу негодяекъ и шкуру спущу со сволочей! Въ свою голову запорю... Ей-Богу, запорю, самъ, собственными руками!

— А и вы тоже хороши! — вдругъ накинулся Костровъ на оробѣвшую толпу стоявшихъ кругомъ надзирателей,—вы-то чего же глядѣли? За что вы жалованье получаете? Я всѣхъ васъ подъ судъ отдамъ, вотъ что! Въ Сибирь отправлю!..

Тутъ Костровъ, однако, сообразилъ, что зарапортовался, грозя сибирякамъ ссылкой въ Сибирь, и поспѣшилъ поправиться:

— Всѣхъ до одного разсчитаю, всѣхъ! Черти, сволочи!

— Позвольте доложить, господинъ смотритель...—заговорилъ было кто-то изъ надзирателей, заикаясь отъ страха, но Костровъ гаркнулъ во всю глотку:

— Мольчать (по сибирски выговаривая слово молчать)! Мольчать, коли васъ не спрашиваютъ!

И тутъ же прибавилъ съ любопытствомъ:

— А въ чемъ дѣло?

— Позвольте доложить, господинъ смотритель, Андрей Бусовъ не бѣжалъ.

— Бусовъ? Не говорите вздора. Я вполнѣ увѣренъ, что эта хитрая цыганская морда бѣжала вмѣстѣ съ Лушкой.

Тутъ я счелъ возможнымъ вмѣшаться въ разговоръ и разсказать про свое свиданіе съ кузнецомъ и про его опасенія. Костровъ разразился насмѣшливымъ хохотомъ:

— Ха-ха-ха! Ловко придумалъ бестія — въ старую, мол, шахту бросилась. Нашелъ дуру! Такъ я и повѣрилъ! Баба хочетъ отвести. Спряталъ ее самъ, чтобъ потомъ вмѣстѣ убѣжать.

когда партія уйдетъ на Сахалинъ и розыски утихнутъ. Ну, да не на такого простака напали... Сейчасъ же извольте арестовать этого мерзавца и держать подъ строжайшимъ карауломъ! Нѣтъ, лучше всего въ тюрьму отвести. Собственной головой мнѣ за него отвѣчаете. А Дуньку продолжать розыскивать. Коли Бусовъ здѣсь, значитъ, и она неподалеку. Ну, а про другую пару не слышно ль чего? Гдѣ Сенька съ Катькой?

— Не могимъ знать, господинъ смотритель, — отвѣчали надзиратели,—тѣ, надо полагать, дѣйствительно убѣгли...

— „Двиствительно, двиствительно"...—передразнилъ Костровъ со злобой:—по мордасамъ, дѣйствительно, слѣдовало бы кое-кого отхлестать. Чего жъ вы торчите тутъ? Ступайте дѣлать, что вамъ приказано.

Надзиратели моментально скрылись.

— Что же, однако, теперь будетъ?—жалобно застоналъ тогда смотритель, обращаясь ко мнѣ:—Что я завѣдующему донесу? Изъ пяти бабъ, которыхъ я долженъ сегодня доставить, цѣлыхъ двухъ недостаетъ... Чортъ знаетъ, что такое! Да еще третья,—вообразите, какія нѣжности!—горячкой внезапно захворала... Само собой, притворство. Дрянью какой-нибудь облопалась — это онѣ умѣютъ. Мастера на всякія каверзы! Только мнѣ до этого нѣтъ дѣла. Эту-то госпожу я все равно въ Горный отошлю, а тамъ пускай докторъ, какъ знаетъ, разбирается.

Я, наконецъ, тоже оставилъ Кострова. Мнѣ хотѣлось поскорѣй повидать Бусова.

Стояло ясное теплое утро. Сопки, одѣтыя едва начавшей блекнуть зеленью, утопали въ солнечномъ блескѣ. Свѣтличка въ рудникѣ ослѣпительно-ярко сверкала порыжѣлыми стеклами своихъ оконъ. По какому-то инстинкту я направился вверхъ по горѣ. Тамъ вдали блеснули на солнцѣ штыки быстро двигавшагося отряда казаковъ.

Отъ рудника вдругъ послышался громкій, звавшій кого-то голосъ:

— Сюда! сюда!

Я невольно ускорилъ шаги и на одномъ изъ утесовъ увидалъ человѣческую фигуру, неистово махавшую краснымъ флагомъ. Находившіеся дальше меня казаки, очевидно, тоже его замѣтили: они вдругъ остановились, точно совѣщаясь о чемъ-то; еще разъ сверкнули штыки, и отрядъ повернулъ къ не-

перестававшему кричать человѣку. Это былъ Бусовъ. Я первый къ нему подбѣжалъ. Съ ногъ до головы онъ былъ мокръ отъ лившаго рѣкой пота, и мнѣ показалось даже, что черные, какъ смоль, волосы кузнеца слегка покрыты бѣлой пѣной, какъ у взмыленной отъ долгой и быстрой ѣзды лошади.

— Ну, что, Андрей? - спросилъ я, задыхаясь.

— Нашелъ... Сюда! сюда!—закричалъ онъ опять, возбужденно размахивая своимъ флагомъ.

Я недоумѣвалъ: если онъ нашелъ Авдотью живою, то съ какой стати призываетъ конвой?..

— Чего ревешь?—сердито спросилъ, приблизившись, плечистый урядникъ съ непріятнымъ багрово-угреватымъ лицомъ:—кого тутъ нашелъ?

— Авдотью нашелъ, пойдемте.

Казаки молча переглянулись, и всѣ мы послѣдовали за Бусовымъ. Сквозь колючій кустарникъ боярышника и шиповника, черезъ высокія кучи колчедана и забракованной старой руды, ярко блестѣвшей на солнцѣ, онъ, наконецъ, привелъ насъ къ большой земляной выемкѣ, усѣянной камнями и поросшей бурьяномъ. По срединѣ валялись старыя полусгнившія доски, и рядомъ зіяло черное отверстіе колодца съ полуразрушеннымъ срубомъ. Это была старая шахта...

Урядникъ первый нарушилъ молчаніе.

— Ты, собачья шерсть, не дури,—обратился онъ къ Бусову, энергично потрясая передъ самымъ его носомъ огромнымъ кулачищемъ,—ты начальства со слѣдовъ не сбивай! Какого лѣшаго ты тутъ нашелъ? Гдѣ видишь?

— Лѣзьте туда, увидите,—спокойно отвѣчалъ кузнецъ.

— Самъ лѣзь, варначья душа! Нашелъ тоже дураковъ... Да тутъ и подступиться-то боязно, живой рукой внизъ полетишь... Гниль вѣдь одна... А тамъ теметь! Нешто тутъ можно что увидать? Десятокъ-другой саженъ, поди, будетъ? А на низу, небось, вода?

Казаки зашумѣли; на арестанта посыпались со всѣхъ сторонъ угрозы, брань.

— Вотъ что я скажу вамъ, господа служивые,—началъ Бусовъ прежнимъ ровнымъ голосомъ (онъ только страшно былъ блѣденъ, спокойствіе же нашло на него удивительное съ той самой минуты, какъ подошелъ конвой):—не серчайте лучше, а выслухайте. Я-то съ утра еще знаю, что Авдотьи въ живыхъ нѣтъ

на свѣтѣ; теперь же и вы примѣты можете видѣть, гдѣ искать упокойницу. Перво-на-перво вотъ вамъ ейный платокъ, я здѣсь его поднялъ, возлѣ самой шахты.

Взоры всѣхъ устремились на красный платокъ, который онъ держалъ въ рукахъ и которымъ махалъ передъ тѣмъ, точно флагомъ, надъ головою.

— Ну, это, положимъ, ничего не обозначаетъ,—началъ было урядникъ послѣ минуты общаго молчанія:—подшалокъ она обронить могла, а сама уйти...

— А доски-то? Ослѣпли? съ внезапнымъ остервенѣніемъ кинулся Бусовъ къ лежавшимъ подлѣ колодца доскамъ:—вѣдь шахта то, поди, закрыта была... Нешто старой шахтѣ полагается раскрытой стоять?

На мгновеніе всѣ опять замолчали, сраженные вѣскимъ доводомъ.

— Для отвода глазъ!—крикнулъ вдругъ тоненькимъ голоскомъ безусый казакъ съ востренькимъ носикомъ и бѣлобрысыми волосами:—для отвода глазъ сдѣлано!

— Это надоть обслѣдовать,—рѣшилъ урядникъ,—коли отводъ глазъ, такъ ты, братецъ, по закону отвѣтишь, а коли нѣтъ... Айда, ребята, кто-нибудь въ свѣтличку живымъ манеромъ по веревку сбѣгайте. Да фонарь не забудьте. А ты, Пуговкинъ, за хорунжимъ айда поскорѣй! При этакомъ дѣлѣ безпремѣнно надоть, чтобъ господинъ офицеръ присутствовалъ.

Пуговкинъ, тотъ самый бѣлобрысый казакъ съ востренькимъ носикомъ, что предполагалъ отводъ глазъ, подхватилъ на плечо берданку и стремглавъ кинулся внизъ съ горы; слѣдомъ за нимъ побѣжали въ свѣтличку два другихъ казака. Оставшіеся принялись обсуждать планъ дѣйствій. Они бѣгали кругомъ шахты, не рѣшаясь, впрочемъ, подступиться слишкомъ близко къ отверстію, топали ногами, испытывая прочность почвы, кричали безъ толку и перебранивались другъ съ другомъ. Бусовъ, апатичный и, словно, сонный, стоялъ въ сторонѣ, не принимая въ общей сутолокѣ никакого участія. Я сидѣлъ по-одаль на камнѣ и наблюдалъ.

Не прошло и получасу, какъ посланные вернулись съ канатомъ, а черезъ пять минутъ верхомъ на бѣломъ конѣ прискакалъ и молодой хорунжій. Рослый, румяный, съ круглымъ, еще безбородымъ лицомъ, которое безпрестанно подергивалось капризными гримасами, съ манерными тѣлодвиженіями и интонаціями

голоса, онъ принялъ отъ урядника рапортъ о случившемся и сталъ распоряжаться.

— Ну, лѣзьте, ребята... Обвяжитесь кто-нибудь веревкой вокругъ шеи... то бишь, вокругъ туловища. А вы, другіе всѣ, держите крѣпче!

Но охотниковъ обвязаться и лѣзть не отыскивалось.

— Чего же вы жметесь, трусы этакіе?—разсердился хорунжій.— Коли приказываетъ офицеръ, должны въ огонь и воду лѣзть! Вообразите, что передъ вами находится непріятель.

— Они боятся, ваше благородіе,—вступился урядникъ,—что тамъ воздухъ душно́й. Задохнуться, говорятъ можно...

— Чепуха, братецъ... А, впрочемъ, бываетъ,—согласился тотчасъ же офицеръ и принялся плясать на сердито ерзавшемъ подъ нимъ сухопаромъ иноходцѣ.—Ну, такъ какъ же?

— А вотъ его бы прежде послать,—указалъ урядникъ на Бусова,—потому какъ онъ женихъ... Да онъ же и показаніе на эту шахту даетъ.

— Дѣло, дѣло!—обрадовался начальникъ.—Ну, такъ ты, братецъ, того... Изволь-ка туда спуститься... Да поживѣй у меня! Не смѣть отказываться!

Но Бусовъ и не думалъ отказываться. Проворнымъ движеніемъ обмоталъ онъ вокругъ себя веревку, схватилъ въ руки фонарь и, едва-едва успѣли казаки опомниться и подхватить свободную часть каната, — очертя голову, ринулся въ темную шахту.

— Прямо шамашедшій какой-то,—буркнулъ себѣ подъ носъ урядникъ.

— Молодчага, духъ, значитъ, имѣетъ!—громко похвалилъ хорунжій, красиво гарцуя вокругъ

Веревка опускалась быстро и долго.

— Саженъ двѣнадцать, коли не болѣ, ушло ужъ,—переговаривались между собой державшіе.

Къ компаніи присоединились въ это время два запыхавшихся надзирателя, посланцы Кострова. Урядникъ шепотомъ посвятилъ ихъ въ положеніе вещей.

— Стопъ машина! На твердую почву сталъ, ослабла веревка.

Всѣ затаили невольно дыханіе.

— Ну, чего тамъ?—гаркнулъ урядникъ, осторожно подходя къ краю шахты.

Даже молодцоватый хорунжій прекратилъ на время свои прыжки и гримасы.

— Ну?—протянулъ онъ нетерпѣливо.

На днѣ шахты царило молчаніе. Урядникъ еще нѣсколько разъ крикнулъ туда—отвѣта не было. Такъ прошло минутъ десять, въ томительномъ ожиданіи.

— Видно, привязывать.

— Кого?...

— Да упокойницу-то... Сперва ее, должно, подыметъ, а потомъ ужъ самъ.

— Да дергайте же, что-ли, канатъ! Чего онъ прохлаждается тамъ, скотина?—скомандовалъ, наконецъ, офицеръ.

Казаки энергично задергали... Снизу, какъ бы въ отвѣтъ, веревка тоже слегка дрогнула.

— Тащить велитъ, тащить! Пошелъ, паря, поливай!—И человѣкъ пять казаковъ, ухватившись за канатъ, начали изо всѣхъ силъ тужиться; къ нимъ присоединились и надзиратели.

— У, какая чижолая, варначка!

— Не даромъ, говорятъ, вашего Кострова стряхивала.

Авторы этихъ грубыхъ шутокъ, повидимому, самихъ себя подбадривали ими: они, очевидно, порядкомъ трусили, ожидая, что вотъ-вотъ вытащутъ наверхъ изуродованный трупъ самоубійцы... Хорунжій, дѣлая съ своей стороны видъ, что не слышитъ разговора своихъ подчиненныхъ, ухарски подбоченясь, по прежнему плясалъ на конѣ.

— Ну-ну-ну, паря, еще разикъ... У-ухъ!

И изъ колодца вынырнула черная голова Бусова. Всѣ удивленно вскрикнули. Хорунжій побагровѣлъ отъ злости, и румяное, упитанное лицо его искривилось дѣтски-капризной гримасой.

— Ты это что же, братецъ, а? Ты надо мной смѣешься, что ли? Вотъ я нагайками велю тебя отодрать, собачьяго сына. Я тутъ время изъ-за тебя даромъ теряю... Ты почему не тащилъ, коли нашелъ?

— Тащите сами, ежели вамъ нужно,—глухо, едва слышно отозвался Бусовъ. И, не сбрасывая намотанной вокругъ туловища веревки, усѣлся на срубѣ шахты.

На мгновеніе отвѣтъ этотъ ошеломилъ всѣхъ; но затѣмъ молодой офицеръ, забывъ всякую осторожность, сдѣлалъ къ шахтѣ гнѣвный прыжокъ и, нагнувшись съ коня, ударилъ арестанта на-

гайкой по лицу. Ярко-пунцовый слѣдъ обозначился тотчасъ отъ лѣваго иска до правой щеки...

— Такъ-то ты отвѣчаешь, мерзавецъ, офицеру? Разсказывай, что видѣлъ?

Но Бусовъ даже не взглянулъ на своего палача. Не дрогнувъ ни однимъ мускуломъ, низко свѣсивъ голову, онъ продолжалъ сидѣть верхомъ на срубѣ, точно погруженнный въ глубокую думу. Бросивъ въ это время свой наблюдательный постъ и подойдя совсѣмъ близко къ мѣсту дѣйствія, я снова обратилъ вниманіе на волосы кузнеца, покрытые, какъ мнѣ еще раньше показалось, бѣлою пѣной, какая бываетъ на загнанныхъ лошадяхъ: это была—сѣдина, отчетливо серебрившаяся теперь на черной смоли волосъ!..

— Ваше благородіе, этого артиста намъ арестовать приказано,— подошелъ къ хорунжему, дѣлая подъ козырекъ, одинъ изъ тюремныхъ надзирателей.

— Туда ему и дорога, мерзавцу! — сердито отвѣчалъ хорунжій, отъѣзжая въ сторону.

Надзиратели кинулись къ Бусову, освободили его отъ веревки и повели. Онъ не сопротивлялся.

— Андрей, вы ее видѣли?—тихо спросилъ я, осторожно тронувъ кузнеца за рукавъ.

Онъ вздрогнулъ, поднялъ на меня глубоко ввалившіеся, потускнѣвшіе глаза и утвердительно мотнулъ головой. И онъ показался мнѣ въ эту минуту не молодымъ, красивымъ и сильнымъ человѣкомъ, какимъ еще на дняхъ я зналъ его, а жалкимъ, сгорбленнымъ старикомъ...

— Вотъ вѣдь какихъ безпокойствъ всему свѣту надѣлали, варначье сѣмя!—словно ища сочувствія, обратился ко мнѣ арестовавшій Бусова надзиратель.

Я, молча, пожалъ плечами и, оставивъ печальную процессію, поспѣшилъ домой.

Къ вечеру съ Таней сдѣлался жаръ и бредъ. Ей мерещились бѣглые арестанты, укрывавшіеся по угламъ нашей комнаты, солдаты, рыщущіе по всей деревнѣ, ихъ сверкающіе на солнцѣ штыки и угрожающіе крики. Волнуясь и гнѣвно жестикулируя, она куда-то посылала меня хлопотать, жаловаться, плакала, проклинала, молила... Меня охватывалъ ужасъ при мысли, что съ ней начинается нервная горячка, а я не знаю, что дѣлать, что

предпринять. Горькими упреками осыпалъ я себя, проклиная свой эгоизмъ, свое легкомысліе и давая пламенные обѣты—какъ только установится зимній путь, немедленно отправить сестру въ Россію. Къ счастію, некогда было предаваться безплоднымъ самоугрызеніямъ: приходилось день и ночь работать, пуская въ ходъ тѣ убогія медицинскія познанія, какія у меня имѣлись. И судьба сжалилась надъ моей безпомощностью: жаръ постепенно исчезъ, и дня черезъ три больная, хотя и страшно еще блѣдная, слабая, уже могла сидѣть въ постели. Всякая опасность, очевидно, миновала.

Но когда счастливый и радостный, я подошелъ къ Танѣ и, улыбаясь, взялъ ея руку, она вдругъ упала мнѣ на грудь и залилась горькими слезами.

— Милый мой, дорогой! Неужели одна смерть можетъ избавить отъ этого ужаса?..

ЭПИЛОГЪ.

Прошли годы. Все на свѣтѣ имѣетъ свой конецъ—окончилась и моя каторга. Уже многое, очень многое начинаетъ изглаживаться изъ памяти, и когда въ душѣ выплываетъ порой изъ забвенія тотъ или иной образъ, то или другое событіе, случается—я спрашиваю себя: „что это — дѣйствительно такъ было, или вспомнился какой-нибудь сонъ?..“ Впрочемъ, записки эти, составленныя на половину еще въ каторгѣ, уже навсегда сохранятъ для меня самого главное, важнѣйшее. и когда я пересматриваю ихъ, — все пережитое, до послѣднихъ мелочей, такъ явственно возникаетъ опять изъ темной глубины прошлаго. И такъ близки становятся снова всѣ эти „мараказы“, „тарбаганы“, „дюди“, всѣ эти голодные, дикіе, невѣжественные, жестокіе, несчастные безъ конца люди, прежде всего и больше всего—„несчастные“! Сердце опять болитъ и мучительно стонетъ! И хочется порой снова очутиться въ ихъ средѣ, снова дѣлить ихъ горькую участь, пытаться находить искру свѣта на днѣ ихъ душевнаго мрака... И такъ стыдно становится за себя, за то, что опять живешь въ станѣ „ликующихъ“, въ станѣ „праздно-болтающихъ“!..

Нерѣдко страшные, кошмарные сны посѣщаютъ меня по ночамъ, и среди ужаса, боли и страданій всякаго рода мелькаютъ въ разгоряченномъ мозгу знакомые призраки. Такъ пригрезился мнѣ однажды неудачный побѣгъ изъ тюрьмы нѣсколькихъ арестантовъ, въ чомъ числѣ и Петина-Сохатаго. Озвѣрѣлые солдаты избили его штыками и прикладами, и, умирая на моихъ глазахъ, онъ тихо и жалобно стоналъ, вытянувшись на землѣ во весь свой гигантскій ростъ. Незнакомый врачъ склонился надъ нимъ

и гуттаперчевымъ молоткомъ постукивалъ для чего-то по грудной клѣткѣ, пересчитывая сломанныя ребра... Кругомъ еще шумѣли солдаты, свирѣпо потрясая въ воздухѣ берданами.

Рѣдкіе и скупые слухи доходятъ до меня объ оставленныхъ въ каторгѣ сожителяхъ. Чирокъ отбылъ, наконецъ, свой срокъ и очутился на поселеніи въ городѣ Читѣ, гдѣ поступилъ въ водовозы. Башуровъ писалъ мнѣ объ одной встрѣчѣ съ нимъ. Чирокъ былъ въ щеголеватыхъ смазныхъ сапогахъ съ широкими раструбами и въ красной кумачной рубахѣ; встрѣча со старымъ знакомцемъ привела его въ восторгъ, и все лицо его лоснилось отъ разлившейся по немъ широкой улыбки. Разспросамъ обо мнѣ конца не было: гдѣ я? женился ли? скоро ли въ Расею поѣду? Башуровъ, между прочимъ, сообщилъ ему, что я вскорѣ „пропечатаю“ все, что мы пережили вмѣстѣ въ Шелаѣ. Чирокъ и къ этому извѣстію отнесся вполнѣ благосклонно...

Разскажу и то немногое, что извѣстно мнѣ о дальнѣйшей судьбѣ старика Павла Николаева. Вотъ что писалъ про него тотъ же Валерьянъ, съ которымъ онъ, послѣ разлуки со мной въ Стрѣтенскѣ, продолжалъ обратный путь къ Верхнеудинску. „Его мечтой было пѣть по праздникамъ на клиросѣ въ Троицкомъ монастырѣ, а въ будни—собирать Христовымъ именемъ милостыню. Правда, его смущала нѣсколько мысль, что онъ связался съ такой нечистью, какъ карты, но въ минуты спокойнаго настроенія онъ надѣялся и невинность соблюсти (замолить грѣхъ), и капиталъ пріобрѣсти. Къ сожалѣнію, его угнеталъ большею частью страхъ не выручить даже и положенныхъ въ предпріятіе собственныхъ денегъ. По двадцати разъ на день принимался онъ высчитывать, сколько уже затратилъ на майданъ, и ужасаться, какъ мало успѣлъ вернуть. А тутъ еще приходятъ просить въ долгъ—кто на копѣйку сахару, кто листъ курительной бумаги, а кто на цѣлый пятачекъ табаку... Какъ станешь давать?.. Пропадетъ!.. Начинаются пренія. Достаточно обруганный, осмѣянный, Николаевъ въ концѣ концовъ даетъ въ долгъ, и въ результатѣ всѣ недовольны: онъ самъ—тѣмъ, что не выдержалъ характера и далъ, а получившій — тѣмъ, что изъ-за коробки спичекъ вышло столько грѣха. Иные дѣйствовали на него крикомъ, нахальствомъ, и тогда онъ давалъ сразу цѣлые рубли, а послѣ съ какой-то растеряпностью дѣлился со мной своимъ горемъ, положительно недоумѣвая, какимъ образомъ онъ далъ, да еще человѣку-то

ненадежному... Въ концѣ концовъ Николаевъ сдѣлался общимъ посмѣшищемъ; не ругалъ его въ партіи только лѣнивый. О какой-либо хозяйственности его, практической распорядительности и говорить нечего. Его, напримѣръ, невозможно было уговорить покупать для всѣхъ мясо, рыбу. Разъ онъ сдѣлалъ было такую попытку (еще въ самомъ началѣ пути), и когда партія встрѣтила по дорогѣ гуртъ барановъ, послѣ долгихъ сомнѣній и колебаній купилъ одного. Но по приходѣ на этапъ, когда баранъ былъ заколотъ и освѣжеванъ, и нахлынула масса покупателей, Николаевъ сталъ втупикъ: какъ продавать безъ вѣсовъ? Какъ бы самому не прогорѣть („безъ рубахи не остаться"), продавая мясо на глазъ? Баранину чуть не рвали у него изъ рукъ, и, вѣроятно, бѣднягѣ ни разу въ жизни не пришлось выслушать столько ругани и столько ядовитыхъ насмѣшекъ, какъ въ этотъ злополучный день; однако, къ чести его надо сказать, что въ этотъ разъ онъ твердо защищалъ свое добро. Весь красный, облитый потомъ, охрипшій отъ крика, онъ неутомимо подавалъ во всѣ стороны сердито-забавныя реплики и настоялъ таки на своемъ рѣшеніи— не начинать до тѣхъ поръ продажи, пока не отыщется безменъ. Безменъ нашелся только на другое утро, и тогда мясо было расхватано такъ быстро, что Николаевъ не успѣлъ даже сообразить и запомнить, сколько кому отвѣсилъ, съ кого получилъ деньги, съ кого нѣтъ. Для самого хозяина не осталось даже и крошечнаго кусочка баранины. Всѣ объясняли это его скопидомствомъ, и старика опять до того осмѣяли, что сала онъ ужъ ни за что не продалъ, какъ къ нему ни приставали и какую цѣну ни набивали. Однако онъ хранилъ это сало въ туесѣ такъ долго (все собираясь устроить себѣ „пиръ горой"), что оно, наконецъ, провоняло, такъ что пришлось его выбросить вмѣстѣ съ посудой... Подъ вліяніемъ насмѣшекъ же купилъ себѣ однажды Николаевъ молока къ чаю и калачей. Нужно было видѣть самодовольную гордость, съ какой онъ пилъ чай („вотъ мы какъ теперь!"), гордость, смѣшанную, правда, съ сожалѣніемъ: „что жъ, молъ, ничего не подѣлаешь... Noblesse oblige".

„Но самымъ главнымъ испытаніемъ были для него карты. Эта область настолько превосходила силу его пониманія, что онъ даже и вникать въ нее не пробовалъ. Все время игры старикъ бодрствовалъ, молясь, чтобы выигралъ забравшій у него для игры деньги, а подъ конецъ напряженнаго ожиданія впадая обыкно-

венно въ тупое отчаяніе. Кто бы ни выигралъ, ему перепадало одинаково мало. Даже тамъ, гдѣ онъ ясно видѣлъ, что его обсчитываютъ, онъ безсиленъ былъ что-либо предпринять. Такъ, случалось, что за извѣстное вознагражденіе ему предлагали слѣдить въ другой камерѣ за правильностью взносовъ въ его пользу. Однако на слѣдующій день выплывало наружу, что нанятый соглядатай безсовѣстно обманулъ его, оставивъ себѣ, кромѣ выговоренной платы, и еще столько же... И однако вечеромъ, когда этотъ человѣкъ снова предлагалъ свои услуги, Николаевъ опять принималъ ихъ, не смѣя отказать. Своимъ помощникамъ Равиловымъ—помимо періодическихъ подозрѣній—онъ недоволенъ былъ, какъ черезчуръ смирнымъ, и когда Равиловъ освободился въ Читѣ, взялъ себѣ въ помощники для дальнѣйшаго пути бойкаго и смышленаго Китаева, котораго, между прочимъ, самъ побаивался. Но Китаевъ—человѣкъ, въ сущности, неумный—взялся за дѣло такъ рьяно и круто, что игроки вскорѣ рѣшили избавиться отъ него: они стали рвать карты, возвращать неполныя колоды. Прямая погибель!.. Можно представить себѣ, что переживалъ въ эти дни Николаевъ. Наконецъ, поднялось открытое возстаніе, и Китаевъ долженъ былъ удалиться, а самъ Николаевъ—какъ это случилось, я не могу себѣ объяснить—очутился уже не полновластнымъ хозяиномъ майдана, а лишь равноправнымъ товарищемъ одного изъ героевъ амурской шайки, извѣстнаго вамъ Красноперова. Равноправность эта въ томъ состояла, что Николаевъ долженъ былъ вѣдать торговый ящикъ, а Красноперовъ—карты, при чемъ первый обязывался почему-то вознаграждать второго, если-бы при торговлѣ какъ-нибудь обсчитался... Надо добавить къ этому, что Красноперовъ ни одной копѣйки не вложилъ въ дѣло.

„Растерянный, подавленный, старикъ возбуждалъ въ это время мою жалость, хотя вмѣстѣ съ тѣмъ и страшно надоѣдалъ, не давая покоя своимъ нытьемъ и вѣчными разговорами о майданѣ. Не мало раздражала меня и его младенческая безотвѣтность, неумѣнье сколько-нибудь постоять за себя противъ назойливой наглости шпанки. Такъ, въ Читѣ онъ получилъ подводу (въ качествѣ старика, больного при томъ грыжей), но мало пользовался этой подводой: его гнали съ нея—онъ и уходилъ, безропотно уступая мѣсто молодымъ, здоровымъ нахаламъ. Его практическая наивность и безтолковость, а особенно мошенни-

ческія условія его товарища, которыхъ добродушный Павелъ Николаевъ въ сущности и не понималъ (иначе, при своей скупости, онъ бы отъ одного страха померъ!), побудили меня настоять, наконецъ, чтобы онъ совсѣмъ отказался отъ майдана. Онъ согласился, поставивъ только условіе, чтобы новые майданщики захватывали для него мѣсто на этапахъ, и чтобы они въ моемъ присутствіи дали торжественнное обѣщаніе выплатить ему все по уговору. Ликвидація дѣлъ, сверхъ всякаго ожиданія, дала очень недурные результаты: изъ Шелая Николаевъ вынесъ 23 рубля, теперь у него оказался 31 рубль (не считая дорожныхъ издержекъ въ теченіе трехъ мѣсяцевъ). Деньги эти онъ отдалъ на храненіе мнѣ, и вотъ съ этой минуты старикъ ожилъ: сталъ благодушно распѣвать по вечерамъ священные псалмы, философствовать вслухъ о тлѣнѣ всего земного и не чувствовалъ, повидимому, ни малѣйшей зависти къ своимъ преемникамъ, у которыхъ дѣла пошли совершенно иначе. Онъ только не на шутку порой удивлялся, почему это у него не выходило толку... Но чаще всего выражалъ радость, что избавился отъ страшной напасти, изъ когтей которой живымъ не чаялъ выйти! И какъ же онъ блаженно улыбался при мысли, что все это онъ уже пережилъ, да вѣдь—какъ-ни-какъ—и себя показалъ!..

„— Въ началѣ-то больше изъ-за Ивана Николаевича въ кашу полѣзъ, потѣшить его на прощанье думалъ... Ну, а ужъ потомъ могущество свое доказать хотѣлъ!

„Жалѣю, что не могу съ достаточной подробностью описать разныя характерныя мелочи, которыми былъ такъ богатъ этотъ трагикомическій эпизодъ. Я не запомнилъ даже тѣхъ забавныхъ словечекъ, которыя Николаевъ, какъ мнѣ казалось, употреблялъ съ особымъ удовольствіемъ, когда замѣтилъ, что они намъ съ вами понравились. У меня осталось въ памяти только общее представленіе“.

Это дорожное письмо Башурова—все, что я знаю о послѣдующей жизни Павла Николаева. Обѣщалъ старикъ писать мнѣ, сообщить свой адресъ, но обѣщанія почему-то не исполнилъ. Гдѣ онъ теперь и что съ нимъ?..

Шелайскіе бѣглецы, къ общему удивленію, не понесли никакого наказанія: очевидно, они были обязаны этимъ паденію браваго капитана и разгрому установленнаго имъ образцоваго режима.

Но этимъ, кажется, и исчерпываются радостныя вѣсти изъ міра отверженныхъ.

Бѣдный каторжный поэтъ, Медвѣжье Ушко, по слухамъ, назначенъ къ отсылкѣ на островъ Сахалинъ, но отнесся онъ къ этому назначенію съ такимъ же точно равнодушіемъ, какъ если бы выслушалъ приказаніе идти въ парашники, или копать въ огородѣ картофель. Онъ по прежнему молчаливъ и замкнутъ въ себѣ, попрежнему ходитъ, низко понуря мотающуюся голову. Но здоровье бѣдняги уже сильно расшатано: болитъ грудь, мучатъ безсонницы; сухой, отрывистый кашель не даетъ покоя сосѣдямъ...

Сочтены дни и толстяка Ногайцева: у него водянка. Ноги распухли, какъ бревна, и несчастный „Михайло Ивановичъ“ не выходитъ уже изъ лазарета.

Совершенно неожиданно закончилась также бурная, мрачная карьера Сокольцева. Не дождавшись своей „точки“, не вырвавшись изъ когтей каторжнаго режима, онъ умеръ скоропостижно отъ разрыва сердца во время работы въ столярной мастерской. Тамъ же, гдѣ покоится прахъ Маразгали и хилыя, старыя кости Залаты, близь дороги, по которой ходятъ въ рудникъ шелайскіе каторжные, нашелъ себѣ вѣчный покой и этотъ неугомонный человѣкъ, тюремный софистъ и Мефистофель.

Слыхалъ я еще, что возятъ по рудникамъ для улички богатырски сложеннаго старика съ львиной гривой сѣдыхъ волосъ и изрытымъ оспой лицомъ. Старикъ—большой краснобай, знаетъ меня и шлетъ мнѣ при каждомъ случаѣ поклоны.

— Ужъ вы только скажите про меня Ивану Николаевичу, онъ сейчасъ же узнаетъ—кто!..

И дѣйствительно, я почти не сомнѣваюсь въ томъ, что это старинный знакомецъ мой и пріятель—Гончаровъ... И сердце болѣзненно сжимается при мысли, что старый разбойникъ будетъ въ концѣ концовъ уличенъ и никогда не увидитъ больше ни свободы, ни родины!

1895—98 гг.

Отъ автора.

(Post-Scriptum).

Разсказъ Ивана Николаевича конченъ, и въ заключеніе мнѣ хочется сказать читателю нѣсколько словъ отъ себя. Когда я писалъ эту книгу, завѣтнымъ желаніемъ моимъ было все время, чтобы этотъ правдивый разсказъ о жизни отверженцевъ былъ понятъ, какъ голосъ ихъ адвоката и друга; признаніе за моими очерками такого именно значенія было бы для меня, конечно, высшей и лучшей наградой. И я надѣялся, что мнѣ, дѣйствительно, удалось показать, какъ «обитатели и этого ужаснаго міра, эти искалѣченные, темные, порой безумные люди, подобно всѣмъ намъ, способны не только ненавидѣть, но и страстно и глубоко любить,—падать, но и подниматься,—жаждать свѣта и правды и не меньше насъ страдать отъ всего, что является преградой на пути къ человѣческому счастью» (т. I). Правда, на первый планъ я ставилъ при этомъ неприкрашенное, по возможности всестороннее изображеніе жизни; я не скрывалъ тѣхъ чувствъ негодованія и возмущенія, которыя порой во мнѣ самомъ вызывали мои герои, вѣря, что не фальшивой идеализаціей можно помочь дѣлу возрожденія больной и преступной души, а прежде всего полнымъ и безпристрастнымъ ея изученіемъ, — правдой и только одной правдой. Не это ли обстоятельство было, однако, причиной того, что иные изъ читателей сдѣлали изъ моей книги выводы, по моему глубокому убѣжденію, ошибочные и вредные?

Хотя, быть можетъ, и не въ литературныхъ обычаяхъ давать комментаріи къ собственному сочиненію, но въ данномъ случаѣ я считаю себя въ правѣ этотъ обычай нарушить. Вопросы, которые я затрагиваю въ своихъ очеркахъ, меньше всего имѣютъ для меня абстрактно-художественный интересъ, такъ какъ я ни на одну минуту не могу отрѣшиться отъ той конкретной, годами, точно кошмаръ, давившей дѣйствительности, въ которую страстно

хотѣлось внести хоть крошечный лучъ тепла и свѣта. Не разъ уже и приходилось мнѣ высказывать въ печати тѣ общія соображенія и заключенія, касающіяся сложныхъ вопросовъ «преступленія и наказанія», которыя являлись у меня самого, какъ итоги всего пережитаго,—и здѣсь я хочу лишь повторить коечто изъ сказаннаго въ прежнихъ моихъ журнальныхъ статьяхъ, отбросивъ все, что было тамъ случайнаго, полемическаго.

Между прочимъ, очерки мои послужили одному бывшему профессору-психіатру, г. П. Ковалевскому, матеріаломъ для сужденія о преступникахъ «являющихся таковыми по своей организаціи, по свойствамъ своей природы и особенностямъ строенія центральной нервной системы, преступникахъ отъ рожденія, которые и составляютъ главный (?) контингентъ каторги и являются въ качествѣ важнѣйшихъ закоренѣлыхъ злодѣевъ». По мнѣнію профессора, таковы «почти всѣ (?) герои Достоевскаго и Мельшина».

Само собой разумѣется, что я никоимъ образомъ не могу раздѣлить подобнаго толкованія моихъ писаній... Какія, въ самомъ дѣлѣ «объективныя» данныя говорятъ за то, что *главный* контингентъ нашей каторги и *почти всѣ* герои Достоевскаго и Мельшина состоятъ изъ прирожденныхъ преступниковъ? Кто и когда изучалъ строеніе центральной нервной системы этихъ героевъ?

Слѣдуетъ прежде всего твердо помнить, что не безнравственность вообще, не порочность или жестокость приводятъ людей въ тюрьму и каторгу, а лишь опредѣленныя и вполнѣ доказанныя нарушенія существующихъ въ странѣ законовъ. Однако, всѣмъ намъ извѣстно (и профессору тѣмъ болѣе), что, напр., 50 лѣтъ назадъ, во времена «Записокъ изъ Мертваго Дома», въ Россіи существовалъ законъ, по которому одинъ человѣкъ владѣлъ другимъ, какъ вещью, какъ скотомъ, и нарушеніе послѣднимъ этого закона нерѣдко влекло за собой ссылку въ Сибирь и даже каторжныя работы. Существовалъ и другой также законъ, въ силу котораго человѣкъ, «забритый» въ солдаты, становился уже мертвымъ человѣкомъ, въ рѣдкихъ только случаяхъ возвращавшимся къ прежней свободной жизни (николаевская служба продолжалась четверть вѣка), и немудрено, что, по словамъ поэта, «ужасъ народа при словѣ наборъ подобенъ былъ ужасу казни». Теперь все это для насъ одни лишь историческія воспоминанія о жестокомъ до безчеловѣчности дореформенномъ бытѣ, съ которымъ мы, люди современнаго поколѣнія, уже ни въ какомъ случаѣ, думается, не могли бы примириться; но во времена Достоевскаго такова была *живая жизнь*, и на основаніи его безсмертныхъ записокъ можно документально доказать, что добрая половина выведенныхъ имъ героевъ каторги пришла туда именно за нарушеніе антигуманныхъ законовъ рабовладѣльче-

ства и 25-лѣтней солдатчины... Вѣдь всѣ эти Сироткины, Петровы, Мартыновы, Баклушины, Сушиловы и пр. — не что иное, какъ жертвы той страшной душевной тоски, которую должны были испытывать въ тѣ мрачныя времена всѣ мало-мальски живыя и энергичныя сердца; вѣдь это, дѣйствительно, былъ *самый даровитый*, какъ выразился Достоевскій, самый жизненный элементъ народа русскаго, и если принять мнѣніе ученаго профессора объ его «прирожденной преступности», то къ какому же горькому выводу придемъ мы относительно русскаго народа!.. Тоска, вызываемая ненормальными житейскими условіями, двигала невѣжественныхъ умственно и нравственно неразвитыхъ Петровыхъ и Баклушиныхъ на путь пороковъ и пьянства, на безумныя вспышки преступленій; но людей высшаго развитія, Достоевскихъ, Бѣлинскихъ, Герценовъ не та же ли самая тоска вела на иной путь, въ глазахъ современныхъ ортодоксалистовъ налагавшій, впрочемъ, на нихъ клеймо такого же преступнаго отщепенства? Какой-нибудь Мартыновъ изъ «Мертваго Дома» пришелъ въ каторгу за «претензію» насчетъ каши въ своемъ батальонѣ; но какая же, *по существу*, разница между нимъ и, напр., тѣмъ же Герценомъ, который изъ-за претензій, предъявленныхъ по поводу уже не одной только каши, а всего дореформеннаго строя, принужденъ былъ навсегда удалиться за предѣлы родины? И ломброзовская школа въ этомъ отношеніи вполнѣ послѣдовательна: для нея нѣтъ особенной разницы между идейными преступниками и преступниками противъ общаго права. Но здѣсь-то и лежитъ наиболѣе уязвимый пунктъ школы: съ одной стороны, она карабкается, повидимому, на самые верхи человѣческой справедливости и гуманности, уча смотрѣть на преступника, какъ на больного человѣка, и тѣмъ изгоняя изъ пенитенціарной системы принципъ возмездія, а съ другой — она же пресмыкается въ прахѣ самаго заядлаго консерватизма. Умѣреннѣйшіе изъ этихъ ученыхъ-объективистовъ разсуждаютъ такъ: «Преступность состоитъ въ неумѣньи жить по масштабу, признанному обязательнымъ для даннаго общества. Преступникъ—это лицо, которому, благодаря своей организаціи, трудно или невозможно жить согласно этому масштабу и которое легко рискуетъ подвергнуться наказанію за антисоціальные поступки. Благодаря какимъ-либо случайнымъ условіямъ развитія, благодаря какимъ-либо недостаткамъ наслѣдственности, рожденія или воспитанія, онъ принадлежитъ какъ бы къ низшему и болѣе устарѣлому общественному строю, чѣмъ тотъ, въ которомъ онъ вращается. Случается даже, что наши преступники похожи физически и психически на нормальныхъ представителей низшей расы».

Эти слова взяты мною изъ книги англійскаго криминолога Гавелока Эллиса («Преступникъ», переводъ подъ ред. д-ра Гринберга), писателя, въ общемъ весьма умѣреннаго и симпатичнаго.

Злись иное оставляетъ еще на долю разсчета и желанія то упомянутый русскій ученый не задумается, конечно, ни на минуту всякаго, кто только выйдетъ изъ «масштаба», признать прирожденнымъ преступникомъ... Безъ малѣйшихъ колебаній онъ называетъ «преступниками по природѣ» почти всѣхъ героевъ Достоевскаго и почти всѣхъ современныхъ каторжныхъ, основываясь единственно на соображеніи, что они не умѣли жить въ рамкахъ, признанныхъ обязательными для современнаго общества, и что ихъ осудилъ законъ. Это не важно, что и по его же свидѣтельству Достоевскаго, «быть можетъ, самый пріятный народъ изъ всего народа русскаго»; не важно и то, что за стѣнами каторжныхъ тюремъ, пользуясь всѣми благами свободы, живутъ, быть можетъ, десятки тысячъ кретиновъ въ буквальномъ смыслѣ этого слова, идеальныхъ представителей какой-либо низшей расы: важно то, что кретины умѣютъ вестись мириться съ «масштабомъ» — и, слѣдовательно, они нормальные люди; тѣ же, даровитые, мириться не умѣютъ—слѣдовательно, они прирожденные преступники. Такъ, будто бы, говоритъ «объективная наука», выступающая во всеоружіи современнаго знанія...

Здѣсь необходима оговорка. Быть можетъ, иные изъ читателей вспомнятъ и укажутъ, какъ на нѣкоторое противорѣчіе съ моей стороны самому себѣ, на то, что я неоднократно подчеркивалъ въ своихъ писаніяхъ глубокую разницу между современной каторгой и каторгой временъ Достоевскаго. Послѣднюю я ставилъ всегда несравненно выше и считалъ очень близкой психически къ нормальному народному типу; напротивъ, населеніе нынѣшней каторги, *въ главныхъ его частяхъ*, признавалъ «подонками народнаго моря» («Въ мірѣ отв.», т. I, 262). Въ другомъ мѣстѣ, отмѣчая разницу между каторгой и народомъ, я выразился еще опредѣленнѣе: «Народъ русскій—не то же самое, что сборище убійцъ, мазыковъ, воровъ, насильниковъ и развратниковъ. Пускай всѣ эти люди изъ того же народа вышли, пусть многіе изъ нихъ лично совсѣмъ неповинны въ томъ, что стали такими, каковы они есть; пусть еще многіе найдутъ въ себѣ силы вновь возродиться и опять войти въ великое народное море,—пусть такъ... И, однако, преступная душа всетаки не душа народа русскаго! Всѣми силами слова я протестую противъ такого отождествленія» («Переслащ. народолюбіе», «Р. Б.», 1898 г., янв.).

Конечно, я не возьму отсюда ни одного слова назадъ. Но никогда я не утверждалъ и не соглашусь утверждать, что современная русская каторга, хотя въ главныхъ своихъ частяхъ и представляющая нравственные подонки народнаго моря, есть не что иное, какъ отбросы, сдѣланные *самой природой*. По моему глубокому убѣжденію, *не столько* природа создаетъ преступниковъ, сколько сами современныя общества, условія нашихъ соці-

альныхъ, правовыхъ, экономическихъ, религіозныхъ и кастовыхъ отношеній, а также (и это огромной важности факторъ!) несовершенное состояніе нашихъ нравственныхъ понятій. Я намѣренно сказалъ «не столько», чтобы оставить всетаки кое-что и на долю природы. Теоретически говоря, несомнѣнно могутъ существовать нравственные уроды, еще въ утробѣ матери носящіе въ себѣ элементы преступности, но дѣло въ томъ, что какая же такая наука, и съ помощью какихъ непререкаемыхъ аргументовъ, докажетъ мнѣ, что преступники X, Y и Z уже при зачатіи своемъ намѣчены были природой въ тюремные кандидаты? Сумашедшихъ и идіотовъ я исключаю—они и къ суду присяжныхъ привлекаются лишь по недоразумѣнію; рѣчь идетъ о такихъ преступникахъ, которые никакими рѣзко проявленными особенностями не отличаются отъ здоровыхъ и нормальныхъ людей. И я думаю, что такихъ «прирожденныхъ» преступниковъ, жертвъ своей исключительно-ужасной наслѣдственности, наберется въ концѣ концовъ самый ничтожный процентъ. *Возможно*, напримѣръ (хотя и не доказано), что однимъ изъ такихъ исключеній былъ мой Семеновъ (т. I, гл. XI).

Когда Достоевскій разсказывалъ въ «Запискахъ изъ Мертваго Дома» объ одномъ дворянинѣ—отцеубійцѣ, онъ былъ убѣжденъ, что это преступленіе—невмѣняемое, что убійца—человѣкъ ненормальный (въ тѣ времена еще неизвѣстенъ былъ терминъ «прирожденный преступникъ», а то Достоевскій, быть можетъ, и употребилъ бы его). Основывалъ онъ свое мнѣніе на абсолютномъ отсутствіи у предполагаемаго отцеубійцы угрызеній совѣсти. «Разъ, говоря со мной о здоровомъ сложеніи, наслѣдственномъ въ ихъ семействѣ, онъ (убійца) прибавилъ:—Вотъ *родитель мой*, такъ тотъ до самой кончины своей не жаловался ни на какую болѣзнь». Эти слова глубоко поразили Достоевскаго своимъ наивнымъ цинизмомъ. Въ другихъ отношеніяхъ преступникъ казался самымъ обыкновеннымъ человѣкомъ,—правда, взбалмошнымъ и легкомысленнымъ, но всетаки не глупымъ и не злымъ; и, между тѣмъ, онъ могъ такъ изумительно-хладнокровно говорить о здоровьи убитаго имъ же самимъ «родителя»! Такая звѣрская безчувственность казалась автору «Записокъ» невозможной: «это феноменъ; тутъ какой-нибудь недостатокъ сложенія, какое-нибудь тѣлесное и нравственное уродство, еще неизвѣстное наукѣ, а не простое преступленіе».

Останься эта етраница «Записокъ изъ Мертваго Дома» безъ всякихъ дальнѣйшихъ комментаріевъ, господа ученые криминологи поспѣшили бы, разумѣется, занести ее на скрижали своей «объективной» науки: вотъ, молъ, фактъ, засвидѣтельствованный однимъ изъ величайшихъ художниковъ слова! Это ли не классическій примѣръ прирожденнаго преступника, самой природою созданный нравственный отбросъ! Но, къ счастью для истины,

Достоевскій былъ не только великимъ художникомъ, но и правдивымъ бытописателемъ. Въ концѣ своей книги онъ оговорился, что только что узналъ объ обнаружившейся невинности отцеубійцы: настоящій преступникъ нашелся, а человѣкъ, столько лѣтъ пробывшій безвинно въ каторгѣ, освобожденъ. Страшный фактъ, наводящій великаго писателя на самыя горькія размышленія...

Ну, а какъ же относится къ этому факту г. Ковалевскій? Просто умалчиваетъ объ немъ, какъ о водѣ не на свою мельницу? Нѣтъ, несравненно хуже: онъ умалчиваетъ *только объ оговоркѣ* Достоевскаго, о томъ, что отцеубійца оказался невиннымъ, все же остальное обстоятельно цитируетъ... Таково ужъ это безсердечное кабинетное гелертерство, что красота и стройность «системы» для него несравненно важнѣе истины и живой человѣческой жизни!

Съ своей стороны, я твердо убѣжденъ, что и въ очеркахъ «Въ мірѣ отверженныхъ» криминальная наука, ищущая непреложно-объективныхъ доказательствъ для своей сомнительной гипотезы о «прирожденномъ преступникѣ», никакихъ такихъ доказательствъ не отыщетъ.

«Вотъ богатая пища для ломброзоическихъ выводовъ!»—подумалъ однажды Иванъ Николаевичъ (т. II, гл. II), увидавъ въ банѣ голую спину Юхорева, покрытую густыми, мохнатыми волосами. И эту мимолетную мысль героя моихъ очерковъ иной прямолинейный изслѣдователь Ломброзо могъ бы, пожалуй, развить въ серьезъ, выставивъ волосатую спину Юхорева въ качествѣ доказательства его прирожденной преступности. Однако, изъ дальнѣйшаго изложенія видно, что этотъ представительный, умный и энергичный преступникъ первоначально былъ сосланъ въ Сибирь по приговору общества своихъ же односельчанъ («порядочныхъ скотовъ») за то, что защищалъ отъ нихъ интересы деревенской бѣдноты. Правда, Иванъ Николаевичъ зналъ его уже человѣкомъ, ожесточеннымъ жизнью, душевно искалѣченнымъ и испорченнымъ, но какую роль играли во всемъ этомъ его прирожденныя свойства, и что надо отнести на долю общественной среды и жизненныхъ условій,—это вопросъ, въ которомъ современная наука еще безсильна разобраться. Во всякомъ случаѣ жизнь слишкомъ сложная вещь для того, чтобы вмѣщаться въ узкія рамки теоріи.

Самымъ антипатичнымъ и безнравственнымъ изъ всѣхъ выведенныхъ мною арестантовъ представляется, на мой взглядъ, нѣкій Тропинъ (т. II, гл. VII). «Быть можетъ, это былъ единственный экземпляръ изъ всѣхъ когда-либо видѣнныхъ мною подонковъ отверженнаго міра, относительно котораго я затруднился бы сказать: есть ли у него въ сокровеннѣйшей глубинѣ души, въ той глубинѣ, которая и самому обладателю ея лишь смутно извѣстна, хоть что-нибудь святое и завѣтное?—Въ минуты самой обостренной борьбы съ Юхоревымъ я могъ любоваться и даже восхи-

щаться этимъ человѣкомъ, какъ своего рода силой; но Тропинъ ни разу за все время нашего знакомства, ни на одно самое даже короткое мгновеніе, не умѣлъ внушить мнѣ ни малѣйшаго чувства симпатіи или сожалѣнія». И, однако, тутъ же, вслѣдъ за этими строками, находится такая оговорка: «И я боюсь, что, давая изображеніе этого молодца, сгустилъ нѣсколько мрачныя краски... Кто знаетъ, не была ли и здѣсь виною недостаточная наблюдательность и вниманіе съ моей стороны? Быть можетъ, другой болѣе терпимый и безпристрастный глазъ съумѣлъ бы и въ Тропинѣ отыскать искру Божію, безъ которой какъ-то трудно представить себѣ разумное существо—человѣка... Но я описываю только то, что самъ видѣлъ и чувствовалъ».

Послѣднее очень важно. Человѣкъ, находящійся въ положеніи автора «Записокъ изъ Мертваго Дома» или моихъ очерковъ, можетъ описывать только то, что самъ видитъ и *чувствуетъ*. Его изображенія, по необходимости, отличаются огромной субъективностью, и потому строить на нихъ или даже только доказывать ими какія-либо серьезныя научныя обобщенія, по меньшей мѣрѣ, странно и наивно. Лицо, отъ имени котораго ведутся мои записки, разсказываетъ, что, живя въ Шелайской тюрьмѣ и слушая разсказы иныхъ убійцъ, онъ самъ, случалось, подумывалъ, что Ломброзо правъ. «Дрожа всѣмъ тѣломъ, съ ужасомъ смотрѣлъ я на этихъ людей, недоумѣвая, какъ могутъ они хохотать надъ подобными вещами. Ясно помню, какъ мнѣ показалось въ ту минуту (рѣчь идетъ о разсказѣ нѣкоего Андрюшки Повара), что я нахожусь въ домѣ сумасшедшихъ, и я невольно подумалъ объ одной криминальной теоріи, когда-то сильно меня возмущавшей тѣмъ, что всѣхъ преступниковъ она признаетъ людьми съ ненормальными умственными способностями» (т. I, гл. XXI). Но «подумать» далеко не значитъ еще—стать убѣжденнымъ. И изъ дальнѣйшаго разсказа видно, напр., что слушатели циничныхъ Андрюшкиныхъ рѣчей смѣются—неизвѣстно, собственно, надъ чѣмъ: не то сочувствуя этимъ рѣчамъ, не то дивясь ихъ глупости... А самъ Андрюшка оказывается придурковатымъ парнемъ, большимъ, къ тому же, охотникомъ хвастнуть и прилгнуть. Такимъ образомъ, благодарный, повидимому, матеріалъ не позволяетъ придти ни къ какимъ опредѣленнымъ выводамъ, расплываясь подъ руками, точно вода или туманъ, и не смущаться такой расплывчатостью могутъ лишь очень развязные люди.

Переходя въ своей брошюрѣ къ опредѣленію «характерныхъ чертъ преступнаго семейства», г. Ковалевскій пробуетъ опереться на Достоевскаго: его каторжники—народъ угрюмый, неразговорчивый, завистливый, страшно тщеславный, хвастливый и обидчивый; они всѣ страшно исподличались, среди нихъ царятъ постоянныя сплетни и свары... Правда, каторжные Мельшина, какъ будто, менѣе мрачны, болѣе общительны, но стоитъ ли останав-

ливаться на такомъ мелкомъ противорѣчіи и объяснять его, напр., мало общительнымъ и мнительнымъ характеромъ самого автора «Записокъ изъ Мертваго Дома»? *)

Рѣшено и подписано: прирожденный преступникъ (онъ же и каторжный) молчаливъ и угрюмъ.

Можно бы, однако, слѣдующее напомнить г. Ковалевскому: да вѣдь эти несчастные люди *въ каторжной тюрьмѣ* сидятъ! Вѣдь они лишены не только всѣхъ благъ и радостей свободной жизни, но даже права на человѣческое достоинство! Ихъ унижаютъ на каждомъ шагу, какъ скотовъ, ихъ заставляютъ дѣлать подневольную и часто совершенно безсмысленную работу... Въ стѣнахъ тюрьмы они то же, что пауки, запертые въ банку... Что же другое остается имъ, какъ не быть мрачными, не пожирать другъ друга, не заниматься сплетнями, пересудами, не погрязать во всякаго рода пошлости и подлости? Поставьте въ подобное положеніе не только преступниковъ (въ большинствѣ совершенно некультурныхъ людей), но даже ученыхъ профессоровъ,—и надо будетъ еще посмотрѣть, останутся ли они на высотѣ своего ученаго величія... Являются ли, такимъ образомъ, перечисленныя Достоевскимъ дурныя черты арестанта непремѣнно «характерными чертами» прирожденнаго преступника?

Г. Ковалевскій особенно напираетъ, между прочимъ, на упорную нераскаянность арестантовъ, на то, что они никогда, повидимому, не терзаются угрызеніями совѣсти, и не хочетъ подумать о томъ: передъ кѣмъ же имъ терзаться, кому каяться, кого стыдиться? Стыдиться своихъ не менѣе преступныхъ и развращенныхъ товарищей? Каяться передъ злобно настроенными представителями мѣстной администраціи, не умѣющими въ большинствѣ внушить къ себѣ ни уваженія, ни симпатіи?

Мельшинъ говоритъ, — указываетъ далѣе г. Ковалевскій,— о чудовищной нравственной тупости каторжныхъ, особенно рельефно проявляющейся въ разсказахъ объ утонченно-свирѣпыхъ убійствахъ и звѣрскихъ поступкахъ. Слѣдуетъ цитата: «Публика всегда была, видимо, на сторонѣ палача, а не жертвы, и для перваго изъ нихъ всегда отыскивалось въ ея глазахъ какое-нибудь оправданіе».—Что говорить,—примѣровъ безсердечнаго цинизма и утонченно-сладострастнаго звѣрства можно найти въ этой средѣ сколько угодно; но не слѣдуетъ всетаки преувеличивать и, главное, такъ свирѣпо обобщать. Развѣ я то хотѣлъ сказать приведенной выше фразой, что арестанты *всегда и вездѣ* сочувствуютъ

*) Я лично склоненъ дать этому различію еще и другое объясненіе. Между 50-тыми и 90-ми годами прошлаго столѣтія легъ не одинъ только огромный промежутокъ времени, но и цѣлый рядъ огромной важности событій въ народной жизни, видоизмѣнившихъ не только старыя понятія, но, быть можетъ, и самый характеръ народный, ставшій много жизнерадостнѣе прежняго...

непремѣнно палачамъ, а не жертвамъ? Вѣдь рѣчь идетъ у меня лишь о томъ, какъ относятся они къ *разсказамъ* своихъ товарищей объ ихъ прошломъ. Въ глазахъ каторги каждый такой разсказчикъ, благодаря факту своего пребыванія *въ данный моментъ* въ тюрьмѣ, въ неволѣ, уже является жертвой, какіе бы ужасы онъ про себя ни разсказывалъ; живое, въ *эту* минуту страдающее существо, онъ вызываетъ въ товарищахъ больше сочувствія, чѣмъ тѣ — погибшіе отъ его руки, давно лежащіе въ могилѣ... Философія, правда, странная, односторонне-человѣчная, но, какъ никакъ, съ ней необходимо считаться, разъ хочешь быть безпристрастнымъ судьею этихъ некультурныхъ, глубоко-развращенныхъ и столь же глубоко-несчастныхъ людей. Въ моихъ очеркахъ есть не мало фактовъ, показывающихъ, что русскому арестанту вовсе не чужды и нѣжное любящее сердце, и способность сочувствовать чужому страданію, способность, доходящая порой до самоотреченія.

Изъ другихъ „характерныхъ чертъ“ прирожденнаго преступника г. Ковалевскій отмѣчаетъ его ненависть «ко всему остальному роду человѣческому», не указывая, однако, на чемъ основано подобное обвиненіе. Повидимому, на только что процитированной передъ тѣмъ біографіи моего Семенова. Дѣйствительно, это—ультра-озлобленный человѣкъ, «закоренѣлый злодѣй», какъ выражается ученый профессоръ. Но, не говоря ужъ о томъ, что судить по одному экземпляру обо всѣхъ тысячахъ каторжныхъ несправедливо и недостойно ученыхъ людей, слѣдуетъ быть справедливымъ и относительно самого Семенова. Отбросьте въ его рѣчахъ гордый, явно преувеличенный пафосъ злобы (мало ли что въ злобѣ говорится!)—и вамъ станетъ ясно, что отнюдь не *весь родъ человѣческій* ненавидитъ Семеновъ, а только извѣстную часть его, именно — богатыхъ и сытыхъ. А это, я полагаю, огромная разница! Что касается остальныхъ обитателей міра отверженныхъ (фигуръ въ большинствѣ, несомнѣнно, болѣе мелкихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣе близкихъ къ нормальному человѣческому типу), то я сошлюсь, хотя бы, на главу «Демоны зла и разрушенія» (т. I), гдѣ изображаются разговоры «на широкія общественныя темы». Оказывается, что у этихъ «мечтателей» никогда не являлось и тѣни сомнѣнія въ томъ, что «народъ» и они, обитатели каторги,—совершенно одно и то же... И какіе строютъ они наивные планы достиженія общаго счастья,—правда, дикіе, ужасные, кошмарно-кровавые, но всетаки проникнутые — надо же въ этомъ сознаться—любовью, а никакъ не огульной «ненавистью ко всему человѣческому роду»...

«Непреступное общество являлось для нихъ для всѣхъ смертельнымъ врагомъ, котораго они ненавидѣли и (которому?) всѣми способами дѣлали зло (это—сидя въ тюрьмѣ-то?). Месть, жестокая месть грозила всѣмъ врагамъ каторжной когорты, и эту месть

многіе ставили главнымъ предметомъ своей свободы и своего выхода изъ острога». Обобщеніе совершенно фантастическаго характера... Ни Достоевскій, ни кто другой изъ бытописателей тюрьмы и каторги нигдѣ не говорятъ о томъ, чтобы какой-либо арестантъ ставилъ главнымъ предметомъ своей свободы и выхода изъ острога—«месть всѣмъ врагамъ каторжной когорты». Для меня, по крайней мѣрѣ, немало писавшаго о мстительности русскихъ арестантовъ по отношенію къ *личнымъ* врагамъ, подобное утвержденіе является положительной новостью, въ неосновательности которой я, впрочемъ, нисколько не сомнѣваюсь.

Что касается другого обвиненія «прирожденнаго преступника»—въ томъ, что, будто бы, въ «основѣ его существа» лежитъ лѣнь и отвращеніе къ работѣ, особенно если это работа принудительная, то является невольный вопросъ: неужели же вполнѣ нормальный человѣкъ относится къ принудительному труду съ радостью, съ восторгомъ, съ вдохновеніемъ?!

Наконецъ, ученый выводъ еще болѣе удивительный—отношеніе прирожденнаго преступника къ грамотѣ. «Очень многіе изъ преступниковъ грамотны,—говоритъ бывшій профессоръ,—но эта грамотность была пріобрѣтена ими не какъ выраженіе пытливости и любознательности ума, *а какъ средство покрытія и пособія преступности*». Спрашивается—откуда сіе?.. Естественно, вспоминаешь прежде всего свои слова, свои разсказы. «Миколаичъ, на что намъ грамота, на что?»—въ отчаяніи изъ-за своей неспособности спрашивалъ иногда Никифоръ Буренковъ своего учителя.

Я старался, отвѣчая на этотъ вопросъ, выяснить пользу грамотности, говоря, что она дѣлаетъ человѣка умнымъ, а, слѣдовательно, и честнымъ; но, утверждая это, я и самъ порой сомнѣвался: на что она имъ, арестантамъ, вся эта грамота? Сколько разъ имѣлъ я впослѣдствіи случай убѣдиться, что многіе изъ лучшихъ моихъ учениковъ, научившіеся и читать, и писать порядочно, по выходѣ въ вольную команду, очень скоро забывали и то, и другое, и горькая досада шевелилась иногда въ душѣ, досада на то, что столько потрачено даромъ и труда, и времени. Не разъ приходилось также слышать отъ самихъ арестантовъ, что грамотность даже вредна имъ, что мошенникъ съумѣетъ съ нею быть еще большимъ мошенникомъ, а честный человѣкъ, благодаря ей, развратится, начавъ мечтать о легкомъ трудѣ писаря и получивъ отвращеніе къ физическому труду. *Я хорошо понималъ, конечно, всю поверхностность и зловредность такихъ обобщеній на основаніи отдѣльныхъ, исключительныхъ фактовъ*, но, признаюсь, нерѣдко овладѣвали мной сомнѣнія всякаго рода, и тогда я подолгу забрасывалъ свою школу.—Однако, проходило нѣкоторое время— и я съ любовью къ ней возвращался. Среди всякаго рода терній и шиповъ, которыми была усѣяна моя «педагогическая» дѣятельность, среди горечи и отравы, которую она проливала въ душу, было въ ней все-таки что-то доброе, свѣтлое, теплое, что озаряло и согрѣвало не только меня, но, казалось, и всю камеру. Арестанты какъ-то невольно пріучались съ уваженіемъ относиться къ бумагѣ и книжкѣ, мысли ихъ настраивались на высшій тонъ и ладъ.. (т. I, гл. X).

Вотъ единственныя соотвѣтствующія строки въ моихъ очеркахъ; но какъ же, однако, переиначена и, прямо-таки, извращена

моя мысль! Или, быть можетъ, г. Ковалевскій пользовался здѣсь какимъ-либо другимъ источникомъ? Но трудно во всякомъ случаѣ допустить, чтобы, безпрестанно меня цитируя, относясь ко мнѣ, какъ къ авторитету въ нѣкоторомъ родѣ, онъ не прочиталъ или счелъ нестоющими вниманія тѣ главы «Міра отверженныхъ», гдѣ я описываю «учениковъ»-арестантовъ и все безмѣрно-искреннее увлеченіе ихъ—сначала ученьемъ грамотѣ, а впослѣдствіи и писательствомъ (т. I, гл. VIII, X, XXIV; т. II, гл. XIII, XVI). По вопросу о томъ, какъ относятся арестанты къ чтенію книгъ, г. Ковалевскій говоритъ: «Читать эти люди не любятъ (!), если же читаютъ, то больше сочиненія, гармонирующія и удовлетворяющія ихъ низкимъ животнымъ побужденіямъ, ихъ грязной фантазіи и ихъ сердечнымъ склонностямъ. Этика и эстетика совершенно отсутствуютъ у нихъ, нѣкоторые изъ нихъ пытаются даже писать сами, но эти произведенія являются плодомъ подражанія, примѣнительно къ ихъ низменнымъ идеаламъ и низшимъ животнымъ страстямъ». Позволю себѣ напомнить, что писалъ по этому поводу я: «Эти вечера, проведенные за чтеніемъ вслухъ, составляютъ лучшую и благороднѣйшую часть моихъ воспоминаній о шелайской тюрьмѣ, и, не смотря на всѣ частныя разочарованія, я и до сихъ поръ убѣжденъ въ полной возможности гуманитарнаго вліянія художественной беллетристики на обитателей каторги» (т. I.). И въ другомъ мѣстѣ, по поводу собственныхъ арестантскихъ сочиненій: «Между ними было одно общее сходство. Авторовъ занималъ и *мучилъ* одинъ и тотъ же вопросъ—о причинахъ, толкнувшихъ ихъ на путь преступленія и разврата, и всѣ они одинаково скорбѣли о томъ, что не сумѣли или не могли жить честно въ средѣ неиспорченныхъ, хорошихъ людей, и—что самое важное—отъ этой скорби, отъ этихъ думъ вѣяло всегда несомнѣнной, глубокой искренностью» (т. II).

Само собой разумѣется, что мои мнѣнія и разсказы, какъ и всякіе другіе, подлежатъ провѣркѣ и спору, но тотъ фактъ, что г. Ковалевскій, такъ щедрый на цитаты изъ Мельшина въ другихъ случаяхъ, обходитъ ихъ молчаніемъ, когда они идутъ въ разрѣзъ съ его теоріей, довольно характеренъ. Онъ задался цѣлью, *во что бы то ни стало*, доказать, что большинство нашихъ каторжныхъ—прирожденные преступники. Между тѣмъ, отъ идеи о «прирожденномъ преступникѣ», мнѣ кажется, одинъ только шагъ до идеи о «преступникѣ-звѣрѣ». И этотъ шагъ былъ сдѣланъ,—и тоже представителемъ ученой корпораціи, тоже, къ моему огорченію, ссылавшимся на мои очерки...

«Нѣкоторыя категоріи преступниковъ—настоящіе звѣри», утверждалъ предсѣдатель одного провинціальнаго общества врачей,—«и единственнымъ средствомъ ихъ обузданія являются цѣпь и палка». Разъ—звѣри, то удивительнаго въ такомъ выводѣ, конечно, ничего нѣтъ...

Но тѣмъ энергичнѣе слѣдуетъ протестовать противъ такихъ сомнительно-научныхъ положеній. Гг. ученые вообще имѣютъ слабость забывать, или, быть можетъ, не желаютъ помнить, что ихъ теоріи окружаетъ не безвоздушное пространство, что жизнь не только матеріалъ для ихъ умозрительныхъ построеній: за теоріей стоитъ живая человѣческая личность, и всякій экспериментъ надъ нею, основанный на ложной или только неправильно приложенной идеѣ, покупается нерѣдко цѣной крови и слезъ...

КОНЕЦЪ.

Оглавленіе II-го тома.

Съ товарищами. *Стр.*

I. Въ горной кузницѣ 3
II. Желанные гости 20
III. Разсказъ Штейнгарта 33
IV. По-новому 43
V. Украденный манифестъ 58
VI. На очной ставкѣ 77
VI. Герои новой партіи.—Открытіе Прони . . . 96
VIII. Недоразумѣнія продолжаются.—Вмѣшательство Шестиглазаго 113
IX. Исторія изъ Рокамболя 128
X. На прощанье 137
XI. Тревоги иного рода 145
XII. Торжество дамской дипломатіи 169
XIII. Жизнь опять входитъ въ нормальную колею . 189
XIV. «Атаманъ Буря» и начало его карьеры . . . 202
XV. Паденіе идетъ быстрыми шагами 222
XVI. Слава Шелая.—Увлеченіе писательствомъ.—Каторжные мечтатели 240
XVII. Кошмары 256
XVIII. Сонъ на яву 272
XIX. Конецъ Шелаевской тюрьмы 293

Кобылка въ пути 306
Среди сопокъ 343
Эпилогъ 385
Отъ автора (post-scriptum) 391

DATE DUE			

STANFORD UNIVERSITY LIBRARIES
STANFORD, CALIFORNIA 94305-6004